

Русская Вещь

Очерки национальной философии

Москва, Арктогея, 2001

СОДЕРЖАНИЕ

том 1

Введение: Апокалипсис - здесь и сейчас

Мы и Миллениум

Нас очень давно и очень жестоко обманывают. Обманывают во всем. Обманывают по-крупному. И это началось не вчера... Такого мира, такой реальности, такой страны, такого человечества, что нам описывают авторитеты науки, культуры и политики, не существовало и не существует. Все вещи в нашем апокалиптическом мире подменены, будто мы смотрим на все сквозь гипнотическое марево, устроенное злостными заговорщиками, умелыми пройдохами-магнетизерами на службе князя мира сего...

Далее...

Парадигма Конца

Анализ цивилизаций, их соотношения, их противостояния, их развития, их взаимосвязей — настолько сложная проблема, что в зависимости от методики, от уровня исследования результаты могут получиться не просто различными, но прямо противоположными. Поэтому даже для получения самых приближенных выводов необходимо применять редукцию, сводить множество критериев к одной упрощенной модели. Марксизм однозначно предпочитает экономический подход, который становится субститутом и общим знаменателем для всех остальных дисциплин. Так же, в сущности, хотя и менее эксплицитно, поступает либерализм.

Далее...

Часть 1: Национальная идея

Абсолют Византизма

Наше национальное положение в сегодняшнем мире требуют от нас максимальной интеллектуальной консолидации. Вызов, брошенный нам, предельно конкретен. Давление, оказываемое на нас, имеет все необходимые измерения — от метафизического через культурное и вплоть до силового.

Далее...

Россия может быть или Великой, или никакой

Понятие «Великое Государство» не является простой эмоциональной, националистической формулой бытовой политической речи. За этим понятием стоит очень конкретная геополитическая реальность. Сочетания «Великая Сербия», «Великая Россия», «Великий

Израиль», «Великая Германия» и т.д. несут совершенно определенный исторический смысл, варьирующийся в зависимости от того, какая именно страна и какой именно народ стремится добавить к своему самоназванию прилагательное «великий». Сербия, к примеру, отличается от «Великой Сербии» не только территорией, хотя и ей тоже.

[Далее...](#)

Революционный консерватизм: вечная актуальность

У всех консерваторов есть трагическая черта — они обязательно проигрывают. Стремясь противостоять новому, которое расценивается (чаще всего весьма справедливо) как негативное, отступническое, почти предательское по отношению к вековым традициям и устоям, они обречены на то, чтобы проигрывать раз за разом все битвы, так как само время заведомо находится по ту сторону баррикад.

[Далее...](#)

Великий Проект

Мы настолько погружены в сиюминутное, в перипетии политических, экономических, психологических проблем, настолько страдательно воспринимаем гипнотический массив быта, что постоянно упускаем из виду главное. Главное, великое, дающее смысл, определяющее высшую цель — для нас сплошь и рядом лишь фраза, слоган, вербальная или эмоциональная конструкция.

[Далее...](#)

Модернизация без вестернизации

В своей знаменитой статье Самуил Хантингтон, описывавшей грядущее «столкновение цивилизаций» (clash of civilizations), упомянул очень важную формулу — «модернизация без вестернизации» (modernization without westernization). Она описывает отношение к проблемам социально-экономического и технологического развития некоторых стран (как правило, Третьего мира), которые, понимая объективную необходимость развития и совершенство вания политических и хозяйственных механизмов своих социальных систем, отказываются при этом слепо следовать за Западом.

[Далее...](#)

Парадоксы воли, или малый народ Евразии

Считается, что русским не достает силы воли, что мы слишком пассивны, расслаблены, фаталистичны, покорны. И как противоположный пример приводятся немцы с их целеустремленностью, упорством, невероятной последовательностью в достижении поставленной цели, пунктуальностью.

[Далее...](#)

Асимметрия

Следует посмотреть на нынешнее положение России по-новому, здраво и объективно. Без обид, эмоций, ностальгии, озлобления. В каком мире мы оказались? Какие угрозы над нами нависли?

[Далее...](#)

Война наша Мать

Существует досадное предубеждение, будто мир во всех случаях предпочтительней войны. И несмотря на объективную картину человеческой истории, несмотря на постоянное и все более масштабное опровержение пацифистских утопий, эта наивная, в высшей степени безответственная позиция и не думает испаряться.

Далее...

Возрождение Кшатриев

Быть военным не просто профессия. Это нечто большее даже чем призвание. Военным надо родиться. Военные — это тип, своего рода каста, обладающая совершенно особыми психологическими, этическими установками, общими для армий всех времен и народов мира. Индусы зачислят всех военных в отдельную касту, которую они называют «кшатриями».

Далее...

Красная Мать Земля

Понятие «земли» тесно связано с понятием «войны». История войн показывает, что конфликты, возникавшие из-за территорий, являются главной и почти единственной причиной войн. Все остальные ценности — деньги, золото, стада, богатства, женщины или провизия, приобретаемые в результате войн — являются второстепенными относительно главного: земли, территории.

Далее...

Русская Любовь

Считается, что любовь — дело двоих: мужчины и женщины, матери и дитя, человека и Бога. Но с какой-то навязчивой силой, с принудительной магией невнятного напоминания иногда врывается в эти отношения нечто «третье». Непрошенное, неожиданное, несущее жестокость вопрошания, которое придает всему новый, зловещий оттенок.

Далее...

Тезисы о русском патриотизме

Русский патриотизм есть великий мистический, геополитический, исторический, сотериологический, эсхатологический проект, доверенный избранному народу великороссов как особый Завет, сформировавший для этого специальный этнос, отличающийся чертами и свойствами, не имеющими аналогов нигде больше.

Далее...

Без наркотиков

Лозунг психоделической революции — sex, drugs and rock'n'roll — надо интерпретировать в том контексте, где он возник. Единого универсального контекста не существует. 60-е англосаксонского мира — законченная структурная система со своими соотношениями,

созвездия ми смыслов и т.д. 80-е Китая или неизменная безвременная реальность племени австралийских аборигенов — совершенно иная вселенная, столь же развития, сложная и, в некотором смысле, самодостаточная.

[Далее...](#)

Русский маршрут

Однажды я листал материалы «Ордена Иллюминатов Танатероса» («Хаос Интернэшнл», Кэрролл и т.д.), и мое внимание привлекло описание «пилигримажа хаоса». В нем излагалась техника существования хаота-иллюмината, который проводит дни в шатаниях по знакомым, выпиваниях спиртного и (если удастся) в контактах с товарищами, принадлежащими к «ордену».

[Далее...](#)

Часть 2: Социальная идея

Заговор экономистов

Одной из самых трагических ошибок «перестройки» была неправильно сформулированная проблема выбора экономической модели. С одной стороны, это было следствием некомпетентности нашей экономической науки, не сумевшей ни защитить марксистский подход, ни объективно очертить весь спектр существующих экономических учений с тем, чтобы общество смогло сознательно и обоснованно сделать свой исторический выбор.

[Далее...](#)

Теоретические источники нового социализма

Помимо двух магистральных и противоположных друг другу экономических теорий (т.н. «ортодоксий» — марксизм и либерализм) существует еще одно громадное семейство, называемое совокупно «еретическим». «Еретичность» этого направления состоит в отказе от тех общих постулатов, которые лежат в основании как либерализма, так и его последовательного и радикального отрицания, воплощенного в марксизме.

[Далее...](#)

Капитализм: индивидуальное и общественное

Мы переживаем интереснейший момент в истории развития цивилизаций. Множество тенденций сегодня обнаруживают свое историческое разрешение. Поверяются историей прозрения и предсказания лучших умов человечества. Сегодня можно окончательно вынести суждение: кто был прав, кто ошибался, кто оказался провидцем, кто галлюцинировал.

[Далее...](#)

Дух постмодерна и Новый Финансовый Порядок

Несмотря на то, что в современной культуре постмодернистский подход утвердился как нечто необратимое и тотальное, содержание самого термина «постмодерн» до сих пор вызывает полемики, дискуссии, оживленные споры. Постмодерн как ход, как поза, как стиль, как метод, как специфика отношения к объектам искусства и технологическим

стратегиям постепенно вошел в плоть нашего общества до такой степени, что теперь едва ли можно говорить о том, что является, а что не является постмодернистским.

[Далее...](#)

Медиакратия против реальности

СМИ называют «четвертой властью». Еще одной ветвью после трех классических форм демократического правления — власти исполнительной, законодательной, судебной. Даже если это метафора, то об этом стоит задуматься серьезно, ведь появление этой «четвертой власти», бывшей ранее лишь одним из множества компонентов в определении «демократии», с необходимостью вносит важнейшие изменения во все традиционные представления об обществе.

[Далее...](#)

Деньги

Деньги являются высшей реальностью современного мира, победившим всех конкурентов универсальным идолом. Жак Аттали справедливо называет нынешний исторический этап «денежным строем», *Ordre d'Argent*. Наше время характеризуется полным триумфом денег, которые стали своего рода тоталитарным эквивалентом, общим знаменателем для всех вещей и процессов реальности.

[Далее...](#)

Террор против Демиурга

Анархизм считается максимально левым флангом левой мысли. Это тотальная критика слева всех остальных разновидностей революционных идеологий: от марксистов до социал-демократов. Анархисты бичевали у других леваков наличие старых, реакционных элементов. Для анархии все иные формы являются завуалированным выражением древнего и единственного врага — власти.

[Далее...](#)

Иосиф Сталин: великое "да" Бытия

Сталин — настолько масштабная фигура, что любое обращение к его личности, его функции, его миссии в истории сразу же ставит перед нами необъятные проблемы. Можно говорить о Сталине с геополитической точки зрения — как о крупнейшем евразийце-практике; можно с идеологической — как о выдающемся, ключевом деятеле мирового социализма; можно с государственной — как о создателе мощнейшей в истории мира империи.

[Далее...](#)

Апология антифашизма

Нет сомнений в том, что самые любопытные (концептуально, философски и идеологически) моменты эволюции неконформистской мысли заключаются в захватывающем открытии крайне правыми, традиционалистами, правоты и глубины крайне левых — марксистских, анархистских и народнических представлений.

[Далее...](#)

Просто большевизм

Национального капитализма не существует (хотя национальный капитализм существовал). Природа капитализма — интернациональна. Она игнорирует все, что препятствует экономической выгоде. А этой выгоде препятствуют любые ограничения на свободу рынка. В том числе государственные, национальные, религиозные и иные границы.

Далее...

Тонкий Хлад Революции

Революцию убили дважды. Те, кто бездумно в течение десятилетий нарочито и чрезмерно повторяли это слово (попробуйте повторить слово «любовь» бесчисленное количество раз — скоро оно обесмыслится — любовь любовь любовь... бовлю... бовлю... бовлю...), и те, кто принялись насмехаться и глумиться над этим затертым понятием, мифом, событием, от вчерашних неискренних славословий перейдя к неумным ниспроверженьям.

Далее...

Часть 3: Религиозная идея

Мы церковь последних времен

Никто не знает этого дня, даже ангелы небесные, не то что мы. Но знаки его слишком явно разбросаны повсюду. Кажется, что больше и ждать незачем, что вот-вот придет страшный миг, последняя тайна беззакония откроется и все кончено. А затем и такой долгожданный, такой томительно чаемый миг Славы Господней...

Далее...

Евразийство и Староверие

Евразийское движение является наиболее ценным источником вдохновения для современной политической мысли России. С гениальным, почти пророческим, чувством будущего исторические евразийцы сумели поставить диагноз политической истории России в XX веке еще в 20-е и 30-е годы—тогда, когда все было далеко не так очевидно, как сегодня.

Далее...

"Кадровые"

У старообрядцев-беспоповцев «часовенного» согласия термин «кадровые» нагружен колоссальным смыслом. Уходит генезис его в бездны тончайших эсхатологических и онтологических воззрений.

Далее...

"Сторож: сколько ночи ?"

Я не буду вводить вас в заблуждение, я этого произведе ния не читал. Знаком с ним только по научному описанию фонда одного старообрядческого толка — «страннического

согласия» или «бегунов». Но мне кажется, что само название настолько выразительно и глубоко, настолько в нем обнажена метафизика русского языка и тайного русского быта, что сердцу нашему говорит оно больше любых догматических и философских трактатов, написанных мужами учеными и сведущими.

Далее...

Такое сладкое "нет"

В русском старообрядчестве есть крайнее направление — «нетовщина». Это экстремальное течение беспоповщины, Спасово согласие, отличающееся тем, что смотрит пессимистичней всех остальных беспоповцев (не говоря уже о поповцах!) на ту онтологическую и сотериологическую катастрофу, которая произошла на Руси, в мире, во Вселенной вместе с расколом.

Далее...

Возвращение бегунов

Мы явно переоцениваем реалии внешнего мира. Мы слишком зависим от преходящих волн быта. Мы слишком равнодушны к регионам Души. Политические активисты и пассионарии жалуются на пассивность обывателей, на их индифферентность. Но сами эти активисты сплошь и рядом так же прохладно относятся к мирам духа, где концентрация энергий еще больше, а напряжение бытия несравнимо выше, чем в политике.

Далее...

На боевом Великом Посту

У православных начался Великий Пост. Время скорби, печали, горя. Время трезвости и воздержанности. Такой обычай установлен не по прихоти человеческой и не из-за низменных материальных потребностей. Волевым и сознательным лишением себя некоторых аспектов привычного физического существования есть наглядное проявление идеальной стороны человека, его героической, аскетической части.

Далее...

Бесоборческий Подвиг

Функция бесов, «злых духов» в православной доктрине очень важна. Она не исчерпывается узко моральным моментом «запугивания» верующих и редуционистским объяснением источника греховности и порочности. В рамках христианской духовной реализации бесы играют особую и уникальную роль.

Далее...

Мертвая жизнь

Жизнь не зависит от поглощения пищи. Еда сама по себе, жизнь сама по себе.— В этом заключается смысл гипотезы Парацельса об «отчуждении». Бытие физического организма и бытие души протекают по самостоятельным траекториям. Их взаимозависимость не что иное как иллюзия».

Далее...

Часть 4: Парадигма культуры

Литература как зло

Вопросы: «что такое философия?», «зачем поэзия?» и т.д. вслед за Мартином Хайдеггером задаются постоянно. Мысль возвращается к своему истоку, снова и снова исследует механизм своего происхождения, появления. О смысле литературы говорится гораздо реже.

Далее...

Филолог Аввакум

Нет сомнения, что самыми пронизательными русскими мыслителями нашего столетия были евразийцы. Им не удалось создать законченную мировоззренческую модель. Среди них не было философов блистательных и уникальных. Но глобальные подходы, к которым они приблизились, пути исторического, геополитического, мировоззренческого и социологического анализа, которые они наметили, спустя полстолетия оказались самыми актуальными, плодотворными, жизненными и перспективными.

Далее...

Магический большевизм Андрея Платонова

"Чевенгур" есть базовый текст Революции. В некотором смысле, он и есть выговаривание, произношение Революции. В нем Революция говорит о самой себе. Литературная судьба «Чевенгура» есть онтологический маршрут тайной природы Революции по русскому XX веку.

Далее...

Без головы

Когда бы ни пожелал он, всегда умел он заставить Генриха-короля и сыновей его поступать по его указке, а желал он всегда одного: чтобы все они — отец, сын и брат все время друг с другом воевали. Желал он также, чтобы всегда воевали между собой король французский и король английский.

Далее...

Русские игры Ленкома

Все отмечают, что режиссер Марк Захаров крайне чувствителен к «актуальности момента». Я в этом не очень хорошо разбираюсь, но склонен верить мнению тех, кто в данной сфере компетентен (на мой взгляд, вещи и события находятся в процессе перманентного регресса, а следовательно, «современность» есть категория скорее негативная, чем наоборот, но это прямого отношения к делу не имеет) .

Далее...

Город Курехин

Санкт-Петербург навсегда останется в моем сознании его городом. Улицы, станции метро, набережные, концертные залы, книжные магазины, аудитории институтов, мастерские художников, репетиционные базы музыкантов, Пушкинская 10... На всем этом печать Сергея Курехина, его интонация, его присутствие, его походка. Его дух, его стиль, его взгляд.

Далее...

Работа в черном

Одним из ярчайших парадоксов нашего времени является факт популярности среди молодежи группы «Гражданская Оборона» и ее лидера Егора Летова. Тысячи «фанов» штурмуют залы, где проходят его выступления, юноши и девушки в майках с его портретом наполняют летом московские улицы и вагоны метро, его песни выучиваются наизусть, и на концертах публика даже не слушает его тексты — так хорошо она знает их на память.

Далее...

Последний прыгун Империи

Поразительно умным человеком» назвал Лев Толстой Проханова. Конечно, это относилось к Проханову-старшему, тоже издателю и тоже писателю, к интеллектуалу и нонконформисту, жившему сто лет назад.

Далее...

Часть 5: Парадигма души

Максимальный гуманизм

Принято считать, что традиционалистское мировоззрение в своих философских истоках сопряжено с отрицанием гуманизма как основной идейной установки Нового Времени, как эмблемы Просвещения. Отец-основатель наиболее последовательной и ортодоксальной традиционалистской школы — Рене Генон — сам неоднократно давал повод для такой уверенности, поскольку разоблачал несостоятельность «гуманизма» с точки зрения основных принципов священной Традиции.

Далее...

Постмодерн ?

Последние десять лет выражения «постмодернизм», «постмодерн» употребляются настолько часто, что становятся банальными, привычными и бессмысленными. Однако содержание этих терминов остается предельно расплывчатым. Согласия нет ни у критиков, ни у художников, ни у искусствоведов, ни у философов.

Далее...

Политический солдат

Человек состоит из двух частей. Одна — данность, очевидность. Эта часть осязаемая,

конкретная, индивидуальная. Она настолько изучена, предсказуема и механистична, что французский философ Ламетри назвал свой главный труд выразительным титулом — «Человек-Машина». Глупо отрицать, что эта часть превалирует.

[Далее...](#)

Эсхатологический смысл современного либерализма

Тезис Фрэнсиса Фукуямы о наступающем (фактически наступившем) «конце истории» теснейшим образом увязывается им самим с наступлением эры либерализма. Другой либеральный мыслитель и идеолог — Жак Аттали — в очень схожих тонах трактует «денежный Строй», *Ordre d'Argent*, который, по его мнению, сегодня окончательно сменяет «Религиозный Строй» (*Ordre de Foi*) и «Строй Силы» (*Ordre de Force*).

[Далее...](#)

Магический Властелин

Тема власти испокон веков была связана с мистическими сюжетами. Фигура царя, императора, вождя виделась в особом сакральном свете. Власть воспринималась традиционным человечеством не просто как материальное или социальное могущество, но как трансцендентное избранничество. Миссия властелина была миссией священной.

[Далее...](#)

Игнорамус

Меня в свое время очень заинтересовал такой факт: в древности, в традиционном обществе статус пророка применялся только к весьма определенной категории людей, причем важнейшим условием были их безграмотность, отсутствие официального образования, иногда даже неумение читать.

[Далее...](#)

Солнечный человек

Солнце отличается от всего остального тем, что извлекает свет из самого себя. А все остальные берут его от солнца. Есть, правда, теория, что солнце — холодный и абсолютно черный шар, который переводит в жаркий свет невидимые трансцендентные лучи с обратной стороны реальности.

[Далее...](#)

Положи свое тело в осоку

Когда обыватель ужасается описаниям чудовищных преступлений с мутацией, расчленениями, кошмарными подробностями — это понятно. Менее понятно, почему он любит, страстно любит ужасаться этому, неявно, но настойчиво требует все больше и больше ужасов, все больше и больше расчленений, чтобы, содрогаясь, в тысячный раз читать чудовищные подробности — отрезанные головы, вытряхнутые внутренности, вскрытые лона, выдавленные глаза, отделенные кости, уши, по которым полоснули бритвой, гениталии, валяющиеся в нескольких шагах от их бывших владельцев и т.д.

[Далее...](#)

Тело как представление

Чем спасается обыватель от изощренной и нахрапистой агрессии сил «ближнего зарубежья»? Он хитер, и окунаясь в пучки нефтеносно-удушливых сновидений, в импульсы и позывы, идущие как бы ниоткуда, как бы изнутри, знает бережно свою заветную гавань, свою точку опоры...

Далее...

Мазохизм и инициация

Человек подвергается унижению, насилию, давлению постоянно. Это необходимая составляющая человеческого существования. Страдательный аспект бытия. Все вещи и все сущности мира подлежат воздействию извне, безразличному по отношению к их претензиям и стремлениям, постоянно нарушающему их физическую и моральную целостность.

Далее...

Мазохизм и инициация

Человек подвергается унижению, насилию, давлению постоянно. Это необходимая составляющая человеческого существования. Страдательный аспект бытия. Все вещи и все сущности мира подлежат воздействию извне, безразличному по отношению к их претензиям и стремлениям, постоянно нарушающему их физическую и моральную целостность.

Далее...

Театр "Люди"

Был на новогоднем празднике крупной российской буржуазии. Вместе с политиками Центра и beau monde. Было много икры (черной и красной), были перепела и осетры. Порадовал огромный зловещий змей из воздушных шариков. Он открыл свою пасть с клыками и дружелюбно навис над поедающей блюда (их было слишком много) публикой.

Далее...

Тот, кто идет против дня

Тема «нового человека» — центральная не только для судьбы коммунизма в России, которая оказалась столь трагичной именно за счет того, что попытка создания такого «нового человека» не увенчалась успехом (крах этого начинания уже автоматически заключал в себе все последующие события — застой, брежневизм, перестройку и самоликвидацию социалистической империи).

Далее...

Растворение соли

Истина, реальность, религия и бытие начинаются для человека там, где кончается его «я», его «эго», его «индивидуальность». Пока эта индивидуальность есть, реальности нет. И наоборот, реальность обнаруживает себя там, где «я» заканчивается.

Далее...

Диакрисис

Одной из существенных черт полноценной личности должно быть искусство «различения движений души», которое в православной аскетической традиции называется греческим термином «диакрисис». В монашеском контексте «умного делания» эта практика имеет особый и возвышенный характер, имитировать который обычным людям вряд ли под силу.

Далее...

Побег

Устройство реальности таково. Существует круг проявленного, упорядоченного, данного, структурированного. Этот круг «мира сего». Порядок в нем максимален в центре и минимален на периферии. Это круг «мира сего» имеет свою жесткую логику, свои законы, свое фиксированное устройство. Не всегда и не всем оно понятно.

Далее...

Пять тезисов о смысле жизни

Пора называть вещи своими именами, не обращая внимания на корректность и академизм стиля. Становится ясно, что никто нас-таки и не поймет и не примет. Следовательно, придавать дискурсу отвлеченный тон не имеет большого смысла. В конце кали-юги в шахматы не играют.

Далее...

Облака

Когда современные ученые хотят наглядно объяснить теорию хаоса, они часто используют образ облаков. Цикл существования облаков представляет собой типичную хаотическую систему. С одной стороны, их общая траектория и структура подчиняются некоторой логике, можно высчитать и предопределить их консистенцию, их направление, их плотность.

Далее...

Империя сна

Сон — это то место, откуда мы приходим. Наша пробужденная реальность основана на доминации актуального (действительного). Действительное — плотно, однонаправленно, необратимо, безальтернативно. Там, где в плотном пребывает точка бифуркации, траектория может идти только по одному из маршрутов.

Далее...

Алкоголь и душа

Вино является табуированным веществом во многих сакральных цивилизациях. С его употреблением традиционно связываются многочисленные ритуалы и обряды. Показательно, что само слово «спирт» происходит от латинского «spiritus», то есть дух. Каббалисты также связывают вино с внутренними, эзотерическими аспектами.

Далее...

Эссе о галстуке

На шее старовера вы никогда не увидите галстука. Кроме того, старообрядки отличаются от прихожанок господствующей Церкви тем, что их платки заколоты под подбородком булавкой, а не завязаны узлом. Если вы заинтересуетесь причиной такого положения дел и спросите самих старообрядцев, они нехотя, сквозь зубы бросят кратко загадочную фразу: «Иудина удавка».

Далее...

Ореховый сад

Излюбленный образ каббалистов из Жероны — сад, заросший орешником. Каждое дерево усеяно орехами, а каждый орех таит в себе ядро тайны. Ореховому дереву уподобляется Тора, дворец со многими комнатами, любая ведет внутрь. Достать ореховое ядро — все равно, что войти внутрь Торы, постичь таинство Закона.

Далее...

Искусство разбивать сады

Обратили ли вы внимание, что тема сада, искусства разбивать сады, совершенно ушла из сферы нашего внимания? А ведь вплоть до последнего времени, даже при советском режиме, существовала профессия «садовника», и этому посвящались особые журналы и публикации. Сад ассоциируется с чем-то мирным, спокойным, стабильным, изысканным, даже чрезмерным.

Далее...

Крестовый поход детей

Существует крайне любопытная статистика относительно возраста самоубийц. Оказывается, что подавляющая, непропорционально большая часть таких случаев приходится на долю подростков или юношей и девушек в переходном возрасте. На сухом языке медицины это называется специальным термином — «пубертатный суицид», то есть «самоубийство, совершенное в пору полового созревания».

Далее...

Структура мужской души

Мужчину и женщину отличают не только анатомия и физиология. Это два психологических вида, два типа существ с различной, подчас полярной психиатрической организацией. В отличие от других видов животных человек гипертрофирует различия. Кстати, гипертрофированным аппаратом для схватывания различий и является человеческий рассудок.

Далее...

Мы будем лечить вас ядом

К змее традиционно плохое отношение. Этим словом ругаются. В память о соблазнении Евы в рай. Рептилии лишены ног, ползают на пузе по влажной, сырой земле. Змей соединился с сатаной. Темный дух скачет на своем безногом колыхающемся чешуйчатом коне кладбищенскими ночами, пугая упырей и спящих в кустах крольчих. Ядовитый, хладнокровный, гибкий, змей мало располагает к себе.

Далее...

"Жить надо непременно хорошо"

Когда гностик бросает на имманентный мир свой странный, слегка расфокусированный взгляд, когда контуры «черной весны» проступают сквозь, начинается первая стадия наложения полей. Они — глобальное «да», мы — глобальное «нет». С этого вяжется все остальное. Мы отстаиваем вертикаль, и утверждаем, что скорлупы — порабощение и обман.

Далее...

Пусть ветерок овеет душу твою

Предельное напряжение человеческих усилий, выливающих в экстремальный опыт, приближает человека к инициации. Так рождается тема — «инициация и революция». В возможном опыте предела мерцает воронка невозможного опыта запредельного. На этом зиждется концепция «тамплиеров пролетариата».

Далее...

По следам Иодалбаофа

Просматривая архивы ОГПУ о деятельности мистических организаций в Советской России 20–30-х годов, наткнулся на дело одного молодого человека. Мне сразу стало ясно, что на этот раз мы имеем дело с чем-то экстраординарным.

Далее...

Ошым ошым

В поезде Москва-Казань я был насторожен. Спутник в купе на четырех был один. Но я ему почему-то не доверял. Ему было за 60. На вид совершенно безобиден. Он переодевал штаны, широко распахнув дверцы купе. Крайне корректный и тихий тип. Молчаливо вежливый.

Далее...

Математика

Они вошли, когда было уже поздно. Двое, с желтыми вытянутыми лицами, на кончиках ушей весела неприятная белесая шерсть. Локти широкие, конструкция. Водопровод не согласился с этим, и дал свою захлебывающуюся математической бесконечностью турбулентную мандельбровтовскую песнь. Однажды, я уже слышал как трубы выли - упорно, гулко, из Большой Медведицы вытягивая слова и слезы, кого-то поминая...

Далее...

Смерти звонкая песнь

Через плечо врача я заглянул в его тетрадку. Там были имена умирающих и его сухие комментарии. У кого-то показания пульса, у кого-то показания кала. Напротив одной фамилии было написано "неадекватен". "Неадекватен" был мне особенно близок. Перед тканью небытия вполне можно стать неадекватным. Труп неадекватен жизни, и кто шагнул за черту, пока еще не испустил дух, просто забежал вперед.

Далее...

Оглавление «Русская Вещь»

А.Г.Дугин

Русская Вещь, Арктогея, 2001
Газета "Завтра", 1999

МЫ И МИЛЛЕНИУМ

Дорогами лжи

Нас очень давно и очень жестоко обманывают. Обманывают во всем. Обманывают по-крупному. И это началось не вчера...

Такого мира, такой реальности, такой страны, такого человечества, что нам описывают авторитеты науки, культуры и политики, не существовало и не существует. Все вещи в нашем апокалиптическом мире подменены, будто мы смотрим на все сквозь гипнотическое марево, устроенное злостными заговорщиками, умелыми пройдохами-магнетизерами на службе князя мира сего...

Мы только что перешли за грань тысячелетия, но думаем о зубной пасте и плате за телефон. Вроде смутно, из-за тумана безразличия ощущаем мы, что где-то рядом Родина, Россия, что вокруг разлит плотный бульон нашей народной среды... Но что за Родина? Где Родина? Откуда и куда? В каком часе живет она? — Об этом не задумываемся, да и не можем толком задуматься, ведь все системы координат сбиты, структуры мирозерцания искорежены, а квакающие розоволицые жрецы вырождения обрывками самовлюбленных сентенций и нравочений окончательно портят дело.

Россия не только утрачивает свое место в истории, она утрачивает осознание истории. Россия не только теряется в пространстве, она теряет осознание пространства.

Перед лицом миллениума мы, голые, разинувшие рты, с марлей на глазницах, с глупым кульком в руках. Душа русских в гипсе...

Черно-золотой миллениум

Того однонаправленного времени, которое необратимо течет из прошлого в будущее и о котором столько лет нам твердили проповедники «прогресса», не бывает в природе. Время обладает особым качеством, связано сложным образом с вечностью, может быть пройдено в обоих направлениях. Это базовый религиозный факт: пророки видят и то, что есть, и то, что было, и то, что будет. И все три модальности священной истории сосуществуют, соприсутствуют в бытии. Обычным людям они открываются последовательно, развертываясь в определенном порядке. Но исключительные личности могут иметь с таинственной стихией времени совсем иные отношения. Эти исключительные воспринимают вечность как факт, как реальность опыта. Остальные должны верить в вечность, верить в бытийную непреходящую сущность и того, что было, и того, что будет. Те, кто уверяют, будто существует лишь эфемерное мгновение, лишь ускользающий миг «здесь и

сейчас», а остальное лишь представление, — марионетки антихриста. Их место: зверские костры геенны.

В каком разделе священного времени дышит сегодня Россия? В каком историческом периоде мы живем?

Ответ неутешительный. (Или все обстоит тоньше?) Мы живем вплотную к концу.

К нему приблизились мы, следуя естественным дорогам деградации. Прогресса не существует. Существует только регресс. От обожженного первородного мира мы удаляемся вон. Технические протезы силятся восполнить утрачиваемую духовную суть, но не могут этого сделать, и лишь усугубляют падение, приближая финальную катастрофу. Техническое развитие есть зло и внешнее выражение активного духовного упадка.

Давно исчерпаны ресурсы золотого века. Позади век серебряный. Бронзовый век героев закончился. И даже железный век темной индустрии закрыт. Миллениум окрашен в черные цвета. Finis Mundi. Черный миллениум.

Это общий диагноз человечества, но нас он касается в первую очередь. Почему?

Потому что мы были последними избранниками, и наша золотая спасительная мировая миссия закончилась только вчера... А может, даже и не совсем закончилась...

Священные цивилизации древности неспешно прошли весь путь мировой деградации — от золотого века к вавилонской пыли и пескам забвения — мерной поступью тысячелетий. На последней черте бездны свистящее в ад человечество античности было поддержано милосердной жертвой Сына. Перед завершающим аккордом, когда спирали регресса подходили к фатальной черте, Сын Божий открыл истинный путь последним детям последнего века.

Православие явилось как Новая История, в невероятной спасительной перспективе отразившая все предшествующие эпохи. За две тысячи христианских лет мы убыстренно прожили бескрайние века далеких эпох, насчитывающие долгие тысячелетия плюс те блаженные зоны, когда годы и столетия вообще никто не считал.... И снова от золотого века к железному. Золотой век Константина и Вселенских соборов. Серебряный век Византии. Бронзовый век Москвы-Третьего Рима. И железный век современного тотального отступничества. Последняя черта — русский раскол. Далее тьма объяла все. Вавилон здесь.

Россия прожила серебряный век Православия на периферии, хотя солнечно и достойно. Предущая вместе с митрополитом Илларионом великое будущее. Но в бронзовом веке Православия Москва стала центральным субъектом. Для этой Московской Руси и были от века замыслены страна и ее народ, т.е. мы (Или «не совсем мы»? Или «совсем не мы»?). Вне Руси не было спасения, к нам стянулась духовная энергия веков, лучи вечности полоснули Родину. И вечность — все та же, что и у древних, что и у пророков, что и у праотцев и святых — посияла в нас-богоносцах. И русские вошли в святую святых времени, в его сердцевину, где его попросту нет.

Но пала Московская Русь, и железный антихрист пришел, теперь уже всерьез и надолго, теперь уже повсюду.

Медленно сползали мы (по-романовски с французиками во главе) в историческое ничто. А место ампутированного субъектного измерения ныло. Старообрядцы, русские сектанты и очарованные странники всех видов и типов выли от безумной бронзовой боли. Потому душа русских саднит так, как хрустят в костре добровольные тела, как валяются в омут отчаянные, исполненные высшего упования граждане тайной России, с паспортами небесной канцелярии. Железный век как безумная боль — таков был последний русский завет от Аввакума до Сталина.

В том Октябре великое страдание вышло из-под спуда, резануло кровью бескрайние наши земли. Красные. Это было и намного хуже и намного лучше одновременно. Был выпущен вовне глубинный дух. А уж как он метался, как бил ядовитым мясистым хвостом — не нам морально судить. Те, кто знают, о сущности какого порядка шла речь, предпочитают не раскрывать рта. Есть глубины, не поддающиеся нравственной оценке. Омочи в них хоть палец, и ты уже никогда не сможешь остаться прежним.

Красные. Они пытались сконструировать из отсутствия и тоски оптимистический вал, преобразить боль и нищету железного века в триумф солнечного созидания. Они по-своему толковали крестное таинство Ники.

Наверное, мы никогда не поймем по-настоящему советский этап священной истории человечества. С одной стороны, это его законоучителя распространили бредни о прогрессе, механицизме, банальном, как коленка, атеизме, миф обезьяны, амеб, бактерий и звездопланов, глупости относительно равенства людей, презрение к прошлому, историцистскую эфемерность и т.д. Но вместе с тем сквозь гримасы советского идиотизма проступали удивительные черты какой-то иной мысли, сияющей высказаться, дать о себе знать, выпростаться из-под пластов оледенелой немоты, но постоянно срывающейся, соскальзывающей, впадающей в ступор.

Это была трудная, труднейшая мысль о Конце. Но также и о Начале. Мысль о боли и скорби, о невозможной радости и неизбежной тоске.

Красные — их хочется застрелить и обнять одновременно. Насколько они внутренние, хотя стремятся казаться сплошь внешними. Насколько они инфантильны, желая выглядеть умудренно взрослыми.

Советский эон — последний аккорд железного века.

Здесь тонкость: мы были последними субъектами бронзового этапа священной истории христианства. Мы сохранили — в определенном и часто парадоксальном смысле — верность этой миссии и в следующем веке, в железном. Наш железный век был образцовым. Пошлости либерального вырождения мы противопоставили кровавую драму большевизма. Поэму «12». Тихому соскальзыванию вон из реальности остального человечества — парадоксы милосердного геноцида, пулеметный хрип соляного Чевенгура.

Но и это сейчас в прошлом. Хотя все же существует здесь и сейчас. Это наши тела, рожденные из чресл прирожденных убийц Октября, светлых паладинов боли. Это наши улицы, наши снаряды, наши волосы, траектории наших мыслей и плотских влечений. Святость бронзовой Московской Руси и донное восстание красного дракона из-под нижних границ банальности пропитали нас сквозь то семя, из которого мы — русские люди миллениума — вылупились. Пойди нет!

А сейчас? Пусть скажут нам, что сейчас! Неужели только конец? Небытие? Налитые свинцовой пустотой лабиринты мирового рынка и планетарного менеджмента?

Не правда. Не только. Просто мы неверно понимаем Конец.

Конец, эсхатон — это тотальная реставрация. Для нас, православных, даже нечто большее, — намного, намного большее, чем тотальная реставрация. Это Брак, Брак по ту сторону границ. Обещанный, постоянно откладывающийся, который изнуренно, израненно, измучившись и измучив других, мы устали ждать. Наш Брак. Свадьба без меры. Жених-Огонь. «Огонь попаляя».

Сейчас-то и решается — каким девам спать, каким бодрствовать. Каким вжигать свещу, каким похрапывать в дреме.

Пять дев Руси. Пять обновленных внутренних чувств. Пять отточенных крайней болью, страданием и состраданием, горями, ярмарками и НКВД органов нашего национального восприятия.

На грани Великой Полночи. На черте миллениума. Русь. Половина — спит, половина — бодрствует. (Где обретешься ты?)

Чтобы наконец свершилось! Чтобы грянуло! Чтобы разорвало кишки небес! Чтобы грохнуло точилом гнева на ублюдочные поколения-Х апокалипсиса! Чтобы пожрало и нас и их! Всех! Кто-то выплывет с той стороны, кто-то захлебнется. Не важно! Гарь! Гарь! Как Илия... Кому колесница, кому колесование... Гори, ясно, ясно гори...

Грозные ангелы так близко, так близко... Их группа уже прибыла, вот-вот они выйдут из черных хромированных автомобилей...

Впереди — Конец, но что может быть горше и слаще этой встречи...

«Wann endet die Zeit? Gott weiss es. Gott allein weiss es».

Северо-Восток

Теперь о пространстве. Где лежит Родина? Где место России?

Каждая точка пространства отлична от другой точки. Их порядок, их содержание, их смысл predeterminedены от века. В бытии ничего не равно самому себе или чему-то другому. Реальность открыта лучам духа, который везде присутствует, наполняет собой все. И это световое измерение наделяет каждую точку священным качеством. Tout se tient. Нет ничего случайного.

Пространство живет своим пульсом. В каждой точке пространства — свои законы и нормативы, свои константы и свои процессы. Современная физика—наука мертвая, раз не знает этого. Это физика железного века, физика духовного антихриста. Она (как и остальные сугубо современные науки) имеет дело с мертвым количественным миром, которого не существует. Она способствует убийству живого священного бытия, утверждая о его природе злоешие примитивные небылицы. Не человек, а пространство произошло от обезьяны, а люди от Света. Но какая это была обезьяна!

Русское пространство произошло от медведя, борова и яблока. Так назывались в сакральной географии земли Северо-Востока Евразии. Земля вепря, позже медведя. Варахи. Или «яблонева страна» — Джамбудвипа. На Востоке у одних народов, и на Севере у других находится рай. Нордический евразийский рай. Отсюда и волшебные яблоки Гесперид, Древо познания, молодильные яблоки скандинавских мифов. Отсюда особый пронзительный метафизический вкус русской антоновки. Помощь яблони в русских сказках заблудшим в магические регионы Севера добрым молодцам и красным девицам.

Мировая история в пространственно-символическом смысле шла с Севера на Юг и с Востока на Запад. Она шла прочь от истоков. Шла «от», а не «к». В ней проматывалась вечность, простираясь плоскостью времени. В ней разбазаривалось животворное райское качество, обращаясь в темные механизмы количества, пока не исчезло окончательно в колышущейся массе капитала. Случайно ли нынешние гегемоны и властители финансов и материй сгрудились на Западе? Окопались там?

Нет. В этом закон пространства. Капитал побеждает там, где гибнет солнце. У этих гадов и климат сочинский даже на наших широтах. А у нас пляжи покрыты снегом. Наше пространство туристически не ценно, не привлекательно для капитала. Просто потому, что это пространство рая, а оттуда кое-кого настолько давно погнали, что стерлась даже память. И построили они город на холме, и истребили краснокожих дикарей, и открыли салуны и таверны, и стали торговать, завозить черный живой товар, размножаться, давать в долг и соблюдать права человека.

Русь, пусть железная и падшая, пусть Вавилон, тысячекратно ближе к раю, чем не-Русь. Даже сегодня, даже с расквашенным лицом, с размазанной по щекам тушью, с оборванной прядью, осоловелым нестоличным взглядом, захватанной уголовниками грудью.

Но мы знаем, чем «бысть место лобное»... Мы принесены в жертву заклания, в жертву всеожжения «новым мировым порядком», но это искупительное страдание.

Воюя с Западом, мы воюем с собственной смертью.

Мы—райский град Евразии, апокалиптический свидетель, обличающий в последний раз крепость апостасии, зарвавшегося от своей безнаказанности гуманитарного антихриста.

На пороге миллениума Россия раскинулась на широтах утерянного рая. Он закрыт и для нас, но остались щели, сквозь которые лупит палящий русское сердце огонь.

Небесный Иерусалим — вот наша Россия. Он сомкнется с медведеобразными очертаниями наших просторов, когда ткань истории истончится до папиросной пленки. И башни двенадцати краев его совпадут с далекими заставами наших пограничников, заброшенных на последних рубежах, смотрящих в ночь невразумительных и агрессивных народов, рассеявшихся вокруг и затаивших баранью злобу.

Правительство Нового Иерусалима. Парламент праведных, воссиявших аки солнце. Министерство Внутренних Дел карающих ангельских полчищ. Архангел Михаил на жеребце в яблоках.

Оставаясь на месте, мы окажемся впереди всех...

Будучи верными земле, будучи верными нашей земле. Другой такой нет.

На грани миллениума, на грани смерти и воскресения, гибели и возрождения. На грани вечного вопроса о вечности, о бытии, о небытии.

Бессмысленно и беспощадно.

А.Г.Дугин

"Элементы", №9, 1999 | "Русская Вещь", Москва, 2001 | "Философия Войны", Москва, 2004

ПАРАДИГМА КОНЦА

(начало)

Последняя степень обобщения

Анализ цивилизаций, их соотношения, их противостояния, их развития, их взаимосвязей — настолько сложная проблема, что в зависимости от методики, от уровня исследования результаты могут получиться не просто различными, но прямо противоположными. Поэтому даже для получения самых приближенных выводов необходимо применять редукцию, сводить множество критериев к одной упрощенной модели. Марксизм однозначно предпочитает экономический подход, который становится субститутотом и общим знаменателем для всех остальных дисциплин. Так же, в сущности, хотя и менее эксплицитно, поступает либерализм.

Качественно иной метод редукции предлагает геополитика, менее известная и менее популярная, нежели разновидности экономического анализа, но не менее эффективная и наглядная в объяснении истории цивилизаций.

Еще одной версией редукционизма являются разнообразные формы этнического подхода, включая как свой экстремум «расовые теории». Наконец, свою редукционистскую модель истории цивилизаций предлагают религии. Эти четыре модели представляются наиболее популярными путями обобщений, и хотя существует множество иных методик, вряд ли они смогут сравниться с ними по степени наглядности и простоты.

Так как понятие «цивилизации» является чрезвычайно масштабным, — быть может, самым масштабным из тех, что способно выработать историческое сознание человечества, — то и методы редукции должны быть крайне приближительными, оставляющими в стороне нюансы, детали, подробности, факторы средней или малой значимости. Цивилизации — такие человеческие конгломераты, которые имеют обширные пространственные, временные и культурные границы. Цивилизации, по определению, должны иметь значительный объем — они должны длиться долго, контролировать значительные географические регионы, вырабатывать особенный выразительный культурный и религиозный (иногда идеологический) стиль.

В начале третьего тысячелетия от Р.Х. само собой напрашивается подведение некоторых итогов в истории цивилизаций, так как круглая дата наводит на мысль о достижении некоего порога, черты. И следовательно, возникает желание свести разные направления цивилизационного анализа к единой, универсальной парадигме. Конечно, степень упрощения, огрубления и редукции будет здесь еще большей, нежели в четырех названных редукционистских моделях, но едва ли это следует считать непреодолимым препятствием. Любое обобщение (удачное или нет, оправданное или не очень) всегда с необходимостью наталкивается на бурную критику, которая может исходить как со стороны «узких специалистов», давно забывших об изначальных принципах в водовороте деталей, так и со стороны сознательных (или бессознательных) сторонников иного обобщения, чисто прагматически использующих противоречия в мелочах для дискредитации целого.

Как бы то ни было темы «конца истории» (Фрэнсис Фукуяма), «столкновения цивилизаций» (Самуил Хантингтон), «нового мирового порядка» (Джордж Буш), «новой парадигмы» (Нью Эйдж), «мессианских времен», «конца утопии», «искусственного рая», «апокалиптической культуры» (Адам Парфри) становятся все более популярными по мере приближения к границе века — границе

миллениума. А все эти темы в той или иной степени оперируют как раз со сложными редукционистскими моделями, являющимися плодом сведения воедино более ограниченных методологий — в первую очередь, 4-х перечисленных.

Реальный марксизм

Учение Маркса было столь популярно в XX веке, что говорить о нем сложно, особенно в России, где марксизм в течение долгих десятилетий провозглашался официальной идеологией. Столь же болезненным и перенасыщенным аллюзиями и коннотациями этот вопрос представляется и для западных интеллектуалов, для которых полемика и дискуссии относительно Маркса были центральной темой философских и культурологических дискурсов. Маркс как никто иной повлиял на современную историю — трудно назвать имя мыслителя, сравнимого с ним по известности, популярности, тиражам книг. Но чрезмерная эксплуатация марксизма привела в какой-то момент к обратному результату — его идеи и доктрины казались столь универсальными, что их в какой-то момент просто перестали понимать, превратив марксизм в «догму», в гаджет, в невразумительный штамп, который стал использоваться и толковаться совершенно произвольно. Марксисты-ортодоксы заморозили рефлексию в этой области, канонизировали взгляды Маркса даже в тех сферах, где они были наглядно опровергнуты ходом самой истории (как экономической, так и политической). Еретики и ревизионисты слишком растянули марксизм, включив в него идеи и теории, строго говоря, никакого отношения к марксистскому контексту не имевшие. И постепенно мы столкнулись с парадоксальной картиной, когда наиболее популярный и знаменитый мыслитель современности и его теории оказались непонятными, неизвестными, непроницаемыми для большинства. В конце концов гордиев узел марксизма был попросту ликвидирован признанием философии и политэкономии марксизма «заблуждением» и затем всеобщим отказом от этой идеологии. Чрезмерные превозношение и догматизация превратились в столь же чрезмерные ниспровержение и релятивизацию. И со стремительной скоростью казавшееся столь внушительным здание марксизма было внезапно и повсеместно разрушено. Причем самыми рьяными ликвидаторами были именно силы, ответственные за создание отчужденного догматического культа Маркса. Как бы то ни было, идеи Маркса сейчас практически не имеют наследников, но от этого они не стали менее глубокими и поразительно точными в решении определенных вопросов. Складывается ситуация, когда марксизм, полностью растерявший своих традиционных сторонников, может быть взят на вооружение совершенно иными силами, оставшимися в стороне от марксизма в то время, когда вокруг его идей царил интеллектуальный и политический ажиотаж.

Подобная дистанция и отсутствие ангажированности в тот или иной марксистский лагерь на предшествующих стадиях интеллектуальной истории, позволяет переоткрыть Маркса заново, прочесть его послание так, как это невозможно было ранее. Совершенно явно, что огромная часть культурно-исторических воззрений Маркса безнадежно устарела, и многочисленные аспекты его доктрины следует отбросить в силу неадекватности. Однако продуктивнее беспристрастно рассмотреть те аспекты его учения, которые, напротив, полностью сохранили актуальность и которые помогут понять важнейшие аспекты парадигмы истории в ее экономическом и социально-политическом ключе. И здесь равных Марксу нет. Именно он сформулировал емкую редукционистскую модель экономической истории, способную с поразительной достоверностью, наглядностью и убедительностью объяснить ее сущностные процессы и ориентации. Поэтому нелишне будет вспомнить основы марксистского понимания формулы истории.

Подход Маркса к истории — диалектический, предполагающий динамическое развитие соотношений между главными субъектами исторических событий. Вместе с тем в его теории ясно просвечивает основополагающий дуализм этих субъектов, который предопределяет диалектику, является ее содержанием и этической основой ее трактовки. Эти два субъекта Маркс определяет как Труд и Капитал. Труд Маркс рассматривает как созидательный импульс бытия, как центральную ось жизни и движения, как некий положительный, солнечный принцип. Используя дарвинистские образы, марксизм утверждает, что «труд создал человека из обезьяны». Речь идет о том, что стихия созидания, производства является тем главным бытийным вектором, который направляет процессы из горизонтального, инерциального состояния в состояние вертикальное, волевое. Труд, по Марксу, положительное начало, «светлый» принцип. В отличие от библейской этики, в которой подразумевается, что Труд был результатом грехопадения и своего рода проклятием Адаму за преступление божественных заповедей (такое отношение к Труду характерно и для иных религиозных традиций) Маркс однозначно утверждает священный, целиком позитивный характер Труда, его сакральность, первичность, самоценность и самодостаточность. Но в своем изначальном состоянии Труд как первоимпульс развития и стартовый момент истории — подобно Абсолютной Идеи Гегеля — еще не осознает себя сам, не может реализовать полноты присущей ему световой природы. Для достижения этого требуется долгий и сложный процесс движения по диалектическим лабиринтам истории. Лишь по мере страшных испытаний и тяжелых подвигов Труд, через череду диалектических самоотрицаний, сможет дойти до своего триумфального победного состояния, стать до конца сознательным, счастливым и свободным. Вся история, по Марксу, простирается между

«пещерным коммунизмом» — изначальным состоянием, когда Труд был свободен, но не осознан и не универсален — и просто коммунизмом, когда через лабиринты отчуждения он вернется к световой самодостаточности, но уже в тотальном, универсальном и до конца осознанном объеме. Человек стал человеком после того, как он вошел в стихию Труда. Но до конца он станет человеком только тогда, когда сможет осознать абсолютную ценность этой стихии, освободить ее от всех примесей отрицательного начала, то есть при коммунизме.

Каков же отрицательный полюс в марксизме? Что противостоит световой природе Труда? Маркс называет это «эксплуатацией», а высшую и совершенную форму такой эксплуатации он угадывает в Капитале. Капитал — имя мирового зла в марксизме, темное начало, отрицательный полюс истории. Между «пещерным коммунизмом» только что появившегося человека и конечным коммунизмом лежит долгий период «эксплуатации», отчуждения Труда от своей сущности, испытания и лишения солнца в лабиринтах мрака. Это, собственно, и есть содержание истории. Капитал возникает не сразу, он постепенно проявляется по мере того, как совершенствуются инструменты и механизмы эксплуатации световой стихии Труда темными силами узурпаторов. Развитие Труда способствует развитию моделей эксплуатации. Сложная диалектика постоянной динамики соотношения производительных сил и производственных отношений ведет оба полюса экономической истории по спирали развития. Противоположные цели и вектора деятельности тружеников и эксплуататоров, объективно способствуют интенсификации единого политэкономического процесса. Производительные силы — это внутренняя структура Труда и его организации. Производственные отношения — модель взаимодействия этой подчиненной базовой структуры с эксплуататорским началом. Стихия Труда — это стихия изобилия. Труд всегда производит нечто большее, чем необходимо для покрытия насущных потребностей самих тружеников. В этом — сущность его положительного, созидательного, светового, солнечного начала. Труд производит плюс.

Этот плюс, этот переизбыток изымается темным полюсом, паразитом истории. Производственные отношения на протяжении всей экономической истории сводятся к экспроприации некоторой субстанции у носителей плюса носителями минуса. По мере совершенствования производительных сил совершенствуются парадигмы эксплуатации. Но уже с самых первых шагов истории человечества можно обнаружить характерные черты двух сущностей, которые столкнутся между собой в полную силу лишь в ее конце. Первобытный труженик — зародыш промышленного пролетариата. Родоплеменная знать — зародыш Капитала.

Проходят долгие тысячелетия человеческой истории, и два субъекта мировой драмы доходят до наиболее чистого состояния, до конца осознанного и резюмирующего все предшествующие этапы. Из рабовладельческого строя через феодальные отношения складывается капитализм, важнейший и во многом эсхатологический этап марксистской доктрины. Здесь вся сложная социальная картина сводится к предельно ясной дуальности — пролетариат как класс воплощает в себе результат экономико-исторического развития стихии Труда, а буржуазия концентрирует в себе абсолютизированный, наиболее совершенный, законченный и сознательный полюс чистой эксплуатации. Светлый полюс завершает свой трагический путь через лабиринты отчуждения, и темный полюс приходит вплотную к совершенной победе. Пролетариат и Капитал. Чистый Труд — пролетарий не имеет никакой собственности («кроме цепей») — и Чистый Капитал, превратившийся из того, чем обладают, в то, что обладает, в стихию Чистого Отчуждения, Абсолютной Эксплуатации.

Маркс сводит к этой политэкономической схеме все остальные исторические, философские, культурные, социальные и научно-технические проблемы, считая их производными и вторичными относительно базовой парадигмы.

Далее, Маркс провозглашает, что вторая промышленная революция, знаменующая достижение капитализмом своего пика, является поворотным пунктом мировой истории. С этого момента оба исторических субъекта — и Труд и Капитал — становятся не просто игрушками в руках объективной логики истории, но сознательными и самостоятельными ее субъектами, способными не только подчиняться необходимости, но и управлять важнейшими историческими процессами, предуготовлять их, провоцировать, проектировать, утверждать свою автономную волю. Речь идет не об индивидуальном или групповом, но о классовом субъекте. Пролетариат, став классом, становится исторической личностью, осознанным Трудом, наследником плюса во всех этапах его развития. Капитал сосредоточивает в себе мировой минус, изъятие, отчуждение, но только в свободном, волевом, личностном состоянии. Отныне он способен планировать историю, управлять ею.

Труд и Капитал на этом этапе переходят на уровень идеи или идеологии, существуют отныне не только в объективной ткани реальности, но и в мировоззренческом пространстве мысли. Приход

этих двух персонажей в сферу мысли до конца обнажает сущностный дуализм и в этой области — есть мысль Труда и есть мысль Капитала, есть мировоззрение плюса и мировоззрение минуса. Оба этих мировоззрения получают максимально возможную независимость и свободу, и вся область сознания превращается из сферы отражения в сферу творчества, проектирования. Мировоззрение Труда (пролетарская философия) и здесь сохраняет свой созидательный характер, оно создает и творит проект. Мировоззрение Капитала (буржуазная философия) остается сущностно отрицательной — оно узурпирует не присущую ему энергию умственного труда и репродуцирует пустоту, концептуализирует иммобилизм, замораживает жизнь, постулирует данность и отрицает задание.

Высшей и самой совершенной формулой Капитала является, по Марксу, английская либеральная политэкономия — особенно теория «свободного обмена», «универсального рынка» Адама Смита и его последователей. Но кроме этой наиболее явственной формы существует множество более нюансированных, сложных, комплексных мировоззренческих конструкций, скрывающих за собой тлетворное, паразитическое дыхание Капитала. Буржуазная философия становится отныне наиболее эффективным оружием эксплуатации, ее высшей формой. Но в противовес этому складывается и доктринальный корпус самого рабочего класса, все более проясняются основные контуры коммунистической идеологии. Собственное творчество Маркс рассматривал именно в таком контексте. Он предчувствовал, что его идеи лягут в основу «пролетарской философии», станут важнейшим орудием Труда в его эсхатологической последней битве против извечного врага.

Маркс провозгласил своего рода «Евангелие Труда». Он утверждал, что теперь в поворотном моменте политэкономической истории, Труд, ставший Чистым Трудом, должен мгновенно осознать себя и свою историю, полностью взять на себя функцию одного из двух телеологических полюсов истории, выявить механизм обмана и отчуждения, лежащий в основе всякой эксплуатации, разоблачить негативную, вампирическую, чисто отрицательную, минусовую функцию Капитала (через разъяснение логики производства и экспроприации прибавочной стоимости) и осуществить пролетарскую Революцию, которая должна низвергнуть Капитал в бездну небытия и вырвать мировое зло с корнем. После краткой фазы переходной формации (социализма) наступит «рай на земле», Труд полностью освободится от темного начала.

Вот, в самых общих чертах, смысл марксистской политэкономической модели. И следует признать, что он настолько убедителен и достоверен, что неудивительно, почему взгляды Маркса овладели таким количеством людей в XX веке, став своего рода религией, за которую приносились невиданные жертвы. Каким образом сценарий Маркса реализовался на практике? В чем он оказался неточен, что было опровергнуто? Как следует оценить содержание политэкономической истории нашего столетия, оставаясь в пределах намеченной марксизмом философии истории?

Вступая в третье тысячелетие, мы можем утверждать, что Капитал победил Труд, сумел избежать надвигающейся Революции, растворить законченное историческое проявление Труда как революционного субъекта, предотвратить гибельную для себя перспективу концентрации пролетарской философии в унитарном полноценном мировоззренческом аппарате. Но, тем не менее, Труд, вдохновленный Марксом, попытался дать «последний и решительный бой» своему изначальному врагу. Труд потерпел поражение, но факт великой битвы отрицать невозможно. Она и составляет главное содержание политико-социальной истории XX века. Вполне по Марксу только с иным (недобрым) концом. Победило мировое зло. Минус оказался сильнее и хитрее плюса. Субъектность Капитала доказала свое превосходство над субъектностью Труда.

Как это происходило на практике?

Первый сбой относительно марксистской ортодоксии произошел в момент Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие стало ключевым поворотным моментом постмарксистской истории. С одной стороны, восстание марксистов-большевиков доказало, что идеи Маркса верны и подтверждены практикой. Пролетарская коммунистическая рабочая партия смогла совершить революцию, свергнуть эксплуататорский строй, уничтожить власть Капитала и буржуазный класс, построить социалистическое государство, отталкиваясь от основных положений самого Маркса. Причем главенствующей идеологией этого государства был объявлен марксизм. Иными словами, русский опыт дал первое подтверждение правоты и действенности революционного марксистского учения. Однако в ходе русской революции обнаружилось одно важнейшее обстоятельство — успешная пролетарская революция произошла не там и не тогда, где и когда предсказывал сам Маркс. Пространственно-временная погрешность была не количественным, но качественным фактором. Поэтому она была нагружена огромным доктринальным значением.

Маркс полагал, что окончательное становление пролетариата как класса и его оформление в революционную партию должно произойти в наиболее развитых странах промышленного Запада,

т.е. именно там, где буржуазные механизмы достигли своего наиболее совершенного развития, а промышленный пролетариат составляет социальную доминанту всех производительных сил. При этом Маркс считал, что пролетарские революции немедленно спровоцируют цепную реакцию в остальных государствах и обществах. Маркс был уверен, что в иных пространственно-временных точках социалистические революции произойти не могут, так как в них оба исторических субъекта — Труд и Капитал — еще не достигают той стадии, когда возможен полный и адекватный перевод материального в идеальное, объективного в сознательное, предельного состояния развития базиса в адекватную форму надстройки. Русский опыт продемонстрировал, что социалистическая революция оказалась возможной и осуществилась успешно в стране с неразвитым капитализмом, задолго до полномасштабного свершения второго этапа промышленной революции, в стране с очень незначительным процентом промышленного пролетариата, а после победы большевиков революционные процессы отнюдь не перекинулись в Европу, но остановились в пределах бывшей Российской Империи. Труд оформился в политическую партию и победил Капитал в совершенно иных условиях, нежели те, которые предвидел Маркс. Иными словами, историческая Революция в России скорректировала теорию ее духовного отца.

Смысл этой исторической коррекции наиболее емко может быть схвачен при обращении к феномену национал-большевизма, подробно разобранным Михаилом Агурским*. Пролетарская революция в России доказала, что победа Труда над Капиталом возможна и реальна лишь при том условии, что в этом политико-экономическом акте участвуют некоторые дополнительные измерения — национальное мессианство (чрезвычайно развитое у русских и восточно-европейских евреев), мистические и сектантские хилиастические тенденции (народа и интеллигенции), бланкистский, орденский, заговорщический стиль революционной партии (ленинизм, позже сталинизм). Кстати, аналогичный, хотя гораздо менее радикальный набор, обеспечил победу иной антикапиталистической силе, которой удалось на практике осуществить квазисоциалистическую революцию, — итальянскому фашизму и германскому национал-социализму. Иными словами, марксизм оказался исторически реализуемым в гетеродоксальном, национал-большевистском исполнении, несколько отличном от строгой концепции самого Маркса. Он сбился в реальности лишь в сочетании с иными факторами, а конкретно — там, где политэкономическая доктрина Маркса сопрягалась с культурно-религиозными тенденциями, довольно далекими от дискурса автора «Капитала». По контрасту с успехом исторической реализации марксизма в национал-большевистском исполнении на самом буржуазном Западе в тот момент, когда капитализм дошел до предела своего развития, т.е. до порога третьей промышленной революции (а это случилось в 60-70-е годы XX века), перехода к социализму не произошло. Если гетеродоксальная версия марксизма оказалась осуществимой, то ортодоксальная версия была опровергнута историей. Капитализм в его наиболее развитой форме сумел преодолеть самый опасный для него момент развития, эффективно справиться с угрозой пролетарского восстания и перейти к еще более совершенному уровню господства, когда сам альтернативный оппозиционный субъект — пролетариат как класс и как эсхатологическая революционная партия Труда — был упразднен, рассеян, испарен в сложной системе безальтернативного «общества зрелищ» (Ги Дебор). Иными словами, постиндустриальное общество, став реальностью, окончательно показало, что буквально понятые пророчества Маркса не реализовались на практике. Это, кстати, является причиной глубочайшего кризиса современного европейского марксизма.

Но мы знаем сегодня и о печальном конце социалистического государства, которое самоликвидировалось в результате сугубо внутренних процессов, приведших национал-большевистский строй к роковой черте буржуазной перестройки. А за 40 лет перед этим пали и иные некапиталистические режимы Европы — фашистская Италия и нацистская Германия. Таким образом, к концу XX века Капитал победил труд во всех его идеологических проявлениях — в качестве ортодоксального марксизма (в лице европейской социал-демократии), в национал-большевистской версии Советов и в виде совсем уж приблизительных и компромиссных вариантов европейских режимов т.н. «Третьего Пути».

Победа Капитала над Трудом кроме всего прочего показывает большую степень сознательности именно этого полюса истории, который способен долговременно и последовательно сохранять верность своей изначальной цели, готов делать выводы из изучения концептуальных моделей его исторических врагов и освоить на практике в превентивных целях некоторые методологии и парадигмы, вскрытые революционным гением. После Маркса в глобальном политико-экономическом масштабе лагерь Труда был разделен на три дисгармоничных, конфликтующих между собой идеологических лагеря. — Советский социализм (национал-большевизм), западная социал-демократия и (с оговорками) фашизм. Капиталистический лагерь оставался существенно единым и ловко использовал противоречия в идеологиях Труда. Так, вместо единой пролетарской революционной коммунистической партии в критический момент истории на буржуазном Западе сложились — просоветские, радикально настроенные большевистские организации под контролем Коминтерна, а значит геополитически связанные с Москвой как столицей Третьего Интернационала и проводящие ее волю; автохтонные социал-демократические партии, борющиеся за влияние в

пролетарских кругах с промосковскими силами; и наконец, национал-социалистические движения, проецирующие национал-большевистский опыт Москвы (но в гораздо более смягченном варианте) на свой национальный контекст.

Стратегия Капитала заключалась в том, чтобы всячески противопоставить три разновидности идеологического выражения сил Труда друг другу, любой ценой избежать их консолидации в единый исторический социально-политический организм. Для этого социал-демократия и большевизм противопоставлялись фашизму, а сам фашизм — социал-демократии и большевизму. Пиком этой стратегии был «Народный Фронт» Франции эпохи Леона Блюма и союзнические отношения СССР с Англией и США в войне против стран Оси.

С другой стороны, западные социал-демократы (как носители не национал-большевистской марксистской ортодоксии) активно втягивались в политический коллаборационизм с буржуазным истеблишментом через парламентское представительство, коррумпировались через сотрудничество с системой и одновременно противопоставлялись «агентам Москвы» из большевистских ленинских партий (линия Карла Каутского — в высшей степени показательна в этом смысле). И наконец, в рамках самого советского государства не произошло последовательного и совершенного доктринального оформления национал-большевизма в осознанную и непротиворечивую идеологию, в которой были бы поставлены все точки над *i* и установлены строгие пропорции в подходе к наследию Маркса (что в нем следует принять, а что отвергнуть). Вместо такой коррекции советские идеологи продолжали настаивать на том, что ленинизм и есть адекватный и ортодоксальный марксизм, отрицая тем самым очевидное и безвозвратно утрачивая возможность непротиворечивой и последовательной, познавательно адекватной рефлексии.

Вместо ясной и однозначной картины противостояния Труда и Капитала в форме советского социалистического режима, с одной стороны, и стран капиталистического Запада с другой, возникла дробная мозаика, в которой крайне отрицательную роль сыграл сам факт существования компромиссных (с политэкономической точки зрения) фашистских режимов и западной соглашательской коллаборационистской социал-демократии. Эти промежуточные фашистский и социал-демократический компоненты вносили непоправимые помехи в процесс формирования единой интернациональной пролетарской коммунистической партии, которая должна была бы учесть весь идеологический и духовный опыт русской революции. Это внешний фактор. Внутренний фактор состоял в отказе самой советской системы делать важнейшие идеологические выводы — с необходимой коррекцией культурно-философских взглядов Маркса — из своего же успеха, что могло бы, в свою очередь, облегчить продуктивный диалог с фашизмом — особенно в его крайне левых версиях. И наконец, сама западная социал-демократия вместо «народно-фронтовского» антифашистского пакта с радикально буржуазными силами и режимами могла бы найти с национально ориентированными социалистами взаимопонимание в рамках единого антибуржуазного блока.

Советский большевизм, европейская социал-демократия, и даже фашизм как сущностно антикапиталистические движения обязаны были сойтись на единой мировоззренческой платформе, где-то на полпути от явной переоценки Маркса у ортодоксов до явной его недооценки у фашистов. Такая гипотетическая идеология, некий абсолютизированный, универсальный национал-марксизм, учитывающий наряду с совершенно верной гениальной исторической парадигмой Маркса иные культурно-философские, духовные и национальные моменты, осмысленный идеальный национал-большевизм, и был бы той эффективной социально-экономической платформой, в которой принцип Труда мог бы воплотиться в наиболее совершенной форме. Но с очевидностью это открылось, увы, только апостериори, когда можно обобщить и проанализировать опыт великой исторической катастрофы. Капитал как субъект оказался не просто могущественнее, но умнее Труда как субъекта. Он не позволил «призраку коммунизма» реализоваться в полной мере в истории, обрекая его оставаться и далее лишь призраком. Это — трагическая констатация. Но с точки зрения познания, с точки зрения выработки емкой исторической парадигмы, которая позволит нам ясно осознать то, в какой точке истории мы находимся в данный момент, значение этого вывода трудно переоценить.

Геополитическая парадигма истории

Геополитическая редукция известна гораздо меньше, нежели экономическая модель, но убедительность и наглядность ее, тем не менее, вполне сопоставимы с парадигмой Труда-Капитала. В геополитике также существует телеологическая пара понятий, которые представляют собой субъект истории, но на сей раз увиденной не в срезе экономики, но в срезе политической географии. Речь идет о двух геополитических субъектах — Море (талассократии) и Суше (теллурукратии). Им синонимична иная пара Запад — Восток, где Запад и Восток рассматриваются

не просто как географические понятия, но как цивилизационные блоки. Запад, согласно доктрине геополитиков, равен Морю. Восток — Суше.

Нас интересует в данный момент лишь резюме истории, переведенное в геополитические термины, эсхатологический момент, который столь ясно прослеживается на уровне экономики. Там проблема формулируется так: Труд дал бой Капиталу и проиграл. Мы живем в период этого проигрыша, который либеральная экономическая школа рассматривает как окончательный (откуда тема «конца истории» Фукуямы или последнего «денежного строя» Жака Аттали). Можно ли увидеть некую аналогию такому положению вещей в геополитике?

Поразительно, но такая аналогия не только имеется, она настолько очевидна и наглядна, что подводит нас вплотную к очень интересным выводам.

Диалектика геополитики заключается в динамичной борьбе Моря и Суши. Море, цивилизация Моря воплощает в себе перманентную подвижность, «ажитацию», отсутствие фиксированных центров. Единственными реальными границами Моря являются континентальные массы по его краям, т.е. нечто противоположное ему самому. Суша, цивилизация Суши, напротив, воплощает в себе принцип постоянства, фиксированности, «консерватизма». Границы Суши могут быть строгими и четкими, естественными, на различных пространствах самой Суши. И только сухопутная цивилизация дает базу для сакральных, юридических, этических фиксированных систем ценностей. Суша (Восток) — иерархия. Море (Запад) — хаос. Суша (Восток) — порядок. Море (Запад) — растворение, диссолюция. Суша (Восток) — мужское начало. Море (Запад) — женское. Суша (Восток) — традиция. Море (Запад) — современность. И так далее.

Эти два субъекта геополитической истории тяготеют к наиболее полному и отчетливому выражению, переходя от многополярной сложной системы противоречий (нередко снимаемых или частичных) к глобальной схеме блоков. Море и Суша приобрели планетарные черты только в XX веке, и особенно в его второй половине, когда окончательно сложились контуры двухполюсной модели. Море нашло свое окончательное выражение в США и НАТО, Суша воплотилась в конгломерат социалистических стран — Варшавский договор. Произошло телеологическое разделение планеты на два лагеря, каждый из которых являлся чистой формой геополитической цивилизационной пары. Цивилизация Моря шла сквозь историю к США и атлантизму. Хотя путь этот был отнюдь не прямым. Цивилизация Суши воплотилась в самом объемном виде в СССР. Атлантика и Евразия были стратегически интегрированы, и подспудные геополитические тенденции, гениально распознанные Макиндером в основе исторической логики земных пространств, приобрели внушительный объем, высшую наглядность «холодной войны».

Но в кульминационном для геополитической истории XX веке произошел геополитический вираж, который на некоторый момент затемнил прозрачную логику геополитической модели. Возникновение в Европе в 20-30-е годы отдельного стратегического блока — стран Оси — стал той величайшей помехой, которая предотвратила органическое становление цивилизации Суши полноценным геополитическим субъектом, заложив основу грядущего проигрыша.

Страны Оси попытались заявить о своей геополитической самостоятельности и самодостаточности, отвергнув все факты и рекомендации научных школ. Европейский фашизм явился, с геополитической точки зрения, преградой для естественной евразийской экспансии Советов на Запад, но отказался и от послушного проведения в жизнь чисто атлантистской стратегии. Такая двусмысленность внесла серьезные помехи в кристаллизацию двухполярной картины мира, породила внутриконтинентальные войны и конфликты, которые жестко воспрепятствовали тому, чтобы евразийский сухопутный континентальный субъект полностью осознал себя и утвердил собственную последовательную геополитическую стратегию. Европейский фашизм породил геополитически безответственную и несостоятельную иллюзию общих интересов у Моря (Запад) и Суши (Восток) перед лицом некоего третьего субъекта, который, с точки зрения геополитической доктрины, не мог не быть фикцией, так как не обладал достаточным геополитическим, географическим, историческим и цивилизационным масштабам. Европа (фашистская или нет) имеет только две геополитические перспективы — либо быть западным форпостом Востока (как это было, к примеру, в православной Империи Рима до раскола), либо выступать стратегической береговой зоной под контролем Моря, направленной против континентальной массы Евразии. Стратегия стран Оси была ни той, ни иной. Поражение Германии было очевидно уже тогда, когда началась война на два фронта. Такая противоестественная авантюра не только была заведомо самоубийственной для Германии (шире, Европы), но и заложила половинчатую, незаконченную геополитическую базу для всего евразийского континента, что, в конце концов, привело к гибели и краху всю цивилизацию Суши. Это последнее замечание основано на блестящем анализе Жана Тириара относительно распада СССР и Варшавского договора, которое он сделал за 20 лет до того, как это стало фактом. Тириар показал, что, с геополитической точки зрения, стратегическое пространство,

контролируемое странами соцлагеря, не закончено и не сможет выдержать длительного противостояния с Западом. Главной причиной Тириар считал проблему разделенной Европы, которая давала все стратегические преимущества заокеанской державе в ущерб СССР. Тириар утверждал, что для решения этой радикальной задачи, доставшейся Евразии в наследство от суицидальной политики Гитлера, необходимо либо завоевать Западную Европу и включить ее страны в соцлагерь, либо, напротив, настаивать на выводе из Восточной Европы стратегических объектов и войск СССР с параллельным роспуском НАТО и удалением всех американских стратегических баз. Это привело бы к созданию в Европе нейтрального пространства, которое обеспечило бы Москве возможность полностью сосредоточиться на южном направлении и дать решающий позиционный бой США в Афганистане, на Дальнем и Ближнем Востоке.

Но цивилизация Моря внимательнейшим образом изучала геополитические теории Макиндера и Мэхэна, не просто сверяя с ними свою стратегию, но понимая серьезность угрозы, исходящей из прогрессивной евразийской континентальной интеграции под эгидой Советов, и предприняла все возможные усилия, чтобы ни в коем случае не допустить ее. И снова, как и в случае с борьбой Труда и Капитала, не просто действовали объективные исторические силы, но наблюдалось и активное прямое вмешательство субъективного фактора — агенты влияния Запада сделали все возможное, чтобы не допустить реализации «континентального блока», пакта Берлин-Москва-Токио, проект которого выдвигался крупнейшим немецким геополитиком Карлом Хаусхофером. Вместе с развитием геополитических исследований Море обрело логичный и эффективный интеллектуальный, концептуальный аппарат для того, чтобы действовать в истории не просто инерциально, но сознательно.

Конец Советского блока, крах и распад СССР означает, в геополитических терминах, победу Моря над Сушей, талассократии над теллутократией, Запада над Востоком. И снова, как и в случае с парой Труд-Капитал, мы видим в истории XX века телеологическое вычленение двух важнейших, ранее не до конца проявленных геополитических субъектов, — только на сей раз это Море и Суша, — их планетарную дуэль и финальную победу Моря, Запада.

Если сравнить сюжет экономической редукции с моделью геополитического объяснения истории, сразу же в глаза бросается отчетливый параллелизм, который прослеживается на всех этапах. Такое впечатление, что одна и та же траектория повторяется на различных, параллельных уровнях, не связанных прямо между собой. Поэтому само собой напрашивается следующее отождествление:

Судьба Труда = судьба Суши, Востока Судьба Капитала = судьба Моря, Запада Труд фиксирован, Капитал ликвиден. Труд — созидание ценностей, восхождение (этимологически «вос-ток»), Капитал — эксплуатация, отчуждение, грехопадение вещей (этимологически «за-пад»). Морская цивилизация — цивилизация либерализма. Сухопутная цивилизация — цивилизация социализма. Евразия, Суша, Восток, Труд, социализм — синонимический ряд. Атлантизм, Море, Запад, Капитал, либерализм, рынок — тоже синонимический ряд.

Сопоставление политэкономии и геополитики дает на редкость стройную концептуальную картину.

«Конец истории», в геополитических терминах, означает «конец Суши», «конец Востока». Не напоминает ли это библейскую символику «всемирного потопа»?

Война народов

Еще одной моделью интерпретации истории являются разнообразие этнические теории, которые рассматривают в качестве основных субъектов истории народы, иногда расы, иногда какой-то один народ, противопоставленный всем остальным. В этой сфере существует неисчислимо многообразие версий. Одним из самых ярких теоретиков этнического подхода был немецкий деятель просвещения Гердер, идеи которого были развиты немецкими романтиками, отчасти позаимствованы Гегелем, и наконец, взяты на вооружение представителями немецкой «Консервативной Революции», особенно выдающимся мыслителем, юристом и философом Карлом Шмиттом. Расовый подход был в общих чертах изложен в трудах графа Гобино, а затем подхвачен немецкими национал-социалистами. Идеи же рассмотрения истории через призму одного этноса ярче всего представлены в иудаистических, сионистских кругах, на основе специфики еврейской религии. Кроме того, в период подъема национальных чувств в любом народе всегда встретит тенденция, близкие к идее национальной исключительности, но разница в том, что практически нигде эти теории не получают столь выраженного религиозного содержания, не являются столь устойчивыми и развитыми, не имеют такой длительной исторической традиции, как у евреев.

Существует несколько необычных, но крайне убедительных этнических теорий, не попадающих ни в одну из вышеперечисленных категорий. Такова, к примеру, «теория пассионарности и этногенеза» гениального русского ученого Льва Гумилева. Она также рассматривает всемирную историю как результат взаимодействия этносов, понятых как органичные живые существа, проходящие различные периоды жизни — от младенчества до старости и умирания. Несмотря на то, что эта теория в высшей степени интересна и открывает многие загадочные закономерности цивилизации, она не обладает той степенью телеологического редукционизма, который нас интересует. Воззрения Гумилева не претендуют на последнее обобщение. Более того, эсхатологические взгляды (откровенные или замаскированные) Гумилев был склонен рассматривать как выражение «упаднической» стадии развития этноса, как химеры, возникающие в среде разлагающихся, утративших пассионарность, приближающихся к порогу смерти культур и народов. Соответственно, для него сама постановка вопроса относительно интерпретации «конца истории», — являлась бы ничем иным как выражением глубокого декаданса. По этой причине придется оставить Гумилева в стороне. На примере Гумилева можно выделить первый критерий, на основании которого следует разделить все теории этноса как субъекта истории на две части. — Одни теории имеют телеологическое, эсхатологическое измерение, а другие нет. Что мы имеем в виду?

Существуют такие концепции этнической истории, которые видят в судьбе того или иного народа (варианты: нескольких народов или рас) отражение смысла всего исторического процесса, а следовательно, конечный триумф, возрождение или, наоборот, поражение, унижение, исчезновение нации рассматривается как результат всемирной истории, конечное выражение ее тайного смысла. Это — этнические теории эсхатологической ориентации, они нас интересуют более всего. Иные же, даже самые экстравагантные или интересные, но не обладающие телеологическим измерением, ничего не добавляют к пониманию исследуемой нами проблемы. Так, к примеру, русский, американский, еврейский, курдский, английский национализм, немецкий расизм явно тяготеют к эсхатологической постановке вопроса. Национализм же польский, венгерский, арабский, сербский, итальянский или армянский — хотя они могут быть не менее яркими, насыщенными и динамичными — явно телеологически пассивны. Первая группа считает, что приоритетным субъектом истории является данный народ, его перипетии составляют содержание всемирного исторического процесса, а конечное торжество и поправление враждебных народов положит конец истории. Вторая группа не имеет такого глобального масштаба, и настаивает лишь на прагматическом и не столь претенциозном утверждении национальной особенности, культуры и государственности перед лицом окружающих народов и культур. Здесь проходит важная разделительная черта. Исследование второй группы этнических доктрин никак не приближает нас к выявлению исторической парадигмы, так как изначально здесь берется слишком малый масштаб. Первая же группа, напротив, удовлетворяет нашим требованиям. Хотя и здесь следует отделять «глобализм пожелания» от «глобализма реального», т.к. для того, чтобы даже чисто теоретически рассматривать этническую интерпретацию эсхатологии, конкретному этносу необходимо обладать значительным историческим масштабом (во времени и в пространстве), поскольку в противном случае картина получится смехотворная.

Но даже ограничив круг рассмотрения «телеологическим национализмом», мы все равно не имеем здесь стройной картины. И так как между политэкономией и геополитикой аналогия получилась совершенной и наглядной, то попробуем — несколько искусственно — распространить ту же модель и на этническую историю. И лишь потом выясним, оправданным или не оправданным оказалось такое отождествление.

Геополитика позволяет сделать в этом отношении первый шаг. Раз Море = Восток, то «этнос Запада» является носителем талассократических тенденций на этническом уровне. А так как в нашем уравнении уже есть формула Море=Капитал, то гипотетический (пока) «этнос Запада» становится третьим членом тождества — Море=«этнос Запада»=Капитал. Легко выстроить и уравнение противоположного полюса Суша=«этнос Востока»=Труд. Теперь остается соотнести понятия «этнос Запада» и «этнос Востока» с какими-то фиксированными историческими реальностями и выяснить наличие соответствующих эсхатологических доктрин.

Здесь нам на помощь приходят русские евразийцы (Трубецкой, Савицкий и др.). «Этнос Запада» они вслед за Данилевским отождествили с «романо-германскими» народами, «этнос Востока» — с «евразийцами», на полюсе которых стоят русские как уникальный синтез славянских, тюркских, угорских, германских и иранских этносов. Конечно, говорить о «романо-германцах» как об этносе не совсем точно, но все же некоторые общие исторические и цивилизационные черты здесь явно присутствуют. Романо-германцы объединены и географией, и культурой, и религией, и общностью технологического развития. Колыбелью того, что можно назвать «романо-германской цивилизацией», принято считать Западную Римскую Империю, а позже «Священную Римскую

Империю Германских Наций». Этнокультурное единство наличествует, но правомочно ли говорить о единой эсхатологии чешской концепции, которая рассматривала бы судьбу этой этнической группы как парадигму истории? Если внимательно присмотреться к логике развития романо-германского мира, то мы видим, что практически изначально этот мир узурпировал и применил исключительно к самому себе понятие «эйкумена», т.е. «вселенная», которое характеризовало ранее в Православной империи совокупность всех ее частей. Но после откола от Византии Запад ограничил понятие «эйкумены» только самим собой, сведя вселенскую историю к истории Запада, оставив при этом за скобками не только нехристианский мир, но и все восточные православные народы, и более того, ось истинного христианства — Византию. Таким образом, за пределы «христианского мира» романо-германцев выпал самый центр аутентичного христианства — православный Восток. Далее эта концепция «европейской эйкумены» была унаследована народами Запада и после нарушения его католического религиозного единства, и после окончательной секуляризации. Романо-германский мир отождествил свою этническую историю с историей человечества, что, в частности, и дало основание Н.С. Трубецкому озаглавить свою книгу «Европа и человечество», где он убедительно показывает, что самоотожествление Запада со всем человечеством делает его врагом реального Человечества в полном и нормальном значении этого понятия. В такой перспективе начинает ясно проглядывать фактическое самоотожествление Европы и европейцев с этническим субъектом истории, и в такой перспективе, позитивный (в сознании романо-германца) исход истории будет равнозначен окончательному триумфу Запада, его культурной и политической «эйкумены» над всеми остальными народами планеты. Это, в частности, предполагает, что романо-германские политические, этические, культурные и экономические нормативы, выработанные в процессе истории, должны стать универсальными и повсеместно принятыми, а все сопротивление со стороны автохтонных народов и культур должно быть сломлено.

Концептуальный эсхатологизм европейских наций прошел несколько фаз развития. Вначале он имел католико-схоластическое выражение, параллельно с которым развивались и чисто мистические доктрины, наподобие концепции «Третьего Царства» Иоахима де Флора. Речь шла о том, что романо-германский мир завершит «евангелизацию» варваров и еретиков (в число которых включались православные!) и наступит «рай на земле», чьи картины представлялись более или менее аналогичными повсеместному господству Ватикана, только возведенному в абсолют. В XVI веке европейский эсхатологизм выразился в Реформации, а позже нашел окончательную формулу в англосаксонской протестантской доктрине «потерянных колен». Эта доктрина рассматривает англосаксонские народы как этнических потомков десять потерянных колен Израиля, не вернувшихся, по библейской истории, из Вавилонского плена. Следовательно, истинными евреями, израильтянами, «избранным народом» являются англосаксы, «золотое зерно» романо-германского мира, которым суждено в конце времен установить главенство над всеми остальными народами земли. В этой экстремальной доктрине, сформулированной в XVII веке сторонниками Оливера Кромвеля, концентрируется в сжатом виде вся логика этнической истории Европы, отчетливо и недвусмысленно утверждается этнокультурный универсализм претензий Запада на мировое господство. Таким образом, происходит уточнение этнического субъекта романо-германского мира. Им постепенно и все более отчетливо становятся англосаксы, протестантские фундаменталисты эсхатологической ориентации. Но корень этой доктрины следует искать в католическом Средневековье, в Ватикане. По этому поводу блестящий анализ дал Вернер Зомбарт в книге «Буржуа». Англосаксы, параллельно кристаллизации концепции этнической избранности, первыми включаются в два судьбоносных процесса, которые лежат в основе современной политэкономии и геополитики. Англия делает индустриальный рывок, первой из европейских держав вступая в промышленную революцию, которая ускоренными темпами привела к расцвету капитализма, и одновременно покоряет морские просторы планеты, побеждая в геополитической дуэли более архаичных, «почвенных» и традиционалистских испанцев. Карл Шмитт прекрасно показал взаимосвязь между этими двумя поворотными событиями современной истории.

Мало-помалу инициативу Англии перенимает иное «дочернее» государство — США, которое изначально основано на принципах «протестантского фундаментализма» и мыслится его основателями как «пространство утопии», как «обетованная земля», где история должна закончиться планетарным триумфом «10 потерянных колен». Эта мысль воплощена в американской концепции Manifest Destiny, которая видит «американскую нацию» как идеальную человеческую общность, являющуюся апофеозом мировой истории народов.

Сопоставив абстрактную теорию «этнической избранности англосаксов» с исторической практикой, мы увидим, что реальное влияние Англии как авангарда романо-германского мира на саму Европу и, шире, на весь мир и мировую историю, действительно, огромно. А во второй половине XX века, когда США стали де факто синонимом «западных народов» и символом обоснованности эсхатологического англосаксонского национализма, в наличии Manifest Destiny вообще едва ли можно сомневаться. Если, к примеру, масонско-католический национализм французов, несмотря на возвышенные мифы о «последнем короле», оказался лишь региональным и относительным, то англосаксонская концепция протестантского фундаментализма подтверждается не только

поразительными успехами «владычицы морей», но и гигантской современной гипердержавой, оставшейся единственной в современном мире.

Теперь обратимся к «этносу Востока», к евразийцам. Здесь тоже следует обратить внимание, в первую очередь, на народы, доказавшие свой исторический масштаб. И, естествен но, нет сомнений, что единственной этнической общностью, которая в современном мире оказалась на высоте истории, которая смогла утвердить свой национальный эсхатологизм в гигантском объеме, являются русские. Так было не всегда, и в какие-то периоды истории Востока русские были лишь одним из народов, наряду с другими, расширяющими или сужающими с переменных успехом границы своего культурного, политического и географического присутствия.

Китай и Индия, будучи древнейшими и высочайшими традиционными цивилизациями, несмотря на масштаб и духовное значение, никогда не выдвигали концепций эсхатологического национализма, не отождествляли свою этническую историю с историей человечества, не наделяли драматическим элементом межнациональные отношения или конфликты. Кроме того, ни китайская, ни индусская традиции не отличались «мессианизмом», претензией на универсальность своей религиозной и этической парадигмы. Это — Восток статичный, «перманентный», глубоко «консервативный», не способный и не желающий принимать вызов Запада. Ни в Китае, ни в Индии никогда не существовало национальных теорий, согласно которым китайцы или индусы когда-то, в конечные времена, будут править миром. Лишь у иранцев и арабов существовали национально-расовые теории эсхатологической ориентации. Но история последних веков показала, что реальный масштаб подобной этнической телеологии — с явно выраженным исламским религиозным компонентом — недостаточен для того, чтобы рассматривать ее как серьезного соперника «народам Запада». Функции авангарда «этноса Востока» однозначно возложены на русских, которые смогли выработать универсалистски-мессианский идеал — по масштабу сопоставимый с идеалом англосаксонским, позже американским — и воплотить его в гигантскую историческую реальность. Эсхатологическая идея Православного Царства — «Москвы как Третьего Рима» — была позднее перенесена на секуляризованную петербургскую Россию, и наконец, на СССР. Из византийского Православия через Святую Русь к столице Третьего Интернационала. И аналогично тому, как ангlosаксы перешли от этнической концепции «колен Израилевых» к американскому melting-pot как «искусственному эсхатологическому либеральному раю», русский мессианизм — изначально основанный на концепции «открытого этноса» — обрел в XX веке формулу «советского патриотизма», собирающего под гигантским культурно-этическим универсальным проектом народы, этносы и культуры Евразии.

Еще одним подтверждением именно такой этнической дуальной телеологии является тот факт, что американские протестанты единодушно отождествляют Россию со «страной Гога», т.е. с тем пространством, откуда придет антихрист. Доктрина «диспенсационализма» однозначно утверждает, что финальная битва истории будет разворачиваться между христианами империи Добра (США) и еретическими жителями евразийской империи Зла (т.е. русскими и объединившимися вокруг них народами Востока). Такое приравнивание России к «стране Гога» стало особенно активно распространяться в протестантских кругах Америки начиная с середины прошлого века. Подобные взгляды характерны также для многих протестантских течений в Англии и среди католиков-иезуитов. Впервые основы концепции «диспенсационализма» сформулировал иудействующий испанский католический священник (иезуит) Эммануил Ла Конча, писавший под псевдонимом «Рабби Бен Эзра». От него диспенсационалистскую теорию позаимствовала шотландская проповедница из секты пятидесятников Марта Мак Дональдс, а потом она стала краеугольным камнем учения английского проповедника-фундаменталиста Дерби, основавшего секту «Плимутских братьев» или просто «Братьев». Вся эта протестантская (а иногда и католическая) эсхатология, чрезвычайно популярная на современном Западе, утверждает, что западные христиане и иудеи имеют в «конце времен» одинаковую судьбу, а православные и иные нехристианские народы Евразии воплощают в себе «свиту антихриста», которая выступит против сил «Добра», принесет много вреда «праведникам», но, в конце концов, «будет повержена и разгромлена на территории Израиля, где и найдет свою смерть». Степень доверия к этой теории и ее распространенности среди простых людей в США постоянно растет. И большевистская революция, и создание государства Израиль, и холодная война прекрасно вписывались в «пророческие» концепции «диспенсационалистов» и укрепляли их веру в свою правоту.

Рассмотрим бегло еще две разновидности этнической телеологии и сформулируем вывод, который внимательный читатель, наверняка, уже сделал самостоятельно. Легко верифицируемый в истории этнический дуализм, вскрытый нами, — «этнос Запада» (ядро: англосаксы) и «этнос Востока» (ядро: русские), — игнорирует две знаменитые этнические доктрины, которые, как правило, первыми приходят на ум всякий раз, когда речь заходит об «эсхатологическом национализме». Мы имеем в виду «расизм» германских нацистов и сионистские концепции евреев. На каком основании мы оставили эти реальности в стороне, и занимались приоритетно американским и русско-

советским «национализмами», которые не столь наглядны и радикальны, как граничащий с варварством нацизм или подчеркнутый антропологический дуализм евреев?

Ответим на этот вопрос несколько позже, а сейчас напомним в двух словах, в чем заключаются эти две разновидности национальной эсхатологии. Германский расизм сводил всю историю к расовому противостоянию арийцев, индоевропейцев и всех остальных народов и рас, считавшихся «неполноценными». В истоке такого подхода лежит мифологическая концепция о «древних ариях», первых культурных обитателях земли, магической расе королей и героев высокого норда. Эта «нордическая раса» отличалась всяческими добродетелями, и ей принадлежит авторство всех культурных изобретений. Постепенно белая раса спускалась к югу и смешивалась с грубыми, полуживотными, чувственными и дикими этносами. Так возникли смешанные культурные формы, современные этносы. Все хорошее в современной цивилизации — достояние белых. Все плохое — продукт смешения, влияния цветных рас. Авангард белой расы — немцы, они сохранили чистоту крови, культурные и этнические ценности. Авангард цветных народов — евреи, главные враги белой расы, строящие против нее нескончаемые козни.

Расовая эсхатология состоит в том, чтобы немцы возглавили белую расу, принялись очищать кровь, отделили цветные народы от нецветных и достигли мирового господства, воспроизводящего на новом этапе изначальное господство арийских королей. Немецкий расизм — доктрина, конечно, экстравагантная, довольно искусственная и сугубо современная, хотя основывается она на некоторых реально существовавших древних мифах и религиозных учениях. В самой же Германии расизм получил распространение под влиянием оккультистских кругов, в той или иной степени связанных с теософизмом. Еврейский мессианизм является архетипом всех остальных разновидностей национальных эсхатологии. Он исчерпывающе подробно изложен в «Ветхом Завете», расшифрован в Талмуде и Каббале. Евреи считаются избранным народом по преимуществу, и еврейский этнос выступает главным субъектом мировой истории. На противоположном конце модели находятся «неевреи», «гоим», «народы», «язычники», «идолопоклонники», «силы левой стороны» (по «Зохару»). В эзотерическом толковании Каббалы «гои» не являются «людьми», они — «злые духи в человеческом облике», поэтому у них даже теоретически отсутствует перспектива спасения или одухотворения. Но и евреи, несмотря на свою избранность, часто отступают от правых путей, сбиваются на тропу зла, идут дорогами «гоев» и их «ложных божеств». За это Четырехбуквенный (=Яхве) карает свой народ, отправляя его в рассеяние к «гоям», которые всячески третируют евреев, причиняют им боль и обиды. После разрушения Второго Храма в 70-м г. от Р.Х. Титом Флавием евреи были отправлены за грехи в «четвертое рассеяние», которое будет последним. После многовековых страданий это рассеяние должно окончиться «катастрофой», «холокостом», «шоа», за которым последует возвращение на землю обетованную, восстановление государства Израиль, и с тех пор евреи будут править всем миром.

Заметим любопытное соответствие — между германским расизмом и еврейским мессианством существует явная корреляция, хотя оценочные знаки полярно противоположны. Германские расисты видели именно в евреях средоточие «расового зла», а сами евреи — особенно после Второй мировой войны — распознали в нацизме, напротив, максимальное воплощение «гойского зла». И не случайно религиозное, историософское понятие «шоа» было применено именно к преследованиям евреев в нацистской Германии. Да и само создание государства Израиль напрямую сопряжено с судьбой режима Гитлера. — Моральное право на свое государство в глазах мирового сообщества евреи получили в качестве своего рода компенсации за понесенные жертвы во времена нацизма.

Германский нацизм и еврейское мессианство — очень интенсивные формы этнического эсхатологизма, масштабные и весомые, доказавшие свою значимость реальной вовлеченностью в ход мировой истории. И все же ни гитлеровский нацизм, ни сионизм не воплотили в себе с такой отчетливостью и ясностью, с такой исторической наглядностью базовые тенденции исторического процесса, как в случае американизма и советизма. Любопытна и чисто географическая раскладка. — Расизм был распространен в Европе, государство Израиль находится на Ближнем Востоке. Они как бы противопостоят друг другу по вертикали. А англосаксонский и евразийский миры противопостоят друг другу по горизонтали. Если расизм Гитлера апеллировал к «нордизму», то еврейство акцентирует «южную», «средиземноморскую» ориентацию. Евразийство явно относится к Востоку. Атлантизм — к Западу. При этом исторический масштаб горизонтальной пары англосаксы — русские гораздо более значителен и весом, нежели в случае вертикальной пары. И хотя нацистам удалось в свое время добиться значительных территориальных успехов, они были геополитически обречены уже с самого начала, так как их этно-эсхатологическая парадигма была явно недостаточно универсальной и емкой, а их история не являлась самостоятельным духовным полюсом (в отличие от России). Точно так же, несмотря на гигантское влияние еврейского фактора в мировой политике, евреи все же очень далеки от своего мессианского идеала, а роль государства Израиль все же ничтожна или сугубо инструментальна в контексте большой геополитики, где действительно

серьезным значением обладают лишь блоки, сопоставимые с НАТО или бывшим Варшавским договором.

Нельзя сбрасывать со счетов германский расизм (исторически изжитый) и тем более еврейский мессианизм (напротив, укрепившийся во второй половине XX века). Но и нельзя переоценивать их значение, так как в лице США и России мы имеем реальности намного более весомые и объемные.

В этой связи гораздо полезнее предпринять следующую операцию. — Разложить пару гитлеровский «расизм-сионизм» на две составляющие. Как в смысле политэкономии фашизм был лишь компромиссом между капитализмом и социализмом, а в смысле геополитики страны Оси были чем-то промежуточным между ясным атлантизмом Запада и ясным евразийством Востока, так и в смысле этнической эсхатологии противостояние «нацизм-сионизм» лишь вуалирует собой более серьезное противостояние: «англосаксы (и их Manifest Destiny)-русские». Это означает, что и нацизм и сионизм могут быть поняты как сочетание внутренне разнородных факторов, тяготеющих к одному из двух более фундаментальных этнических полюсов. Эту идею в первом приближении развил евразиец Бромберг, а иная ее версия принадлежит замечательному писателю Артуру Кестлеру.

Еврейский мессианизм разлагается на две составляющие. Одна из них солидарна с англосаксонским мессианизмом. Это «западническая составляющая» в еврействе. Таковы голландские еврейские общины, изначально сопряженные с пропагандой протестантского фундаментализма. Можно назвать это «еврейским атлантизмом» или «правым еврейством». Этот сектор отождествляет эсхатологические чаяния евреев с победой англосаксонской нации, с США, либерализмом, капитализмом.

Вторая составляющая — «еврейское евразийство», Бромберг называл его «еврейским восточничеством»*. Это, в основном, сектор восточно-европейского еврейства, преимущественно хасидического толка, солидарного с русским мессианизмом, и особенно с его коммунистической версией. Этим объясняется, в частности, столь масштабное участие евреев в Октябрьской революции и их ангажированность в коммунистическое движение, которое составляло прикрытие для реализации планетарной русской мессианской идеи. Вообще говоря, «левое еврейство», которое представляет собой настолько устойчивую и масштабную реальность, что нацисты в своей пропаганде просто отождествляли «коммунизм» с «еврейством», типологически сопряжено именно с евразийским комплексом, солидарно с русско-советским эсхатологическим идеалом. Часто «еврейские евразийцы» апеллировали к удивительной исторической формации — «хазарскому каганату», в котором иудейская религия сочеталась с мощной иерархической военной империей, основанной на тюркско-арийском этническом элементе. Помимо известной крайне негативной оценки «хазар» (объемно изложенной у Льва Гумилева), существуют и иные, «ревизионистские» версии относительно истории этого образования, которое по своей континенталистской стилистике и резкому отступлению от этнического партикуляризма традиционного иудаизма сильно контрастирует с иными — особенно западными — формами иудейской социальной организации. Так, А. Кестлер выдвинул любопытную версию о том, что восточно-европейские евреи, на самом деле, вообще являются потомками древних хазар, и их инаковость по отношению к еврейству Запада выдает их расовое различие. Здесь важно не то, насколько «научно» такое представление, но то, что эта концепция мифологически отражает глубинный внутриеврейский дуализм.

Теперь, немецкий расизм. Здесь картина не столь наглядна, и разложить это явление на две составляющие не так легко. Во-первых, потому, что русофильская и просоветская линия в нацизме и, шире, германском национальном движении была почти всегда антирасистски ориентированной. Эта положительное *Ostorientierung*, свойственное многим представителям немецкой Консервативной Революции (Артур Мюллер ван ден Брук, Фридрих Георг Юнгер, Освальд Шпенглер, и особенно, Эрнст Никиш), связывалось с Пруссией и государственнической идеей скорее, нежели с расовыми мотивами. Но все же определенные разновидности расизма могут быть отнесены к евразийству. Такой «евразийский расизм», безусловно, был миноритарным и не показательным, маргинальным. Типичным представителем его был профессор Герман Вирт, который считал, что «арийский», «нордический» элемент встречается у большинства народов земли, включая азиатов и африканцев, и что немцы не представляют в этом отношении какого-то особенного исключения, являясь смешанным народом, где наличествуют и «арийские» и «неарийские» элементы. Такой подход отрицает любой намек на «шовинизм» или «ксенофобию», но именно по этой причине Вирт и его сподвижники очень скоро встали в оппозицию режиму Гитлера. Кроме того, некоторые представители этого направления считали, что «арии» Азии — индусы, славяне, персы, таджики, афганцы, пакистанцы и т.д. — стоят гораздо ближе к нордической традиции, нежели европейцы или англосаксы, и следовательно, такой расизм приобретал явно различимые «восточнические» черты. Но самой распространенной версией расизма все же была иная, «западническая» линия, настаивающая на превосходстве белой расы (в самом прямом смысле) и особенно немцев над всеми остальными народами. Технологические успехи белых, преимущества их цивилизации всячески прославлялись. Иные народы демонизировались и выставлялись карикатурными

«унтерменшами». В самой радикальной версии «арийцами» признавались только сами немцы, а славяне или французы приравнивались к людям второго сорта, что было уже не расизмом, но предельной формой узко немецкого этнического шовинизма. Такой расхожий расизм — кстати, он был характерен лично для Гитлера — был по духу вполне солидарен с этнической эсхатологией англосаксов, хотя он предлагал конкурирующую версию, основанную на специфике немецкой психологии и немецкой истории. Показательно, что обе разновидности такой этнической эсхатологии основывались на двух ветвях единого некогда германского племени (англосаксы — изначально были германскими племенами) и на двух разновидностях протестантизма (лютеранства в Германии и англиканства в Англии и США). Однако германский расизм был значительно одобрен языческими элементами, апелляциями к дохристианской мифологии, варварству, иерархии. В отличие от «расизма» англо-саксонского расизм немцев был более архаичным, экстравагантным и диким, но сплошь и рядом этот эстетический контраст, различие стилей скрывали под собой общность исторической и геополитической ориентации. Англофилия Гитлера — факт общеизвестный.

Итак, пара «сионизм-нацизм» оказывается недостаточно масштабной для того, чтобы рассматриваться как ось эсхатологической драмы в ее этническом измерении. Если она и является «осью», то только вторичной, подсобной, дополнительной. Она помогает объяснить многие вещи, но не покрывает сущности проблемы. В этой перспективе можно рассмотреть «еврейское восточничество» как одну из специфических разновидностей «евразийства» (или «этнуса Востока»), солидарную в общих чертах с универсальной формулировкой русско-советского мессианского идеала. К этому же «евразийскому» комплексу следует отнести и некоторые (миноритарные) формы «восточнического» расизма сторонников «арийской» системы ценностей.

И напротив, «еврейское западничество» органично вписывается в англосаксонский этно-эсхатологический проект, на чем, собственно, и основан глубинный альянс мирового лобби Израиля и США. «10 потерянных колен» в лице англосаксов (особенно американцев) сочетаются с двумя остальными коленами в солидарном эсхатологическом ожидании. К этому комплексу примыкает и «западническая» версия расизма, воспевающая превосходство «цивилизации белых» — рынок, технический прогресс, либерализм, права человека — над архаическими «варварскими» «недоразвитыми» народами Востока и Третьего мира.

Теперь мы можем ясно различить ту же самую, уже известную нам по предыдущим разделам, историческую траекторию, но на новом этно-эсхатологическом уровне.

История представляет собой соперничество, битву двух «макроэтносов», ориентированных на универсализацию своего духовно-этического идеала в кульминационный момент истории. Это — «этнос Запада» (романо-германский мир) и «этнос Востока» (евразийский мир). Постепенно эти два образования подходят к масштабному, очищенному, рафинированному выражению своей «проявленной судьбы». Manifest Destiny «этнуса Запада» воплощается в концепции «10 потерянных колен» протестантских фундаменталистов, ложится в основание планетарного английского господства и позже составляет фундамент американской цивилизации, и, на самом деле, вплотную подходит к реализации единоличного мирового контроля. «Русская правда» от национального государства восходит до уровня империи и воплощается в советском блоке, сплотившем вокруг себя полмира. Эта дуэль составляет основу этнической (точнее, макроэтнической) истории XX века. При этом значительной помехой на пути ясного обозначения ролей и функций снова (в который раз!) становится европейский фашизм, переводящий проблематику из ясного дуализма в запутанный и второстепенный комплекс противоречий, что подрывает естественную логику великой этнической войны, приводит к заключению противостепенных альянсов, к смещению центра тяжести, к неверной постановке вопроса. Утверждая в центре этнической эсхатологии не реальный дуализм между «романо-германским», позже англосаксонским, еще позже «американским» лагерем, с одной стороны, и «евразийским», русско-советским лагерем, с другой, но во многом искусственную и не самодостаточную пару антиподов — «германо-арийцы-евреи», — нацисты сбили естественный ход событий, отвлекли внимание на ложную цель, утвердили противоречие там, где оно не было исторически и эсхатологически существенным и центральным. И снова ущерб в конечном счете был нанесен «евразийскому» лагерю.

Англосаксонский идеал, «этнос Запада» нанес сокрушительное поражение «этносу Востока». «Советский» универсализм уступил универсализму англосаксонскому.

Дополняем нашу формулу, связывающую политэкономическую и геополитическую модели истории еще, одним уровнем.

Труд=Суша (Восток)=русский (советский, евразийский) этнос

Капитал=Море (Запад)=романо-германский (англосаксонский, американский) этнос

Между двумя этими многоплановыми полюсами идет дуэль сквозь века и эпохи, подступая к развязке в начале третьего тысячелетия от Р.Х.

Обратим внимание на то, что европейский фашизм практически на всех уровнях выполняет аналогичную функцию. На экономическом уровне он претендует на снятие противоречия между Трудом и Капиталом, но это оказывается фикцией, и он лишь способствует косвенно победе Капитала. На геополитическом уровне он отвергает фундаментальность противостояния Суши и Моря, претендуя на самостоятельное геополитическое значение, но не справляется с задачей и бесславно исчезает, снова способствуя последующей победе Моря над Сушей. И наконец, на уровне этнической эсхатологии, расизм нацистов уводит внимание от великого противостояния англосаксов и русских на ложную альтернативу между «арийцами» и «евреями», причем великороссы попадают (безо всяких оснований) в один разряд с «цветными недочеловеками». И это, в конце концов, оказывается на руку исключительно англосаксам. Кстати, в последнем случае — на этническом уровне — следует признать, что и второй полюс этого этнического дуализма (евреи) также оказывается преимущественно на стороне «этноса Запада», а «еврейское восточничество» заметно слабеет и почти сходит на нет. Причем этот упадок совпадает с моментом создания государства Израиль, за которое изначально боролись восточно-европейские евреи преимущественно социалистической ориентации («еврейские евразийцы»), — поэтому Сталин и поспешил признать легитимность этого государства, — но которое почти сразу же после создания переориентировалось на Запад, став верным проводником политики англосаксов, в первую очередь, США, на Ближнем Востоке.

Clash of religions

Последний крупномасштабный уровень редукции истории к простой формуле следует искать в истории религий и межконфессиональных проблем. Так как общая траектория исторического процесса, выделенная нами с самого начала в экономической парадигме, оказалась применимой ко всем остальным разбираемым уровням, можно смело искать ее аналоги и в религиозной сфере.

Один из полюсов — «Капитал-Запад-Море-англосаксы» — возводится, как мы видели, к Западной Римской Империи, источнику и отправной точке всех тех тенденций, которые в этом полюсе постепенно и выкристаллизовались. Западная Римская Империя в религиозном смысле сопряжена с Ватиканом, католической версией христианства. Следовательно, вполне логично обратиться к католицизму как к религиозной матрице этого полюса.

Противоположный «евразийский» полюс напрямую связан с «византизмом» и Православием, так как русские являются и православным народом, и авторами первой социалистической революции, и теми, кто занимает земли континентального Heartland'a, который, по Макиндеру, служит осью для всех сил Суши. *В той же степени, в какой современный либеральный Запад является секуляризированным, обобщенным, модернизированным и универсализированным результатом католицизма, советская модель представляет собой предельное — также секуляризированное, обобщенное и модернизированное — развитие Православной Империи.* Относительно второстепенности остальных мировых религий в вопросе эсхатологической драмы можно привести те же соображения, которыми мы воспользовались, говоря об этнической эсхатологии. Восточные традиции не заострены эсхатологически, не акцентируют в центре своих систем тематику «конца времен» и «последней битвы». Дело не в том, что они не знают об этой реальности, но они не уделяют ей центрального места, сопоставимого с отчетливым и приоритетным эсхатологизмом христианства (или иудаизма). Это соображение объясняет и отсутствие на Востоке эсхатологических форм национализма (о чем мы говорили выше), так как этническое и религиозное мировоззрение тесно связаны между собой и взаимопределяют друг друга.

Эта схема вполне наглядна и прекрасно накладывается на предыдущие модели. Единственным моментом, требующим дополнительного прояснения, является вопрос о протестантизме.

Реформация была важнейшим моментом истории Запада. Она была не просто многоуровневым явлением, но заключала в себе две строго противоположные ориентации, которые, в конечном счете, породили полярные формы. Мы не можем здесь вдаваться в богословские рассуждения, и отсылаем читателя к нашей подробной монографии на эту тему. Изложим лишь схему.

Католицизм — это фрагмент Православия; ведь некогда, до раскола, Запад был православным в той же степени, что и Восток, причем фрагмент искаженный и претендующий на приоритет и полноту. Католицизм — это антивизантизм, а византизм есть полноценное и аутентичное христианство,

включающее в себя не просто догматическую чистоту, но и верность социально-политической, государственной доктрине христианства. В самом грубом приближении, можно сказать, православная концепция симфонии властей (вульгарно именуемая «цезаре-папизмом») сопряжена с пониманием эсхатологического значения не только христианской церкви, но и христианского государства, христианской империи. Отсюда вытекает телеологическая и сотериологическая функция Императора, основанная на втором послании св. Апостола Павла к Фессалоникийцам, где речь идет о «держателе», «катехоне». «Держатель» приравнивается православными экзегетами (в частности, св. Иоанном Златоустом) к православному императору и православной империи.

Отпадение западной церкви основано на отрицании симфонии властей, на отвержении социально-политической, но в то же время эсхатологической доктрины Православия. Эсхатологической она является потому, что православие связывает наличие «держателя», который препятствует «приходу сына погибели» (=антихристу), с существованием именно политически независимого православного государства, в котором власть светская (василевс) и власть духовная (патриарх) находятся в строго определенном соотношении, вытекающим из принципа симфонии. Следовательно, отступление от этой симфонической византийской парадигмы означает «апостасию», отпадение. Католицизм же изначально — т.е. сразу по отпадении от единой Церкви — вместо симфонической (цезаре-папистской) модели принял иную модель, в которой власть Папы Римского распространялась и на те области, которые в симфонической схеме были отнесены строго к ведению василевса. Католицизм нарушил провиденциальную гармонию между светским и духовным владычеством, и, в соответствии с христианским учением, впал в ересь.

Духовный кризис католичества с особой силой дал о себе знать к XVI веку, и Реформация явилась пиком этого процесса. Однако, надо заметить, что еще в Средневековье в Европе существовали тенденции, которые в той или иной степени тяготели к восстановлению на Западе адекватной модели. Гибеллинская партия Гогенштауфенов была ярким примером «бессознательного православия», квазивизантийского сопротивления латинской ереси. И уже тогда в центре антипапского движения стояли представители знатных германских родов. Через несколько столетий сходные силы — и снова германские князья — поддержали Лютера в его антиримском выступлении. Любопытно, что претензии Лютера к Риму были весьма сходны с теми, которые традиционно выдвигались православными. И богослужение на национальном языке (сугубо православная черта, связанная с пониманием мистического значения глоссолалии, воплощающейся в лингвистическое многообразие поместных церквей), и отказ от административного диктата Римской Курии, и значение «катехона», и отказ от безбрачия для «священников» — все эти типично лютеровские осевые тезисы вполне могли быть названы «православными». Другое дело — отказ от иконопочитания, богослужебных ритуалов, свобода индивидуальных толкований Писания. Эти черты никак нельзя назвать православными, и они представляли собой побочные негативные аспекты антипапизма, который опирался скорее на духовную интуицию, на протест, нежели на освященные Традицией истины.

Как отвержение Рима ради чистого христианства Реформация была полностью оправдана. Но что предлагалось взамен? И вот здесь-то и заключалось самое важное. Вместо обращения к полноценной православной доктрине, протестанты пошли сомнительным путем интуиций и индивидуальных толкований. В высших проявлениях это дало плеяду блистательных визионеров-мистиков (Бёме, Гихтель и т.д.). Но даже в этом случае приближения к высотам православной метафизики не произошло. В худших вариантах это породило кальвинизм и множество крайних протестантских сект, в которых от христианства практически ничего, кроме названия, не осталось.

Существует дуализм между Лютером и Кальвином, между прусским (и французским, гугенотским) протестантизмом и протестантизмом швейцарским, позже голландским и английским. Лютеранство отрицало фарисейство, «номократию» католичества, т.е. иудео-христианский компонент папизма. Кальвинизм же, напротив, пришел к типично ветхозаветному историцизму, к фактическому отрицанию божественности Христа, который превратился в «культурного или морального героя». Кальвинизм развил наиболее неправославные тенденции, присутствовавшие и ранее в католичестве, тогда как критика Лютера была направлена как раз против них.

Итак, в Реформации наличествовали две противоположные тенденции. Одна, условно, антикатолическая с православной стороны (лютеранство). Другая — антикатолическая с антиправославной стороны. Католицизм — особенно распространенный и усвоенный, кстати, в романских странах — оказался между двух версий протестантизма, основными носителями которого были германские народы. Самые восточные немцы — прусы, которые изначально были германизированным славяно-балтийским племенем — приняли лютеранство, а крайне западные германцы (англосаксы) довели до своих пределов кальвинизм и иудео-христианские тенденции.

Таким образом, одна версия протестантизма (кальвинизм, протестантский фундаментализм) становится в авангарде западно-морского-капиталистического полюса, а другая, напротив, выступает как в чем-то приближенная к Православию (но все-таки далеко не православная) ветвь западного христианства. Связь протестантизма и капитализма прекрасно и развернуто показал Макс Вебер в книге «Протестантская этика»*, причем там же объясняется различие между кальвинизмом и лютеранством. Пример показателен. — Протестантизм в Англии приводит к капиталистическим реформам. Протестантизм в Пруссии лишь укрепляет феодальный порядок. Следовательно, делает вывод Вебер, речь идет о глубоко различных тенденциях. Еще дальше заходит в аналогичном анализе ученик Вебера Вернер Зомбарт, который выводит исток капитализма не только из протестантизма, но и из самой базовой католической схоластической доктрины. Интересные соображения на ту же тему приводит Освальд Шпенглер в работе «Социализм и пруссачество».

Парадигма религиозного противостояния определяется как *Православие против католичества и (позже) против крайнего протестантского фундаментализма*. В этой антитезе важнейшее значение уделяется пропорции между посюсторонним и потусторонним в религиозной этике. Православный этический идеал заключается в утверждении обратных пропорций между миром человеческим и миром божественным. Основание такого подхода заложено и в самом «Евангелии» («Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию», «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие» и т.д.), и в православном предании, в том числе и в социальной этике Восточной Церкви. Земное благосостояние считается эфемерным, незначимым, а благоустройство быта и посюстороннего мира рассматривается как дело второстепенное и в сущности неважное перед лицом магистральной задачи, стоящей перед христианином — задачи стяжания Святого Духа, спасения, преобразования. Бедность и скромность в такой картине представляются не столько недостатком, сколько, напротив, полезным фоном для поиска духовного, а аскеза, монашество, отвлеченность от дел мира сего рассматриваются как высшее призвание. Страдание земное оказывается не просто наказанием, но славным и светлым повторением пути Христова. Потустороннее проступает в посюстороннем, релятивизируя его, делая незначимым, прозрачным, переходящим. Отсюда традиционное (хотя и относительное, конечно) небрежение бытоустроительством, свойственное восточному христианству. Нельзя утверждать, что такой православный подход всегда дает положительные результаты. В высшем проявлении — это святость, нестяжательство, вершины духовного умного делания, созерцание. В низшем — карикатурном — лень и нерадивость.

Западная Церковь изначально отличалась повышенной озабоченностью мирскими вопросами, политическими интригами, накоплением и распределением мирских благ. Протестантский фундаментализм абсолютизировал этот аспект, перенес все внимание исключительно на мир сей. Протестантская этика утверждает, что бедность уже сама по себе есть порок, а богатство — добродетель. Потустороннее сводится всецело к посюстороннему, награда и наказание из мира иного перемещаются в мир сей. Это дает невиданный рывок в сфере бытоустроительства, но минимализирует или вовсе отрицает созерцательный, чисто духовный аспект религии. В пределе от христианской доктрины не остается не только духа, но и буквы. Отсюда современные попытки цензурировать «Новый Завет» в тех местах, которые вступают в вопиющее противоречие с экстремальными положениями протестантского духа.

Эта столь противоположная религиозная этика, секуляризируясь, дает, с одной стороны, социализм, с другой либерал-капитализм.

В такой картине определяются два главных субъекта истории — Церковь Восточная (Православие) и Церковь Западная или, точнее, мозаика западных конфессий, в авангарде которых стоит «протестантский фундаментализм», с которым мы уже сталкивались. Диалектика их противостояния вскрывает тайную траекторию религиозного содержания истории.

Теперь осталось рассмотреть иные религиозные конфессии, в которых наличествует проявленный эсхатологический фактор и которые достаточно масштабны, чтобы претендовать на ведущую роль в финальной драме истории. На эту роль претендуют только *ислам и иудаизм*.

Иудаизм представляет собой парадигму эсхатологически ориентированной религии, и само Христианство тесно связано с иудейской эсхатологией. Иудаистическая религия дает самую концептуально завершенную картину конца времен и участия в нем народов и церквей. Смысл иудейской эсхатологии в самых общих чертах сводится к следующему.

Евреи являются не просто этносом, но одновременно религиозной общиной. Такое отождествление этнического элемента с религиозным составляют уникальную особенность иудаизма. В этом смысле все, сказанное в предыдущем разделе относительно евреев как этноса, полностью применимо к

иудаизму как религии. Иудаизм — субъект религиозной истории, ее ось. Долгое время иудейская вера находится в периоде гонений со стороны иных «гойских» конфессий, но в конце времен, с приходом машиаха, с собранием евреев на земле обетованной и с восстановлением Храма иудаизм расцветет и встанет во главе земли. Светским выражением этой религиозной эсхатологии стал современный сионизм.

То, что евреи не растворились как этнос и как религия в море иных народов за долгие века рассеяния, что они сохранили веру в свой грядущий триумф, что, пройдя сквозь столько испытаний, смогли осуществить долгожданную мечту и воссоздать свое государство, не может не производить сильного впечатления на любого беспристрастного наблюдателя. Такое буквальное исполнение эсхатологических чаяний и ожиданий евреев явно свидетельствует о том, что эта традиция, действительно, глубоко связана с таинством мировой истории, и отмахнуться от этого факта нельзя ни скептикам, ни позитивистам, ни антисемитам. Более того, за последние века позиции иудаизма как религии из периферийной бесправной ереси в глазах христианских народов укрепились настолько, что эта конфессия обрела права голоса в обсуждении и решении самых важных мировых вопросов. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что конфессиональное единство иудеев не так монолитно, как это может показаться на первый взгляд. Существует — в самом грубом приближении — две версии иудаизма: *спиритуалистическая* (мистическая) и *материалистическая* (бытоустроительная). Первой версии соответствуют различные течения традиционной еврейской мистики — каббала, хасидизм и некоторые еретические направления типа «саббатаизма». Вторая версия соотносится с талмудизмом, буквальным рационалистическим и номократическим, бытоописательным, ритуалистским толкованием основ Торы. В этом дуализме мы видим прямой аналог соответствующей двойственности и самой христианской традиции — бытоустроительное западное христианство (от католицизма до протестантского фундаментализма) и созерцательно-мистическое восточное (Православие). Очень подробно эта тема освещена в работах крупнейшего современного еврейского мыслителя Гершома Шолема.

Спиритуалистический сектор иудаизма — и наверное это уже никого не удивит — приоритетно характерен для восточно-европейских евреев, да и сам хасидизм Баал-шем Това возник и развился на территории Российской империи. И именно из этой крайне спиритуалистической среды вышло большинство еврейских революционеров-марксистов, большевиков, эсеров и т.д. Евразийская, «православная», аскетическая этика и мессианский идеал братства точно соответствовал этой духовной, мистической разновидности иудейской традиции. В светской форме это дало начало «социал-сионизму».

Противоположная ветвь, — талмудическая ортодоксия, продолжающая линию рационализма Маймонида, — как и древние саддукеи, тяготела к минимализации потустороннего, к имплицитному отрицанию «воскресения мертвых», к имманентной этике бытоустроительства. В эсхатологическом ключе талмудизм рассматривал грядущий триумф евреев как сугубо имманентную, социально-политическую победу, достижение гигантского материального могущества. Вместо *преображения* мира в конце времен, его «*восстановления*» («тиккун»), на которое ориентировались еврейские мистики, рационалисты отождествляли мессианскую эпоху с такой реорганизацией имеющихся элементов, которая передавала бы рычаги власти и контроля представителям иудаизма и восстановленному израильскому государству. Такая общая имманентистская направленность и этика, центрированная на решении посюсторонних, бытовых, организационных вопросов, объединяет как светских раввинов, так и некоторых сионистов.

Иными словами, как и в случае с этнической эсхатологией ей, религиозное поле иудаизма растянуто между двумя полюсами — восточным (воплощенным в Православии) и западным (воплощенным в католицизме и крайнем иудофильском протестантизме).

Исламская традиция, связанная с семитическим религиозным наследием, тем не менее, несопоставимо менее эсхатологична, нежели христианство и иудаизм. Хотя в исламе и существует развитая эсхатологическая доктрина, она явно второстепенна перед массивной логикой утверждения монотеизма независимо от циклических соображений. Наиболее эсхатологические версии ислама распространены не среди чистых арабов Северной Африки, а в Иране, Сирии, Ливане и особенно среди шиитов. Шиитская линия ислама ближе всего стоит к христианской этике и эсхатологической ориентации. Множество параллелей здесь существует также со спиритуалистическим направлением в иудаизме. Крайние шиитские секты — исмаилиты, алавиты и т.д. — вообще основывают свою традицию на эсхатологической проблематике, ожидая прихода «скрытого имама» или «кайима» («воскресителя»), который восстановит подлинную традицию, попорченную веками компромиссов и отступлений и вернет человечество в царство справедливости и братства. Это эсхатологическое направление в исламе — и в шиитском контексте и вне его — вполне можно рассматривать как разновидность «евразийства» в самом общем понимании. Он резонирует с православной эсхатологической перспективой, хотя оперирует, естественно, иной догматической и конфессиональной терминологией.

Иная, неэсхатологическая, версия ислама, ярко воплощенная в саудовском ваххабизме или экстремальном ханифизме (типа пакистанского движения «Талиб» — откуда пошло движение «Талибан»), несмотря на мощные механизмы фанатичной мобилизации, является довольно нейтральной в смысле концептуализации роли ислама в конце времен или рассматривает эту проблему в технической материальной перспективе. Так как исламское население неуклонно растет, то значение исламского фактора естественным образом увеличивается. И в ваххабитском прагматизме и иных неэсхатологических формах исламского фундаментализма вполне можно различить черты, типологически сходные с бытоустойчивым фундаментализмом протестантов или евреев-рационалистов.

При этом едва ли в настоящее время можно всерьез говорить об «исламском факторе» как о чем-то едином, солидарном и достаточно масштабном для того, чтобы предложить свою собственную самостоятельную религиозную версию «конца времен». Можно лишь отметить, что общим для исламского мира фактором является «антииудаизм» или, точнее, «антисионизм». И в этом смысле, вынесение этой этно-религиозной проблематики на первый план, в ущерб акцентированию магистрального противостояния Православия и западного христианства, напоминает ситуацию, с которой мы столкнулись, анализируя значения германского расизма. Тяготение многих исламских идеологов к тому, чтобы сделать из «Израиля» и «евреев» центральный вопрос современной истории, абсолютизируя исламско-еврейское противоречие, снова приводит нас к тупиковой и неразрешимой ситуации, которая принесла столько вреда выяснению функций и идентичности основных субъектов человеческой истории, неуклонно приближающейся к своей развязке. Надо заметить, что и сам ислам начинает рассматриваться как некое «пугало», перед лицом которого должны сплотиться «прогрессивные силы» или даже «христианские страны». Иными словами, ислам или пресловутый «исламский фундаментализм» начинают выполнять функцию несуществующего в современности фашизма. Мы видели, настолько двусмысленна была роль фашизма на всех уровнях реальной эсхатологической дуэли. Было бы крайне опасно, воспроизводить аналогичную ситуацию, но на сей раз с «исламом».

Последняя формула

Подведем итог нашему беглому анализу. Мы выяснили, что на всех уровнях наиболее обобщенных редукционистских моделей исторической телеологии существует конгруэнтная траектория развития исторического процесса. Теперь остается лишь ввести все выделенные компоненты в обобщающую формулу.

Итак, в истории действуют *два субъекта, два полюса, две предельные реальности*. Их противостояние, их борьба, их диалектика составляет динамическое содержание цивилизации. Эти субъекты становятся все более и более отчетливыми и явными, переходя от расплывчатого, завуалированного, «призрачного» существования к ясной и окончательной, строго фиксируемой форме. Они универсализируются и абсолютизируются.

Первый субъект:

Капитал=Море (Запад)=англосаксы (шире, «романо-германцы») =западно-христианские конфессии

Второй субъект:

*Труд=Суша (Восток)=русские (шире, «евразийцы»)=
=Православие*

Двадцатый век — кульминационная точка максимального напряжения противостояния этих двух сил, последняя битва, Endkampf.

В данный момент можно констатировать, что первый субъект почти по всем параметрам сумел одолеть второго субъекта. И главным инструментом, постоянно и на всех уровнях повторяющимся тактическим ходом этой победы Запада было использование некоей промежуточной (третьей) реальности, третьего псевдосубъекта истории, который всякий раз на поверку оказывался бестелесным миражом, призванным закамуфлировать истинную сущность эсхатологической дуэли противостояния.

Победа Запада (во всем его объеме) может быть осознана двояко. Оптимисты либералы утверждают, что она окончательна, и что «история успешно завершена». Более осторожные говорят, что это лишь временный этап, и поверженный гигант сможет подняться при определенных обстоятельствах. Тем более, что победитель сталкивается с новой и совершенно непривычной для него ситуацией — ситуацией отсутствия врага, дуэль с которым составляла содержание его исторического бытия. Следовательно, актуальный субъект истории, оставшийся единственным, должен решать проблему пост-истории, что ставит перед ним новый вызов — останется ли он в этой пост-истории субъектом, или трансформируется в нечто иное?

Но это совершенно иная тема.

А что побежденный? Трудно ожидать от него ясных и взвешенных рефлексий. В большинстве случаев он не понимает, что с ним произошло, и ампутированный орган — в данном случае сердце — продолжает болеть и саднить, как это происходит у больных после операции. Мало кто ясно осознает, что произошло на рубеже 90-х годов, с какой стороны открылась перед человечеством «парадигма Конца»...

Часть 1: Национальная идея

А.Г.Дугин

"Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

АБСОЛЮТ ВИЗАНТИЗМА

Потребность в Русской Доктрине

Наше национальное положение в сегодняшнем мире требуют от нас максимальной интеллектуальной консолидации. Вызов, брошенный нам, предельно конкретен. Давление, оказываемое на нас, имеет все необходимые измерения — от метафизического через культурное и вплоть до силового. Нас, русских, зажимают в угол, пользуясь нашей растерянностью, заиндевением сознания, ошпаренностью усталости и сна. Но вопреки всему, мы обязаны, перед лицом нашего национального бытия — которое отнюдь не сводится лишь к нескольким десятилетиям позора, вырождения и предательства — выдвинуть наш национальный проект, провозгласить его основные положения и попытаться сделать хотя бы несколько шагов в деле его реализации.

Ошибочно сетовать на наше бессилие и опускать руки. Безответственно призывать вначале к материальному возрождению, а потом уже к духовному. Но столь же безответственно пассивно, лениво, трусливо уповать на неведомую силу. Неведомая сила есть, но чтобы вызвать ее, нужны невероятное напряжение ума, воля, сила и доблесть, а не богомольные мыши.

Все начинаться должно сверху, с теории. Наши враги полностью оснащены, они опираются на серьезную теоретическую базу. Они очень умны и последовательны. Наши враги — Запад и современный мир, либеральная идеология и капиталистический строй. Это строилось и шло к триумфу долгие века. Если мы хотим хоть что-то возразить, противопоставить, то должны напрячь все силы, воззвать ко всем дельным и стоящим персонажам, независимо от симпатий и антипатий, принять во внимание все существующие (но ответственные, обоснованные) позиции. Только такой тотальный, негрупповой, не клановый, не индивидуалистический подход сможет приблизить нас к формулировке Русской Доктрины.

Византизм

Можно много говорить о мифических веках древней доисторической Руси. Но как-то совершенно непонятно, что данные темы никак не хотят складываться в упругий миф, способный мобилизовать и пробудить нацию. Все слишком вольно, слишком расплывчато. Апелляции к языческой Руси не

убедительны. Персоны проповедников — смехотворны. Нам же необходимо нечто более солидное. Это не исключает обращения к солярной славянской мифологии, но в качестве вторичного элемента .

Нашей самой прочной базой является Византия . С богословской точки зрения, именно Византия была подлинным христианским царством и длилась тысячу лет. Это и было «тысячелетнее царство». Все различие судеб Западной Римской Империи и Восточной Римской Империи отражает изначальный дуализм, в рамках которого ведет борьбу (или, точнее, должна вести борьбу) русская нация. Православие — это Византия. Россия — это Византия . Рим изначально уклонялся от симфонии властей и правильного духовного пути. Все этапы ухудшения отношений между Византией и Римом вплоть до раскола Церквей отмечены прогрессирующим отпадением Запада от богословских и социальных основ истинного Христианства.

Империя Карла Великого была окончательной формой антиправославной государственности, где жреческая тирания Ватикана соседствовала со светским самодурством франкской аристократии. Гибеллин Данте назвал это антихристовым «совокуплением блудницы и черного гиганта».

Наша формула: Запад — зло, Византия — добро. Все, что написано о Византии плохого — ложь. Это лишь приемы идеологической борьбы со стороны Запада. Католицизм — наш непримиримый враг. Никакой альянс с ним невозможен. Разве ценой его полной и безоговорочной капитуляции перед Православием. В русской исторической традиции к Византии сплошь и рядом негативное отношение, повторяющее инсинуации Запада. Каждый русский должен знать, что Византия — чистое добро. Всякий, кто утверждает нечто иное, — враг. Быть может, вопрос не стоял бы так остро, не будь мы в такой страшной и подавленной ситуации. Теперь же нам не до нюансов. Критикуешь Византию — враг русского народа. Такова должна быть наша железная установка. Установка на Византию.

Византия настаивала на общинной обработке земли, ставила препятствия феодальным отношениям «коммэндации»_«бенефиции», которые постепенно привели Запад к капитализму . Общинное владение землей, государственная поддержка сельской общины — отличительная черта византизма в экономике . Всячески ограничить власть землевладельцев и отчуждение земель — этот принцип лежит в основе византизма на социальном уровне. Этот принцип необходимо защищать и сегодня.

Византия основана на политической идее симфонии властей. Эта симфония была радикально нарушена на Западе. «Симфония» означает, что император, василевс, является гарантом единства государства в светской области. Патриарх — в области духовной. Гармония Православия и Монархии дает империи священный характер. На Западе после отпадения Рима эта идея была отвергнута — Папа узурпировал власть и духовную и светскую, превратив Церковь в административный аппарат, а короли, со своей стороны, постоянно пытались отвоевать у Папы его власть (борьба гвельфов и гибеллинов). Политический византизм — симфония властей, провиденциальное истинное спасительное сочетание духовного и светского , единственное, дающее сакральность государственной системе, которая во всех иных случаях становится синонимом угнетения и узурпации , а следовательно, теряет легитимность .

Итак, исторической колонной национального утверждения русских является византизм . Византизм на трех уровнях — геополитический (Восток против Запада), социальный (община тружеников против индивидуализма и эгоизма эксплуататоров), политический (симфония властей против всех видов узурпации).

На уровне мистическом византизм есть «тысячелетнее царство» (Империя длилась, на самом деле, приблизительно 1000 лет), «катехон » из Второго Послания апостола Павла «К Фессалоникийцам», препятствующий приходу «сына погибели».

Византия — абсолютный ориентир русского проекта, наша точка отсчета в истории. Это — надежно и крепко. Это — центрально. Все остальное — в качестве обрамления.

Святая Русь

Византия пала, когда засомневалась относительно собственной правоты. В позорной Флорентийской Унии закреплен ее компромисс с Западом, главным врагом византизма. Компромисс не помог — в 1453 году Византия пала под ударом турок. Наступил конец Византии, так как ее сущность заключалась в особом сочетании религиозного авторитета патриарха, политической монархической власти православного государя и экономической системы, поощряющей общинность и, по возможности, сдерживающей феодальные и раннекапиталистические отношения. Распад такого

комплекса, от которого осталась подчиненная турецкому султану зависимая патриаршая власть (изменившая качество своего духовного содержания), есть конец византизма для Византии . Вместе с тем, это отход «катехона », снятие на пути антихриста волшебной преграды.

Византия кончилась, но византизм не кончился . Он перешел на Московское царство, которое стало Святой Русью. Святая Русь переняла политическую симфонию властей, введя на Руси патриаршество наряду с уже существовавшей монархией, но сама эта монархия изменила смысл, став универсальной и эсхатологически отмеченной . В социальной сфере также доминировало общинное хозяйство. На мистическом уровне «катехон» переместился из Византии на Север, повинувшись эсхатологическому притяжению норда.

Святая Русь — второй этап Русского Проекта. Москва — Третий Рим. Русь как новая и последняя обитель «катехона ». Старец Филофей: «Два Рима падоша, Третий стоит, а четвертому не быти». Универсальная колонна русского национального утверждения — доктрина Москва-Третий Рим. Ее значение не исчерпывается временным периодом — оно универсально для всей нашей национальной судьбы.

Всякий, кто критически освещает этот период — от 1453 до 1666 года — идеологический враг. Критика Москвы недопустима. Москва — абсолют. Русское патриаршество — вершина истины и предельный авторитет в Православии. Постановления Стоглавого Собора — не подлежат постановке под вопрос. Они все истинны до знаков препинания.

Период Москва — Третий Рим есть эпоха расцвета «русского византизма ». Это вторая стадия реализации национального идеала. Все направленное и тогда и сейчас против этой истины — вражеские козни, оскорбление нашего национального достоинства. Ответом на это должен быть страстный и инстинктивный отпор. Если бы мы были сильны, мы могли бы позволить себе больше снисходительности и мягкости к противникам. Сейчас дело идет о жизни и смерти.

Старообрядчество

Далее следует страшное событие. Подобно тому, как некогда византизм ушел из Византии , так и русский византизм ушел из Руси, из Москвы -Третьего Рима. Но ушел на сей раз не к другому народу, а в бега, пустыни и леса. Внешняя Русь десакрализовалась, ушла в петровскую петербургскую Россию. Внутренняя Святая Русь двинулась в раскол и гари. Никоновская реформа и в еще большей степени собор 1666_1667 годов перечеркнули двухсотлетний период «русского византизма», отказали ему в праве на существование.

Русский византизм отныне стал неконформистской доктриной, политико-мистической традицией староверов . Не прошло и века с эпохи рокового собора 1666 года, как на Руси не стало Патриаршества, столица была перенесена в северные болота безжизненного и бессмысленного города-призрака, крестьянская община окончательно попала в жесткую кабалу эксплуататоров. На мистическом уровне это означало отход «катехона ». Теперь приходу антихриста ничто не препятствовало.

Ничто, кроме старообрядцев, которые унесли с собой великую универсальную идею византизма .

Именно старообрядчество, несмотря на все трудности его исторического пути, было хранителем истинно православной и истинно монархической идеи, носителем социальных традиций «тысячелетнего царства». Великая идея, как Китеж, ушла на периферию русского общества, но не исчезла совсем.

Наша национальная идея не может не быть старообрядческой. Всякая апелляция к петровской, романовской России, к синодальному казенному петербургскому православию — проявления антивизантизма и русофобии. Национальными и подспудно византистскими были в этот период только революционные тенденции . Все сторонники идеи Петербурга — враги России.

Красный византизм

Советский период был мистическим возвратом к византизму , но на новом этапе. Это был византизм спонтанный, стихийный, фрагментарный . Большевики переносят столицу в единственно подлинно святой русский город — Москву. Параллельно восстановлено русское Патриаршество. Вместо рокового рода Романовых власть над избранным русским народом берет Богородица, Державная. И в социальной сфере — возврат на новом уровне к общине, уничтожение эксплуататоров как

класса. Поразительно, но те же сугубо византийские процессы мы видим и в геополитике — все жестче противостояние с Западом, все яснее отвержение его политико-экономического строя и его культуры.

Советский период — уникальный, пусть несколько смещенный, но возврат «катехона». Богоборческая внешне, атеистическая, материалистическая власть по своим символическим аспектам поразительно совпадает с самыми сакральными и чистыми парадигмами византизма. Когда русские национал-большевики и левые евразийцы осознали это, они были в шоке. Было от чего. Как странно правит миром десница Господня вопреки малым и коротким мыслям жалкого человечества. Что бы ни замышляли прыщавые семинаристы и мучимые комплексами разночинцы, светлый Дух превращал пародию в величественную конструкцию советской империи. «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». — Это не частное мнение декадента, но голос пророка тайной Руси.

Советизм, понятый как «красный византизм», а он и был только им и ничем иным, важнейший элемент Русского Проекта, Русской Доктрины.

Византизм будущего

Византизм не историческая модель, но универсальный архетипический идеал, сверхвременная реальность Царствия. Он существует по ту сторону времени и пространства, но именно в нем восторженно растворяется высшее Я нашего богоизбранного народа, нашей Церкви, имеющей безусловную прерогативу на истину и спасение. Исторический византизм был лишь знаменем, приблизительной, не лишенной погрешностей, прообразовательной реальностью. Истинный византизм — это царство будущего века, венчание Святой Руси в брачном миге Второго Пришествия. Религиозные, эсхатологические и мессианские проекты всегда неявно, но настойчиво направляют политические учения и социальные доктрины, говорится ли об этом открыто или нет (чаще всего нет). Может быть, и нам следовало бы скрывать наши высшие идеалы и самые интимные мистические и мессианские ориентиры. Да, это имело бы смысл делать, не будь ситуация столь критичной. Ведь кажется, что эти очевидные для всякого нормального (пробудившегося, очнувшегося от слабоумия и страха) русского истины сегодня совсем потеряны, разбавлены, стерты, заболтаны, оплеваны или осмеяны. Когда критическая масса проснется, будем тщательно скрывать наши настоящие планы. Пока же опасность совсем, совсем в другом.

А.Г.Дугин

**"Основы Евразийства"
"Русская Вещь", Арктогея, 2001**

РОССИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ ВЕЛИКОЙ ИЛИ НИКАКОЙ

Понятие «Великое Государство» не является простой эмоциональной, националистической формулой бытовой политической речи. За этим понятием стоит очень конкретная геополитическая реальность. Сочетания «Великая Сербия», «Великая Россия», «Великий Израиль», «Великая Германия» и т.д. несут совершенно определенный исторический смысл, варьирующийся в зависимости от того, какая именно страна и какой именно народ стремится добавить к своему самоназванию прилагательное «великий». Сербия, к примеру, отличается от «Великой Сербии» не только территорией, хотя и ей тоже.

Понятие «Великая Сербия» имеет конкретный пространственный смысл; произнося это словосочетание, балканские политики подразумевают историческую формацию, образованную сербским царем Душаном Сильным, которая располагалась на территории нынешней Югославии, части Болгарии и захватывала северные регионы Пелопонесского полуострова, Македонию и Грецию. Это была своего рода сербская империя. Хотя она просуществовала недолго, но оставила в национальной психологии сербов неизгладимый след; до сих пор только сербы из всех балканских народов воспринимают себя как «имперский народ», и от этого их переживание нынешней национальной катастрофы носит столь драматический, надрывный, глубинный характер.

Но не только исторический прецедент владения обширными землями формирует концепт «великой державы». Это еще и внутренний идеал, сопряженный с уровнем национальной мечты конкретного народа. И даже несбыточные фантастические представления о границах такой «великой державы»

много говорят о степени универсальности, обобщения, на которую способен данный народ пусть только теоретически — умозрительные границы всегда несут в себе очень конкретную информацию о качестве духовного национального идеала. Та же «Великая Сербия» представима (пусть в мечтах) как объединение балканских славян под эгидой Православия, с некоторой степенью терпимости в отношении католического меньшинства (хорватов и словенцев). Не менее, но и не более того. Когда же сербы начинают мыслить еще более глобально, выходит поговорка — «нас и русских 200 миллионов», то есть «Россия и есть следующая ступень за Великой Сербией».

Границы «Великого Израиля» тоже вполне конкретны: от Нила до Евфрата. За этими территориальными пределами дерзновенная мысль даже самых радикальных сионистов останавливается. Дальнейшее наращивание величия предполагается уже не через экстенсивное (внешнее), но через интенсивное (внутреннее) развитие нации. Через мессианские события, чудеса и знамения, которые будут распространяться уже по иным каналам на весь мир, но основа — от Нила до Евфрата. Не более, но и не менее.

Если у многих народов понятие «великой державы» остается на уровне потенци, нереализованного национального идеала, есть некоторые исключения, — исторические счастливицы, — которым удается добиться своего на практике. Показательно, что Англия в своем официальном названии «Great Britain» («Великобритания») уже имеет этот атрибут. И действительно, эпоха «величия» Англии была отнюдь не эфемерной, англичанам принадлежало реально полмира, пока они не передали эстафету своему заатлантическому детищу. Максимальные же границы Великобритании (профильно морской державы), по представлению самих англичан, совпадают с береговыми зонами всех материков и простираются вглубь настолько, насколько позволит сопротивление аборигенов суши. Объем претензии приличный. Правда, сама Великобритания сегодня уже мыслит себя не через себя саму, а через США, полагая, что «их успехи, это наши успехи». И в смысле преемственности геополитической эстафеты, а также цивилизационного содержания проводимой США мировой политики, они совершенно правы. Greater Britain («еще более великая Британия») это и есть сегодня США.

Что же в таком случае «Великая Россия»?

В нашем языке уже есть термин, который в последнее время используется не часто, но несет очень глубокий исторический смысл. Это термин «великороссы». «Великороссами» традиционно называли восточных славян, живших в Московском Царстве, и в отличие от других православных братьев («малороссов» и «белороссов») никогда не терявших своей суверенной государственности и не подпадавших под политическую и религиозную власть инородцев и иноверцев. Название «Великороссия», таким образом, связывает воедино этнос, религию, территорию, ареал расселения, фактор государственной независимости (суверенности), что в целом и составляет культурный и исторический облик нации. Собственно «русские» именуются «великороссами» не столько по своей численности и не по объему занимаемых территорий, но именно по той причине, что им удалось воплотить в исторической реальности мечты об универсализации своего национального идеала. «Великая Россия», давшая этническое самоназвание великоросскому племени (кстати, в паспорте в графе «этнос» имело бы смысл вместо «русский» писать именно «великоросс» — тем, естественно, кто, на самом деле, великоросс; а вот в графе «гражданство» или «национальность» — «русский»: такими могли бы быть многие и не великороссы), это совершенно конкретная историко-пространственная и культурно-политическая реальность, которая должна рассматриваться как основа нашей специфической российской цивилизации, как общая матрица, из которой развились все политические формации нашей истории — от самого Московского Царства через Романовых к Советскому Союзу и современной Российской Федерации. «Великая Россия» не условность и не миф — это вполне конкретная и строго фиксируемая ось нашего исторического бытия.

Однако все это относится к области прошлого, к области фундамента. Там мы видим и ценностный заряд, давший гигантскую энергию державостроительству: идею единственного (после падения Царьграда) оставшегося подлинным христианства — Православной Веры; теорию «спасительного царства», «тяглого Государства», где гражданское и социальное служение неразрывно связано с общенациональной литургией спасения души (концепция «Москва — Третий Рим», св. Иосиф Волоцкий и т.д.); представление о русских как о народе-богоносце, Новом Израиле, несущем свет Веры всем отпавшим от истинной Церкви народам мира. И тот факт, что этот ценностный заряд удалась реализовать на огромном секторе географической, политической и этнической карты в глазах самих русских, — а еще более глубоко и неизменно в глубинах национальной психологии — подтверждает нашу историческую правоту и обосновывает наше право следовать по этому пути в дальнейшем. Как бы этот изначальный заряд ни изменял своего внешнего выражения, — и в романовской секуляризации, и в атеистическом (внешне) мессианстве большевиков, — именно он оставался в течение веков путеводной звездой Великой России, делал ее Великой и субъективно и объективно. Что же означает «Великая Россия» сейчас? Только ли ностальгию по безвозвратно утерянному прошлому?

Ответить на это бесстрастно и объективно невозможно. То, что сегодня наше самосознание, наша Государственность, наше национальное чувство переживают глубочайший кризис, очевидно. Поэтому столь неадекватно воспринимается многими само выражение «Великая Россия». Раздаются голоса: «Слишком большую цену мы заплатили за эту дерзкую мечту... Слишком большими потерями дается участие в мировой истории в достойном и гордом качестве «великой державы»... Не пора ли остановиться и стать «нормальным Государством»...»

«Нормальное» (еще несколько лет назад говорили «цивилизованное», но теперь, когда ближе узнали далекий от идеала Запад, стало стыдно использовать эту унижительную для русских формулировку) Государство противопоставляется «великой державе» или «империи». Сегодня волна острой русофобии (свойственной периоду начала либеральных реформ) стала постепенно спадать, и идеи о том, что «России вообще не должно быть» (до чего договаривались ранние реформаторы), больше никто выдвигать не рискует. Вопрос только о том: или «нормальное» Государство или Великая Держава?

Очень корректная постановка проблемы. «Нормальное» противопоставляется «великому». Идет ли в таком противопоставлении речь только о территории? Нет, не только, но и о территории тоже. «Великая Россия» в будущем не должна быть меньше, чем «Великая Россия» в прошлом. И это очень серьезное положение. О каком величии и универсализме можно говорить, если мы умаляем наши геополитические позиции и, соответственно, сужаем пропорции нашего национального идеала?! Но вопрос о национальном идеале и его универсальности является здесь еще более важным, нежели проблема территории. Основная грань между «нормальным» и «великим» проходит именно на уровне нашего духа, нашего самопереживания, нашей готовности и способности сказать другим народам «новое слово», даже не обязательно «слово», может быть, какой-то иной жест, звук, знак... Но обязательно свое, глубинное, новое для всех остальных (и может быть, даже для самих себя).

Великодержавное чувство предшествует завоеваниям, аннексиям или союзам. Оно движет политической историей больших народов. Иногда исторический процесс поворачивается не в пользу реализации этого чувства, и тогда «великая держава» переходит в параллельный мир психологии, ностальгии, тайной, глубоко спрятанной воли. Но она никогда не исчезает окончательно. Мы ни за что не поймем состояния нынешних сербов, горделиво бросивших вызов всему миру ради суженой невесты своей, огненной Сербии, Сербии духа и просветленной национальной плоти («Я даю за тебя жизнь, отчизна моя... Знаю, что2 даю и за что2 даю...» — по словам великого сербского поэта). Сквозь турецкое тяжелое господство, сквозь отчужденный пресс формального социализма вырвалась из подсознания «Великая Сербия» — как реальность, как язык пламени, как автоматная очередь.

И не поймем мы израильских поселенцев, которым предлагается в ходе «мирного процесса» убираться назад (куда назад?), с земли, священная любовь к которой оживляла народ в тысячелетиях рассеяния, ведь параллельный «Великий Израиль» никуда не исчезал из еврейской души, из еврейской тоски, из беспредельного, озлобленного и изошрившегося в скорби горя. От Нила до Евфрата. Наяву ли, во снах... Но считаться придется. Пока жив национальный идеал сионизма, никто не может спать спокойно — ни враги, ни друзья.

И в Сербии, и в Израиле стоит тот же вопрос, что и в России: «великое» или «нормальное»? Идеальное или прагматическое? Героическое или торговое? Укорененное в земле или фланирующее по мегаполисам, напоминающим друг друга как серийные детали — Вашингтон, Париж, Москва, Тель-Авив, Гонконг (одинаковые рекламы, одинаковые Мак До, одинаковые тинэйджеры с серьгой в ухе и широких дегенератских штанах на роликах...)? Нормальный мир против Великого Мира. Россия родилась как нечто обреченное на величие, страстно этого величия жаждущее. Мы шли к этому, мы этого достигли, и пошли еще дальше. Наш национальный идеал возрастал от гордых, трудолюбивых и мирных белокурых славянских племен до солнечной Киевской государственности, до угрюмо святой неколебимой торжественно континентальной Москвы, до бюрократического, не совсем русского, но пространственно безудержного петербургского периода, до высшей советской формы общечеловеческой мировой державы, где русский идеал справедливости, общинности, братства и счастья распростерся до масштабов планеты, вышел за ее пределы. Да, сейчас, горько, что советское величие рассеялось. Да, это безвременье пережить трудно. Но отказываться от нашей исторической миссии, от той наглядной последовательности, с которой мы — упорно, кроваво, тяжело, но все больше и больше — расширяем границы нашей земли и нашей истины, значит совершать чудовищное преступление: убийство национальной идеи страшнее геноцида. Прошлое учит нас: из каждого кризиса, временно сжимаясь пространственно и духовно, русские выходят обновленными и окрыленными, делают новый бросок. Кровавый бросок, но дух истории питается кровью, как преображенной кровью Господней питается душа христианина. Из монголо-татарского периода мы вышли континентальным царством. Смутное время спровоцировало лишь западные походы русских царей за освобождение православного славянства — наших малороссийских и

белорусских братьев. Даже за потрясающей основы русской Веры катастрофой раскола последовало романовское движение в глубь Сибири, русский Drang nach Osten. И наконец, из кровавой бани Первой мировой и Гражданской, из пепла восстала мировая Советская Держава, великая и непобедимая.

Да, сегодня мы пьем полынь поражения, на наших губах боль, они слегка дрожат. В наших глазах скорбь, недоумение, потерянности. Но в наших сердцах тайный свет, в наших снах Великая Русь, в нашей крови воют мертвые, породившие нас, завещавшие нам огромные пространства, которые должны стать еще огромнее, пока не заслонят солнце, и Луну, и звездное небо над нами, и паршивый, никем и никогда не соблюдающийся, навязанный коварным Западом «нравственный закон в нас». Нравственна только Родина, нет такой цены, которую жалко заплатить за ее величие. Хоть душу. Есенин писал:

Если скажет рать святая,
брось ты Русь, живи в раю.
Я скажу, не надо рая,
Дайте Родину мою.

Никакого уютного «нормального» рая с гамбургером и путевкой в Анталию, где мало воды, грязные чашки и мутные вирусы, не надо. Нашли нормальность, ничего себе «рай»... Но и настоящего рая не надо русскому человеку. Даже если «нормальность» будет, действительно, нормальной (конечно, этого никогда не произойдет, допущение чисто теоретическое, какая в России нормальность!) и ее не надо, ведь не надо же Есенину даже белоснежного крылатого счастья, длящегося вечно.

Если Россия не будет великой, ее не будет вообще. Величие — наша великоросская сущность. Но тогда, пусть лучше ничего не будет. Без России мировая история немыслима. Тогда пусть кончается мир. Новая ценность пробуждается в тайне нашего бытия. Еще неоформленная, не произнесенная, не высказанная, но уже великая, уже раскаленная, без названия, без облика, без авторства, без подписи. Какая-то темная, огромная, воспаленная, невероятно сладкая, научная и пророческая, плотская, животная, с крыльями, пахнущая могильной землей и первыми лучами рассвета Истина. Истина нашего величия вопреки всему и всем, добродушного, жестокого, бесконечного величия, сметающего границы и государства, изливающегося от внутренней переполненности, страстности, одичалого кипения вовне, повсюду, на отуреченный Берлин и Токийскую биржу, на базары Эр-Рияда и колдунов Австралии...

Никто не может фактами обосновать право на величие. Новая Идея, призванная овладеть миром, не обязательно должна быть коммерчески привлекательной или теоретически обоснованной. Тонны книг по развитому социализму ничего не изменили — можно было бы и так. А телебашни, как известно, горят и падают. Гипноз и соблазн «нормальности» велик. Но это «PR» эфемерности.

Величие в «PR» не нуждается. Оно нуждается в воле и действии. И наши дети, братья, убивающие и умирающие за Родину, строят Россию не «нормальную», строят Россию Великую. И каждый выстрел их упорно сверлит брешь в толщах истории. Мы выбираемся из норы, куда оскользнулись. Пока медленно, неуверенно, неуклюже, хватаясь за ссохшуюся траву по краям, вырывая ее с корнем, катаясь назад. Но мы шевелимся—значит, мы живы.

А.Г.Дугин

"Вторжение", №17, 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ : ВЕЧНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ

Традиционный консерватизм: провал, возведенный в доблесть

У всех консерваторов есть трагическая черта — они обязательно проигрывают. Стремясь противостоять новому, которое расценивается (чаще всего весьма справедливо) как негативное, отступническое, почти предательское по отношению к вековым традициям и устоям, они обречены на то, чтобы проигрывать раз за разом все битвы, так как само время заведомо находится по ту

сторону баррикад. Кажется, что позиция консерваторов-традиционалистов — это, в конце концов, лишь трагичная и весьма привлекательная эстетически поза, некий яркий, но заведомо обреченный жест. Более того, упорство консерваторов в приверженности старому в определенном смысле на руку и их противникам, прогрессистам, модернистам всех типов и окрасок: ведь отождествляя свой лагерь с чистым сопротивлением, с инерцией, с реакцией («реакция», по-латыни, дословно, «противодействие»), консерваторы развязывают руки всем тем, кто предлагает новаторский проект, независимо от того, каким, собственно, этот проект является.

По определению, консерваторы препятствуют любым новшествам, любым новинкам. Проекту модернистов они противопоставляют не свой собственный план, а полное отсутствие такового. Сущность позиции консерваторов сводится к тому, чтобы все оставить как было, как есть. Это, естественно, серьезно облегчает задачу тех, кто хочет все изменить. Ведь огромный социальный пласт, представленный консерваторами, выводится за скобки при обсуждении или реализации новых программ, заведомо отказывается от выдвижения собственного проекта, что серьезно увеличило бы конкуренцию и позволило бы внимательнее присмотреться к содержательной стороне того, что предлагают модернисты.

Обстоятельство фатальной обреченности традиционного консерватизма, его ненамеренное и бессознательное подыгрывание прогрессистскому лагерю давно заметили наиболее пронзительные мыслители консерваторы, пытавшиеся постичь причину постоянных своих неудач. Начиная с Луи де Бональда, Жозефа де Мэстра, Доносо Кортеса и русских славянофилов, консерваторы стали задаваться вопросом, насколько сами они виноваты в собственных исторических провалах и в фатальном выигрыше революционного, противоположного им лагеря, воплощающего в себе то действие, противоречием которому, реакцией на которое и является, по сути, появление консервативного фронта. Так родились первые очертания особой версии консерватизма, которые были совокупно названы славянофилом Самариным «революционным консерватизмом». Вначале речь шла о том, что консервативный лагерь должен быть более радикальным в своих действиях, превосходить выступления «нигилистов» и «ниспровергателей основ», перенять у них радикализм и дерзость в реализации своих целей, макиавеллизм подрывных технологий. В 20-е это наиболее радикальное направление в консервативном лагере обособилось и стало называться «Консервативной Революцией», применив к себе через Томаса Манна термин русского славянофила. В Германии движение так и называлось «Консервативная Революция», в русской среде оно было известно как «евразийство».

Парадоксы Консервативной Революции

Ярче и масштабнее всего Консервативная Революция как самостоятельный полюс консерватизма проявилась в Германии. Именно там сложилась целая плеяда мыслителей планетарного уровня — Освальд Шпенглер, Карл Шмитт, Эрнст Юнгер, Фридрих Георг Юнгер, Эрнст фон Заламон, Мартин Хайдеггер, Артур Мюллер ван ден Брук, Эрнст Никиш и т.д., которые разработали основы Консервативной Революции как самостоятельного мировоззрения, очень далеко ушедшего от привычных моделей обычного консерватизма. Сущность этой колоссальной ревизии состояла в том, чтобы полностью пересмотреть традиционную схему противостояния «сторонников перемен» и «противников перемен», ту схему, которая в последние три столетия устойчиво формировала «правых» (=«консерваторы») и «левых» (=«прогрессисты»). Консервативные революционеры предложили подойти к этой проблеме совершенно иначе. Изменение неизбежно, считали они. Революции имеют под собой органичные причины и не сводятся к банальному «мифу о заговоре». Социальное движение исторически предопределено и противиться ему невозможно. Следовательно, речь должна идти не просто о «консерватизме», но об особом «консервативном проекте», о специфической политической, социальной, культурной и экономической динамике, о прогрессе и о модернизации, но только структура этой тенденции должна быть иной, нежели в слишком общих схемах обычных «левых», обычных «прогрессистов», которые — подобно консерваторам, но с обратным знаком — сплошь и рядом поддерживают перемены ради самих перемен, движение ради движения, революцию ради революции.

«Революции надо не предотвращать и подавлять, но возглавлять и подчинять своей воле», — писал наиболее афористичный консервативный революционер Артур Мюллер ван ден Брук, основатель движения. Проекты модернистов должны быть дифференцированы, систематизированы, иерархизированы. Отбрасывать следует лишь чисто «нигилистические» элементы, лишь ressentiment, о котором писал и Ф. Ницше и М. Шелер, т.е. неосмысленную, слепую злобу к созидательным иерархиям и ценностным системам культуры и общества. Революционные проекты должны помещаться в исторические контексты, и их органические составляющие должны приветствоваться и поощряться, — по меньшей мере, братья на вооружение. Тезис Ницше «подтолкни, что падает» должен быть заимствован не только разрушителями, но и созидателями: ведь рушащееся, обветшалое здание грозит погрести под обломками самое ценное — высшую идею, огненную форму, ради которой и ведется все созидание. Стены тухлявого храма, обвалившись,

могут порушить алтарь. На спасение наиболее святого, наиболее существенного, наиболее центрального должны быть брошены основные силы, и если такое спасение потребует серьезной ревизии внешнего, отказа от «старых мехов» — необходимо идти и на это.

Так как сами консервативные революционеры все более отдалялись от общеконсервативной среды, они сближались и с некоторыми силами в прогрессивном, «левом» лагере. Оpozнав в самих себе революционный элемент, они легко обнаружили, напротив, консервативный элемент и среди радикальных революционеров. Так, постепенно выяснялось, что многим убежденным прогрессистам в существующем строе, в «старом порядке» не нравились отнюдь не сущностные, но второстепенные черты — дух бюрократии, отчуждения, стагнации. Оказывается, многих не устраивал «старый порядок» не потому что, это был «порядок», а потому, что он был «старым». Следовательно, против «нового порядка» они не имели никаких возражений.

Так возникло удивительное политическое движение «ни левых, ни правых», «национал-большевиков» или сторонников «третьего пути», где в общем фронте объединились представители лагерей, традиционно занимавших противоположные места в политическом спектре.

Законченного политического оформления эта тенденция не приобрела в силу определенных исторических обстоятельств. Но в чисто теоретической сфере — и это самое главное — были найдены удивительно емкие, свежие, парадоксальные и точные формулы, рецепты, концепции, несущие в себе огромный мировоззренческий потенциал. Даже урезанной, компромиссной и пародийной модели, скальпированной с «консервативной революции», было достаточно, чтобы определенные политические силы пришли к власти в Италии и Германии. А прагматическое использование вождями коммунистов в России национал-большевистских конструкций обеспечило им политическую власть и идеологический контроль в течение почти ста лет на половине планеты. Более того, даже совсем разбавленные и смутные модели «третьего пути», привитые к либеральным режимам (как это было в случае New Deal Рузвельта), давали огромный положительный эффект.

Безысходный спор, погубивший последнюю Империю

Сегодня наша Родина в тяжелом кризисе. Произошла либеральная, атлантистская революция, советский режим («старый порядок») безвозвратно рухнул, что бы там ни говорили сегодняшние консерваторы, в роли которых — как это ни парадоксально — выступают вчерашние «революционеры», «левые», «прогрессисты», «коммунисты». И снова — как всегда в истории — «сторонники перемен» несмотря на сопротивление «противников перемен» одержали верх. Конечно, многие из них — самые искренние — сами не рады такой «победе», в жертву которой принесены великое государство, мощная экономика, развитый социальный сектор, поверхностная, но экстенсивная культура. Несмотря на то, что оправдались самые худшие опасения консерваторов, фатальная «перестройка» была объективно неизбежна. Советский порядок к 80-м стал «старым порядком» во всех смыслах и на всех уровнях. Он утратил динамику, он потерял внутреннюю жизнь, он одряхлел и духовно зачах. Великий проект большевиков был грандиозно воплощен, но это воплощение достигло естественных пределов. Нужна была новая волна, новая революционная встряска, новый рывок. Свежая кровь, страстный всплеск, мобилизация, усилие, потрясение.

Но с фатальной обреченностью перестроечная дискуссия вращалась лишь вокруг того, быть «новому» или «старому», выбрать «движение вперед» или «движение назад». При этом без каких-либо серьезных оснований оба лагеря были убеждены, что «вперед» означает «к западной рыночной модели», а назад — к «государственному социализму и брежневизму». Консерваторы (пока еще имели для этого все возможности) не выдвинули своего особого консервативно-революционного проекта, а прогрессисты (реформаторы) внятно не пояснили своего.

Как обычно в таких случаях, проиграли все. То, что было обречено на падение, пало. Но образовавшуюся пустоту заполнили не новые строители, носители «нового порядка», а орды червей, которые и подточили основы прежнего строения.

И хотя сегодня нелепость былых перестроечных полемик между «реформаторами» и «консерваторами» очевидна многим, до надлежащих выводов очень далеко. Именно об этом, кстати, свидетельствует фантастическая популярность «теории заговора» в обоих политических полюсах современного го российского общества. Патриоты убеждены, что за все в ответе «заговорщики», «либералы» во всем видят плоды диверсий «красно-коричневых». Апелляции к мифу — самая простая операция в том случае, если объективный анализ грозит разрушить априорно принятую, недостаточно рефлектируемую и не осмысленную критически гипотезу, взятую как нечто само собой разумеющееся.

Задача: статья во главе реформ

России сегодня нужна только Консервативная Революция. По ту сторону левых и правых, модернистов и консерваторов, прогрессистов и охранителей. Мы должны не противопоставлять проект и его отсутствие, развитие и стагнацию, а внимательно приглядеться к тому, что именно одни предлагают в качестве прогресса и что именно другие требуют сохранить. Настало время дифференциации. Пошлые штампы и банальные объяснения всего и вся «теорией заговора» должны быть отброшены, преодолены. Реальность гораздо сложнее вульгарных схем.

Разве будущее бывает только рыночным? Разве открытость общества означает только открытость в отношении Запада? Разве материальный прогресс является единственным, достойным копирования и адаптации?—Так обязаны спросить мы «реформаторов». Не только спросить, но и выдвинуть свой альтернативный футурологический проект—концепцию «евразийского модернизма», возможно, даже, «евразийского постмодернизма», куда войдут альтернативные либерализму экономические доктрины (и совсем не обязательно исключительно марксизм), обращение к гигантскому пласту древних культур Востока, стратегии многомерного прогресса, «гармоничного развития человека», а не только техносферы и информационного поля. Разве в советском обществе все было идеально? И разве романовская Россия (еще раньше) не сама выпестовала своих могильщиков? Разве идеологический террор марксистов и культурная изоляция не сами породили нигилизм и привели к отказу от собственной социальной и культурной самобытности? — Такие вопросы зададим мы «консерваторам» (и «красным» и «белым»). Не только зададим, но и выдвинем свою евразийскую концепцию русской истории, где светлыми вехами будут индоевропейское наследие, византизм, Московское царство, Грозный, Аввакум, народники, «скифство» и национал-большевики, а негативными — униатство (греческое и малороссийское), никонианство, «европеизм», романовщина, «кадровый», бюрократический, доктринерский, материалистический советизм.

Во главе движения за радикальные перемены должны встать ревнители святой древности — не сторонники гадкого вчера, которое было не многим лучше постылого сегодня, а носители великой памяти о золотом веке, о Святом Царстве, об идеальной Родине, об особом полуматериальном, полудуховном континенте — Континенте Русь.

Именно консервативные революционеры обязаны возглавить реформы. Возглавить, а не свернуть. Начать, а не закончить. Мы все еще тонем в ветхости, задыхаемся под невыносимым бременем отжившего. Это не вечный, коренной, исконный свет, свет истока. Это надоедливо-привязчивое, свинцовое мерцание вчерашней дегенерации, старых ошибок, давнишних провалов, не изжитых заблуждений. Алтарь святее стен. Сущность важнее внешних форм.

Место настоящего консерватора в первых рядах модернистов.

А.Г.Дугин

**Газета "Завтра", 1998
"Вторжение", №13, 1998
"Русская Вещь", Арктогея, 2001**

ВЕЛИКИЙ ПРОЕКТ

Агрессия эфемерного

Мы настолько погружены в сиюминутное, в перипетии политических, экономических, психологических проблем, настолько страдательно воспринимаем гипнотический массив быта, что постоянно упускаем из виду главное. Главное, великое, дающее смысл, определяющее высшую цель — для нас сплошь и рядом лишь фраза, слоган, вербальная или эмоциональная конструкция. Или просто прикрытие, внешнее украшение для того, что мы на практике утверждаем как основное и реальное, осязаемое, конкретное. Так устроено наше гравитационное бытие—нас плющит к земле. Те же чудачки, которые всерьез, нарушая все условности и социальные конвенции, рвутся к иному, приемлются нами лишь тогда, когда облачены в отведенную им униформу академических ученых, художников в бархатных шапочках или торжественно неповоротливых попов. На такую материализацию человечества огненные души сетовали всегда, укоряя, пробуждая, разоблачая, стыдя. Но едва ли в древности были времена, когда гипноз обыденного действовал столь тотально и беззащитно, вооруженный могущественными массмедийными механизмами, верстающими

эфемерную реальность — выдаваемую за единственную реальность — по своему усмотрению. Чем более иллюзорно Общество Зрелищ, тем более реальным представляется тот момент настоящего, к которому оно прикладывает гигантскую силу своего внушения. То, что было вчера, какое там вчера, час назад, кажется глубокой древностью.

Либералы против Проекта

Человечество живет только потому, что у него есть Проект. Великий Проект. Именно удачи и неудачи на пути его исполнения составляют сущность исторического процесса. Человеческая история есть реализация Великого Проекта. Конечно, это не просто. Часто платят миллионами жизней, кровью, пытками, рваной болью, жгучим железом, безмерным страданием за выбор пути. А он бывает и неверным. Но снова и снова зализывает упрямое человечество раны, ветра развеивают дымы пепелищ, а лучи солнца разгоняют призраки войны, и мы беремся за новый Проект, зная в душе, что опять будем платить по полной, что все может выйти и не так, как мы задумали, но, что если мы перестанем ставить над собой высокую цель, мы перестанем быть людьми с нашим специфическим видовым достоинством, с нашей вертикальной походкой, с нашим дерзким и умным взором — вперед и вверх.

Проект есть у всех. Малый или большой. Но есть и определенный сектор человечества — брюзжащий, трусоватый, эгоистично замкнувшийся в своей корке — который хочет уничтожить Проект, хочет остановить Историю, отменить героев, установить на земле царство «последних людей». «Что есть истина?» — спрашивают последние люди и моргают*. О «Конце Истории» и «Последнем Человеке» открыто учат идеологи нового мирового порядка — Карл Поппер, Дэниэл Бэлл, Фрэнсис Фукуяма, Жак Аттали, фон Хайек, Милтон Фридман, Джорж Сорос. Для них «эра Проекта» окончилась. Они высчитали, что человечество платит слишком большой «налог на историю». Они объявили, что с концом советского государства, цивилизация преодолела последний оплот Великого Проекта, который пал под давлением тлеющей массы обобщенной банальности.

Торговец не знает Проекта. Он стремится уйти от налога на реальность, от таксы за неотчужденную жизнь и высокий, хотя подчас совершенно бессмысленный, подвиг. Торговец ненавидит Героя. И когда Герой терпит очередную катастрофу, — столь сладкую для него, столь вписанную в его лучезарно-трагичную, солярно-дионисийскую судьбу, — когда его разрывают собаки, титаны или вакханки, Торговец потирает руки, и, дождавшись, переводит дыхание: «Великий Проект в очередной раз отложен».

Либеральная мразь сегодня замахнулась на большее. «Великий Проект пал навсегда», — провозглашают последние люди, приступая к новому витку рыночных реформ.

«У общества не должно быть больше ни цели, ни ориентации, ни сверхзадачи, ни регулирования. Все это приводит лишь к насилию. Laissez-faire. Оставьте людей в покое, не мешайте им делать, что они хотят, не вовлекайте их ни в какие исторические авантюры, не навязывайте им мифов и сакральных задач. Пусть они будут тем, кто они есть. Маленькими людьми, с маленькими проблемами. Им нужен только рынок. Нам слишком дорого обошелся гальванизированный энтузиазм предшествующих экспериментов». — Так, чавкая, пляшет в либеральном воздухе криворотая физиономия перевоплотившегося внука большого советского писателя, певца аскетической этики и высокого жестко-блистательно го юношеского героизма. Все как в теории Вильфредо Парето: «Деды — герои-революционеры; отцы — умеренные консерваторы; внуки — ублюдки и вырожденцы».

При слове «Проект» рука либерала сама собой набирает номер ближайшего полицейского участка. Самые честные и последовательные из них, догадываясь, что, убивая Проект, они убивают самого человека, намекают на то, что этот вид изжил себя как таковой. И в прибранных, евро-ремонтных холлах выводят генные инженеры «нового мирового порядка» клонов с исправленным поведенческим кодом: человек — минус история, минус идеал, минус агрессия, минус героизм, минус Великий Проект. Идеальный человек победившего мондиализма. Холостой, вечно подростковый Cosmopolitan. Биокукла с идеальными зубами, отдраенны ми «Бленд-а-медом». Искусственное совершенное природного. История отныне будет делаться в телемонтажах, а люди — в пробирках.

Полуночный враг

Мы, «наши», никогда не победим их, если не осознаем всего масштаба борьбы. Мы переживаем самый драматический момент истории, где на карту поставлен Человек. И драматизм этот только острее и напряженнее от того, что внешне кажется, будто нет ничего банальнее, бессмысленнее и

усредненное, чем наше поганое, глупое время. Когда ночь достигает критической черты, точки абсолютной Полночи, память о свете солнца стирается настолько, что кажется будто его никогда и не было, и даже вечерняя боль от угасания последних лучей стирается в короткой человеческой памяти. Когда есть только тьма, ее не с чем и сравнить, она перестает быть тьмой и вольно выдавать себя за что угодно. «Что есть свет?» — спрашивают последние люди. И моргают.

За довольно случайными персонажами, захватившими власть над самым прекрасным и трогательным народом мира, над огромной, роскошной и вопросительной страной, стоит тень очень глубокого мирового процесса. То что они облезли и хилы, что пугаются мышиных шорохов и мелко косят неумными глазками, путаются в телепроводах и запинаятся на чиновничьих лестницах, не должно вводить нас в соблазн пренебрежения их могуществом. Они мелки и жалки именно потому, что они принадлежат к армии бойцов против всего возвышенного и великого, идеального и героического. Это ландскнехты либерального похода против Великого Проекта. Тот, кто стоит за ними, кто вознамерился положить конец истории, фигура более зловещая и серьезная. Есть два полюса, только два полюса, два лагеря. Они и мы. Они — против Проекта как такового. Мы — за Проект, причем любой. Лишь бы он был великим (и ужасным).

Раньше все было иначе. Было много проектов. Их палadini нещадно бились друг с другом, шли своими особыми путями, упорно добивались своего. Но это было тогда, когда еще была история. Теперь все иначе. И всех непокорных сместили в одно общее гетто. Это гигантский кусок планеты, не вписывающийся в брезгливо-избирательные нормативы «богатого Севера», это отбросы старых культур, идеологий и национальностей, не вошедшие в «золотой миллиард». У нас не оказалось паспорта в либеральный brave new world. Кое-кто из нас, правда, сжег его сознательно...

Последнее русское дело

Вопреки всему, наплевав на все нормы и приличия, на все церемонии консенсуса и дипломатические формулы политической корректности, мы обязаны заявить о своей верности Великому Проекту. Более того, мы должны возвращать, питать, лелеять, созидать наш Проект так, как если бы ничего не произошло. Я совершенно убежден: враги специально стремятся завлечь нас в конкретику момента, загипнотизировать сиюминутным, парализовать высокие творческие энергии магией тяжелого мгновения. Потом, когда орда их рассеется, как дым, их уверенность и устойчивость рассыплются в прах, мы останемся в окружении зияющих постреформаторских бездн, и эти же визгливые орды спросят с нас: «Ну что?! И где же-таки ваши идеи, идеалы, цели? Что, растратились на борьбу с нами? А мы — лишь полуночные призраки, кишшув. И ничего более». Как в замечательном фильме 30-х «Диббук», зашагают полупрозрачные-по лутелесные привидения по кривому кладбищу. А у нас будет растерянный и глупый вид. Победители пустоты, поддавшиеся на сиюминутные уловки изощренных гипнотизе ров. Блестящие тактики позиционных маневров, провоевав шие с тенями.

Великий Проект должен родиться здесь и сейчас. Вопреки политической конъюнктуре. Отметая эфемерные императивы борьбы. Спокойно и величественно мы, русские, должны заново осознать себя в истории, в мирах духа, в сложном узоре таинственной религиозной истории, в магнетической логике качественного пространства, священной географии мира.

Мы должны очнуться после шока. Да, предшествующая форма Великого Проекта рухнула. Но надо все восстановить заново, все переосмыслить, все востребовать опять. Должна закипеть упорная напряженная национальная работа — в конструкторских бюро, где свет включается по ночам и русские инженеры крадутся к ватманским листам и компьютерам, чтобы чертить аппараты для будущей Великой России; в библиотеках и монастырях, где назло бесовствующему ящику должны оживать под взглядами пылких юношей древние русские манускрипты, старописные книги пророчеств и обрядов, неторопливая хроника нашего Отчества, нашего народа; на плацах, в рощах, на полянах, в спортзалах, где русские силачи отрабатывают траектории новых ударов, приемы захвата и нападения — созерцая перед яростными глазами пятнистые очертания врага; в добротных дубовых залах русские купцы начнут планировать хитроумные операции по хозяйственной войне с экономическим отребьем, пьющим кровь из нашей Родины. Все это должно стать путем к Великому Проекту. И снова, как и раньше, «никто не даст нам избавленья». Все зависит только нас. В нем, в будущем Великом Проекте, уже изначально можно различить основные силовые линии: либерализм, Запад, капитализм, новый мировой порядок, мондиализм, обывательский материализм, индивидуализм — зло. Это враги Великого Проекта.

Справедливость, Восток, социализм, евразийская цветущая сложность народов и культур, высокий идеализм, общинность и солидарность — добро. Ось нашего Великого Проекта.

И исходя из основного нерва, не обращая внимания на конкретные политические фигуры, на правительство, на власть и оппозицию, на партии и союзы, мы, русские, все вместе — надпартийно и надфракционно — должны оформлять Великий Проект, вносить в него посильную лепту, строку, прибор, копейку, метр площади, торговую точку, колесо от машины, иконку, кулак, струну, шнуровку, красоту, остро отточенный нож.

Сейчас не может быть просто проекта. Должен прийти именно Великий Проект. Нет места конкуренции или выбору одного из нескольких вариантов. Мы должны объединить в нашем Проекте, в общем Проекте все и вся. Русь перед концом мира возьмет на себя все бремя человеческой истории, от которой отказались иные народы.

Приходит наш час. Преступно проспать его.

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 1997
"Вторжение", №10, 1998
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ

Третья позиция

В своей знаменитой статье Самуил Хантингтон, описывавшей грядущее «столкновение цивилизаций» (clash of civilizations), упомянул очень важную формулу — «модернизация без вестернизации» (modernization without westernization). Она описывает отношение к проблемам социально-экономического и технологического развития некоторых стран (как правило, Третьего мира), которые, понимая объективную необходимость развития и совершенство вания политических и хозяйственных механизмов своих социальных систем, отказываются при этом слепо следовать за Западом, и наоборот, стремятся поставить некоторые западные технологии — в отрыве от их идеологического содержания — на службу традиционным системам ценностей национального, религиозного и политического характера. Так, многие представители элит Востока, получившие высшее западное образование, возвращаются в родные страны с набором важных технических познаний и методологий, но вместе с тем применяют эти познания для укрепления мощи собственных национальных систем. Таким образом, вместо ожидаемого либеральными оптимистами сближения между цивилизациями происходит вооружение некоторых «архаичных», «традиционалистских» режимов новейшими технологиями, что делает цивилизационную конфронтацию еще более острой.

К этому пронизательному анализу можно добавить и то соображение, что большинство выдающихся западных интеллектуалов, деятелей культуры, творческих личностей были и сами по себе в значительной степени неконформистски, антисистемно настроены, а следовательно, люди Востока, изучая гениев Запада, только укреплялись в собственных критических позициях. Характерный пример такого пути являет собой главный теоретик иранской революции философ Али Шариати. Он учился в Париже, освоил Хайдеггера и Генона, а также некоторых неомарксистских авторов, и постепенно пришел к убеждению о необходимости консервативно-революционно го синтеза между революционным шиитским мистическим исламом, социализмом и экзистенциализмом. Именно Шариати смог привлечь к революции иранскую интеллектуальную элиту и молодежь, которые, в противном случае, едва ли распознали бы свои идеалы в угрюмом традиционализме мулл. Этот пример особенно важен, так как речь идет об удачной революции, закончившейся полной победой антимондиалистского, антизападного, консервативно-революционного режима.

По тому же пути шли и русские славянофилы, заимствуя у германских философов (Гердер, Фихте, Гегель) разнообразные модели, которые легли в основу их сугубо русского национального утверждения. Таков и метод современных русских неоевразийцев, творчески и в интересах России перерабатывающих неконформистские доктрины европейских «новых правых» и «новых левых».

«Автаркия больших пространств»

Разведение понятий «модернизация» и «вестернизация» уже само по себе имеет колоссальное значение. Ведь Запад делает все возможное, чтобы в массовом сознании оба термина стали

синонимами. По такой логике получается, что перемены и реформы возможны только в том случае, если они будут ориентированы в западном ключе и копировать западные образцы. Альтернативой же предстает «стагнация», «архаизм», «консерватизм», неэффективность, отсутствие динамики. Таким образом, Запад добивается своей цивилизационной цели — навязывает остальному миру те рамки, законы и критерии, которые прекрасно освоены им самим. Эту пристрастность и эгоизм либералов в отношении тех, кому либерализм навязывается в качестве «прогрессивной альтернативы», блестяще описал гениальный теоретик экономической науки Фридрих Лист. В своих трудах он показал, что страны, уже давно идущие путем рыночной экономики и либерализма, неизменно выигрывают от того, если аналогичная модель навязывается тем странам, которые пользовались иными хозяйственными моделями. По видимости «равные» условия «свободы торговли» на деле приводят к еще большему обогащению стран с развитым рынком и к обеднению стран, только что ставших на рыночный путь. Богатые в таком случае богатеют, а бедные беднеют. Следовательно, утверждает Лист, традиционно либеральным странам (в первую очередь, англосаксонским) предельно выгодно навязывать собственную модель всем остальным, поскольку в этом случае они гарантированно получают колоссальную экономическую и политическую прибыль.

Но как же быть в таком случае нелиберальным странам, по объективным обстоятельствам столкнувшимся с эффективными и агрессивными либеральными конкурентами? Эта проблема остро стояла для Германии XIX века, и именно ее призван был решить Фридрих Лист. Ответом стала теория «автаркии больших пространств», которая является экономическим синонимом «модернизации без вестернизации». Заметим, что идеи Листа с колоссальным успехом использовали такие разные политики, как Вальтер Ратенау, граф Витте, Владимир Ленин.

Концепция «автаркии больших пространств» подразумевает, что нерыночные государства, поставленные в условия жесткой конкуренции с рыночными, должны выработать модель автономного развития, отчасти воспроизводящую технологические достижения либеральных систем, но в строго ограниченных рамках масштабного «таможенного союза». «Свобода торговли» в таком случае ограничивается рамками стратегического блока государств, объединивших свои социально-политические и хозяйственно-административные усилия для того, чтобы экстренным образом повысить динамику экономики. В отношении более развитых либеральных стран, напротив, выставляется плотный таможенный барьер, основанный на принципах строгого протекционизма. Таким образом, максимально расширяется сфера применения новейших экономических технологий, а с другой, последовательно поддерживается политический и хозяйственный суверенитет.

Такой подход, безусловно, крайне раздражает либералов из развитых рыночных государств, так как разоблачает их стратегию, вскрывает их агрессивную подоплеку, эффективно противодействует геополитическому вмешательству, и в конечном счете, внешнему управлению над государствами, которые либералы стремятся превратить в экономические и политические колонии. И модернизация и суверенитет. Заметим, что тезис «модернизация без вестернизации» является сам по себе концептуальным оружием, появление которого крайне нежелательно для представителей Запада. Для Запада важно привить общественному сознанию дуальную схему: на одной стороне — реформаторы, сторонники перемен, на другой — консерваторы, упорные приверженцы прошлого. Пока уравнение будет решаться таким образом, определенная существенная поддержка «реформаторам-западникам» будет обеспечена. Но стоит только ввести в эту формулу третий элемент — картина становится намного более интересной. Помимо «модернистов-западников» и «антимодернистов-антизападников», чье противостояние всегда рано или поздно приводит к победе «реформаторов», якобы воплощающих в себе «будущее», появляются «модернисты-антизападники» или «консервативные революционеры». Сам факт такой силы как самостоятельной платформы, как идеологического блока, как экономической модели и культурного фронта резко нарушает пропорции банального политического противостояния. «Модернисты-антизападники» стоят за радикальные реформы, за революционные изменения в хозяйственной модели, за взрывную ротацию элит в жизненно важных областях управления, за масштабную модернизацию всех сфер жизни. Но при этом для них абсолютным и непререкаемым условием является полное сохранение геополитического, экономического и культурного суверенитета, верность корням, поддержание идентичности. Оба условия — и «модернизация» и «суверенитет» — являются безусловными императивами, поступиться которыми невозможно ни при каких обстоятельствах.

Кстати, даже в современном мире мы видим некоторые цивилизационные очаги, где отдельные народы и страны продолжают настаивать на сохранении своей идентичности вопреки всем соображениям политической целесообразности или экономической эффективности. Таковы Сербия, Ирак, Иран, Судан, Северная Корея, Ливия, Куба. Не обладая достаточными условиями для законченной автаркии, эти режимы умудряются ценой колоссальных жертв отстаивать свою идентичность, идут на прямую и крайне «дорогостоящую» конфронтацию с Западом, отвергая его диктат. Тем более нетрудно будет преодолеть определенные издержки автономии такому

гигантскому образованию, как Россия, с некоторыми дружественными странами СНГ и определенными державами «дальнего зарубежья».

Вопрос только в политической воле и решимости. Тема ресурсного обеспечения является в данном случае вторичной. Приведу пример: в Сербской Республике в Боснии на мой вопрос, что мешает установлению перемирия в конкретной области, я получил от ополченца знаменательный ответ. — «Вот та гора, маленькая гора известна в сербских хрониках со времен Средневековья. Сейчас она в руках врагов. На ней нет ничего — ни стратегических пунктов, ни полезных ископаемых, ни промышленных предприятий. Это просто кусок земли. Но кусок сербской земли. Здесь мы положили уже несколько сотен наших воинов. Нам предлагают мир в обмен на эту проклятую гору. Но мы не примем такого мира. Нам нужна гора. Эта бесполезная гора...»

Факт национальной истории или пядь национальной территории вполне сопоставимы с самыми серьезными утилитарными и технологическими, экономическими параметрами. Более того, в случае нормальных наций они стоят гораздо больше — жизнь.

Консервативная Революция — последний императив

«Модернизация без вестернизации». Это должно стать главным лозунгом «нового курса», который должен сплотить в себе лучшие силы как «консервативного», так и «реформаторского» лагеря. Эта новая платформа, если ее обстоятельно разработать и активно внедрить в массовое сознание, сможет внезапно прояснить множество темных моментов нашей политической и экономической жизни. Вместе с тем, станет очевидным подрывной характер деятельности тех сил, которые отрицают либо необходимость реформ (апологеты ностальгии и стагнации), либо необходимость подчинения этих реформ национальному, геополитическому, цивилизационному и культурному императиву (агенты влияния Запада). Соответственно, и те и другие в нашей критической ситуации должны быть вынесены за рамки политического истеблишмента, а центральная идеологическая, экономическая и концептуальная инициатива должна быть делегирована новому созидательному фронту «консервативных революционеров».

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 1999
"Вторжение"
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ПАРАДОКСЫ ВОЛИ ИЛИ МАЛЫЙ НАРОД ЕВРАЗИИ

Считается, что русским не достаёт силы воли, что мы слишком пассивны, расслаблены, фаталистичны, покорны. И как противоположный пример приводятся немцы с целеустремленностью, упорством, невероятной последовательностью в достижении поставленной цели, пунктуальностью. Похождения немца, носителя «железной воли», в парадоксальной, созерцательной и хаотической русской среде блестяще описал Лесков в рассказе с таким же названием.

Протагонист германец, провалив все волевые начинания (от женитьбы до бизнеса) из-за непредсказуемого поведения окружающего его непонятного (до абсурда) русского мира, кончает тем, что героически гибнет в состязании с попом: кто съест больше пельменей. Ироничный и злой националист Лесков показывает границы немецкой Wille в России, демонстрирует ее тщету в стране не постижимой умом. И все же недостаток воли у русских налицо — чем бы он ни оправдывался и каким бы симпатичным ни был в сопоставлении с одномерной механистичностью германца.

Конечно, этот недостаток весьма условен, речь идет не об отсутствии воли, но о ее особом воплощении, о ее специальном модусе бытия. У русских, несомненно, есть воля, но она разлита на все целое, на народ, на его парадоксальную многомерную массу. Эта русская воля— обобщественная, внеиндивидуальная, действующая как «мировой разум» Гегеля больше хитростью и мимо сознания. На больших отрезках истории наличие этой русской воли очевидно, хотя при ближайшем рассмотрении создается полная иллюзия того, что наша нация пребывает в силках бытового идиотизма и движима чистой инерцией, запоздалой и неадекватной реакцией на где-то извне ее пребывающую и развертывающуюся историю. Это подобно сложной игре, в которой

глобальная стратегическая модель действия строго соблюдается, а тактический уровень просто в расчет не берется и предоставлен случаю.

Мы подчинены большой воле и дезориентированы, разбросаны в малом. Каждый в отдельности безволен, все вместе, напротив, мы невероятно целеустремленны. Это объективная данность, не считаться с которой невозможно. Но на некоторых исторических виражах, когда под угрозой находится само существование русских и Руси, такая сложная пропорция между двумя уровнями исторической воли становится опасной. Возникает серьезный риск того, что большая и неспешная стратегия будет в корне сорвана нашими онтологическими антагонистами — классовыми, этническими, политическими и геополитическими. И тогда возникает острейшая потребность — пускай искусственно — восполнить волевою недостаточность, ослабленное у созерцательных русских порядкообразующее начало. Иными словами, приходят моменты, когда от нас требуется собраться с духом и, пусть приблизительно, но насыщенно сформулировать во внятных выражениях, чего мы хотим, к чему стремимся и что отрицаем. И сделать это не в большом масштабе (где и так все это происходит), но в среднем и малом.

Как правило, функцию такой волевой инстанции в структуре российского общества занимали искусственные социальные образования со значительным числом инородцев, т.н. «малый народ» (сразу оговоримся, что используем это выражение, введенное историком Кошеном, как социологический термин, без какой-либо прямой связи с тем или иным этническим образованием; это обобщающее название для активных, пассионарных социальных элементов, достаточно отчужденных культурно, типологически и психологически — иногда также этнически — от основной массы населения, живущей в более умеренном и спокойном ритме и руководствующейся более строгими и ригидными этическими рамками). Возмущаться этому глупо, так как большой народ, и особенно такой большой народ как русские (великий и исключительный народ), в своем типическом зерне мало приспособлен для критической самооценки и объективного понимания своего места в историческом и географическом контексте. Для напряженного и эффективного волевого усилия необходима значительная степень отчуждения от общей среды, и такое отчуждение органически свойственно именно представителям «малого народа», живущим в среде большого народа, но в то же время четко дифференцированным. По этой причине в поворотные исторические моменты на передний план выступают именно представители «малого народа», выдвигающие свою «железную волю» и навязывающие ее всем остальным. В то же самое время «большой народ» дремлет, ходит в гости, мастерит и лечит, приплясывает и плачет, отправляет обряды, ест яблоки и пельмени. Делает он это устало, со вкусом, жизненно, но волевой концентрации за всем этим не просматривается. Голосует при этом не умом и не сердцем, но частью, обратной сознанию. В глобальной перспективе большой народ неизменно выигрывает и умудряется встроить в свой неспешный ток якобы автономную волевою активность малонародческих элит, приводя их к результатам и выводам, которые те и в страшном сне не могли представить. С чего бы малонародческие активисты ни начинали на Руси — от Рюрика до большевиков — и какие бы цели ни преследовали, большой народ все устраивал в конечном счете на свой лад и по своей выкройке.

Между волевым «малым народом» и по видимости безвольным великим народом существует сложная диалектика. Особенно обостренной и конфликтной эта диалектика становится в решающие кризисные моменты истории, на границе важных исторических циклов, когда неумолимо отходят в прошлое одни модели и требуется выработка новых. В этом зазоре на авансцену выдвигаются самые экстремальные типы «малого народа», самые причудливые конфигурации элитных и контрэлитных фигур. И их диалог с «трудовыми отдыхающими» приобретает особенно драматический характер.

Именно в таком историческом моменте находимся сейчас мы. Налицо общая традиционная пассивность большого народа, его видимое безволие (в тайне сопряженное с великой волей), и беснование «малого народа», которому в эйфории тотального кризиса и радикального слома структур представляется, что он свободно и без сопротивления, опираясь только на свой волевой потенциал, способен вылепить из окружающей его пассивной пластичной субстанции практически все, что угодно, реализовав любой экстравагантный проект, навязав пассивному большинству любые клише. Но это глубочайшее заблуждение, связанное с тем, что волевой и деятельный «малый народ» совершенно не учитывает в своих современных авантюрах глубинные онтологические пласты исторического контекста. Они наивно и безрассудно принимают затаенную созерцательность нашей национальной психологии за абсолютно отрицательное безволие, пустоту, покорность. Они игнорируют трансцендентный коррелят такой нашей черты, совпадающей с интимным родством русских с таинством Предназначения и Промысла. Этому удивлялся еще маркиз Огюст де Кюстен, недоуменно и с отвращением говоривший о русских как о «народе, стоящем на коленях, но резающим о великой империи». Для людей воли среднего уровня сложно, а то и невозможно, схватить это парадоксальное единство трансцендентной полноты с имманентной нищетой, а поэтому тончайшая сопряженность русской созерцательности с высшим масштабным Действием от них неизменно ускользает. Но все же роль «малого народа» не сводится лишь к

невежеству относительно национальной тайны, к обманчивой самонадеянности и безоглядному насилию над средой. Чисто отрицательные разновидности «малого народа» встречались в русской истории — Бирон, Керенский, Егор Гайдар — но всегда ненадолго. Это были эфемерные образования, сменявшиеся иным типом «малого народа», тоже волевого, разотождествленного с массами, конструкторско го, активистского, реформаторского, но находящегося в позиции большей гармонии с невысказанным замыслом Руси, с ее большой волей.

Всякий раз, когда узловые образования «малого народа» выдвигают сформулированные волевые стратегии, которые хотя бы в некоторой степени резонируют с потаенной и неочевидной трансцендентной большой волей (зашифрованной в русском безволии), они получают колоссальный дополнительный элемент, стократно усиливающий их деятельные модели, а также глубинную (хотя часто выражающуюся в весьма причудливых формах) поддержку большого народа. И помимо невероятных успехов своих структур, они оказываются чрезвычайно полезны самому большому народу, который с помощью таких отвязанных (и часто инородческих по крови, культуре или типу) активистов перебирается через, казалось бы, непреодолимый исторический барьер, у подножия которого (следуя формальной логике) ему суждено было бы скончаться. И в этом случае структуры «малого народа» оказываются частью особого и скрытого провиденциального механизма, действующего за кулисами нашего национального бытия. Сегодня мы снова наблюдаем традиционную для нашей истории драматическую картину:

— глобальная историческая преграда нашему дальнейшему национальному существованию в лице «нового мирового порядка», в котором у русских как самобытной цивилизации нет места, т.е. внешняя убийственная для нас, агрессивная, колонизаторская воля атлантистов;

— обычная сонливая пассивность большого народа, т.е. безволие национальных масс;

— презрительная к среде, эгоистичная, русофобская элита «малого народа», полностью оторвавшаяся от корней и связей.

В такой сложнейшей ситуации Россия оказывается, быть может, впервые. Но надо всем этим невидимо реет наша Великая Мечта, эфирные молнии неотвратимого Промысла, могущества, троны и колеса приближающегося огненного века.

Конечно, в такой ситуации было бы желательно выпестовать, выдавить из большого народа его лучшие кадры, сформировать собственную национальную элиту, искусственно создать особый русский «малый народ», делегировав туда самую деятельную, сообразительную и волевою часть нации. В теории это замечательно, на практике, скорее всего, невозможно. Специфика воли классического представителя большого народа, т.е. аутентичного русского автохтона, сопряжена с чувствительностью и созерцательностью, с этикой и психологией, с онтологическим вниманием и чуткой спонтанностью. Все эти качества убийственны для волевого начала, они его разлагают, ослабляют, в конце концов, просто упраздняют. Для волевого начинания необходимы, напротив, отчужденность от среды, дифференцированность, определенная доля макиавеллизма, жесткость вплоть до жестокости, безразличие к средствам, пренебрежение затратами, невнимание к побочным эффектам. Иными словами, для того, чтобы русские стали волевыми и смогли выполнять серьезные функции в социальной элите, они должны утратить базовые психологические черты, характеризующие русских. Как это ни парадоксально, но, чтобы стать эффективными носителями воли, русские должны перестать быть русскими. Не исключая такой вероятности для отдельных представителей большого народа, для стихийных пассионариев, авангардистов, футуристов, даже авантюристов, все же очевидно, что критической массы, необходимой для формирования искусственного «малого народа», подлинной национальной элиты, таким путем — и особенно при крайне неблагоприятных внешних условиях — достичь не удастся.

Наиболее реалистичным представляется иной подход: перевербовки некоторой части нынешнего «малого народа» или его ближайших последующих изданий в сторону иного стратегического плана. На практике нынешняя «элита» лишь в небольшой своей части состоит из сознательных агентов влияния Запада, полностью и до последних глубин ангажированных атлантическими стратегиями по нанесению России сознательного ущерба. Подавляющее большинство «малого народа», обладающего реальной волей (волей среднего уровня), настроено авантюристично-прагматически и при определенных условиях готово к различным идеологическим виражам. Безусловно, и внешний и внутренний заговор против России существует, более того, он существовал всегда, на всем протяжении нашей истории. Но круг внутренних сознательных заговорщиков всегда остается довольно узким, множество активных и эффективных «малонародцев» соучаствуют в диверсионных проектах против большого народа лишь по инерции, в силу типологической и психологической инаковости. Но сама инаковость, наделенность волей, что лежит в основе вступления «малонародцев» в ряды подрывников и диверсантов, вполне может быть использована и в ином

направлении, на благо большого народа, а не против него. Но для того, чтобы осуществить на практике масштабную перевербовку реальной волевой и деятельной социальной элиты, мало быть просто «патриотом», «порядочным человеком» или «настоящим русским». Необходимо уловить высшую трансцендентную потаенную волю национальной истории, отразить ее (пусть приблизительно) в емких формулировках и на этом основании выработать своего рода доктрину, способную сплотить часть «малого народа» в единую эффективную систему, опирающуюся на благоприятные для нее самой национальные энергии и ведущую к новому этапу национального утверждения.

Наблюдая за катастрофическим состоянием национально го движения в современной России, за неспособностью за столько лет добиться серьезных структурных результатов или хотя бы выдвинуть рациональную стратегию общей деятельности, поневоле приходишь к выводу, что во всем этом заключается какой-то фундаментальный методологический изъян. Честные национальные кадры отражают характерные качества «большого народа» — они искренни, душевны, порядочны и ... неисправимо пассивны. Они — русские, в этом нет сомнения. Но это-то и есть их главный «минус».

Нам сейчас позарез необходима воля — воля, направлен ная на самоутверждение, на созидание, на цивилизацион ный, догматический, технологический, культурный, социальный рывок. Воля среднего уровня — воля отдельных людей и компактных сверхактивных и эффективных организационных коллективов. Воля для создания современных инструментов социального действия, экономического обеспечения важнейших процессов. Воля для жесткого обращения с одними слоями населения к выгоде других в зависимости от общенациональной потребности. Воля к власти, воля к восстанию, воля к продвижению, укреплению, нападению, преодолению... Воля к обороне, воля к агрессии. Нам необходима железная воля, поставленная на служение нашей великой национальной мечте. Воля любого происхождения, подчиненная нашей цели. В такие драматические минуты истории Руси появлялись варяги, отшельники, изуверы, каторжники, лжецари, грузины из Поти, евреи из местечек, и своими отвязанными, отвлеченными, фанатическими волевыми молниями закладывали для великого дремлющего народа новые пути на долгие годы.

А.Г.Дугин

"Вторжение", №9, 1999
"Основы геополитики", Арктогея, 2000
"Русская Вещь", Арктогея, 2001
"Философия Войны", Яуза, 2004

АСИММЕТРИЯ

Объективный взгляд

Следует посмотреть на нынешнее положение России по-новому, здраво и объективно. Без обид, эмоций, ностальгии, озлобления. В каком мире мы оказались? Какие угрозы над нами нависли?

Какова конфигурация современной карты мира с точки зрения стратегии? Что мы в такой ситуации должны сделать? А что — из того, что должны — можем? Как осознается нами самими наше место, и как его видят вне России те силы, от которых, действительно, многое зависит? Мало кто в нашем сегодняшнем обществе способен спокойно и бесстрастно не только ответить на эти вопросы, но хотя бы задать их.

Тезис Запада — однополярный мир

На заре третьего тысячелетия сложился однополярный мир. Его единственным актуальным полюсом является Запад, США и их союзники по НАТО (с разной степенью интегрированности). Этот однополярный мир имеет отчетливый, ясно различимый идеологический облик: это тоталитарно навязываемая космополитическая либерал-капиталистическая модель. На стратегическом уровне однополярный мир опирается на военную мощь США. В общем плане это неразделимые вещи: стратегический потенциал США (и специфика его конфигурации) и либерал-капиталистическая система в политике, экономике, социальном аспекте.

Однополярность подтверждается на обоих уровнях (стратегическом и идеологическом) тем, что в настоящий момент на земле нет ни одного военного образования, симметрично сопоставимого с военной мощью США, и нет единой идеологической конструкции, столь же универсальной, распространённой, общепризнанной и общепринятой, как либерал-капиталистическая (иногда с натяжкой называемая «либерал-демократической» — с натяжкой, так как реальной демократии там мало). Однополярный мир — данность. Если мы не будем признавать этой данности, любые наши построения останутся вне сферы реальности. Признание этого свершившегося факта есть стартовая черта любого ответственного размышления о том состоянии, в котором находится человечество на первых этапах нового тысячелетия.

Эта констатация, однако, сама по себе не несёт никакой этической оценки. Утверждение о том, что нечто есть, ещё не означает, что это нечто есть благо. Однополярный мир — это обобщающий стратегический, геополитический и мировоззренческий тезис. «Тезис Запада», имеющий свою генеалогию, свою историю, свои этапы. Однополярный мир возник отнюдь не случайно и не вдруг. Это результат становления тезиса Запада универсальной категорией, победившей исторические цивилизационные альтернативы.

Тезис Запада воплотился в однополярный мир как раз через процесс преодоления всевозможных исторических альтернатив — которые на разных этапах выступали то как традиционные общества, то как националистические режимы, то как социалистические системы.

До самого последнего времени у тезиса Запада существовала формальная альтернатива и на стратегическом и на мировоззренческом уровнях. Противоречивые планетарные интересы великих держав в первой половине XX века, двухполярный мир (социалистический Восток — капиталистический запад) во второй половине XX века — выстраивались в системы противовесов и противостояний, готовых в любой момент вылиться в прямой мировой конфликт с неопределённым исходом, так как силовой потенциал различных полюсов был в целом сопоставимым.

Однополярный мир есть такая реальность, где превосходство тезиса Запада над возможными альтернативными моделями развития цивилизации становится закреплённым и очевидным.

Это означает факто установление стратегической и идеологической гегемонии со стороны США. Осознание этого выразилось в новом стратегическом термине: «гипердержава». «Великих держав» (до конца Второй мировой войны) существовало несколько, «сверхдержав» — только две, а «гипердержава» — одна.

Такое положение дел закреплёно документально в основополагающих документах американской политики: в частности, в докладе бывшего Президента США Уильяма Клинтона от 1997 г. «Стратегические перспективы США в XXI веке».

Президент США справедливо утверждает, что США на данном этапе (и в их лице весь цивилизационный тезис Запада) справились со всеми формальными противниками, со всеми симметричными угрозами и традиционными преградами и вызовами.

«Новый мировой порядок» установился, все формальные препятствия для его глобализации сняты.

И здесь начинается самое интересное: в этом документе Президент США говорит о том, что отныне основные виды угроз такому устройству мира могут проистекать из «новых вызовов», которые заведомо будут асимметричными.

Это положение фиксирует объективную реальность: отныне любая стратегическая или идеологическая альтернатива «новому мировому порядку» «будет с необходимостью «асимметрична», диспропорциональна сложившейся планетарной системе. Это не формальное противостояние двух или нескольких сопоставимых планетарных организаций, но более сложные процессы, когда однозначное и неоспоримое лидерство «тезиса Запада» будет иметь дело с непредсказуемой, пока далеко не очевидной, трудно схватываемой реальностью. Условно в данном документе и на современном политологическом языке она называется «асимметрией» или «новым вызовом».

Ещё один приблизительный термин для обозначения этой потенциальной реальности — Евразия.

Однополярность со знаком плюс или минус?

Выше мы сказали, что признание факта однополярности не означает признания его правомочности, положительного содержания, позитивности. Человеческая свобода позволяет нам интерпретировать любой факт в дуальной (как минимум) системе этике. Если мы оцениваем его как добро, мы поддерживаем его фактичность силой нашего морального согласия. Но мы можем признать этот вполне реально существующий факт и злом, несправедливостью, негативным явлением. Тогда — не отрицая его наличия — мы будем искать способы, как его искоренить, исправить, преобразить или уничтожить. В этой этической свободе от диктатуры наличного бытия проявляется высшее достоинство человеческого существа.

Однополярный мир — факт. Но для огромного сектора современного человечества — это факт целиком и полностью негативный, трагический, отрицательный. И если формальной альтернативы такому миру сегодня нет, это еще отнюдь не означает, что ее не может или не должно быть.

В земном мире не может существовать какого-то абсолютного единства, и любой тезис, каким бы глобальным и универсальным он ни был, может и должен столкнуться с антитезисом.

Для нас сейчас самое важное заключается в том, чтобы ясно понять: альтернатива однополярному миру, антитезис в отношении «тезиса Запада», ставшего глобальным и претендующего на универсальность, отныне и на определенный срок переместились из области формальной и симметричной в область неформальную и асимметричную, в область «нового», «неочевидного», еще только долженствующего обрести ясно различимые черты.

Антитезис однополярности лежит в сфере асимметрии.

И это точно такой же неоспоримый факт, как факт превращения США в «гипердержаву».

Ответственный поиск альтернативы однополярности должен лежать в новых стратегически-идеологических областях. Это не значит, что предыдущие альтернативы тезису Запада целиком и полностью утрачивают свое значение. Нет, они сохраняют его, но в снятом виде, в новом контекстуальном пространстве с необходимой коррекцией. Самое главное, что в этом новом пространстве асимметрии прежние альтернативы складываются в новую комбинацию, и часто периферийные их элементы выступают вперед, а то, что казалось магистральным, напротив, отходит на задний план.

Многополярность

Концепция многополярности, заложенная в такие серьезные стратегические документы нынешней России, как «Концепция Национальной Безопасности», имеет в общепланетарном контексте вполне революционное содержание. Первое и главное значение тезиса многополярности — это отрицание сложившейся однополярности, признание ее негативным цивилизационным явлением. Несмотря на видимую расплывчатость и налет отвлеченной «гуманитарности» это очень суровый и серьезный тезис, особенно если осознать стратегический контекст и значение документа, где он фигурирует. Это, кстати, ясно осознают американские стратегические центры и их российские инсайдеры, проводники американской однополярной идеи.

Многополярность есть одна из версий противопоставления однополярному миру асимметричной конструкции, где роль второго уравновешивающего полюса призвана играть некая-то отдельная «сверхдержава», но стратегический блок довольно разнородных (политически, культурно, расово и национально) геополитических образований. Например, альянс России, Китая, Индии и Ирана.

Иная модель многополярности предполагает дробление и самого натовского стратегического пространства, вывод Европы и Тихоокеанского региона из-под прямого американского контроля. Эти две версии могут рассматриваться параллельно.

Есть и еще одна — самая вызывающая — версия многополярности, основанная на концепции стратегического вхождения России в клуб стран-парий — Ирак, Северная Корея, Ливия и т.д.

В любом случае — и в самом умеренном и в самом жестком — тезис многополярности имеет ярко выраженный антиамериканский подтекст. Его основная направленность заключается в стремлении на новом уровне и на новом этапе сформулировать стратегическую и концептуальную альтернативу однополярности и «новому мировому порядку».

Причем в основе всех версий многополярности лежит идея асимметричности. Речь идет не о создании прямого и открыто симметричного второго полюса, но о стремлении самыми разными путями оттенить или ограничить, деконструировать сложившуюся однополярность, не входя с ней в прямое формальное противостояние (которое помимо всего прочего еще и невозможно).

Россия как ядро потенциальной альтернативы

Какой бы ни была возможная асимметричная альтернатива однополярному миру, Россия по геополитическим, культурным, историческим и, главное, стратегическим соображениям с необходимостью должна стать не просто ее участником, но ее ядром. Это соображение почти не зависит от субъективного настроения ее политических руководителей — даже самые «прозападные» правители России логикой геополитических процессов будут вынуждены двигаться только в этом направлении. Это прекрасно понимают ответственные американские стратеги — такие как Збигнев Бжезинский, утверждающие, что залогом укрепления американской доминанции является не просто ослабленная, но расчлененная Россия, не способная ни при каких обстоятельствах сплотить вокруг себя другие державы. По этой причине Евразия как потенциальный плацдарм для организации грядущей альтернативы американской глобальной доминанции лежит в центре интересов американской стратегии. Бывшие советологические центры времен холодной войны сегодня переименовываются в центры «Евразийских исследований». Евразия и есть общее название для всей совокупности «новых вызовов» на стратегическом уровне, ядро и полюс вероятной асимметрии.

Параллельно этому «евразийство» (или, в некоторых редакциях, «неоевразийство») выступает как мировоззренческий, идеологический коррелят стратегического фактора, претендует на роль «философии многополярности».

Различные аспекты асимметрии

Россия сегодня находится в уникальном положении: фактическая деполитизация власти открывает необозримые возможности для самой рискованной и дерзкой геополитической игры. Ирак, Китай, Германия, Япония, Франция, Италия, Индия, Туркмения, Белоруссия, Югославия, Израиль — любые геополитические партнеры сегодня возможны в том или ином конкретном случае. Геополитика асимметрии, неожиданное выстраивание самых причудливых комбинаций для выхода на реальные горизонты многополярности сегодня не сдерживается в случае Кремля никакими идеологическими, конфессиональными, политическими или социальными критериями.

Простое выстраивание той или иной геополитической конфигурации уже само по себе может стать неотразимым вызовом однополярности. Недостающие компоненты для формального симметричного паритета могут быть извлечены из сложной и многоплановой геополитической комбинаторики. В арсенале потенциальной многополярности есть и разнообразные средства. Во-первых, это сохранение в России достаточного количества ядерного потенциала, способного в крайнем случае остановить любые попытки США силой навязать свою волю России или нашим основным стратегическим партнерам по многополярности, а такими потенциальными являются не только Китай, Индия и Иран, но и сама Европа и Тихоокеанский регион, в частности, Япония. Стратегический потенциал России — это на некоторое время силовая ось многополярности, а значит важнейший фактор безопасности для народов и стран всего мира. Относительная, асимметричная, урезанная, но гарантия соблюдения хотя бы минимального паритета.

Не случайно США так озабочены уничтожением остатков нашего ракетно-ядерного потенциала. Активная асимметрия предполагает, что мы сохраним его как можно дольше.

И наконец, не следует забывать о новейших российских военных разработках. Современная структура мира в постиндустриальном информационном пространстве становится весьма уязвимой. Поэтому разработка новых видов вооружений — при правильной конфигурации инновационного процесса — может переместиться в самом ближайшем будущем от массивных, требующих гигантских экономических и индустриальных ресурсов технологий, к точечным высокотехнологическим модулям, чья разработка требует не столько капитальных вложений, сколько творческой гибкости и авангардного подхода.

И эта сторона стратегической асимметрии должна развиваться у нас приоритетно. Евразийство: асимметричная философия. Важнейшим компонентом многополярности на мировоззренческом уровне является поиск доктрины асимметрии. Речь идет о своего рода «философии многополярности». Как и в случае со стратегическими аспектами, ядром такой философии может выступать только Россия. Однако очевидно, что ни возврат к советской социалистической

идеологии, ни тем более узко национальная модель России как регионального, национального Государства не могут соответствовать поставленной задаче, так как ни то, ни другое не обладает должным уровнем универсальности, требующимся на новом этапе. «Философия многополярности» или «идеология асимметрии» могут сложиться только по совершенно новым концептуальным выкройкам, на основании особой исторической рефлексии, которая должна быть по определению новаторской, авангардной, оригинальной. Скорее всего не какое-то одно догматическое направление, антитетичное тезису Запада, может претендовать на эту роль, но целый спектр традиционных или новаторских доктрин, позиций, идеологий, синтезированных в общем русле, но в равной степени отрицающих по самым разным причинам идеологическую надстройку «нового мирового порядка». Уже сейчас можно предвидеть, что в этой потенциальной «философии асимметрии» могут быть задействованы как мягкие социал-демократические формы, так и национальные учения, как прагматические и светские элементы, так и интегрирующие факторы конфессионального и этнического характера, как стратегические интересы, так и соображения практического уровня. Общим знаменателем такой «идеологии многополярности» может стать на первом этапе отрицание крайнего либерал-капиталистического догматизма, сопряженного с «новым мировым порядком», отрицание *american way of life*.

Возможным критикам построения новой идеологии по признаку общего отрицания сразу можно указать на небывалое значение, которое либерал-капитализм как общая надстройка однополярности приобрел в нашей исключительной исторической ситуации. Когда у либерал-капитализма (тезиса Запада) существовали формальные альтернативы, общего отрицания было явно не достаточно, так как противоречия имелись и между самими этими догматическими альтернативами, обладавшими всеми основными признаками геополитического суверенитета. Сегодня же ситуация радикально иная, и тезис Запада является безальтернативным с точки зрения его геополитической поддержки. Сегодня только либерал-капиталистическая идеология опирается на реальную базу актуального стратегического суверенитета — на США. Поэтому любые альтернативные мировоззренческие проекты по объективной логике смещены на противоположный полюс.

Этот полюс можно рассмотреть двояко: либо как «свалку идеологий», отыгравших свое (и это верно, если мы будем рассматривать судьбу этих идеологий с точки зрения их исторических претензий на универсализм и финальный триумф), либо как хаотическую закваску новой еще не родившейся «философии асимметрии» (и это верно, если учесть сущностную, а не формальную сторону этих идеологий—отрицательная, антилиберал-капиталистическая сторона их признается верной и важной, внешнее же оформление этого импульса рассматривается как нечто спорное и второстепенное).

Синонимом такой «философии асимметрии» или «идеологии многополярности» является новое издание евразийства или неоевразийство. Неоевразийство есть динамично развивающийся (еще незаконченный) продукт универсализации, глобализации тех идей, подходов и методов, которые в зародышевом, интуитивном состоянии были намечены исторической школой русских евразийцев 20-х_30-х годов.

А.Г.Дугин

"День Воина", 1998
"Основы геополитики", Арктогея, 2000
"Русская Вещь", Арктогея, 2001
"Философия Войны", Яуза, 2004

ВОЙНА НАША МАТЬ

Война и мир

Существует досадное предубеждение, будто мир во всех случаях предпочтительней войны. И несмотря на объективную картину человеческой истории, несмотря на постоянное и все более масштабное опровержение пацифистских утопий, эта наивная, в высшей степени безответственная позиция и не думает испаряться. Напротив, аргумент мира — «лишь бы не было войны» — становится все более и более решающим для принятия важнейших судьбоносных решений.

Сплошь и рядом апологеты «мира любой ценой» тчатся подтвердить свое убеждение ссылками на

Евангелие, на антимилитаристский характер христианской этики. Но в этом заключена важная смысловая подмена. Вспомним слова Спасителя — «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает вам, я даю вам»*. Жаль, что в современном русском языке слова «мир» как покой, как не война, и «мир» как вселенная пишутся одинаково, хотя имеют совершенно различный смысл. До реформы Луначарского, упраздненного в русском языке буквы і, в самом написании этих слов имелась наглядная разница — «мир» как не война писался точно так же, как и сегодня через обычное «и», а мир как вселенная, как космос через і — «мір». Поэтому важно, что «мир», даруемый Христом, есть «мир немірской, надмірний, премірний, горний». Более того, в вышеприведенном месте евангельского текста это противопоставление подчеркивается — качество «мира» Христа совершенно иное, нежели «мир» у «міра сего». Легко разглядеть между этими понятиями противопоставление: вечный покой небесного рая противостоит основной характеристике міра дольного, движимого беспрестанно неистовым буйством стихий. Тут вспомним Гераклита — «вражда есть отец вещей». И поэтому «мир Христов» противоположен не одному из состояний нижней реальности, но всей этой реальности вместе взятой. Парадоксально, но горний мір, мір истинного мира воюет с міром дольным, попавшим под власть дьявола. И снова недвусмысленно утверждает это сам Спаситель: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Разделение на агнцев и козлиц, на пошедших за Христом, Сыном Божиим, и оставшихся в лапах дьявола. И эти две группы, два лагеря будут находиться между собой в неснимаемой вражде до окончания века. Перемирие между ними невозможно, а призывы к нему кощунственны — между злом и добром не бывает консенсуса. Что-то одно из них соответствует истине, что-то одно по-настоящему есть, а другое — лишь сложная, испытательная видимость. И «миротворцы» блаженны лишь постольку, поскольку несут с собой именно «немірской мир Христа», а не тщетные призывы обоим сторонам сойтись на чем-то среднем, на компромиссе, на взаимных уступках.

Поэтому выводить современный пацифизм из христианства совершенно некорректно уже с богословской точки зрения. Любовь к врагам, отказ от принятия правил, диктуемых павшим царством земным, т.е. от сведения всего к противостоянию в узко материальной, имманентной сфере — да, это прямо вытекает из христианства и его этики. Но любовь к врагам еще не отменяет факта вражды и битвы, а отказ от поверки проигравших и выигравших узко земными мерками, не означает прекращения всякой войны. Христианское духовное воинство Нового Иерусалима, все искренне и истово чающие Светлого Града ведут свою брань с антихристом и слугами его, ненавидя первого и сожалея о падении вторых. Но все это никак не снимает накала световой трансцендентной агрессии. «Не мир, но меч».

Если бы не лживые завывания современных псевдорелигиозных пацифистов, то и напоминать о таких простых вещах верующим людям не было бы нужды. Ведь само выражение «Господь Саваоф» с древнееврейского переводится как «Бог Воинств» (заметим также, что «небесным воинством» часто в литургической практике древние евреи называли звезды и светила).

Мобилизованный «рождением снизу»

Можно сколь угодно жестоко карать за «пропаганду войны», но войны не избежать. Некуда от нее не деться, никак ее не обойти. На войне и брани построены основы міра сего, составляющие главнейшее его качество. Будучи вброшенными в мир земной, мы помимо нашей воли мобилизованы на фронт. И этот факт мы должны принять. И не решив на практике проблему войны, не ответив так или иначе на ее вызов, мы не способны двинуться ни в одну из сторон бытия.

Рождаясь, мы обречены на принадлежность к региону міра сего, которому всегда что-то угрожает. А следовательно, мы автоматически мобилизованы на его защиту, на отстаивание общины, общества, их интересов. Иначе в этой несовершенной сфере и быть не может. Есть, конечно, и призванные на «брань духовную», стремящиеся исполнить высший подвиг — победить вслед за Христом мир. Любопытно, что такие борцы с миром есть не только в христианской Церкви, но и в других религиях, причем сплошь и рядом они выделены в особую касту. Так, в индуизме подобной кастой являются «брахманы», «жрецы». И показательно, что кастовой добродетелью жрецов является «ахимса», т.е. «непричинение никакого вреда живым существам, даже ценой собственной гибели». Эта же «ненасильственная» этика характерна и для буддистских монахов, особенно для высших иерархов ламаизма, которым за большой грех вменяется даже невольное убийство от неаккуратного жеста малейшей мошки. Поэтому у высших тибетских духовных авторитетов даже нос во время простуды утирают послушники — из страха, что лама нечаянным взмахом платка причинит вред насекомому или комару. Кстати, сходное отношение мы встречаем в некоторых формах христианского монашеского подвига — особенно у столпников, исихастов и т.д. Но и это миротворчество есть, в определенном смысле, война — война (и причем жесточайшая) против самого устройства естества.

А все остальные типы людей погружены в непрерывные битвы не столь возвышенного порядка. — Они вынуждены защищать свои рода, свою землю, свой народ, свое государство, самих себя от агрессивных волн нижней реальности. Но и в этом случае человек как бы порождается войной, учреждается ей, кроится по ее меркам, закаляется ее огнем.

Признание всеобщей военнообязанности человеческого вида не составляло труда для древних, которые с гораздо большим реализмом и ответственностью чем мы понимали и принимали жизнь. И вот что странно — чем упорнее бежит современное человечество от реализма войны, от принятия ее вызова, тем более страшные и бесчеловечные конфликты оно развязывает, тем глубже по спирали ужаса спускается оно в мерзость грязной механической бойни, стыдливо скрываемой от глаз лицемерного большинства. Отсюда фарисейская юридическая установка, запрещающая «пропаганду войны». Какая низкая фальшь! Если бы войну можно было запретить декретом, если бы коллективный договор посредственных обывателей мог бы так легко исправить сущность стихии наличного бытия!

Война смеется над этими жалкими попытками. И мстит. Она так же неотменима, как и сама смерть. И если где-то за горизонтами плоти и расположены узкие врата бессмертия, пройти в них явно дано далеко не всем, а обывателям и мечтать об этом не стоит. Тот, кто не готовится к участию в битве, тот, кто отказывается от роли солдата, тот записывает себя не в дезертиры, но в жертвы. Рано или поздно война настигнет его. Но настигнет не как живого и свободного, не как достойно бросившего вызов року благородного существа, сознательно принимающего на себя бремя ответственности, наложенное условиями рождения в земном мире, а как жалкую неодошевленную куклу, как пассивный предмет, вознамерившийся задешево ускользнуть от могущественного предопределения.

От войны не уйти и не надо пытаться. Важно, напротив, постараться точно определить свою принадлежность к своему войску и к своей части, научиться навыкам боевого искусства и познакомиться с ближайшим командиром. Неважно, она уже объявлена или пока еще нет. Война не заставит себя ждать. Она предопределена. Она сзади нас, она впереди. Она вокруг. Другое дело — какая война, за что, с кем и где? Но это второстепенно. Это выяснится по ходу дела.

Главное — осознать факт мобилизации, принять его, сжиться с ним. А дальше начинается иная история.

Смерть как учитель

Война является не более аморальной, нежели все остальные аспекты земного существования. Просто она обнажает, многократно усиливает, разоблачает то, что в иных сферах скрыто, завуалировано, припудрено. Смертность человека как одна из основополагающих характеристик его структуры выходит здесь на первый план. В мирном, гражданском обществе смерть затушевана, вынесена на периферию, выставлена чем-то далеким и посторонним. На войне смерть проявляет себя обнаженно и интимно, как данность прямого опыта. Конечность человеческого существа там обнаруживается в полной мере. Следовательно, прямой бытийный опыт на войне становится философским фактом. Каждый может быть в любой момент убит, но каждый может стать и причиной смерти другого существа. Смерть как самый значимый и глубокий момент судьбы человека насыщено открывается как двусторонний механизм — как субъект и объект. Смерть персонифицируется, входит в людей, подчиняет их своей особой логике, своему уникальному настрою.

В матовом свете смерти преобразуется реальность, меняют свои очертания привычные понятия. Сквозь грязь и агонию, сквозь развороченные валы трупов, сквозь липкие валы страха и истошные приступы ярости проступают спокойные «готические» умиротворенные своды Иного. В войне есть тайный покой, тревожное «да», сказанное жизни.

Эрнст Юнгер, великий знаток войны, автор самых проникновенных слов о ней, в лучшей поэме, сложенной о войне, в знаменитой книге «Война — наша мать», говорил, «что война разоблачает перед нами то, что старательно прячет могила». Последняя судьба плоти, фосфорисцентной, разлагающейся, сладко воняющей человеческой телесности открывается в бою и особенно после боя как наглядный урок практического богословия. Современный человек упустил из виду свои корни, стадии своего происхождения, искренне поверил, что его форма была всегда, что он сам себе творец. Он забыл о том, что ему предшествовало — прах земли, и к чему он возвратится — к праху земли. Иллюзии похоронных контор, ритуалы и мир живых забирают от человека конкретику трупа, завершающего логично круг превращений. Этой стороной бытия интересуются лишь маньяки и перверты, лишенные оправдания. И в то же время именно «память смертная», память о смерти, педагогика созерцания трупа является важнейшей частью духовного созревания

личности. Правда, война доводит это до крайности. Но не исключено, что сам факт такого эксцесса есть ответ органического бытия на ту лицемерную, трусливую брезгливость, которую проявляют к мирам смерти наши современники. Отказываясь от внимания к смерти в религиозных формах, они обрекают себя на то, чтобы столкнуться с ней лицом к лицу при более зловещих и brutальных обстоятельствах.

Мы настолько забыли о смерти, что наше сознание не способно даже на мгновение остановиться на этом опыте. Отсюда и одержимость в современной масс-культуре темой «живых мертвецов», «вернувшихся из ада» и т.д. Мы не можем представить себе подлинно мертвого, «мертвый труп». Труп остается всегда для нас немножко «живым». И война своей неразборчивостью, своей изысканной слепотой, своим роковым масштабом возвращает нас к владычественно описанным нашим границам — здесь кончается человек и начинается его Смерть.

Жидкое «я»

Если человека вскрыть, первое, что из него покажется, — кровь. Красная соленая теплая влага. Древние считали ее сгустком души, особой удивительной субстанцией, в которой материальное переходит в нематериальное, плотское — в более чем плотское, земное в надземное. Отсюда множество табу и ритуальных ограничений, связанных с кровью и ее использованием. Кровь — таинство, загадочное содержание человеческого футляра, его субтильное, жидкое «я». Кровь — жизнь, ее тайна. Не случайно у некоторых мистически ориентированных большевиков (Богданов) была популярна идея относительно того, что равномерное разделение (через переливание) между собой крови всего человечества должно увенчаться достижением всеобщего бессмертия. Это Богданов описывает в уникальном фантастическом романе «Красная Звезда» (кстати, сам он погиб во время опыта по переливанию крови, когда уже после революции возглавлял «Институт Крови»!). В нашем веке у большевиков-богостроителей, как и у древних скифов или трансильванских вампиров, таинство крови вновь на короткий момент стало в центре культурного и социального внимания.

Война — блестящий случай убедиться в силе этой древней чувствительности. Таинство войны сопряжено с таинством крови.

И снова обратимся к гениальному Юнгеру, писавшему об этом на основании потрясающего личного военного и экзистенциального опыта: «Да, эта жажда крови. Она осолена ужасом, но это — опьянение. Такая ненасытная жажда крови. Раздирает она воина, покрывает накатами красных волн, когда воздыхающие облачности гибели плавают над полями жестоких схваток. Человек, никогда не сражавшийся за свою жизнь, не может вкусить этих красок. Странная вещь, но появление врага на горизонте приносит вместе с последней степенью испуга облегчение от тяжелейшего, почти непереносимого ожидания. Сладострастие крови бьется над войной, как красный парус мрачной галеры. Бесконечность ее желания сближает ее с любовным жаром. Она перенапрягает нервы, когда в лихорадочных городах под дождем из цветов маршируют колонны «morituri», «шагающих на смерть» во фронтовом марше в сторону вокзала последним эшелонем. Она кипит в толпах, издающих истошные от счастья вопли победы, обращенные к этим людям. Она — часть эмоционального содержания солдат, марширующих как обещанная смерти гекатомба. Накопленное за дни, предвосхищающие сражение, за полные болезненного напряжения часы ночных дозоров, когда вспышки залпов освящают цепи стрелков, сладострастие крови бьет, как пенная ярость, пока человеческие валы не бросились в бойню грязной зоны ближнего боя, в рукопашную. Все желания тогда сливаются в единое желание: броситься на противника, повинуюсь зову крови, рвануться на него, без оружия, в головокружительном опьянении, с единой силой напряженных кулаков. Так было всегда.» («Война наша мать», глава 1)

Родину знают даже растения

Пока мы говорили о духовно-экзистенциальном аспекте войны. Но есть в войне и иной, имманентный, жизнеутверждающий компонент, касающийся общей системы ценностей.

Война заставляет человека заново и ценой огромного личного усилия утвердить свою принадлежность к общине. В этом социальный или национальный, если угодно, смысл войны. Война всегда дело коллективное, всегда направленное на какую-то общую цель — либо на сохранение народа или государства, либо на увеличение их мощи, их пространств, их жизненных регионов. Но все эти типы войны связаны с понятием уникальности культурной формы, так как именно конкретная и особенная культурная форма делает народ народом, а государство государством. В войне решается судьба и объем укорененности в реальности сложного коллективного проекта, дающего смысл существованию народа или цивилизации — как в малом, так и в великом. Всегда

приходит момент, когда на эту культурную форму обрушивается враг, желающий ее надломить, раскрошить, переварить, присвоить. Или наоборот, всегда приходит момент, когда сила, мощь и переизбыток внутренней энергии требуют выхода. А осуществиться это может лишь за счет другого.

Как бы то ни было, нет-нет да и забьет тревожный колокол войны. Нет-нет да и потянет свежей кровью пронзительный ветер, безошибочно угадываемый теми, кто более всего настроен воевать. Война имеет начало и конец, как исторический период. Но своей неизбежностью, своей повторяемостью, постоянством своих глубинных онтологических причин, она превосходит историю, подчиняет ее себе. И это придает ей особое величие.

Если люди не будут защищать свой народ и свою веру на войне, они потеряют связь с этим народом, превратятся в жалкие бродячие атомы, а вера их утратит спасительную силу, станет плоской, недейственной, ханжеской мелкобытовой моралью. Отказ от войны, бегство от войны, неготовность к войне свидетельствуют о глубоком вырождении нации, о потере ею сплоченности и жизненной, упругой силы. Тот, кто не готов сражаться и умирать, не может по-настоящему жить. Это уже призрак, полусущество, случайная тень, несомая к развеиванию в пыли небытия. Поэтому прекращался культ войны и культ воина, защитника и хранителя, стража тонкой формы, которая и давала нации смысл и содержание. Неслучайно так почитаем православными святой Григорий, воин за Веру, заступник за православный люд, спаситель еще земного, но уже православного (то есть уже ставшего на небесные пути) царства.

Ценности народов, культур и обществ доказываются в войне и через войну. Ценно то, что оплачено кровью. Прекрасно то, в основе чего лежит самоотверженный подвиг. Возвышенно то, за что не жалко отдать множество жизней — свою и чужие.

Родина — это понятие напитано смертью и кровью тех, кто poleg в великом деле создания порядка из разрозненных фрагментов реальности. Родина — конкретная форма, объемлющая все ценности, все утверждения, все трансперсональные запасы эмоционального мира, пронизывающие рода и поколения. Юнгер справедливо замечал, что «Родина пробуждает настолько изначальное чувство, что оно присуще даже растениям, которые категорически отказываются расти на чужеродной почве».

Как эпитафия, как возвышенное оправдание погибшим только одно это священное слово — и война как путь приобретает новый смысл, доступный уже не только пассионарному добровольцу, богатырю, герою или ландскнехту, но и любому простому человеку, к которому обращается в интимный момент голос его собственный природы.

«Ты можешь бояться прямого контакта со Смертью и кровью (хотя напрасно ты так поступаешь), но перед лицом Родины, ценности выше всех ценностей, ты не имеешь права на личное мнение, на свою позицию. Ты обязан идти на войну. У тебя нет выбора».

Тот, кто не признает ценности выше самого себя, т.е. тот, кто не готов однажды умереть за идеал, одной из самых чистых и конкретных, плотно схватываемых форм которого является Родина, тот не имеет права называть себя человеком. У него нет достаточного онтологического основания для того, чтобы жить.

Исполнить то, что обязаны

Как дико контрастирует все это, казалось бы, настолько понятное, само собой разумеющееся, самоочевидное, с тем настроением, который царит сегодня у нас. И не только в пацифизме дело. Складывается впечатление, что размыты, обветшав, важнейшие связи, нити, жилы, которые должны в нормальном случае соединять мысль и действие, идеологию и психологию, манеру размышлений и набор тем, элементарную логику поступков и каналы их осмысления, оценки прошлого и выбор будущих путей... Такого дрянного состояния как сегодняшнее, видимо, никогда еще не было. Тысячи диагнозов с разных сторон можно было бы поставить нашей ситуации, и все они будут крайне пессимистичными, горькими, не внушающими надежд.

Среди прочего ясно и то, что мы напрочь потеряли волю к войне, что мы предали войну, что мы, то ли устыдившись, то ли перетрусив, то ли окончательно потеряв рассудок, отказались исполнять то, что обязаны делать в минуты грозного набата все народы — то есть воевать.

Тьма народов и народцев, культур и культов бросили нам, русским, смертельный вызов. Запад как цивилизация отказывает нам в праве на то, чтобы мы могли быть иной, отличной от него цивилизацией — и это война. Наши бывшие братья по единому государству отказывают нам в том, чтобы уважать нашу силу и наш масштаб — и это тоже война. Западные соседи, поощряемые атлантистским могуществом, угрожающе потрясают нас хилыми рыжими кулачками — и это война. Азиатские орды косят злым глазом на наши южные и восточные просторы — и это война. Наша добрая весть, выстраданный, выплаканный, отвоеванный нами восторг русской духовной мечты оплеваны сторонниками иных культурных форм — и это война. Мы стремительно растворяемся в небытии как призрак, теряя свое единство, свою сплоченность, свое русское, самобытное, уникальное, тревожное и необъятное «я» — и это война.

Нас окружает, призывно лижет нас шершавым языком пламя войны.

Как долго будет длиться еще этот обморочный сон? Сколько ждать еще, чтобы в берлоге беспробудного помрачения очнулся наш некогда столь гордый и столь возвышенный дух — дух смелых и верных Родине людей? Сколько взывать к нам в слезах и корчах с той стороны могил нашим предкам, которые все видят, но не в силах вместили, принять, осознать позорище их оглушенных стайкой дерзких заезжих гипнотизеров потомков?

Но если бледное, преступное обывательское отродье, разобрав заголовок этой главы, скривит губы и бормотнет раздраженно — «опять нас хотят сделать пушечным мясом» — пусть захлебнется вчерашним обедом, поперхнет мишурным рекламным роликом. Хорошо, из-за них мы скажем иначе: ладно, война — не ваша, но наша, наша, наша Мать.

А.Г.Дугин

"День Война", 1998
"Основы геополитики", Арктогея, 2000
"Русская Вещь", Арктогея, 2001
"Философия Войны", Яуза, 2004

ВОЗРОЖДЕНИЕ КШАТРИЕВ

Трехчастное устройство индоевропейского общества

Быть военным не просто профессия. Это нечто большее даже чем призвание. Военным надо родиться. Военные — это тип, своего рода каста, обладающая совершенно особыми психологическими, этическими установками, общими для армий всех времен и народов мира. Индусы зачисляют всех военных в отдельную касту, которую они называют «кшатриями». Традиционное индусское общество знает три главные касты. Это — брахманы (жрецы), кшатрии (военные) и вайшьи (производители и торговцы). Согласно французскому исследователю древних индоевропейских обществ Жоржу Дюмезилю, индусская традиция сохранила вплоть до настоящего времени ту картину, которая наличествовала у всех индоевропейских народов в древности. Более того, Дюмезиль считает такое трехчастное деление общества и соответствующую ему иерархизацию божеств по трем категориям главной отличительной чертой древних ариев.

Как бы то ни было, воины, кшатрии, считались одной из высших каст традиционного индоевропейского общества, и есть все основания считать, что такая модель в огромной мере повлияла на социальную структуру индоевропейских народов и после того, как большинство из них приняло христианство.

Следовательно, каста воинов должна рассматриваться нами как один из важнейших компонентов государственно го и социального устройства.

Каста властелинов

С одной стороны, каста кшатриев традиционно считается второй, находящейся ниже касты брахманов, жрецов. Но такую иерархию нельзя понимать буквально. Традиционный взгляд на устройство мира ставит во главу угла духовные ценности, невидимые миры принципов, метафизическое созерцание. Это и есть преимущественная область брахманов. Жрецы заняты, в

первую очередь, потусторонним, и они стоят выше кшатриев только в том смысле, что требуют от тех подчинения их высшим началам. А с точки зрения земных дел — особенно социального устройства — кшатрии являются в полном смысле слова первыми и главными, образуют полноценную и законченную элиту традиционного общества. Воины, военная аристократия выдвигают из своей среды королей, царей, вождей, которые в максимальной стадии развития государства становятся императорами. Иными словами, в вопросе жизнеустройства и государственной, общественной жизни именно воины были осевым социальным компонентом.

Отсюда и главные функции воинов — защита государства и народа, осуществление судейских и административных функций и т.д. Именно каста воинов в арийском обществе была становым хребтом социальной организации, выдвигала из своей среды людей для занятия всех ключевых социальных постов.

Если мы взглянем на историю европейских народов, и в том числе на историю славян, мы увидим, что практически вся аристократия, все боярство и дворянство были выходцами именно из семей военных. Княжеская дружина дала всю изначальную аристократию России, и в течение многих веков доминанция касты воинов — в той или иной форме — сохранялась непоколебимой.

Православный мир, где брак разрешен для черного духовенства, знал кастовый — или почти кастовый — принцип и для клира. Таким образом, аналогия с традиционным индоевропейским обществом здесь была полной.

Но вместе с тем, между двумя высшими кастами существовала довольно гибкая система взаимопроникновений. Часто, к примеру, бояре пополняли ряды белого духовенства, что позволяло полностью удовлетворять духовные запросы тех «кшатриев», которые предпочитали потустороннее посюстороннему.

Кроме того, через военную службу или монашество путь к верхам социальной лестницы был открыт и для отдельных представителей низших сословий, которые горячим религиозным чувством или храбростью на поле боя могли доказать свое право на более высокую социальную ступень, не подвергая при этом сомнению сам факт оправданности и разумности сословной системы.

Но нас интересует здесь следующее. — Именно каста воинов дала государственно-образующую среду индоевропейских обществ. И это в полной мере применимо и к русской истории. Русское государство создано и утверждено воинами, князьями, дружиной, кастой русских кшатриев.

Именно воины — а не актеры, не юмористы, не аналитики, не секретари обкомов, — создали Русь и русское общество. Не просто сохранили и защитили его, — нет, все гораздо глубже, — они его сверстали, скроили, спроецировали и реализовали, они им нераздельно правили, его возглавляли, его содержали.

Поэтому военный вопрос и сегодня должен быть центральным для всей социальной жизни, а это значит, мы должны подойти к проблеме кшатриев с особой серьезностью и вниманием. Решение этого вопроса неразрывно связано с вопросом о будущем нашего государства, с вопросом о политической власти.

Под знаменем Великого Желания

Индусы — с их духовным реализмом и детальным знанием человеческой психологии — описывают касту кшатриев как самостоятельный человеческий тип с особыми наклонностями, особой этикой, особой природой, особыми ритуалами. Изложение этого заняло бы целые тома, поэтому ограничимся самыми важными моментами.

Кшатрии, воины представляют собой тип, который лучше всего воплощается в действии «экспансии», «расширения». Брахманы, жрецы представляют собой вертикаль и концентрацию. Кшатрии — горизонталь и расширение. Суть кшатрия, воина — волевой, предельно напряженный импульс, выброс энергии вовне. Не случайно индусы называют символической целью жизни кшатрия — «каму», «желание». Мужской, агрессивный, захватнический, силовой принцип по преимуществу, стремление максимально расширить пределы своего контроля, своей доминанции, своего начала. Воины хотят «тотализовать» себя, простереть свое присутствие на максимально большое социальное и географическое пространство. «Желание» — высшая тайна воина, яркий огонь его воли, стремление излить вовне переизбыток своей внутренней, хлещущей через край

жизненной силы. Термин Льва Гумилева «пассионарность» прекрасно характеризует сам тип кшатрия в его наиболее чистой и совершенной форме.

Воина отличает именно позитивный, созидательный, экспансивный принцип, переизбыток силы и энергии. Эта солнечная световая агрессия в нем изначальна. И лишь потом, втором этапе реализации — и лишь по отношению к тому, что выступает для воина в качестве препятствия — созидание превращается в разрушение, уничтожение, смерть. Эта разрушительная сторона воинов и войны происходит не из «желания», а из препятствия к его осуществлению. Иными словами, смерть и разрушение, которые неразрывно ассоциируются у нас с войной, на самом деле, являются не основным, но побочным, второстепенным элементом воинского архетипа. Воин хочет созидать и строить. Но реальность устроена так, что ему всегда кто-то или что-то мешает, препятствует, становится поперек пути. Вот это «препятствие» и подлежит уничтожению, каким бы оно ни было — либо враждебным государством, либо косностью масс, либо неподатливостью природной среды, либо недисциплинированностью и своеволием низших, безответственных слоев — работников, торговцев, просто разноликого сброда. Здесь и только здесь проступает отрицательная, негативная сторона воинственного начала.

Созидательность кшатрия воплощается как в высшей форме в творении Государства, упорядочивающей системы, приводящей хаотический разноряд частных интересов и стремлений к единому гармоничному ансамблю, воплощающему строй и порядок, свойственный высшим, невидимым мирам духа на этой несовершенной земле. По мнению немецкого философа Ганса Блюхера, «государство — это чисто мужское создание, оно возникло из *Mannerbund*, древнеарийских мужских воинственных союзов». В государственном строительстве воплощается высший момент кшатрийского желания, это — венец воинской любви.

Вторая сторона желания — более материальна, но также неразрывно связана с кшатрийским архетипом. Речь идет о любви к женщинам. Это также неотъемлемая сторона воина. Любовь и смерть. Убийство и гибель наряду с жарким огнем чувственного влечения. Иногда накал любви столь возрастает, что ее объект абсолютизируется. Тогда мы получаем нечто аналогичное средневековому рыцарству — обособлению европейских кшатриев в специальную организацию, где Любовь к прекрасной Даме сливается с эзотерической доктриной, а земная женщина полностью отступает перед раскаленным выше всех пределов желанием женщины небесной, сверхженщины, Беатриче, Софии.

Две этики

Традиционное общество дифференцирует этику в зависимости от типа. Для жреческой касты рекомендуются воздержание, аскетизм, полная отвлеченность от мирских дел — как в их созидательной, так и в их разрушительной ипостаси. Убить человека, погрузиться в социально-политические процессы, пожелать женщину для жреца — ужасный грех и нравственное падение. Для воина все наоборот. Если он нерешителен, вял, равнодушен, безволен, безразличен, пассивен, нетемпераментен, дрябл, отвлечен от жаркой плоти бытия, он никуда не годится и лишь позорит свое сословие, свой архетип, свою касту. От хорошего кшатрия, конечно, требуется повышенное внимание к духовным советам жрецов, верность Традиции, смирение перед принципами, понять которые ему не дано и которые являются прерогативой созерцателей. Но он не должен копировать жрецов или подражать им, не должен быть «слишком» созерцательным, это идет против его кастовой этики. Лучше для воина вначале сделать, а потом подумать. Даже в том случае, если он совершит что-то не то, кастовая этика полностью оправдывает его. У древних кельтов архетипом воина был герой Кухулин. Во время боя он впал в такое бешенство, — преображаясь в грозное божество, глаза вылезали из орбит, язык вываливался, волосы превращались во вздыбленную гриву, — что легко мог перебить, не разбираясь, и всех своих. Для того, чтобы охладить его, спутники часто выставляли отряды обнаженных девиц и серию бочек с ледяной водой. Только такое неожиданное шоковое зрелище и серия холодных бань приводили героя в чувство.

Показателен также сюжет из «Махабхараты», где голова главного злодея, — предводителя Кауравов, — уже будучи отделенной от тела, провозглашает гимн верности воинской этике: «сражаться до конца и с максимальной храбростью, удалью и мощью даже за самое злое и неблагоприятное дело». Показательно, что после кончины этот отрицательный персонаж, но прекрасный воин, отправляется, по свидетельству индусского эпоса, на небо, в рай!

Эта этическая гибкость не исчезла и в христианском мире, где для признания святыми князей, василевсов и императоров, с одной стороны, и монахов и отшельников, с другой, применялись совершенно различные критерии. От императоров требовались выдающиеся заслуги по защите православной Империи и Церкви, на личные же — подчас довольно дикие — проступки сплошь и рядом закрывались глаза. Не таково было отношение к представителям клира и монашества, здесь

нормы личного поведения и верности аскетическому пути были неукоснительным требованием. В этом следует видеть отнюдь не цинизм или лицемерие, но именно духовный, кастовый реализм, свойственный любому полноценному традиционному обществу.

Политика — дело героев

Еще одна отличительная черта кшатрия — любовь к риску. Это особый идеализм воина. Почести, славу, самоутверждение он всегда предпочитает комфорту и обеспеченности. Ему важно не обладать и сохранять, но рисковать, двигаться, будоражить, ставить свою и чужую жизнь на рискованную грань, где веет истинный дух свободы и чести. Воинский идеализм — особый, его горизонты довольно конкретны. Его не очень интересует радикальный спиритуализм чистых аскетов, плоды деяний своих воин хочет видеть возвышенными, но ощутимыми. И в данном случае на первое место выступает область общественного служения, преданность конкретным, но масштабным формам — Церкви, государству, нации, обществу. Кшатрий — существо политическое по определению. Именно в политике, в вопросах государственной власти может он в полной мере осуществить свои архетипические чаяния. И в мирной жизни, и на войне кшатрий занимается одним — политикой, отстаиванием интересов «Полиса», общественной реальности. Только такой масштаб, намного превосходящий личное, частное благополучие, представляется для подлинного воина достойным и приемлемым. Ради почестей и славы, ради того, чтобы возвыситься до уровня государства, истинный аристократ-воин готов пойти на все. В определенных (негативных) случаях это приводит к преступлениям, интригам и тирании. Но это неизбежные издержки архетипа. Гораздо хуже, когда у воина отсутствует кшатрийское честолюбие. В таком случае он грешит не в рамках архетипа, но совершает преступление против всей своей касты. Военный, предпочитающий уют и спокойствие, трусоватый, пацифистски настроенный, конформный и нечестолюбивый, прилипший к синекуре и теплоте местечку, гораздо опаснее и отвратительнее самого зловещего и тщеславного выскочки. «Желание» может привести как к добру, так и ко злу. Его отсутствие сразу же дисквалифицирует воина, ставит его вне закона касты, что намного хуже. Таким лучше заведомо идти в торговый сектор или на производство.

Патриотизм воина вытекает из самой структуры его сословного статуса. Родина для него — единственная реальность, достаточно масштабная для осуществления кастовых амбиций. Поэтому служение Родине — это минимально необходимый уровень для реализации желания. То, что лежит ниже этого, подлинный воин считает недостойным себя.

Вайшьи

Надо сказать несколько слов и о третьей касте — касте тружеников и торговцев. К ней в индуизме — и шире, в традиционных индоевропейских обществах — было вполне доброжелательное отношение. Все негативные элементы — отбросы общества — концентрировались в дополнительных «кастах», возникших на более поздних исторических этапах, когда нарушилась однородность древних арийских обществ. Но представители этих «подкастовых» сословий — шудра, чандал и т.д. — долгое время вообще не считались людьми, поэтому и рассматривать их не имеет смысла.

Третья каста — вайшьи — очень похожи на кшатриев, воинов, но только степень их пассионарности и масштаб деятельности существенно ниже. Вайшьи — это как бы «разбавленные кшатрии». Их активность заземлена, занижена, их тщеславие и дерзость ограничены узко материальной сферой, область их мужского самоутверждения относится к частному сектору и индивидуальному благополучию. Они — в отличие от брахманов — целиком погружены в земное, но в отличие от кшатриев — в мелкомасштабные аспекты земного. Они не способны возвыситься до истинной политики, не готовы рисковать жизнью ради славы и чести, не хотят пускаться в сложный путь огненной страсти и экспансии. Они рачительны и домовиты. Обстоятельны и рассудочны. Они либо ремесленники, либо торговцы. Они предпочитают размеренное и мирное течение жизни, домашний очаг, крепкую семью, консервативный распорядок жизни. Их потребности разумны, их соображения предельно конкретны. У них отсутствует воображение, дух авантюры и риска. Они бывают хорошими солдатами и младшими офицерами в случае военных действий, составляют подчиненные отряды кшатриев. Но в войне их более интересует добыча, нежели слава. Они патриоты, но по эгоистическим, семейно-родовым и рациональным мотивам. Они склонны к конформности и покорности. Однако болезненно реагируют тогда, когда государство чрезмерно вмешивается в их частную сферу.

Вайшьи — позитивный элемент, основа общества, но они патологически не способны организовать его сами. У них фатально отсутствуют социальный масштаб и вкус к истинной политике, не говоря уже о метафизических качествах жрецов.

Естественно, когда вайшьи начинают заниматься не своим делом и вовлекаются в принятие радикальных судьбоносных решений, то их предпочтения и выбор неизменно приводят к катастрофам. И для того, чтобы обыватели, дорвавшиеся до управления обществом, не развалили бы в нем вообще все, там, где кастовый принцип отрицается, приходится прибегать к системе «тайных обществ», которые за кулисами и с помощью особых теневых технологий исполняют функцию внешне отсутствующей элиты. Таково предназначение масонства в западных демократических режимах, внешне отрицающих систему каст. Шпаги, титулы, мифология тамплиеров, розенкрейцеров, труверов и крестовых походов, а также участие во всех значимых политических интригах — делает из масонских лож искусственный дубль касты воинов, так что светский и «демократический» фасад политической системы ничего не меняет в удивительно устойчивых механизмах политической власти, остающихся сущностно неизменными с древнейших времен.

Вайшьи не способны к обобщению, их горизонт неизменно локален, они думают только о себе, о своей семье, о своем роде. Все остальное для них второстепенно. Поэтому их выбор, даже если к нему для проформы обращаются, для реальной власти не имеет никакого значения. Политическая безответственность обывателя — факт, не требующий особых доказательств.

Кастовая метаморфоза советской армии

Все, что мы сказали о кастах, справедливо, в первую очередь, на уровне архетипа. Это не значит, что реальная жизнь не имеет к этому вообще никакого отношения. Нет, архетипическое и есть реальное, но реальное в чистом виде, при взгляде одновременно на большой пласт жизни, истории, общества. Архетип становится очевидным только в том случае, если мы отвлекаемся от эфемерности конкретных деталей, расчлененных ситуаций, индивидуальных примеров, изолированных от контекста пресловутых «атомарных фактов». Но сфера конкретного и есть мираж, лишь заслоняющий истину. Государство — не какое-то абстрактное, идеальное, нет, конкретное, исторически фиксируемое, из которого последовательно и непрерывно сложилась та социальная форма, в которой живем мы все сегодня — было создано военными, управлялось военными, обновлялось военными, упускалось военными, снова отвоевывалось военными. Армия не просто один из атрибутов государства, это и есть сущность государства. Поэтому вопрос касты кшатриев имеет не историческое или абстрактно философское, но самое актуальное значение. Учитывая вышеизложенное относительно архетипа теперь можно бросить беглый взгляд на то, что же происходит с нашей армией сегодня и какова ее роль в современной российской действительности.

Во-первых, обратим внимание на тот факт, что постоянно возобновляются попытки ввести фигуру какого-то военного — «генерала» — в большую политику. И всякий раз эта затея с одобрением, почти восторгом, приветствуется значительной частью населения. Причем сплошь и рядом реальная фигура, ее качества, ее взгляды, ее достоинства не имеют решающего значения. Голосуют за мундир. Это свидетельствует о смутном бессознательном воспоминании, догадке народа об истинной социальной роли военных. Это — симптом кшатриев, и этот факт является однозначно позитивным, так как свидетельствует от том, что люди, наконец, начинают постепенно осознавать катастрофический характер нынешней пост-номенклатурной, штатской, чиновничьей, абсолютной разложившейся и предельно безответственной власти, и обращаются к забытым архетипам, к тому, как было «во время оно».

Но с другой стороны, налицо глубокое, трагически наглядное вырождение самих военных, которые за годы «детанта» и перестройку, кажется, окончательно перековались в новый тип — клерков, мещан, штатскую, тыловую, пацифистскую кампанию. Наши военные сбились с колеи, освоили навыки, стратегию поведения и повадки, которые отличают гражданское чиновничество. Утрачено самое важное кшатрийское качество — воля к экспансии, страстный импульс желания, мужская, агрессивная, воинственная эротика.

Нормальные воины не смогли бы ни при каких условиях спокойно принять столь стремительное сокращение национальных территорий.

Нормальные воины не стали бы в критический момент государственной ликвидации послушно следовать за случайными и временными персонажами, по роковому стечению обстоятельств получивших, доступ к высшим постам в обществе.

Нормальные воины продемонстрировали бы в ситуации последних лет не один военный мятеж, и на самый крайний случай — цепную реакцию массовых самоубийств. Причем самоубийств по

исключительно кшатрийским мотивам — гибель великой империи, национальное предательство власти, крушение оборонной системы.

Что же мы имеем в действительности? Если военные и высказывают недовольство, и даже решаются на голодовки (и очень редко суицид), то исключительно по бытовым мотивам — зарплаты нет, жены не довольны, с жильем неполадки. И вместе с тем все в целом принимают навязанный геополитическими ликвидаторами лозунг — «армия вне политики». Иными словами, те, кто должен логически более всего заниматься политикой, кто профессионально и по своей природе призван оперировать с масштабными геополитическими и социальными реальностями, те, кто создали наше государство и тысячелетие обеспечивали его функционирование, вдруг по окрику неизвестно откуда взявшихся демагогов довольствуются ролью платных наймитов без права голоса и соучастия в судьбе государства. Сейчас речь не о том, кому выгодно было поставить вопрос таким образом — «армия вне политики». Это — особая история. Вопрос в том, как нормальный воин, полноценный мужчина, кшатрий мог согласиться с таким социально унижительным тезисом?

Кастрация армии, оскотление мужского начала у наших воинов — вот страшный диагноз актуальной ситуации. Это оскотление является следствием положения армии в позднесоветскую эпоху, когда она была целиком и полностью подчинена партийной номенклатуре. Именно там в психологии и навыках брежневского генералитета следует искать основные истоки кастового перерождения Советской Армии, начало омерзительной, в случае военных, любви «к дачам», «комфорту», «обеспечению семей», наконец, к «пацифизму», который, как это ни странно, развит у современного российско го армейского руководства. Иными словами, Компартия в какой-то момент взяла на себя «кшатрийские» функции, роль мужского начала в советском обществе, а военным оставалось довольствоваться лишь ролью «третьей касты». Так был осуществлен чудовищный процесс кастовой мутации.

Советский генералитет был лоботомирован партноменклатурой. Но речь идет о совершенно конкретной группе военных. Сам архетип кшатриев это затронуть не может. И поэтому люди, которые приходят в армию сегодня или пришли в нее несколько раньше, теоретически свободны от гипнотических комплексов старшего поколения. В данном случае воинский архетип вполне может взять свое, даже вопреки обработке унижительным и разлагающим стилем, который унаследован нашей армией от предыдущего периода

Новые русские кшатрии

Задача русской армии восстановить нормальные пропорции в самом типе военного. Это означает, что мы должны вернуться к полноценной модели кшатрия, воина, военного аристократа, каким он был в традиционной индоевропейской цивилизации, каким он был на Руси.

Главной характеристикой военного должна снова стать мужская, агрессивная экспансия. Экспансия в политику, в социальную сферу, в идеологию государства, в область принятия решений и планирования. Нормальный военный обязан быть глубоко ангажированным в идеологию и геополитику. Он не просто наймит, он отвечает за государство и нацию. Поэтому он обязан понимать, что с государством и нацией творится, и активно участвовать в планировании их судеб.

Далее, военные должны быть поставлены принципиально над сферой экономики, полностью освобождены от унижительной материальной зависимости от представителей третьей касты. Особенных материальных благ военная карьера — по определению — не предполагает, но достойный минимум должен быть обеспечен, даже если для этого потребуются потрясти иные, менее важные для обороноспособности государства, социальные группы. Вообще над финансовой системой страны должен быть установлен контроль военных, так как именно они — а не биржевики и не банкиры — заведуют безопасностью Державы.

Военные должны резко поднять свой кастовый уровень. Они должны быть паладинами желания, и мужская культура возвышенного эротизма должна стать нормой армейской офицерской жизни. Балы и культовые романтические похождения так же необходимы кшатриям, как и военные походы.

А.Г.Дугин

"День Воина", 1999
"Основы геополитики", Арктогея, 2000

КРАСНАЯ МАТЬ ЗЕМЛЯ

Земля как война

Понятие «земли» тесно связано с понятием «войны». История войн показывает, что конфликты, возникавшие из-за территорий, являются главной и почти единственной причиной войн. Все остальные ценности — деньги, золото, стада, богатства, женщины или провизия, приобретаемые в результате войн — являются второстепенными относительно главного: земли, территории. Это понятно: тот, кто владеет землей, в некотором смысле, владеет всем тем, что на ней находится, а поэтому захват территорий автоматически позволяет пользоваться всеми теми богатствами, которые на них расположены — включая человеческие жизни.

Эта тема уходит своими корнями в древнейшие культы, связанные с землей, матерью землей, подательницей и родительницей человеческих богатств. Земля воплощала в себе изначальную матрицу, из которой появляется все остальное. Некоторые мифологии утверждают, что и сами люди когда-то, «во время оно», выросли из земли. Библейская версия о создании Адама, первого человека, из «красной глины» (еврейское «адам» произошло от «адама», «красная глина») прекрасно вписывается в эту логику. Поэтому земля считается животворящей силой материи. Богатством богатств, самой высшей ценностью, ведь все ценности исходят именно из нее.

Война между народами и государствами, между цивилизациями и конфессиями ведется именно за эту волшебную субстанцию — мать-землю. Тот, кто добивается успеха и приращения территорий, невероятно обогащается, даже в том случае, если жители завоеванных земель сами нищи, а почва бесплодна. Земля, будучи сакральной категорией, ценна сама по себе, но это подтверждается также и в прагматической области. Даже самые бедные аридные зоны и неплодоносные степи или пустыни могут сыграть при определенных условиях ключевую роль для народов, обществ и государств, их контролирующих.

В вопросах, связанных с землей, древнейшие архаические сюжеты человеческого бессознательного странным образом смыкаются с новейшими, ультрасовременными геополитическими и геостратегическими концепциями, указывающими на решающее значение географии для развития цивилизаций, культур, идеологических блоков. Понятие «Земли», Суши, является основополагающей категорией геополитики как науки.

Зубы дракона

Если война изначально связана с землей, то должна существовать какая-то качественная связь с землей и самой касты военных. Военные, армия — защитница своих земель и в определенных ситуациях завоевательница и покорительница новых территорий. Армия является динамическим проявлением земли как качественной категории. И многие древние мифы говорят о таинственных непобедимых воинах, родившихся из земли, засеянной «зубами дракона» или каким-то еще магическим способом. В военных, кшатриях, богатырях Земля проявляет свой подвижный, силовой импульс. Хлебопашцы, ремесленники, иные типы населения связаны со статическими сторонами земли. Военные же воплощают в себе подвижный, диалектический ее принцип.

Не случайно символическое качество касты воинов в индуизме — «раджас», что означает «экспансию», «растяжение», «расширение», а это одно из основополагающих качеств пространства, т.е. того, что «простерто», «растянуто», «протянуто». Показательно также, что русское слово «воин» родственно древнеиндийскому корню «veti», что значит «преследовать, гнать, стремиться к», а это снова отсылает нас к идее «динамического движения», «растяжения». Та же концепция стоит и за индийским термином «кшатрий», произошедшим от слова «кшетра» — то есть поле, горизонтальное пространство, земля.

Такие устойчивые соответствия определяют пространственный характер мышления военных как особого типа. — Любовь военных к картам, стратегическим маневрам, передислокациям, маршам — все это выражение пространственной, земной природы армии. Военный воспринимает мир как пространство, как нечто происходящее в пространстве, и эта специфика лежит в основе классического для армии консерватизма — военные как бы не замечают времени, истории, разные

эпохи сосуществуют для них в едином пространственном ансамбле. В некоторых ситуациях это представляется несколько странным, подчас нелепым. Но в основе всего лежит кастовая типология.

Ликвидные орды рынка

Геополитика делит все разновидности цивилизаций на два типа — на сухопутные и морские. Сухопутные связаны с землей, а соответственно, с воинами как основной «земной» кастой. Цивилизация Моря, морская держава основана на ином типе. Этот тип — тип торговца, человека, специализирующегося на обмене, извлекающего из этого обмена личную выгоду. Торговец не связан с пространством и с сушей, он являет собой антитезу воину. Область его действий сопряжена не с фиксированными реальностями, но с текучей средой. Эта среда оторвана от корней, наполнена объектами, уже утратившими связь с процессом появления из земли, из животворной матрицы вещей. Торговля оторвана от Суши, и поэтому своего максимального развития и совершенства она достигает среди народов, населяющих береговые зоны, прибрежные территории. «Торговля» и «порт», «берег», «флот» — понятия почти синонимичные. Торговое мышление в отличие от сознания военных, оторвано от пространства как фиксированного недвижимого целого. Это безразличие к пространству и его форме предопределяет невнимание торговцев к фактору границ. В границах — естественных или искусственных — торговец видит только негативное препятствие, погрешность среды, несовершенство мира, мешающее оптимизации торговых трансакций. Земля у торговцев принципиально десакрализована, приравнена к разновидности товара — одной из многих других, ничем не выделяющейся по своей сути. Иными словами, отношение торгового сознания к земле целиком и полностью игнорирует ее животворящее качество, ее формообразующее начало, ее предшествование появлению форм. Такая земля является «мертвой», «вторичной», предметной, духовно аридной. Торговец видит любую землю как пустыню, чисто количественное пространство, плоскую декорацию, на фоне которой и через которую движется торговый караван. Самым идеальным пространством, точно соответствующим торговой ментальности, является даже не пустыня, но Море. Оно — совершенно одинаково и равнозначно на всем своем протяжении, оно гомогенно и открыто, оно чисто декоративно и мертво само по себе, подлежит простой и униформной эксплуатации.

И не случайно, одно из определений капитала — это «ликвидность», то есть «текучесть», «разжиженность» его субстанции, неплотность, нефиксированность, оторванность от ансамблей строгих форм.

Можно сказать, что историческое сознание тесно связано именно с «текучей» ментальностью торговцев, тогда как воинское сознание классических людей Суши тяготеет к рассмотрению вещей *sub speciae eternitatis*, «под углом зрения вечности».

Метацивилизации

На основании такого дуализма типов, замеченных как геополитиками, так и социологами, особенно Вернером Зомбартом, можно сделать любопытные выводы относительно более общих реалий. Например, Государство как категория, неразрывно связанная с конфигурацией пространства, безусловно принадлежит к военно-сухопутной структуре. И наоборот, торговое сознание не может быть по-настоящему государственным, так как любая государственная конструкция с необходимостью накладывает на сферу обмена определенные ограничения, которые, с чисто рыночной точки зрения, всегда являются отрицательными.

Капитал и торговый строй по своей природе не может быть национальным, государственным, строго локализованным в пространстве. Единственно, что можно утверждать о его географической природе, так это тяготение к «морским пространствам».

Конечно, в реальном мире ни воинское, ни торговое общества никогда не встречаются в чистом виде, но все же обе тенденции находятся в радикальном и неснимаемом противоречии друг с другом, и доминанция одной из них над противоположной определяет сущность ориентации каждого конкретного народа и государства, шире, каждой отдельной цивилизации.

Если в обществе преобладает сухопутный принцип, неявный культ земли и пространства, почти наверняка можно утверждать о военном устройстве такого общества. Если же основные усилия вкладываются в развитие флота, такое государство обречено на усиление в нем позиций торговцев и легко предсказать его дальнейшее растворение в более общем географическом контексте. Любопытно, что у многих народов с подчеркнутой сухопутной ориентацией, но при этом живущих на островах или в береговых зонах, существовали сакральные табу как на мореплавание*, так и на определенные формы обмена и торговли. В таких случаях место объективной географии занимала

география субъективная, культурная, вступающая в активное противоборство с диктатом природной среды.

Не само пространство лежит в основе цивилизационного типа, но осознание пространства, его образ, возведение его к некой «идеальной форме», которая постепенно приобретает самостоятельность и сама начинает диктовать пространству его структуру.

Это позволяет говорить об «идеальной Суше» и «идеальном Острове», что в кастовом смысле будет тождественно «воинскому строю» и «торговому строю». «Воинский строй» воплощается в концепции «сакрального государства». «Торговый строй», напротив, ведет к уничтожению государства — вначале через его десакрализацию, а потом и вовсе его отмену.

А.Г.Дугин

"Вторжение", №16, 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

РУССКАЯ ЛЮБОВЬ

Третья фигура любви

Считается, что любовь — дело двоих: мужчины и женщины, матери и дитя, человека и Бога. Но с какой-то навязчивой силой, с принудительной магией невнятного напоминания иногда врывается в эти отношения нечто «третье». Непрошенное, неожиданное, несущее жестокость вопрошания, которое придает всему новый, зловещий оттенок. Третье возникает в любви как догадка о ее ограниченности, о ее фатальной недостаточности. Поэтому, по словам Дени де Ружмона в его блестящей книге «Любовь и Запад», «счастливая любовь не имеет истории». Такой любви не бывает, а если бывает, то нам она не интересна. Интересна всегда и при всех обстоятельствах лишь несчастная любовь. Та любовь, где в отношения между двумя ворвалось нечто Третье.

Как это ни неприятно признать, видимо, это ужасное Третье и есть загадочный смысл любви. То, для чего она создана — как прелюдия.

Третье. Третий. Новая фигура — адюльтера ли; ребенка ли, усложняющего картину драматического отношения двоих; змееголового падшего ангела ли, опрокидывающего гармонию послушания Адама Творцу, непрошенно врывающегося в садовничью идиллию мужчины с его жизнью (Ева).

Любовь так устойчиво, так магнетически влечется к смерти. Лишь за чертой могилы сплетаются между собой стебли прекрасных девственно белых цветов, выросших на холмиках с останками великих любовников Севера — Тристана и Изольды. От любви умирают. Если от нее не умирают, то это не любовь.

Формула «третья фигура любви» сложилась из размышлений над названием книги немецкого национал-большевика Эрнста Никиша — «Третья Имперская Фигура». Для Никиша, как и для большинства консервативных революционере ров, высшим смыслом политики — осознанной как поле судьбы — было преодоление фатальных дуальностей, выход на головокружительные просторы Третьего Пути. Ловим себя на мысли, что любовь таинственно связана с нацией. Может быть, оттого, что любовь к Отечеству — это одна из ярчайших, упругих, сотрясающих душу форм великой Любви.

Главное — перейти черту

Подлинный национализм насквозь эротичен. Родина — большая жена всех мужчин племени. Отечество — абсолютный муж всех женщин. И чем драматичней судьба народа и страны, тем выше пароксизм священной страсти. Своих высших форм мистика национальной идеи достигает в моменты великих потрясений. Блок и Есенин невысказаны без Революции. Великое потрясение рождает великое созидание. Без риска нет подлинного чувства. Если мы не стоим над пропастью, мы оцепенело лежим на диване. Все серьезные маршруты бытия оплачены невероятным страданием — душевным и телесным, добровольным или насильственным.

Как есть три разновидности национализма, так есть и три фазы любви.

Когда народ является частью какой-то отчужденной политической конструкции, когда он не способен полностью и во всеуслышание утвердить свой эрос, в нем тлеет начало национально-освободительной войны — пока виртуальной или уже реальной. Такой народ лишь ищет любви, стремится к ней, тяготясь невинностью как неосмысленным бременем («Если невинность вам в тягость, расстаньтесь с ней», — писал Ницше в «Так говорил Заратустра»). Это преддверие любви, ее зачаток.

Когда народ складывается в нацию, утверждает себя, свою волю, свое сложное всеобъемлющее бытие как жесткую формулу, приходит брачный момент свершения. Национальное Государство создается как брак, как всеобщая свадьба. Здесь боль и счастье, кровь и наслаждение, белое (простыня) и красное (кровь) мешаются воедино. Новая плоть, объединяющая в вибрирующий гибкий ком тела и души. Но это сфера дуального. — Властитель и народ, общество и государство, держава и церковь, личность и коллектив. Это высокое напряжение, но в нем еще нет зловещего отвеса Третьего.

Третье — это Империя. Великая абсолютная Родина, брак по ту сторону брака. Когда напряжение перерастает все мыслимые пределы, когда бешеное торжество слияния душ и тел в кружении национального самоутверждения проходит запретный градус, взрыв нового чувства, фатальный лик Иного сталью обнажается за последним преодоленным, взятым приступом горизонтом.

Приходит настоящая великая Любовь. Последняя. Страшная. Фатальная.

Скажут, что главное — вовремя остановиться. Это позиция известна. Главное — в другом, главное перейти черту, выяснить все и до конца, схватить ту ускользающую, далекую, запретную реальность, что маячит за последним возможным и невозможным усилием. Когда народ хочет быть всем, когда любящие хотят вовлечь в свои непрекращающиеся объятья все бытие, тогда начинается последний подвиг имперостроительства.

Saudade

Есть просто Сербия, есть просто Португалия.

Но Сербия дышит, вибрирует не от самой себя, — как она есть, с ловкими строителями, пронырливыми бизнесменами и типичным славянским хаосом, — но от великой мечты о всебалканской империи Душана Сильного, от упругой воли к более великой Сербии (*plus grand Serbie*), к огненной трансцендентной возлюбленной гордого славянского этноса. «Я отдам за тебя жизнь, Отчизна моя. Знаю что даю, и за что даю,» — было написано на стенах в казармах боснийских сербов, возведенных в великой Любви вооруженным поэтом Радованом Караджичем.

Португалия — лишь небольшая европейская страна, не богатая и не влиятельная. Гордиться ей сегодня абсолютно нечем. Но живет в маленьком прибрежном народе потаенная мечта о «царстве короля Себастьяна», иррациональная надежда на «пятую Империю», невозможное наступление которой стремился приблизить замечательный французский писатель, мистик, политик и геополитический лоббист Доменик де Ру. В португальском языке есть непере译имое слово «*saudade*». Оно означает «ностальгию», «тоску», «страдание», но вместе с тем — «патриотическое чувство». Великая тоска и великий патриотизм выражены одним словом «*saudade*». Жрецом этой немислимой, экстравагантной религии был Фернандо Пессоа, лучший современный португальский поэт.

Что же говорить о России, мировой матрицы самого крайнего и напряженного, «достоевского» эротизма и высшей, последней, абсолютной имперской мечты?

Не сливается ли наша тоска с нашей мечтой, а наш народ с нашим Богом? Не является ли наше национальное предназначение тем, что оживляет, делает осмысленным все наши страдания, наш страшный, мучительный, ослепительно неразгаданный путь сквозь историю?

Мы живем только третьей имперской фигурой, током крови Последней Любви, Последней Руси, ненормальной, невозможной, более великой, чем все мыслимое и немислимое. За нее платят не просто жизнью — душой.

«Если скажет рать святая, брось ты Русь, живи в раю. — Я скажу, не надо рая, дайте Родину мою» (С. Есенин). Понимать это надо буквально, как пункт нашей общенациональной политической платформы.

Любовь и нация имеют начало. Но они не имеют конца. Развертываясь в бытии, поднимая внутренний градус, движутся они к дальней, последней цели (достичь которой невозможно), ввергаясь в драматическую воронку войны с самой смертью.

Сколько крови...

Пора сделать из предчувствий и прозрений доктрину. Из озарений — теорию. Из накатившей удушьющей волны упругого чувства — политическую практику.

Мы должны доводить до предела все. Стремиться вывести все за этот предел, отодвинуть его, с тайной мыслью когда-нибудь сломать все. Несчастлива наша страна прекрасна и любима именно такой — несчастной, страдательной, растерянно-завороженной, а не сытой, не сволочно-самодовольной. Только высоко трагическая, вскрытая до вен, испытываемая всеми моделями ада Любовь имеет последнее слово в человеческой истории. Наши беды — залог нашего величия.

Мы, русские — Новый Израиль, избранный и потому бичуемый Богом немилосердно и неустанно. Примем нашу судьбу до последней беды, бесстрашно и жертвенно пойдем туда, куда обычным народам и нациям вход заказан.

И пусть каждое соитие русских будет обращено на великую национальную цель, пусть каждый миг национального строительства будет пропитан томящей и сладостной любовной страстью.

Третья Любовь — это русская любовь, заведомо обращенная на преодоление «естественных», поставленных унылым дьяволом границ.

Пусть рушатся сердца и стонут под нашей пятой близлежащие народы. Наш сапог свят, наше сердце заброшено в самые последние сферы. Быть с нами, — пускай в беде, в нищете, в гонениях, в испытаниях, в пытках, — высшее избранничество. Но не дай Бог открыть на богоносный народ кривые рты; вздрать впопыхах волосатые кулачки; направить тюремный прожектор бесноватых реклам — воздастся сполна и всем, мало не покажется.

Если даже маленькие, но гордые и не трезвеющие от высокой страсти народы, способны в определенных случаях говорить внушительное «нет!» своим врагам — будь они могущественны и сильны, как вся американо-британская коалиция — что же говорить о нас, раскинувшихся на материке, величиной в полмира; о нас, пронизанных до костного мозга трепетом невыносимой тоски; о нас, зачарованных бытием, пронизанных парадоксом, упивающихся широтой, риском, бескрайней свободой нашей?

Пусть он все время откладывается, этот наш русский час, но гул его нарастает неумолимо.

Боже, сколько крови...

Сколько живой, пульсирующей крови — позади, впереди, вокруг...

А.Г.Дугин

"Вторжение", №30, 1999
Интернет-журнал "Ленин", 2000
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ТЕЗИСЫ О РУССКОМ ПАТРИОТИЗМЕ

Русский патриотизм есть великий мистический, геополитический, исторический, сотериологический, эсхатологический проект, доверенный избранному народу великороссов как особый Завет,

сформировавший для этого специальный этнос, отличающийся чертами и свойствами, не имеющими аналогов нигде больше.

Русский патриотизм не похож ни на один из других патриотизмов, любое сходство обманчиво.

Русский патриотизм напрямую связан с таинством пространства как отражения вечности в имманентном мире. Русский патриотизм абсолютно открыт и горизонтально (имперский принцип) и вертикально (метафизический синтез).

Русские — единственный народ, в который можно войти (но из которого нельзя выйти без глубинных и необратимых травм). Каждый порядочный человек на земле — русский. К русским принадлежат не только люди, но и особые избранные стихии, некоторые звери, духи, растения, камни, воды. Русские не подчиняются законам физики, биологии и психологии. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские меряют все своей собственной мерой, которая бесконечна.

Русский язык является языком потустороннего, он непереволим на другие языки. На русский язык можно сделать только плохие переводы с других языков, поскольку мелочность содержания других языков злит русских переводчи ков, и они начинают фантазировать, чтобы расширить мысль, сделать ее более русской и интересной — результат от этого часто получается крайне нелепый (не беда).

Появившись в истории раз, русские никуда из нее исчезнуть не смогут. В истоке их появления есть неразрешимая тайна.

Русские придумали первыми Большую Логику, которую попытался рационально (?) записать Гегель. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая катится.

Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Русские настолько странны, что все остальные народы их не замечают, имеют о них очень смутное представление, как о мифических существах сакральной географии.

Русские очень злы, поскольку совершенно непонятны и многочисленны. Русские очень добры, поскольку они и есть Добро.

Когда русские пытаются определить самих себя, они бормочут нечто несусветное, лучше всего их понимают те, кто стали русскими, если они еще сохраняют способность говорить от дикого счастья, которого они удостоились.

Русские воплощают в себе Страшный Суд. Те, кто живет рядом с ними, повергаются метафизическому испытанию — их дико отталкивает и дико притягивает. Отталкиваясь, они начинают утрировать свою иноидентичность, так из околорусских получаются гипертрофированные немцы, азербайджанцы, евреи, хохлы, то есть такие немцы, азербайджанцы, евреи и хохлы, которых в природе не существует, но которые возникают (хотя и обратным образом) на дрожжах русскости, как аляповатый, но энергически перенасыщенный казус. Русские любят нерусских, потому что им интересно. Русские не обижаются, когда от них звереют, потому что они великаны.

Все экстремальное — нацизм, анархизм, сионизм, исламизм, психоанализ, экзистенциализм, традиционализм — все коренится у русских, но далеко не исчерпывает возможности того, что русские могут произвести на свет — по ходу дела, лениво, нехотя, между прочим. То, что составляет самый важный и существенный элемент русских, они никогда не сформулируют, не станут (и не смогут) отчуждать в формулах. (Из этого вытекает безысходность узконационалистических образований: формализуя русскость, они ее утрачивают, искажают, пародируют — поэтому русские националистические организации возглавляются, как правило, либо придурками, либо запутавшимися в себе инородцами).

Русский слишком велик, чтобы втиснуться в дефиницию. Говоря «русский», ангелы колеблются, не зная, как жить дальше...

Глупо пытаться формализовать нашу тайну. Мы можем остаться собой, уйдя от себя на тысячи километров. Русский не знает смерти, он ворочается. В русском все никогда не окончательно, это всех бесит, но это абсолютная вопросительная пристань духа.

А.Г.Дугин

"Вторжение", №21, 1999
Газета "Завтра", 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001
Журнал "Сельская молодёжь", №6, 2004

БЕЗ НАРКОТИКОВ

Лозунг психоделической революции — sex, drugs and rock'n'roll — надо интерпретировать в том контексте, где он возник. Единого универсального контекста не существует. 60-е англосаксонского мира — законченная структурная система со своими соотношениями, созвездиями смыслов и т.д. 80-е Китая или неизменная безвременная реальность племени австралийских аборигенов — совершенно иная вселенная, столь же развитая, сложная и, в некотором смысле, самодостаточная. Психоделика Штатов и Европы 60-х, что это? Стремление выйти из протестантско-пуританского капиталистического атлантистского контекста. Это культурный (и отчасти политический) антиатлантизм. Здесь попираются основы «протестантской этики» — сексуальные табу, трезвость (рачительность, скарденность), сдержанный англосаксонский псевдоклассицизм в культуре. Психоделика 60-х последовательно и радикально отрицает основы официального англо-американского натовского, холодно-военного мировоззрения, предлагая на его место все прямо противоположное. Вместо «богатого севера» — <третий мир, вместо WASP — экзотические нравы индейцев, негров, аборигенов, вместо капитализма — община, вместо мещанской морали — оргиастический промискуи тет, вместо технической эффективности — наркотический трип, вместо Адама Смита — Маркс, Фрейд и Бакунин. Иными словами, психоделика 60-х на Западе — явление глубоко евразийское, неконформистское и революционное. Но только на Западе и только в этот период, явно заканчивающийся к концу 60-х.

Далее следует важнейшая рекуперационная синкопа. Система Запада не противится новой субверсивной струе (как вначале), но впитывает ее в себя, десемантизирует восстание, вооружается эволюционным лаксизмом против хард_кор_революции. Система выигрывает и превращает sex, drugs and rock'n'roll в свой инструмент. Атлантизм выбивает оружие у евразийской пятой колонны и присваивает его себе. Непокорные (мэнсониты, хиппи, телемиты, анархо-и этно-экстремисты и т.д. — то есть наиболее последовательные и сознательные идеологические элементы и прямые агенты влияния СССР) подвергаются репрессиям.

70-е уходят на утряску этого сепарационного процесса. Часть (большая) sex, drugs and rock'n'roll становится публицитарной индустрией, остальные гниют на помойках или отсиживают в тюрьмах немислимые либеральные сроки, дающиеся, как правило, по законам свободного мира вовсе ни за что.

В 80-е процесс завершен, прирученная психоделика окончательно становится частью атлантистской Системы. Теперь этой подделкой начинает обстреливаться Восток. Псевдо-sex, псевдо-drugs, псевдо-rock'n'roll становятся мондиалистским, эм-ти-вишным придатком Бжезинских.

Чухлый позднесоветский истэблшмент по-идиотски борется с психоделикой тогда, когда она имеет просоветский, евразийский смысл, и, напротив, идет ей навстречу, сдается, когда она меняет свое стратегическое значение на прямо противоположное. Бурый червь в мозгу великой страны, в перестройку орды его потомства выползают на телевидение.

В 90-е наркота, гомофилия, идиотский рейв окончательно ставят точку.

Революционная евразийская стратегия психоделики 60-х исчерпывает себя.

Что взамен?

Здесь надо вспомнить о евразийском характере sex, drugs and rock'n'roll, и о том, что речь шла об экспортном варианте. Резэкспорт у нас популярен, но это не панацея. Каковы автохтонные национальные аналоги евразийской психоделики для внутреннего пользования?

Вместо sex — мобилизующая утонченная аскеза, плодovitый евразийский брак, верстающий новые воинственные колонны детей Континента, торжественность архаических национальных церемоний,

экстатическое поклонение Великой Женственности — воплощенной в Родине и Народе Софии, наряду с суровым домостроевским патриархатом на грани порядкообразующего евразийского старообрядческого s/m. Номоканон гласит — коли поповская дочка согрешит, жечь ее живьем. No sex, жечь живьем. И т.д. Плюс — закаление плоти, плюс — всемирная любовь, плюс — русский пейзаж, плюс — великая цель. Плюс — великий миф об андрогине, о свершившемся браке. Русские — нация андрогинов, сильные и женственные, имперски агрессивные и жалостливые, мы убиваем, рожаем, бушуем и плачем на одном дыхании. Мы не разделяем точно «да» и «нет». Все приблизительно. Coincidentia oppositorum. В нас сбывается брак противоположностей, зачем еще sex? Тантрические посвященные, разбудившие внутреннюю женщину, ни в ком более не нуждаются. Брак совершен. Необратимо совершен. Мы — брачная нация.

Вместо drugs — воздух Евразии, экстазис континентальных верст, годовые запахи, открытые просторы: хочешь—на Север, к Белому морю, хочешь—на Восток, в сибирские леса, хочешь—на Юг, к диким кавказским горам (пока еще наше), хочешь—на Запад—там братья белорусы. Можно выпить и закусить, можно плакать и смотреть в себя, брести и созерцать, говорить до полной потери сил о духовном и читать взахлеб расписание местных поездов, можно заглянуть в свой паспорт в графу национальности, и все, что там ни увидишь, даст импульс большой гордости за принадлежность к Великой Общности. Русская судьба — сама есть высокое и кровавое безумие. Какие еще drugs...

Вместо rock'n'roll — евразийское этно, фольклор, музыка сфер, железные звуки городов, свист ветра и гудение проводов в колхозе, наступив ногой невзначай на мертвую бычью голову. Оттого, что отечественная промышленность встала, леса наши вновь наполнились множеством живности. При индустриализации и химизации живность приспособилась давать удесятеренное потомство против обычного — так как дымы, апатиты и жужжание коровников убивали детенышей и травы в беспримерных количествах. Выжить было нелегко. Теперь все остановилось, и леса наводнены жирными крольчихами, кабанами, медведями, фазанами, тетерками, глухарями, лисами, не счесть волков и ворон. Они сами себе музыка Евразии—как воют, щебечут, стрекочут, визжат, зовут, хрюкают. Тоже наши имперские граждане. Слушать надо мир, а не три исчерпавших себя электронных аккорда в сопровождении химической рожи корявых мондиалистских придурков. Каждый сам себе телевизор. Лучше показывать, чем смотреть. No rock'n'roll. Русский rock'n'roll — это молчаливые танцы впрямую мамлеевских персонажей перед национальными безднами не схватываемой Огромной Мысли.

Русский человек — тот, кто больше неба.

Наша свобода и даже наше освобождение настолько шире тесных рамок мондиалистских суррогатных увеселений, что даже сопоставлять это позорно. Еще чуть-чуть— и мы встряхнемся и расправим в пол-мира плечи. Титаны Евразии, молодые и старые, бедные и богатые, живые и мертвые.

Без наркотиков, без рок'н'ролла, торжественно тихо, без мутного похотливого тления (любить — так всех и до конца, до смерти, до всеобщей до смерти — а то что это, не любовь, а насмешка над духовным обещанным достоинством нашим) мы будем двигаться тенями, гасящими искусственное солнце по плотно сбитым дорогам, представляющимся непосвященным мутящей серотой ржавых болот.

No drugs... Без наркотиков.

А.Г.Дугин

"Вторжение", №27, 1999
Газета "Завтра", 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

РУССКИЙ МАРШРУТ

Хаос интернэшнл

Однажды я листал материалы «Ордена Иллюминатов Танатероса» («Хаос Интернэшнл», Кэрролл и т.д.), и мое внимание привлекло описание «пилигримажа хаоса». В нем излагалась техника существования хаота-иллюмината, который проводит дни в шатаниях по знакомым, выпиваниях спиртного и (если удастся) в контактах с товарищами, принадлежащими к «ордену». Все это описывалось в нарочитых «готических» тонах, было снабжено подробными инструкциями, что надо действовать как можно более спонтанно, иногда выходить не на той станции, останавливаться по дороге, чтобы выпить, и вести себя, как подобает «настоящему антиномисту» — то есть не считать деньги, не выискивать самого короткого пути, не звонить перед визитом к товарищам, а валиться как снег на голову, опаздывать на работу, кривляться и делать глупости. Это называлось «страшной инициацией». «Если это «страшная инициация», — подумал я, — то все население СССР, и даже сегодняшние россияне, кроме менеджеров, поголовно «посвященные». «Черные иллюминаты», чье становление, шокирующее воображение западного человека, было описано в руководстве по пилигримажу хаоса, на самом деле, воспроизводили простое и совершенно обыденное существование обычного советско-российского евроазиата. Вот, оказывается, кто мы. Мы — хаос интернэшнл.

Открытые и закрытые храмы (парентезис)

На Западе меня заинтересовало странное ощущение, что внутри священных мест — соборов, церквей и т.д. — возникает то же чувство, что в самых открытых и несакраль ных местах России. В московском метро или на пригородной помойке царит та же атмосфера, что под торжествен ными сводами Кельнского собора. Это очень сходные пространства. С чем же тогда сравнить пребывание на французском лугу или среди камней Пиреней? Я думаю, с могилой. А русские храмы, святыни? Возможно, с какой-то еще более тонкой и возвышенной сакральностью... Но, возможно, и нет. Беспоповская или клюевско-хлыстовская оптика предложила бы парадоксальное соотнесение святынь Европы с русской природой, а ложных псевдо-святынь России с чем-то еще. Но уж, конечно, не с французской поляной. Гроб гробу рознь. Наши гробы живее их младенцев.

Между странами могут существовать онтологические различия. Евразия живет в одном пространстве, и законы физики здесь одни, в Европе и в США — другие. Это знает история религий. Когда-то шаманы путешествовали на небо в теле. Позднее стали оставлять его на земле, поднимаясь в духе. Но в определенных местах и у определенных племен золотая нить не перерезана, и тело таких «беловодских» шаманов совершенней духа шаманов простых и унылых. Тело России духовнее духа Запада. Русское тело. Для современного европейского схоласта, будь он честен (вы встречали когда-то честного схоласта? — вообще, вы встречали когда-то честного и полноценного западного человека?), российский мусор должен был бы быть поставлен выше ватиканских реликвий. Один кюре показывал мне, что рядом с алтарем у него хранится пакетик с камешками из Берлинской стены. Сволочь.

Задача из мирового учебника

Из пункта А в пункт Б можно добраться по-разному. Рука атлантиста хватается линейку и чертит прямую, далее, полагая все (т.е. нас) ко всем чертям, методично следует начертанию. И плевать атлантисту, что прочерчено по живому, что пространство между А и Б волнится, вихрится, бушует, плачет, хохочет и страдает. Плевать ему, — нечерному и неиллюминату, — что одно и то же существо, пребывающее в А и в Б — это два разных существа, и между ними не только количественное, но и качественное различие, поскольку за плечами у одного — магическая ткань пути, а у другого — лишь ее предвкушение.

Технология связи и транспорта основана на этом атлантистском принципе — пройти как можно больше, и измениться как можно меньше. Нет ничего более закрытого, чем базовые предпосылки «открытого общества». Оно «открыто» в какую угодно сторону, только не внутрь. А то, что не движется внутрь, остается на месте. Точнее, становится декорацией для чего-то иного, что движется сквозь или посредством него.

Евгений Головин приводит в таких случаях хрестоматийный пример о «Будоевицком анабазисе Швейка». «Черный иллюминат» Швейк уверен, что в город Будоевицы можно попасть, двигаясь в любом направлении. Он совершенно прав. Есть не одни Будоевицы, но множество. Реальное пространство имеет более сложную конфигурацию, нежели иллюзорные вселенные Минковского. Рассудок не более, чем скверный анекдот. Он столь же плосок, как шутки студентов технических вузов.

Из пункта А в пункт Б вышел человек. Какой класс! Пункт А. Смазанная буфетчица на зеленом вокзале, облупленная стена дома, бывшего когда-то оранжевым, но выцветшего до невообразимого

сочетания солнца и грязи, синкопический ритмдвигающихся ломаных веток под порывами душного ветерка, баба средних лет с сумкой и зрото-летальным недоумением в глазах, идущая «по делу» (как интересно было бы узнать подробнее о ее делах...), мальчик на велосипеде с легкой восьмеркой и судьбой непреднамеренного убийцы за ухом (через пять лет он пырнет вилкой своего товарища, надвигавшись бензином) и небо, такое разное в каждой точке живого мира, небо пункта А. Из всего этого изобилия, роскоши, чрезмерности фигур и смыслов, ускользающих намеков и засасывающих страстей плоти выходит человек. В принципе, он мог бы не выходить. Он мог бы сесть здесь на лавочке на центральной площади и сидеть так до вечера, пока не стемнеет и пьяные подростки не начнут угрожающе и возбужденно (полные веснушчатого, бродящего семени) собираться по углам и конспиративно переговариваться с молодым ментом, и тогда уколы ночи заставили бы его отправиться куда-то, например, в тот же пункт Б (но совсем не обязательно) или искать укрытия в загаженной гостинице (гостиницы всего мира — в том числе и пятачездочные — имеют характерный запах, это — запах тления материального существования, напоминающего туристу о финитности его тура) или у вороватой бабки, продающей на станции порченые огурцы. Но он не стал дожидаться, а, как гласит задачка, взял и вышел. Заранее избрав иную долю, иное страдание, иное наслаждение, иной вид смерти. Ах, если бы только он остался....

Пункт Б

Теперь пункт Б. Возможно, это лишь магическая редупликация пункта А. То же самое, но на велосипеде едет девчонка, которая только что чуть не упала, засмотревшись на распахнутого алкаша в канаве, около вокзальной буфетчицы отирается зоркий добродушный армянин, и в ветерке угадываются какие-то стальные очень тонкие иголки, отсутствовавшие в пункте А, и абсолютно иное небо.

Без человека (вне человека, до человека), вышедшего из пункта А (и пока не дошедшего до цели), пункта Б не существует. Не то чтобы вообще. Нет, он есть в мерцающем замысле. Он тяжело рвется к существованию, пытаясь продавить сгущенную пелену возможного, выпростаться острым углом плоти из тумана предположительности; его завязь, зародыши его взрослых обитателей и мягкие скелеты малышей уже шевелятся, но это процесс... Это будущее. Это полурукотворный, полупредестинированный объект, который еще может отклониться, сместиться, а то и вовсе обрушиться внутрь себя, так и не став твердой лавой фиксируемого атлантистской картографией присутствия. Пункт Б. Проект Омега. Что мы знаем об этом, в конце концов? Много было предчувствий и пророчеств. Лучшие сердца человечества описывали архитектуронику этого небесного пункта Б. Но то, что отделяет нас от него (весь этот иллюминизм пути), столь насыщено отвлекающими моментами, сбивает и приближает, уводит в сторону и открывает, обнажает и насыщает чары гипноза, что не может не влиять на окончательную иерофанию пункта Б. Пункт Б. Пункт прибытия человека. *Finis gloria mundi*. Последний (не существующий) трактат Фулканелли.

Путь по обочине

Он находится в пути. И на каждом шагу окутывает его магия бифуркаций. Пейзажи меняют свои очертания так причудливо, что порой человеку кажется, будто определен ный ритм движений и траектория взгляда могут остановить шевеления знойной влажной плоти окружающего, превратить непроницаемую ткань вещества в хрустальное море. Найди поворот головы... Схвати ускользающее чувство, едва заметное на фоне потеющей работы сухожилий и мышц... Сверни в сторону — там на поляне сидит шофер и трет масляную крыльчатку... Может быть — это и есть тот самый, который едет в правильном направлении, а совсем не в этот идиотский пункт Б. Пары рассудка утверждают: не может быть — это просто шофер. Пары контррассудка — капилляры великого евроазиатского мыслителя ного органа, смущающие чары Большой Души — опровергают, точнее, сбивают с толка: а ты уверен? Хрен с ним, с шофером. По обочине идет девица. Специально не смотрит на человека. Не смотрит столь нарочито, столь исполненно скрытым значением, что теплая подушечная волна зреет в животе, под ребрами. Когда-то человеку, идущему из пункта А в пункт Б., было 13 лет. И в эти 13 лет любой женский образ — страшный, косой, полураздетый, усохший, с обтянутыми бедрами или морщинистым локтем вызывал возбуждающую и унижительную дрожь. Так бьется карась, которого суют глазами в мутную стеклянную банку. Сейчас ему в целом все равно, все прохладно и отсрочено, но 13 лет — принадлежащие иному пункту и иному пейзажу — никуда не делись. Как никуда не делось вообще ничто. Все есть, и все в нас, все в нем. Так и этот шофер и девица — раз попавшись на глаза — никуда не денутся больше. Им некуда деваться, чья-то сила выкинула их на берег внимания, и нет пасти, способной заглотить эту роскошь назад. У бытия есть предбытийная матричная причина, но у него нет послебытийного могильного местоприбытия. Нет успокоения раз изрыгнутому из небытия. К бытию примешана Большая Мысль, оживляющая Большую Душу. И девать Ее некуда. Человек сворачивает (или не сворачивает), бредет в лес, подходит к ларьку, тыкается ликом в землю, подставляя затылок небесам.

НАТО

«Слишком хорошо вы, ребята, живете, — скажет тот пронизательный натовский тип, который способен схватить содержание русского маршрута. — Для этого мы вас (вместе с такими же, как вы, балканскими путниками из пункта А в пункт Б по картам Милорада Павича или Милоча Мачванского) и будем бомбить».

Ясно, что, если так двигаться всегда и во всех ситуациях, то нас завоюют. Поэтому на русском маршруте периодически возникают тени с линейкой и угольником, а также с циркулем, чертящим не произвольные овалы (как мы и солнце), а корректные картезианские кружки. И гонят нас из пункта А в пункт Б без бифуркаций, девиц и шоферов, без армян и буфетчиц, без велосипедистов и ветерка. Строем, унылой нерусской колонной, по гадким ненавистным рельсам, которые, увы, тщетно пытаются покорезить и разъезть наши национальные почвы, расовые зубастые травы и соки Евразии...

Что делать? Что же делать?

Часть 2: Социальная идея

А.Г.Дугин

**Газета "Завтра", 1998
"Русская Вещь", Арктогея, 2001**

ЗАГОВОР ЭКОНОМИСТОВ

Преступная ошибка

Одной из самых трагических ошибок «перестройки» была неправильно сформулированная проблема выбора экономической модели. С одной стороны, это было следствием некомпетентности нашей экономической науки, не сумевшей ни защитить марксистский подход, ни объективно очертить весь спектр существующих экономических учений с тем, чтобы общество смогло сознательно и обоснованно сделать свой исторический выбор. С другой стороны, нельзя упускать из виду и откровенную диверсию, слаженную и эффективную подрывную деятельность агентов влияния Запада, приложивших все усилия, чтобы увести общественное внимание от подлинной формулировки объективно стоявшей проблемы. Как бы то ни было, невежество в сочетании с идеологической диверсией способствовало тому, что страна была поставлена перед выбором: либо социалистическая, плановая экономика (марксизм), либо рыночная модель либерализма. Либо Карл Маркс, либо Адам Смит. Третье исключалось. Этот принцип исключенного третьего оказался для России фатальным. И именно здесь следует искать корень нашей национальной и государственной катастрофы.

Для того, чтобы яснее понять смысл подмены, необходимо в самых общих чертах описать существующие семейства экономических учений.

Либерализм

Одним из самых популярных и распространенных политэкономических учений является теория либерализма. Либерализм в экономической области означает безоговорочную доминанцию принципа рынка над всеми остальными социальными категориями, «полную свободу торговли», знаменитую формулу «laissez faire». Следует заметить, что термин «либерализм» является двусмысленным. На уровне экономики он означает рынок, и «свобода», на которую намекает слово «либерализм» (от латинского «libertas» — «свобода»), прилагается только и исключительно к свободе торговли, к свободе рынка, к свободе спекуляции; теоретики либерализма принципиально отказывались говорить об иных аспектах свободы — свободы духовной, интеллектуальной и т.д. — предоставив для ее обозначения иной термин — «freedom».

Философским источником для этой политэкономической конструкции, ставящей во главу угла принцип «индивидуальной выгоды», «экономического эгоизма» и «невидимой руки», являются учения Локка, де Мандевилля и других теоретиков крайнего индивидуализма. Подобный философский индивидуализм, в свою очередь, развился на базе принципа «индивидуального спасения», который был заложен в католической схоластике, но самое полное и законченное воплощение получил в протестантской этике*. Для такого религиозно-философского подхода характерно представление об индивидууме как о совершенно самостоятельной, автономной, суверенной, атомарной единице, предоставленной только самой себе и могущей поступать, как ей заблагорассудится. Каждый человек отвечает только за самого себя. На этом основании строится как особая протестантская мораль, так и философское мировоззрение. Проекция такого протестантского подхода на уровень экономики порождает теорию рынка или либеральную модель.

Исторически процедуру адаптации философии индивидуализма к области политэкономии проделал Адам Смит, отец-основатель научной теории капиталистического хозяйствования.

И не случайно либеральная идеология получила максимальное развитие именно в протестантских странах, особенно в Англии.

Теория рынка, либерализм несет на себе неизгладимый отпечаток той исторической, географической и религиозной среды, где он развился в законченную доктрину и приобрел черты научной теории.

От Адама Смита прямая линия идет к Венской школе (Бам-Баверк, Менгер, фон Мизес), которая модернизировала и применила к современным условиям постулаты классического либерализма. Для Венской школы характерно развитие основных установок либеральной теории:

- представления об эгоизме как основном регуляторе рынка,
- механицизма моделей, основанных на сравнении общества с искусственно созданной машиной, состоящей из множества взаимозаменяемых элементов;
- изоляции экономики от исторической реальности;
- антисоциологизма;
- антирегуляционизма и т.д.

Ярким деятелем этого направления, обобщившим опыт Венской школы, был фон Хайек — ключевая фигура либеральной мысли в XX веке.

Параллельно Венской школе развивалась направление Лозанской школы Валраса и его ученика Вильфредо Парето, развивших учение о «равновесии». Хотя Парето больше известен как авангардный социолог с макиавелистскими симпатиями, не следует забывать, что «теория равновесия», которой он придерживался основана на радикально либеральных предпосылках.

И наконец, последним этапом развития этой либеральной школы, которую можно рассматривать как наиболее ортодоксальную теорию капитализма, стала неолиберальная американская школа Сент-Луиса и Чикаго. Чикагскую школу возглавлял небезызвестный Мильтон Фридман. Его учеником был Джеффри Сакс, человек во многом ответственный за проведение экономических реформ в России.

Показательно, что вся либеральная линия от Локка до наших «молодых реформаторов» основана на протестантской этике и англосаксонской модели хозяйства, отличной не только от азиатских или российских путей, но и от политэкономических традиций континентальной Европы.

Эту либеральную модель нашему обществу жестко навязали как альтернативу марксизму, причем дело было представлено таким образом, будто никакой иной альтернативы не существует.

Марксизм

Самой популярной политэкономической теорией, представляющей собой прямую антитезу либеральной доктрине, является марксизм. Маркс сознательно взял английских политэкономистов

(Смит, Рикардо) за отправную точку, и создал учение, полностью отрицающее основы либерализма, как в философском, так и в хозяйственном, этическом, мировоззренческом и т.д. аспектах. Если у либералов в центре внимания стоял «автономный индивидуум», то Маркс центральной фигурой берет общество, коллектив, класс. Общество, по Марксу, не складывается из атомов, но само учреждает эти атомы, воспитывает и формирует их конкретное самосознание, предопределяет их социальную и жизненную траекторию, устанавливает нормы хозяйствования и законы экономической деятельности.

Марксизм противоположен либерализму во всем.

- Он отрицает эгоизм как социальный регулятор;
- он настаивает на необходимости жесткого регулирования сферы производства и распределения;
- он рассматривает экономическую модель в контексте общей логики исторического развития (теория смены экономических формаций);
- он отвергает этику «свободы торговли» и «эгоизма», противопоставляя ей этику труда и справедливого распределения, этику коллектива;
- он рассматривает Капитал и его законы как воплощение мирового зла, а экономическую эксплуатацию человека человеком считает высшей несправедливостью;
- он отвергает теорию равновесия, утверждая конфликтность и неравновесность, принцип борьбы движущей силой человеческой истории, и в том числе экономической истории.

Некоторые современные французские социологи остроумно заметили, что за противоречием между либерализмом и марксизмом можно различить национальный момент. Смит и его учение представляют собой типичное творение англосаксонского духа, некое резюме хозяйственной и философской истории Англии и протестантизма. Маркс же, несмотря на еврейское происхождение и претензии на универсальность, высказывает комплекс идей, естественным образом вытекающих из немецкой традиции и отражающей, пусть в предельной и радикализованной форме, специфику «германского» духа.

Но такое замечание не является догмой, и сами либералы и марксисты, как правило, претендуют на то, что их социально-экономические учения являются абсолютно универсальными, применимыми для всех народов и наций, некими объективными рецептами, пригодными для всего человечества.

Обе экономические идеологии подчеркивают свой интернациональный характер, обе в перспективе ориентируются на отмирание государства, обе имеют явно универсалистский пафос.

История марксистской теории у нас известна лучше либеральной традиции, так что и повторять ее основные этапы нет смысла. Важно лишь подчеркнуть, что победа марксизма как идеологии именно в аграрной традиционалистской евроазиатской России, представляющей собой прямой антипод англосаксонскому миру как в религиозно-этическом, так и в хозяйственном смысле, вряд ли может быть простой исторической случайностью.

Третий путь в экономике

Помимо двух магистральных и противоположных друг другу экономических теорий существует еще одно громадное семейство, называемое совокупно «еретическим». «Еретичность» этого направления состоит лишь в отказе от тех общих постулатов, которые лежат в основе как либерализма, так и его последовательного и радикального отрицания, воплощенного в марксизме.

Можно назвать эту разновидность «экономическими теориями третьего пути».

Тот факт, что на это направление с самого начала перестройки практически никто не обращал внимания, предпочитая говорить о выборе только из двух противоположных сторон, на наш взгляд, является величайшим интеллектуальным преступлением. На самом деле, это отнюдь не маргинальное и второстепенное направление в политэкономической науке. Достаточно указать на тот факт, что такие столпы современной экономической мысли, как Кейнс или Гэлбрейт, должны быть отнесены именно к этому «третьему типу», к «ереси». Заметим, что укор в «ереси» ничуть не

умалывает эффективности предлагаемых рецептов и моделей. Речь идет лишь о конвенции, об условности, о некотором негласном договоре научного сообщества, которое считает экономической ортодоксией лишь либерализм и марксизм.

Итак, в чем заключаются основные предпосылки этой «третьей экономической теории»?

Ее основной особенностью является отказ от представления об экономике как о самостоятельной и самодостаточной сфере, в которой действуют особые законы, свойственные только ей одной. Иными словами, все разновидности «третьего пути в экономике» отличаются тем, что отказывают экономике в главенстве над остальными науками, в признании ее полноценной и законченной идеологией. И либерализм и марксизм являются не просто научными моделями, изучающими хозяйство и экономические закономерности, но и мировоззрениями, со всеми вытекающими из этого последствиями. Более того, эти мировоззрения являются «экономическими мировоззрениями», претендующими на главенство и универсализм экономической парадигмы. Это и является залогом их «ортодоксальности».

«Еретики», напротив, считают экономику важным, существенным, но отнюдь не главным аспектом социально-политической реальности, одним их факторов наряду с другими. А следовательно, они утверждают зависимый, производный характер хозяйственной жизни по сравнению с другими реальностями. В отношении того, что же является главным в социально-исторической области, мнения у сторонников «экономики третьего пути» значительно расходятся. Некоторые говорят о культурном факторе, другие о национальном, третьи о государственном, четвертые об этническом, пятые о религиозном, шестые о социологическом, седьмые о географическом, восьмые об историческом и т.д. Несмотря на разнообразие частных точек зрения на этот вопрос важнее всего одно обстоятельство: существует целый ряд экономических теорий, отводящих экономике подчиненную роль, независимо от того, какой именно фактор берется в том или ином случае в качестве определяющего.

Теории «экономики третьего пути» восходят в этико-философском аспекте преимущественно к немецкой идеалистической философии, особенно к Фихте. С точки зрения сугубо хозяйственной, на них огромное влияние оказали теоретики немецкого камерализма (фон Юсти, Зоннерфеедс и т.д.). Эта линия ведет к выдающемуся экономисту, ключевой фигуре всего этого направления, Фридриху Листу. Параллельно Листу аналогичную парадигму развивал другой титан экономической мысли Сисмонди. Лист и Сисмонди сформулировали основные положения «зависимой экономики», рассмотренной как одно из измерений социально-географической реальности.

Полноценное развитие концепций Листа и Сисмонди осуществлялось в Немецкой Исторической Школе (Вильгельм Рошер, Бруно Гильдербрандт, Карл Книс). Выдающимся теоретиком этого направления был Густав Шмоллер.

В том же направлении, параллельно экономисту Шмоллеру, формулировал социологическую теорию экономики знаменитый Макс Вебер (позже ее развил его последователь Вернер Зомбарт).

Еще одной линией того же направления, хотя и основывающейся на иной философской и мировоззренческой реальности, является теория «экономической инсуляции» американца Кейнса. Для Кейнса культурно-исторический фактор не столь важен. Он оперирует с довольно прагматическими категориями, но его вывод приводит к необходимости ограниченного регулирования экономики со стороны государства с ориентацией на промышленно-экономическую автаркию. Кейнс не рассуждает в терминах культуры или нации, его интересуют исключительно соображения экономической эффективности, но именно исходя из этих соображений, он в значительной степени сближается с позициями Листа и Сисмонди.

От Шмоллера и немецких социологов «концепция экономики третьего пути» передается выдающимся теоретикам Йозефу Шумпетеру и его ученику Франсуа Перру.

Кейнс, в свою очередь, оказывает колоссальное влияние на институционалистскую экономическую школу, развивавшую принципы Торстейна Веблена. Институционализм настаивает на отказе от экономического универсализма и на необходимости привязывать изучение экономических моделей к конкретным социальным институтам, сложившимся в том или ином обществе. К институционалистам примыкают такие известные экономисты как Митчел, Берль, Бернэм и сам Джон Кеннет Гэлбрейт.

Все эти школы в совокупности представляют собой целый спектр учений, расположенный между крайними капитализмом (либерализмом) и ортодоксальным марксизмом. Но при этом важно

подчеркнуть, что «третий путь» в экономике отнюдь не является простым компромиссом между капитализмом и марксизмом, каким-то промежуточным, средним вариантом. Он основан на совершенно инаковых и самодостаточных мировоззренческих и научных предпосылках и поэтому может рассмотрен как нечто самостоятельное и законченное.

И все же в сфере практического применения принципов «экономики третьего пути» разнозначно созданию такого типа хозяйствования, который будет иметь в себе элементы обоих ортодоксальных моделей (капитализма и социализма), только взятых в отрыве от их идеологических предпосылок, от их «экономизма».

Кейнс — немедленно, здесь и сейчас

Следует задаться вопросом: почему в момент кризиса социалистической системы в СССР в качестве альтернативы марксизму и государственному социализму, нам гипнотически и со всех сторон внушалась мысль — «если не план, то рынок». Даже самое поверхностное знакомство с экономической историей России, даже беглый взгляд, брошенный на логику развития ее хозяйственных институтов, с полнейшей очевидностью доказывают, что при отказе от ортодоксального марксизма первое, что должно было привлечь наше внимание, это разнообразные модели «экономики третьего пути». Именами Кейнса, Листа, Шумпетера, Шмоллера, Перру должны были пестрить все газеты, о них должны были неуклонно повторять телеведущие и спорить интеллектуалы. Это было бы совершенно логично и не нарушало бы ни постепенности реформ, ни их последовательно сти. Но в то же время жесткое связывание экономической ситуации с историко-географической и культурной конкретикой России заставило бы реформаторов ни на мгновение не упускать стратегических, национальных и государственных интересов, подстраивать под них основные механизмы и пути хозяйственных трансформаций.

Но все было и остается совершенно иным. Даже сегодня, когда абсурдность и нигилизм либеральных преобразований ясен всем, включая власть, в нашей стране продолжает господствовать мнение, что провал рыночных реформ есть то же самое, как возврат в прошлое, во времена господства ортодоксальной версии марксизма. Но в то же время, невозможность такого возврата столь же ясно предчувствуется всеми. И мы оказываемся в безысходной, тупиковой ситуации, когда движение вперед по заданному курсу окончательно осознается как губительное, а возврат невозможен.

Сегодня крайне распространены разнообразные теории заговора. И действительно, видя что за такой короткий срок сумели сделать с мощной великой державой реформаторы, мысль о колоссальном национальном предательстве напрашивается сама собой. Не все было в порядке до перестройки, зрели крайне негативные тенденции, динамика хозяйственного и социального развития деградировала, но вместо исправления ситуации, вместо адекватного и подлинно демократического, честного и всенародного обновления, мы пришли к диктатуре либерального нигилизма, к всевластию узкого некомпетентного и коррумпированного круга лиц, рассматривающих свое господство над страной и ее народом как циничную эксплуатацию доверчивых и недоразвитых невежд.

Не отвергая, но и не разделяя конспирологических версий происшедшей катастрофы, следует все же задаться вопросом: почему мы за все эти годы ни справа, ни слева, ни от власти, ни от оппозиции, ничего не слышали о Листе, Сисмонди, Веблене, Шумпетере, Шмоллере, Перру, «автаркии больших пространств», «экономическом национализме», «экономической инсуляции», «институционализме», «социологическом подходе к экономике» и т.д.? Почему мы не выбирали, в конце концов, между тремя знаковыми фигурами — Маркс, Смит, Кейнс? По какому праву и на каком основании урезали наш выбор, лишили нас возможности компетентного демократического соучастия в нашей собственной судьбе?

Трудно поверить, что советская экономическая школа была столь неразвитой, что эти концепции оставались не известными ученым. Следовательно, остается только один вывод: существовал и продолжает существовать некоторый «заговор экономистов», ставящий своей целью заведомо ввести в заблуждение общественность относительно объективной картины в области существующих экономических моделей. Ничем иным отсутствие в центре общественной дискуссии концепций различных представителей «третьего пути в экономике» объяснить просто невозможно.

Чтобы не вдаваться в детали и не создавать путаницы, не обязательно было подробно освещать теории Гэлбрейта, Шмоллера или Шумпетера. Но замалчивать такого гиганта как Кейнс, скрыть (другого слова не подберешь) от широкой общественности его успешную, разгромную полемику с

Хайеком, не оставившую камня на камне от неолиберальных теорий, было настоящим преступлением.

Нет никаких сомнений, что даже при отказе от ортодоксального коммунизма и от социалистического выбора, в случае полноценной информированности наше общество выбрало бы не экстремистских сторонников абсолютно чуждой нам англосаксонской либеральной модели, противоречащей всем устоям нашей экономической истории, но какую-то одну из версий «еретической теории». В этом случае даже переход к рынку был бы безболезненным, постепенным, плавным, а главное не повлек бы за собой распада великого государства, потерю территорий, разложение единой многонациональной общности, утрату геополитического лидерства в планетарном масштабе. А всего лишь надо было упомянуть о Кейнсе...

В свое время «третья модель» спасала самые разные режимы и государства — от Бисмарка и Вильгельма Второго до графа Витте, Ленина и Ратенау. США именно она обеспечила спасительную для экономики политику New Deal, позволившую справиться с катастрофическими последствиями Великой Депрессии, до которой, кстати, довели страну в 20-е годы именно радикальные либералы.

И приступить к реализации этих срочных мер должно любое правительство, каких бы идеологических предпочтений оно ни придерживалось, если оно только руководствуется интересами своего собственного народа и своей собственной страны.

А.Г.Дугин

"Независимая газета", 2000
"Основы Евразийства"
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ НОВОГО СОЦИАЛИЗМА

Ортодоксия и гетеродоксия в экономической мысли

Помимо двух магистральных и противоположных друг другу экономических теорий (т.н. «ортодоксий» — марксизм и либерализм) существует еще одно громадное семейство, называемое совокупно «еретическим». «Еретичность» этого направления состоит в отказе от тех общих постулатов, которые лежат в основании как либерализма, так и его последовательного и радикального отрицания, воплощенного в марксизме.

И либерализм, и марксизм оперируют с одним и тем же понятийным и методологическим аппаратом. Основные предпосылки экономического анализа в обоих случаях тождественны (хотя выводы делаются прямо противоположные). В частности, любая экономическая ортодоксия признает универсальность и однородность основных этапов экономической истории, приоритет хозяйственной логики перед всеми остальными факторами (национальными, культурными, религиозными, историческими, географическими и другими составляющими), определяющими сущность общества, стадию его развития, его идентичность.

Обе разновидности экономической ортодоксии — либеральная и марксистская — являются одновременно и философией, и идеологией, причем, и та и другая представляют собой варианты именно «экономизма», так как экономический фактор является в них основополагающим. Вероятно, универсализм и редуccionизм, позволяющие свести все своеобразие и многоцветие хозяйственной жизни различных человеческих обществ к единой упрощенной схеме, и стали причиной популярности этих учений, привели к тому, что они воспринимаются как магистральные направления в экономической мысли («мейнстрим»), вытеснив на периферию (в область маргинального) иные модели.

Я думаю, что именно в этом состоит различие между ортодоксией и гетеродоксией в экономике: ортодоксальным считается «экономизм», абсолютизация собственно экономического фактора в сравнении со всеми остальными. И далее, эта абсолютизация не просто провозглашается, но ложится в основу построения определенных математических формул, закрепляющих основные закономерности экономики.

Напомним, что экономическая мысль (в современном смысле этого понятия) зарождалась в эпоху Просвещения, когда образцом «научности», «точности» и «строгости» служили как раз естественнонаучные дисциплины, в которых преобладали физико-математические методы исследования и описания реальности. Будучи по определению наукой гуманитарной, экономика, тем не менее, тяготела к сближению с науками точными. А это, в свою очередь, порождало стремление уйти от рассмотрения феноменологического многообразия форм хозяйствования к упрощенным схемам с ограниченным набором критериев.

Экономическая ортодоксия состоит в «эмансипации» от внеэкономических факторов. Когда эта ортодоксия из науки превращается в философию и идеологию (а именно это произошло с либерализмом и марксизмом), «экономизм» становится мировоззренческим императивом, и абсолютизация набора определенных критериев в рамках научной дисциплины переходит в разряд социальной истины, запечатлевшей в себе окончательный приговор относительно самой природы реальности. В этом вопросе «экономика» повторяет траекторию естественных наук, которые из инструментальных гносеологических методологий (подчиненных мифологической или теологической системе — как это имело место в традиционных обществах) на заре Нового Времени превратились в совокупность суждений относительно самой природы реальности, подчинив себе философию, религию, социальный миф.

Этот момент концептуального зарождения экономической ортодоксии для нас принципиален именно потому, что сегодня она явно испытывает существенный (возможно, фатальный) кризис, и по этой причине мы стремимся выйти за ее рамки, найти иной путь, обращаемся к экономической гетеродоксии. Очень важно, что в начальный период своего становления экономическая наука была особенно озабочена отбрасыванием многочисленных факторов, препятствующих выработке непротиворечивой схематической картины. То, что отбрасывалось или не было учтено по историческим причинам, для экономической гетеродоксии представляет особый интерес.

В качестве простого примера приведу замечание последователя русских народников Чаянова, взгляды которого заново систематизировал С.Г. Кара-Мурза. Речь идет о законе неисчерпаемости и предполагаемой «бесконечности» природных ресурсов, который лежит в основе классических теорий экономической ортодоксии. Приравнивание бесконечно-малого фактора к строгому нулю — вообще является основой всех заблуждений современной научной методологии, которые драматически и с трудом изживает наука XX. На уровне экономики это очевидно: если включить в число основных вводных параметров образования стоимости природные ресурсы и саму природную среду, то вся ортодоксальная экономическая модель (и либеральная и марксистская) рухнет в своем основании, и мы получаем совершенно новую — и, в определенном смысле, «гетеродоксальную» — экономическую теорию, с системой новых выводов и методов. Можно назвать это «экологической экономикой». Мне могут возразить, что, мол, во времена А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса ресурсы действительно ничего не стоили и были «бесконечны» в сравнении с потребностью в них человечества, находившегося на предшествующей стадии технического развития, и что позже экономисты прекрасно и точно учли этот параметр. Это верно, но давайте посмотрим на это внимательнее: поправки на исчерпаемость и стоимость природных ресурсов внесены в готовые и отработанные экономические модели, основанные на молчаливом согласии относительно «бесконечности» и «бесплатности» ресурсов, причем внесены не в основания ортодоксальных экономических теорий, — что потребовало бы их тотальной переработки, ревизии, — а просто добавлены к общей схеме, обчислены исходя из ее догм. Такие поправки не меняют ничего в основании экономической ортодоксии, они лишь добавляют к ней, как дополнительные факторы, не влияющие на корректность всей схемы. По этой причине экономика ресурсов, и тем более экология, оказываются на периферии основной магистрали развития ортодоксальной экономической мысли, учитываются эпизодически по мере необходимости. Более внимательное отношение к этим факторам неминуемо привело бы к ревизии самих основ этой ортодоксии.

Итак, экономическая ортодоксия представляет собой схематический редукционизм, в основе которого лежит абсолютизация экономического фактора, «экономизм».

Совершенно логично предположить, что гетеродоксией в таком случае будет в корне иной подход. То есть гетеродоксальная экономическая мысль исходит из базовой предпосылки, что экономическая реальность не является базовой, универсальной, основополагающей для идентификации общества, а «экономизм» не есть последний критерий в определении социальной значимости тех или иных явлений. Экономическая гетеродоксия отказывается от редукционизма и от «экономизма».

И здесь возникает любопытный момент: в XIX в. появился специальный термин для обозначения такого взгляда на общество, его устройство, логику его развития, его историю и его цели, который

отказывается от «экономизма», утверждает в качестве приоритетной иную систему (или системы) критериев, гораздо более широкую, нежели «ортодоксия». Этот термин — «социализм».

Новый социализм — эвристика и традиции

Сегодня проблема нового определения социализма, экономики социалистического типа, стоит как важнейшая теоретическая и практическая задача не только перед Россией, тяжело страдающей от brutальной смены одной модели экономической ортодоксии на другую, но и для всего мира, где глобализация либеральной модели, ее абсолютная доминация порождает новейшие формы невыносимой эксплуатации ции, экономической колонизации, острейшей социальной несправедливости. Экономическая ортодоксия поставила человечество на грань экологической и социальной катастрофы, и причину этого можно распознать в том игнорировании множественных природных и культурных факторов, которое мы встречаем в самих истоках экономической мысли.

Социализм — понятый исторически, в отрыве от узко марксистской догматики, как антитеза «экономизму» — это направление научной мысли, призванное сформулировать выход из идеологического и экономического тупика, показать новые ориентиры к ответственному, справедливому и нравственному общественному устройству. Это вопрос не только адекватного проекта, но самого выживания человечества.

Важно заведомо направить теоретическую мысль, движущуюся в социалистическом направлении, в русло, свободное от догматизма, от незыблемых экономических аксиом. Сами основы экономического мышления должны быть подвергнуты ревизии, заново выявлены, разобраны и освещены. Доверие экономической ортодоксии слишком дорого стоит, чтобы сохранять его нетронутым и далее. Мы просто обязаны подвергнуть фундамент этой ортодоксии сомнению. И в этом традиция гетеродоксальной экономической теории окажет нам неоценимую услугу.

Не следует воспринимать это приглашение к свободной мысли по социалистическому вектору как некую голословную и лишнюю содержания реальность, основанную на простом отторжении существующего положения в экономической науке. Напротив, мы должны лишь продолжить и расширить традицию, которая объективно существует, и в ходе развития которой были сделаны колоссальные по значимости открытия, наблюдения, выводы. Но приходит время сделать это более решительно, чем ранее, когда основное внимание экономической мысли было приковано к драматическому соревнованию двух ортодоксальных школ — марксизма и либерализма. Сегодня, когда марксизм проиграл, самое время всерьез обратиться к немарксистским моделям социализма, и именно из этой — ранее остававшейся на периферии — матрицы скорее всего родится новая гибкая и адекватная экономическая теория, призванная предложить человечеству в XXI веке спасительную альтернативу от того жестокого, несправедливого и скрыто тоталитарного строя, которым является современный капитализм.

Поэтому для нас новым и весомым содержанием наполняются теоретические работы мыслителей, двигавшихся в этом направлении прежде или движущиеся сейчас. Из этих источников и из этих составных частей будет складываться и развиваться социалистическая мысль следующего столетия.

Это — стартовая черта новой фазы концептуального творчества.

Четырнадцать авторов

Я намеренно останавлиюсь в своем кратком изложении на иностранных авторах и их теориях. Школа гетеродоксального социализма на российской почве (особенно в ее левом и национал-большевистском вариантах) заслуживает отдельного исследования.

Генеалогия гетеродоксальных экономических теорий восходят в этико-философском аспекте преимущественно к немецкой идеалистической философии, особенно к Фихте. С точки зрения сугубо хозяйственной, огромное влияние на них оказали теоретики немецкого камерализма (фон Юсти, Зоннерфеедс и т.д.) Эта линия ведет к выдающемуся экономисту, ключевой фигуре всего этого направления — Фридриху Листу.

Фридрих Лист (1789_1846)

Проанализировав практическое применение либеральной теории на практике, Лист открыл следующий закон: «повсеместное и тотальное установление принципа свободной торговли, максимальное снижение пошлин и способствование предельной рыночной либерализации на

практике усиливает то общество, которое давно и успешно идет по рыночному пути, но при этом ослабляет, экономически и политически подрывает то общество, которое имело иную хозяйственную историю и вступает в рыночные отношения с другими более развитыми странами тогда, когда внутренний рынок находится еще в зачаточном состоянии». Исторически Лист имел в виду наблюдения за катастрофическими последствиями для слаборазвитой, полуфеодальной Германии XIX века некритического принятия либеральных норм рыночной торговли, навязываемых Англией и ее немецкими лоббистами. Лист поместил либеральную теорию в конкретный исторический и национальный контекст и пришел к важнейшему выводу: вопреки претензиям этой теории на универсальность, она, на самом деле, отнюдь не так научна и беспристрастна, как хочет казаться; рынок — это инструмент, который функционирует по принципу обогащения богатого и разорения бедного, усиления сильного и ослабления слабого. Таким образом, Лист впервые указал на необходимость сопоставления рыночной модели с конкретными историческими обстоятельствами, а следовательно, перевел всю проблематику из научной сферы в область конкретной политики. Лист предложил ставить вопрос следующим образом: мы не должны решать «рынок или не рынок», «свобода торговли или несвобода торговли». Мы должны выяснить, какими путями развить рыночные отношения в конкретной стране и конкретном государстве таким образом, чтобы при соприкосновении с более развитым в рыночном смысле миром не утратить политического могущества, хозяйственного и промышленного суверенитета, национальной независимости.

И Лист дал ответ на этот вопрос. Этим ответом явилась его знаменитая теория «автаркии больших пространств». Лист совершенно справедливо посчитал, что для успешного развития хозяйства государство и нация должны обладать максимально возможными территориями, объединенными общей экономической структурой. Только в таком случае можно добиться даже начальной степени экономической суверенности. Для этой цели Лист предложил объединить Австрию, Германию и Пруссию в единый «таможенный союз», в пределах которого будут интенсивно развиваться интеграционные процессы и рыночные отношения. При этом он настаивал на том, чтобы внутренние ограничения на свободу торговли в пределах союза были минимальны или вообще отменены. Но по отношению к более развитому и могущественному англосаксонскому миру, напротив, должна существовать гибкая и крайне продуманная система пошлин, не допускающая зависимости «союза» от внешних поставщиков и ориентированная на максимально возможное развитие промышленно-хозяйственных отраслей, необходимых для обеспечения полной автаркии. Вопрос экспорта был предельно либерализован и полностью соответствовал принципам «свободы торговли»; импорт же, напротив, подчинялся стратегическим интересам стран «таможенного союза» (Zollverein): второстепенные и не обладающие стратегическим значением товары и ресурсы допускались на внутренний рынок беспрепятственно, а пошлины на все, что могло бы привести к зависимости от внешнего поставщика и создавало бы тяжелые условия конкуренции для отечественных отраслей, напротив, искусственно и централизованно завышались.

Учение Листа получило название «экономического национализма». Именно Ф. Лист является основателем теории «государственного протекционизма». Хотя в определенных своих аспектах учение Ф. Листа носит либеральный оттенок, на практике оно применимо к экономическим системам различных типов. Самым важным в нем является историко-географическая и политическая коррекция «либерального универсализма», привязка экономической ситуации к конкретному политическому и таможенному пространству, что представляет собой шаг в сторону широко понятого социализма. Исторически идеи Листа были (с огромным успехом) применены в Германии в 1834 (создание «таможенного союза»), позже его теориями вдохновлялись граф Сергей Юльевич Витте, Вальтер Ратенау и Владимир Ленин периода НЭП.

Граф Витте написал специальную работу «Национальная экономика и Фридрих Лист»: «Мы, русские, — писал он, — в области политической экономии, конечно, шли на буксире Запада, а потому при царствовавшем в России в последние десятилетия беспочвенном космополитизме нет ничего удивительного, что у нас значение законов политической экономии и житейское их понимание приняли нелепое направление. Наши экономисты возымели мысль кроить экономическую жизнь Российской империи по рецептам космополитической экономики. Результаты этой кройки налицо». Главный вывод Витте состоял в том, что общие экономические принципы непременно должны «получить видоизменение, соответствующее различным национальным условиям».

В той степени, в какой современная Россия говорит о «поддержке национального предпринимателя» («об обучающем протекционизме»), она следует в этом за мыслью Сергея Витте и Фридриха Листа.

Жан Шарль Симонд де Сисмонди (1773_1842)

Швейцарский экономист Сисмонди разработал теорию, на основании которой позднее развились многие более современные социалистические учения. Сисмонди жестко критиковал теорию Адама Смита, доказывая, что автономная логика развития либеральной экономической модели не приведет автоматически к повышению благосостояния граждан, так как динамика роста спроса будет серьезно опаздывать за ростом предложения, порождая кризис перепроизводства. Маркс обильно цитировал Сисмонди как своего предшественника в «Нищете философии».

Самое главное теоретическое утверждение Сисмонди состоит в формуле, ставшей основным законом любой экономической модели, хотя бы отдаленно напоминающей социализм. Подходящий налог и налог на наследуемую собственность (шире другие виды налогов) должны быть основным инструментом перераспределения. Такое перераспределение может производиться как в национально-государственном, так и в общественном масштабе, способствовать решению государственно-стратегических и социальных вопросов одновременно. Развивая линию Сисмонди, можно прийти как к классическому социализму, так и к эгалитаристским теориям, к моделям экономики национального типа.

Вообще говоря, у истоков социалистической мысли забота о процветании государства, нации и общества еще не разделена, как в последующих, более догматических учениях. Это очень важная черта: изначальный социалистический импульс не дифференцирует жестко конкретных граждан и органические коллективы от политических и административных образований. В ортодоксальной экономической теории такое «неразличение» рассматривается как архаическая черта, как недостаток «прогресса». С интересующей нас точки зрения «гетеродоксии» все наоборот. Сведение воедино проблемы сбора налогов и функции перераспределения средств в обществе представляется весьма продуктивной.

Полноценное развитие концепций Листа и Сисмонди осуществлялось в Немецкой Исторической Школе (Вильгельм Рошер, Бруно Гильдербрандт, Карл Книс, Ингрэм). Выдающимся теоретиком этого направления был Густав Шмоллер, лидер «кафедральных социалистов» (Verein für Sozialpolitik), также Луиджи Брентано, Карл Бюхер, Адольф Хельд, Г.Ф. Кнапп и их последователи).

Густав Шмоллер (1838_1917)

Одновременно с марксистской концепцией получила распространение теория возникновения классов на основе разделения труда и образования профессий.

Видным представителем этого направления был Г. Шмоллер. Он видел причину классовой неоднородности общества в расовых, профессиональных и имущественных различиях между людьми. При этом, профессиональным различиям придавалось решающее значение. Шмоллер считал, что неравномерное распределение собственности и материальных благ является результатом профессиональных различий.

Противоречия между предпринимателями и наемными рабочими возникают только потому, что они принадлежат к разным профессиональным группам. По мнению Шмоллера, профессиональная принадлежность играет решающую роль в деле формирования национального характера. Появление профессий внутри народов создает при известных условиях особые разновидности в народном характере, которые путем наследственной передачи переходят из поколения в поколение. Благодаря этому образуются расхождения в условиях труда, способе жизни. С прогрессирующим разделением труда духовная и физическая приспособленность к определенному роду деятельности настолько развивается, что дети зачастую продолжают профессию отцов, выбирают жен из одного и того же круга родственных профессий. В итоге вырабатывается определенный вид воспитания, нравственности и привычек, что во всей совокупности своей способствует закреплению типических классовых черт.

Такой подход контекстуализирует экономическую теорию, заставляет ввести в логистический аппарат экономических теорий как самостоятельные параметры национальные, культурные и профессиональные признаки.

Шмоллер заложил основы социологического подхода к экономике.

Макс Вебер (1864_1920)

В том же направлении, параллельно экономисту Шмоллеру, формулировал социологическую теорию экономики знаменитый Макс Вебер.

Макс Вебер предложил рассматривать экономическую структуру общества в чисто социологической перспективе, показывая, что хозяйственный уклад есть ничто иное как проекция определенных философских, религиозных, метафизических и культурных установок, т.е. не самостоятельная реальность, обладающая автономной и внутренней логикой (как считают представители «экономической ортодоксии»), но производная от внеэкономических социальных факторов.

Такой подход заставляет отнести к анализу хозяйственного уклада как к структуре, являющейся воплощением комплекса этических и философских установок. Либеральную модель хозяйства и ее отражение и закрепление в теориях Смита и Рикардо Вебер идентифицирует как материализацию «протестантской этики», локализуя тем самым капитализм и его наиболее прогрессивные формы исторически, национально, религиозно. Само такое утверждение лишает ортодоксальные экономические теории их претензии на универсализм, заставляет строго сопрячь конкретную систему хозяйства и ее философию с культурно-историческим контекстом.

Сам Вебер не делает из своей теории радикального вывода, который, тем не менее, сам собой напрашивается: развитие капиталистических отношений несет в себе — в секуляризованном виде — идеологический комплекс, связанный с универсализацией автономизированной «протестантской этики».

Этот вывод крайне важен при разработке теоретических моделей, призванных релятивизировать или вовсе отбросить «экономическую ортодоксию», как необоснованную абсолютизацию и догматизацию в сущности локального (исторически, теологически и географически) феномена.

Вернер Зомбарт (1863_1941)

Развивая подход М.Вебера, В.Зомбарт применил его еще более широко, распознав предпосылки буржуазного строя уже в католичестве, в логике отношения индивидуального и общественного, в понимании частной собственности у Фомы Аквинского (шире, у всех схоластов).

Зомбарт выделял два социологических типа, воплощающихся в хозяйственной деятельности — тип торговца (посредника) и тип предпринимателя (созидателя, производителя, организатора). В «экономизме» и классической экономической ортодоксии Зомбарт видит абсолютизацию подхода к хозяйству именно посредника. Экономическая теория, свойственная типу «производителя», по Зомбарту, должна быть совершенно иной, более многофакторной и представлять собой вариант «национального социализма».

По Зомбарту, социально ориентированная экономика должна отражать типологические черты «героя», «деятеля», «созидателя», тогда как экономическая ортодоксия имеет в своей основе типологию «торговца». Марксизм и ортодоксальный социализм Вебер критикует за то, что они соглашаются с основными теоретическими предпосылками классической политэкономии (которую Ф. Лист, кстати, называл «классической космополитэкономией»), а не показывают их произвольность и культурно-религиозную взаимосвязь со специфическим типом цивилизации.

Жозеф Прудон (1809_1865)

Вне рамок марксистской ортодоксии остался выдающийся французский мыслитель Жозеф Прудон, оказавший огромное влияние на всю линию гетеродоксальной социалистической традиции. Традиция французского социализма считает Прудона классиком и отцом-основателем. Чаще всего его взгляды квалифицируются как анархизм.

Подход Прудона основан на двух постулатах: тотальное отвержение либеральной модели, традиции Смита-Рикардо (на основании разоблачения фундаментальной несправедливости, которая, согласно Прудону, лежит в основе капиталистического подхода и частной собственности — его знаменитое «Propriete? C'est le vol») и жестокая критика государственного социализма, любого участия Государства в перераспределении. С точки зрения Прудона, социализм и справедливые перераспределение добавочного продукта могут иметь реальное значение только тогда, когда они осуществляются в рамках небольшой конкретной трудовой общины, где процесс распределения сопряжен с реальным соучастием всех членов в выборе и определении пропорций такого распределения. Прудон всячески стремился избежать угрозы отчуждения, которая, по его убеждению, неминуемо возникает всякий раз, когда в дело распределения вступает расчетный бюрократический механизм, выходящий за рамки конкретной общины.

Прудон видел будущее социальное устройство состоящим из значительного числа трудовых общин (ячеек), федерированных на демократическом основании. Каждая из ячеек должна быть самоуправляема и обмениваться с другими ячейками произведенной продукцией на солидарной, безденежной основе. В начале же процесса построения солидарного общества должен быть создан «Народный банк», спонсирующий деятельность рабочих коопераций. Согласно Прудону, это будет банк «социальной экономики» как основной инструмент федерирования трудовых общин в национальное целое.

Теория Прудона получила название «общинного социализма» («le socialisme communautaire»).

Эта теория тем более привлекательна и актуальна, что содержащаяся в ней критика «государственного социализма» и отчуждения при редистрибуции с применением административного управленческого аппарата блестяще подтвердилась в трагическом факте деградации и исчезновения советской системы, представлявшей собой образец реализации проекта «догматического социализма».

Теории Прудона весьма соответствуют общинной организации хозяйства традиционных обществ.

Сильвио Гезелль (1862_1930)

Другим крупнейшим теоретиком атипичного социализма является немецкий мыслитель и экономист Сильвио Гезелль.

Теория Гезелля основана на концептуализации следующего наблюдения за конкретной особенностью устройства современного капиталистического общества. — Любые конкретные материальные объекты, находящиеся в частной собственности, являются постоянным источником дополнительных трат и объектом приложения трудовых усилий. Собственность нуждается в уходе, подлежит амортизации, стареет, изнашивается, требует для поддержания своего существования труда и финансовых вложений. По контрасту с этим деньги и их существование следуют обратной логике. Это единственная хозяйственная реальность, которая не требует для своего поддержания затрат, и наоборот, будучи пущенной в оборот, самим фактом своего существования приносит прибыль (банковский процент). Начальная стоимость капитала, воплощенная в товаре, требует дополнительного производственного процесса для того, чтобы сохраниться. С деньгами наоборот: денежный капитал — в нормальном случае — не обесценивается сам по себе, а прирастает.

Отсюда Гезелль делает вывод о постоянно возрастающей диспропорции между финансовым капиталом и реальным капиталом, воплощенным в вещах («товарным покрытием»), и предсказывает возникновение чисто спекулятивной «финансовой экономики», «финансизма», которые полностью подчинят абстрактной биржевой фондовой игре сектор реального производства, что будет способствовать усилению социального неравенства, появлению отраслевых диспропорций и деградации хозяйственной системы. Иными словами, Гезелль делает вывод о «пирамидальной природе денег». Кстати, это предсказание полностью сбылось в системе новейшей экономики.

Чтобы остановить этот негативный процесс, Гезелль предлагает поставить финансовый капитал в равное положение с «капиталом физическим». Это предполагает введение «свободных денег» (Freigeld). Такие «свободные деньги» по истечении определенного срока должны терять часть своей стоимости, поэтому держатель денег будет вынужден стараться как можно скорее от них избавиться, вкладывая их в реальное производство, тем самым стимулируя и интенсифицируя его.

В 1932 в Австрии в местечке Wo#rgl эта система была с потрясающим успехом протестирована на местном уровне. Повторный эксперимент длился два года в Швейцарии в Линьер-ан-Берри (1956_1958) и также дал позитивный результат, взлет промышленного производства и т.д. Обе попытки были искусственно пресечены вмешательством федеральных властей, увидевших в таком подходе угрозу всей финансовой системе, основанной на «ортодоксальной» логике.

Ценность теории Сильвио Гезелля особенно наглядна для тех, кто воочию столкнулся с пирамидальными финансовыми структурами, с разрушительными последствиями финансовой экономики и портфельных инвестиций. Общий принцип Гезелля: деньги, которые не вкладываются в реальные товары и предметы — в реальный сектор экономики, не просто не способствуют развитию этой экономики, но ее разрушают, является совершенно корректным законом, в справедливости которого каждый может убедиться.

Дж. Кейнс (1883_1946)

Крупнейший экономист века Дж. М. Кейнс с огромным интересом отнесся к концепции С. Гезелля. Знаменитое кейнсианское утверждение о позитивной функции инфляционного процесса для развития реального сектора производства является смягченной версией «свободных денег» Гезелля.

Постепенная и незначительная инфляция валюты стимулирует вкладывание денег в товары и способствует развитию реального сектора экономики.

Другой важнейшей линией теории Кейнса является теория «экономической инсуляции». Для Кейнса культурно-исторический фактор не столь важен. Он оперирует с довольно прагматическими категориями, но его вывод приводит к необходимости ограниченного регулирования экономики со стороны государства и ориентации на промышленно-экономическую автаркию. Кейнс не рассуждает в терминах «культуры» или «нации», его интересуют исключительно соображения экономической эффективности, но именно исходя из этих соображений, он в значительной степени сближается с позициями Листа и Сисмонди.

Концепция Кейнса может быть квалифицирована как либерал-капиталистическая. Но при этом она фокусируется на описании тех явлений, которые выходят за рамки классической либеральной школы, признает важность «таможенного союза», протекционизма, относительного «дирижизма». Можно сказать, что теория Кейнса — это наиболее серьезная и обоснованная попытка уйти от логики экономической ортодоксии, не порывая с ней окончательно. В каком-то смысле Кейнс (как, впрочем, и Гэлбрэйт, но с другой стороны) представляет собой промежуточный вариант между экономической ортодоксией и экономической гетеродоксией.

Показательно, что в контексте современного победившего либерализма (причем в его экстремальной чикагской версии) теории Кейнса воспринимаются как «коммунизм».

Йозеф Шумпетер (1883_1950)

Крайне интересны взгляды Й. Шумпетера на обреченность либерал-капиталистической модели. Й. Шумпетер был убежден, что развитие капитализма постепенно приводит к отказу от «духа предпринимательства», лежащего в основе буржуазной системы. Происходит «механизация» предпринимательства, от принципа личной конкуренции осуществляется переход к соревнованию элит и усилению вмешательства государственного сектора в экономику.

Шумпетер предрекает перерождение капиталистической системы в гос-социализм. Обнаруживает в современной ему картине экономического развития западных стран многие «нелиберальные» черты.

Можно сказать, что теоретическое наследие Шумпетера позволяет наметить и осмыслить те эволюционные пути, следуя которым либеральное общество может мутировать в сторону социалистического или социал-демократического.

Очень содержательна критика Шумпетером классической политэкономической теории, его полемика с Кейнсом, его акцент на социологическом измерении хозяйственных процессов.

Шумпетер ввел в экономическую науку разграничение между понятиями «экономический рост» и «экономическое развитие». Разница такова:

«Поставьте в ряд столько почтовых карет, сколько пожелаете — железной дороги у Вас при этом не получится». (Й. Шумпетер)

Экономический рост — это увеличение производства и потребления одних и тех же товаров и услуг (в частности, почтовых карет) со временем.

Экономическое развитие — это прежде всего появление чего-то нового, неизвестного ранее (например, железных дорог), или, иначе говоря, инновация.

Инновация включает пять случаев:

— Создание нового товара, с которым потребители еще не знакомы, или нового качества товара.

— Создание нового метода производства, еще не испытанного в данной отрасли промышленности, который совершенно не обязательно основан на новом научном открытии и может состоять в новой форме коммерческого обращения товара.

— Открытие нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль промышленности в данной стране еще не торговала, независимо от того, существовал ли этот рынок ранее.

— Открытие нового источника факторов производства, опять-таки независимо от того, существовал ли этот источник ранее или его пришлось создать заново.

— Создание новой организации отрасли, например, достижение монополии или ликвидация монопольной позиции.

В обществе, переживающем экономический рост, товары и деньги движутся навстречу друг другу по давно установившимся путям. Шумпетер называл такое движение «циркулярным потоком экономической жизни». Экономическое развитие нарушает ход циркулярного потока, вызывает к жизни новые отрасли промышленности и прекращает существование устаревших. Например, изобретение автомобиля привело не только к созданию автомобильной промышленности, но и очень значительным изменениям в производстве стали, резины и стекла. В то же время автомобиль «похоронил» конные заводы и шорные фабрики — разведение лошадей и изготовление упряжи для них из промышленности превратилось в полукустарное ремесло.

Однако экономическое развитие не может происходить непрерывно просто потому, что новые идеи появляются не каждый день. Инновация, а с ней и экономическое развитие, носит прерывистый характер. Именно прерывистым характером инновации Шумпетер объяснял экономический цикл.

Для нового социализма концепция «экономического развития» (противопоставленная «экономическому росту») имеет большое значение, поскольку приносит качественное измерение в экономическую модель и показывает значение инновационного потенциала, способного в определенных случаях компенсировать отсутствие значительного «экономического роста» или даже «экономическую деградацию».

Франсуа Перру

Последователь Шумпетера француз Франсуа Перру продолжил линию на контекстуализацию экономики, выдвинув теорию «очагов роста».

С его точки зрения, развитие каждой конкретной хозяйственной и промышленной системы тесно сопряжено с некоторыми локальными точками, «полюсами», которые за счет своего особого положения, специфической инфраструктуры, социального и культурного профиля становятся очагами развития всей хозяйственной системы.

«Полюса роста» по определению — это агломерации предприятий, сконцентрированных в определенных местах, где экономический рост, предпринимательская активность, инновационный процесс отличаются наибольшей интенсивностью, оказывая влияние на другие территории, которые не входят в «полюса». Это и есть «поляризованное» развитие.

Концепция «поляризованного» развития была подхвачена многими бурно развивающимися странами (в частности, Тихоокеанского региона), так как давала возможность дифференцированно организовывать хозяйственное пространство, делая упор на отдельные компактные зоны, в то время как остальные — слабо развитые — территории, получали поддержку и экономические ресурсы развития от «полюсов».

Серж Кристоф Кольм

Этот автор критикует экономическую ортодоксию, показывая теоретическую недостаточность анализа основных хозяйственных процессов как в либерализме, так и марксизме. С его точки зрения, в обоих случаях фактическое положение дел в экономическом развитии определенных обществ в определенную эпоху неадекватно берется за основание для глобальных обобщений. Кольм утверждает, что следует относиться к человеку как к меняющейся социо-экономической инстанции, способной к качественному, а не только количественному развитию.

Кольм настаивает на превалировании социальных услуг как «этической парадигмы экономики».

Большое значение Кольм уделяет «экономике дара», развитой в традиционных обществах (тема разобрана у французских философов-структуралистов М. Мосса, Ж. Батайя, М. Фуко, Ж. Делеза, Г. Дебора), подчеркивает необходимость учета экологических факторов.

Николаас Жоржеску-Реген (1906_1994)

Ученый румынского происхождения Жоржеску-Реген — ученик Йозефа Шумпетера. Он развил теорию «биоэкономики», основанную на принципе учета ограниченности ресурсов и экологических последствий индустриального развития. Жоржеску-Реген утверждает, что в области минеральных ресурсов (которые в отличие от растительных и животных не восстанавливаются) действует физический закон энтропии.

Разделяя вслед за Шумпетером «экономическое развитие» и «экономический рост», он идет еще дальше и противопоставляет эти понятия, рассматривая «экономический рост» как отрицательную в конечном итоге характеристику, приводящую экосистему к необратимой деградации.

Жоржеску-Реген настаивает на необходимости «экономического спада» для того, чтобы экосистема земли могла выжить и развиваться гармонично.

Жоржеску-Реген предупреждает: «мечта о бесконечном экономическом росте рано или поздно обернется кошмаром».

Мишель Альетта

Современный социолог и специалист в теории систем Мишель Альетта с группой последователей разработал «теорию регуляции» или «регуляционизм». С точки зрения этой теории, общество и особенно его экономический сектор следует изучать на основании той модели регулирования, которая ему присуща.

«Регуляционисты» показывают, что капиталистическое общество на разных этапах своего развития применяет различные модели хозяйственной регуляции — конкурентная регуляция, монополистическая, регуляция с помощью экстенсивной, интенсивной или прогрессивной аккумуляции.

С 30-х годов западное общество, по мнению М. Альетта, приоритетно опиралось на «фордистскую» модель регуляции, которая исчерпала свою применимость к настоящему времени. Альетта жестко критикует либералов за несостоятельную идею возврата к конкурентной регуляции, которая не соответствует новым параметрам развития общества.

В теории «регуляционизма» особенно интересны критика современного либерализма (вывод о регрессивной роли для экономики классических либеральных рецептов) и развитые концепции альтернативных экономических систем, ставящих акцент на новых моделях перераспределения доходов, гибкой формы управляемой адаптации производственного процесса к новым открытиям в биотехнологиях, информатике, коммуникационных средствах.

Клиффорд Дуглас

Клиффорд Дуглас — автор экономической теории «социального кредита». С точки зрения Дугласа, большинство экономических проблем сводится переходу от концепции кредита как дела частных банков к кредиту, как равномерно распределенному по всем членам общества социальному достоянию.

Дуглас (в книге «Монополия кредита») предлагает следующие конкретные шаги:

Необходимо создать добавочную покупательную способность в форме беспроцентного кредита, что уравновесит платежные средства с объемом предложения. Для этой цели Центробанк должен быть наделен правом денежной эмиссии.

Эта дополнительная покупательная способность должна проистекать не из дополнительных затрат, но из новых кредитов, связанных с новым производством; этот кредит аннулируется после потребления и обесценивания продукции.

Социальный кредит должен быть распределен, с одной стороны, в форме дивидендов в каждой семье, считая по количеству людей, независимо от трудовых доходов, уровня расходов и размера собственности, а с другой—в форме компенсаций, предоставляемых предприятиям, которые соглашаются снизить отпускные цены. В такой ситуации покупательная способность постепенно будет все меньше и меньше зависеть от заработной платы, а развитие производства постепенно приведет к тому, что дивиденды серьезно эту заработную плату потеснят.

Легко понять, что концепция «социального кредита» является смелой теорией откровенно социалистического типа. Показательно, что эта теория нашла много сторонников в Канаде, причем из числа политиков и экономистов консервативного направления. Здесь мы видим ту конвергенцию «левого» и «правого», о которой говорилось выше.

Все эти авторы и школы в совокупности представляют собой целый спектр учений, расположенный между крайним либерализмом и ортодоксальным марксизмом. Но при этом важно подчеркнуть, что они отнюдь не являются простым компромиссом между либерализмом и марксизмом, неким промежуточным, средним вариантом. Весь этот теоретический комплекс основан на совершенно инаковых и самодостаточных мировоззренческих и научных предпосылках, и поэтому может быть рассмотрен потенциально как нечто самостоятельное и законченное.

И все же применение подобных принципов на практике равнозначно созданию такого типа хозяйствования, который будет иметь в себе элементы обеих ортодоксальных моделей (капитализма и социализма), только взятых в отрыве от их идеологических предпосылок, от их «экономизма».

Основные теоретические принципы неортодоксального социализма

Легко сформулировать теперь обобщающие положения, которые укажут направление для разработки теории нового социализма.

Контекстуализация

Экономическое устройство общества должно естественно вытекать из его исторической, культурной, этнической, географической, религиозной и государственной специфики, корениться в конкретике его традиционных институтов. Общая оценка уровня хозяйственного развития общества должна включать в себя качественные (не связанные с логикой обмена и торговли) параметры — синтетический индекс, учитывающий культурные, психологические, гигиенические и образовательные факторы.

Культуроцентрический плюрализм хозяйственных форм

Между принципом экономической свободы отдельных субъектов (обеспечивающим хозяйственную динамику) и рычагами социального регулирования должен быть найден баланс, природа и объем которого устанавливаются не произвольно, но исходя из исторической и географической конкретики.

Синтез конфликтологического и балансного подходов

Между принципом «борьбы»(марксизм) и принципом «равновесия» (либерализм) должно быть найдено промежуточное решение: например, равновесие на общесоциальном (государственном, национальном) уровне и динамичная конфликтность на уровне классов, профсоюзов или отдельных социальных секторов.

Социологизм, гуманизм и квалитатизм экономической системы

Экономическая модель должна быть рассмотрена как функция от социологической модели, что предполагает акцент на факторе «экономического развития» (по Й. Шумпетеру), «качественного измерения», «этической ориентации хозяйства». На практике необходимо предоставить для индивидуумов и коллективов, не желающих интегрироваться в экономическую систему, основанную

на конкурентном принципе, возможность обратиться к альтернативным структурам внеденежного обмена, к социальным организациям, основанным на взаимопомощи, кооперации, ассоциации, общинности и т.д.

Мезоэкономизм, коллективная конкретизация

Постоянный акцент, падающий не на микроэкономический уровень (как в либерализме), и не на макроэкономический уровень (как в госсocialизме), а на мезоэкономический срез, что подразумевает поощрение плюральных экономико-социальных институтов, выходящих за уровень частного сектора, но и не подлежащих прямому государственному регулированию.

Автоцентричность, широко понятый регионализм

Широко понятая регионализация экономики, поощрение и приоритетное развитие структур, связанных принципом территориальной близости (от локального до континентального масштабов), стремление к сельскохозяйственной автаркии, протекционизм производственного сектора в целях повышения уровня его развития в контексте мировой конъюнктуры, учреждение публичных фондов для создания привлекательных полюсов фундаментальных исследований и высоких технологий.

Экологизм, амбиентализм

Экономические модели должны включать в качестве основных вводных параметров не только количественные факторы (как в классических теориях), но и качественные — такие, как стоимость ограниченных планетарных ресурсов, стоимость экологических последствий промышленного производства, вред, наносимый вследствие хозяйственной деятельности окружающей среде.

Интеграционизм, таможенный союз континентального масштаба

Императив «автаркичности больших пространств» (термин Ф.Листа), тяготение к объединению плюральных мезоэкономических систем в общий пространственный блок с единой таможенной структурой и общей валютой.

Дифференциализм

«Социализм разных скоростей», гибкая шкала соотношений между частным и общественным уровнем в рамках одного и того же государственного образования в зависимости от особенностей его секторов.

Таковы самые общие черты экономической модели, которую можно отнести к новому социализму. Если основным законом либерализма и капитализма — закон рынка, а главный принцип догматического социализма — план, то главным законом альтернативной теории нового социализма будет принцип «зависимости экономики от общества» или «закон социологичности экономики».

А.Г.Дугин

"Философия хозяйства", 2000
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

КАПИТАЛИЗМ: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ

(В марксистской и традиционалистской перспективах)

Богатство реальности и нищета рефлексии

Мы переживаем интереснейший момент в истории развития цивилизаций. Множество тенденций сегодня обнаруживают свое историческое разрешение. Поверяются историей прозрения и предсказания лучших умов человечества. Сегодня можно окончательно вынести суждение: кто был прав, кто ошибался, кто оказался провидцем, кто галлюцинировал.

Сегодня, как никогда ранее, является актуальным вопрос о философском содержании «капитализма», об онтологии Капитала, о содержательной и эсхатологической сторонах его развития, о его соотношении с остальными фундаментальными реалиями человеческого бытия.

Если оглянуться вокруг, мы замечаем, однако, парадоксальную картину: чем богаче содержательная сторона исторического момента, тем беднее социальная рефлексия, тем бледнее диагнозы и банальнее осмысление, пассивнее выводы и невразумительней решения.

Сегодня капитализм одержал судьбоносную победу. Возможно, кризис социальной мысли — это одно из последствий такой победы. Отныне капитал мыслит за нас, вместо нас, отводя человеческому сознанию роль пассивного инструментального обсчета одномерных моделей «econometrics». Капитал завершает общий путь дезонтологизации мысли, вскрытой как основной процесс современного Запада гениальным Хайдеггером.

Онтология Капитала

Вопрос о том, что такое Капитал, сегодня может быть поставлен успешнее, чем раньше. Ясно одно, что мы должны поставить вопрос самым серьезным образом — если Капитал побеждает в истории, значит это очень серьезно.

Говорили ли Маркс и Ленин об онтологии Капитала? Нет. Они были диалектиками. Но среди марксистов этот вопрос косвенно поднимался — в первую очередь, Дьердем Лукачем («Онтология общественного бытия»).

Осмысление темы «Капитализм: индивидуальное и общественное» требует от нас сделать некоторый экскурс в проблему онтологии капитала.

Явно у Капитала есть какое-то глубинное измерение, ведь тень капитализма меняет параметры цивилизационного бытия, а не просто систему хозяйствования. Впрочем, система хозяйствования никогда не существовала в отрыве от более глобального культурного контекста, являясь продолжением общего комплекса.

Капитал творит с человеком метаморфозы. Какого рода? Чтобы понять это, имеет смысл обратиться к автору, который никогда не занимался экономическими проблемами, но которого, тем не менее, стало в последнее время общим местом сравнивать с Марксом. Я имею в виду французского философа Рене Генона.

Откуда напрашивается эта аналогия (впервые сформулированная французским традиционалистом Рене Алле)? Из изучения книги Генона «Царство количества и знаки времени». В ней Генон указывает на «материализацию» мира, на его переход к уровню количественного существования в терминах, аналогичных марксистскому анализу Капитала и его исторической роли. Особенно интересны прозрения Маркса относительно «реальной доминанции Капитала».

По Генону, «материя», а точнее, *materia signata quantitate*, есть принцип «индивидуации». Иными словами, чистый архетип, окунаясь в материю, приобретает индивидуальные черты, которые в последнем счете есть погрешность, свойственная несовершенному отражению совершенного оригинала. Материя таким образом представляет собой инстанцию «приваации», лишения, источник отчуждения.

Для Генона, это самый внешний уровень бытия. По мере движения к центру онтологии, материальное снимается, истончается, но вместе с ним истончается и пропадает индивидуальное.

Историческое видение Генона заключается в постулировании направления движения мира от идеального онтологического полюса к полюсу материальному и не-онтологическому.

Этот второй материальный полюс, сопряженный с индивидуацией, отчуждением и максимализацией погрешностей, лежащей в основе индивидуации как таковой, удивительно напоминает описанную Марксом «реальную доминанцию капитала».

Если принять идеовариативность геноновского материального полюса и марксистской «реальной доминанции капитала», — оба сопряжены с принципом индивидуализации, — то можно осознать максимализацию капиталистического строя (преодолевающего все препятствия) с его системой ценностей (основанных как раз на абсолютизации и экзальтации индивидуального начала) как глубоко эсхатологический феномен, сопряженный с Концом Истории. И здесь Генон и Фукуяма идеально сочетаются друг с другом (хотя с обратным знаком).

Капитал как экзальтация разделения

Индивидуальное, по Генону, проистекает из самой сущности материи. Индивидуализм является философским основанием современного либерализма, восходящего к конструкциям Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Локка и заканчивающегося К. Поппером, Ф. Хайеком, новыми философами. Капитал разделяет и отчуждает, дробит, абсолютизирует индивидуальное, экзальтирует погрешность.

Капитал никогда не объединяет, не является предметом солидарности. Он только разъединяет. И все, кто служит ему, отдаляются друг от друга.

Магокреативные потенции Капитала

Капитал подобен и материи прима (в индуизме — «пракрити») еще и тем, что он способен порождать собственный мир. Но мир, рожденный пракрити, есть майя, двусмысленная силовая иерофания. Мир, порождаемый Капиталом, есть Спектакль, Зрелище. Подобно тому, как пронизательное онтологическое зрение индуистских или буддистских традиционалистов распознает подвох в стихии материального мира — в мире майи, в колесе самсары, так пронзительный взгляд марксистских критиков Капитализма — таких, как Жорж Батай или Ги Дебор — распознает фиктивную природу «общества зрелищ».

Капитал порождает «общество спектакля» так же, как пракрити порождает миры майи.

В чем иллюзорность для традиционалиста миров майи? В том, что часть выдает себя за целое, фрагмент за нечто законченное. В Традиции индивидуум, человеческое эго рассматривается как иллюзия, как корень заблуждения, невежества об истинной природе реальности, как сокрытие высшего архетипического «я», которое свободно от искажающего воздействия индивидуализирующей материи.

В чем иллюзорность «общества Спектакля», порожденного Капиталом, для марксистов? В том, что Капитал фальсифицирует «общественное бытие», соучастие индивидуума в чем-то большем, чем он сам, подменяя соучастие и сопереживание — экранной имитацией, множественным ансамблем симулякров.

Из такого сопоставления следует важный вывод: там, где у традиционалистов (Генона и т.д.) находится мир высших трансцендентных принципов, у марксистов и коммунистов — онтология общественного бытия.

В определенной эсхатологической точке по мере сближения реальности Капитала с традиционалистской концепцией финальной солидификации мира, с его окончательным подпаданием под бремя космической иллюзии материальной множественности, происходит сближение альтернатив, выдвигаемых как традиционалистами, так и марксистами. Общественное (коммунистов) и принципиальное, духовное (традиционалистов) сливаются через противопоставление абсолютизирующемуся индивидуальному, выраженному в «реальной доминанции капитала».

Показательна предложенная марксистом Делезом формула о переходе новой фазы капитализма от традиционного марксовского символа «крота» к символу «змеи». Но именно царством змея-антихриста считают традиционалисты нынешние апокалиптические времена.

Общественное в буржуазной системе — следствие примеси гетерогенного элемента

Могут возразить, что капиталистические и буржуазные модели способны к социальной мобилизации, к революции, к созданию классовых систем и проектов, имеющих трансиндивидуальное измерение.

Это видимость. Во всех аналогичных случаях речь идет о примеси к собственно буржуазным прокапиталистическим инициативам каких-то гетерогенных некапиталистических элементов, связанных с той или иной формой самостоятельной «онтологии общественного бытия».

Упомянем только два примера: национальный характер буржуазных революций и этнорелигиозный исток наиболее эффективных капиталистических систем.

За революционную мобилизацию буржуа против феодальных порядков ответственны более национальные мотивы. Вспомним Французскую революцию — патриотический, национальный компонент там являлся мобилизующей энергией, в сочетании, кстати, с якобинскими элементами явного социализма. Таким образом, движущую силу капиталистическим трансформациям придает импульс внекапиталистического происхождения.

Религиозный характер капитализма подробно рассмотрен у Макса Вебера. Капиталистическая система является орудием протестантского меньшинства, направленным против католического большинства. Но религиозный фактор не принадлежит к сфере капитала, он консолидирует людей на основе общественной онтологии.

Еще отчетливее видна общинная природа раннего капитализма на примере русских старообрядцев. Старообрядческий капитал был сущностно коллективным и общинным, но часто записанным на одно лицо во избежание поборов, направленных против староверов. Более того, сами старообрядцы явно осознавали онтологически негативный характер капиталистических отношений. Они практиковали их, в некотором смысле, против никонианско-романовского отчужденного мира апостасии, как защитную реакцию на десакрализацию этого мира. Десакрализация романовской Руси заключалась, по мнению старообрядцев, в разрыве общинных связей, и поэтому вне самой старообрядческой общины (тщательно сохраняющей нормативы Святой дониконовской Руси в самой себе) отчужденно-капиталистический подход был морально и эсхатологически (прагматически) оправдан, хотя сам в себе и порочен.

К этому же типу относится феномен еврейского фактора в капитализме. Еврейская община, пребывающая в четвертом изгнании в «трефном», десакрализованном, язычески-демоническом (по учению раввинов) мире, применяет в отношении его хозяйственные капиталистические методики, порицаемые, а то и вовсе воспрещаемые в рамках самой иудейской общины. Но пресловутая «круговая порука» еврейских банкирских домов, активно способствовавшая собственно капитализму в его наиболее продвинутой стадии, проистекает из этно-религиозной солидарности, из онтологии еврейского национально-религиозного «общественного бытия», а отнюдь не из-за наличия каких-то неизвестных нам имманентных законов капитала.

Очень сходным образом функционируют и иные успешные в экономике этнорелигиозные кланы — например, армянский или греческий.

Капитал как последний общественный субъект

По мере глобализации либерализма, торжества рыночной парадигмы и детронизации Капиталом исторических альтернатив в планетарном масштабе (что происходит сегодня) все формы общественной онтологии — от религиозной до социалистической, от национальной до культурной — выхолащиваются. В этом заключается осознанная и декларированная цель либералов. Либерализм как наиболее последовательная и логическая форма реальной доминанции Капитала есть тоталитарное требование отказа от всех форм внеиндивидуальной онтологии, осознаваемой самим Капиталом, в свою очередь, как «корень тоталитаризма». В общей схеме получается, что Капитал на высшей (мондиалистской) стадии своего развития стремится окончательно лишить последних следов бытия любые межиндивидуальные или надиндивидуальные реальности, подменив их экранными симуляциями планетарного Спектакля, общества интегрированного зрелища, гениально предсказанного Ги Дебором накануне краха советской системы.

Но полный отказ от межиндивидуальных и сверхиндивидуальных реальностей в качестве референтных структур порождает колоссальный вакуум. Этот вакуум, отсутствие интегрирующего внеиндивидуального субъекта развернуто и драматически иллюстрирует культура пост-модерна.

Здесь на самом деле скрыт определенный подвох.

Можно сказать, что некогда индивидуационная стихия капитала_материи_маи была подчинена духовно-коллективно-трудоному-принципу. Если поставить на место «пещерного коммунизма» Маркса «золотой век» Генона, мы как раз получим сходную картину.

В ходе исторического развития капитал_материя стремятся к своему освобождению из-под гнета коллективно-духовного. В какой-то момент капитал становится на один уровень со своей альтернативой. Это XX век, где разыгрывается драматическая битва между национальным и советским социализмом и либеральным Западом. В лице красных и коричневых «общественное бытие» дает последний бой «либерализму». И в этом бою проигрывает.

Этот макроидеологический процесс отражается и в матрице соотношения человека с капиталом. Изначально капитала как такого нет. Показательно, что в структуре индо-европейских обществ, исследуемых Жоржем Дюмезилем, отсутствует каста торговцев. Этот тип появляется позже и, по мнению Дюмезиля, «вместе с вкраплением иных, неиндоевропейских, расовых и культурных элементов» (первые признаки десакрализации). Деньги, материя, аналог капитала ниже человека.

На заре исторического капитализма капитал становится вровень с человеком. Один класс — буржуазный — солидарен с капиталом (но это еще свободный выбор экзистенциальной ориентации). Другой класс — пролетариат + аристократы-романтики + сектанты-общинники — противостоит капиталу.

Сегодня после краха социалистической битвы Капитал становится выше человека. Уже никто и ни при каких обстоятельствах не способен делать свободный выбор — все подпадает под капитал как принцип индивидуации, и изгнав из реальности все иные формы надиндивидуальной интеграции, именно капитал становится на их место, выступая в финальной своей роли единственного оставшегося субъекта мировой истории. Понятно, что при таких обстоятельствах история — как мы ее понимали — действительно заканчивается. «Economics» не математическая шутка Самуэлсона. Это одно из имен «князя мира сего». Интересно, каково цифровое значение этого термина.

В нашем мире нет буржуазии в ее традиционном понимании. Как нет и пролетариата. Пролетариат — такое же ностальгическое воспоминание, как и тамплиеры, фараоны или скифская конница. Мир постмодерна имеет единственного субъекта — мировой Капитал, который тотализирует своей отчуждающей магией количественную массу индивидуум-погрешностей, клонированных скорлуп без корней, идентификационных культурных, расовых, религиозных, классовых признаков. Скоро, впрочем, и без половых. Постмодернистический стиль «юнисекс». При этом менеджеры и брокеры не владеют в привычном смысле ни деньгами, ни богатством. Они обслуживают движения мировой туши капитала так же покорно, как последний тайваньский рабочий.

На последней стадии своей доминации Капитал окончательно выхолащивает «общественное», утверждает тотальное превосходство «индивидуального», а затем интегрирует цифровую массу «индивидуального» в самом себе, утверждая планетарный суррогат «общественного» в тотальности симулированной жизни — в «обществе зрелища», «обществе спектакля».

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 2000
"Философия хозяйства", 2000
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ДУХ ПОСТМОДЕРНА И НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОРЯДОК

Парадоксы постмодерна

Несмотря на то, что в современной культуре постмодернистский подход утвердился как нечто необратимое и тотальное, содержание самого термина «постмодерн» до сих пор вызывает полемики, дискуссии, оживленные споры. Постмодерн как ход, как поза, как стиль, как метод, как специфика отношения к объектам искусства и технологическим стратегиям постепенно вошел в плоть нашего общества до такой степени, что теперь едва ли можно говорить о том, что является, а

что не является постмодернистским. На самом деле, постмодернистским является абсолютно все, поскольку в данном случае речь идет не о новом типе высказываний, но о фундаментальной фоновой трактовке реальности. Эта фоновая трактовка необратима, так как по законам структурной лингвистики дискурс («la parole»), превращающийся в референтную систему, то есть собственно в язык («la langue»), не может снова стать дискурсом, т.е. одним из возможных высказываний, предполагающих альтернативное высказывание.

Проникновение постмодерна в стихии нашего бытия столь глубоко, что вычленив его как нечто самостоятельное более невозможно. Поэтому все интерпретационные и гносеологические модели, которые строятся на принципах и предпосылках, отличных от расплывчатых и ускользающих максим постмодерна, вынуждены обращаться не к обычной публике, но к крайне узкому сообществу специалистов, занимающихся парадигматическими аспектами языка. Иными словами, любой непостмодернистский дискурс в нашей ситуации попросту невозможен. Он с неизбежностью попадет в среду, которая десемантизирует его изначальный посыл и встроит в свое собственное гносеологическое поле. Постмодерн отличается от модерна точно так же, как сам модерн отличается от премодерна. Конечно, это не синкопическое моментальное событие, но процесс. И хотя этот процесс может занять определенное историческое время, существенно ничего не изменится. По целому ряду признаков постмодерн сумел утвердиться всерьез и надолго, соблазнив и заигнотизировав своей экстравагантной стихией всех, кто способен уловить агрессивную универсальность его методологии. Модерн, придя на смену премодерну, в свою очередь, вытеснил на периферию, а то и в небытие, все формы дискурса, связанные с традиционным обществом. Когда модерн стал языком, премодерн ушел в сферу разрозненных фрагментов, насыщающих собой периферию сознания и широкие поля бессознательного. Исследование и демифологизация этих «vestiges» («следов») составляло самое увлекательное занятие модернистов XX века. Интерес к «иррациональному», на самом деле, был стремлением победившей «модернистической рациональности», ставшей универсальным языком, освоить те гносеологические слои, на преодолении и часто чистом отрицании которых основывался дух модерна. С самого начала модерн поступил с премодерном очень жестко. Рационализм эпохи Просвещения просто осмелял традиционное общество и его структуры, дискредитировал их, грубо загнобил в подполье, декапитировал, как последнего французского короля. Немодерну было отказано в праве на существование. Он был демонизирован в качестве «реакции», заклеен как «отсталость», «нецивилизованность», «примитивность», «архаизм», «мракобесие» и т.д. Фактически, премодерн как язык был табуирован. Лишь в XX веке к этому «преодоленному пласту» пробудился интерес, и оказалось, что модерн проявил некоторую поспешность, объявив премодерн побежденным, несуществующим, изжитым. Современный человек оказался гораздо менее рациональным и гораздо более архаичным, нежели триумфально утверждали позитивисты. Чем грубей модерн поступил с премодерном, тем агрессивней его рудименты вели себя впоследствии. Европейский фашизм был яркой вспышкой такой реакции. Большевик, внешне оперирующий рациональными моделями, был распознан как архаическая реакция несколько позднее. Иными словами, дух модерна в XX веке трагически и постепенно открывал для себя границы своей победы, осознавал ее шаткость, так как человек как факт оказался слишком заманирован архетипами предшествующих эпох, глубоко запрограммирован языком, предшествующим модерну.

Постмодерн пришел на смену модерну как сумма пессимистических рефлексий, как результат истощенности триумфальной стороны модерна, как результат кризиса наступательного аспекта позитивистской критики и воинствующего рационализма. Постмодерн явно воплотил в себе провал стратегии модерна. Но знаменует ли он собой иное, альтернативное направление? До какой степени правомочна аналогия между премодерном и модерном, с одной стороны, и модерном и постмодерном, с другой? Это очень не простой вопрос. В его решении расходятся между собой наиболее глубокие мыслители.

Крайней позиции придерживается Хабермас. Он считает, что постмодерн есть великая капитуляция духа Просвещения (то есть модерна) перед неспособностью изжить в человеке «варварство» (то есть «премодерн»). Отсюда его отчаянная полемика с французскими «новыми левыми» (Делез, Гваттари, Деррида), которые, по его мнению, «предали дело» и встали чуть ли не на сторону «фашизма». Иными словами, Хабермас принимает аналогичность смены парадигм, происходящих в момент перехода от премодерна к модерну, с одной стороны, и от модерна к постмодерну, с другой, но распознает постмодерн как коварный возврат премодерна в новой форме. Этой же позиции (но с обратным знаком) придерживаются и некоторые «новые правые» (в частности, немецкий философ Армин Мелер), которые приветствуют в постмодерне крах рационализма и позитивизма, в свою пользу перетолковывая открывшуюся безграничную плюральность интерпретаций, сменившую одномерный модернистический тоталитаризм. Мелер даже видит в постмодерне возрождение методологии «консервативной революции», которой он посвятил исследование «Konservative Revolution in Deutschland (1918_1932)». С другой стороны, есть мнение, что постмодерн не является антитезой модерна, что их явное парадигматическое различие скрывает единство глубинного вектора. Такой (или сходной) позиции придерживается, в частности, теоретик постистории Жан Бодрийяр. В таком видении постмодерн открывається как новый ход стратегии модерна, который

осознал неэффективность борьбы с премодерном через его прямое отрицание, через его «скотомизацию» (по терминологии Фрейда). Если операция по преодолению языка премодерна не сработала так, как предполагалось вначале, на оптимистической стадии рационализма, то следует занять более субтильную позицию, обнажить ушедшие в бессознательное архетипы, но не для того, чтобы их освободить, а для того, чтобы их «излечить». Понятый в таком качестве постмодерн открывается как рискованный вираж того же самого духа современности, который делает вид, что отступает со своих центральных позиций, допуская к поверхности веяния архаической периферии. Но на самом деле, он и не думает сдавать свои позиции. За время своего тоталитарного и единоличного властвования он, в свою очередь, ушел в глубины парадигматических подразумеваний, стал «естественным» языком, сформировал очертания бессознательного. Вместе с тем силы разрозненных фрагментов премодерна, долгое время пребывавшие в культурном гетто, утратили жизненность, ослабли, обособились. Жизненность архаического комплекса поддерживалась при этом искусственно, путем внешних репрессий со стороны агрессивной тоталитарной модернистской рациональности. Отсутствие рефлексии и внимания к конфликтным элементам вытесненного языка со стороны доминирующей культуры лишь укрепляло и питало их. Постмодерн стал возможен тогда, когда риск вызывания на поверхность «премодернистических предрассудков» стал приемлемым. Из человеческого подполья премодерн поднялся слепым, разбитым, усталым и нежизнеспособным, вампиричным, призрачным (отсюда невероятная популярность темы «вампиров» и «ревенантов» в современной массовой культуре). Более того, этот премодерн был в значительной степени контаминирован элементами самого модерна — по меньшей мере, теми, которые успели ассимилироваться глубинами бессознательного. И в таком случае, постмодерн открывается не как преодоление модерна, а как его продолжение, как его завершающая стадия, призванная увенчать собой его изначальную стратегию. Отсюда понятие «конца истории» (Фрэнсис Фукуяма) и аналогичные концепции оптимистических либералов, отождествивших постмодерн с окончательной победой своих идеалов.

Бесспорно, оба взгляда на сущность постмодерна имеют под собой некоторые основания. Но едва ли можно сейчас настаивать на одном из них вопреки другому. Содержание и смысл постмодерна не могут быть схвачены в окончательном объеме, так как речь идет о неоконченном процессе, в котором мы все участвуем и исход которого будет в огромной степени зависеть от дальнейшей траектории его развития. Если правы Хабермас и Мелер, дисперсные пока элементы премодерна смогут организоваться в консервативно-революционный полюс, сформировать исторический субъект, который обозначит новый, альтернативный курс цивилизации, где традиционное будет реабилитировано, модерн будет распознан как субверсивное отклонение, и сложится новая парадигма. Если правы те, кто считает постмодерн новой тактикой модерна, последней стадией его «катарсиса», то сегодняшний хаос приведет к окончательной деонтологизации архетипов, которые, будучи уравнены с разрозненными элементами рациональности и позитивизма, потеряют свою жизненность, сохранявшуюся на подпольной стадии, и человек спокойно сможет подвергнуться клонированию, как очищенный биомеханизм, окончательно освобожденный от «онтологического тумана». И история действительно закончится, так как исчезнет ее субъект — человек.

Рынок — единственный законнорожденный наследник модерна

Многие экономисты говорят сегодня о серьезных трансформациях в системе рынка, которые означают смену парадигм и в этой сфере. В некотором смысле, финансовая система так же подвержена постмодернизации, как и сфера культуры, социальных институтов, политики. И, естественно, содержащаяся сторона такой постмодернизации так же стоит под вопросом, как и общая дефиниция постмодерна во всех иных областях. Рассмотрим тему подробнее. Модерн проецировался на две базовые экономические модели, в равной степени претендующие на наследие духа Просвещения, на рационализм, на ортодоксальное соответствие базовым установкам современности. Это либерал-капитализм и социализм. Экономическая история XX века была драматическим противостоянием двух систем — капиталистической и социалистической — за право быть главным правопреемником Просвещения. Оба лагеря соревновались в том, насколько ортодоксальны их позиции в отношении современности, кто более верен той цивилизационной траектории, которая была задана у истоков Нового времени. Марксисты рассматривали свою теорию как более «современную», нежели теория либерализма, а следовательно, были убеждены в том, что будущее за социализмом, которому суждено преодолеть «архаический капитализм» как экономическую модель, зараженную рудиментами иных формаций. Либеральные экономисты, со своей стороны, видели в социализме экономическую гетеродоксию, окольный путь современности, уводящий от простых и ясных принципов свободного рынка, экономического эгоизма и социального равенства возможностей, которые являются мировоззренческой базой модернизма. И социализм и капитализм считали себя законнорожденными детьми модерна, оспаривающими, кому из них принадлежит будущее. В этом, кстати, заключалась мировоззренческая основа «антифашистской конвергенции», которая легла в основание союзнических отношений во время Второй мировой войны: два лагеря современности выступили совместно против возрожденного «премодерна». После 1945 года состязание между двумя экономическими системами обострилось.

Технологические параметры развития хозяйства, социальные проблемы, демография, экология, геополитические трения — все это требовало определенности от двух противостоящих экономических систем, претендовавших на универсальность. Чисто теоретически можно было наметить три возможных сценария:

- 1) конвергенция систем на основе общего происхождения, лояльности парадигмам модерна;
- 2) победа социализма в мировом масштабе (это означало бы, что либеральная модель менее соответствует духу модерна);
- 3) победа либерализма (это означало бы, напротив, что социализм является более архаическим и, соответственно, менее модернистическим явлением).

Несмотря на то, что до последнего времени, этот вопрос оставался открытым, на рубеже 90-х годов, свершившимся фактом стал третий сценарий. И такой практический поворот событий — победа либеральной, рыночной парадигмы над социалистической моделью — несет в себе огромное концептуальное значение в смысле оценки истинного содержания процессов развития социальной и экономической модели современной цивилизации. Факт победы либерального Запада над социалистическим Востоком есть печать большей модернистичности и ортодоксальности капиталистической модели в сравнении с социалистической. В советском социализме наличествовало два фактора — прогрессистский дискурс (модернистический компонент) и архаическая подоплека социального устройства (премодернистический компонент). Точно так же и в либерализме существовали модернистические элементы в сочетании с определенными социальными институтами довольно консервативного толка (в частности, институты монархии, семейное наследование состояний и финансовых империй и т.д.). В противостоянии двух систем фактически решалось, какая тенденция где перевесит — модернистическая или архаическая. Победитель в этой дуэли автоматически был бы более модернистическим, проигравший — более архаическим, весомость его премодернистической составляющей была бы более значительна. События начала 90-х недвусмысленно доказали, что именно социалистическая модель оказалась более архаичной и премодернистической, а либерализм подтвердил свое историческое право на единоличное обладание наследием модерна. Любопытно, что такое развитие событий предвидели гегельянец Кожев, либералы Поппер и Хайек, Раймон Арон, французские «новые философы» Бернар Анри Леви и Андрэ Глюксман. Но если ранее такой взгляд был гипотетическим, то после краха советского лагеря обнаружилось, что приговор вынесен окончательно и бесповоротно. — Коммунизм открылся как завуалированный архаизм, а либеральная модель экономики доказала свое единоличное право на современность. Рынок и модерн совпали. План проиграл, обнаружив свою премодернистическую подоплеку. При этом конкуренция была выиграна не только на уровне экономической и технологической эффективности одной из систем. Здесь решающим фактором стала более серьезная инстанция — свой суд вынесла сама история, по меньшей мере, та ее линия, которая отождествила себя с Новым временем. Существование «альтернативной» или «параллельной» истории — вопрос отдельный, который мы в данный момент затрагивать не будем.

Итак, экономическая история модерна есть история капитализма, в которой социалистический эксперимент является временной девиацией, абберрационным витком. Такое понимание социализма является само собой разумеющимся для наиболее последовательной части либеральных экономистов, и объясняет, кстати, что стоит за ставшим медиакратическим штампом отождествлением «красных» с «коричневыми». Социализм не смог доказать свою преимуществом модерну, обнаружил себя как архаически-консервативную модель. А следовательно, и в определении парадигмы постмодерна его доля будет несущественной. То новое, что соответствует в экономике стадии перехода от модерна к пост-модерну должно быть найдено в рамках исключительно капиталистической модели, в пространстве рынка. Поэтому в дальнейшем мы оставляем всякие апелляции к социализму, марксизму и т.д. за скобками. Новейшие трансформации в системе рынка должны быть изучены, исходя из самого рынка, из имманентных ему законов.

Магический мир финансов

В современной финансовой системе капитализма существует сектор, который более всего соответствует постмодернистическому духу, воплощает в себе экономический эквивалент основной постмодернистской стратегии. Речь идет о т.н. «техническом анализе». «Техническим анализом» принято называть теорию и практику биржевой игры, основанной исключительно на оперировании с трендами. Джордж Сорос*, знаковая фигура этого направления, добившийся на этом поприще самых ослепительных успехов, называет это «алхимией финансов». Действительно, «технический анализ», совершенно отвлекающийся от основы основ капитализма, т.е. от выяснения баланса между спросом и предложением, напоминает скорее некую мистическую дисциплину. Джон Мэрфи**, крупнейший теоретик этого направления, выделяет три основных принципа

«технического анализа», который он противопоставляет традиционному анализу рынка, т.н. «фундаментализму».

1) Рынок вбирает в себя все (Market discounts everything)

2) Цены изменяются трендами (The prices move in trends)

3) История повторяется (The history repeats itself)

Первый пункт означает, что появление на стоковом или товарном рынке какой-то единицы уже включает в ее цену все аспекты реальности, сопряженные с этой вещью. Не только ценообразовательный механизм, но социальный контекст, политические мутации и даже возможность природных катастроф включены в рыночную стоимость вещи, и их реальность отныне снята. «Фундаменталистский подход», свойственный классическому либерализму, воздерживался от такой абсолютизации. В нем никогда не утверждался полный отрыв вещи от ее среды. И наиболее последовательные трейдеры «фундаменталисты» — такие, как Баффет — вообще делали акцент не на том, что происходит на бирже, а на том хозяйственном цикле, который предшествует этому.

Несмотря на то, что принцип «рынок вбирает в себя все» внешне кажется привычной классикой либеральной теории, в нем проглядывает типично постмодернистский иронический намек. Полная абсолютизация рынка и рыночной цены вещи в отрыве от добиржевого цикла, на самом деле, мистифицирует саму реальность рынка, делает ее особой инстанцией, которая управляет бытием, отправляясь от своих виртуальных закономерностей. Рынок объявляется не завершением хозяйственного цикла, но его причиной, а следовательно, происходит серьезный сдвиг в имплицитной онтологии капитализма.

Классический капитализм определял бытие вещи через соотношение в ней спроса и предложения. Это было, безусловно, онтологической релятивизацией по сравнению с докапиталистическими моделями онтологии, где у вещей подразумевалась более самостоятельная основа, связанная либо с градусом ее иерархии в системе Божественного творения (креационизм), либо сопряженная непосредственно с Божеством (манифестационизм). Но переход к принципам «технического анализа» представляет собой еще более радикальный шаг в сторону от традиционных моделей онтологии хозяйства. Вместе с формулой «market discounts everything» происходит разрыв даже с крайне релятивистичной моделью спроса и предложения, и бытие вещи помещается в стихию перманентного трейдинга в виртуальных пространствах биржи. В такой ситуации центральным значением начинают обладать такие формы, как «портфельные инвестиции», «циркуляции горячих денег», операции с валютами и самоценное обслуживание задолженно стей. Иными словами, в данной ситуации происходит переход от рынка реальных товаров и стоков к чисто финансовым схемам, к виртуальной экономике, в которой самым важным моментом является движение капитала. Когда мы утверждаем, что «market discounts everything», мы подразумеваем, фактически, автономию финансовой системы в отношении всех остальных аспектов реальности. Но так как эта реальность предполагается капиталистической, то новый финансовый порядок обнаруживается как посткапитализм или виртуальный капитализм. В такой посткапиталистической модели акцент падает не на динамику спроса-предложения, но на организацию и контроль над фоновыми биржевыми, фьючерсными потоками, которые получают автономное значение, самоценность и центральность, маргинализируя сектор «реальной экономики», и даже традиционной торговли. Движение капитала в биржевых циклах становится настолько важным и значительным, оперирует с такими цифрами (часто имеющими эфемерное значение), что на их фоне традиционные экономические сектора становятся несущественными.

«Цены изменяются трендами» — можно считать вторым признаком посткапитализма. Концепция «тренда» сама по себе весьма занимательна. Она впервые появляется в теории Чарльза Доу и становится базовым понятием «технического анализа». Сам Доу лишь сделал наблюдение за динамикой биржевых цен на рынках, которые он изучал, и на этом основании предложил рассматривать изменение цен на акции и стоки не как хаотический процесс, а как траекторию, имеющую особую имплицитную логику. Рыночные «фундаменталисты» пытались дискредитировать само понятие «тренда» в известной Random Walk Theory, утверждающей стохастический характер поверхностной флуктуации биржевых цен, полностью определяющихся в последнем счете балансом спроса-предложения. Сторонники «технического анализа», напротив, абсолютизируют концепцию «тренда», полагая, что само наличие ценового тренда после прохождения определенной стадии практически не связано с добиржевыми процессами, и рыночная цена складывается из имманентных законов виртуального трейдинга. Из этого вытекает важное философское следствие — динамика рыночных цен в системе трендов становится самостоятельным процессом, независимым от фактической реальности товара или стока. В этом выражается тот же процесс разовеществления и перехода к манипуляции с оторванными от реальности знаками, который Бодрийяр считает

характерным признаком постмодерна. Самостоятельность тренда есть ничто иное, как биржевое выражение самостоятельности знака. Помимо всего прочего такой подход может привести к тому, что ценовые тренды могут существовать в реальности даже в том случае, если рыночный объект является чисто номинальным, фиктивным. Кстати, в случае «портфельных инвестиций», обслуживания и реструктуризации глобальных задолженностей и иных аналогичных финансовых процессов речь и идет о реальных операциях с фиктивными объектами.

Наконец, третий тезис — «история повторяется» — прямо отсылает нас к некоему подобию той картины мира, которая существовала в условиях «премодерна». Необратимость и однонаправленность истории — это базовый элемент Нового времени, модерна как такового. Поступательность, прогресс, однонаправленное развитие суть неотъемлемые смыслополагающие вектора современного рационального мышления, предопределяющие все то, что соответствует «конвенциональной мудрости» после эпохи Просвещения. Понимание времени как цикла, напротив, есть ярчайший признак традиционного общества. «Технический анализ» утверждает столь явно немодернистическую истину применительно к анализу биржевых циклов, т.е. в довольно прагматическом аспекте. Но так как именно рынок является в данном случае онтологической суммой, то утверждение его циклической природы фактически распространяется на все остальные аспекты реальности — ведь «market discounts everything».

Новая финансовая система, яснее всего очерченная в концепциях «технических аналитиков», описывается в терминах дисциплин премодерна — «алхимия финансов», «self fulfilled prophecy» (термин, разбираемый Murphy и напоминающий «теургию» древних), «рыночные колдуны» (название бестселлера Jack D. Schwager «Market Wizards»^{*}). Здесь мы имеем дело с зачатком новой реальности, с посткапитализмом и ярким проявлением постмодернистического духа в сфере экономики. Если от тематики постмодерна еще можно отмахнуться в сфере культуры (как это делают те, кто не отдает себе отчета в серьезности и глубине фундаментальной цивилизационной мутации, обозначенной термином «постмодерн»), то в сфере финансов и экономики, которая является базовой повседневной реальностью, от нее отделаться не так просто.

Корректно прочитать график будущего

Магические лабиринты новой экономики, неавгурическое искусство «chart reading», финансовый герметизм ставят перед нами те же проблемы, что и философские проявления постмодерна в иных областях. Подобно тому, как мы оставляем открытым вопрос о последнем значении постмодерна, нельзя заранее вынести окончательный приговор и зреющей мутации экономической модели, переходу от капитализма к посткапитализму. Постмодерн не просто отказывается от модерна, он иронично уравнивает модерн с премодерном, но с таким премодерном, который взят в качестве фрагмента и выхолощенного знака. Новая финансовая система, в которой «технический анализ» и магические спекуляции трейдеров соросовского типа будут занимать все более центральные позиции, также не исключает механизмы классического капитализма, она их вбирает в себя в снятом виде, уравнивая при этом с фрагментами экстравагантных принципов, иронично заимствованных из совершенно иных историко-культурных и экономических контекстов. При этом весьма вероятно, что, преодолев социализм и иные, еще более архаичные формы хозяйства, новый финансовый строй в дальнейшем включит в себя отдельные экзотические элементы, заимствованные из альтернативных экономических моделей. Нельзя априорно исключить, что на каком-то этапе посткапиталистическая реальность снова введет в моду «марксизм», как модной становится одежда 50-х, 60-х или 70-х в молодежной стилистике Нью-Вэив.

Мы стоим на пороге «чудесного нового мира», мира биржевого волшебства, герметических заклинаний брокеров, электронного движения автономного капитала. У этого мира много различных черт — гротескных, ироничных, экстравагантных, экзотических и зловещих.

Постмодерн — смена базовых парадигм. Мы должны постараться осознать, в чем их сущность, постараться расшифровать содержание этого сложнейшего витка человеческой истории. И ключом к такому осознанию — одним из ключей, по меньшей мере — является пристальный анализ новейших тенденций в экономике. Посткапитализм необратим и неизбежен. Но кто может сказать, что это такое?

А.Г.Дугин

"Русская Вещь", Арктогея, 2001

МЕДИАКРАТИЯ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ

(Общество Зрелища и Капитал)

Зловещая власть, четвертая власть

СМИ называют «четвертой властью». Еще одной ветвью после трех классических форм демократического правления — власти исполнительной, законодательной, судебной. Даже если это метафора, то об этом стоит задуматься серьезно, ведь появление этой «четвертой власти», бывшей ранее лишь одним из множества компонентов в определении «демократии», с необходимостью вносит важнейшие изменения во все традиционные представления об обществе и его политической структуре. В дальнейшем мы увидим, что даже определение «четвертая власть» в отношении СМИ не достаточно полно квалифицирует масштаб их влияния, мощи, силы, воздействия. Но если остановиться и на таком «скромном» определении, сразу же возникают серьезные проблемы.

Обратим внимание на важный момент: когда мы говорим о «трех типах власти», мы подразумеваем, что каждая составляющая этого классического триумvirата является независимой от двух остальных. Конечно, между ними существует многоплановый баланс, система соотношений, регулирующая их взаимодействие, но выделение в три самостоятельных института есть юридическое утверждение их взаимнезависимости и своего рода «равноправия». По меньшей мере, в отвлеченной теории «идеальной демократии» имеется в виду именно полная равнозначность этих ветвей власти.

Когда СМИ именуется «четвертой властью», это предполагает — уже в силу самого словоупотребления — их сущностную равнозначность с остальными ветвями. Иными словами, информация и способы ее распространения выделяются в категорию, сопоставимую с основными институтами современного государства и общества.

«Информационное общество» и признание советника Франсуа Миттерана

Наблюдение за этим феноменом заставило многих западных философов и социологов говорить о начале эпохи «информационного общества», которое в некоторых случаях называется также «постиндустриальным». В «информационном» обществе и происходит перераспределение функций между основными базовыми институтами власти, причем таким образом, что информационная сфера не просто расширяет или видоизменяет сферы остальных ветвей, но превращается в особое самостоятельное явление. Так происходит рождение «медиакратии», что дословно означает «власть через СМИ».

Режи Дебре, известный французский левый мыслитель, соратник легендарного Че Гевары, определенное время бывший официальным советником Президента Франции Франсуа Миттерана, однажды признался, что «на пути реализации планов социалистических преобразований, задуманных Миттераном (совместно с самим Дебре) постоянно вставали препятствия не столько со стороны Парламента, политических противников, иных традиционных политических и экономических групп, сколько со стороны СМИ, действовавших якобы от своего собственного лица». Срыв важнейших социально-политических преобразований в отношении политика, занимавшего столь высокий пост, которого к тому же долгое время активно поддерживало большинство, желающее перемен социального курса, произошел, согласно Дебре, по вине некоей особой социальной инстанции, обладающей совершенно новой структурой и новой природой, о которой либо мало, либо почти ничего не сказано в традиционных учебниках социологии и политологии. Это практическое поражение в деле реализации идеологических инициатив заставило Дебре как философа переосмыслить некоторые постулаты классического марксизма, на которые он ранее опирался. Он понял, что в современной капиталистической системе произошла какая-то качественная мутация, сделавшая формы и способы влияния Капитала на общественно-политическую жизнь радикально иными — центр тяжести этого контроля постепенно переместился от традиционных аппаратов подавления — государства, буржуазных партий, полиции, армии, капиталистической системы труда и распределения к иной более тонкой, ускользающей инстанции, связанной не с прямыми материальными инструментами, но со сложными манипуляциями с системами смыслов, знаков, образов.

Так Режи Дебре подтвердил на личном и крайне показательном опыте интуиции целой плеяды новых левых философов, давно почувствовавших серьезные изменения в самой природе капитализма как социальной реальности.

Общество Зрелища: пристрастная подмена реальности

Первым и самым ярким автором, осознавшим новую стратегию современного капитализма, стал Ги Дебор, основатель крайне левого движения — «ситуационизма». Именно «ситуационисты» стали движущим импульсом, организаторами и главарями знаменитого мая 1968 года, когда студенты и рабочие попытались (неудачно) осуществить захват власти самым экстравагантным, эстетичным и творческим образом, какой только известен в политической истории.

Ги Дебор был автором культовой книги-концепта «Общество Зрелища», «La société du spectacle». Это произведение стало своего рода «библией» всех современных леваков — от анархистов и маоистов до левых социал-демократов. Ги Дебор показал, что со времен Маркса произошло серьезное изменение в тех стратегиях, которыми Капитал пользовался в своем стремлении поработить Труд и узурпировать «прибавочную стоимость». Если ранее он использовал грубые методы, то постепенно все более и более осознавал важность тонких стратегий, связанных с человеческой психологией, с колоссальным значением образов и знаков. Дебор видел, вслед за Марксом, в современном капитализме результат отчуждения, но на сей раз оно зашло так далеко, что экспроприации подверглись не просто товары и рабочая сила, но сама социальная реальность, подмененная на информационный муляж, на экранный дубль, полностью подчиненный тотальной власти капитала, сумевшего преодолеть все противоположности — в первую очередь, оппозицию со стороны политически сознательного пролетариата — и сделать свое могущество безальтернативным.

Капитал поменял имя. Теперь он полностью воплотился в тоталитарную империю Зрелища. Дебор одним из первых попытался дать глубокий философский анализ «медиакрахии». С его точки зрения, повышение роли СМИ в современном обществе является не просто случайным явлением, но выражением главной тенденции современного капитализма, основной силовой линией его развития. Роль тех социальных инструментов, которые заведуют сферой образов, становится привилегированной и усиливается по мере оттеснения на задний план иных институтов власти — вплоть до высшей политической власти Президента и Парламента.

Правда, Ги Дебор считал, что и в СССР социальные преобразования далеки от подлинно социалистического курса. Он полагал, что и это было разновидностью «Общества Зрелища», а именно, его «централизованной» версией, в отличие от западного «распыленного Общества Зрелища». Впрочем, Ги Дебор предвидел, что обе эти формы в будущем сольются, образовав «Общество Интегрированного Зрелища», объединяющего самые негативные и отчужденные стороны обеих систем. Вместе с тем, он настаивал, что «Общество Зрелища» в капитализме наиболее эффективно и действенно, что именно «распыленное зрелище» действует с максимальной гипнотической силой на сознание людей, усыпляя их стремление к реальности, справедливости, свободе и знанию искусно выстроенным фосфорисцентным притягательным лабиринтом управляемых подделок. И в этом он оказался удивительно прав.

Как мы знаем, несмотря на колоссальную популярность в среде студенчества и интеллектуалов идей Ги Дебора, восстание 1968 года потерпело сокрушительное поражение. Система Зрелища сумела и на сей раз переварить ту идеологию, которая разоблачала ее сущность. На восстании радикалов более умеренные сделали себе политические карьеры, лишь усилив арсенал Зрелища. Отныне символы «революции», «восстания», общий дух «левачества» стали постоянно эксплуатируемыми темами многообразной западной индустрии образов.

Ги Дебор покончил с собой в 1994 году. — В СМИ этому факту не было уделено почти никакого внимания.

Реальная доминация Капитала и «конец истории»

«Четвертая власть» была распознана радикальными европейскими мыслителями как выражение нового этапа капитализма. Причем именно в ней они видели наиболее чистое и полное воплощение отчуждающей, власти Капитала. Конечно, средства пропаганды в человеческой истории постоянно использовались для манипуляции общественным мнением, для решения тех или иных политических и социальных задач. Пропаганда существовала в той или иной форме и на более ранних этапах развития цивилизации. Но в этих случаях манипуляция информацией и общественным мнением были лишь прикладными моментами, призванными обеспечить психологический фон для решения

конкретных вопросов различными политическими силами. Иными словами, за всеми этими действиями всегда можно было выявить конкретную властную или революционную инстанцию, которая и являлась заказчиком той или иной информационной или дезинформационной кампании. В такой традиционной ситуации еще не было и речи о самостоятельной линии СМИ, о превращении медиакратии в автономного социального субъекта, независимого от остальных властных инстанций.

В этом и состоит уникальность «Общества Зрелища». Если элементы Зрелища использовались властями с незапамятных времен (вспомним требование римского плебса «хлеба и зрелищ»), то превращение всей социально-политической и даже социально-экономической ситуации в одно сплошное Зрелище—это действительно нечто новое и небывалое.

Когда медиакратия становится самостоятельной реальностью, она начинает глобальную симуляцию всех социальных, политических и экономических процессов. Фактически, СМИ и особенно современные электронные СМИ, претендуют на то, чтобы выступать не просто моральным арбитром в вопросе о том, что является положительным, а что отрицательным, но и в более глубоком измерении — СМИ сегодня определяют что есть, а чего нет. Любой политический, социальный и даже экономический факт становится фактом лишь в тот момент, когда он отражен в СМИ. Плоский экран диктует объемной реальности, что в ней есть, а чего нет. Сложная структура медиакратии учреждает чему быть, а чему не быть. И если какое-то явление или система явлений признаются медиакратами недостойными для их освещения (или вредящими специфическим интересам тайных баронов СМИ), то их замалчивание фактически равносильно отказу в праве на существование. Вне информационного контекста в современной реальности вещей, событий и явлений просто не существует.

Если следовать логике марксистских и социалистических взглядов на смысл истории, то данное положение дел автоматически означает наступление особого общественного строя, о котором есть некоторые тревожные догадки у Маркса. Он определяет такое положение как «реальную доминацию капитала». В период обычного, классического капитализма, Капитал осуществляет лишь «формальную доминацию». Ему противостоит рабочий класс, все более осознающая свою революционную роль партия Труда. Но Маркс предвидел такую возможность, когда эта «формальная доминация» — при неудаче или провале социалистических революций и преобразований — перерастет в «реальную доминацию», и в этом случае у Капитала более не останется внешнего противника, он полностью переварит Труд, породив реальность, абсолютно подконтрольную его вампирической логике. В эру такой «реальной доминации капитала» система сможет настолько свободно распоряжаться спросом, потреблением, производством, обменом, что всякие препятствия будут упразднены. Свобода Капитала станет абсолютной, и он получит неограниченную власть над людьми, полностью подчинив их жизнь и поведение своей собственной логике. Капитал станет единственным субъектом социальной истории, вытеснив на периферию все остальные исторические факторы.

Именно эту катастрофическую (в глазах левых) картину мира описывают — хотя и с обратным знаком — апологеты современного капитализма, провозгласившие «конец истории» (Фрэнсис Фукуяма), наступление постиндустриальной цивилизации (Дэниэл Белл) или информационного общества. Но сторонники капитализма, либералы видят то же самое явление в розовых тонах. Наступление «Порядка Денег» (Жак Аттали) представляется им наиболее разумной и прогрессивной социально-экономической структурой, в которой преодолен драматизм обычной грубой реальной истории, полной конфликтов, противоречий, борьбы, страданий, революций. Современные либералы видят историю как нечто отрицательное. И многие из них логически приходят к тому выводу, что истоки варварства, нецивилизованности, агрессии, классовых и этнических конфликтов, полового неравенства, социальных и экономических катаклизмов следует искать в самой природе человека, конфликтной и дисгармоничной по определению. В новом капиталистическом обществе на этапе его постиндустриального развития происходит не только конец истории, но и «конец человека». Медиакратия и информационное поле учреждают, формируют, искусственно создают новый тип, новый вид, лишенный всех тех качеств, которые составляли сущность предшествующих стадий человеческой истории. Этот либеральный пост-человек настолько напоминает «последних людей» из «Так говорил Заратустра» Ницше, что один из главных идеологов «конца истории», Фрэнсис Фукуяма посвятил недавно этой теме целую книгу — «Последний Человек».

Итак, мы видим, что несмотря на полярные различия в оценке «Общества Зрелища» самые противоположные мировоззренческие лагеря сходятся между собой в описании его основополагающих качеств. При этом одни (социалисты и традиционалисты) ужасаются, другие (либералы), напротив, восторгаются.

Один забытый иллюзионист

Если отдалиться от сферы современных идеологических доктрин, трактующих проблему СМИ в мирской, атеистической оптике и обратиться к сфере религиозных представлений, то данная тема приобретет дополнительное и весьма зловещее измерение. В рамках христианского богословия существует один персонаж, который в широком смысле ответствен за производство иллюзий и сокрытие истины, за организацию и поддержание к своей выгоде колоссального непрекращающегося Зрелища. Вы, естественно, догадались, что речь идет о дьяволе. Конечно, религиозное сознание было уже довольно давно вытеснено на периферию общества, дискредитировано и осмеяно критическими идеологиями современности. Но поскольку сегодня налицо процесс определенного возврата к религиозным учениям, то вполне закономерно рассмотреть интересующий нас вопрос и в этой перспективе.

Религиозное сознание исходит из предпосылки о тождестве истины и блага. В свое время это тождество сформулировал еще Платон. Из этого положительного утверждения легко вывести и его подразумеваемую отрицательную часть: ложь и зло, в свою очередь, оказываются тождественными. Следовательно, искусственный контроль над информацией, знанием, создание миражей и массовых гипнотических эффектов, что, собственно, и составляет сущность современных СМИ, есть область духа зла, «человекоубийцы от века». Истинное знание лежит в глубине, и каждый человек ищет к нему собственный внутренний путь через серию этических выборов, через духовное напряжение и личный неотчуждаемый религиозный опыт. При этом огромную роль играет ненавязчивый и неагрессивный, сдержанный и спокойный, доброжелательный надзор со стороны Церкви, со стороны полноправных толкователей и хранителей Священного Писания и Священного Предания. Истинное религиозное познание — это нечто противоположное Зрелищу, это освобождение от внушения, навязываемого Обществом Зрелища, дистанцирование от него, обретение внутреннего центра, способного противостоять агрессии внешнего мира. Религиозное учение о грехе прямо говорит о том, что он имеет начало вне человеческой души и действует сперва как «прилог», как внешнее внушение, как навязываемые мысль, чувство, образ, знак, переживание. И лишь по мере вхождения «прилога» в психику человека он ассимилируется и становится зародышем греховных поступков и состояний.

Паразитально, но структура современных СМИ, манера организации информационных потоков, которые постоянно перемежаются гипнотическими образами рекламных роликов, эксплуатирующих все те сюжеты, которые традиционно считаются религиозным мировоззрением греховными — похоть, эгоизм, сребролюбие, жажда стяжательства и все нового и нового приобретения материальных благ и т.д., — полностью повторяет в массовом масштабе кодификацию дьявольских трюков, подробно описываемых в аскетической литературе святых отцов. Складывается такое впечатление, что тщательно зафиксированные реестры стратегии и тактики искушений, напускаемых на подвижников сатаной, полностью взяты архитекторами современных СМИ для использования их в глобальном масштабе. СМИ превращаются в общий и взаимоперетекающий вал прилогов, неотступно окутывающий сознание зрителей.

Итак, то, что было абсолютным злом в марксистской критике и иных разновидностях социалистических доктрин, в рамках религиозного мировоззрения приобретает еще более откровенный, пугающий характер. По мере развития тенденции возврата к религии, которая характерна для христианских, исламских и других восточных обществ, эта религиозная трактовка современных СМИ не может не приобретать все большего значения. Незначительные вкрапления в этот «поток прилогов» нравоучительных религиозных передач, показываемых, как правило, в наименее урочное время, никоим образом не меняет общей картины и, напротив, создает обманчивое представление о терпимости религиозных институтов к империи СМИ, что только притупляет бдительность зрителей и делает их более податливыми к субтильному медиакратическому яду.

Советское Государство разрушили СМИ (СМИ как «система»)

В нашей российской новейшей истории фактор медиакратии, вес «четвертой власти» проявился во всей полноте в период перестройки и либеральных реформ. Если до этого момента советское общество «централизованного Зрелища» (по Дебору) осуществляло свою социально-информационную стратегию единым фронтом, — идеологические институты, властные структуры и информационно-культурное обеспечение, сознательно приравненное в советском обществе к идеологической пропаганде, действовали как одно целое ради осуществления общего проекта, — то по мере отхода от советской модели СМИ заявили о своем особом и во многом исключительном положении.

Этот процесс шел параллельно с «демократизацией» и перенесением на российскую почву либерал-демократических западных образцов. Формально, речь велась о «свободе слова», о «независимости СМИ от прямого диктата иных властных инстанций». Но поскольку этот диктат исходил в начале

перестройки из одного-единственного и тогда еще довольно солидарного центра, то эта «свобода» приобретала характер противостояния, фрондирования, оспаривания советской идеи.

При этом собственно политический фронт раннеперестроечной антицентралистской оппозиции был смехотворным и искусственным — с серьезным диссидентским движением властям удалось покончить еще к концу 70-х. В такой ситуации в перестройку именно СМИ стали главным субъектом социальных реформ, — тем субъектом, который спровоцировал в дальнейшем политическое оформление «демократов-западников» в самостоятельную идеологическую и организационную силу, пришедшую к власти в 1991 году.

Это не просто случайное историческое обстоятельство, это важнейший, нагруженный колоссальным значением исторический факт. Главный смысл реформ состоял именно в переходе от одного типа Общества Зрелища («централизованного») к другому («распыленному»), и поэтому главной движущей силой всего этого процесса логически стали те инстанции, которые были ответственны за изготовление и реализацию самой сердцевины всего проекта. Менялись не просто сформулированные идеи, менялся весь язык, широкий социальный массово-психологический фон, состоящий даже не столько из четких высказываний («это — благо», «это — зло», «так надо», «так не надо»), сколько из намеков, ассоциаций, интонаций, микрожестов теледикторов, нюансировки при изложении информации и т.д. Вместо единой «централизованной» иллюзии советского общества складывалась «распыленная иллюзия» общества либерального. А так как «распыленный спектакль» и есть высшее выражение именно Капитала, пик его могущества, то и общая ориентация таких перемен в области медиакратии вела только и исключительно к утверждению буржуазных, капиталистических моделей и стереотипов.

Ги Дебор разобрал причины большей оперативности, эффективности методологий «распыленного зрелища» по сравнению со «зрелищем централизованным». Если какую-то идею, спровоцированную реакцию, мнение, уверенность внушают слишком навязчиво, человеческая психика — даже бессознательно — стремится освободиться от этого, отыскать определенное психологическое пространство, не подвластное прямому контролю извне. При этом такой протест может сопровождаться социальной мимикрией, и известно, что одним из способов сделать высказывание или слово бессмысленным (то есть освободиться от смысла) — это произнести его подряд много раз. Полная слепая покорность и безоговорочное послушание есть форма скрытого восстания, ироническая диверсия в отношении того, кто повелевает и отдает приказания. Что-то, а эту ироническую стратегию наш народ освоил в полной мере, на ней построен наш национальный юмор.

«Зрелище распыленное», капиталистическое, основано на совершенно ином подходе к манипуляции сознанием. В нем желаемая цель — а она, безусловно, присутствует, причем с такой же определенностью и жесткостью, как и в самой «тоталитарной» пропаганде — не декларируется прямо, к ней подводят постепенно, часто окольными путями, искусно используя законы формальной логики и психоаналитические программы бессознательных ассоциаций.

Привлечь внимание к какому-то факту можно самыми различными способами. «Централизованное Зрелище» просто ставит его в центр информационного потока и настойчиво внушает то, как надо это интерпретировать. «Распыленное Зрелище» действует более тонко. Можно подвести к какому-то факту косвенно: упомянув о том, что ему предшествовало и том, что за ним последовало. Зритель сам догадывается, что должно заключаться в промежуточном звене, и от того, что он сам «догадался», у него возникает спровоцированное ощущение самодовольной гордости от успешно проделанной умственной операции. Отныне данный факт будет восприниматься им как результат неотчуждаемого личного опыта, и критическое чувство будет полностью усыплено.

Моральная оценка также может быть нюансирована. Вместо прямой расстановки знаков плюс и минус, может быть тонкая интонационная гамма, работа с подраумеванием, контекстами, стереотипами. Если в общественном сознании существует какой-то штамп, то для его разрушения, для внедрения прямо противоположной формулы не следует просто и непосредственно ее провозглашать. Достаточно выразить — даже интонационно — определенную дистанцию, релятивизировать, смягчить акцент.

«Распыленное зрелище» в отличие от «зрелища централизованного» предполагает также отсутствие видимого центра. Так возникает дуализм таких понятий как «режим» и «система». «Централизованное зрелище» является продолжением режима, оно обеспечивает интересы режима, т.е. конкретной власти, утвердившейся в данном государстве, обществе. «Система» есть нечто более тонкое и трудное уловимое. Это совокупность некоторых центров влияния, объединенных общим цивилизационным проектом, но осуществляющих свою деятельность с помощью сложных комбинаций. «Система» гораздо шире, чем «режим». Она может сохраняться и при смене режимов,

может выступать оппозиционно в отношении режима, может ставить одновременно на две или несколько противоборствующих сил, проводить свою логику через синхронное влияние на видимые и невидимые рычаги воздействия.

Понятие «система» было подробно разработано «новыми левыми». В основе такой концепции лежало наблюдение за эволюцией буржуазного общества, которое настолько отточило инструменты господства, что ушло очень далеко по искренности манипуляций и развитию механизмов «мягкого насилия» от грубых и довольно прозрачных стратегий классического индустриального капитализма, где буржуазным был сам режим, и где поэтому оставалась открытой перспектива политических революций в социалистическом или национальном ключе. С начала 60-х буржуазный мир стал активно осваивать новые технологии «распыленного Зрелища», и достиг в этой области совершенства к 80-м.

Крах социалистической системы и падение СССР стал самой серьезной победой этой стратегии. Управляемые галлюцинации западного мира оказались настолько эффективны, что разрушили оплот наивной и неуклюжей советской пропаганды. Капиталистическая «система» проникла в СССР гораздо раньше, чем произошла прямая смена режима. И главным полюсом такой подмены совершенно естественно стала сфера медиакратии.

В период перестройки в СССР была применена тактика использования новейших достижений «распыленного зрелища». Как когда-то русские социал-демократы взяли готовые выводы Маркса, разбиравшего капиталистическое общество, гораздо более развитое, нежели аграрная полуфеодалная Россия, и жестко переменили эти выводы к противящейся среде, достигнув колоссального индустриального эффекта, новые либеральные реформаторы также форсировали ситуацию (правда, в обратном направлении), и включили СССР в «систему», в зону влияния «распыленного зрелища» задолго до того, как для этого сложились политические, социальные, экономические предпосылки. Именно это имеют в виду те, кто настаивают, что самым главным и незыблемым достижением «демократии» в России за последние годы стало появление «независимых» СМИ. «Независимость» следует понимать как «независимость от режима», но при этом, естественно, не упоминается о полной, тотальной и раболепнейшей зависимости от «системы», осью которой является Капитал, его неиндивидуализированная, чисто количественная масса.

Ответственность СМИ за все этапы реформ — как бы кто их ни оценивал — является абсолютной и бесспорной. Именно этот сектор по самой логике современного общества есть фокус «системы». В некотором смысле, СМИ сами становятся «системой», концентрируя вокруг себя главные элементы буржуазного общества — деньги и власть.

Так как природа современного капитализма, в свою очередь, связана со Зрелищем, и главным здесь стало не производство, и даже не торговля, а реклама, маркетинг, «презентация» товаров и услуг, их «знаковый рейтинг» (все это совершенно не зависит от их реального качества), то основной массив финансов также тяготеет к информационным инстанциям, особенно к электронным СМИ. В этом — особенность специфической экономики информационного, постиндустриального общества. В отличие от классического капитализма здесь главной становится не циркуляция товаров, денег услуг, но циркуляция знаков, муляжей, «симулякров» (по выражению Жана Бодрийера). А такая знаковая циркуляция, естественно, напрямую связана со СМИ.

С другой стороны, гипнотическая власть СМИ настолько огромна, что многие социологи говорят сегодня о явлении «пандитократии». «Пандитами» назывались индуистские толкователи священных текстов. В современном обществе роль пандитов выполняют телеведущие и телекомментаторы, которые прямо или косвенно выполняют роль «гуру» для масс. Именно с этой важнейшей «учительской», почти жреческой функцией и связан «культ телеведущих». Фрагментарно образованные, серые, банальные, с ограниченным кругозором и мещанскими предрассудками, телеведущие воплощают собой «конвенциональную мудрость», некий стереотип обывательского сознания. Провозглашаемые ими с серьезным видом пошлости воспринимаются зрителями как нечто само собой разумеющееся, как продукт своего собственного мышления — тем более, что усредненность и ограниченность ведущего вполне соответствует именно самым массовым стандартам. Но такие ничтожные «пандиты» вследствие того, что они находятся по ту сторону экрана, а не по эту, получают колоссальную власть внушения, распространяющуюся как на широкие массы, так и на политический класс, и даже экономическую элиту, то есть на те структуры, от решения которых зависят судьбы общества. Никем не избранные, ничем не замечательные, ни в чем отдельным не компетентные, теледикторы становятся в обществе «распыленного зрелища» носителями колоссального могущества, и их случайное мнение сиюминутно воспринимается как абсолютная истина, как категорический императив.

СМИ как «система» и в этом случае оказывается первичнее, действеннее, могущественнее, нежели режим как таковой. Рекламный капитал и аппарат «пандитов»-теледикторов в данном случае выступают как конкретный инструмент медиакратии, неотразимое орудие «системы».

Цивилизационный выбор

Понимание новой роли СМИ в современном обществе, вытекающее из глубинных и качественных трансформации этого общества, необходимо для того, чтобы правильно и по достоинству оценивать это сложное и крайне двусмысленное явление. Осознав тождественность «системы» и СМИ в широком смысле, не следует удивляться, если формально подчиненные административным институтам власти работники СМИ будут следовать совершенно иной информационно-имиджевой стратегии, нежели та, которой сама власть добивается. Иными словами, «режим» как легитимная властная структура в определенном смысле оказываться не «над» СМИ, как одним из элементов общества, а «под» СМИ, коль скоро они представляют реальность, лежащую ближе к истинной сути современного мира, постепенно и повсеместно превращающегося в единое и однородное Общество Зрелища. Исполнители и хозяева в такой ситуации меняются местами, происходит своего рода «социальная сатурналия», и уже властные институты, политические лидеры и партии становятся нанятыми актерами или простыми статистами в спектакле, чью режиссуру осуществляют их формальные подчиненные.

Профессионалу СМИ ничего не стоит донести до масс информацию, спущенную сверху, полностью поменяв знаки и оценки, и при этом не меняя в ней ни слова в формальной стороне дела — контексты, мимика, видеоряд, ракурсы, цветовые гаммы и музыкальное сопровождение легко дадут тот эффект, который нужен медиакрату, а не чиновнику. Таким образом, при современных технологических условиях возникает новый тип цензуры. Но это уже не цензура СМИ со стороны властей, а наоборот, цензура властей со стороны СМИ.

Независимость и свобода СМИ ото всех и вся влечет за собой, напротив, зависимость всех и вся от СМИ. Кстати, осознание именно этого факта заставляет некоторые радикальные политические силы и организации, явно не вписывающиеся в «систему» и противостоящие «режиму», обращаться к террору для того, чтобы донести свои идеологические, религиозные и мировоззренческие принципы до сведения широкой общественности.

Из обрисованной картины складывается впечатление, что власть СМИ тотальна и ограничить ее нельзя. Конечно, на практике, пока той абсолютной свободы и совершенной независимости «системы» от «режима» еще не достигнуто, и поэтому (по меньшей мере, в нашей стране) еще сохранились определенные рычаги, с помощью которых можно как-то ограничить эту предельно опасную тенденцию. Но необходимо однозначно уяснить, что всякое частичное исправление положения дел всякий раз будет недолговременным и хрупким пока общая цивилизационная тенденция к универсализации Общества Зрелища будет сохраняться. Проблема СМИ не является ни технической, ни узко-социальной. Это глубиннейшая проблема, связанная с тем выбором, который делает сегодня человеческая цивилизация.

Если мы некритично и пассивно примем правила существования постиндустриального общества, согласимся с новым витком логики Капитала, примем Общество Зрелища как неизбежное и безальтернативное наше будущее, то нам ничего не останется как стремиться вписываться в этот контекст и превращаться в «теле-заключенных», в послушных марионеток глобального спектакля, основанного на никем не контролируемой злойшей мистификации. И тогда президентов и парламентариев будет выбирать не народ, не люди, не граждане, а узкий круг медиакратических олигархов, получающих практически неограниченную власть. И в этом случае Правительству, Президенту, иным властным институтам придется признать свою зависимость от тех, кто по своему усмотрению и, подчиняясь логике «реальной доминации капитала» (или еще более сомнительной фигуре из полубылых нами религиозных учений), будет волен верстать реальность, историю, бытие как простой видеоклип.

В противном случае, необходимо всерьез задуматься о том, что стоит за Обществом Зрелищ? Так ли нужна народам земли модернизация и прогресс именно в этом направлении? Так ли они безальтернативны? И если мы откажемся слепо следовать этой логике, то дойдет дело и до масштабной выработки альтернативной цивилизационной стратегии, иного пути развития, который не просто возможен, но, по нашему глубокому убеждению, и действительно необходим.

И в этом случае, отвергнув логику Зрелища ради логики Реальности, отвергнув императивы Капитала, ради победы Справедливости и Труда, отвергнув «систему» массового гипноза ради достойного и не спровоцированного личного выбора, мы сможем поставить на место и СМИ, которые

автоматически перестанут быть «четвертой властью», заняв более скромное и более подобающее им место.

А.Г.Дугин

"Вторжение", №8, 1998
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ДЕНЬГИ

Капитал как субъект истории

Деньги являются высшей реальностью современного мира, победившим всех конкурентов универсальным идолом. Жак Аттали справедливо называет нынешний исторический этап «денежным строем», *Ordre d'Argent*. Наше время характеризуется полным триумфом денег, которые стали своего рода тоталитарным эквивалентом, общим знаменателем для всех вещей и процессов реальности. Сбылись тревожные предвидения Маркса, утверждавшего (в «Капитале»), что может наступить время, когда единственным субъектом истории останется Капитал.

Деньги представляют собой сегодня универсальный эквивалент «чистого количества», сконцентрировавший в себе все остальные параметры материальности. То, что было на прежних этапах истории материальной, инерциальной преградой для осуществления духовных начинаний, сегодня превратилось в абсолютизированную и приобретающую автономность массу. Капитал не просто вобрал в себя результаты истории, он тщится заменить божество, воссоздавая по своей прихоти самые разнообразные события прошлого, причем трактуя их в произвольном ключе. В питаемой Капиталом индустрии образов поп-звездами становятся диктаторы и тираны, маньяки и ничтожества, фиктивные персонажи и святые. Деньги обладают абсолютной властью над настоящим, а следовательно, способны воссоздавать прошлое и управлять будущим. Деньги — единственное содержание постмодерна. Их нельзя иметь, это они имеют нас, превращая любое начинание, любую инициативу, любое предприятие в сервильное обслуживание цифровой массы. Больше нет капиталистов и хозяев, все — только менеджеры, слуги перемещения Капитала по его прихотливым, своевольным путям.

Капитал преодолел капитализм, деньги поработили своих владельцев, постепенно превратившись из инструмента в самостоятельное господствующее существо.

«Белая точка» фигуры Кузанского

Капитал, стремясь стать чистым количеством, имеет перед своим последним шагом к планетарному триумфу целый веер того, что он пока еще не преодолел, не изжил, не переварил, не трансформировал в экран, заполненный послушным мельканием фосфорисцентных миражей. Этот веер есть остаток жизни, последняя гранула света в знаменитой фигуре Николая Кузанского, которая представляет собой два взаимопроникающих треугольника — черный и белый. В ходе деградации реальности белый треугольник сужается, стягиваясь к точке. Черный становится всей плоскостью. Это и есть «царство количества» (по выражению Рене Генона) или «денежный строй» (Аттали). Иначе это называется «постисторией» (Бодрийяр) или «постиндустриальным обществом» (Бэлл). Маленькая белая точка, рассеянная повсюду, но сущностно единая — лишь она противопоставлена давлению денег. Поиск ее, утверждение ее, служение ей составляет жизненный смысл современного неконформизма, смысл священной войны против темной магии Капитала.

Капитал стремится преодолеть последние преграды для своей тотальной онтологической свободы. Эти «преграды» должны сплотиться в «единый фронт». Фронт «белой точки». Но для этого надо пристально исследовать все пласты реальности, в которых могут скрываться кванты того, что не есть деньги.

Деньги против времени и пространства

Так как Капитал хочет управлять всей реальностью, ему необходимо подчинить себе две наиболее обобщающие модальности — время и пространство. Все время и все пространство, которые имеют автономное от денег существование, представляют для капитала угрозу, урезают его

могущество. Если бы у времени и пространства не было качественных сторон, это не составляло бы для Капитала проблемы. Но это не так. Существует качественное время, и оно называется «историей». Существует качественное пространство, и оно называется «сакральной территорией» или «геополитической картой». Это и есть два последних проявления «белой точки».

Когда-то сама история и сама территория были преградами для человеческого духа, стремившегося к вечности по ту сторону времени и к освобождению от всех ситуативных ограничений. Но времена духовной полноты давно прошли. Сейчас мировое зло настолько сконцентрировано и экстерниоризировано, что все его предшествующие воплощения представляются почти святостью. Если раньше «история и территория» подлежали преодолению, то перед лицом «тотальной доминанции Капитала» их следует защищать.

История — это время, имеющее содержание, а территория — пространство, имеющее смысл. Капитал хочет выжать содержание и смысл и заменить их собой. «Сколько стот минута эфирного времени?» «Сколько стоит этот участок земли?» То время, которое не является эфирным, и та земля, которая не продается, не существуют в мире Капитала. Это пережитки «варварских цивилизаций».

От сакрального времени через рабочее время к эфирному времени. От сакральной территории через землевладение к контролю над виртуальным пространством. Такова логика планетарного наступления Капитала на жизнь, логика финансового Спектакля.

Поэтому лозунги «конца истории» и «мондиализма», «единого мира» являются боевым кличем лакеев количественного чудовища. Фраза «End of History» на деле означает «End to History». А денонсация «геополитики как лженауки» в устах либерала означает не что иное как его агрессивную решимость покончить с множественностью своеобразных культур и цивилизаций земли. Они провозглашают то, что хотели бы видеть. Даже не они сами, а тот, кто стоит — точнее, ползет — за ними, тлетворно дышит сквозь них.

Деграция светлого неба

Почему именно деньги оказались «телом антихриста»? А не жестокость, властолюбие, извращения, как то представляло себе эсхатологическое воображение древних. Почему Цезарь Борджиа, Макиавелли или Сен-Фон де Сада выглядят трагическими романтиками в сравнении с аккумулятивными (и не исключено, что вполне моральными) «голдеными бойз» мировых бирж?

В традиционном обществе «деньги» сами по себе были сакральными, качественными. Тогда они были не капиталом, а вещественным сгустком солнечной жизни. Их чеканили жрецы, украшая священными символами, приближая ми к небу и свету. Ими владели только достойные, передавая как талисман. Эта сакральная природа денег сохранилась и в русском слове. «Деньги» происходят от тюркского корня, означавшего «небо», «дингир», «тэнгри». Так же у тюрков называлось и высшее божество.

Некогда деньги были материальным выражением света, сгущенным светом благородного золота.

Но постепенно их природа изменилась на прямо противоположную. Вначале прерогатива чеканки монет была отнята у касты жрецов в пользу второй касты—воинов и князей. Позже финансовые вопросы были перепоручены еще более низкому сословию — буржуазии вместе с мировым отребьем ростовщиков, менял, принадлежавших к неприкасаемым.

Потом вместо золота стали циркулировать банкноты как обязательство это золото при необходимости предоставить. И наконец, в 70-е и этот пережиток «качества» был упразднен, и бумажки перестали быть обеспечены «сгущенным светом».

Теперь и сами банкноты стали замещаться карточками и виртуальными кодами, и процесс десакрализации дошел до своего предела. Полный цикл пройден — от светлого неба качества в материальный ад количества.

Фальсификация имиджей

Приравнивание вещи или процесса к финансовому эквиваленту означает их вычеркивание из бытия. Если есть цена, стоимость, значит содержание вытеснено. Подлинное бытие есть то, что

имеет центр в самом себе. Все остальное — подделка, фальсификат, мираж, управляемая кем-то посторонним галлюцинация.

Демон денег фальсифицирует ткань реальности, легко превращая любую вещь вначале в цифровой код, а затем в плоскостной, но завораживающий экранный имидж. Причем стратегия Капитала настолько тонка, что он не атакует противника — «белую точку» — в лоб. Он стремится вначале выяснить ее внутреннее черное ядро, а затем искусственно обелить. Тьма хочет сама выставить от себя «белую точку». Поэтому Капитал финансирует Революцию, превращает цифры в образы, заставляет механику кристаллов имитировать органику жизни.

Помимо своей воли участниками грандиозного спектакля, выстроенного деньгами, становятся все те, кто по инерции принадлежит к иной реальности. Контркультура превращается в арсенал идей для рекламных роликов, исламские террористы становятся героями видеоклипов, радикальная оппозиция перемалывается в фоновый инструментал в стиле «амбиент» или в ярлык для одеколona.

Из ГУЛАГа и Освенцима можно было выйти. Но как можно выйти из тесных рамок экрана?

Тогда он осознает нас...

Изучение истории и географии — без внешнего финансового стимула, без заказа — становятся сегодня такими же революционными занятиями, как изготовление самодельных взрывных устройств. Более революционными занятиями. Вырвать любую вещь — малую или большую — из-под бремени Капитала — в настоящее время приравнивается к подвигам Геракла.

Но любое усилие будет тщетным, пока мы не поймем со всей ответственностью, как глубоко внизу мы все очутились. Все прежние рецепты не действительны. Магия Капитала чудовищно сильна и эффективна.

Она преодолела классы и нации, сломала государства и сословия. И тот малый островок сопротивления, который еще остался — наша «белая точка» — вот-вот грозит рухнуть под мягким давлением надвигающейся кромешной ночи смыслов.

Если мы не заглянем в самый центр этого ада, если мы не сможем осознать последней тайны финансового дракона, зверя, мы фатально проиграем нашу битву, а монстр легко и без усилий превратит наши лозунги и позиции, наши идеи и наши доктрины в уютную развлекательную телерезерва цию, «кино не для всех».

Без такого интеллектуального рывка, без прозрения, без жертвенного прыжка в пасть чудовища, без мужественного прослеживания всего механизма, превращающего живое в мертвое, вплоть до корней, до истоков, до сверхплотного, мясистого, ядовитого ядра, нам не победить. Нам даже не начать сражения.

Задача крайне трудна, почти невыполнима. Особенно страшно оттого, что ее насущность так слабо осознается.

Если мы не сможем осознать Капитал, он осознает нас.

А.Г.Дугин

Террор против Демиурга

Тезисы об актуальности анархизма)

Анархизм: взгляд справа

Анархизм считается максимально левым флангом левой мысли. Это тотальная критика слева всех остальных разновидностей революционных идеологий: от марксистов до социал-демократов. Анархисты бичевали у других леваков наличие старых, реакционных элементов. Для анархии все иные формы являются завуалированным выражением древнего и единственного врага — власти.

Анархизм стремится обосновать систему радикальной антитезы общества, основанного на принципе власти. Отсюда название «ан_архия», дословно — «отсутствие власти».

Анархия претендует на то, чтобы быть левым без примеси правого, но это не удастся. И здесь в анархизме сплошь и рядом мы встречаемся с элементами того, что традиционно принадлежит «правому». Показательны примеры Эволы, «правый анархизм» Эрнста Юнгера, автора концепции «анарха».

Примеры «правого» компонента в анархизме многочисленны. Самым ярким является мистицизм. Бакунин — масон, мистик — интересовался движением бегунов. То же самое Кельсиев. Крупный деятель анархизма Теодор Ройсс — масон, мистик, основатель «Ордена Восточных Тамплиеров» (вместе с Карлом Кельнером). Позже Алистер Кроули. В России Карелин, Солоновичи, кружок вокруг музея Кропоткина. Анархо-хлыстовская секта Алексея Добролюбова. Множество других примеров дает А. Эткинд в книге «Хлыст. Секты, литература, революция».

Мистицизм едва ли может быть отнесен к «левому», «прогрессивному» течению. Он предполагает веру в потустороннее, некоторый архаизм.

Другое дело: каков этот архаизм? Какова структура анархического отношения к мистике?

«Против начальств, против властей...»

Мистицизм анархистов покоится на особой гностической формуле. Суть ее сводится к следующему: существует не одна реальность, иерархически устроенная, гармоничная, благая сама в себе, но две (или больше). Имманентная реальность покоится на узурпации, на попытке выдать худшее за лучшее, за единственное и безальтернативное. И поэтому имманентная власть есть власть онтологически неправая, несправедливая, злая. Ранние гностики опирались на апостола Павла — «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной». Христианская версия гностического анархизма покоится на этом фундаменте.

Далее, правда, у того же Павла сказано: «Рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». Ортодоксия совмещает призывы к социальному конформизму и к духовному неконформизму. Радикальные гностические круги продлевают призыв к неконформизму и на социальный план.

Но эта революция против «мира сего» в полноценной анархо-гностической картине предполагает и вторую утвердительную часть. Против мира сего за мир иной, за лучший мир, за «наш» мир, за новый мир. И этот альтернативный мир имел позитивные, созидательные черты. Это — световая вселенная, мир Благотворного и Справедливого Божества, мир истинного Добра, узурпированного сатаной, «злым демиургом». Следовательно, структурно и типологически крайняя революционность анархизма скрывает в себе крайнюю степень консерватизма, утвердительности, созидательности, только радикально трансцендентного порядка. Это не безответственный нигилизм. Это отрицание того, что, по мнению гностического анархизма, само по себе является тотальным отрицанием Добра.

Империя: сакральная и профаническая

Проследить мистические корни западного анархизма не составляет труда.

Но причем здесь бегуны, староверы, которых называют наиболее последовательными русскими анархистами? К которым исследователи возводят мировоззрение Бакунина? Которых пытался подвигнуть на масштабный антигосударственный террор Кельсиев?

Гностики формулировали свои радикальные доктрины в доимперской среде, когда христианство еще не стало правящей религией. Их отторжение мира сего подкреплялось наблюдениями за языческой, невоцерковленной средой позднего Рима, подтверждая их радикализм отказа от всего внешнего. Иными словами, гностики были «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего...» еще и потому, что те были нехристианскими — эллинами или иудеями.

При воцерковлении Империи власть стала христианской. И гностический анархизм рассеялся. Возобновление такой линии приходится на тот период христианства, когда номинально

христианское общество начинает отчуждаться от своей сути. И в этот момент снова становится актуальным тот же самый дуалистический подход, радикально и бескомпромиссно противопоставляющий мир сей и мир иной, «власти мира сего» властям мира иного.

Диагноз бегунских наставников

Именно в период полной десакрализации католичества возникают радикальные масонские ложи. А десакрализация никоновской Руси, романовской, прозападной, «кадровой» России, трагически осознается наиболее крайними кругами русских православных мистических патриотов — староверов.

Бегуны зашли в отрицании «властей начальств и мироправителей века сего» дальше других, считая, что антихрист уже воцарился в лице Петра Первого. Так произошло типологическое сближение крайних беспоповских толков с гностической формулой, элементы которой видны уже у тех русских аскетов, кто воспринял падение Византии как абсолютную апокалиптическую катастрофу — особенно с линией нестяжателей, позднее последователей радикального старца Капитона.

Анархия — мать Добра

Крайний нигилизм анархистского импульса оказывается отнюдь не последним словом в десакрализации и отрицании Традиции. Напротив, в основе его лежит тотальное несогласие с этой десакрализацией, абсолютное отвержение именно «мира сего», «века сего», в котором правят злой демиург и его аколиты, «авлийи эш шайтан», «святые сатаны».

Сама знаменитая формула «анархия мать порядка» есть перевод в социальное измерение тезиса о необходимости радикальной отмены мира зла для того, чтобы смог обнаружить себя мир Добра. Так как мир зла является «преградой» для его обнаружения («сатана» на древнееврейском «преграда»), то его надо разрушить до основания. Важно, что анархисты понимают «новый мир» не как свое создание, но именно как обнаружение. Они хотят не реформировать, переустроить, подновить реальность, они хотят радикально преобразить само ее качество. Они в этом были последовательные консерваторы, будучи наиболее последовательными разрушителями. Но разрушают они сам дух разрушения, идола «ветхого порядка», крепость демиурга.

Странная «душеспасительная» акция

Анархисты считаются синонимом радикального террора. Но и за этим стоит не столько социальный, сколько онтологический, космологический смысл. Террор для анархистов не средство добиться политического признания. Он носит не столько социально-политическую, сколько антропологическую нагрузку. Террористы-анархисты бросают бомбы не в людей, не в представителей класса, не в социально значимые фигуры. Они бросают бомбы в антихриста и его слуг, и сам этот акт является уже в самом себе своим собственным оправданием и своим собственным обоснованием.

Анархо-террор является, в конечном счете, «акцией душеспасительной». Он призван спасти «мировую душу» из ядовитых объятий узурпатора.

Правый анархизм и Россия

Теперь легко понять, откуда «правые элементы» у классиков анархизма — Штирнера и Прудона. Это два полюса в рамках анархизма: один — персоналистский, другой — коллективистский.

Штирнер учит о единственном, о подлинном субъекте, выходящем из-под гипноза могуществ мира сего, воплощенных в социальной системе, ее штампах, иерархии ее зависимостей. И здесь он вплотную подходит к гностической концепции «атмана», высшего духовного «Я», развитого в индуизме, эзотеризме иных традиций. Отсюда интерес к Штирнеру Эволы, включающего его в свой философский пантеон. Прудон — противоположный полюс. Его «правизна» не в «науке Я» (концепции «Единственного»), но в идеализации сельской общины, автономии естественных органических коллективов, которые, выходя из-под контроля отчуждающего могущества Государства (демиурга), возвращаются к корням общинного существования, связанного с традиционной этикой и землей, почвой. Это есть идеал, приближенный к идеалу раннехристианской Церкви, то есть снова глубоко архаическое и «правое» по сути явление.

Бакунин и Кропоткин стоят на том же уровне, что и Штирнер и Прудон. Россия традиционно занимает, по меньшей мере, половину мест в левом движении, тогда как остальная половина приходится на представителей всех остальных европейских и неевропейских народов. Налицо явная диспропорция. И победа крайне левых в октябре произошла только у нас. Замечательно, что именно в нашей глубоко «реакционной», «архаической», «почвенной», «консервативной» стране и таком же народе. Это не случайно. Нам крайне близок этот парадоксальный дух, этот гностический пульс, этот удивительный духовно-религиозный и социальный одновременно комплекс, который стоит за феноменом радикального мистического анархизма, этой крайней формы Консервативной Революции.

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ИОСИФ СТАЛИН: ВЕЛИКОЕ «ДА» БЫТИЯ

«Ewig bin ich dein Ja»
Ф. Ницше

Деспот Сталин

Сталин — настолько масштабная фигура, что любое обращение к его личности, его функции, его миссии в истории сразу же ставит перед нами необъятные проблемы. Можно говорить о Сталине с геополитической точки зрения — как о крупнейшем евразийце-практике; можно с идеологической — как о выдающемся, ключевом деятеле мирового социализма; можно с государственной — как о создателе мощнейшей в истории мира империи. Но часто Сталин ассоциируется с эмблематичной, знаковой фигурой тирании и деспотизма. И от этого нельзя уйти даже в том случае, если нас интересуют иные стороны его личности.

Какова глубинная подоплека этой — тиранической — черты великого деятеля мировой истории?

Социолог Сталин

Сталин устойчиво ассоциируется с чистками, репрессиями, показательным государственным террором. Когда же дело заходит до объяснения природы этого явления, мы сталкиваемся с примитивными, сверстанными по меркам банального мышления и обывательского кругозора версиями — личная паранойя, врожденный садизм, жестокость, маниакальная мания величия, антигуманность большевистской идеологии и т.д. Все банальное — ложь, и следовательно, все придется начинать сначала.

Чему служили сталинские чистки с социологической точки зрения? Сами вожди СССР всякий раз объясняли их по-разному, исходя из «актуальности момента». Ясно, что это был «Эзопов язык», и его подробная и достоверная расшифровка увела бы нас слишком далеко в лабиринты исторических деталей. Налицо факт: перманентные волны чисток в высших эшелонах советского руководства. Не важно, чем они всякий раз обосновывались, важно лишь, что это — устойчивое явление, по-видимому, тесно связанное с самой социологической структурой советского общества в первой половине его цикла. Для объяснения феномена «чисток» полезнее всего прибегнуть к теории итальянского социолога Вильфредо Парето, сформулировавшего принцип «циркуляции элит».

Согласно Парето, в каждом обществе — как бы оно ни называлось и на какой бы идеологии ни основывалось — явно прослеживается неизменный общественный закон. Он заключается в том, что любое общество — и демократическое, и тоталитарное — всегда управляется меньшинством, представляющим собой его «элиту». Эта элита имеет строго фиксированный механизм циклического развития. Корни ее уходят в некоторую оппозиционную («пассионарную», по Гумилеву) группу, которая лишена власти и полномочий существующей верхушкой, но по всем признакам способна осуществлять центральные функции. Эту изначальную «элиту», «пассионариев», еще не пришедших к вершинам власти и сосредоточенных на периферии, Парето называет «контрэлитой» или «элитой будущего». В определенный момент «контрэлита» опрокидывает старую правящую

группировку и захватывает центральные позиции в обществе (государстве), становясь, в свою очередь, просто элитой, утрачивая частицу «контр». В начале своего правления «новая элита» действует активно и адекватно, укрепляет общество, развивает его, дает общественному и государственно му бытию новый импульс. Потом она начинает застывать. Второе поколение той же элиты состоит уже из более пассивных элементов, сменяющих в спокойную эпоху первую активную, фанатичную волну пассионариев. На третьем поколении элита ветшает, стремится всячески приватизировать властные функции в обществе, несмотря на то, что разложение, лень, коррупция, недееспособность, паразитическое отношение к власти как к привилегии, как к капиталу, а не как к общественному служению, делают ее неадекватной номинальным функциям, и тогда она становится препятствием для развития общества. Тогда, утверждает Парето, на периферии снова оформляется «контрэлиты та» пассионариев, и все начинается сначала.

И Ленин и Сталин были знакомы с теориями Парето, модным в то время автором в европейских социалистических кругах. Нет ничего удивительного, что большевики, столкнувшись с конкретикой «реальной политики», начинают использовать теории «прагматика» Парето, не заботясь о том, чтобы примирить их с ортодоксальным марксизмом.

Сам приход большевиков к власти — а Сталин был именно в гуще этой первой, сугубо пассионарной волны большевиков (то есть он — плоть от плоти «контрэлиты») — был радикальной, тотальной, не имеющей аналогов по масштабности сменой элит. Ленинские чистки, революционный террор — первый аккорд циркуляции элит, смена неадекватной, разложенной верхушки консервативно-капиталистической царистской России на гиперактивных выходцев с социального дна. Романовская, дворянская элита вырождалась (по Парето) уже не одно поколение, поэтому сменившая ее контрэлита большевиков вынуждена была действовать довольно радикально. Но этот этап советской истории связан с Лениным и ленинизмом.

Сталин осуществляет свои «чистки» на принципиально ином этапе, когда пассионарии низов уже надежно обосновались на вершине власти. На глазах Вождя убежденные идеалисты, фанатики «нового порядка» превращаются в коррумпированных, своекорыстных администраторов, чиновников; классовая и партийная солидарность, общность высокого идеала быстро вытесняются в большевистской элите новыми шкурными интересами. Начинается «бюрократизация» большевизма, неизбежный второй этап застывания элиты. Но Иосиф Сталин не дремлет. Тут-то и включается аппарат чисток.

Против чего он направлен? — Против социального закона стагнации элит. Сталин стремится продолжить ротацию кадров, которая имеет естественную тенденцию буксовать на каждом этапе. Стоит только какой-то активной группировке подняться к вершинам, как тут же начинается имитация деятельности, клановость, групповщина. Перед партией и страной стоят сложнейшие задачи. За них в первую голову отвечает Вождь. А тут еще неизбывная косность социальных паретовских механизмов вырождения элиты! В условиях гигантского перенапряжения всех сил нации, строящей небывалое общество Справедливости и Счастья, не до нюансов. Под нож идут все те, кто выказывают признаки «второй стадии цикла элит». Иногда возникают перегибы. Но это детали. Социолог Сталин вполне усвоил уроки Вильфредо Парето.

Пока он был жив, циркуляция элит была гарантирована. Суровой ценой, слишком суровой ценой... Но конец чисток означал необратимый процесс «стагнации». Сегодня мы знаем, к чему это привело и партию и государство.

Законы Парето подтвердились самым трагичным для страны, народа и государства образом.

Антрополог Сталин

Человечество в целом трудиться не любит. А планомерно, самостоятельно и гармонично трудиться вообще не способно по определению. Отсюда вытекает необходимость внешней мотивации труда с соответствующей его организацией.

Есть два глобальных решения: капиталистический и социалистический. Капиталистический подход заключается в том, что самым эффективным принуждением человека к труду считается экономический террор. Кто не идет трудиться, тот обречен на экономическую гибель, тот не может купить продукты, оплатить жилье и одежду. Безусловно, это форма прямого организованного насилия системы. Оттого, что угроза смерти здесь опосредована, дана через шаг, суть дела нисколько не меняется.

Есть второе решение — социалистическое. Пока человечество «не доросло» до настоящего свободного труда, приходится принуждать людей к труду неэкономическими способами. Для этого годится моральное давление, особая трудовая этика, наконец, прямое принуждение. При социализме труд не ставится в зависимость от денег и материального благополучия. Силowymi методами здесь прививаются духовные, этические навыки. Капитализм цинично относится к человеческой пассивной природе, стремится эксплуатировать ее, не изменяя. Социализм воспринимает тот же (бесспорный) факт трагически, силится его превозмочь, преодолеть несознательность человеческого существа

Отсюда два пути насилия: мягкое, но крайне циничное насилие капитализма, эксплуатирующего человеческую слабость, и жесткое, но в пределе преображающее, спасительное, этически оправданное насилие социализма, неэкономическое принуждение к труду.

Иосиф Сталин прекрасно понимал антропологический дуализм двух подходов. По ту сторону безответственных, кабинетно-интеллигентных «гуманистов» от социализма, Иосиф Сталин имел дело с реальностью, причем с нутряной, побеспокоенной, разоблаченной, обнаженной человеческой реальностью, вывернутой наизнанку после акушерской мистерии Революции.

Неэкономическое принуждение к труду, жесткая этическая антропологическая терапия—второй уровень осмысления чисток.

Людей надо наказывать, надо заставлять трудиться, надо силовым образом трансмутировать их косную природу, превращая ее из лунно-пассивной в солнечно-активную, из потребительской в трудовую, из ветхой в новую. Социализм перестанет быть социализмом, если он откажется от этой важнейшей миссии. Сталин понимал все. И воплощал принципы «новой антропологии» в жизнь.

Философ Сталин

Философия социализма основана на основополагающем принципе — вторичности индивидуума относительно некоей органичной, целостной, коллективной реальности. Индивидуум — лишь отлитая деталь. Матрица — общество. Индивидуум — серийная штампованная продукция. Причем в социалистической перспективе само общество не складывается из индивидуумов, но, будучи первичным, создает индивидуумы, учреждает их как свое продолжение, как нечто вторичное.

Буржуазная философия, напротив, ставит во главу угла индивидуума. И все коллективные формы считает продуктом агломерации атомарных индивидуальных особей. Отсюда идея контрактной, искусственной, договорной, вторичной основы любых объединений — нации, государства, класса и т.д.

Два несовместимых философских подхода предопределяют два взгляда на террор, формируют две философии террора.

Буржуазное общество рассматривает террор как необходимую меру, осуществляемую на договорной основе над теми индивидуумами, которые переступают границы в соблюдении индивидуальных прав остальных граждан или нарушают социальный контракт, принятый этими гражданами. На этом строится либеральная теория права.

Социалистический подход иной. Не признавая первичности индивидуума, социализм совершенно иначе видит саму природу террора. Террор — неотъемлемая прерогатива общественного целого по отношению к каждому отдельному его фрагменту, коль скоро этот фрагмент отказывается признавать себя инобытием целого и заявляет (словом, делом или намеком) о своей самости. Иными словами, социалистический террор направлен сущностно против «автономного индивидуума», против особой философски-бытийственной установки человека. Это — социалистический аналог того, что немецкие романтики, органицисты и русские славянофилы называли «холизмом» или «соборностью».

Нелепо мерить буржуазными нормами и критериями правовую и этическую модель социализма. Когда несправедливо истязаемые в застенках НКВД советские вожди или простые люди после унижений и пыток, тюремных лишений и морального садизма перед расстрелом выкрикивали «Да здравствует, Сталин!», «Да здравствует социализм!» — они не кривили душой и не вымаливали пощады. Они утверждали великую социалистическую философскую истину: индивидуум — ничто перед лицом общества, но не всякого общества, а социалистического, положившего «онтологию общественного бытия» (Д. Лукач) в свое основание.

Иосиф Сталин превратил в педагогический (почти метафизический) праксис философский принцип «первичности общественного бытия».

Как и Иван Грозный, считавший царский террор необходимым трагическим элементом социального «домостройства спасения», Сталин через практику репрессий утверждал важнейшую духовную, сотериологическую истину.

Dulce et decorum est pro Stalin mori

Много раз цитировались слова, сказанные Сталиным генералу Де Голлю в ответ на его поздравление с Победой — «В конечном итоге, побеждает Смерть».

Что это за тезис, смутно напоминающий строем своим глубокую религиозную истину?

Смерть — это реальность, кладущая предел раздельности индивидуального существования. На этом кончаются временные и пространственные трепыхания отдельного, атомарного существа. Как будто мы входим в торжественную, темную залу, где царит возвышенный покой, мягкий строй непоколебимого, вечного, триумфально застывшего бытия. Смерть — высшая стадия дифференцированной всеобщности.

Невротичные индивидуалисты еще при жизни пытаются загромоздить чистейшие просторы смерти обрывками сюжетов и перипетий, сверстанных по аналогии с посюсторонним миром, сделать и посмертные регионы ареной бессмысленной мышины возни жалких, ленивых и неказистых человеческих душ в кампании со столь же «человеческими-слиш ком человеческими» ангелами или чертями. Но как есть самый правильный сон (сон без сновидений), есть и самая правильная смерть — смерть как темная тишина, как реальный и строгий, благородный покой. То, что следует за смертью, не имеет ничего общего с тем, что ей предшествует. В синкопическом миге разрыва схватки агонии превращаются в готически успокоенное небытие. Смерть есть тайный двигатель жизни, именно она дает духовную насыщенность всему тому, что и в посюстороннем мире представляется достойным, благородным и интересным. Что может быть чище самурайского культа смерти, являющегося животворной основой верности и чести, кодекса благородного воина.

Dulce et decorum est pro Patria mori. «Сладко и благородно погибнуть за Отечество». Если внимательнее приглядимся к этой формуле, увидим, что акцент в ней ставится не столько на этической нагрузке поступка, сколько на факте смерти, который сам по себе и облагораживает все остальное. Вообще все вещи, за которые считается достойно умереть, уже сами в себе несут нечто от Смерти. Отечество, Родина — эта идея связана с умершими поколениями, с тихим миром тех, кто когда-то, жертвуя собой, создал из хаоса ландшафтов и территорий прекрасную стройную государственную конструкцию. Римляне считали империю сакральной (не контрактной), поэтому и умирали за нее с готовностью и радостью.

«Сладко и благородно погибнуть за Справедливость». «Сладко и благородно погибнуть за высокий идеал Целого». Все, что превышает индивидуальность, достойно того, чтобы отдать за это жизнь. Смерть побеждает не бытие, она побеждает лишь индивидуальность, индивидуальную иллюзию бытия. Все остальное остается. И по ту и по эту сторону. В тайной гармонии, связывающей между собой все, что по настоящему ценно.

Иосиф Виссарионович Сталин, — с именем которого миллионы русских, советских людей шли на верную смерть, с именем которого поколения трудились в чудовищных условиях, преодолевая неподатливую, косную плоть упрямой материи, с именем которого смиренно и озлобленно тянули страшную ляжку ГУЛАГа и правые и виноватые, с именем которого фанатики Великой Мечты всех наций и рас бились с унижительными энтропическими темными законами Капитала, — имел необъяснимую связь с последним таинством истории — с таинством Смерти.

Кажется, половиной своего существа он напряженно вглядывался в непроглядный темный горизонт. Без дешевых ораторских трюков, без мещанских среднеевропейских факелов (напоминающих парады *gay pride*), без слащавой мистики бутафорских рыцарей с картонными мечами, без карикатурного псевдожречества и псевдоритуала, строгий и светский, скромный, невысокий грузин, он был настоящим посланцем из высшей инстанции мира, носителем тайной вести, вести о Смерти, о ее загадочной, обволакивающей стихии, вести о тишине, о странном достоинстве того, что покинуло сферу превращений.

Великий Сталин. Молчаливый посланец Смерти.

Один индийский философский текст «Маджхиманикайо» намекает на сущность этой мистерии: «Тот, кто понимает смерть как полную смерть, и приняв смерть как полную смерть, думает, исходя из главенства смерти, думает о смерти, думает исключительно о смерти, думает «смерть — это моя последняя цель», и кто беспрестанно радуется смерти, тот... никогда не познает смерти».

Это означает, что Сталин жив, потаенно жив в каждом из нас.

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

АПОЛОГИЯ АНТИФАШИЗМА

Нет сомнений в том, что самые любопытные (концептуально, философски и идеологически) моменты эволюции неконформистской мысли заключаются в захватывающем открытии крайне правыми, традиционалистами, правоты и глубины крайне левых — марксистских, анархистских и народнических представлений. Если мы бросим ретроспективный взгляд на семейство крайне правых движений и их лидеров и теоретиков, все антикоммунистические националисты представятся крайне скучными, их дискурс банальным, их политические шаги фатально неверными. И наоборот, от всех неортодоксальных крайне правых, собственно консервативных революционеров, от всех тех, кто внимательно и пристально прислушивался к левацким, революционным, социалистическим и коммунистическим воззрениям, неизменно веет свежестью, новизной, актуальностью, неизрасходованным, цельным и интересным потенциалом. Тот, кто этого не замечает, закоренелый. Непробудный. С ним лучше не считаться или относиться к нему как к коллекционеру.

Есть, конечно, у левых некоторые стороны, которые оказываются неудобоваримыми для традиционалиста. Которые, вводят в ступор, представляются непреодолимыми. Но если мы дадим себя загипнотизировать такими ловушками, мы утратим жизненно важную инициативу. Поэтому надо набраться мужества, ничему не удивляться и продолжать двигаться в раз и навсегда выбранном направлении.

Здесь речь пойдет ... о чем вы думаете? Ни за что не догадаетесь. —

О позитивных аспектах антифашизма.

Антифашизм на службе у Системы

Конечно, никто не собирается отказываться от программного тезиса о вреде «антифашизма» для революционной идеологии, о просистемной и марионеточной функции этой тенденции. О ее двусмысленности и коллаборационистской миссии. Профессиональный «антифашизм» леваков служит лишь Системе, которая таким образом натравливает один лагерь революционеров на другой, обеспечивая себе, тем самым, свободу и безопасность. Но есть и иной аспект. Если мы согласны (а мы согласны), что левое и особенно крайне левое направление в политике вдохновляется совокупностью ценностей, явно созвучной крайне правым, только выраженной на совершенно ином, особом языке, нуждающемся в переводе, новой интерпретации, значит мы должны подвергнуть тщательному осмыслению и переосмыслению все существенные стороны левачества, приведя к общему знаменателю все, что может быть спасено и сохранено, и отбросить лишь то, что никак и ни с какой стороны не содержит позитивного неконформного революционного потенциала.

Итак, антифашизм. Есть ли в нем зерно истины? Если есть, то в чем оно заключается?

Самым принципиальным элементом критики марксизма (и левачества в целом) в отношении фашизма является обвинение его в солидарности с интересами буржуазии, в замазывании классовых противоречий, в антипролетарской, контрреволюционной и просистемной, капиталистической и конформистской функции.

Так ли это? — Безусловно, так. То, что совокупно принято называть историческим «фашизмом» (итальянский фашизм и германский национал-социализм), на самом деле, в конечном счете, представлял собой систему, основанную на глубоком и нерасторжимом альянсе идеологизированного националистического политического движения с крупной буржуазией и государственно-чиновничьим аппаратом. Революционный и социалистический пафос был характерен только для ранних этапов развития фашистских режимов и сохранялся позже в виде рудиментарных, лозунговых, почти чисто демагогических элементов.

Это касается не только прагматических компромиссов. На самом деле, фашизм даже самый левый, настойчиво отрицает классовую борьбу внутри одной нации и призывает к национальной солидарности всех классов вопреки марксистскому стремлению провести внутри нее резкую разделительную черту. Иными словами, фашизм теоретически отрицает интернациональную природу Капитала и ставит во главу угла межгосударственные и межэтнические (иногда межрасовые) противоречия, рассматривая нацию, этнос, государство и расу как основной движущий фактор истории. Вообще говоря, именно эта концепция национальной (расовой) солидарности составляет ярчайшую черту фашизма, причем она противопоставляется доктринально классовому подходу.

Для фашиста нация превыше всего. Но на практике, это означает, что она превыше класса.

Для коммуниста класс превыше всего, что означает, в сущности, что он превыше нации.

Кто прав?

Классы и светила

Начнем с класса. Чем он так дорог коммунистам? Отвечу прямо — за теорией классов, не классов вообще, но классов у коммунистов, стоит очень глубинное гностическое представление о фундаментальной подмене, осуществленной некой темной сущностью в глубинном порядке вещей. Не просто четвертая каста, каста чандал, должна сменить третью касту — вайшьев. Дело не в этом. Классовый подход коммунистов основан на том, что историей правит темная тенденция отчуждения, неправомерной узурпации, пик которой приходит в капиталистическом строе. Здесь правят самые худшие — прямые агенты энтропии, эксплуататоры солнечного созидательного принципа. Пролетарии, труженики, надчеловечество, люди солнечной природы, производящие и отдающие, а не хватающие и не тянущие к себе — тамплиеры пролетариата — оказываются в невыносимом рабстве у агентов вселенского вампиризма, у служителей безличной массы Капитала. Капитал и его класс — господа, владельцы, хозяева, эксплуататоры — завершают переворот нормальных ценностей, где в центре и во главе стоит Труд. Класс Труда — это класс Солнца. Оно — высший труженик, оно только отдает и ничего не берет. Класс Капитала — класс Луны. Он только берет, узурпирует, присваивает, отчуждает, выдает чужое (отнятое) за свое.

Классовая борьба интернациональна как интернациональны Солнце и Луна. Служить им можно на всех континентах и во всех государствах, суть от этого не меняется.

Для марксиста имеют вес только два эти класса, две метафизические позиции, а все остальные касты и классы в наше время рассматриваются как маски и декорации, лишь вуалирующие подлинную и единственную дуалистическую проблематику, эсхатологическую проблематику.

Как же такой мистический классовый подход понимает фашизм с его национальной солидарностью? — Как умелую и эффективную ложь, призванную отвлечь внимание человечества от подлинной духовной проблематики и заставить народы и государства мучить и ослаблять друг друга во имя окончательной и верховной победы идолища.

Расы и светила

Теперь заслушаем мнение мистического фашизма, более интересного и выразительного, нежели его более приземленные версии. Здесь тоже существует дуализм, но не классовый, иной. Расовый. Его смысл сводится к тому, что существуют хорошие индоевропейцы — дети Солнца, и плохие недолюди — дети Луны. Индоевропейцы, арийцы трудятся, а недолюди присваивают результаты их труда и т.д. Для фашистов не важно, к какому классу принадлежат недолюди, они виноваты всегда и во всем, а если они выступают против каких-то действительно плохих (в глазах фашиста) вещей, то делают это из «подлой хитрости» и «для отвода глаз». Теория классов, по мнению фашиста, также выдумана для того, чтобы расколоть арийское общество и установить на планете свое

господство. Далее логика фашиста переходит от всей арийской расы к своей нации (например, немцев или, к примеру, шведов), а потом, на бытовом уровне воплощением арийского начала становится сам фашист, а во всех его врагах «безошибочно» угадываются черты недолюдей.

Казалось бы, мы зашли в тупик. Фашист и коммунист никогда не смогут понять друг друга. Ведь под Солнцем и Луной они понимают совершенно разные вещи.

Мне все более и более становится симпатичным классовый подход, а не фашистский. Что-то не то в идее национальной солидарности эксплуататоров и эксплуатируемых. Какая-то фальшь в национальном самодовольстве людей, склонных списывать все на «другого», на «козла отпущения» (даже если за этим другим, действительно есть грешки). Более того, история показывает, что «национальный капитал» и консерватизм в целом лежал и в основе краха режимов Гитлера и Муссолини. Именно антикоммунизм привел страны Оси к поражению, а он подпитывался, в свою очередь, влияниями международного капитализма. Когда Германию удалось вовлечь в конфликт с СССР, была предрешена не только гибель Третьего Пути, но и грядущий крах социализма. Нацисты и фашисты оставили нетронутым класс национальных эксплуататоров, и напротив, уничтожили левых националистов. Достигнутая тем самым национальная солидарность оказалась химерой.

Классовый принцип, примененный в коммунистических режимах, был более радикальным. Капитал был отменен, его зловещая магия — опрокинута. Но тоже не все было гладко. Капитализм исчез, а эксплуатация осталась. Класс паразитов поменял личины и переродился в чиновников, аппаратчиков. Троцкий отчетливо понимал всю глубину проблемы и призывал к «перманентной революции» и к «постоянной ротации элит». Этот вариант не осуществился. Но во всех отношениях советский режим был намного ближе к цели. Если у него были фатальные недостатки, так не в радикальности классового подхода, а в определенных уступках, на которые пришлось пойти в вопросе его осуществления.

Классовая Русь

Нам нужна не всякая нация, а только Солнечная, состоящая исключительно из тружеников, героев, пролетариев, людей ума и чести, верности и совести, подвига и творчества. Эта трудовая нация радикально противоположна эксплуататорам нашей же крови. Эта пролетарская нация радикально солидарна со всеми другими пролетарскими нациями. Семитский социалист, революционер, коммунист и гностик нам намного ближе русских этнически капиталистов. У нас одна религия — религия отверженных, обездоленных, последних, которые должны стать первыми в огне эсхатологической революции. У нас одна нация — нация большого страдания и безмерного солнечного восторга.

Я вижу мрачный блеск вампирической Луны в лицах русских людей, существ одной со мной крови, одной со мной плоти, одного со мной духа. Я отвергаю в них эту кровь, эту плоть, этот дух. Моя Русь — иная, альтернативная, без примеси гравитации и энтропии, единственная несравнимая Русь, мать четырех ветров, сожженная в Аввакуме. Я провожу черту.

Я вижу солнечный жар в восстании людей иной расы, иной истории, иного пространства. Я чувствую, что я — брат им.

Я — пролетарий. Я сторонник классовой войны, войны до полного уничтожения противника. Пусть Луна останется одна и будет мрачно тянуть к себе воды океанов, но ее служителей, шавок капитала, сексотов Отчуждения на земле быть не должно. Лучше земле быть пустой.

Национал-большевизм выбирает боевую тропу антифашизма. Антифашизма национального и пролетарского. Мы не русская нация, мы — русский класс.

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ПРОСТО БОЛЬШЕВИЗМ

Национального капитализма не существует (хотя национальный капитализм существовал). Природа капитализма — интернациональна. Она игнорирует все, что препятствует экономической выгоде. А этой выгоде препятствуют любые ограничения на свободу рынка. В том числе государственные, национальные, религиозные и иные границы. Фашизм, не понявший своей собственной истины, относительно необходимости сочетать национализм именно с социализмом, пал жертвой этого чудовищного, непростительного заблуждения. Национализм не может быть рыночным или либеральным. Эта идеология основана на апелляции к нематериальному, коллективному, сверхэкономическому бытию. Общественное бытие стоит и в центре национализма и в центре социализма. Капитализм же основан на радикально иной, непримиримой позиции — на концепции материальной выгоды, эффективности, накопления, рационализации наличного, данного, предметного мира. Напомним, что в основе раннего национал-социализма лежала радикально социалистическая, жестко антибуржуазная концепция Эрнста Юнгера — концепция «Труженика», Der Arbeiter.

Но совершенно незачем обращаться постоянно к опыту Германии или Италии. Современный русский национализм обязан переосмыслить собственный исторический опыт. И при правильном подходе нам станет очевидно, что советский строй, большевизм и был последовательным, законченным, совершенным выражением радикальных русских национальных тенденций в условиях страшного и парадоксального XX века. Большевизм по сути своей, по своей глубинной логике, по своему духу был ничем иным как национал-большевизмом. Если мы внимательно присмотримся к истории компартии, мы обнаружим, что никакого абстрактного интернационализма в ней никогда не существовало. Под «интернационализмом» еще со времен народников понимался исключительно общеευразийской, имперской, социалистический национализм, который точно соответствовал универсальной, всемирно-исторической миссии русского народа как народа, несущего не столько принцип крови, этноса, сколько принцип особого духовного и культурного идеала. Русский национализм всегда был интеграционистским, сверхэтническим, этическим и мессианским. Не расовым, не регионалистским, не локальным. Таким же, как большевизм.

Что это означает для национальной идеи? — Нам необходимо радикально переосмыслить советский период, выработать особую историографическую модель, в рамках которой переписать советскую историю в третьем варианте. Мы знаем пока два подхода — антисоветский и советский. Советский подход рефлектирует советскую историю в марксистских терминах, оставаясь загнивающим, отвлекающим и усложненным, запутанным вследствие многочисленных скачков и периодов развития социалистической доктрины, схоластической методологией. Более того, в связи с катастрофой СССР, магистральная линия собственно советской историографии оборвана, на ее месте появился веер сектантских, маргинальных исторических групп, путающихся в терминологии, враждующих между собой, не способных прийти к единой идеологической оценке советского этапа.

Второй историографический подход соответствует антисоветскому взгляду. В нем есть две позиции. Одна — широко распространенная, «демократическая», «западническая». Согласно этой теории, социализм есть заблуждение и зло, советский период есть аномалия, коренящаяся в темном архаическом, средневековом состоянии недоразвитых тоталитарных азиатских масс, населяющих северо-запад Евразии.

Другая разновидность антисоветской модели — монархическая, «белогвардейская». Согласно этой модели, нормальное развитие своеобразной европейской державы было искусственно прервано заговором фанатиков-инородцев, совершивших антинародный переворот и правивших с помощью насилия и террора долгие десятилетия, пока система не прогнила окончательно.

Разные версии осмысления большевизма в этих двух основных перспективах — советской и антисоветской — хорошо известны, но известны также и внутренние противоречия и натяжки, им присущие.

На самом деле, в том, что имеем, нет главного, истинного подхода к феномену большевизма.

Такой подход может быть сформулирован только в том случае, если будет распознано фундаментальное единство, духовное и этическое родство между национальной (особенно русской) идеей и основным пафосом коммунизма как идеологии, в том числе марксизма. Иные подходы радикально разводят по разные стороны национализм и социализм (коммунизм), видят в них идеологические антитезы, несовместимые тенденции. И убежденность в этой несовместимости проецируется далее на весь ход исторической реконструкции. Последствия известны — суть феномена ускользает, противоречия громоздятся друг на друга, создавая бесконечные натяжки и недоразумения. Быть может, единственным приближающимся к истине подходом, мог бы служить экстремистский западнический либерализм, который характеризуется предельной русофобией в

сочетании с такой же предельной ненавистью к любым формам социализма или коммунизма. Только здесь — хотя и в отрицательной форме — правильно отмечается удивительная солидарность, созвучность большевизма и русской идеи, глубинное родство по ту сторону внешних форм.

Задача сводится к тому, чтобы выработать основы не отрицательной, — как у русофобов-антикоммунистов, — но целиком и полностью положительной, апологетической историографической модели большевизма как феномена, органично сочетающего в себе национальные и коммунистические черты. В принципе, основы такой конструкции заложил Михаил Агурский в бесценной книге «Идеология национал-большевизма», и особенно в ее полном английском варианте «Third Rome». Но удивительно, что за этим гениальным трудом не последовало серьезного развития данной темы у других авторов. Ничего, кроме обрывков, фрагментов, деталей. Хотя, казалось бы, само собой напрашивается создание целой исторической школы, вооруженной методологией Агурского и имеющей в своем распоряжении множество исследований радикальных русофобов-антисоциалистов, чьи выкладки могут братья в качестве готовых блоков с автоматическим изменением этической оценки одних и тех же феноменов с минуса на плюс.

Возможно, для этого нужно было выждать некоторое время, пока пройдет политический ажиотаж сторонников и противников социализма, пока отойдет в сторону плеяда крайне бездарных историков, заполнивших собой все инстанции в унылый период позднего брежневизма (они-то и способствовали косвенно сдаче социализма!). Теперь же ускоренными темпами дискредитируется и «монархический» историографический метод, а либерально-руссофобская линия сошла почти на нет, и присутствует кое-где лишь по инерции.

Последним «прибежищем негодяев» остается национал-капитализм, антисоциалистический, антикоммунистический, правый национализм (как правило, сопряженный с расизмом, ксенофобией и т.д.). Он противоречив и безответственен. Он абсолютно ложен и никуда не ведет. Эта теоретизация противоестественного компромисса концептуально и исторически обречена.

Перед национал-большевистской историографией, напротив, открыты все пути. Это единственное, что имеет будущее. Это подход, в котором страсть к исторической правде сопряжена с достойным этическим выбором, с национальной гордостью и возвышенным социальным идеалом.

И уже можно предвидеть, как в перспективе отпадет насущная сегодня необходимость употреблять термин большевизм с приставкой «национал». Большевизм и есть уже сам по себе национал-большевизм, так как никакого «ненационал-большевизма» в истории не существовало.

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ТОНКИЙ ХЛАД РЕВОЛЮЦИИ

Дважды убитая

Революцию убили дважды. Те, кто бездумно в течение десятилетий нарочито и чрезмерно повторяли это слово (попробуйте повторить слово «любовь» бесчисленное количество раз — скоро оно обесмыслится — любовь любовь любовь... бовлю... бовлю... бовлю...), и те, кто принялись насмехаться и глумиться над этим затертым понятием, мифом, событием, от вчерашних неискренних славословий перейдя к неумным ниспроверженьям. Революция — это не обесмысленное «все», но и не вызывающие презрительное негодование »ничто», «переворот», «бунт», «заговор». Революция — это уникальный момент в бытии, когда свершается невозможное, когда небывалое становится повсеместным, когда вещи открывают свои неизвестные, не предполагаемые доселе лики, когда фонтан бытия бьет из-под скорлуп обиденного, унося к чертям унылые лабиринты норм. Революция может быть, но может и не быть, она не предписана, не заказана, не предусмотрена. Неожиданно, из неучтенных углов открывается искажающий пространство горизонт... Не благо, не вред, по ту сторону этики, скорее в пассионарном зле, чем в спокойном упорядочивающемся добре, взрывается ниоткуда пламя Революции.

Потом оно остывает, превращается в камень, потом камень едят ветра и мыши, потом от Революции остается жалкий плевок не находящей точки опоры, расплывчатой, неверной памяти.

Когда никого нет

Я не верю, что в России есть либералы, коммунисты, фашисты, социал-демократы, националисты, монархисты, демократы или консерваторы. Таких в России нет. Лишь масса растерянных людей, у которых отняли одно и забыли дать другое взамен. Совсем недавно мы жили в реальности, в которой Революция была осью смыслоположения, мифом об Истоке, отправной чертой. Революция была калибровкой «мирового листа» (как говорят современные физики), то есть трафаретом, с помощью которого измерялась реальность истории — «до» и «после». Но мы утратили этот историко-онтологический модус. Утратили задолго до агонии перестройки, задолго до бесславного вырождения и откровенного упадка нашего. Совершенно неверно винить в «предательстве революции» только «реформаторов». В здоровом теле «реформаторы» не заводятся. Синдромы болезни — это то, что появляется на организме тогда, когда все его ресурсы исчерпаны, растрачены, выработаны. Это предсмертные синяки, а не источник заражения, следствие, а не причина. Мы все убили Революцию, мы все ее предали, мы все — ее сыновья и внуки (ее ровесники отошли) — не знаем более ее энергии, ее соленого привкуса, ее страстного воя. Бледная немочь мы, мы все, и те, кто активно вредит, и те, кто пассивно защищает. Поэтому всерьез рассуждать о тех мировоззренческих моделях, в которых можно осмыслить сегодня Революцию, кодифицировать ее, помещать в исторический контекст, будет нечестно. Это значит принимать как нечто обоснованное и серьезное наглое надувательство ничтожеств, сияющихся изобразить из себя кое-что. Сегодня в России нет и не может быть идеологии, мировоззрения, серьезной политологической шкалы. Ее не будет и не может быть, пока нас либо не завоюют, либо мы снова не расправимся. С завоеванием все понятно, будет установлена колониальная администрация «нового мирового порядка», которая скопирует для нас эрзац-идеологию по типу своей. Это крайне подло, но зато реалистично. И те, кто настаивают на этом — то есть откровенные атлантисты и предатели — по меньшей мере, не лгут. Колониальная администрация США, утвердившись в России, расскажет нам и нашим детям, что следует думать о Революции. Не будем забегать вперед и предугадывать это, хотя оценка, основанная на геополитических и исторических критериях самого Запада, предельно ясна.

Но если мы не согласны с таким поворотом дел, если — растерянные, дезориентированные, переживающие тяжелейший кризис нашей идентичности, крах ценностных систем и исторических импульсов — мы все же консолидируемся всерьез, отчаянно, решительно и жестоко хотя бы на отрицании навязываемых нам как «неизбежность» цивилизационного самоуничтожения и атлантистской колонизации, мы обязаны взглянуть Революции в лицо, в остановившееся сердце. Да — это мертвая Дама. Да, ее веки закрыты. Да, она не дышит и не шевелится. Да, мы не знаем средства воскресения трупов. Но перешагнуть через лежащее тело просто так, мы тоже не сумеем. Споткнемся навсегда.

Империя-Мать

Русские живут пространством. Они его дети. Очерк нашей души есть карта нашей территории. Кровь, этнос и раса — это как реки. Они оживляют ландшафт Евразии, но не определяют его. Мы — частицы тела гигантского спящего богатыря. Наша история — есть географическая история, открывая Евразию, мы познаем себя. Мы — это Империя. Но не отеческого, жестко-административного типа, а скорее Империя Материнская, царство матерей, Империя-Мать. Мы не захватываем и не покоряем, мы пропитываем, мы не устанавливаем извне, мы проникаем вовнутрь, мы не внедряем форму, мы оживляем и пестуем хаос. Мы не кореем среду законом, мы обучаем свободе. Эта русская свобода парадоксальна (как, впрочем, свобода вообще). Кому-то она может показаться предельной «несвободой». Но у нас все парадоксально.

Обратите внимание на то, как меняется в веках территория Руси. Она пульсирует, и за каждым сжатием следует новое, еще более значительное расширение. Не догадываемся, почему так? Потому что страна живая. Это бьется ее тайное русское сердце, толкая воздух, людей, воды и массы по священным пространствам.

Понять место Революции в русской истории равнозначно тому, чтобы выяснить ее пространственное, географическое значение. Из чего сердце делает красную животворную влагу, все равно. Нашу Революцию следует постигать через Империю.

Великая Октябрьская Социалистическая Революция — как начавшийся и закончившийся исторический факт, исчерпавший все свои выводы и следствия — являлась последним по времени вздохом Империи. Для того, чтобы дальше раскатать наше присутствие, чтобы построить великую стену против разгулявшегося атлантистского «духовного антихриста», чтобы универсализировать нашу извечную мечту, придать ей повсеместно, вселенски понятную форму, чтобы дать миру центр

и смысл — Великая Октябрьская Социалистическая Революция была абсолютно необходима , и ничто не могло бы ее заменить.

В Октябре сердце Руси сжалось, земли съежились, но собрав соки нации, всю ее волю, дух, мощь, скрытый резерв, мы распрямились снова, выпростались в СССР, расправили медвежьи мышцы... и великий Сталин неусыпающим взглядом из древней столицы осветил нам Новый Путь. Русско-московский евразийский советский путь. Русь Советская, страшная, красная и головокружительная. Надо всеми народами, над миром, укором, знаком свободы и смерти.

Мировой Разум в Национальной Революции

Октябрьская Революция — была Революцией национальной, имперской, евразийской . Те, кто ее делал, кто ее защищал, отвоевывал, кто за нее погибал, могли иметь свои собственные резоны, каждый — особые. Это не имеет никакого значения. Мнение индивидуума, группы, партии — почти ничто. История делается структурами, упругими парадигмами, неотразимой (и подчас ироничной) диалектикой мирового разума. В истории выражает себя пространство , диктуя и подчиняя своей собственной логике сложные массивы людей, наивно полагающих, что они следуют за своим личным выбором. Развоплощенная, мерцающая, нечеловеческая мысль, похожая на безумие, правит пути Империи, и подлинно русским является тот, кто махнул рукой на любые попытки ее рационально расшифровать.

Революция была дана нам как весть Иного. Подобно тому, как учение исихастов утверждает, что в тайниках сердца есть секретная кладовая нездешнего света, оживляющая тварную плоть нетварной сладостью, так и в истории есть моменты прямого соприкосновения понятного с непонятым, логичного с нелогичным, наличествующего с невозможным.

Революция совершилась, чтобы продлить наше время. Романовский цикл стремительно отмирал. Силловые линии царизма на глазах загнивали, и уже всюду копошились под черепными костями Российской Империи буржуазные черви тогдашних либералов, ведущих, как и сегодня, дело к оккупации, саботажу, цивилизационной самоликвидации. Никто их — февральских демократов — в Россию специально не засылал, они завелись сами в умирающем организме, который — точно так же, как и СССР последнего периода — исчерпал внутренние резервы исторического бытия. Керенский готов был перевести «Империю» в «нормальное буржуазное государство», и никакая узколобая вечно грызущаяся в себе черносотенщина ничего не смогла бы изменить.

Царь сдал свои полномочия. В Екатеринбурге позже был расстрелян с семьей простой гражданин Романов, бывший несколько лет назад «самодержцем». Его родственники повязали торжественные масонские банты.

Чтобы избежать окончательного краха русского пространства, промысел должен был прибегнуть к чрезвычайным мерам. Из небытия, маргинального фанатического существования в эмиграциях и ссылках невидимая рука Евразии достала опломбированный вагон. Может быть, германский полковник спецслужбы Вальтер Николаи считал, что это он засылает группу подрывников в тыл враждебной державы, реализуя интересы своего министерства. Может быть, хасидские банкиры искренне считали, что, подкинув серебряники еретическим соплеменникам, они улучшат социальное положение обитателей штетлов. Может быть, ортодоксы Рабочего Дела на полном серьезе были убеждены в правоте (не подтвердившейся исторически нигде, кроме Евразии) марксистской концепции «неизбежной смены исторических формаций». На самом деле, хитрость Мирового Разума все располагала к своей пользе. «Пыль есть человек, яко цвет сельный, яко трава сосохшаяся, тако отцветет». Большевики, несущие в себе Революцию, были избраны Матерью-Империей . Вот и все. Вне объяснений и логики, вне аналитики и субъективных, классовых ли, партийных ли, национальных ли интересов. РСДРП была единственной партией евразийского пространства . Поэтому сквозь нее и осуществилась Революция, поэтому она эффективно в сложнейшие десятилетия XX века выражала и воплощала в истории нашу русскую цивилизационную волю.

Революция должна была создать новый строй, такой, который позволил бы русскому пространству адекватно ответить на брошенный ему исторический вызов. Для этого необходимо было провести чрезвычайную индустриальную мобилизацию, несколько раз повернуть колесо вращения элит (застывшее в романовском периоде), заставить созерцательный, спокойный, добродушный народ обрести навыки злой, активистской пассионарности, необходимой для отражения постоянно вероятной агрессии со стороны геополитического, либерал-капиталистического антихриста Запада. Революция и большевизм — вот, кто мог справиться с поставленной задачей, привив массам новые

навыки не очень традиционной для нас агрессивной, наступательной психологии, сформировав блок советского народа, готового к отражению броска и самоутверждению в истории.

«Советское» это означало евразийское, русское, пространственно и идеологически расширенное на максималь но большой территориальный объем.

Никакого другого исторического смысла у большевизма, кроме евразийского, не было.

Такова была воля нашей земли. Она была исполнена, и нам нечего воротить лица от кровавых безумств наших предков. Все правильно они делали. Да, кроваво, да, чрезмерно, да, слишком. Но иначе было невозможно. Мы оправдываем все эксцессы, ни о чем не сожалеем. Они (=мы) обязаны были делать то, что делали. Они (=мы) не могли иначе. И нам придется все делать снова. И точно так же, не взирая на цену, как и тогда. Если хотим быть русскими, остаться русскими, стать русскими...

Холодное сердце

Последний взгляд на тело умершей возлюбленной. Революция... Ты зачала тех, кто зачал нас. Ты — буйный красный плод спасительного соития скрытого Разума с русским пространством. Плод безумной, несдержанной (быть может, иллигитимной) любви...

Внимая мертвой Революции, мы не должны оскорблять ее сна шутовскими ряжеными, прямолинейной старушечьей ностальгией, поддельно бодрой оптимистической тупостью митингов. Этого уже не вернешь, не восстановишь, не поправишь. Неисправимым жукам русофобии — чьи ряды, впрочем, изрядно умалились — лучше все же некоторое время держать челюсти сомкнутыми: тень возмездия близка (но месть никогда не цель — побочное следствие).

Нам надо нежно поместить Революцию в сердце. Нам надо снова и снова вопросительно вглядываться в нашу землю, пытаясь в странной и до слез сладостной геометрии евразийских почв отыскать новые мотивы, новые звуки, новое пока еще неясное бормотание исторической воли, из которой должна родиться грядущая имперская плоть.

Сердце русской земли снова сжалось. «Тело озябло, ноги задрожали, быть зиме». В такие драматичные моменты нашего исторического бытия, когда враг у ворот, когда коварный Мак Дональдс вывешивает свои триумфальные флаги на центральных улицах городов Евразии, из самых неожиданных складок ландшафта, из непредвиденных измерений и неучтенных прорех появляется тайный ген Империи, тихий ветер, «хлад тонок», «аура лепте». Ведь «не в буре Господь»...

Это «тонкий хлад» Новой Революции. Снова пространственной, снова национальной, снова евразийской, снова социалистической.

Где искать сегодня поколение новых евразийских безумцев? Кто станет зачинателем грядущей Революции, одновременно и невозможной, и неизбежной? (Легче сказать, кто не станет...)

Не стоит провоцировать сложное таинство пространства, искушать невидимую упорную работу Промысла. Революция так же нерукотворна, как Родина, как Русь, как наш великий, загадочный народ.

Мы просто стражи порога Империи. Мы несем почетный караул на ее обломках, мы защищаем — вопреки логике и здравому смыслу — ее последние рубежи, по обе стороны которых вселился враг. Мы склонились над телом, торжественный ток отчаяния питает наши глаза.

Все великое рано или поздно исчезает. Лучше исчезнуть вместе с ним, с его «последним легионом», чем терпеть праздник мировой атлантистской эм-ти-вишной суррогатный дряни.

Но с такой же точно неуклонностью, неотвратимостью, жестокой неотменимостью великое однажды возвращается.

Мы знаем и это. Твердо, твердо знаем. И поэтому наша честь, по прежнему, называется верность.

Верность Революции.

Часть 3: Религиозная идея

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 1997
"Абсолютная Родина", Арктогея, 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

МЫ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН

Подготовка к последнему событию

Никто не знает этого дня, даже ангелы небесные, не то что мы. Но знаки его слишком явно разбросаны повсюду. Кажется, что больше и ждать незачем, что вот-вот придет страшный миг, последняя тайна беззакония откроется и все кончено. А затем и такой долгожданный, такой томительно чаемый миг Славы Господней... Помните торжественные слова Псалтыри: «Входит Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы?»

Но Творцу виднее, когда совершаться предначертанному в точности — не прообразовательно, но совершенно и безотзывно.

Ясно одно — наступит это скоро. Очень, очень скоро. И нам нельзя страдательно дремать в преддверии столь важного события. Кроме того, исключительный сейчас момент, чтобы заново поставить многие вопросы, тревожившие людей и ранее. Две тысячи лет ждало человечество предначертанной секунды, когда время столкнется с вечностью, а тварный мир — с его нетварной причиной, с его «скрытой частью». Это называют «последним деянием Святого Духа», обнаружением его домостроительной тайны в истории.

Со всех сторон и во всех формах дуют на нас ветры Конца Времен, пугая, пригибая к земле, но и вселяя чудную радость — вот-вот все разрешится, объяснится, будет взвешено, исчислено и посчитано на последнем суде Того, Кто не ошибается и не может отклониться от Истины, будучи ее полнотой.

Ожидание и подготовка к такому событию не должны быть чисто пассивными. Откуда мы взяли, что в последние времена не остается пространства для деяния и свидетельствования, вопрошания, обращенного к небесам и утверждения, направленного к земле? Это неподъемно и устрашает, силы князя мира сего огромны, а наши ряды смятены и малочисленны как никогда, но это еще не достаточное основание для того, чтобы опустить руки. И предки наши в тяжелые времена попадали в страшные ситуации. А сколько вынесли первые православные мученики и праведники, и говорить не приходится! Вынесли, но не отступили, не сломились, не покорились давящей воле «здорового рассудка».

А мы?

Актуальность «экклесиологии»

Владимир Лосский совершенно правильно заметил, что каждая эпоха христианской истории имеет в центре богословского внимания отдельный аспект учения, который выясняется и уточняется в окормляемых Духом Святым церковных обсуждениях. И не менее прав он в том, что на настоящем этапе в центре богословского внимания должна стоять «экклесиология», учение о духовном содержании земных путей Церкви Христовой. Можно было бы добавить, что на первый план выходят также вопросы христианской эсхатологии, проблемы православного взгляда на содержание пророчеств «Откровения святого Иоанна Богослова», на смысл Конец Света. Но в строго богословском плане такое добавление излишне, так как все православное учение и есть расширенная эсхатология — и Первое и Второе Пришествия Господа нашего Иисуса Христа прилегают практически вплотную к точке Конца Времен, хотя Первое Пришествие несколько предваряет Второе. Для неправославного сознания две тысячи лет никак не «несколько», но для

христианина — иной счет, иное время. Тем более, для небесных миров, где столетие людей равно ангельскому дню.

Экклесиология, учение о Церкви, как и все в христианстве есть часть эсхатологии. Но в данном случае она связана с православным пониманием истории и ее существеннейших сторон.

В православной экклесиологии есть несколько ключевых дат и расположенных между ними периодов, имеющих поворотный духовный смысл. Чтобы правильно наметить нашу перспективу понимания экклесиологии, необходимо назвать эти основные точки.

Первый период истории Новозаветной Церкви (от Пятидесятницы до Константина)

История Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви началась с Пятидесятницы, с момента схождения Духа Святаго на апостолов в виде языков пламени через 50 дней после Светлого Христова Воскресения и через 10 дней после его Вознесения. Тогда по обещанию Спаса был послан к людям Утешитель, Параклит, Святой Дух, «совершительная причина», которым была утверждена Святая Святынь церковного православного таинодействия. С момента этого благодатного нисхождения Утешителя начинается развертывание новозаветной экклесиологии, домостроительства Святаго Духа в истории, на ее заключительном этапе. Это — 33-й год от Рождества Христова.

Первый период, следующий сразу за Пятидесятницей, длится от времен апостольских до императора Константина, до появления в небе Креста перед решающей битвой («Нос vince»), до воцарения Римской Империи, до становления ее Православным Царством. Ключевой датой является 313 год — год издания миланского эдикта. Справедливости ради надо заметить, что и первые христиане относились к Империи с особым благоговейным чувством, пророчески провидя ее грядущее воцарение. С этим связано древнехристианское учение о миссии потомков Иафета, которым было суждено заложить основу вселенского Царства, в котором воплотится Спаситель и которое со временем станет вместилищем Его Церкви. Она часто называется «учением о четырех царствах». Первое из них — Вавилонское, второе — Мидо-Персидское, третье — Греческое (особенно держава Александра Великого), последнее, четвертое — Римское. Отсюда особое значение Рима в христианской эсхатологии. Существует, правда, иная версия аналогичного учения, где речь идет о семи «праведных» царствах. За падением последнего из них должно начаться «восьмое», несправедливое царство — царство антихриста. Это последнее праведное царство — седьмое — берет свое начало с Константина Великого.

Из этого раннехристианского представления о «последнем царстве» явствует все колоссальное значение проповеди Евангелия «языкам», «эллинам», ее эсхатологический домостроительный смысл. Но все же на протяжении первых веков, когда Церковь существовала вплотную с миром, еще не принявшим Благой Вести и остававшимся под бременем иных могуществ, христиане пребывали в глубоком противоречии с самой сутью окружающей реальности, взятой и в общественном, государственном, и в естественном, природном смысле. Церковь первых веков была только Церковью, кораблем спасения в мутных волнах реальности, все еще подъяремной «князю мира сего».

Первый экклесиологический этап отличался особыми характеристиками, особой этикой сообщения с миром, и более того — особой онтологией, особым подходом к двум резко различным реальностям — самой христианской Церкви, с одной стороны, и языческой Империи, с другой.

В Церкви пребывало нетварное Присутствие Духа Святаго, а в евхаристии и самого Иисуса Христа, Сына Божьего. Реальность Церкви была качественно сопряжена с нетварным миром, изъята из под ярма закона, отделявшего тварное от нетварного до Христа и вне Его Церкви после Христа. И сами христиане были сущностно иными («новыми») людьми, причастными особой экклесиологической антропологии: в отличие от единожды рожденных язычников или иудеев, они были рождены дважды — второй раз «свыше» через благодатное таинство Святого Крещения. Следует особенно подчеркнуть мистический смысл термина «новый» в православном учении. Он очень важен для понимания таких реальностей как «новый человек» (применительно к христианину), «Новый Завет» (применительно к Евангелию), «новое упование» (применительно к христианской вере). Понятие «новое» в церковном смысле означало отнюдь не временную хронологическую последовательность, смену систем или религиозных форм. «Новое» в христианстве — понятие глубоко онтологическое. Оно характеризует особый внутрицерковный модус бытия, который в отличие от трагической и неснимаемой разлуки Творца и твари в Ветхом Завете, равно как и в отличие от ложной, унижительной для Божества близости между ними в язычестве, основан на благодатном

пути волевого обожения твари, который открыл своей жертвой Сын Божий. «Новым» называется человек, в которого благодатно вселено семя причастия к Божеству. А под «новой жизнью», основанной на «Новом Завете», подразумевается поэтапное осуществление «обожения».

Вне Церкви Христовой довлеют иные законы и возможности, совокупно определяемые как «ветхие». Там сохраняются «ветхие» нормы, пребывает «ветхий человек» и «ветхий мир». Причем по сравнению с благодатью «новой жизни» в Церкви эта инерциальная «ветхость», упорство в привязанности к безблагодатной реальности приобретают особенно зловещий смысл. Если до Христа «ветхость» была печальным уделом всех, то после Христа — это уже волевое решение, которое отныне следует оценивать в совершенно иной этической и онтологической шкале координат. На этом положении основывается православное учение об антихристе, той фигуре, к которой тянутся все нити мировой «ветхости» после Христа. И в этом смысле, именно антихрист является главным врагом «нового», понятого в православном спасительном церковном смысле.

Между двумя реальностями — церковной и нецерковной, «новой» и «ветхой» (ветхость означает язычество, особенно в его политическом, имперском аспекте и иудейство в религиозном аспекте) — на первом экклесиологическом этапе не было никакой промежуточной инстанции. Они были противопоставлены друг другу, но сосуществовали, не смешиваясь. Однако, возможно, именно учение о грядущем (по отношению к первым христианам) воцерковлении Царства, о Тысячелетнем Царстве, во время которого сатана будет скован и ограничен в действиях, делало противопоставление изначальной Церкви Римской Империи не столь острым. Отсюда и необъяснимая иначе лояльность первых христиан к имперским законам и самой римской государственности. Христиане отказывались лишь от религиозной стороны языческого Рима, и были в этом бескомпромиссны. Не случайно именно христиане отличались особой доблестью в римских легионах — для них смерть была далеко не концом, а мученический венец считался бесценным даром. Бог христиан победил смерть. Далее врата были открыты всем верным.

Второй период («катехон» и Православная Империя)

Второй экклесиологический этап начался с Константина Великого. Его миланский эдикт и все последующее — вплоть до основания Нового Рима, Византии — было подтверждением эсхатологических предсказаний относительно «катехона», «удерживающего», под которым уже первые христиане понимали Римское Царство и самого Царя, Кесаря. Начиная с этого момента между Церковью и миром сим появляется особая посредующая реальность — Православная Империя, основанная на симфонии властей, где политическая власть гармонично сочеталась с основной устремленностью церковного домостроительства.

Здесь мы подходим к ключевому понятию экклесиологии — к понятию «онтологии и антропологии империи», к их эсхатологическому смыслу. В Православном Царстве возникла принципиально новая реальность, чем та, которая существовала в три предшествующие столетия. Здесь между кораблем Церкви как реальностью, напрямую сопряженной с нетварным, предвечным Божеством, и уделом «князя мира сего», «дьявола», где продолжали действовать ветхие законы, отягчающиеся от века к веку механизмы грехопадения, появилась промежуточная область, в пределах которой и в природе и в обществе существовала некоторая особая благодатная свобода, принципиальная защищенность от полновластия дьявола, изъятие из-под его власти. Именно эта промежуточная реальность и была «катехоном», «удерживающим щим», тем таинственным препятствием, которое не давало сыну погибели, антихристу утвердить полноту своего господства над всем миром.

Во втором послании к Фессалоникийцам святой апостол Павел писал о «катехоне»: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, — и тогда откроется беззаконник». «Удерживающий теперь», по-гречески «катехон», толковался преданием как Православный Царь и Православное Царство.

Природа реальности, заключенной в границы Православного Царства, была сущностно иной, нежели за его пределами. Это касалось как физики, так и социологии, как качества человеческого естества, так и природных явлений. Социально это выразилось в благодатности симфонического устройства. Мистически — в возможности катафатического отношения к православно-имперской природе. «Катехон» и был обещанным «тысячелетним царством», в течение и в границах которого власть сатаны была временно урезана. Хотя и неокончательно (как явствует из текста Апокалипсиса).

Тысяча лет этого имперского, «удержательного» периода экклесиологии точно соответствует Византии. Новый Рим был основан как отправной пункт «тысячелетнего царства», и весь имперский византийский цикл длился как раз приблизительно тысячу лет. Причем важно, что на протяжении

этой тысячи лет эллинистический акцент падал именно на сохранение политико-социальной системы, природа которой была сама по себе домостроительным эсхатологическим таинством, непосредственно связанным с отдалением «прихода антихриста». «Антихрист» должен был последовать за «тысячелетним царством», а не предшествовать ему, хотя в определенном смысле до Константина власть у дьявола была гораздо более объемной. Окончательный (или почти окончательный, как мы увидим ниже) его приход после «тысячелетнего царства» должен был быть в некотором смысле «возвратом». Это замечание снимает видимое противоречие между отождествлением с антихристом Нерона или Калигулы у первых христиан и ожиданием его прихода в будущем.

Онтология и антропология империи представляют собой промыслительное расширение параметров «нового бытия» на максимально возможный в эсхатологической ситуации космическо-социальный объем. «Новым» вместе с воцерковлением империи и при наличии «катехона» становится огромный бытийный пласт, намного превышающий то, что до Константина понималось под Церковью. Возможность обожения и спасения открывается на всем пространстве Царства, для всех разумных и неразумных существ, ее населяющих. Литургией, «общим делом» становится все бытие, всякое действие, всякое — даже самое незначительное — событие. При этом в отличие от языческого понимания «Священной Империи», речь идет о задании, о возможности, о волевом аспекте, о пути. Факт экуменического имперского онтологического оглашения означает, что «много званых». Но еще не означает, что «избранных» столь же много. Отсюда вытекает выделение активного характера «имперской антропологии». Благодать, распространенная на огромные просторы, является «насаждением возможности», побуждением к христианскому литургическому и социально-государственному одновременно подвижничеству. Это особая форма сакрализации, отличная и от иудейского теократического пессимизма в отношении «царства» и от «эллинского» платонического оптимизма относительно заведомой «божественности» империи. Православная имперская онтология представляет собой именно активное всеобщее действие по реализации семян благодати, которыми промыслительно засеяны все просторы Империи. Воцерковление Империи подразумевает совершенность и завершенность посева. Но вопрос о всходах, возвращении их остается открытым и зависит от волевой, коллективной, соборной, литургической деятельности, от общенародного подвижничества.

Первые знаки апостасии

Этот второй эллинистический период, проходивший под знаком Империи и симфонии властей, под знаком «катехона» сам по себе неоднороден. Уже почти в самом начале от единой Римской Империи, имеющей своей священной осью Константинополь, откалывается в политическом смысле Запад, включая и первый Рим. Между западной и восточной половинами христианского мира возникает неравновесное соотношение. Не только политическое, но что самое важное, онтологическое и антропологическое. Византийская онтология является полноценно имперской, тогда как на Западе постепенно складывается иная, дисгармоничная картина, в которой промежуточный имперский элемент либо размыт, либо искажен, либо вообще отсутствует. Это значит, что начинают создаваться такие условия, которые отличаются от «тотальной засеянности» и государственной всеобщей литургичности, свойственных подлинному православному Царству. Начинают появляться или проявляться онтологические и антропологические островки, на которых из-под экуменической благодати проступают «ветхие» формы бытия. Это можно назвать зачатками «десакрализации», но понятой в сугубо христианском смысле. Данное явление сопровождается распылением литургического единства, распадением соборной, коллективной реальности спасения, которая была нормой и законом православной имперской онтологии и антропологии.

Сохранение православного единства Церкви, сохранение самой Византией статуса единой и неделимой эсхатологической державы отчасти исправляет эту ситуацию, компенсирует явный крен христианского Запада в сторону апостасии, отступничества, выхода за рамки истинной Веры и истинного христианского Православия. Но определенные тревожные черты можно увидеть в западно-христианской эллинистологии очень рано. Эти черты заметны в усилении «индивидуальных» мотивов в западном богословии, а также в искажении спасительных пропорций между светской властью и духовным владычеством. Это искажение протекает одновременно в двух направлениях — с одной стороны, на Западе вводится ложное учение об иерархии апостолов, что приводит к утверждению преимущества Папы и к своего рода теократии, с другой — неправомочно усиливается феодальная власть отдельных светских князей, претензии которых на самостоятельность и самовластие восстанавливают в некоторой степени языческие принципы. Изменения в религиозном и светском укладе на Западе отражают и усугубляют одновременно глубинные процессы онтологической и антропологической мутации. Мало-помалу на Западе складывается особый тип бытия и особый тип человека — «человека индивидуального», претендующего на автономность и суверенность, ослабившего или вообще порвавшего связи с литургической стихией домостроительного общего делания. От православного учения о «личном спасении», которое связано с волевым характером реализации благодати, Запад переходит к

концепции «индивидуального спасения», что ставит эту проблему вне общего соборного контекста «нового бытия», воплощенного в христианском Царстве. В некотором смысле это означает возврат к доимперским, доконстантиновским формам существования Церкви, но такой возврат означает в данном контексте самую настоящую «апостасию», «отпадение», дерзкое небрежение промыслительной благодатью, выразившейся в «тысячелетнем царстве» Византии.

Находясь с подлинно православной Византией в инаковых онтологических условиях, мало помалу Ветхий Рим приходит к собственной экклесиологической формулировке, которая, внешне оставаясь христианской, резко отходит от пропорций изначального православного учения о «катехоне», от провиденциального эсхатологически нагруженного соотношения мирской власти и духовного владычества .

Великая схизма

Окончательно это проявляется в великой схизме (1054 г.), когда латинство отпадает от подлинного христианства, настаивает на неправомочном административном главенстве Римской кафедры над всеми иными христианскими иерархами Востока и Запада, окончательно закрепляет в Символе Веры более ранние и крайне сомнительные, с богословской точки зрения, нововведения (Filioque), утверждает еретическое учение о «чистилище».

Вопрос о «чистилище» показателен и напрямую связан с нашей основной темой. Мало того, что упоминаний о «чистилище» нет у святых отцов, и следовательно, введение этой категории не подкреплено авторитетом Предания. «Чистилище» является, в представлении латинян, посмертной реальностью, промежуточной между раем и адом, которая служит для того, чтобы очистить незначительные прегрешения у покойников, не достойных рая, но не столь согрешивших, чтобы заслужить ад. В некотором смысле «чистилище»—это продолжение нашего земного мира. Но православные совершенно справедливо убеждены, что все события, помещаемые католиками в «чистилище», имеют место уже при земной жизни, и что тонкая сфера, описываемая под этим именем, есть не что иное как одно из измерений обычного земного бытия, хотя и связанного с его невидимой стороной. Иными словами, земная реальность в понимании православных уже включает в себя «чистилище» в качестве одного из измерений обычной жизни. Латиняне же, имея о земной жизни гораздо более суженное, рационализированное, «десакрали зованное» представление, помещают тонкое измерение в посмертные сферы. Это является очень выразительным примером онтологического значения «великой схизмы».— Православные и «католики» имели дело с разными мирами, с двумя реальностями, устроенными различно . «Католический мир» отрезал «чистилищное» измерение от земного бытия, умалил качественный состав мира и человека. Это утраченное, вынесенное в посмертные сферы измерение имеет самое непосредственное отношение к качеству имперской онтологии. Несколько огрубляя эту деликатную тему, можно сказать, что католическое представле ние о земной жизни есть «имперская онтология» минус «чистилище» как ее субтильное измерение.

Необходимо рассматривать раскол церквей в XI веке не как разделение единого организма на две приблизительно равные половины, а как отпадение от единого — и продолжающего оставаться таковым (то есть единым и цельным) — организма порченной части, заявившей не просто о своей равнозначности здоровому целому, но и о своем полном превосходстве над ним. На самом деле, раскол XI века был подтверждением окончательного отступничества Запада, его отпадением от единой христианской Церкви, его превращением в некое новое религиозное образование, именуемое (также неправомочно) «католичеством», то есть «всецелым». Настоящей католической (то есть всецелой) Церковью оставалась только и исключительно Православ ная Церковь, и неудивительно, что четвертый крестовый поход был предпринят Западом именно против Византии. Тогда крестоносцы кощунственно осквернили величайшие христианские святыни и установили на время на православном Востоке политическую и религиозную диктатуру «впавшего в ересь Запада».

Показательна и география этого события, происшедшего во второй половине «константинопольского» экклесиоло гического цикла. Западная Церковь вернулась, в каком-то смысле, к первому Риму, к тому состоянию, когда Империя еще не была воцерковлена, еще не приобрела особой спасительной онтологии, начавшейся с эпохи Константина Великого.

Мы настойчиво подчеркиваем онтологический и эсхатологический смысл отпадения Рима от Православия потому, что в дальнейшей истории земной Церкви все связанное с «латинством» будет носить зловещий оттенок апостасии и явную печать антихриста.

Это проявляется наглядно в моменте, завершающем «византийский цикл» эkkлесиологии, в трагическом падении Константинополя.

Отход «катехона»

1453 год — точная дата конца «тысячелетнего царства».

Константинополь взят турками, Византийская Империя пала. По всем характерным признакам обнаруживается трагический эсхатологический факт: «державший» теперь «взят от среды», и дороги приходу «сына погибели» открыты. И следует это в скором времени после подписания Флорентийской Унии, т.е. после признания византийской Церковью и самим императором сущностной правоты «латинян». (Фатальной Флорентийской Унии предшествовала Лионская Уния, а также значительное духовное вырождение греков, которое чаще всего было сопряжено с податливостью ко влияниям, идущим с Запада; огромный вред византизму нанес период прямой оккупации Византии латинянами вследствие четвертого крестового похода — именно с этой даты начинаются в Византии разрушительные процессы развития «феодализма» — политико-социальной формы, чуждой истинному православному учению и навязанному крестоносцами. Не исключено, что переходом к троеперстию греки обязаны именно этим «западническим», «папским» тенденциям, хотя этот вопрос еще не получил окончательного исторического решения).

Как бы то ни было, в эkkлесиологическом и эсхатологическом смысле обнаруживается прямая связь между отступлением от строгого учения Православия самим Константинополем, причем в пользу той реальности, которая однозначно связывается у православных с антихристом, и политическим падением Восточной Римской Империи, с символическим попранием ногой неверных ее святынь. Византийские сторонники унии с Римом отказались, в сущности, именно от «катехона», от особенности «имперской онтологии», и в скором времени «державший», Василевс был, действительно, «взят от среды» вместе с политической и религиозной независимостью огромного православного Государства.

На этом заканчивается второй эkkлесиологический период.

Точнее, почти заканчивается .

Последний Рим

В определенной своей форме «православная имперская онтология» перемещается на Север, передается затерянному в евразийских просторах Московскому Царству. Здесь после конца Византии обнаруживаются все составляющие полноценного православного имперского мира, изъятого до времени из-под темных законов реальности, пораженной апостасией. Византия падает и отступает, но поднимается Новая Византия, Третий, последний Рим. Это — новое (и последнее, «четвертому не быти») явление «катехона» в его самом православном понимании, как прямого наследия «имперского эkkлесиологического периода». «Тысячелетнее царство» промыслительно продлевается в Третьем Риме, где сохраняются все основополагающие догматические пропорции подлинной Веры в сочетании с политической независимостью, симфоническим соотношением между духовным владычеством и светской властью. Московское Царство — как исполнение пророчеств об особой богоизбранности русского народа и русского Государя, содержавшихся еще в «Слове о законе и благодати» митрополита Иллариона, и получивших свое развитие в «Повести о белом клобуке» времен новгородского архиепископа св. Геннадия и св. Иосифа Волоцкого, а окончательно закреплен ных в учении псковского старца Филофея о «Москве-Третьем Риме» — в полной мере принимает на себя эсхатологическую и эkkлесиологическую миссию Византии.

Русь становится Святой в самом прямом смысле, т.е. обладающей исключительной реальностью, которая распространяется и на природу, и на общество, и на онтологию, и на антропологию . Богоизбранность русского народа как народа Третьего Рима ложится в основу особой национально-религиозной антропологии, нигде не выраженной в четких формулах, но ощущавшейся всеми. Многие положения этого учения о «московской онтологии» косвенно содержатся в пунктах Стоглавого собора, закрепившего своим авторитетом московский эkkлесиологический период Православия.

Важно заметить, что новая роль Москвы и Русской Церкви не отменяла значения Константинопольского патриарха в чисто религиозных вопросах, но в деле «эсхатологии» и «имперской онтологии» (а это не могло не затрагивать и церковных вопросов) греческий патриарх

явно утратил свое решающее значение, оправданное ранее всем весом домостроительной миссии Византии до уклонения самих греков в Унию и победы агарян (турок).

«Тысяча лет» второго еклисиологического периода — имперского периода — имела, таким образом, промыслительное приращение в двухсотлетнем периоде Святой Руси (1453_1656).

Пути же латинства давно уклонились от Православия и говорить об «имперской онтологии» здесь бессмысленно.

Катастрофа

Конец московского периода означает конец милосердного добавления срока к эсхатологическому тысячелетию. На этот момент приходится русский раскол, смысл которого и заключался в страстотерпном свидетельствовании староверами катастрофической природы реформ, начиная с Никоновской sprawy до ужасного финала на соборе 1666_67 годов, где официальная церковь анафематствовала эсхатологическое учение о Москве-Третьем Риме, о домостроительной богоизбранности Московского Царства, сравняло пункты Стоглава с прахом, предало поруганию русские церковные обряды, которые, по мнению русских людей, и были внешним ритуальным выражением святости Руси, ее приверженности непорченной, изначальной Вере Христовой. Восточные патриархи, санкционировавшие и вдохновившие такие нововведения, возможно, руководствовались спецификой своей собственной еклисиологической позиции. Ранее связав «имперскую онтологию» исключительно со Вторым Римом и утратив ее вместе с военно-политическим крахом Константинополя, греки перенесли свой собственный катастрофический, уже постимперский, посткатехонический опыт и на саму Русь, отвергнув даже возможность того, что там могли в полной мере сохраниться те условия, которые существовали ранее в самой Византии. Отсюда и высокомерное презрение к русскому обряду, который, как сегодня убедительно доказали беспристрастные историки этого вопроса, был полноценным и совершенно не искаженным продолжением самой византийской православной традиции, застывшей, однако, у нас в тот момент, когда Константинополь пошел на предательскую унию, а позже пал. Русский обряд, анафематствованный реформаторами рокового собора 1666_67, был архаической формой древневизантийского обряда и ничем иным (это был в основе своей Студийский устав, наиболее распространенный в Византии, с некоторыми добавлениями Иерусалимского устава, тогда как в греческой церкви к XVII веку Иерусалимский устав полностью вытеснил Студийский). А староверческая убежденность в его превосходстве над новогреческой формой также была совершенно оправдана эсхатологическим учением о «катехоне» и о духовной порче греческой традиции, утратившей свое «хилиастическое» качество.

Страстная реакция староверов на реформы Никона, вплоть до самых радикальных форм (гари), была обусловлена глубоким и естественным ощущением соучастия всего русского народа и Русской Церкви именно во втором еклисиологическом периоде Православия, пронзительным осознанием онтологических и антропологических последствий отказа от полноценной миссии Руси как «удерживающего». Отсюда совершенно справедливые ожидания прихода антихриста.

Третий период (последние времена)

Теперь уже во всем мире (кроме таинственного «Беловодского царства», не существующего на обычных географических картах, где, по мнению старообрядцев, еще сохранилась подлинная непорченная иерархия, то есть «имперская онтология») совершился переход к новому еклисиологическому периоду — третьему. Церковь здесь снова, почти как во времена первых христиан, оказалась в безблагодатном мире, подчиненном свинцовой пяте «князя мира сего». Промежуточная реальность имперского хилиазма исчезла. Между Церковью и миром вновь разверзлась пропасть.

Важно заметить, при этом, что помимо сходства между доимперской и послеимперской Церковью есть и существенные различия. В первом случае Римское Царство еще не стало Православным, еще не приняло миссии «державного». Во втором случае Царство уже не являлось полноценным, уже не исполняло этой роли. Между «еще» и «уже» проходит линия онтологического разлома. Когда нечто не подверглось преобразующему воздействию, но ему суждено подвергнуться ему — это одно дело. Здесь внутренне зреют праведные пути, хотя внешне может быть греховным. Это — «еще не». «Уже не» означает, что положительное и праведное перестало быть таковым по существу, что оно остается им только внешне, а содержание безвозвратно испорчено. Фасад остается святым, внутри же громоздится апостасия. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?»

Третий экклесиологический период ставит проблему соотношения Церкви и мира в новом свете, и этому нет адекватных аналогий в предшествующие эпохи. И здесь мы сталкиваемся с невероятно нагруженным духовным содержанием вопросом: может ли в этот период (в период «уже не») сама Церковь — которая в определенных аспектах подлежит страшному лаодикийскому приговору («знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.»*) — широкомасштабно, соборно и единодушно дать общую экклесиологическую картину этого начавшегося страшного цикла, однозначно расставить в нем акценты, беспристрастно оценить позиции всех сил и направлений, продолжаю щих причислять себя к христианству? И какова будет обоснованность такой гипотетической экклесиологии, коль скоро, по определению, значительная часть (а точнее, большинство) христианских церквей глубоко затронуты в земном, историческом смысле катастрофическими последствиями утраты «имперской онтологии»?

Важно сказать несколько слов о том, каковы онтологические последствия такой утраты. Речь идет об исчезновении, сокрытии той «новой жизни», которая составляла сущность имперской реальности, ее литургическое, соборное, коллективное действие, направленное к обожению и имеющее в качестве опоры преображенные стихии. Отныне «новая жизнь» становится не нормой, но исключением, преображенность мира в Святом Царстве сворачивается и переходит в область волшебной географии. На этом основаны многочисленные старообрядческие легенды, что «где-то в мире сохранились заповедные места, в которых осталась неповрежденной истинная православная иерархия». Это «где-то» имеет колоссальный онтологический смысл. Подлинная имперская реальность из повседневного существования уходит в область мифов и легенд, становится труднодоступной, исключительной, из категории данности переходит к категории задания. Теперь не само спасение и «обожение», «святость» становятся «заданием», но только еще предпосыл ки к такой возможности. И чем трагичнее и катастрофичнее понимание необратимости и апокалиптической нагрузки этого события — тем глубже и подлиннее вера, яснее понимание экклесиологической проблематики Церкви, полнее и истиннее богословский порыв.

Цивилизация антихриста

Проблема того мира, который начинается за пределом Церкви, а во второй экклесиологический период за пределом Православного царства, и является строго говоря «проблемой антихриста». Антихрист стоит на противоположном полюсе от церковного домостроительства, разворачивающегося между точками Первого и Второго Пришествия Господа нашего. Следовательно, мир приобретает здесь особое качество. «Мир сей», активно не принявший Благой Вести и спасительной Истины, становится строго отрицательной категорией. Он не просто еще не воцерковлен, т.е. как бы пребывает в неведении относительно Благой Вести, он уже антицерковен. Поэтому он и сопрягается напрямую с антихристом, а дьявол именуется «князем мира сего».

Антихрист провоцирует гонения на первых христиан. Он подвигает еретиков отколоться от Церкви. Он прямо стоит за отпадением Запада (латинства) от Православия. Он приводит Константинополь к краху. Он способствует русской катастрофе 1666_67 годов. Далее он воцаряется повсюду, причем и в тех сферах, которые ранее были отвоены Церковью от мира. Антихрист — единое существо, единое действие, которое должно окончательно кристаллизироваться в человеческой личности в самый последний момент истории. Но эта личность будет не более, чем подписью, скрепляющей печатью для многовекового исторического делания.

Это «делание» имеет три разные формы в зависимости от трех экклесиологических этапов.

В первом случае антихрист препятствует воцерковлению империи, то есть расширению преображенной, сотериологической христианской онтологии и антропологии на вселенские общественные и географические пространства. В этот период, когда Церковь должна перейти к новым хилиастическим условиям существования, любые препоны на этом пути — и с внешней стороны и со стороны христианских (прямо или косвенно антиимперских) сект — явно несут на себе след «князя мира сего».

Позже антихрист сжимается, утрачивает контроль над значительными просторами бытия (внешнего и внутренне го). Его энергия вынуждена разделяться и дробиться. Его могущество сдерживаемо уздой Царства. Это приходится на период доминанции «имперской онтологии».

Отныне второй этап стратегии антихриста состоит в противодействии ей, в разрушении «катехона», как препятствия для его конечного воцарения.

Можно сказать, что антивизантийская (позже антимосковская) линия на данном этапе выдает наиболее агрессивные аспекты «сына погибели», в чем бы это ни проявлялось — в богословии, политике, быту, культуре, мистике и т.д.

И наконец, третий этап воцарения антихриста, соответствующий третьему еkkлесиологическому периоду, ознаменован объединением его сил, консолидацией пространств и реальностей, ему подконтрольных. Антихрист отныне начинает строить свою цивилизацию, отрицательный, «подрывной» характер которой постепенно все более затушевывается, и разрушение начинает выдаваться за «созидание», беззаконие — за «закон», грех — за «добродетель» и т.д.

Пик строительства этой «цивилизации антихриста» должен наступить в миг его окончательного вочеловечивания, когда вся подготовительная работа будет завершена.

Из этого можно сделать важнейший вывод: еkkлесиология напрямую сопряжена с темой антихриста, так как именно этот вопрос и является центральным для самой Церкви — выявить его черты, осознать логику и механизмы действия «сына погибели», показать верным его отличительные особенности, обозначить основные направления и приемы борьбы с ним, столь зависящие от природы того или иного еkkлесиологического цикла, — вот в чем заключается наиболее актуальная богословская задача.

Показательно в этом отношении высказывание одного старообрядца, представителя крайнего беспоповского согласия «странников» (последователя известного «бегуна» Антипы Яковлева): «Слышите, братья, что сии льстецы глаголют, яко не нужно знать о антихристе. Да у нас вся вера во антихристе состоит.» В каком-то смысле эта предельная формулировка в устах простонародного старообрядца, с точки зрения третьего еkkлесиологического периода, более соответствует богословской истине, нежели сложнейшие успокоительные построения официального Санкт-Петербургского богословия. Самое важное здесь — совершенно оправданная убежденность, что в экстремальных исторических условиях в зависимости от определения качества антихриста, пределов его влияния, формы и интенсивности его действий, в зависимости от его идентификации все остальные догматы Веры, богословские, этические, ритуальные и социальные нормативы будут иметь совершенно различное значение, так как подход, адекватный в предшествующие эпохи, теперь более неприменим, и даже для полноценной предпосылки спасения необходимо тончайшее «различение духов», без которого и самый внешне благочестивый и догматически оправданный христианский путь окажется ложным. Если «тайная беззакония» свершилась и «державший теперь» взят от среды, то ничто более не препятствует восседанию «сына погибели» в самой Церкви, а это в свою очередь, требует от истинных христиан такой бдительности и такой критичности, которые ранее были не только не нужны, но и откровенно вредны.

Поэтому вопрос об «антихристе» является для христиан главным и первоочередным.

Небесное против Земного

Есть определенные основания предвидеть скорое окончание третьего еkkлесиологического периода. Нельзя не признать, что все планы антихриста сбываются на глазах, и путь для его окончательного воплощения все более и более расчищается. При чем не только полноценный «удерживающий» в форме Православного Царства «взят ныне от среды», но и все остальные, частичные преграды для кратковременного, но ужасного торжества «сына погибели» падают.

Скорее всего история земной Церкви подходит к своему завершению.

Мы знаем, что «врата ада не одолеют Церкви» и что таинство евхаристии будет продолжаться до конца времен, несмотря на «мерзость запустения», которой подвергнется (подвергается) Церковь в апокалипсические времена. Тайная сущность Церкви не подлежит силе «князя мира сего», она всегда остается напрямую связанной с нетварной реальностью Пресвятой Троицы. Но эта тайная сущность есть Церковь Небесная, сопряженная с Церковью земной, но не тождественная ей. Церковь Небесная — всегда искупленная и всегда всепобеждающая независимо от состояния Церкви Земной, к которой и относится исторический срез еkkлесиологии. Церковь Небесная постоянна. Церковь земная меняется в зависимости от поворотов промыслительной священной истории, становясь в то или иное положение и по отношению к внешнему (миру) и по отношению к внутреннему (Церкви Небесной). И в конце третьего «постхилястического» периода, в котором мы и находимся, Земная Церковь оказывается в крайне сложной, противоречивой и неоднозначной ситуации.

С одной стороны, все глубже проникают в нее влияния антихриста, все больше падает она в своем человеческом и организационном смысле. Водворение в Святой Святынях нечестия в последние времена также предсказано в Священном Писании. Это падение Земной Церкви православное предание называет собирательным понятием «Церковь Лаодикийская», «Церковь не холодных и не горячих». В Лаодикийской Церкви в Конце Времен достигается высшая степень отчуждения земного от небесного, и постепенно земное начинает вступать в открытое противоречие с небесным. Нагляднее всего это видно в предельном вырождении латинской Церкви и протестантских конфессий, где от подлинного христианства почти вовсе ничего не осталось. Шаг за шагом вбирают западные конфессии в себя откровенно антихристовы энергии, навязываемые стихией апокалипсического мира. Но «лаодикийскими» являются не только «церкви» Запада, проделавшие огромный и постыдный путь на стезе отпадения и извращения. Уже по самой логике эволюционных этапов, намеченных нами выше, ясно, что и православные не могли избежать — хотя и в иной форме и в иной степени — сходных отрицательных явлений, предполагаемых самим вектором драматической церковной истории в последние времена. Решительный шаг в сторону антихриста был сделан греческой Церковью в момент заключения Флорентийской унии.

В этом и только в этом смысле надо понимать и последствия книжной sprawy и деяния собора 1666_67 годов (несмотря на глубоко патриотическую и православно-мессианскую цель, которую патриарх Никон изначально субъективно перед собой ставил). Петровские реформы и синодальный квазиангликанский строй романовского периода также имели мало общего с подлинным Православием, с православной симфонией и «удерживающим». Хотя постепенно изначально чисто отрицательный характер «новообрядчества» и преодолевался самой народной стихией (не было уничтожено до конца монашество, не иссяк исихазм, вернулся в русскую Церковь анафематствованный русский восьмиконечный крест, было учреждено, хотя и в прагматических целях, единоверчество и т.д.), все же от подлинного византизма и Святой Московской Руси в петербургско-романовской России сохранились лишь осколки и отдельные фрагменты. Не смогла преодолеть «лаодикийский дух» Русская Православная Церковь и в 1917 году, когда было восстановлено Патриаршество и сделаны серьезные шаги к апокалипсическому пробуждению Русского Православия перед лицом чудовищных потрясений, охвативших Россию и весь мир (особенно важно сегодня обратиться к опыту тех ревнителей православного возрождения, которые ратовали в то время за радикальное преодоление последствий раскола и «романовщины» — сам патриарх Тихон, митр. Антоний (Храповицкий), еп. Андрей (Ухтомский) и т.д.).

Крайне символическими были события, вплотную примыкавшие по времени к восстановлению Патриаршества — перенос столицы из Петербурга в Москву и чудесное обретение иконы «Державная», что в эклисиологическом смысле было тождественно установлению на Руси эсхатологической формы монархии, пришедшей на смену павшему Дому Романовых: сама Пресвятая Богородица стала Царицей Руси.

Важно также заметить, что первое опровержение рокового собора 1666_67 годов готовилось именно накануне восстановления Патриаршества в 1917 году. Еще более символично, что митр. Сергей (Страгородский), известный своей лояльностью к Советской власти, в «Деянии архипастырей» от 1929 года от имени «заместителя местоблюстителя патриаршего престола» (высшей религиозной инстанции в России того периода) и от имени других законных иерархов, митрополитов и епископов Московской Патриархии, официально отверг постановления злосчастного «разбойничьего собора», пришедшего на фатальную дату, и «вменил как не бывшие». Показательно, что на это «Деяние», отреагировал именно просоветский иерарх, а окончательно оно было подтверждено на Соборе РПЦ уже в 1971 при патриархе Пимене, также вполне лояльном к советской власти (инициатором этого судьбоносного постановления был митрополит Питирим)*. Все это указывает на то, что именно в «послеромановской», «послепетербургской», «московской» России зреют и зреют духовные эсхатологические тенденции, направленные на преодоление апокалиптической катастрофы XVII века.

Но Промыслу Божьему было угодно, чтобы преодоление «лаодикийского начала» в Русской Православной Церкви совершилось не до конца. Тем более, что историческая ситуация в большевистской России была для верующих крайне сложной. В начале нашего столетия истинное богословское сознание в России пытается пробудиться, стремится снова дать непредвзятый, почерпнутый из глубин церковной догматики и предания ответ на насущные вопросы, хочет сформулировать ясно позицию Церкви в новый исторический период, отмеченный явной печатью антихриста, но ... все обрывается на полуслове, последней формулы нет, высокое самоотверженное стремление не достигает необходимого критического порога.

И снова на несколько десятков лет вопрошание подменяется скоропалительным, назидательным и необидительным, расплывчатым ответом, вместо богословской мысли повсюду довлеют соображения исключительно морального или ритуального характера, Церковь отказывается однозначно определять свое отношение к миру, выносить четкие оценки процессу апостасии,

отождествлять те или иные современные реальности с «антихристом». Нельзя винить в этом Церковь, гонимую и преследуемую формально атеистической, антирелигиозной, жестокой властью. Мы просто констатируем этот факт. Но нельзя и не заметить того типично лаодикийского настроения, с которым паства принимает колеблющуюся, осторожную позицию своих пастырей. В иной ситуации все могло бы быть иначе.

Как бы то ни было, и в лоне сегодняшнего официального Православия не только по ощущению, но догматически не может существовать того гармоничного и солидарного соотношения между Церковью Небесной и Церковью Земной, которое имело место вплоть до определенного исторического момента величайшего апокалиптического значения.

Мы давно под властью антихриста и слуг его. И от духа этого никто не свободен и никто не чист, кроме праведников и святых (тайных или явных).

Филадельфийский томос

Ясно, что избежать страшной predetermined Богом конечной развязки истории мира нельзя (да и зачем?). Второе Пришествие и предшествующие ему катастрофы столь же неотменимы, как факты прошлого. В некотором смысле все это уже совершилось, так как в вечности все вещи и все события присутствуют одновременно, и лишь во времени сменяют они друг друга последовательно. Естественно, антихрист современного мира отрицает вечность. Он не может поступать иначе, ведь в этом случае эфемерный миг его торжества будет лишь химерическим кратким эпизодом, тогда как сам он желал бы растянуть свое время и все, что подлежит его времени, на неопределенно большой срок. Вслед за антихристом кривят губы при слове «вечность» и обычные люди, для которых это в лучшем случае абстракция, а в худшем—бессмыслица.

Но мы готовы ко Второму Пришествию, знаем и радостно принимаем его. В конце концов, для христианина это величайшая радость — скорбь разлуки мира с Творцом заканчивается, конечное бытие преобразуется, мертвые воскресают, время исчезает, а вместе с ним исчезает и смерть.

И перед лицом этого долгожданного мига мы можем утвердить своего рода «манифест Филадельфийской Церкви», то есть пробужденной еклесиологической реальности, провидящей конец скитаниям Церкви в безблагодатной постхилиастической пустыни.

Какова идеальная структура этой Филадельфийской Церкви?

Во-первых, совершенно очевидно, что такой Церковью является только и исключительно Православие. Мы не можем и не должны судить и осуждать отдельных людей католического и даже протестантского вероисповедания, которые личным рвением и стойкостью на путях Христовых могли стяжать спасение. «Дух веет, где хочет», и у Господа свой счет. Но такое допущение ни в коей мере не снижает глубины латинского отступничества, которое было тем более преступным, что совершалось в тот период, когда наряду с неестественными условиями Запада цвела имперская Византия и крепко стояло тысячелетнее Православное Царство, подлинный удерживающий (по сравнению с которым даже гиббелинские проекты были лишь искаженным приближением, основанным на волюнтаризме и узурпации, не говоря уже о совершенно несимфонической, еретической позиции Римской курии и партии гвельфов). Итак, прямая связь Церкви Небесной с Церковью Земной наличествовала в наиболее совершенном и гармоничном виде в Византийском Православии. Отправляясь от этого положения, следует прояснять предпосылки четвертого еклесиологического периода — черты и пределы Филадельфийской Церкви, оставшейся верной духу и букве Веры Христовой несмотря на труднейшие времена испытаний.

Во-вторых, важнейшим узлом домостроительства спасения в истории является Московское Царство с 1453 по 1656 года. Несмотря на смуту и раздоры, несмотря на сложнейшие политические и нравственные испытания, выпавшие в данную эпоху на долю русских, именно этот период является уникальной временной паузой, в границах которой продолжался цикл «имперской онтологии», продолжали сохраняться исключительные бытийные и социальные условия «тысячелетнего царства». Поэтому Филадельфийская Церковь должна быть особым образом связана в духовном, культурном, историческом и даже географическом смысле со Святой Русью, последней хранительницей таинственного Белого Клубка.

В-третьих, максимально острое, драматическое и трагически ясное переживание смены еклесиологических эпох, а точнее, универсального апокалиптического значения перехода от второго, имперского периода к третьему, безблагодатному, было свойственно русскому старообрядческому движению, возмущившемуся духовной катастрофе и отказавшемуся склонить

голову перед неизбежностью рока. Староверы были (и остаются) героями экклесиологического Сопротивления, последними верными Святой Руси, защитниками «имперской онтологии», не согласившимися пойти на уступки с духом мира сего под какими бы благовидными предложениями это не проходило. Старообрядцы не консерваторы и не архаики, не сторонники «прошлой любой ценой» и не противники всяческих перемен, как их часто неверно изображают. Смысл и суть русского раскола заключались в том, что часть православных восстала против антихристового содержания реформ, причем распознали они всю катастрофичность положения дел с самого начала книжной sprawy, задолго до того, как прошел проклятый собор 1666_67 годов, задолго до Петра Алексеевича, зачеркнувшего одним махом Русь, Москву, Патриаршество, «катехона», подлинное Православие. Следовательно, проблематика русского старообрядчества имеет в нашем вопросе первостепенное значение, и вся эта сложнейшая тема должна быть помещена в центр внимания.

Эти три позиции не подлежат сомнению. Все остальное более проблематично. Но попытаемся все же высказать некоторые предположения.

Разделение старообрядцев на несколько расходящихся друг с другом согласий и толков не позволяет говорить о том, что и в этом лагере существует однозначно верная, предельно приближенная к истине экклесиологическая теория, выправляя по которой остальные позиции, мы могли бы прийти к реальности Филадельфийской Церкви. Частные мнения по глубинным богословским вопросам противопоставили многие согласия друг другу и в самом старообрядческом лагере, а в последствии они закрепились, превратившись в не подлежащие развитию или пересмотру догматы. Это чрезвычайно важный момент, так как из него следует, что правота эсхатологической позиции староверов не означает еще их прямого тождества Филадельфийской Церкви. Уже сама множественность толков и согласий явно говорит против такого утверждения, так как Церковь Едина. А раз так, то следует обратиться и к иным ветвям Русского Православия.

В романовский период постоянно шел процесс негласного возврата Русского Православия к допетровским временам, но это был путь не консервативно-революционный (как у старообрядцев), а консервативно-эволюционный, обязанный своим существованием, в первую очередь, архаичности земского мелкого и среднего клира и множеству простых прихожан. В некотором смысле, восседания антихриста в Церкви до конца так и не свершилось, несмотря на то, что в отдельные промежутки царствования Петра Первого или Анны Иоанновны создавалось впечатление, что это происходит. И все же по каким-то высшим причинам окончательный аккорд был отложен, хотя силы антихриста удесятерились.

Пусть ценой компромиссов и приспособленчества, но Русское Православие сохранило свое единство, законность иерархии, евхаристическую преемственность, верность основным нормам святоотеческой традиции. Санкт-Петербургский этап характеризовался определенным раздвоением официальной Церкви — в низах она тяготела к положениям Старой Веры, то есть собственно к Православию в его наиболее чистой форме. В верхах оно было ориентировано на западные установки и нормы, официальное богословие повторяло модели католико-протестантских учений, общий дух был вполне отступническим. Реформы Никона значительно повредили и обряд, и богослужебные книги. Синод стал чиновничьим ведомством при бюрократическом профаническом государстве.

Важно, однако, и то, что Россия сохраняла политическую независимость, а Православие оставалось государственной религией. Это добавляло всей ситуации двусмысленность, которой не существовало, к примеру, в Византии, погибшей политически сразу же после того, как совершилось отступничество религиозное. И не случайно никогда не прекращались в России православные движения, ратовавшие за восстановление Патриаршества (линия Дашкова), то есть за возврат к допетровскому строю Церкви. Предпринимались многочисленные попытки утвердить «единоверие», то есть объединить «никониан» и староверов в единую Церковь (об искренности таких попыток мы спорить не будем). Довольно характерны были для русского клира и яростные антизападные, антикатолические мотивы, выдававшие инерциальную укорененность в византизме и втором экклесиологическом периоде. Можно сказать, что и в Русской Православной Церкви имела определенная тяга к «Филадельфийскому строю», понимание необходимости дать новый богословский экклесиологический ответ всемерно усиливающемуся могуществу антихриста, его проникновению вглубь социальной и природной реальности. На светском уровне и в довольно приблизительной форме сходные настроения были распространены в среде славянофилов и их последователей (Достоевский, Леонтьев, Данилевский, некоторые направления народников и социалистов-революционеров, позже евразийцев и национал-большевиков).

Следующим важным моментом, еще более разделившим русских православных, была Октябрьская Революция. Этот режим полностью отменял и рушил все то, что хотя бы номинально осталось еще в России от «византизма» и Святой Руси. Он ниспроверг монархию и поставил Церковь практически

вне закона. Но и здесь снова проявилась сложная и часто недоступная скромному человеческому рассудку промыслительная идея — большевики на светском уровне и под глубоко чуждыми народу лозунгами в экстремальной форме установили жестко антизападный строй, и противоречие Восточной Римской Империи и Запада вспыхнуло с новой силой в конфронтации социализма и капитализма. С одной стороны, большевики были еще хуже Романовых, так как атеизм, механицизм, материализм и дарвинизм намного дальше отстоят от истины, нежели пускай усеченное, но Православие. С другой стороны, и сквозь большевиков действовала странная сила, удивительно напоминающая в некоторых своих аспектах царствование Ивана Грозного, опричнину, возврат к архаическим народно-религиозным стихиям. Не случайно на первом этапе революции неров довольно активно поддерживали некоторые вожди старообрядцев (в частности, нетовский наставник Дорофей Уткин, знаменитый купец-старообрядец Савва Морозов и т.д.) и часть православных (показательно относительная лояльность к Советам на определенных этапах не только «обновленцев», которые значительно отступали от норм Православия, но таких «староцерковников» как еп. Андрей (Ухтомский) и движения «христианских социалистов»). Кроме того, быть может, следует рассмотреть в новом свете т.н. «сергианскую» линию Московской Патриархии. С определенной точки зрения, «патриотическая» и «просоветская» позиция митрополита Сергия (Страгородского) и других Патриархов советского периода не так уж и отличалась от выбора, сделанного сторонниками Никона и особенно русскими иерархами, принявшими постановления Собора 1666_67 годов. Вспомним, слова Патриарха Иоакима в ответ на запрос царя о его «вере»: «Аз де государь не знаю ни старья, ни новья, но что велют начальницы, то и готов творити и слушать их во всем». Могут ли наследники традиций такого полного духовного конформизма осуждать действия в столь сложной и парадоксальной ситуации митрополита Сергия?!

Как бы то ни было, после поражения белых в Русской Церкви снова обнаружилась двойственность — Русская Православная Церковь за Рубежом («Карловацкая») распознала в большевиках «приход антихриста», и на этом основании приравнивала позицию Московской Патриархии (и отчасти митрополита Евлогия, занимавшего умеренную позицию) к отступничеству. Отсюда пренебрежительный термин «сергианство». Но сама эта Церковь сохранила верность именно синодально-петербургскому укладу, осталась в богословских и социально-политических рамках романовского периода, несмотря на то, что лично митрополит Антоний (Храповицкий) до эмиграции был сторонником «духовного преодоления раскола» и крайне критично относился к «романовщине».

Московская Патриархия, в свою очередь, осталась лояльной к Советской власти. Мы уже упоминали символические черты, сопутствующие большевизму — перенос столицы в Москву, восстановление в 1917 Патриаршества на Руси, обретение «Державной», «Деяния» 1929 г., Собор РПЦ 1971 и т.д. Будто какие-то знаки указывали на сложный и превышающий рассудок замысел Господа о Церкви и человечестве.

Как бы то ни было, и у «зарубежников», которые, кстати, оказавшись в чрезвычайно тяжелом положении, вспомнили о важности роли «катехона» (с этим связана и канонизация Николая Второго), и у «сергиан» была своя еkkлесиологическая правда, а значит, и здесь можно найти «филадельфийские» элементы. Черты антихриста в лице большевиков бесспорны. Но и на либеральном Западе, куда вынуждены были отправиться белые эмигранты, степень апостасии была никак не меньшей (если не большей). Тем более, что все вредоносное и наиболее отталкивающее в русском коммунизме есть прямое заимствование с Запада. На Западе антихрист верховодил самое малое тысячу лет, и проникновение его вглубь западного бытия, западной онтологии не могло не быть решающим. Если и судить большевиков, то никак не глазами «прогрессивного человечества», которое и есть для православных очевидное скопище покорных и добровольных, но одновременно, высокомерных и агрессивных «слуг антихриста». Да и с позиций романовского синодального Православия окончательный приговор выносить не стоит, если вспомнить на каком фундаменте покоился сам этот уклад. Поэтому здесь мы выходим за грань однозначных оценок. Важно лишь, что и у зарубежников, и возможно с еще большими основаниями у «сергиан» была своя промыслительная правда, которую необходимо учесть в филадельфийском утверждении.

Подведем итог: Филадельфийская Церковь, призванная дать последний и решительный бой антихристу, отличается следующими еkkлесиологическими характеристиками:

1. Она является Православной и признает тождество Византии «тысячелетнему царству».
2. Она настаивает на апостасии Запада (особенно после схизмы) и убеждена в том, что западный мир первым попал под власть «сына погибели».
3. Она рассматривает Московское Царство как продление византизма на некоторый срок со всеми вытекающими из этого еkkлесиологическими (и онтологическими) последствиями.

4. Она осознает все значение русского раскола, принимая старообрядческую трактовку эсхатологического смысла этого явления.

5. Все три главные направления в сегодняшнем русском Православии — староверов, РПЦ и «зарубежников» — она считает недостаточными по отдельности, но несущими в себе отдельные аспекты экклесиологической истины. У староверов истинна оценка раскола. У РПЦ факт наличия Русского Патриаршества, иерархическая полнота и национальная солидарность с судьбами Русского Государства любой ценой. У «зарубежников» — акцентирование эсхатологической роли монархии как «катехона».

6. Эти три важнейших элемента Истины, рассеянные по разным течениям Русского Православия, а также некоторые аспекты греческой Церкви — особенно связанные со старостильниками, матвеевцами, монашеским умным деланием, с Афоном и исихазмом — и иных православных Церквей (сербской, болгарской, румынской, молдавской, македонской и т.д.) являются теоретическими богословскими и экклесиологическими пределами, в которых может и должно состояться филиладельфийское возрождение непосредственно перед точкой Конца, дату которой знать никому не дано, но ждать и страстно желать которую является нашим религиозным долгом.

Вспомним слова «Откровения» Иоанна Богослова:

«И Ангелу Филадельфийской Церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит:

Знаю твои дела: вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.

Вот сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, — вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что Я возлюбил тебя.

И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.

Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уж не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.

Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит Церквям.»

Страшный Суд

Есть множество причин, по которым «Филадельфийский план» апокалиптического восстановления Церковного Единства, понятого только и исключительно в православном смысле, может показаться утопичным. Церковь сегодня как никогда раньше далека не только от возможности объединения, но и постоянно находится под угрозой дальнейшего дробления и прогрессирующего распада. Темные ереси, либеральные реформы, откровенная агрессия антихристового Запада обрушиваются на этот корабль Спасения с новой невиданной мощью. Кажется, хватило бы сил сохранить то, что осталось, куда там, грезить о Возрождении...

Но это слишком человеческий подход. Он выдает прохладу веры.

Стоит только всерьез задуматься об огненной реальности Страшного Суда, о разверзшейся пасти ада и головокружительной вспышке света Славы Господней, стоит только понять, к событию какого порядка и какого значения мы неумолимо приближаемся, как непреодолимое покажется несущественным, невозможное обратится легко исполнимым, твердое станет податливым и прозрачным.

Перед лицом Второго Пришествия нет вообще никаких постоянных величин или безотзывных очевидностей. Все дрожит и плавится как тонкий, сжигаемый нездешним пламенем свиток.

Неизбежности нет. Есть возможность.

Остальное зависит от тех, кто сохранил несмотря ни на что верность Истинной Церкви и Истинному Царству, Последнему Царству неубиенной, неуничтожимой Святой Руси, тревожным благовестом вызывающей из глубин нашей души.

Александр Дугин

ЕВРАЗИЙСТВО И СТАРОВЕРИЕ

Старое против древнего

Евразийское движение является наиболее ценным источником вдохновения для современной политической мысли России. С гениальным, почти пророческим, чувством будущего исторические евразийцы сумели поставить диагноз политической истории России в XX веке еще в 20-е и 30-е годы—тогда, когда все было далеко не так очевидно, как сегодня. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Н.Н. Алексеев и другие евразийцы выковали абсолютную формулу истинного русского патриотизма, обобщающую положительные стороны и белой и красной идеи. Вместе с тем евразийцы точно вычленили все недостатки казенного и антирусского романовского периода (который они называли «романо-германским игом») и предсказали главную причину неизбежного краха большевизма, которая заключалась в антирелигиозной и западнической составляющей этого интереснейшего политического учения.

Но наряду с критикой магистральных и одинаково неприемлемых проектов развития русской государственности — и революционного и реакционного — евразийцы разработали общие контуры позитивной, созидательной творческой альтернативы, русский проект Консервативной Революции.

Основатель евразийства князь Н.С. Трубецкой с предельной ясностью описал сущность евразийского проекта в программной статье «У дверей»:

«Новаторство не в отказе от прошлого, а в отталкивании от непосредственного, недавнего прошлого, в перескакивании через него и в идеологическом примыкании к эпохам более отдаленным. Эти очень древние элементы, почерпнутые из глубины исторической памяти, оказываются новыми и революционными именно благодаря пересадке в новый контекст. Элементы отдаленного прошлого, вырванные из исторической перспективы и пересаженные в новый для них контекст современности, начинают жить совершенно новой жизнью и становятся способны вдохновлять к подлинно новому творчеству. Следует отличать старое от древнего. »

Древнее против старого. Блистательное позавчерашнее, совпадающее с героическим завтрашним, против недостаточного вчерашнего и выросшего из него постылого сегодняшнего. Высшая формула глубинного евразийского патриотизма. Ключ к уникальному мировоззренческому синтезу. Концептуальный механизм, позволяющий легко преодолеть те противоречия между «революцией» и «реакцией», между «белым» и «красным», которые фатально не дают консолидировать весь творческий духовный исторический потенциал русского народа в единую волю, в единый проект, в единое свершение. И этим расколом неизменно пользуется внешний и внутренний враг: западники, атлантисты, проводники «романо-германского», отчуждающего, русофобского влияния.

Только евразийское мировоззрение и евразийская консервативно-революционная логика способны сплотить наш народ, вывести его на органичный и естественный исторический путь. Быть может, именно сегодня мысль наших евразийцев 20-х_30-х годов актуальна и современна, как никогда ранее.

Москва превыше всего

Евразийцы недвусмысленно выделяли тот этап русской истории и русского государства, который был для них образцом. Это — «Московская Русь», наследница одновременно и Византии и империи Чингисхана, торжество великорусской стихии, «бытового исповедничества» чистейшего Православия, колыбель и матрица великого евразийского государства.

Именно на отрицании основных принципов «Московской Руси» строилась, по мнению евразийцев, «романовщина», «антинациональная монархия», двухсотлетнее «романо-германское» иго. Почти

все в этом послераскольном зоне российской истории было порочно, пародийно, антинационально. Только разрозненные фрагменты и смутные пространственные импульсы светлого «Московского периода» сохранились в народных массах и в инерции геополитических начинаний. Но сущность, тонкий дух Святой Руси, чистота национальной доктрины, тайна священного национального и государственного бытия были безнадежно утрачены.

Евразийцы утверждали: в Октябрьской революции виноват только царизм, только «романовщина», «романо-германское иго». Большевизм был неизбежен. Его положительные стороны—в отрицании Запада, в обращении к Азии, в выведении на поверхность новой элиты из низших (а поэтому наиболее национальных и ценных) слоев русского общества. Его отрицательные стороны—в использовании доктрин, заимствованных с Запада, в отказе от Православия и от учета национальных традиций.

Евразийцы предлагали третий путь, новое авангардное решение. Оно состояло в возврате к «Московской Руси» через использование некоторых наиболее эффективных сторон большевистской практики. Сочетание крайнего национального архаизма с новейшими социально-политическими технологиями. Синтез противоположностей.

Но исторические евразийцы не совершили последнего шага в религиозной сфере, предполагаемого всем остальным. Декларируя верность русскому Православию в его подлинной, «московской» версии и почитая Аввакума, они колебались поставить все точки над *i* и сделать решающий вывод.

Старая Вера для Новой Руси

В религиозной сфере евразийская теория неизбежно приводит к утверждению того, что подлинным Православием, наследующим непрерывную традицию «Московской Руси», является русское старообрядчество, Древле-Православная Церковь. Ровно в такой степени, в какой антинациональная монархия Романовых привела Россию к катастрофе XX века, никонианство, подчиненное, обмирщенное, послушное, синодальное, казенное «православие» привело русских к атеизму и сектантству, обескровив истинную Веру, бросило народ в объятия агностицизма, бытового материализма и ересей. Западническая сущность псевдомонархического послепетровского Государства точно отражалась в синодальном никонианском «православии». Европеизированные, озападенные, русофобские по сути верхи Империи трансформировали официальную Церковь в некий аналог государственного департамента. Это не могло не сказаться на самой природе Русской Церкви. Истинный православный дух ушел в народ, в низы, в раскол.

Именно к старообрядчеству как к подлинному аутентичному русскому Православию логично было обратиться и евразийцам. Так оно и было: Н.С.Трубецкой (вместе с другими евразийцами и вообще лучшими политическими и религиозными деятелями своей эпохи, такими как еп. Андрей Ухтомский) полностью признавал правоту Аввакума, традиционность двуперстия, незаконность «разбойничьего собора 1666 года», никонианской sprawy, неоправданность и ошибочность перехода к малороссийской редакции Священных и богослужебных текстов от редакции великоросской, московской. Но, возможно, «барское», аристократическое, «кадровое» происхождение вождей исторического евразийства препятствовало тому, чтобы однозначно и полностью признать не только историческую (это как раз было), но и ексклезиологическую, церковную правоту староверов. Староверие воспринималось дворянством как «религия черни», и элитаристы (а евразийцы были именно таковы) испытывали «классово» предопределенную сдержанность в отношении «простонародной веры». Народники и эсеры шли в этом вопросе намного дальше, но им, уввы, в свою очередь, не доставало традиционалистского концептуального аппарата, а также они недостаточно люто ненавидели Запад, либерализм и рационализм, чтобы отвергать некоторые вторичные рационалистические напластования в старообрядчестве. Кроме того, эсеры вслед за Толстым не делали особого различия между импортированными протестантскими, баптистскими ересями и собственно русской Православной Верой, какой является старообрядчество.

Возрождение евразийства в наше время, новое обращение к вечному, надвременному, сакральному идеалу «Московской Руси», Святой Руси, требует от нас мужественного столкновения с этой проблемой. Евразийство сегодня не может не сопровождаться религиозным обращением к Старой Вере, к Древнему Православию.

Благодаря такой позиции русские могли бы найти непротиворечивый ответ на то радикальное недовольство современной Церковью, которое все яснее дает о себе знать. Но отрицание ханжеского, слабосильного, лицемерного, конформистского, обескровленного и вяло распадающегося «православия» никонианского типа не должно отбрасывать русских в лживые объятия ересей и темных атлантистских сект. Истинная русская Вера — Вера Христова и Церковь

Христова. Предать ее означает предать самое ценное национальное зерно. И в этом смысле спасением является обращение к Древлеправославной Традиции или, по меньшей мере, к Единоверию, предполагающему признание полной доктринальной, ритуальной и исторической правоты старообрядчества, но при терпимости и лояльности к РПЦ.

Старое нас погубит. Затормозит наше развитие. Вовлечет в лабиринты неснимаемых конформистских противоречий и компромиссов.

Древнее нас спасет.

Евразийство будет до конца логичным только в том случае, если оно будет основываться на возврате к старообрядческому чувству, к древней и истинной Русской Вере, к подлинному Православию.

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

«КАДРОВЫЕ»

Антропологический дуализм «часовенных»

У старообрядцев-беспоповцев «часовенного» согласия термин «кадровые» нагружен колоссальным смыслом. Уходит генезис его в бездны тончайших эсхатологических и онтологических воззрений.

Староверы делят всех русских на две категории, на два антропологических типа. Сами староверы — и считающие себя Церковью и даже трагически убежденные в том, что «Церковь на небо уша» («нетовцы») — принадлежат к людям «древнего рода», к тем, кто не принял никонианских и позднейших петровских реформ. Эти «реформы» изменили не внешнюю сторону государственного уклада, но таинственное, спасительное, преображенное качество национального бытия, десакрализовали Русь, роковым образом превратили «Святую Русь» в «светскую Россию». За сходством звучания этих слов «Святая» — «светская», «Русь» — «Россия», старообрядцы видели подмену, разрыв, онтологический подлог. Отсюда популярные в народе слухи о «подмене царя», о «лжецаре». На самом деле, отвержение Древней Веры окончательно свершилось не в 1656 (когда Никон постановил перейти к «новообрядческому ритуалу»), а в 1666_1667 годах, когда заезжие первоиереи анафематствовали Стоглавый собор, то есть апостериори отказали в сотериологической состоятельности самой концепции «Святой Руси» и «Третьего Рима». С этих пор народ и страна разделились на две части — официальная, никоновско-романовская и неофициальная, аввакумовская, беглая. Москва как Третий Рим сама ушла в бега и скрытничество, в леса и пустыни, в далекие провинции, в российскую глушь. То, что было центром — Москва, догматы и пункты Стоглава — превратилось в периферию, стало учением национального неконформизма, сокровищем тех, кого «новообрядческий центр» признал «еретиками» и «отступниками».

Одна часть нации, оставшаяся верной «Святой Руси», унесшая Третий Рим на границы Родины, составила ядро «старообрядческой Руси», особый этнос, этнос, не принявший десакрализации, возмущившийся року, восставший на апокалиптическую неизбежность вырождения и апостасии. Вторая часть приняла реформы, более не по убеждению, а по инерции, а также из безусловного конформизма. Это стало пореформенным «миром», а в глазах староверов такое «мирщение» было равнозначно принятию стороны антихриста и его аколитов.

Византийская модель власти подразумевает строгое и искреннее, безусловное подчинение православному Царю, «державному». Это правило распространяется на девяносто девять случаев из ста. Но есть один случай, когда дисциплина становится предательством, послушание ведет к преступлению, верность оказывается чреватой отступничеством. Этот уникальный, страшный, исключительный момент настал на Руси во второй половине XVII века. И народ был расколот. Вместо одной нации стало две.

Старообрядцы рассматривают людей, сохранивших лояльность «светской России», не просто как инаковых, но как духовно и физически заразных. Эта специфическая зараза — конформизм, патологическая неспособность «различения духов», формальное отношение к понятию долга,

которое не может не привести однажды к тому, что (один из ста) момент неповиновения будет по духовной лени не зафиксирован и упущен. Общение старообрядцев с конформистами приравнивается к осквернению и называется особым термином — «мирщение».

Но сами «мирские», то есть пораженные конформистской чумой и попавшие за счет этого под печать «духовного антихриста» (по беспоповской терминологии), делятся на две категории — обычные «мирские» и «кадровые». Это очень интересное деление: «кадровые» отличаются от обычных «мирских» тем, что их соучастие в Системе, в структуре апостасии является активным и в значительной степени сознательным; в отличие от всех остальных они не просто страдательно и по инерции попали в безблагодатный мир отчужденной от своей тайной спасительной сути России, но хищно и по своей воле, энергично навязались Системе, жадно впились в нее, рассчитывая получить конкретную материальную, психологическую и «духовную» компенсацию. Общение с «кадровыми», совместная пища с ними, молитва, дружба не просто прегрешение, но страшный грех, дискредитирующий всякий авторитет в старообрядческой среде.

«Кадровые» суть те, кто попали в «кадр» Системы, кто по своей инициативе забрались в освященный социальный квадрат, где апостасия действует не столько через насилие, сколько по добровольному ее приятию. «Кадровые» не жертвы, но активные и хищные христородавцы, духовные и социальные наследники первых инициаторов «дьявольских реформ», анафематствовавших доктринально и лживо прибегая к церковному авторитету всю Святую Русь, все эсхатологическое учение о Третьем Риме, о спасительном и спасающем избранничестве русского народа перед Концом Времен. «Кадровые» — элита «духовного антихриста», его добровольные сподвижники. И неважно, продолжают ли они осквернять спасительный восьмиконечный крест католическим четырехугольником, продолжают ли гноить за освященное подлинной Церковью двуперстие в тюрьмах и ссылках, продолжают ли потрясать подделками типа «Мартина-еретика» или все это давно забыто, давно в прошлом, а на месте цепной антихристовой ярости уже воцарилась лаодикийская прохлада безразличия. «Кадровый» он и есть «кадровый», и многообразные мелодии «сына погибели» звучат сквозь его существо кощунственной полифонией — от ярости до иронии, от жесткого неприятия до безразличной терпимости.

Сами себе огонь

У Юлиуса Эвола в книге «Оседлать тигра» есть термин «обособленный человек». Под таким человеком Эвола понимает существо, радикально отличное по своей сути от современного мира и укорененного душевно и духовно в мире ином — в мире Традиции, в мире сакрального, что когда-то было явным и магистральным, но с течением времен ушло на периферию, скрылось от широких масс, стало труднодоступным, почти не существующим. На этом основании Эвола пришел к своего рода «правому анархизму», где всему современному говорится решительное «нет», «тотальное нет», и утверждается древняя, изначальная Истина, истина того мира, который был качественно, бытийно иным.

Как удивительно напоминает такая типология русское старообрядчество, особенно его наиболее радикальные беспоповские и нетовские толки! То, что староверы называют «кадровым», Эвола и радикальные традиционалисты называют «современным миром». А эволаистская теория «мировой субверсии», стоящей за «современным миром», удивительно похожа на концепцию «духовного антихриста».

«Кадровые» — сам термин, его интуитивное понимание, его схватывание уже является испытанием, важнейшим тестом духовного отбора. Определенная часть людей не увидит в этом зловещем слове ничего предосудительного. Если они благосклонно настроены, то попросят дополнительных объяснений. Если имеют злобно-желтый взгляд, то начнут упрямо рычать. Но есть и «обособленные люди», «духовные староверы», «нация параллельной Руси», сохранившая верность святости вопреки светскости. Для них интуитивно, как данность, ясно и различимо — где «кадровый», а где нет. «Кадровый» может быть не только в рядах западников, вооруженных «поппером духовным». Он характерная фигура и в среде патриотов, кто протестует и не согласен. Не факт принадлежности к Системе — прошлой или настоящей — делает из человека «кадрового». Речь идет, действительно, об антропологическом дуализме. Причем осознание десакрализованного мира как невыносимого, как недопустимого, как патологического, как неприемлемого может в определенных случаях и не быть следствием происхождения из старообрядческих традиционалистских семей или результатом особого религиозного воспитания. «Обособленный человек» подчас возникает сам по себе — не по культурным, а по онтологическим причинам, только потому, что его душа отчаянно хочет сохранять вертикальное положение в мире, где все либо недвижно распластаны перед антихристом, либо по-четвероногому рыщут в поисках кормушек его. Оpozнание «кадровых» как социальная проекция искусства «диакрисиса» — вот тот критерий, который определяет «обособленного человека».

В «кадровых» отвратительно все — их либерализм и их консерватизм, их радикализм и их послушание, их мораль и их порочность, их воздержание и их разврат. «Кадровые» во всех своих проявлениях всегда противоположны «обособленным», эволюция идей у тех и других — без всякого сговора и даже без учета позиций другого — проходит в строго обратном направлении, как будто мы ходим вокруг стола друг против друга, подчиняясь законам магнитной стрелки.— Не размышляя о причинах и основаниях, «кадровые» естественно движутся на юг, когда «обособленные» направляют ся к северу, тянутся к западу, если другие предпочитают восток, уходят на периферию, когда те захватывают центр.

Это — головокружительный антропологический дуализм, пронизывающий все возможные социальные, религиозные, политические позиции и организации: куда бы ни ступила нога «кадрового» под ней все вянет, в гротеск и кривизну превращаются чистейшие догматы и тонкие идеи. И наоборот, в какую бы крайность ни впали «обособленные», куда бы ни уклонились, повсюду сопутствует им дух трагичной, драматической чистоты.

Мал круг «обособленных», но нигде в мире нет их в таком количестве, как в нашей стране, где в тайном сговоре со святостью, с древним Китежем, кажется, состоит сама природа, сама кровь наша нашептывает нам, русским, предания о утраченном пречистом граде, колокольный звон которого чуткое ухо различает до сих пор. На Западе «обособленный человек» — редчайшее исключение, трагичный атом, «суверенный индивидуум». У нас есть целые миры, целые толки обособленных, закалившихся, напитавшихся спасительными соками безмерного страдания. У нас есть целый «обособленный народ».

Нам ли отчаиваться в ожидании близких лучей? Нам ли опускать руки? Нам ли сетовать на непобедимость врага? Нам ли смотреть в поисках ответа на затухшие угли Запада?

Мы сами себе огонь.

.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

«СТОРОЖ: СКОЛЬКО НОЧИ?»

«Вы умерли, святые грады,
без фимиама и лампы
до нестареющих пролетий,
Плачь, русская земля, на свете
Злосчастней нет твоих сынов,
И алмазный засов
У врат лечебницы небесной
Для них задвинут в срок безвестный.»
Н. Клюев (Разруха)

«Ответ инокини Евстолии можаевцу Федулычу»

Я не буду вводить вас в заблуждение, я этого произведения не читал. Знаком с ним только по научному описанию фонда одного старообрядческого толка — «страннического согласия» или «бегунов». Но мне кажется, что само название настолько выразительно и глубоко, настолько в нем обнажена метафизика русского языка и тайного русского быта, что сердцу нашему говорит оно больше любых догматических и философских трактатов, написанных мужами учеными и сведущими. Достоверно известно, что инокиня Евстолия, принадлежащая странническому согласию, наша современница, равно как и Федулыч. Оба они относятся к бегунам, самому крайнему (наряду с нетовцами) направлению в беспоповском старообрядчестве. Эта скупо описанная в научной диссертации тетрадка не дает мне покоя. Преследует воображение. В наше время наряду с омерзительным телевизором и скотоподобными чиновниками, политиками, бизнесменами, туристами и молодыми людьми со стертým взглядом и атрофированными мыслями, где-то в стороне бьется странный пульс давно забытой национальной святости.

Где-то спасается можаевец Федулыч, осиянный тканью национальной истины, ушедшей три

столетия тому назад в безвозвратный побег из центра на периферию, за край изведенного, в поисках родной Родины, нашей с вами, мучительной, жгучей Родины, покинувшей «тесные» пределы извратившегося мира, бежавшей в чудный ужас «просторной» пустыни. И пишет Федулычу инокия, монашенка с загадочным именем «Евстомя». Трудно сказать, свято или грешно живет она, правыми или неправыми путями стяжает небесную отчизну. Какое значение имеет здесь личность?! Имя сверкает в таежном, измученном ветрами, осыпанным ослепительно белым (как манна) снегом, — такого снега нет нигде, кроме Руси, — странном, вопросительном краю, вдали от столиц и райцентров, может быть, в Сибири, может, в северных землях, в болотах Коми, в до сих пор не разоренных истовыми «кадровыми» скитах. Как в Средневековье верили в «царство пресвитера Иоанна», расположенное где-то в волшебных просторах Востока, я верю в тайную Русь, в землю инокини Евстомии, в принадлежащие ей и ее душе кусок земли, кусок неба и воздуха, где беспрепятственно можно подниматься в трудной и жаркой молитве по лестнице стихий.

А на другом конце вселенной ждет (или не ждет) ее ответа и так уже многое понявший (не из слов, а из опыта) можаец, готовый обстоятельно и неспешно обсудить со скрытниками новую весть, дошедшую из далекого уголка духовного русского континента. Внимательно всматривает ся Федулыч в «Ответ». Разглаживает школьную тетрадь. Разглядывает восьмиконечный крест, писанный по-старинному полууставом текст. Одобрительно кивает, когда видит знакомые необходимые слова — «расчлененный антихрист», «последние времена», «умственный волк», «статейники»... Возможно, были упомянуты в «Ответе» и «ваучеры», которые, по мнению многих странников, являются самой новейшей разновидностью «дьяволовых бумаг»...

Даже не так важно, что именно содержала тетрадка, которую я, конечно, попытаюсь отыскать. Но главную мысль послания я уже понял. Из самого названия. Федулыч, наверное, тоже.

«Куды итить?»

Бегуны — как никто другой даже в радикальных беспоповских толках — поднимают главный вопрос раскола — вопрос о «духовном или расчлененном антихристе» и о «полноте и широте его власти в последние времена». Трагичнее и страшнее других воспринимают они порчу, пришедшую на Русь вместе с никоновской справой, и особенно с западничеством гадом Петром. Его большинство бегунов отождествляют с антихристом или с его наиболее мерзким воплощением. Святая Русь кончилась. От страны, народа и государства отделилась «святая часть», Церковь Небесная. Поля бытия отныне засеяны антихристовыми всходами, повсюду лютуют «кадровые», князь мира сего метит сатанинскими знаками вещи и деньги. Бегуны, последователи инока Евфимия, решили пойти по самым крайним путям: раз Русь из Святой стала проклятою, то надо отречься от нее.

Но «куда идти, когда идти больше некуда?» — отчаянный вопрос Мармеладова у Достоевского, заданный, правда, по несколько иному поводу. Или просто: «Куды итить?» — еще более страшный и бегунский по духу вопрос в рассказе Мамлеева «Человек с лошадиным бегом». Не на Запад же, откуда и пришел на Русь сатана, и не на басурманский Восток... Идти остается внутрь, вглубь, в погоне за ушедшей, удалившейся страной, в подводные озерные пространства Китежа, в лежащее за самым последним пределом, такое манящее, такое пронзительное, такое русское Беловодье...

Основная проблема раскола состоит не в вопросе о спасении, но в вопросе о предпосылках спасения, в вопросе о Церкви, о том отвоеванном у мира сего островке, где спасение еще возможно, тогда как в иных местах двери, ведущие вверх, прочно закрыты и не поддаются, даже несмотря на отчаянное личное усердие ревностных стяжателей святости.

Когда старообрядцев укоряют в их сходстве с протестантами, они (совершенно обоснованно) отвечают: «протестанты отрицают иерархию, мы же не отрицаем ее, и либо — как поповцы — ее имеем, либо — как беспоповцы — скорбим об ее отсутствии». «Скорбим об ее отсутствии». Ключевая формула национальной души. Скорбь об отсутствии вменяется за присутствие. Или еще радикальнее: скорбь об отсутствии и есть тот тайный инструмент, который утверждает и подтверждает достоинство и природу исчезнувшего, свидетельствует о том, что было когда-то имманентным, но удалилось, отошло, прекратило присутствовать в нашем мире. И все те, кто не заметил и этого, остались глухи к этой катастрофе, не помазались горьким миром жуткой воющей скорби, просто не имеют права рассуждать о делах духа и путях спасения. Слова их вменяются им в «неслова», а дела их — «как небывшие». Всей силой скорби и могуществом отчаяния скрепляются клятвы древнего «собора бегунов», отлучившего внешнюю Россию от внутренней Церкви по причине ее легковесного и дерзновенно небрежительного отношения к антихристу и обширности его распространения.

Великий объект скорби

Бегуны считали неизлечимой заразой все бумаги и документы, исходящие от духовно искажившейся государственности, от учреждений последышей Петра, не говоря уже о клеймах Запада. Самые радикальные странники счищали заводские печати с простейших инструментов, таких как пилы и топоры, которыми строили свои жалкие скиты, затерянные в сибирских лесах и пошехонских болотах. Часть странников—«согласие безденежников» — считала смертным грехом даже прикосновение к деньгам. Трудно сказать, как они могли существовать без документов, паспортов, денег, билетов, предметов первой необходимости... Но более двухсот лет и при Романовых и при большевиках не истощалась тайная жила духовного призвания, не оскудевала «бегствующая церковь» самых радикальных и глубоких из русских людей, самых преданных нашей национальной святости, самых ортодоксальных и несгибаемых сынов своего народа, самых истовых и чувствительных к главному вопросу апокалипсиса — к вопросу о Церкви Христовой в последние времена и о ее враге, антихристе.

Ненавидя деньги, бегуны абсолютизировали труд. Даже бесполезный. Один бегунский наставник советовал иноку: «если нет дела, строй стену и ломай ее, потом снова строй; безделье — грех, спокойное самочувствие, праздность — дорога в ад».

Бегуны отрицали, как и федосеевцы, брак, считая, что в апокалипсическую эпоху ужас богооставленности несовместим с плотскими наслаждениями. Не порицая православное отношение к браку как к таинству, бегуны считали, что все закончилось вместе с расколом, и отныне о браке следует лишь «скорбеть».

Осталось только «крещение», последнее таинство страннического согласия, даваемое только тем, кто принял обет полного ухода от мира и решился до конца жизни следовать тяжелейшим путем бегунов.

Все остальное — объект великой скорби.

В учении бегунов все положительное, все ортодоксальное, все свято-русское, включая государственность, благочестивого царя, священническую иерархию, православные таинства — удалилось в особое измерение, параллельное нашему обычному миру, где, напротив, святость иссякла, а на место чистоты воссела гряда извращения, душащая масса «духовного антихриста». Вся реальность — а для настоящего русского человека, православного человека ей является только церковная, воцерковленная реальность — расположилась на отныне за плотной завесой скорби. В этом бегуны сближаются с нетовцами, представителями другого радикального беспоповского согласия. Причем нетовцы неоднородны: есть поющие нетовцы, сохранившие церковные службы, а есть самая радикальная «глухая нетовщина» или «воздыханцы», считающие, что с расколом исчезло все, закрыты все пути спасения, что даже сама Церковь «на небо ушла», и что русским людям остается только бессловесно и горько «воздыхать». Но какое колоссальное, неуместимое в слова богословское содержание заключено в этих воздыханиях! В этом напитанном бесконечной скорбью священнобезмолвием глухой нетовщины... Насколько нагружено оно смыслом и духом... Как выразительна, содержательна и утвердительно его безгласая бездна...

Бегуны и нетовцы создали метафизику национальной скорби, выстроили подлинную иерархию между видимым утверждением и утверждением истинным. Видимое, поверхностное утверждение скрывает под собой ложь и извращение. Поэтому нет ему веры, нет ему доверия, нет ему веры. Благие слова, дела, чины и обряды обесславлены, обессловлены, отъяты антихристом, приручены и подделаны, похищены и подменены. Их святое нетленное содержание по тонким спиральям укрылось в параллельном мире, в китежском мерцающем полубытии, в недоступном Беловодье. И путь туда — скорбь и отсутствие, молчание, дикий труд, постоянное бегство, радикальное отрицание, смертельный пост.

Красная подушка

Говорят — хотя, может быть, это наветы — у странников была одна радость. Красная подушка. В скитах в тяжелый миг бытия страннику объявляли: «в такой-то и такой-то день это случится». С безмерной радостью ждал назначенной даты избранник. Тогда к положенному на одре христианину приближалась небольшая делегация исполнителей — иногда во главе с наставником — и красной подушкой закрывала возможность и далее вдыхать пропитанный парами антихриста воздух. Это называлось — «принять красную смерть». Прямой путь в Беловодье, купание на дне Светлоярского озера, желанное, чудесное обретение Вечной Руси. Последнее путешествие в Москву. Как в настоящий Третий Рим.

Савва Дугин

Совсем недавно я узнал о житии моего далекого предка, приходского священника Саввы Дугина. Он был сторонником Дашкова и ратовал за восстановление патриаршества на Руси. Видимо, как и многие последователи Дашкова, он был криптостаровером. Он писал так называемые «дугинские тетрадки» или «дугинские листки», в которых страстно бичевал западнические порядки Анны Иоановны, смертельно проклинал засилье на Руси иностранцев, диктатуру помещиков, бар, капиталистов и дворцовой романовской холуйщины. Скоро попал он в руки тайной канцелярии, был этапирован в омерзительный русскому сердцу Санкт-Петербург, куда долгое время даже вход людям в национальном платье был строго воспрещен, долго мучился в застенках, а потом сложил голову на плахе. Еще один мученик Святой Руси среди многих, многих, многих. Еще одно русское сердце, помнящее о Светлом Граде, о великом просторе, об истинной Вере и истинной Церкви богоносных отцов, о громовой и грозной национально утверждающей поступи Стоглавого Собора, о Белом Клобуке...

Это было двести лет тому назад. А раскол триста лет. Но все будто сейчас. Будто получаешь новый ответ от братии и, скорбя и негодуя, узнаешь подробности о мытарствах протопопа, его детей, о Лазаре и Епифании, о жестокой судьбе боярыни Морозовой, о взятии Соловков, о новых сибирских и нижегородских гарях... Будто это ты находишься в гнилых влажных застенках Санкт-Петербурга (я явственно чувствую этот холод от стен, вонь истлевающего, ветшающего платья, вижу в полумраке мокриц на стенах, слышу глухо ленивую поступь тюремщиков, утомительно ноют гноящиеся раны...) Потом снова гонения при Николае Первом, разгром Керженца, этапы, жандармы, занесенные вьюгами полустанки, и повсюду безразличие чиновничества, повсюду гнетущее дыхание духовного антихриста. И лишь бредущий с тобой рядом ревнитель древлего благочестия на память читает из Исая: «Ко мне зови от Сеира: стрегите забрала» — «Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? Сторож! сколько ночи?» — «Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь».

О наших «фантазиях»

Прошлое никуда не исчезает. Оно остается в бытии. Давит и радует темным весом своим. И во все времена есть посланцы этого живого, реального прошлого, которое и есть тайна настоящего, но вместе с тем и неразвернутая ткань будущего, которое тоже уже случилось, уже произошло, уже сбылось. В ангельском и восторженном, торжественном, восхищенном дворце бытия. Святая Русь выше времени, ее разговор, ее ответы и вопросы, ее щиты и книги, ее пение и ее тоска, ее просторная радость и душная святость ее никуда не ушли. Они рядом с нами, в нас. Как кровь предков, как помыслы их, как их недожитые духовные искания и недовыстраданные печали.

И как столетия назад пишет инокиня Евстолия послания свои духовному можаевцу. И весит над нами тяжестью родного духа неизжитая, нерешенная, недодуманная, недоведенная до конца «проблема раскола», красная подушка невместимого вопроса, бегунское тревожное эсхатологическое богословие скорби об отсутствии Правды, вменяемой за саму Правду. Или почти вменяемой?

Русь должна дать свой последний бой. Красная кровь Родины хлещет нас батогами памяти, жжет лучами будущего века, распинает на русском рябиновом кресте.

Вопросы России должны решаться под непосредственным окормлением патриархов страннического согласия, на соборе глухой нетовщины, в присутствии попов беловодского поставления из потаенных сибирских скитов.

Никогда истина не лежит на поверхности, никогда не выступает в покрывале светских анекдотов и само собой разумеющихся банальных сплетен из «кадровых» очередей. Никто не найдет пути, если страстно, мучительно, до боли, до воя, до эпилептического припадка не возжаждет его...

В глубь, в ночь, в скорбь должны смело идти мы в поиске нашей судьбы, нашего «духовного ответа», в обратном направлении времен, обернув умственный Иордан вспять.

Ключи к Китежу — не на бирже и не в банке, не на университетской кафедре, не в квадратных черепахах кадровых шелкоперов-аналитиков. Они у Федулыча и у Евстоии, у нетовских наставников, у дырмоляев, филипповцев, рябиновцев и мельхиседек. У настоящих русских людей.

Пора заканчивать с заморской нечистью, с подражанием заграничным выродкам, со всеми глупо и преступно, некритически, заимствованными повадками, навыками, методиками.

Мы должны учредить культ Руси, умолить ее вернуться из бегов, скитов и пустынь, из скрытничества, от ее потайной, уединенной скорби на окраине мира... Мы должны отдать власть над нами не жадным и подлым отщепенцам, ни в грош не ставящих ни нас, ни нашу кровь, ни наш дух, ни наших мертвых, ни наших живых, ни наших еще нерожденных детей, а русским странникам, зачарованным людям, обособленным фундаменталистам самых радикальных русских согласов. Лучше красная смерть и очистительное пламя, лучше плаха петербургских деспотов, чем рабская доля — с подвизгом, на коленях, в слюнях и потном угодничестве — у плешивого антихриста и его криворотых прихлебал. «За кредитную карточку и пиццу продали они души свои». Какова эпитафия поколению? Анафема Руси на головы вырожденцев и предателей.

И пусть не упрекают нас в «фантазиях». Эллампсис всероссийских гарей наших, это тоже «фантазия»? Миллионы замученных, вывернутых наизнанку, рассеченных, четвертованных, вспоротых, с обрезанными языками, обрубленными конечностями и головами, павших за землю русскую, за светлую Веру Христову, за Церковь и райскую Воду Белую, беспримесную, сладчайшую, бессмертие дарующую, и это тоже «фантазия»? Восстание в полмира духа нашего и сапога нашего — это «фантазия»?

Только бы пробудиться, только бы рассеять дрему, только бы хватануть молотом со сточенным клеймом мерцающий химическим пульсом подлых нерусских иллюзий, отлученный, анафемский ящик...

И вы увидите каковы наши «фантазии».

И содрогнетесь.

«Сторож! сколько ночи?»

«Приближается утро, но еще ночь».

А.Г.Дугин

"Вторжение"
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ТАКОЕ СЛАДКОЕ «НЕТ»...

В русском старообрядчестве есть крайнее направление — «нетовщина». Это экстремальное течение беспоповщи ны, Спасово согласие, отличающееся тем, что смотрит пессимистичней всех остальных беспоповцев (не говоря уже о поповцах!) на ту онтологическую и сотериологическую катастрофу, которая произошла на Руси, в мире, во Вселенной вместе с расколом. Разделяя общую старообрядческую, шире, святорусскую теорию о «Москве_Третьем Риме», к которому стянулась после падения Царьграда еклесиологи ческая предпосылка спасения, нетовцы абсолютизировали драматизм того обстоятельства, что вместе с никоновскими реформами, и особенно с разбойным Собором 1666_67 годов, последний оплот открытой возможности обожения, богоизбранная Московская Русь утратила свое эсхатологическое качество и вверглась в апостасию, следуя темным путям, по которым ранее прошли папежцы, лютеры и униаты.

Нетовцы, будучи истовыми христианами, крайними консерваторами, оказались в ситуации, когда сама бытийная ткань окружающего мира во всей его совокупности — в природе, обществе, религиозных институтах, в политике, самой материи, наконец — утратила свое световое измерение, замкнулась в темных и безысходных лабиринтах отступничества, откуда не было больше выхода к горизонтам спасения и преображения. Нетовщина разделилась на «поющую» и «глухую», самая радикальная — глухая. Она утверждала, что из «мира изъято вообще все», что «церковь на небо ушла». При этом Спасово согласие называлось так, поскольку считалось, что и в этой ситуации Сын Божии, Иисус Христос, может по своей воле и благодати все же спасти тех, кого почитает нужным, но в качестве исключения, как бы уже совершенно вне зависимости от действий человека, который отныне обречен во всех своих путях.

Нетовское направление в старовойрии только на первый взгляд может показаться «протестантским», «прогрессивным» и т.д. На самом деле, это глубочайший консерватизм, и отказ от большинства православных обрядов и таинств у Спасовцев свидетельствует не о преодолении их, но о радикальном отказе признавать в качестве аутентично го то, что заподозрено

в порче. Очень важно это понятие — «порча». Для нетовцев после раскола «испорчен» весь мир, вся Русь, все Русское Православие, к которому исторически стянулась избранная, спасенная, «благая» часть бытия.

Нетовцы утверждают трансцендентность «удалившейся святости», трагически, безмерно сокрушаясь об утраченной полноте. Они не просто констатируют факт, что «ничего нет», они выплакивают его.

Любопытный момент: нетовцы почитают среди первых учителей своего согласия Капитона, вождя «лесных старцев», которые появились в Заволжье еще до раскола. Старец Капитон был крайний аскет, спал стоя, привешивая себя на цепь, разговлялся луковицей, проповедовал абсолютный пост — хоть до смерти. Капитон одно время был близок к Царю, но потом — из-за интриг высших клириков — был удален, но не особенно огорчился, так как, согласно его взгляду на мир, в нем нечего было более делать. Удалившись в леса, старец Капитон висел на своей цепи и считал, что все потеряно. От эпитетов, которыми он награждал существующую церковную иерархию, краснели бесы.

Великий Капитон! До какой степени он был прав!

Но можно заглянуть еще дальше: в эпоху спора святого Иосифа Волоцкого с преподобным Нилом Сорским. Преподобный Нил Сорский, представитель русского исихазма, настаивал на крайнем аскетизме, на отделении монашеского бытия от русского мира и дел его. Косвенно намекал преподобный Нил Сорский на то, что Святая Русь тоже вот-вот отойдет от ее идеала, как пала Византия, так как последние времена и заведомо все духовное должно сделать окончательный и решительный выбор в пользу пустыни, оставив монастырские уголья, «тягловое государство», тяжелый труд всеобщего спасения административным, «кадровым» инстанциям. Его оппонент, святой Иосиф Волоцкий был категорически против такого подхода и настаивал на полной святости Руси и в духовно-монашеском, и в державно-политическом, и в хозяйственном аспектах. Святая Русь, по Иосифу Волоцкому, вбирала в себя духовное, не противопоставляя его другим сторонам бытия. Святой Иосиф Волоцкий утверждал континуальность, непрерывность между «матерью-пустыней» и тягловым государством, так как в Святой Руси все было направлено к единой цели — к всеобщему спасению и преображению в лучах великого последнего града Москвы-Третьего Рима. Исторически победил святой Иосиф Волоцкий. Но правда преподобного Нила Сорского не стерлась, она ждала своего часа.

Затем пришел старец Капитон, а затем нетовцы обосновали свою великую Боль абсолютизацией катастрофического онтологического, сотериологического и метафизического содержания раскола.

Можно идти еще вглубь веков и проследить «афонский след» преподобного Нила Сорского. Дело в том, что греческое Православие столкнулось с разделением церкви и государства (мира) еще раньше — в момент взятия Царьграда агарянами. В этот момент традиционно пессимистическая аскетика (авва Дорофей еще говорил: «не могу быть одновременно с Богом и с людьми») получила подтверждение своей трансцендентальной правоты — пустыня отныне имела карт-бланш в мире, где свирепствовали жестокие потомки Измаила, а не пригожие византийские василевсы. Матерь Пустыня.

Афонских исихастов их противники обвиняли в «ереси мессалиан». Так называется сочинение, направленное против святого Григория Паламы, писанное его противником Варлаамом. Мессалиане — древняя ересь, но в полемике речь идет о «новых мессалианах», как называли в ту эпоху богомилов. Богомилы-«мессалиане» — это продолжение гностического направления раннего христианства, которое утверждало обратный характер мира земного по отношению к миру небесному. По учению богомилов, земной мир фундаментально отличен от мира небесного, так как создан «павшим ангелом», сатанаилом. Поэтому земные институты, в том числе религиозные, не имеют реальной силы и только укрепляют могущество «князя мира сего». По этой причине у богомилов была своя параллельная иерархия, которая противопоставлялась официальной церкви, и пути спасения были крайне узки, сопрягаясь с предельной аскезой, с полным отречением от «мира материи».

Но и богомилы и мессалиане появились не на пустом месте. С первых лет распространения христианства существовали течения, склонные противопоставлять световую реальность Христа, миры Спасителя, возвышенную, трансцендентальную этику Нового Завета, бытоустроительной, реалистически-прагматической земной иерархии, «эре закона», где все исчерпывалось логикой поощрения-наказания, распознанной как инструмент сатаны, то есть миру имманентной тьмы. Таковы были гностики-дуалисты, и особенно известный ересиарх Маркион, на основании

антихристианс кой этики отвергавший весь Ветхий Завет. (Особенно его возмущал случай, когда пророк Елисей натравил убийцу-медведицу на невинных детишек, дразнившихся на него за его плешивость.)

Вне христианского контекста мы также встречаем аналогичное отношение к нижнему миру в буддистской традиции. Учение о сущности мира как о страдании и безысходном «колесе перевоплощений» лежит в основе буддистской сотериологии. Здесь нет гностического дуализма, нет богомильской идеи «злого демиурга», но смысл приблизительно тот же: подоплека мира — в страдании и зле, необходимо вырваться оттуда, обратить свое внимание на иное, «погасить» мир, стяжав «нирвану».

Дошли до царевича Сиддхарты. Но от матери-пустыни не удалились. Излюбленный православный мотив нетовцев — история о царевиче Иоасафе (память 19-го ноября по старому стилю), которая вплоть до деталей повторяет каноническую историю Будды Гаутамы. Этот же сюжет о царевиче Иоасафе был излюбленным в Нило-Сорской пустыне.

Царевич Иоасаф, сын индийского царя Февдула, принял Православие в своем дворце от старца Варлаама и отказывался выходить наружу. Его отец, обеспокоенный угрюмостью сына, уговаривал его выйти погулять, распорядившись убрать с глаз долой из царского сада больных, старых, инвалидов и нищих. Но сквозь плотную и чуткую стражу просочился какой-то убогий, как на зло попался на глаза царевичу Иоасафу и замямлил: «Ой, дитятко! Как в лета войдешь, хуже меня будешь; да и помирать надо, дитятко!» Посмотрел молодой красавец царевич Иоасаф-Гаутама и пошел в мать-пустыню.

Диалог между царевичем Иоасафом и матерью-пустыней воспет в знаменитых русских песнях, особенно популярных у староверов и, естественно, нетовцев. Здесь удивительный мотив: по-русски понятая пустота («шуньята»), альтернативная проклятому обреченному миру, обретает веские, плотские черты. Трансцендентное описывается в терминах сакральной русской природы.

Царевич Иоасаф (Асаф) на предостережения «матери-пустыни», что мол, де круто и лихо ему в ней, дикой и отчужденной, будет, отвечает:

«Не страшай мене, мати,
Ты великим страстями,
А пусти меня, мати,
Да в лес во дремучий!
Разгуляюсь я, млад юнош,
Сын Асафей царевич,
Во зеленой во дуброве;
Есть частыя дерева,
Со мной будут думати думу;
На деревьях есть мелкое листе,
Со мной станут говорити;
Лютые звери станут мене забавляти!
Прилетят райские птицы —
Со мной распевати,
Мене спотешати,
Христа Бога прославляти,
Как Христос Бог на небесах,
Херувимы, серафимы,
Со небесною силой!»

Если мы держим в сознании все предыдущее, то должны обратить внимание на то, что Трансцендентное («мать-пустыня», «мать-пустота») описывается здесь как насыщенная парадоксальным потаенным смыслом русская природа, последнее утешение нетовца, висящего на цепях лесного старца, беглого богомила...

Вот фрагменты нетовской версии истории о царевиче Иоасафате:

«Как шел старец по дорожке, черноризец по широкой... (...) Идучи слезно плачет, во слезах пути не видит, во рыданиях слова не молвит». Навстречу «Сам Христос Царь Небесный». Говорит Христос: «Ой ты, гой еси, старец-черно ризец, слезно плачешь? О чем, черноризец, въздыхаешь?» Ответ: «Ой ты, гой еси, Христос, Царь Небесный! Как мне, Господи, не плакать? Потерял я златую книгу (выделение наше—А.Д.), потопил я ключ церковный (выделение наше—А.Д.) в море!» Речь идет в

нетовском контексте об утрате Церкви и церковных таинств. «Златая книга» — таинства.. «Ключ церковный» — церковная иерархия . «На небо ушла...». Все. Христос за парадоксальным обретением и того и другого посылает старца-черноризца (в некоторых версиях — «царевича Асафа») в пустыню. Старец (=«Асаф») говорит тогда: «Ой ты, гой еси, батюшка Христос, Царю Небесный! Ты поставь-ка мне в пустыне келью, где бы люди не ходили, одне-бы пташки пролетали, меня-бы, старца, потешали, ото сна-бы пробуждали; ото сна-б я пробудился, на правило становился!» Вслед за тем Христос повелевает своим православным христианам бежать из городов-сел от народившегося антихриста: «Не сдавайтесь вы, Мои светы, тому змию сьдмоглаву, вы бегите в горы, вертепы, вы поставьте там костры большие, положите в них серы горячей, свои телеса вы сожгите! Пострадайте вы, мои светы, за Мою веру Христову: Я за то вам, мои светы, отворю райские светлицы и введу вас во Царство Небесно и Сам буду с вами жить вековечно!»

Удивительное сочетание в этом русском трагическом гнозисе

а) примордиальной русской природы (где райские птицы пробуждают монаха к чтению полунощницы, а сама пустынь описана весной как невероятно притягательная богатая красой и нарядами, плотски влекущая женская сущность),

б) метафизической концепции о трансцендентности шуньяты (пустыни-пустоты) и

в) огненного страдания.

«Вы поставьте костры большие, положите в них серы горячей, свои телеса вы сожгите!»

Свои телеса вы сожгите!

Как бы мы ни подходили к этой теме, факт остается фактом: есть люди, наделенные гностическим темпераментом, врожденные нетовцы, которые жарко и плотски взыскуют Трансцендентного и органично, спонтанно и безыскусно воспринимают имманентное как гниение, тлен и гибель. Они объясняют себя по-разному. Они сбиваются в группы и формулируют догмы. Их отличают не формальные, но более глубокие признаки, не доктрина, но архетип. Метадоктри на универсальной «нетовщины». Оказавшись в той или иной культурно-религиозной среде, гностики-нетовцы по-разному выражают свое послание. Нельзя сказать, что их послание — всегда одно и то же. Будем осторожны — это послание всегда очень и очень похоже.

Кое для кого огненная пустота боли и одиночества жива и полна смыслом, а наполненный петрушками многоликий мир (в том числе и наше собственное тело, шире, наша собственная индивидуальность) есть ноющая, бессодержательная, отталкивающая пустота. И нам с ними никогда не понять друг друга. «Les gens du jour ne vous comprennent plus... On est separe2 d'eux par tout la peure et on en reste e2craze2 jusque moment ou1 Ca finit, d'une facon ou d'une autre... Dans la vie ou dans la mort».

Горизонты нетовщины. Любезный костровый поцелуй матери-пустыни. Богомилы, катары, царевич Иоасаф, древний Гаутама.

Мы стояли там, где стоим. Столько веков... Столько смертей... Столько сырых соленых капель из одурелых красных глазниц... Спокойной ночи, старец Капитон.

Желаем тебе не проснуться завтра.

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 2000
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕГУНОВ

памяти соратника
Хейкки Хухтанена
(1975 - 1999)

Иерархии зла

Мы явно переоцениваем реалии внешнего мира. Мы слишком зависим от преходящих волн бытия. Мы слишком равнодушны к регионам Души. Политические активисты и пассионарии жалуются на пассивность обывателей, на их индифферентность. Но сами эти активисты сплошь и рядом так же прохладно относятся к мирам духа, где концентрация энергий еще больше, а напряжение бытия несравнимо выше, чем в политике. Так завязываются нити отчуждения, дегенерации, зла. Внешне активные люди часто пассивны внутренне, а внизу массы пассивны еще и внешне, не говоря уже о внутреннем. Многим кажется, что с духовными вопросами сегодня все ясно, что нам осталось лишь сделать внешнее социально-политическое усилие. Это глубочайшее заблуждение. Мироззренчески мы растеряны, хаотичны, сбиты с толку. Поклоняясь видимостям, мы копаем себе и Родине яму. Мы путаем учение с лозунгом, щелкающую броскую фразу, образ с духовной работой. Дальше так не пойдет.

Мы постоянно имеем дело со злом. Конфронтация с ним — обычная норма существования. Этого никто не станет оспаривать. Жизненно важно лишь уточнить степень и глубину этого зла.

Обыватель воспринимает зло бытовым образом. Как серию жизненных и социальных неприятностей, с которыми он сталкивается. Он не обобщает, не задумывается ни о масштабе, ни о природе зла. Он просто это констатирует и стремится противостоять или ускользнуть по мере сил.

Люди социально активные, ангажированные в «политику» имеют о зле более обобщенное представление. Оно связано с теми политическими и социальными реальностями, которые находятся по ту сторону баррикад относительно выбранного лагеря. Для таких зло наглядно, конкретизировано. Выбирая «добро», они получают автоматически «зло», противостоящее этому «добру», в отличие от обывателей, инерциально отождествляющих «добро» с собой и своим комфортом, а «зло» со всем, что несет этому какую-то угрозу.

Но за пределом и первой и второй категорий остаются области духа, в которых эти понятия обретают несравнимо более глубокий и глобальный смысл. «Зло» имеет очень серьезные корни в устройстве мира, и без решения этой проблемы мы никогда не сможем схватить смысл реальности, предложенной нам для разгадки самим фактом нашего появления на свет в человеческом облике.

Какова иерархия зла для полноценного русского человека? Того человека, который выпростался из обывательского потока сознания, ясно обозначил свою национальную и патриотическую позицию в катастрофическом такте истории, где оказалась Русь, и стремится теперь заглянуть глубже внутрь, в те области мира, где секретно зреют причинные завязи событий, процессов, существ и сил... Все вокруг давят и душат этот инстинкт познания, засыпают готовыми, уверенными по интонации, рецептами (которые — оторванно от брызжущего слюной собеседника — сыплются, как трухлявые, покинутые пчелами соты); все вокруг делают вид, что «все ясно». Это ложь. Не верьте никому, сейчас у нации нет полноценных учителей, место духовного авторитета вакантно. Честные, неглупые, искренние личности есть. Но настоящих духовных авторитетов нет. Поэтому полноценный русский человек должен во всем разбираться сам, продираясь яростно, неотступно, дерзко, настырно, буйно, внимательно, сосредоточенно — героически — к мирам смыслов, вопросов, ответов, глубоко запрятанных истин о нас самих и для нас самих... И естественно, корневища этих истин переплетены с осевым вопросом об иерархии зла.

Иероистория русских старообрядцев

Самой последовательной и радикальной доктриной зла является модель крайних беспоповских толков русского старообрядчества. Именно наставники староверов страннического согласия, в просторечии именуемые «бегунами», дают наиболее страшное объяснение сатанинской сущности «реформ», «либеральных преобразований», то есть того, что и так ассоциируется со злом в нашем политическом, социальном и даже обывательском представлении. Вкратце генеалогия зла такова.

Иисус Христос приходит в мир перед его концом, в «последние дни». Мир уже сам лежит во зле, так как, увлеченный потоком грехопадения, остановиться не в силах. Прабабка Ева и прадед Адам, видимо, были уверены, что они «сделали правильный выбор», «проголосовали сердцем». Но так или иначе мы пошли по спиральям, ведущим в пропасть, все ниже и ниже, down, down, down... И так длилось века, пока не подошли вплотную к отвесу мировой бездны.

Христос приходит в падший мир, где правит «князь мира сего». Это общехристианский взгляд на вещи, и отсюда легко себе представить, как глубоки причины зла, ведь они тянутся к древнейшим парадизакальным эпохам, бытия вокруг ствола древа познания.

Христос утверждает в мире путь спасения ото зла. Это Его Церковь. Это остров, изъятый из морей вырождения и беснования. Далее, под сенью Благой Вести из-под власти дьявола изымаются огромные просторы христианской православной Империи. Но работа «князя мира сего» не останавливается ни на мгновение, и с западной стороны Империя святого равноапостольного Константина на очень рано начинает гнить. Потесненный Церковью, сатана возвращается. В начале он проторил себе тайную тропу к папскому престолу. Западное христианство падает, расплываясь перед рогатым существом в узурпированной тиаре. Папезская ересь, апостасия католического мира. Лишь православный Восток сохраняет верность свету спасения. Отбивается от зла. Частью этого Востока является Древняя Русь. Затем зло достигает и этого византийского бастиона, последние василевсы и константинопольские патриархи (правда, не охотно) ставят мирское (угрозой от турок-магометан) над небесным (верность Православию) и подписывают Флорентийскую Унию с еретическими властителями Ватикана. В этот момент Русь отшатывается от такого деяния, отказывается следовать за Царьградом, остается на стезях спасения, противится расплывающейся с Запада волне тления. Московская Русь наследует всю онтологию Православия, в свою очередь, становится последним бастионом, необоримыми вратами перед метастазами отступничества.

Но змей кусает и русские земли. К папезству склоняются православные жители западнорусских территорий — малороссы, белорусы. Униатство — злоевищий знак движения антихриста на Восток, его Drang nach Osten.

Патриарх Никон вместе с другими участниками кружка боголюбцев планирует контрнаступление, но падает жертвой интриг агентов западного зла. Начав с благих намерений, он сам становится инструментом чертей, закладывая щих (по свидетельствам староверов) в его черные бархатные стельки святыи символы Православия — восьмиконечный крест, образ пресвятой Богородицы. Желая волюнтаристски распространить московскую онтологию спасения на регионы, уже подпавшие под тлетворные влияния зла, он ненароком опрокидывает лампаду русской святости. Но довершая гибель Руси те, кто приходят за ним, низлагают его и окончательно разрушают основы последнего островка спасения, Святой Руси, Третьего Рима. Это — фатальная дата, число зверя — 666, собор 1666_67 годов. На нем низвержен Никон, анафематствованы восьмиконечный крест, сугубая аллилуйя, исконное православное двуперстие — великий мистический знак подлинного молитвенного перстосложения. Отныне антихрист воцаряется и у нас на Родине. Зло заливаает последний очаг света. Трагедия человечества, начатая праотцами в Эдеме, доходит до своей последней границы.

Великороссийский Вавилон

Староверы-странники радикальнее других воспринимают произошедшее. Триумф зла в России и в мире абсолютен. Церковь может быть только бегствующей, только скитальческой, только скрытнической. Так рождается учение о Беловодье, о «блуждающей Москве», о параллельной Родине, что не только не тождественно, но обратно тому «Вавилону», который воцарился в официальной, «кадровой» России.

Бегуны распознают часть т.н. «расчлененного антихриста» в Петре Первом, находят его знаки в календаре, на государственных бумагах, на монетах и на бумажных купюрах. Они жгут паспорта, бегут от российского Вавилона прочь — к тайным пустынным, почти не существующим в материальном мире, норам Беловодья, к удалившемуся в леса, пылающему Третьему Риму. Они мучат и жгут себя, отдают перстное — перстному, подгнившее — гниению; скрывают от жалящей обезумевшей скотины омертвелой апостасийной государственности дрожащую лучину исконности и истинности.

Сакральная география бегунов предполагает, что древнее зло теперь раскатало свое присутствие повсюду, сломав последние печати. От него уже нигде не скрыться, никуда не деться. Его парализующая хватка давит взыскующий спасения дух человека повсюду. Бегуны видят мир как пространство воцарения «духовного антихриста». Его следы повсюду, он наложил свою смоляную тягучую тень на чиновников и обывателей, на знать и на простолюдинов, на попов и беснующихся сектантов, на дела людей, на их инстинкты, на их мысли. Он отравил своим дыханием реки и озера, сделав проблематичным, непрым даже последнее таинство, которое осталось у согласия странников — таинство святого крещения.

Люди?

И противопоставить этому нечего. Так бегуны дошли до признания добродетелью поста до смерти, добровольную красную смерть от шелковой подушки, смертельного дикого труда против всех сил и возможностей, скитания и пытки от властей. Духовный антихрист не шутки. По мере расширения его вотчины в бытии сокращается пространство света человеческой души. Иерархии зла страшно описаны в базовом религиозном тексте странников «Цветнике» старца Евфимия — основателя этого толка. Люди, которые нас окружают теперь — уже нелюди, учит старец. Это «иконы сатанины», «телеса демонские» и «трупы мертвые». Вот что с ними сделал духовный антихрист: извратил он, окаянный сын погибели, саму природу человека, пришедшего в мир в тяжкие последние времена. «Духовные» — «иконы сатанины» — учат вроде бы добру, а под митрами рога прячут, заставляют кланяться «иному богу» (новообрядческое написание «Иисус» через два «и» понималось староверами как «ин Иисус», то есть «другой Иисус», не «наш», не подлинный, первый Иисус, а его черный никониянский адский двойник), креститься бессмысленной еретической щепотью, на просфорах метит «латынский крыж»... Все это — латынско-папешские новины, защищать которые может только «сатана» с Запада.

«Телеса демонские» суть дворяне, аристократия. Выполняют они отчужденную волю богооставленного Государства, лишь пародирующей святость Московской Руси. Они — псы Вавилона, движимые конформизмом, растленные темным духом Санкт-Петербургского космополитического уклада. «Скобленные рожи», «инородцы», «шуты»... Импортный антирусский класс деспотичных романовских надсмотрщиков над оживленными суррогатом жизни сынами могил.

А внизу под этими адскими сущностями бродят «трупы мертвые», обычные русские люди, не способные на «диакрисис», «различение духов», покорно принявшие обвалившееся на них зло, бессловесно податливые адским иерархиям послераскольной Руси. Почему они «мертвы»? Почему они «трупы»? Потому, что жизнь человеческой души как раз и проявляется в том, что человек бежит от зла к добру и свету несмотря на внешние обстоятельства, в том, что душа распознает «духовную тьму» под ветхими ризами материи и отвращается от нее. А если прибежища нет и идти некуда, то бросается живая душа в никуда, прочь, лишь бы прочь, прочь от самовлюбленного самодовольного мертвого мрака, хоть в смерть, хоть в пытки, хоть в небытие. Прочь. Пусто и мертво в России. И никого нет, хотя повсюду «люди»... Какие люди—теперь понятно, старец Евфимий нам это внятно и убедительно разъяснил. «Иконы сатанины, телеса демонские, да трупы мертвые»... Люди...

Бегуны давным-давно ничему и никому не удивляются: ни войнам, ни голоду, ни произволу властей, ни революции, ни Советской власти, ни разрушению церквей, ни реформам. Новые декреты для них ничем не ценней романовских «пашпортов» с двуглавым орлом — тоже, согласно бегунам, символом духовного антихриста.

У бегунов свои бумаги и свои печати — их выдают архангелы, в них указано лишь место в раю и страшные пытки, отведенные на этом свете. Паспорта горнего избранничества и долнего мученичества.

Все в тобі!

Но есть у бегунов поговорка, в которой отражается героическое, титаническое величие человеческого духа в самые страшные, в самые темные, в самые невыносимые времена. «Все в тобі!» Так на русский народный лад формулировали наставники страннического согласия величайшую истину подлинно духовных культур, наследниц золотых доантихристовых эпох.

Несмотря на повсеместную пяду духовного антихриста — «Все в тобі!». Как бы глубоко ни схватила тебя клешня ужаса, темные сети мира сего и его прислужников — «Все в тобі!» На последнем дыхании уморенного голодом ничтожного, никому не нужного, никому не известного, потерянного в болотах и чащобах заброшенных земель существа сияет эта великая истина души — «Все в тобі!»

Этот мир, прошитый самоуправством черного идиота, лишь обманчивый тлен и глупый фокус — «Все в тобі!» Нет власти над духом, который по ту сторону ума — «Все в тобі!»

Высшее достоинство духовного существа способно утвердить себя за пределом самых высоких иерархий ада, выше вечно недостроенных Вавилонских башен духовного антихриста, возведенных в мире и в многострадальной родной России — «Все в тобі!»

Странническое согласие — это не нигилизм, не пароксизм отчаяния, не дуалистическая ересь, не уход от сражения с действительностью. Это, напротив, высшая экстремальная форма утверждения достоинства живой души. Из этого-то «Все в тобі!» и возникает мир, происходит духовный, свободный, утверждающий бытие человек по ту сторону всего, predeterminedного произволом низших стихий, претендующих на всеобъемлющность.

Плевать на тех, кто верит в истинность того, что есть. Все что есть — лишь малая толика того, что может (должно!) быть. Это концентрационный тупик — ваша человеческая история с ее мутным и малоосмысленным, зато дорого оплаченным ходом. Ваши кумиры — вши. Ваши ценности — мыши из папье-маше. Ваши страдания — дерганье осенней мухи. Ничего нет. Это последние грезы остывающего трупа. Духовный антихрист телевизора, мирового правительства, Всемирного банка или могучего толстыми ляжками чиновничества — шарлатанский обман. Один бегун весит на весах реальности тяжелее тысячи индустриально развитых стран. В нем — действительно все, и великой волей духа своего он спокойно и уверенно это доказывает.

Для полноценного русского человека, пробуждающегося сегодня из исторического делирия, открывается великая пустыня, мать-пустыня. Нет ценностей, которые заслуживали бы того, чтобы их по-настоящему защищать. Нет святых, которые заслуживают того, чтобы им по-настоящему поклоняться. Духовный антихрист повсюду — это все, что досталось нам в наследство. Он вне, он внутри, он проел нас, как до этого проел до червоточения, до крови и артерий глупые тела наших прогениторов. Мы рождены от мертвых родителей, на мертвый свет. Наши паспорта — проделки фальшивомонетчиков. Наши имена — злые шутки. Наша страна — зеркало недоразумения. А вне ее еще хуже, гаже, страшнее, пустее, подлее, гнилее. Там он утвердил свой процентный трон давным-давно, к нам пожаловал какие-нибудь три столетия...

Все в нас! Сможем — родим, создадим, выпестуем, взорвав гноеточащий телевизионно-участковый Вавилон. Поскольку все в нас, то это будет легко. Если истончить плоть иллюзий и суету мыслей в бегунском послушании, это будет легче легкого.

«Иконы сатанинские» учат нас покорности. «Не выступай!» вместо «Не убий!» Мы знаем, откуда хвост малаксы, видим аккуратно подпиленные рожки проповедников «покорности». С вами все понятно. Ваш гипноз более не действенен, лечите инвалидов, мы все освоим без вас.

«Телеса демонские» пугают казацкими плетками-омо новскими дубинами — вот что получишь, если посмеешь защищать неочевидную истину. Получим, пусть... Но этих харей нет в бытии, это плотные, болезненные, карябающие предрассветные призраки. У них нет корней, их вырвали из грядки, где зреют существа, раньше времени и бросили сюда на защиту лжеиерархий и частной собственности. Плюнь им в лицо! — ты свободен. Эта земля и все, что на ней, собственность Мировой Души. Тому, кто осознал, что уже мертв, бояться нечего. «The end is nigh», как писал незадолго до смерти мой финский друг, которому посвящена эта статья. «Nigh», но как свободно дышится...

«Трупы мертвые» приводят нас в пример свой жизненный путь. Это был путь на месте. Уже несколько веков трудный путь, и все на месте. Переступи их — это не настоящие граждане, не настоящие родители, не настоящие друзья. Пусть покажут паспорт с печатью архангела Гавриила, тогда мы им поверим. Пока их печати скреплены лишь мутной милицейской слюной, они бомжи для духа, им место в КПЗ воздушных миров.

Все в тобі! — В тобі, Русь, в тобі, жизнь, в тобі, Бог, в тобі, власть, в тобі, сон, в тобі, гроб.

Мы должны воссоздать святую Родину из глубин наших душ, из последних колодцев сердечной тайны, извлечь ее из-под низших тектонических пластов абсолютного ужаса.

Бегуны свое отбегали. Из последних пределов они возвращаются назад. Долго носили они в себе великое восстание, долго копили рассеянные уморенные большой волей силы.

Из потаенных скитов, из голодных утроб, из больных прокаженных гортаней, из последней мерцающей на грани существования нищеты возвращается Русь. Русь Бегунская. Русь героическая. Русь духовная, внутренняя, вольная и светлая, Русь Христова.

В худой жилистой желтой руке старовера (без бумаг и наличности) висит узда. Это для твоей черной морды, отчим-антихрист, большой белый червь, сладкогласый дымоглазый урод 1-го, 2-го, 3-го и всех остальных каналов. Каналов яви и снов, мыслей и смешков, дискотечных подпрыгиваний и присутственной скуки.

Новая истина новых поколений. «Все в тобі!» А вне тебя ничего, ничего, ничего... Нет ничего..

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1994
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

НА БОЕВОМ ВЕЛИКОМ ПОСТУ

У православных начался Великий Пост. Время скорби, печали, горя. Время трезвости и воздержанности. Такой обычай установлен не по прихоти человеческой и не из-за низменных материальных потребностей. Волевое и сознательное лишение себя некоторых аспектов привычного физического существования есть наглядное проявление идеальной стороны человека, его героической, аскетической части. Конечно, идеальное проявляется не только через воздержание, но все же именно здесь мощь духовных сил проявляется наиболее ярко. Великий Пост поэтому есть битва. Борьба Сынов Света против Сынов Тьмы, Духа против Материи.

Современный человек превратился в мурло. Он не способен ограничивать себя по своей воле и подчиняется лишь диктатуре физических преград — недостатку денег, товаров, женщин, сил, правового обеспечения и т.д. Он предан наслаждению, но из-за своего страха вкушает только ничтожные его порции, оставаясь нищим, обделенным завистником имущих и побеждающих, отождествляя себя с ними в мечтах. Современный человек радикально нерелигиозен. Он не воспринимает тонких колебаний духовной очевидности и остается глухим к стенаниям собственной души. Если он всё же притягивается к религии, то чаще всего ищет в ней «успокоения» и «облегчения» от «сложности мирских страстей». Иногда это же случается как дань моде или социальному конформизму. Современный человек никогда не становится взрослым, а религия — дело ответственных и волевых людей. Религия сродни воинскому ремеслу, только брань в ней проходит на более тонком уровне (не становясь от этого менее жестокой).

Когда человек постится, он должен ненавидеть плоть. Иначе он будет лишь лицемерить или выполнять чисто внешний обряд. Он должен погружаться в постоянное осмысление кошмара окружающей реальности, пропитываться восприятием материального как адского, животного — как сатанинского, человеческого — как падшего и омерзительного. Пребывать в Великом Посте, значит пребывать душой и телом в аду.

Физическое сражение направлено на уничтожение внешнего врага, «другого». Духовное — на уничтожение врага внутреннего. Этот внутренний враг есть некая универсальная, вездесущая субстанция, которая пропитывает всё бытие, придавая ему специфический зловеще-увесистый вкус. Библия называет это «мерзостью запустения». Обнаружение этого врага в его экзистенциальном параметре — первая задача духовного делания.

Смысл физического самоограничения во время Поста в том, чтобы проникнуться отвращением к миру, омерзением к окружающим вас предметам (и к самой предметности), к существам, к вам самим как к материальным, физическим, индивидуальным тварям. Надо осознать себя (и всё остальное) «могилой души», гнусным прахом, скоплением нечистот. И пока это переживание не станет устойчивым и всеобъемлющим, нельзя говорить даже о начале борьбы между «душой» и «грехом», так как без переживания мира как ада души еще нет, есть только грех. Чем на больший объем личности распространится омерзение у духовно постящегося, тем чище и выше будет та таинственная «не от мира сего» сверхличностная сила, которая воскреснет вместе со спасителем во Святой Пасхе.

Современный человек принципиально несовместим с Постом, с его мистикой, с духовной логикой его умного делания. Не то, чтобы он был законченным жизнелюбивым гедонистом, прожигающим жизнь в обжорстве и наслаждении. Нет. Это происходит только в мечтах и фантазиях, на экранах и страницах триллеров. В жизни он поневоле ограничен в возможностях и средствах, скептивен, но при этом патологически самолюбив. Мир для него, конечно, «не бог весть что», далеко не рай, но уж и не ад. Да и сам он оценивает себя довольно высоко. Отсюда эта сногшибательная наглость в суждениях на любые темы — особенно серьезные. Чтобы эта тварь не изрекала — за религию или против нее, в пользу христианства или за язычество, апеллируя к национальной истории или упирая на современный Запад — в центре всего одно великое «Я», натужное и лелеемое. Самый последний придурок объяснит вам глупейшие (и неверные) банальности с пафосом Иезикииля. В кретине обнажается тайная сущность рационалиста. В нищем попрошайке или мелком воришке —

истинная природа богатства. Наглость наших современников выявляет подлинное качество современности, качество того «времени и места», где мы живем. А живем мы, на самом деле, в аду. И в Великий Пост об этом думать следует как можно чаще.

Великий Пост есть битва против современного человека — «против века сего» и «князя века сего». Следует познать меру вырождения, упадка, извращения человечества. Надо воочию в себе и в других убедиться в бездне, отделяющей нас от нетварного Света Троицы. Тот, кто не познает дьявола, смерти и их воинств, не сможет познать Бога Победителя Смерти. Тот, кто не спустится в ад, никогда не взойдет на Небо. Он останется вне истинной реальности, в мире теней и призраков, во тьме крошечной, где все события однообразно сливаются в раздражающий зубовой скрежет и бессмысленный хоровод свинных рыл. Он будет пребывать как бы внутри современного телевидения между фильмом ужасов, новостями и рекламой — и так во веки веком.

В ходе Великого Поста надо убить современного человека с его акциями и видеомагнитофонами, с его митингами и парламентскими слушаниями, с его семейными проблемами, изменами и болезнями, с его добротой и озлоблением, с его симпатичным простодушием и отталкивающей раздражительностью, с его войной и его миром, с его Востоком и его Западом. И даже хоронить его не обязательно, это сделают другие мертвые.

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1994
"Вторжение"
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

БЕСОБОРЧЕСКИЙ ПОДВИГ

Бесы необходимы на пути аскезы

Функция бесов, «злых духов» в православной доктрине очень важна. Она не исчерпывается узко моральным моментом «запугивания» верующих и редукционистским объяснением источника греховности и порочности. В рамках христианской духовной реализации бесы играют особую и уникальную роль.

Известно, что основой монашеской аскетической практики, которая и есть полноценная христианская реализация, является брань с демонами, «бесоборчество». Пустынники, анохореты, монахи постоянно претерпевают нападки «духов», отражение которых составляет ткань напряженной духовной жизни аскета. Можно напомнить хотя бы (традиционный для сюрреализма) сюжет об «искушении святого Антония», который является архетипом христианского отшельника. Святой изображается в окружении отвратительных тварей, обступивших его со всех сторон.

Схватка с бесами является не случайной и второстепенной стороной «умного делания», но представляет собой существенный и важнейший, осевой элемент всего духовного пути. Здесь сразу возникает зазор между экзотерическим представлением о «праведности» и эзотерическим о «святости». Праведник избегает искуса, сторонится «бесов», замыкается перед их навязчивыми домогательствами. Монах, напротив, стремится к активному взаимодействию с «духами зла», желает их визуализировать, ухватить плоть их субтильного присутствия, чтобы осознать весь их онтологический объем и затем преодолеть. Здесь очень важно указание св. Григория Паламы на некоторые аспекты исихастской практики. Так, исихаст, «помещая ум в сердце» прежде всего сталкивается с «темным змеем», свернувшимся вокруг сердца и держащим его в своем кольце. Визуализация демонического принципа является порогом, решительной чертой перед местом, в котором пребывает («в сердечной глубине») Божество.

Итак, для духовной христианской реализации столкновение с бесами желательно и полезно, это знак вхождения в тайные регионы духа.

Роль «злых духов» в других традициях

Можно указать на аналогичное отношение к «демонам» в других традициях. Так, индуистский тантризм считает, что посвящение начинается с контакта с «женским духом», «дакиней»,

уродливым демоническим существом из окружения черной богини Кали. Последовав за «дакиней» в регионы тьмы, посвященный сталкивается с самой Кали, сливается с ней, тем самым побеждая ее, и отныне становится недостижимым для иллюзорных миров изменения, страдания и страха.

У тибетских буддистов аналогичную роль играют «стражи порога», демоны, охраняющие внешние периферии «мандал», сакральных кругов. Пока буддист стоит снаружи священного круга, «стражи порога» пугают и страшат его. Как только ему удается переступить волшебную черту и войти внутрь круга, оказывается, что «страж порога»ни какой не демон, но маска духа-хранителя, который разыгрывал всю сцену лишь для испытания «неофита» и предохранения святынь от праздного любопытства недостойных. В инициатических легендах т.н. «примитивных» племен тема столкновения с духом на пути посвящения также повторяется регулярно и неизменно. У меланезийского народа маламала человек сталкивается с «лесным духом», который уносит его далеко от родных мест. Если в борьбе дух сливается с человеком, то он находит дорогу назад, но становится другим — видит все другими глазами, различает субтильное присутствие, понимает тайные свойства трав и растений. Может разговаривать на языке зверей и т.д. (Если человек проигрывает, то больше не возвращается никогда; находят только его подвешенный к лианам странно изменившийся скелет).

Итак, столкновение с «духом», с «демоном» имеет двойственное значение. Будучи злом для тех, кто остается вовне, оно ведет к «добру» тех, кто решил войти внутрь...

Два круга с общей границей

Христианская традиция не исключение. Как и все сакральные учения, она утверждает моральный дуализм: добро_зло—для основной массы, оставляя практическую реализацию Единства для внутреннего круга — монахов, аскетов, исихастов, анахоретов и т.д. Традиция православного юродства представляет собой яркий пример такой сугубо эзотерической практики, когда «одержимость бесом» из минуса превращается в плюс, из недуга в достоинство, из немощи—в знак высшего пророческого духовного здоровья. Чтобы яснее понять эту довольно парадоксальную ситуацию, напомним образ строения духовного мира и его соотношения с миром обыденным.

Обыденное существование человека — со всеми социальными, моральными, юридическими, «дневными» нормативами (включая эзотерически понятую религию) — представляет собой подобие круга. В центре — разумная формула, предопределяющая, что является «приемлемым» и «нормальным», а что нет. На периферии круга — отклонения, извращения, аномалии, преступления, пороки, сны, вспышки делириума и т.д. Все вместе (центр и периферия) составляют «мир сей».

Но за роковой чертой начинается иной круг. Мир духовный. Однако его специфика такова, что он смыкается с кругом «мира сего» негеометрическим образом. То, что является периферией «дневного мира», является также периферией «мира духовного». В какой-то момент, при переходе через определенную грань центробежное движение по отношению к кругу дня, становится центростремительным по отношению к кругу духа. За гранью земного греха, зла, дегенерации и вырождения начинается плоскость иного порядка. Вначале это тоже лишь хаотические (но уже сущностно иные, несравнимо более жуткие и чудовищные) импульсы, движения, шевеления, поползновения и существа. Однако, если продолжать двигаться в том же направлении, что и изначально, в какой-то момент тени начинают рассеиваться и появляются первые лучи дня, но Дня иного, вечного, Судного, не имеющего конца...

Путь прочь от центра приводит к абсолютному центру, движение к разложению и смерти очищает и делает бессмертным. Погружение в мир бесов навсегда очищает сердце от пятен человеческой природы, падшей и разложившейся в апокалиптической ситуации как студенистый гной.

Три категории и подлежащие наказанию

Праведники и аскеты идут совершенно разными путями. Праведники лишь откладывают страстные силы греха, вуалируют их, компромиссным образом и конвенционально прячут их (с глаз долой), загоняют в подполье и брезгливо разгоняют тлетворный запах серы благовониями. Аскеты сами по собственной воле спускаются в подземелье, уходят в смердящие лепрозории демонических миров, чтобы извлечь оттуда чистый огонь духа, необратимым образом преобразив саму суть человеческой природы вплоть до тела, которое похищается у темной реальности бесовского хаоса и становится сосудом божественных энергий.

Путь аскезы — бескомпромиссный, радикальный, революционный. Его результаты не может отменить ничто. Но он и стократ опаснее. Силы периферии, миры «стражей порога» прилипчивы, цепки, хватки и безжалостны. Они покоряются лишь сильным, суровым и мудрым. В мирах духа халтура не проходит. Платить надо по всем счетам и даже несколько больше. Если не хватает решимости двигаться в ночь глубже и глубже, вплоть до ее сердца, лучше не соваться за эту грань.

Но если это не по силам, нечего распускаться и в мире дня. Жесткий распорядок, дисциплина, трезвость, исполнение долга, скромность и сдержанность. Отныне никакого интереса к миру страстей. Бесов — в подпол и на строгий засов. Все непонятное и парадоксальное в религии деликатно обходится стороной. В отношении инициативных и аскетических практик никакого суждения не выносятся. Это вне компетентности «внешних». Но уже если кто поддастся наущению демонов — жестким постом и самоистязанием замаливать грехи, а не надираться водкой и пивом. Бес-то бесом, но и сам все же человек, а не свинья, порядок дня тоже требует известной доли мужества и самодисциплины.

Остается третья категория — сброд, толпящийся на периферии, и не способный сдвинуться ни туда, ни сюда. Люди (люди ли?), податливые к подспудному буйству «той стороны», но трусливо держащиеся за рудименты дневных норм, не в силах «переступить», но и не могущие совладать с собой и встроиться в дисциплину «мира сего». Здесь мы имеем дело с «дважды предателями». В отношении их оба круга поступают самым безжалостным образом. Ведь известно, что те, кто продают душу дьяволу, в скором времени становятся мазохистической жертвой для тех же самых бесов, которые к греху и подтолкнули. (И снова бесы выступают в довольно положительной роли — соблазняя, они же и наказуют за слабость; правильно, нечего раззевать рты и верить кому ни попадя). И с точки зрения мира дня таких — опустившихся, но не до конца — тоже не следует щадить. По ним рыдает острог и грустит плеть.

Раздавите гадину сейчас

Мир бесов — приходящая небес, нечто наподобие фойе или гостинной. Строго говоря, из ада в рай, дорога короче, чем из благочинности мещанских «лаодикийцев» куда бы то ни было. Но это еще не повод для того, чтобы бесхребетные молокососы или палимые несбывшимся пороком пенсионеры распускались. Дело каждого будет рассматриваться беспристрастно и индивидуально. Неведение и недостаточная информированность в качестве обстоятельства, облегчающего вину, приниматься не будут.

Судя по определенным признакам, по «знакам времени», скоро придет время первого выездного заседания Страшного Суда. Имеет смысл каждому окинуть взглядом свой собственный жизненный путь. И чем кто собирается заняться в будущем. (Бог судит по намерениям).

Один батюшка утверждал, что самое эффективное — бороться с бесами... телевизором. Этим мрачным кубом прекрасно дробить рогатые черепа вечно ускользающих гаденышей. Хлоп — и одним ударом разбиваются две иллюзии... У общества спектакля отпадает жало, а у чумазого обламываются рога.

Странный совет...

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 1999
"Вторжение", №20, 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

МЕРТВАЯ ЖИЗНЬ

Жизнь не зависит от поглощения пищи. Еда сама по себе, жизнь сама по себе. — В этом заключается смысл гипотезы Парацельса об «отчуждении». Бытие физического организма и бытие души протекают по самостоятельным траекториям. Их взаимозависимость не что иное как иллюзия. — Так говорил Евгений Головин. И это — «окончательное решение проблемы». Endle#sung.

Человеческое существо устроено двойственно. Помимо замкнутой системы физико-психического организма, существует аналогичная замкнутая система души. Современный мир приложил немало усилий для того, чтобы высмеять «средневековую», «дикарскую» идею самостоятельности души, чтобы свести ее к совокупности утонченных реакций тела. Но даже в пик расцвета позитивистской науки, когда критицизм воспринимался еще вполне оптимистично, огромные социальные массивы людей — в том числе и на «светском» Западе — уверенно и впечатляюще доказывали обратное.

Душа есть то, что остается на месте, если человека убить. Чтобы прикоснуться к этой уникальной инстанции в нас самих, к особому «месту», которое находится в беспространственных регионах внутреннего мира, существует надежный путь. Путь аскезы. Не дожидаясь фатальной минуты, когда придется переступить роковую черту и навсегда распрощаться с земной жизнью, аскеты стремятся изучить формы «будущего бытия» уже при жизни. Это дорога умерщвления плоти. Она ведет к открытию источника подлинной невечерней жизни.

Максим Исповедник говорит в «главах о Богословии и о Домостроительстве Воплощения Сына Божия»: «Ибо все живущие по сопричастности к жизни суть мертвецы». Святой Григорий Нисский использует для выражения этой же идеи специальный термин «мертвая жизнь» — «некрос биос». «Мертвая жизнь» есть автономный цикл естественного существования человека. Мокрая липкая тяжесть пульсирующей плоти задает особые траектории существования — поспал, поел, поработал, опять поел, наслаждался (или не смог), разозлился, оттеснил, выпил, получил в бок, поскулил, опять попытался насладиться, поел, поговорил, позвонил по телефону, посмотрел телевизор, чихнул, снова поспал и опять после завтрака на работу. «Некрос биос», «мертвая жизнь» двуногих толп, тленных пульсирующих манекенов. «Жить по сопричастности жизни» для человека все равно, что не жить вовсе. Но резкость осознания этого отложена до первых замогильных мгновений, когда открывают перед остолбеневшим мертвецом план того, что ему суждено было исполнить, и с небесной беспристрастностью рука грозного ангела подписывает отрицательный баланс — «миссия позорно провалена», «в прожитой жизни душа беспробудно храпела».

Пост (и особенно Великий Пост) милосердно дан нам, чтобы мы (почти в принудительном порядке) испытали далекий свет внутреннего бытия, который скрыт в глубине нашего сердца. Тело и его вегетативные испарения, выдающие себя за наше подлинное «я», должны быть тщательно отсоединены от нашего духа, вынесены во вне, поставлены в режим наименьшего благоприятствования. В отличие от механизмов человеческая плоть функционирует тем лучше, чем меньше ему уделяется внимания со стороны пребывающего в нем духа. А в отличие от животных, она тем более ценна, чем меньше вовлечена в магический вихрь состояний, предчувствий, запахов, импульсов, ощущений, поползновений. Аскеза призвана обнаружить триумфальное присутствие души, какой она предстанет в торжественной мантии смерти.

Святые подвижники доказывали, что умерщвление плоти открывает новое бытие, достойное и непререкаемое, более не зависящее от телесного томления. Но насилие над собственной плотью — лишь первый этап. Если оно исполнено с совершенством, настойчивостью и упорством, а также в русле техник и предписаний, даваемых Традицией, мало-помалу само телесное существование изменяет свое качество, просветляется внутренним сердечным светом, омывается лучами пробуждающейся души. «Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя и паче снега убелюся».

Что справедливо для отдельного человека, стремящегося проснуться, обнаружить в себе скрытое сокровище, то задание, которое вложено в нас невидимой рукой «верхних родителей», то справедливо и для народа, для нации, для общества. Мы слишком много едим. Позднесоветский уют разложил наше внимание, расслабил мозги, тела набрякли сонными соками, квартиры заполнились излишним скарбом. Не удивительно, что в конце концов, общество, забывшее о душе, закосневшее в «мертвой жизни» породило агрессивную плесень либерализма. Заговор вирусов возникает лишь в одутловатых, сытых телах, которые тчатся увековечить свою послеобеденную дрему.

Чтобы покончить с этим — пусть на последней, критической черте — необходимо всерьез вступить в Великий Пост, в общенациональный Великий Пост. Необходимо прижать естественное бытие, отрешиться (как от сатаны и Запада в момент святого крещения) еще и от позднесоветской инерции.

Смысл аскезы — в том, чтобы еще при жизни (пока не поздно) попасть в реальность пограничной полосы бытия, соседствующей напрямую с многомерными и много-обитаемыми мирами смерти. Чтобы заглянуть через плечо суровому ангелу и окинуть взглядом завещанный нам план свершений и дел, о которых мы не ведаем, либо от которых настырно уклоняемся. И этот зазор между добровольной смертью и смертью окончательной необходимо активно использовать, чтобы изо всех сил исполнить завещанное нам высшим Промыслом, богоносными предками, великой страной.

Страдание, боль, ужас, мрак, безумие и даже ад — если погрузиться в них сознательно и добровольно — молниеносно мобилизуют все высшие, световые, сокрытые резервуары духовного бытия. «Мертвую жизнь» в нас самих — как на личностном уровне, так и в национальном масштабе — необходимо жестоко пытаться, резать по живому, третировать, унижать, насиловать. Это закостеневший бастион бесов. Демоническая застава непросветленной плоти, фатально останавливающей (как хищный гаишник) кортеж души, стремящейся покинуть Вавилон материального обморока.

Чем суровой устав обители, тем лучезарней лики монахов.

Темные ризы, отречение от сна, высокая сосредоточенность на духовных лучах, зовущих нас к горнему предназначению.

Наша Родина — трансцендентна. Русь не данность. Она — задание. Это великая континентальная империя Души. Самодвижимой и величественной. Незаходящей, невечерней Русской Души. Прочь от «мертвой жизни» к немислимому мигу искупительной Пасхи нация движется суровыми дорогами великопостной аскезы. Должна двигаться.

Том 2

Часть 4: Парадигма культуры

.Г.Дугин

Газета "День литературы", 1998
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ЛИТЕРАТУРА КАК ЗЛО

Литература: quid?

Вопросы: «что такое философия?», «зачем поэзия?» и т.д. вслед за Мартином Хайдеггером задаются постоянно. Мысль возвращается к своему истоку, снова и снова исследует механизм своего происхождения, появления. О смысле литературы говорится гораздо реже. Наше русское общество явно живет в иную эпоху, чем наши соседи с Востока и с Запада. Поэтому нас отличают многие архаические черты. Одной из них является довольно устаревший, просвещенческий, наивно-оптимистический культ литературы и литераторов. А любой культ не выносит постановки под вопрос его истоков, ответ в нем возникает заведомо прежде вопроса, который лишь инсценируется апостериори.

Задать вопрос «что такое литература?» вполне своевременно и уместно, не слишком «ретро», но и не слишком преждевременно.

Литература как заговор

Литературой называется любой не сакральный, не административно-хозяйственный (технический) и не хроникальный текст. В полноценном и органичном традиционном обществе литературы не было и не могло быть, так как вся письменная культура (там, где она наличествовала) сводилась к трем упомянутым категориям: это были либо священные тексты, либо административные указы и хозяйственные записи, либо хроникальные повествования. Конечно, и это деление весьма условно, так как эти три разновидности текста в мире Традиции тесно переплетались между собой. Религиозные и культовые элементы, символические комплексы не только пропитывали ткани исторического повествования, но постоянно вкрадывались и в самую утилитарную техническую область, иллюстрируя прагматические хозяйственные тексты ссылками на этику, мораль, мифологию, ритуализм и т.д. Все это не литература. Литература определяется по контрасту как нечто сущностно иное, отдельное, использующее текст, язык сакральных и административных записей, но в радикально новых целях.

Литература возникает там, где протекают процессы десакрализации, разъятия основных элементов сакральной реальности, декомпозиция общей картины мира. Таков основной смысл ее существования, ее генезис. Литература по истокам своим есть контестация, постановка под вопрос, эпатаж, вызов, интеллектуально-концептуальный бунт. Не метод несогласия, но само несогласие. Литература возникает в разлагающихся традиционных обществах и воплощает в себе самый сложный и интереснейший процесс десакрализации текста. Священный текст, как правило, считается имеющим божественное происхождение, сверхчеловеческий источник. Он не имеет автора, за ним не стоит личности, он принципиально архетипичен, сверхиндивидуален, поливалентен. Он включает в себе многоплановую парадигму, применимую к самым различным уровням реальности — от космогонических до личностных, от ритуальных до социальных. То, что это не является литературой, очевидно. Это нечто противоположное ей.

С другой стороны, хроникальные и технологические записи также безличны и нелитературны, хотя и по иным причинам. В них субъектом текста выступает не «сверхиндивидуальное», «надчеловеческое» существо, а обезличенная функция, также описывающая архетип (или отклонения от него), но уже на чисто техническом уровне. Современные историки-ревизионисты, разглядев в разнообразных хрониках единую математическую модель, сделали на этом основании совершенно ложный (но эпатажно-остроумный) вывод относительно глобальной фальсификации древней истории. На самом деле, противоречие состоит в том, что органичное традиционное общество не знает не только литературы, но и истории (как одномерного, строго диахронического процесса), поэтому хроника пишется в соответствии с заведомо заданным мифом, который предопределяет интерпретацию событий, и, в конечном счете, сами события. Язык есть миф, причем в традиционном обществе этот миф вполне эксплицитен. А согласно современной гипотезе Уорфа-Сэйпера, «язык, на котором мы говорим, выковывает ту реальность, с которой мы имеем дело». В традиционном обществе это основополагающий, очевидный всем факт: без мифа нет реальности как гносеологического плана. Русское слово «вещь» происходит от слова «ведать». Знание, составленное из компонентов языка, сращенное с языком, постулирует предмет, который вступает в бытие только тогда, когда о нем «осведомлен», «уведомлен» человек, когда у него есть лунка в поле интерпретаций и название. Литература возникает как попытка оторвать язык от мифа, речь от языка, текст от всеобщего контекста. За садевременно.

Литература как заговор

Литературой называется любой не сакральный, не административно-хозяйственный (технический) и не хроникальный текст. В полноценном и органичном традиционном обществе литературы не было и не могло быть, так как вся письменная культура (там, где она наличествовала) сводилась к трем упомянутым категориям: это были либо священные тексты, либо административные указы и хозяйственные записи, либо хроникальные повествования. Конечно, и это деление весьма условно, так как эти три разновидности текста в мире Традиции тесно переплетались между собой. Религиозные и культовые элементы, символические комплексы не только пропитывали ткани исторического повествования, но постоянно вкрадывались и в самую утилитарную техническую область, иллюстрируя прагматические хозяйственные тексты ссылками на этику, мораль, мифологию, ритуализм и т.д. Все это не литература. Литература определяется по контрасту как нечто сущностно иное, отдельное, использующее текст, язык сакральных и административных записей, но в радикально новых целях. Литература возникает там, где протекают процессы десакрализации, разъятия основных элементов сакральной реальности, декомпозиция общей картины мира. Таков основной смысл ее существования, ее генезис. Литература по истокам своим есть контестация, постановка под вопрос, эпатаж, вызов, интеллектуально-концептуальный бунт. Не метод несогласия, но само несогласие. Литература возникает в разлагающихся традиционных обществах и воплощает в себе самый сложный и интереснейший процесс десакрализации текста. Священный текст, как правило, считается имеющим божественное происхождение, сверхчеловеческий источник. Он не имеет автора, за ним не стоит личности, он принципиально архетипичен, сверхиндивидуален, поливалентен. Он включает в себе многоплановую парадигму, применимую к самым различным уровням реальности — от космогонических до личностных, от ритуальных до социальных. То, что это не является литературой, очевидно. Это нечто противоположное ей. С другой стороны, хроникальные и технологические записи также безличны и нелитературны, хотя и по иным причинам. В них субъектом текста выступает не «сверхиндивидуальное», «надчеловеческое» существо, а обезличенная функция, также описывающая архетип (или отклонения от него), но уже на чисто техническом уровне. Современные историки-ревизионисты, разглядев в разнообразных хрониках единую математическую модель, сделали на этом основании совершенно ложный (но эпатажно-остроумный) вывод относительно глобальной фальсификации древней истории. На самом деле, противоречие состоит в том, что органичное традиционное общество не знает не только литературы, но и истории (как одномерного, строго диахронического процесса), поэтому хроника пишется в соответствии с заведомо заданным мифом, который предопределяет интерпретацию событий, и, в конечном счете, сами события. Язык есть миф, причем в традиционном обществе этот миф вполне эксплицитен. А

согласно современной гипотезе Уорфа-Сэйпера, «язык, на котором мы говорим, выковывает ту реальность, с которой мы имеем дело». В традиционном обществе это основополагающий, очевидный всем факт: без мифа нет реальности как гносеологического плана. Русское слово «вещь» происходит от слова «ведать». Знание, составленное из компонентов языка, сращенное с языком, постулирует предмет, который вступает в бытие только тогда, когда о нем «осведомлен», «уведомлен» человек, когда у него есть лунка в поле интерпретаций и название.

Литература возникает как попытка оторвать язык от мифа, речь от языка, текст от всеобщего контекста. За самим этим начинанием явно проглядывают тона катастрофы, глубинного кризиса, дающего о себе знать. Литература стремится реорганизовать языковую реальность, а значит, гносеологическую реальность, а значит — всю реальность вообще, по новым меркам, в соответствии с новыми закономерностями. И за такой колоссальной, захватывающей авантюрой просвечивает совершенно новый субъект — не развоплощенный, сверхчеловеческий автор, инспиратор сакральных текстов, пророк-визионер развернутых многомерных институционализированных культов, обезличенный как сакральной подготовкой, так и иными техническими способами экстатического выхода за грани человеческой нормы, но некто иной, новый, не бывший, пока до конца не ясный, претендующий на то, чтобы стать на место всех почитаемых демиургов. Налицо субверсия, подрывная деятельность, заговор, революция, сложнейшая интрига, направленная на то, чтобы вывести на первый план нового субъекта, неведомого сакральному миру, традиционной цивилизации.

Литература есть заговор. Заговор против Традиции, против сакрального, против мифа.

Литература против текста

В случае современной литературы это очевидно. И здесь нетрудно понять, какой именно новый субъект прятался за этим сложнейшим маневром. В глубине литературы, в лабиринтах ее процессов скрывался человек, автономный индивидуум, та фигура, которой не знали миры Традиции. Это он решил освободиться от мифа, сбросить многомерные пласты сакрального. Он пошел на эксперимент опасного выяснения собственной идентичности через спирали нигилизма. Литература — это попытка автономного человека встать на место сверхчеловека, на место божественного, законоутверждающего, внешнего, трансцендентного субъекта. Через литературу автономный человек решил создать новый мир, новый текст, новый строй, новый язык. Но разве в традиционной цивилизации не было человека?

Конечно, не было. Это слово понималось иначе: как переходная стадия, как маска, как ритуальная функция, как онтологический костюм. Человек постулировался мифом в качестве одного из звеньев реальности, но сама эта реальность, постоянно сталкиваясь и взаимодействуя с божеством, пульсировала в особом ритме, будоражащем бытийные страты, и понятие «человек» сдвигалась, мутировало, подвергалось метаморфозам, подчиняясь пульсу сакрального. Человек был условно обозначаемой стадией между богом и животным. Поэтому он не был ни автономным, ни суверенным, ни индивидуальным. Он мог дробиться, разлагаясь на составляющие компоненты, и преображаться в высшие сущности. Цари и жрецы не были людьми по своей близости к богам. Чернь и рабы тоже не были, но по иной причине: слишком похожи были они на животных...

В традиционном обществе некому было восставать на миф, ставить под сомнение правомочность сакрального текста. Этот текст, как и сама ткань общества, был открыт сверху. Отсюда вытекает, в частности, преображающая сила молитвы. Молитва — антилитература. Совершающий ее произносит текст, являющийся архетипическим, чаще всего анонимным или принадлежащим святому, слившемуся с архетипом. И пиком напряжения такого текста является получаемый ответ, внимание трансцендентного сверхчеловеческого субъекта. Сакральный текст есть лестница метаморфоз. Тот, кто хочет преодолеть себя, идет по нему безостановочно. Пассивных и нерадивых он держит в узде. Литература есть стремление создать замкнутый, закрытый текст, который вращается вокруг человека, не собирающегося преодолевать самого себя, но при этом отвергающего сакральную дисциплину, призванную сохранить в нем начатки достоинства даже против его воли. Из чего строится литература: из описания или творения реальности, компоненты которой соединяются между собой по произволу автора, вопреки логике мифа. Здесь бунтом пропитано все. Не социальная сатира или критика нравов составляет подрывное содержание литературы. Это уже прагматическое выхолащивание ее изначального посыла, в некотором роде, ее саморазоблачение. Само описание мирного пейзажа индивидуальным автором есть высшая форма богоборчества, радикальная антисакральная диверсия.

В традиционном обществе пейзаж имеет сакральную нагрузку. Если фрагменты его описания попадают в канонический текст, они автоматически встраиваются в общую ткань мифа, приобретают священную нагрузку, преображаются в элемент ритуала или иконографии. Гора и

дерево, камень и река, пустыня и океан, цветы и травы, упоминаемые в священных писаниях и мифах, суть узлы посвященного знания, вовлекающего в структуру реальности, организованную по особому плану, где каждому есть свое место. Пейзаж в сакральном тексте выполняет ту же педагогическую функцию, как и все остальные моральные, религиозные или ритуальные предписания, в нем содержащиеся: он подталкивает к тому, чтобы найти свое место в ткани мифа, вспомнить свое подлинное имя, осознать символизм той конкретной ситуации, в которой человек пребывает, по действенной, преображающей аналогии с архетипической картиной, о которой повествует миф. Сакральный текст изымает того, к кому он обращен, из обыденной, невнятной, непреображенной реальности, где вещи давят фактом своего грубого, неосознанного, несимволизированного наличия, и вводит его в парадигматическую ткань волшебного инобытия. Простое дерево, рядом с которым находится человек, знакомое до каждой извилины коры, вдруг представляется отблеском Древа Мира, растущего корнями вверх. Восприятие затуманивается, в субтильном исступлении начинается череда самоотжествлений... И уже сам человек становится деревом, по его телу бегут небесные соки, крона мыслей овеивает телесную форму, ему молниеносно открывается смысл вертикальности ствола. Геометрия и ботаника, атмосфера и анатомия преображаются в небывалое повествование о скрытой структуре бытия. Тонкие голоса, легкий ветер, таинство снежинки, ее геометрия, прочитывается послание, зашифрованное в зубцах далекой горной гряды.

Но литература делает нечто прямо противоположное. Описание пейзажа есть не исступление, не освобождение от материальности, но, напротив, ее утяжеление, ее абсолютизация, нагнетание ее удушливого наличия. Литератор, описывающий пейзаж, удваивает плотность, замыкает бытие в фактичности его имманентности. Тем самым он фиксирует и самого себя, удерживает от распада, от метаморфоз, от соучастия — добровольного или принудительного — в сакральном ритме мира. Если сакральный язык служит для снятия давления плотского, наличия вещи, то литературный язык, наоборот, пытается представить слово как вторичное отражение предмета или процесса, как дополнительный, прилагающийся к нему апостериори элемент. Получается, что вещь порождает описание, а не описание вещь. Литератор таким образом не просто предлагает свой собственный миф взамен мифа общепринятого, он тщится стать создателем именно конкретной, вещной, предметной реальности, которую он порождает и учреждает уже тем, что отказывается использовать язык и текст для ее снятия, ее эвопаризации, ее истончения до уровня познавательной вспышки.

Литератор творит не миф, но мир, и даже в индивидуальных и самых смелых фантазиях он косвенно укрепляет непоколебимость давящего ансамбля плотных форм, так как бежит от них в слабосильный, истеричный произвол, оставляя вес непреображенного бытия довлеть с еще большей угрюмостью и фатальностью.

Важный вопрос: литература — это источник десакрализации, агрессивный злоумышленник, или экран, отражающий синдромы объективных трансформаций космической среды? Заслуживает ли литература того, чтобы быть совокупно сожженной на первом же витке возвращения к сакральной норме? Ответ отложен.

Невозможность абсолютной литературы

Уже возражают люди, знакомые с трудами структуралистов или прочитавшие блестящие интерпретации Мирчи Элиаде традиционных парадигматических сюжетов, наводняющих современную литературу (высокого и низкого жанров): «Литература сама по себе есть миф, она не может выдвинуть ничего нового, и банально черпает из арсенала бессознательного все те же сюжеты и ситуации, которые мы встречаем в архаических ритуалах и легендах. Следовательно, литература не может быть отождествлена только с десакрализацией, в ней отчетливо прослеживается и элемент ресакрализации».

Это правильный довод, и он требует от нас некоторой коррекции изначального тезиса, от которого мы, впрочем, не собираемся отказываться. Итак: одно дело заявить о необходимости ресакрализации, а другое дело — осуществить это на практике. Вне сакрального, вне мифа, вне Традиции не существует вообще ничего. Поэтому совершенной литературой были именно «нудистские» издания сюрреалистов, представляющие собой аккуратно переплетенные чистые белые листы бумаги. Да и то, такой объект может быть расшифрован во вполне сакральных терминах как опора («янтра») для размышления о состоянии изначальной субстанции бытия, не затронутой создающей, организующей волей активного принципа. В исламском эзотеризме белый лист и его символизм играет огромную роль. Так что даже самый радикальный литературно-нигилистический ход имеет все основания для того, чтобы получить интерпретацию в сакральном контексте, то есть не быть до конца литературой.

Поэтому уточним: когда мы употребляли выше термин «литература», мы имели в виду не факт, но намерение, тенденцию, неявную и часто неосознанную (почти никогда не продуманную до конца) декларацию. Человека, который был бы только человеком, а следовательно, имел бы возможность создать идеальную литературу, «абсолютную литературу», конечно, не существует. Это фикция, пожелание, выдаваемое за действительность, претензия и воля, не способные реализоваться в полной мере по онтологическим соображениям. Только сейчас, когда проводятся первые опыты по клонированию людей, можно предвидеть появление «автономного индивидуума», «человека в чистом виде». Быть может, он и сумеет создать нечто, напоминающее эту «абсолютную литературу». А пока...

А пока литература в чистом виде есть едва уловимая черта, расплывчатая грань, оставаться на которой не удастся никому вопреки всем стараниям. Эта черта пролегает между одним мифом (назовем его внешним или общепринятым) и другим. Литература выражает распад сакральной формы, десакрализации текста. Но в реальности она не способна долго и верно следовать только этой тенденции. И как следствие, тут же, практически мгновенно, в ней утверждается, всплывает, проступает новый миф. Предвкушение онтологического дна, темной холодеобразной массы ничто, дает такой импульс человеку, заглянувшему в сущность литературы, что он в панике всплывает к привычным формам, хватаясь за останки сакрального, копошащиеся в бессознательном, чтобы скорее скроить новую структуру на место старой. Ресакрализация может идти по разным руслам. Самое распространенное: отвергая одну (как правило, доминирующую) сакральную форму, разлагая ее органическую ткань, стихию ее преобразующего текста, литератор принимает за основу иную сакральную форму, которая и выступает отныне в качестве компенсации. Этой новой сакральной формой может быть еретическая версия того же рода, что доминирующая религия или экстравагантный культ, или учение эзотерического братства или оккультной логи. В любом случае, десакрализация и ресакрализация идут параллельно. Тогда литература повернута своей подрывной стороной вовне, к некомпетентному, профаническому большинству, а утвердительной стороной — к «посвященным». Скандальная полупорнографическая проза Боккаччо есть одновременно субверсия для католической нравственности, ликвидаторская акция, направленная против конвенций цивилизации Ватикана, и вместе с тем компендиум герметических и розенкрейцеровских доктрин, легко читаемых между строк и понятных половине просвещенных европейцев того времени, непременно состоящих в какой-нибудь ложе. Такова вся «литература» Средневековья и Возрождения, которая может быть названа «литературой» лишь условно: это полифония ироничной многомерной коммуникации тайных обществ, герметический гипертекст адептов натуральной магии и алхимии, столь же стройный и строго организованный, как канонические формы теологических трактатов, житий святых или папских булл. Это «литература» только с одной стороны, для наивных прелатов и простаков-буржуа. Но и здесь необходимы поправки, так как средневековый и возрожденческий быт европейских горожан был также напитан «параллельной религиозностью», своего рода «бытовым герметизмом», а поэтому не следует недооценивать их интерпретационных возможностей и естественного владения языком герметических шарад. Это подробно исследовал гениальный Грасе д'Орсе, к которому отсылаем за углубленным и развернутым комментарием нашего тезиса*.

Сложнее с литературой Нового времени. Но и здесь далеко до чистоты. По инерции культурный человек Европы состоял в какой-нибудь ложе. Их влияние демонизировалось клерикальными реакционерами, но столь же полемически и безосновательно преуменьшалось воинствующими либералами. На самом деле, логи дают идеальный ключ практически ко всей литературе XVIII–XIX веков. Взять хотя бы Дюма или Бальзака: каждый текст имеет строго два уровня — масонский и профанический. Каждая сцена, каждый сюжет, каждая интрига — изящный намек для «братьев» и иллюзионистский фокус для профанов. Но снова не следует забывать тот факт, что в XVIII и XIX веках любой человек, умеющий читать и имеющий такую возможность, почти наверняка состоял в том или ином «тайном обществе». Первый массовый читатель классиков, действительно, совершенно ничего не понимающий в системе герметических аллюзий т.н. «классической литературы», появился только в нашем столетии, да и то в больших масштабах исключительно в «соцлагере», поставившем себе целью облагородить и подогнать до воображаемого «среднего уровня» представителей социальных низов. В буржуазном мире к «демократизации» литературы относились намного прохладней, и по определенной традиции интеллектуалы Запада и сегодня сплошь и рядом навещают разнообразные «логи» или их модернизированные аналоги. Особый смысл имеет «советская литература», изначально имевшая осознанный антисакральный характер. Но если в этом и удалась достичь некоторых результатов методологически, — «Мать» Горького, действительно, с трудом поддается возведению к архетипическим моделям бессознательного (хотя неужели само название не вызывает ярчайших ассоциаций?), — то в общем контексте этого грандиозного предприятия просто всплыл новый архетипический континент, законченный коммунистический миф, столь же некритичный, тоталитарный, общеобязательный и по-своему логичный, как и всякий другой.

И наконец, последний случай: экзистенциалистская литература. Здесь многие линии, заложенные в изначальном векторе, доведены до логического предела. Сознательно и последовательно десакрализован сюжет. Тщательная работа проведена над освобождением языка от коннотаций и привычных аллюзий. Но в результате не «абсолютная литература», а «абсолютное мифотворчество». Экзистенциалистский автор под невероятным бременем разбухшего нигилизма вынужден спасаться от индивидуальности — либо через создание собственного культа личности (именно это лежит в основе того почитания деятелей культуры, которым отличается все Новое время и особенно XX век), либо через клинические формы «добровольного безумия». Вакуум же заполняется уже сознательным «мифологизированием», пусть заведомо индивидуальным и поэтому ироничным, но безудержным, истеричным, паническим. Если экзистенциалист не примыкает к новейшим мифологемам, имеющим общественное измерение (коммунизм Сартра и Арагона, фашизм Хайдеггера, неохристианство Марселя и Ясперса и т.д.), он стремится создать свою собственную религию, произвольно и сознательно играя с психическими архетипами, как цитатами.

Но в этом направлении XX век не дал ничего такого, что качественно превосходило бы гениальные опыты де Сада и графа Лотреамона. Труды этих двух колоссов литературны в большей степени, нежели все, что было написано за последние 200 лет.

Несколько слов о дьяволе

Ресакрализация сопредусловлена литературе, но это вынужденная мера, это всплытие преграды, охраняющей человека от нигилистической и невозможной перспективы превратиться в «только человека». Но это не вытекает из сущности литературы, так как в этом случае она была бы всего лишь еретическим, спорным или просто альтернативным «сакральным текстом», произвольным авторизованным «эпосом» или экстравагантным «визионерством», экзорцизмом расстриженных пифий. Сущность литературы — в невыполнимой претензии укрепить, удвоить грубую плотность наличного мира, довести восприятие реальности и, соответственно, ее саму до температуры абсолютного нуля. Если это не удастся, то лишь от слабости и хилости тех, кто встал на эту опасную, нигилистическую, подрывную стезю. Литература в своей наиболее чистой форме есть самый последовательный и самый радикальный сатанизм. Но пока мы не ответим на поставленный несколько выше вопрос, мы не смеем и вынести однозначную моральную оценку этому факту. И снова: «литература — это источник десакрализации, агрессивный злоумышленник, или экран, отражающий синдромы объективных трансформаций космической среды?»

В более общей форме: безусловный факт существования дьявола — является ли он сам по себе злом, или злом является принятие дьявола за кого-то другого?

.Г.Дугин

Газета "День литературы", 1998
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ЛИТЕРАТУРА КАК ЗЛО

Литература: quid?

Вопросы: «что такое философия?», «зачем поэзия?» и т.д. вслед за Мартином Хайдеггером задаются постоянно. Мысль возвращается к своему истоку, снова и снова исследует механизм своего происхождения, появления. О смысле литературы говорится гораздо реже. Наше русское общество явно живет в иную эпоху, чем наши соседи с Востока и с Запада. Поэтому нас отличают многие архаические черты. Одной из них является довольно устаревший, просвещенческий, наивно-оптимистический культ литературы и литераторов. А любой культ не выносит постановки под вопрос его истоков, ответ в нем возникает заведомо прежде вопроса, который лишь инсценируется апостериори.

Задать вопрос «что такое литература?» вполне своевременно и уместно, не слишком «ретро», но и не слишком преждевременно.

Литература как заговор

Литературой называется любой не сакральный, не административно-хозяйственный (технический) и не хроникальный текст. В полноценном и органичном традиционном обществе литературы не было и не могло быть, так как вся письменная культура (там, где она наличествовала) сводилась к трем упомянутым категориям: это были либо священные тексты, либо административные указы и хозяйственные записи, либо хроникальные повествования. Конечно, и это деление весьма условно, так как эти три разновидности текста в мире Традиции тесно переплетались между собой. Религиозные и культовые элементы, символические комплексы не только пропитывали ткани исторического повествования, но постоянно вкрадывались и в самую утилитарную техническую область, иллюстрируя прагматические хозяйственные тексты ссылками на этику, мораль, мифологию, ритуализм и т.д. Все это не литература. Литература определяется по контрасту как нечто сущностно иное, отдельное, исполняющее текст, язык сакральных и административных записей, но в радикально новых целях.

Литература возникает там, где протекают процессы десакрализации, разъятия основных элементов сакральной реальности, декомпозиция общей картины мира. Таков основной смысл ее существования, ее генезис. Литература по истокам своим есть контестация, постановка под вопрос, эпатаж, вызов, интеллектуально-концептуальный бунт. Не метод несогласия, но само несогласие. Литература возникает в разлагающихся традиционных обществах и воплощает в себе сложнейший и интереснейший процесс десакрализации текста. Священный текст, как правило, считается имеющим божественное происхождение, сверхчеловеческий источник. Он не имеет автора, за ним не стоит личности, он принципиально архетипичен, сверхиндивидуален, поливалентен. Он заключает в себе многоплановую парадигму, применимую к самым различным уровням реальности — от космогонических до личностных, от ритуальных до социальных. То, что это не является литературой, очевидно. Это нечто противоположное ей.

С другой стороны, хроникальные и технологические записи также безличны и нелитературны, хотя и по иным причинам. В них субъектом текста выступает не «сверхиндивидуальное», «надчеловеческое» существо, а обезличенная функция, также описывающая архетип (или отклонения от него), но уже на чисто техническом уровне. Современные историки-ревизионисты, разглядев в разнообразных хрониках единую математическую модель, сделали на этом основании совершенно ложный (но эпатажно-остроумный) вывод относительно глобальной фальсификации древней истории. На самом деле, противоречие состоит в том, что органичное традиционное общество не знает не только литературы, но и истории (как одномерного, строго диахронического процесса), поэтому хроника пишется в соответствии с заведомо заданным мифом, который предопределяет интерпретацию событий, и, в конечном счете, сами события. Язык есть миф, причем в традиционном обществе этот миф вполне эксплицитен. А согласно современной гипотезе Уорфа-Сэйпера, «язык, на котором мы говорим, выковывает ту реальность, с которой мы имеем дело». В традиционном обществе это основополагающий, очевидный всем факт: без мифа нет реальности как гносеологического плана. Русское слово «вещь» происходит от слова «ведать». Знание, составленное из компонентов языка, сращенное с языком, постулирует предмет, который вступает в бытие только тогда, когда о нем «осведомлен», «уведомлен» человек, когда у него есть лунка в поле интерпретаций и название. Литература возникает как попытка оторвать язык от мифа, речь от языка, текст от всеобщего контекста. За сэдвременно.

Литература как заговор

Литературой называется любой не сакральный, не административно-хозяйственный (технический) и не хроникальный текст. В полноценном и органичном традиционном обществе литературы не было и не могло быть, так как вся письменная культура (там, где она наличествовала) сводилась к трем упомянутым категориям: это были либо священные тексты, либо административные указы и хозяйственные записи, либо хроникальные повествования. Конечно, и это деление весьма условно, так как эти три разновидности текста в мире Традиции тесно переплетались между собой. Религиозные и культовые элементы, символические комплексы не только пропитывали ткани исторического повествования, но постоянно вкрадывались и в самую утилитарную техническую область, иллюстрируя прагматические хозяйственные тексты ссылками на этику, мораль, мифологию, ритуализм и т.д. Все это не литература. Литература определяется по контрасту как нечто сущностно иное, отдельное, исполняющее текст, язык сакральных и административных записей, но в радикально новых целях. Литература возникает там, где протекают процессы десакрализации, разъятия основных элементов сакральной реальности, декомпозиция общей картины мира. Таков основной смысл ее существования, ее генезис. Литература по истокам своим есть контестация, постановка под вопрос, эпатаж, вызов, интеллектуально-концептуальный бунт. Не метод несогласия, но само несогласие. Литература возникает в разлагающихся традиционных обществах и воплощает в себе сложнейший и интереснейший процесс десакрализации текста. Священный текст, как правило, считается имеющим божественное происхождение, сверхчеловеческий источник. Он не имеет автора, за ним не стоит личности, он принципиально архетипичен, сверхиндивидуален, поливалентен. Он заключает в себе многоплановую парадигму,

применимую к самым различным уровням реальности — от космогонических до личностных, от ритуальных до социальных. То, что это не является литературой, очевидно. Это нечто противоположное ей. С другой стороны, хроникальные и технологические записи также безличны и нелитературны, хотя и по иным причинам. В них субъектом текста выступает не «сверхиндивидуальное», «надчеловеческое» существо, а обезличенная функция, также описывающая архетип (или отклонения от него), но уже на чисто техническом уровне. Современные историки-ревизионисты, разглядев в разнообразных хрониках единую математическую модель, сделали на этом основании совершенно ложный (но эпатажно-остроумный) вывод относительно глобальной фальсификации древней истории. На самом деле, противоречие состоит в том, что органичное традиционное общество не знает не только литературы, но и истории (как одномерного, строго диахронического процесса), поэтому хроника пишется в соответствии с заведомо заданным мифом, который предопределяет интерпретацию событий, и, в конечном счете, сами события. Язык есть миф, причем в традиционном обществе этот миф вполне эксплицитен. А согласно современной гипотезе Уорфа-Сэйпера, «язык, на котором мы говорим, выковывает ту реальность, с которой мы имеем дело». В традиционном обществе это основополагающий, очевидный всем факт: без мифа нет реальности как гносеологического плана. Русское слово «вещь» происходит от слова «ведать». Знание, составленное из компонентов языка, сращенное с языком, постулирует предмет, который вступает в бытие только тогда, когда о нем «осведомлен», «уведомлен» человек, когда у него есть лунка в поле интерпретаций и название.

Литература возникает как попытка оторвать язык от мифа, речь от языка, текст от всеобщего контекста. За самим этим начинанием явно проглядывают тона катастрофы, глубинного кризиса, дающего о себе знать. Литература стремится реорганизовать языковую реальность, а значит, гносеологическую реальность, а значит — всю реальность вообще, по новым меркам, в соответствии с новыми закономерностями. И за такой колоссальной, захватывающей авантюрой просвечивает совершенно новый субъект — не развоплощенный, сверхчеловеческий автор, инспиратор сакральных текстов, пророк-визионер развернутых многомерных институционализированных культов, обезличенный как сакральной подготовкой, так и иными техническими способами экстатического выхода за грани человеческой нормы, но некто иной, новый, не бывший, пока до конца не ясный, претендующий на то, чтобы стать на место всех почитаемых демиургов. Налицо субверсия, подрывная деятельность, заговор, революция, сложнейшая интрига, направленная на то, чтобы вывести на первый план нового субъекта, неведомого сакральному миру, традиционной цивилизации.

Литература есть заговор. Заговор против Традиции, против сакрального, против мифа.

Литература против текста

В случае современной литературы это очевидно. И здесь нетрудно понять, какой именно новый субъект прятался за этим сложнейшим маневром. В глубине литературы, в лабиринтах ее процессов скрывался человек, автономный индивидуум, та фигура, которой не знали миры Традиции. Это он решил освободиться от мифа, сбросить многомерные пласты сакрального. Он пошел на эксперимент опасного выяснения собственной идентичности через спирали нигилизма. Литература — это попытка автономного человека встать на место сверхчеловека, на место божественного, законоутверждающего, внешнего, трансцендентного субъекта. Через литературу автономный человек решил создать новый мир, новый текст, новый строй, новый язык. Но разве в традиционной цивилизации не было человека?

Конечно, не было. Это слово понималось иначе: как переходная стадия, как маска, как ритуальная функция, как онтологический костюм. Человек постулировался мифом в качестве одного из звеньев реальности, но сама эта реальность, постоянно сталкиваясь и взаимодействуя с божеством, пульсировала в особом ритме, будоражащем бытийные страты, и понятие «человек» сдвигалась, мутировало, подвергалось метаморфозам, подчиняясь пульсу сакрального. Человек был условно обозначаемой стадией между богом и животным. Поэтому он не был ни автономным, ни суверенным, ни индивидуальным. Он мог дробиться, разлагаясь на составляющие компоненты, и преображаться в высшие сущности. Цари и жрецы не были людьми по своей близости к богам. Чернь и рабы тоже не были, но по иной причине: слишком похожи были они на животных...

В традиционном обществе некому было восставать на миф, ставить под сомнение правомочность сакрального текста. Этот текст, как и сама ткань общества, был открыт сверху. Отсюда вытекает, в частности, преобразующая сила молитвы. Молитва — антилитература. Совершающий ее произносит текст, являющийся архетипическим, чаще всего анонимным или принадлежащим святому, слившемуся с архетипом. И пиком напряжения такого текста является получаемый ответ, внимание трансцендентного сверхчеловеческого субъекта. Сакральный текст есть лестница метаморфоз. Тот, кто хочет преодолеть себя, идет по нему безостановочно. Пассивных и нерадивых он держит в узде.

Литература есть стремление создать замкнутый, закрытый текст, который вращается вокруг человека, не собирающегося преодолеть самого себя, но при этом отвергающего сакральную дисциплину, призванную сохранить в нем начатки достоинства даже против его воли. Из чего строится литература: из описания или творения реальности, компоненты которой соединяются между собой по произволу автора, вопреки логике мифа. Здесь бунтом пропитано все. Не социальная сатира или критика нравов составляет подрывное содержание литературы. Это уже прагматическое выхолащивание ее изначального посыла, в некотором роде, ее саморазоблачение. Само описание мирного пейзажа индивидуальным автором есть высшая форма богоборчества, радикальная антисакральная диверсия.

В традиционном обществе пейзаж имеет сакральную нагрузку. Если фрагменты его описания попадают в канонический текст, они автоматически встраиваются в общую ткань мифа, приобретают священную нагрузку, преобразуются в элемент ритуала или иконографии. Гора и дерево, камень и река, пустыня и океан, цветы и травы, упоминаемые в священных писаниях и мифах, суть узлы посвященного знания, вовлекающего в структуру реальности, организованную по особому плану, где каждому есть свое место. Пейзаж в сакральном тексте выполняет ту же педагогическую функцию, как и все остальные моральные, религиозные или ритуальные предписания, в нем содержащиеся: он подталкивает к тому, чтобы найти свое место в ткани мифа, вспомнить свое подлинное имя, осознать символизм той конкретной ситуации, в которой человек пребывает, по действенной, преобразующей аналогии с архетипической картиной, о которой повествует миф. Сакральный текст изымает того, к кому он обращен, из обыденной, невнятной, непреобразованной реальности, где вещи давят фактом своего грубого, неосознанного, несимволизированного наличия, и вводит его в парадигматическую ткань волшебного инобытия. Простое дерево, рядом с которым находится человек, знакомое до каждой извилины коры, вдруг представляется отблеском Древа Мира, растущего корнями вверх. Восприятие затуманивается, в сублимном исступлении начинается череда самоотжествлений... И уже сам человек становится деревом, по его телу бегут небесные соки, крона мыслей овевает телесную форму, ему молниеносно открывается смысл вертикальности ствола. Геометрия и ботаника, атмосфера и анатомия преобразуются в небывалое повествование о скрытой структуре бытия. Тонкие голоса, легкий ветер, таинство снежинки, ее геометрия, прочитывается послание, зашифрованное в зубцах далекой горной гряды.

Но литература делает нечто прямо противоположное. Описание пейзажа есть не исступление, не освобождение от материальности, но, напротив, ее утяжеление, ее абсолютизация, нагнетание ее удушливого наличия. Литератор, описывающий пейзаж, удваивает плотность, замыкает бытие в фактичности его имманентности. Тем самым он фиксирует и самого себя, удерживает от распада, от метаморфоз, от соучастия — добровольного или принудительного — в сакральном ритме мира. Если сакральный язык служит для снятия давления плотского, наличия вещи, то литературный язык, наоборот, пытается представить слово как вторичное отражение предмета или процесса, как дополнительный, прилагающийся к нему апостериори элемент. Получается, что вещь порождает описание, а не описание вещь. Литератор таким образом не просто предлагает свой собственный миф взамен мифа общепринятого, он тщится стать создателем именно конкретной, вещной, предметной реальности, которую он порождает и учреждает уже тем, что отказывается использовать язык и текст для ее снятия, ее эвопаризации, ее истончения до уровня познавательной вспышки.

Литератор творит не миф, но мир, и даже в индивидуальных и самых смелых фантазиях он косвенно укрепляет непоколебимость давящего ансамбля плотных форм, так как бежит от них в слабосильный, истеричный произвол, оставляя вес непреобразованного бытия довлеть с еще большей угрюмостью и фатальностью.

Важный вопрос: литература — это источник десакрализации, агрессивный злоумышленник, или экран, отражающий синдромы объективных трансформаций космической среды? Заслуживает ли литература того, чтобы быть совокупно сожженной на первом же витке возвращения к сакральной норме? Ответ отложен.

Невозможность абсолютной литературы

Уже возражают люди, знакомые с трудами структуралистов или прочитавшие блестящие интерпретации Мирчи Элиаде традиционных парадигматических сюжетов, наводняющих современную литературу (высокого и низкого жанров): «Литература сама по себе есть миф, она не может выдвинуть ничего нового, и банально черпает из арсенала бессознательного все те же сюжеты и ситуации, которые мы встречаем в архаических ритуалах и легендах. Следовательно, литература не может быть отождествлена только с десакрализацией, в ней отчетливо прослеживается и элемент ресакрализации».

Это правильный довод, и он требует от нас некоторой коррекции изначального тезиса, от которого мы, впрочем, не собираемся отказываться. Итак: одно дело заявить о необходимости ресакрализации, а другое дело — осуществить это на практике. Вне сакрального, вне мифа, вне Традиции не существует вообще ничего. Поэтому совершенной литературой были именно «нудистские» издания сюрреалистов, представляющие собой аккуратно переплетенные чистые белые листы бумаги. Да и то, такой объект может быть расшифрован во вполне сакральных терминах как опора («янтра») для размышления о состоянии изначальной субстанции бытия, не затронутой созидающей, организующей волей активного принципа. В исламском эзотеризме белый лист и его символизм играет огромную роль. Так что даже самый радикальный литературно-нигилистический ход имеет все основания для того, чтобы получить интерпретацию в сакральном контексте, то есть не быть до конца литературой.

Поэтому уточним: когда мы употребляли выше термин «литература», мы имели в виду не факт, но намерение, тенденцию, неявную и часто неосознанную (почти никогда не продуманную до конца) декларацию. Человека, который был бы только человеком, а следовательно, имел бы возможность создать идеальную литературу, «абсолютную литературу», конечно, не существует. Это фикция, пожелание, выдаваемое за действительность, претензия и воля, не способные реализоваться в полной мере по онтологическим соображениям. Только сейчас, когда проводятся первые опыты по клонированию людей, можно предвидеть появление «автономного индивидуума», «человека в чистом виде». Быть может, он и сумеет создать нечто, напоминающее эту «абсолютную литературу». А пока...

А пока литература в чистом виде есть едва уловимая черта, расплывчатая грань, оставаться на которой не удастся никому вопреки всем стараниям. Эта черта пролегает между одним мифом (назовем его внешним или общепринятым) и другим. Литература выражает распад сакральной формы, десакрализацию текста. Но в реальности она не способна долго и верно следовать только этой тенденции. И как следствие, тут же, практически мгновенно, в ней утверждается, всплывает, проступает новый миф. Предвкушение онтологического дна, темной холоднеобразной массы ничто, дает такой импульс человеку, заглянувшему в сущность литературы, что он в панике всплывает к привычным формам, хватаясь за останки сакрального, копошащиеся в бессознательном, чтобы скорее скрыть новую структуру на место старой. Ресакрализация может идти по разным руслам. Самое распространенное: отвергая одну (как правило, доминирующую) сакральную форму, разлагая ее органическую ткань, стихию ее преобразующего текста, литератор принимает за основу иную сакральную форму, которая и выступает отныне в качестве компенсации. Этой новой сакральной формой может быть еретическая версия того же рода, что доминирующая религия или экстравагантный культ, или учение эзотерического братства или оккультной логики. В любом случае, десакрализация и ресакрализация идут параллельно. Тогда литература повернута своей подрывной стороной вовне, к некомпетентному, профаническому большинству, а утвердительной стороной — к «посвященным». Скандальная полупорнографическая проза Боккаччо есть одновременно субверсия для католической нравственности, ликвидаторская акция, направленная против конвенций цивилизации Ватикана, и вместе с тем компендиум герметических и розенкрейцеровских доктрин, легко читаемых между строк и понятных половине просвещенных европейцев того времени, непременно состоящих в какой-нибудь ложе. Такова вся «литература» Средневековья и Возрождения, которая может быть названа «литературой» лишь условно: это полифония ироничной многомерной коммуникации тайных обществ, герметический гипертекст адептов натуральной магии и алхимии, столь же стройный и строго организованный, как канонические формы теологических трактатов, житий святых или папских булл. Это «литература» только с одной стороны, для наивных прелатов и простаков-буржуа. Но и здесь необходимы поправки, так как средневековый и возрожденческий быт европейских горожан был также напитан «параллельной религиозностью», своего рода «бытовым герметизмом», а поэтому не следует недооценивать их интерпретационных возможностей и естественного владения языком герметических шарад. Это подробно исследовал гениальный Грасе д'Орсе, к которому отсылаем за углубленным и развернутым комментарием нашего тезиса*.

Сложнее с литературой Нового времени. Но и здесь далеко до чистоты. По инерции культурный человек Европы состоял в какой-нибудь ложе. Их влияние демонизировалось клерикальными реакционерами, но столь же полемически и безосновательно преуменьшалось воинствующими либералами. На самом деле, логи дают идеальный ключ практически ко всей литературе XVIII–XIX веков. Взять хотя бы Дюма или Бальзака: каждый текст имеет строго два уровня — масонский и профанический. Каждая сцена, каждый сюжет, каждая интрига — изящный намек для «братьев» и иллюзионистский фокус для профанов. Но снова не следует забывать тот факт, что в XVIII и XIX веках любой человек, умеющий читать и имеющий такую возможность, почти наверняка состоял в том или ином «тайном обществе». Первый массовый читатель классиков, действительно, совершенно ничего не понимающий в системе герметических аллюзий т.н. «классической литературы», появился только в нашем столетии, да и то в больших масштабах исключительно в «соцлагере», поставившем себе целью облагородить и подогнать до воображаемого «среднего

уровня» представителей социальных низов. В буржуазном мире к «демократизации» литературы относились намного прохладней, и по определенной традиции интеллектуалы Запада и сегодня сплошь и рядом навешают разнообразные «ложки» или их модернизированные аналоги. Особый смысл имеет «советская литература», изначально имевшая осознанный антисакральный характер. Но если в этом и удалось достичь некоторых результатов методологически, — «Мать» Горького, действительно, с трудом поддается возведению к архетипическим моделям бессознательного (хотя неужели само название не вызывает ярчайших ассоциаций?), — то в общем контексте этого грандиозного предприятия просто всплыл новый архетипический континент, законченный коммунистический миф, столь же некритичный, тоталитарный, общеобязательный и по-своему логичный, как и всякий другой.

И наконец, последний случай: экзистенциалистская литература. Здесь многие линии, заложенные в изначально векторе, доведены до логического предела. Сознательно и последовательно десакрализован сюжет. Тщательная работа проведена над освобождением языка от коннотаций и привычных аллюзий. Но в результате не «абсолютная литература», а «абсолютное мифотворчество». Экзистенциалистский автор под невероятным бременем разбуженного нигилизма вынужден спасаться от индивидуальности — либо через создание собственного культа личности (именно это лежит в основе того почитания деятелей культуры, которым отличается все Новое время и особенно XX век), либо через клинические формы «добровольного безумия». Вакуум же заполняется уже сознательным «мифологизированием», пусть заведомо индивидуальным и поэтому ироничным, но безудержным, истеричным, паническим. Если экзистенциалист не примыкает к новейшим мифологемам, имеющим общественное измерение (коммунизм Сартра и Арагона, фашизм Хайдеггера, неохристианство Марселя и Ясперса и т.д.), он стремится создать свою собственную религию, произвольно и сознательно играя с психическими архетипами, как цитатами.

Но в этом направлении XX век не дал ничего такого, что качественно превосходило бы гениальные опыты де Сада и графа Лотреамона. Труды этих двух колоссов литературны в большей степени, нежели все, что было написано за последние 200 лет.

Несколько слов о дьяволе

Ресакрализация сопутствует литературе, но это вынужденная мера, это всплытие преграды, охраняющей человека от нигилистической и невозможной перспективы превратиться в «только человека». Но это не вытекает из сущности литературы, так как в этом случае она была бы всего лишь еретическим, спорным или просто альтернативным «сакральным текстом», произвольным авторизованным «эпосом» или экстравагантным «визионерством», экзорцизмом расстриженных пифий. Сущность литературы — в невыполнимой претензии укрепить, удвоить грубую плотность наличного мира, довести восприятие реальности и, соответственно, ее саму до температуры абсолютного нуля. Если это не удастся, то лишь от слабости и хилости тех, кто встал на эту опасную, нигилистическую, подрывную стезю. Литература в своей наиболее чистой форме есть самый последовательный и самый радикальный сатанизм. Но пока мы не ответим на поставленный несколько выше вопрос, мы не смеем и вынести однозначную моральную оценку этому факту. И снова: «литература — это источник десакрализации, агрессивный злоумышленник, или экран, отражающий синдромы объективных трансформаций космической среды?»

В более общей форме: безусловный факт существования дьявола — является ли он сам по себе злом, или злом является принятие дьявола за кого-то другого?

А.Г.Дугин

Газета "День литературы", 1998
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ФИЛОЛОГ АВВАКУМ

Евразийцы об основоположнике современной русской литературы

Нет сомнения, что самыми пронизательными русскими мыслителями нашего столетия были евразийцы. Им не удалось создать законченную мировоззренческую модель. Среди них не было философов блистательных и уникальных. Но глобальные подходы, к которым они приблизились, пути исторического, геополитического, мировоззренческого и социологического анализа, которые

они наметили, спустя полстолетия оказались самыми актуальными, плодотворными, жизненными и перспективными. На старте начавшегося тысячелетия великое и не понятное, неосмысленное пока наследие евразийской мысли открывается в новом свете.

Практически все интуиции евразийцев (за редким исключением) обладают колоссальным значением. Среди прочего важна их филологическая, литературоведческая позиция. Особенно нас интересует типичный для евразийцев культ протопопа Аввакума, которого они рассматривали как основоположника современной русской литературы. Вслед за ними это мнение настолько утвердилось, что стало хрестоматийным.

С чисто филологической точки зрения, староверы были сторонниками московского извода церковнославянского языка, и поэтому в период никоновской sprawy они вошли в конфликт со сторонниками киевского, малороссийского извода. Языковая проблема была внешним выражением столкновения двух богословских традиций — восточнорусской, московской, предельно консервативной, и западнорусской, во многом затронутой униатским, среднеевропейским, а то и откровенно католическим духом. Так в сфере филологии отразились фундаментальные метафизические противоречия, а исправление книг и грамматические переделки текстов иллюстрировали колоссальные изменения в богословской и геополитической ориентации Руси. Староверы, остро, страстно, болезненно и катастрофически воспринявшие лингвистические и обрядовые новины прагматика Никона, фактически продолжили холистскую традицию подлинно сакрального общества, где язык, богословие, обряд, государство, социум и геополитика неразрывно связаны между собой.

Так как евразийцы были безусловными апологетами москвоцентризма, то филологическая подоплека реформ Никона трактовалась ими в старообрядческом ключе. Вслед за славянофилами евразийцы рассматривали романовский, и особенно послепетровский период российской истории, как западничество и аномалию. Отсюда повышенный мировоззренческий и филологический интерес к старообрядческой литературе. Но это лишь один аспект проблемы. В данный момент нас больше интересует не позитивная оценка евразийцами московской церковной филологии, но определение «Жития протопопа Аввакума» как первого памятника современной русской литературы. Это совершенно иная плоскость.

Подтверждение тезиса «литература как зло»

В предыдущей главе мы выяснили историко-онтологическое (и даже эсхатологическое) значение появления литературы как таковой. Момент ее рождения совпадает с переходом границы от сакрального общества к обществу профаническому, светскому, десакрализованному. Литература возникает как синдром онтологической катастрофы, как эсхатологическое знамение. Вопрос об ответственности самой литературы за негативную, подрывную ориентацию, которую она собой знаменует, мы оставили открытым. Тезис «литература как зло» более корректно следовало бы сформулировать «литература как выражение (или отражение) зла». Такое уточнение существенно поможет нам в рассмотрении вопроса о месте и роли «Пустозерского сборника» в филологической и онтологической истории Руси.

Применив принцип появления литературы как синдрома зла (в отношении холистского, сакрального общества, общества традиционного, которое только и следует брать в качестве нормативной парадигмы) к истории русской словесности, мы однозначно приходим ко второй половине XVII века. Раскол в русской истории есть та точка, которая разделяет две совершенно различные реальности — сакральную Русь (Святую Русь) и десакрализованную, светскую Россию. Национальная онтология раздваивается. Святая Русь становится Китежем, национальной мечтой, преданием, «параллельной Родиной», уходит в бега и гари, в секты, в глубину народа, в оппозицию, в глубинку. Светская Россия движется в направлении современного мира, модернизируется и вестернизируется, рвет связи с корнями и традициями, с обычаями и ритуалами, с вероисповедническим и бытовым наследием сакрального периода. Следовательно, именно в эпоху раскола — с чисто логической точки зрения — и должна была зародиться современная русская литература.

Как только мы делаем такой априорный, основанный на дедукции вывод, мы тут же наталкиваемся на утверждение евразийцев (в целом принятое позднее и конвенциональным литературоведением) о роли протопопа Аввакума как первого современного русского писателя. Все сходится. Историческое явление обнаруживается именно там, где оно должно было бы находиться в соответствии с нашей концептуальной реконструкцией парадигмы русской истории.

Вторжение «нового»

В «Житии Аввакума» поражает вторжение в конвенциональный церковный язык некоего нового компонента. Это реальная русская речь, почти разговорная, естественная интонация, обнаженный язык, филологическая печать того обнаженного «бытия-в-риске», о котором учил Мартин Хайдеггер. В типичный жанр обычных «житий» творение протопопа Аввакума никак не укладывается. Еще и потому, что автор при жизни составляет свое житие, предвосхищая колоссальную онтологическую значимость личной биографии, создавая ее особое уникальное значение.

Формально «Житие» иногда все же сближается с каноническими парадигмами русской житийной литературы. Местами узнаются классические топосы исторических хроник или эпистолярные штампы и обороты речи. Но все это лишь элементы совершенно новой конструкции, в которой осью является специфика воспаленной точности описания, сверхпристальной, сверхвнимательной и революционно доскональной передачи нюансов событий и переживаний отдельной личности. Именно это составляет то, что структуралистское литературоведение называет термином «повествование» (*le recit*) в отличие от «языка» (*la langue*) или «речи» (*la parole, le discours*).

Сверхточность в описании событий или переживаний с усугубленной экзистенциальной окраской и является характерной чертой собственно литературы. Самое существенное ее отличие от канонических моделей текстовых произведений в сакральном обществе состоит в том, что современное литературное повествование обнаруживает некий новый, никогда не существовавший ранее момент — спонтанного столкновения с неcodифицируемым фактом, с катастрофической реальностью, не уместяющейся в интерпретационные модели сакральных смысловых структур. Возникает нечто, что в полном смысле «не укладывается в голову». Черная молния обнаженного бытия, трагически вырвавшегося из циклического ритма объяснений.

«Житие Аввакума» впервые в русской словесности обнажает этот новый пласт. «Таже с Неръчи-реки назад возвратилися к Русе. Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающеса о лед. [Обратите внимание на литературную точность описаний: фактическую «две клячки» и сенсуальную «убивающеса о лед». — А.Д.] Страна варварьская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми итти не поспеем, голодные и томные люди. [Взгляд на себя со стороны, будто кто-то другой видит всю картину. Развитие этого «топоса» дает гигантский объем дескриптива, составляющего одну из главных черт собственно «литературы» — А.Д.] В ыную пору протопопица, бедная, брела, брела, да и повалилась, и встать не сможет. А иной томной же тут же взвалился: оба карамкаются, а встать не смогут. [«Карамкаются, а встать не смогут» — представьте себе такое выражение в эпизодических сценах «Жития» древних русских святых или в официальных хроникальных документах. Это невозможно. Совершенно очевидно, что здесь речь идет о радикально новой реальности. — А.Д.] Опосле на меня, бедная, пеняет: «Долго ль-де, протопоп, сего мучения будет?» И я ей сказал: «Марковна, до самыя до смерти». Она же против тово: «Добро, Петрович, и мы еще побредем вперед». [Внешне это иллюстрация традиционного для христианства восприятия земной жизни как искупительного, спасительного страдания, особенно тяжелого у избранных Христом к делу великого служения. Но за драматической, идеально христианской волей протопопа и конечным смирением его жены проглядывают совершенно особые, новые ноты. Православная истина утверждается здесь в особой чувственной манере, в некоем бытийном коме, вырванном из Старой Руси, Святой Руси — где Вера, Царство, семья, природа, люди, мир, пребывали в взаимопроникновеном и нерасторжимом сакральном синтезе, — но вброшенном в обескровленную, начинающую стремительно распадаться реальность. Это хрестоматийно православный диалог мужа и жены, но перед лицом особого зрителя, отчужденного, решительного, внезапно выпившего из реальности кровь национальной световой жизни. Перед лицом антихриста. В обращении «Петрович», в интимно-семейной эсхатологической окраске этого эпизода заложена формула народного понимания святости в послераскольный период. Стремление схватить этот элемент, высветить, зафиксировать его двигал теми русскими литераторами, которые интуитивно желали пробиться к сакральному, используя филологические инструменты, мечтая через литературу преодолеть литературу. С другой стороны, декомпозиция свято-национального бытия под леденящим дыханием антихриста впервые ставила проблему спасения как индивидуального дела. И в данном пассаже из «Жития» мы также видим отправную черту староверческой этики — жесткую индивидуальную позицию, радикальную личную сотериологическую решимость в условиях острого конфликта с окружающей реальностью. Святость всегда достигалась с великими трудами. Но есть фундаментальное различие: индивидуальные усилия по стяжанию спасения на фоне в целом благоприятствующей реальности, масштабной солидарной (хотя бы в теории) с вектором личной аскезы — это одно дело. Другое дело, когда и без того невероятно сложный путь проходит в среде, не просто инертной, но агрессивно отвергающей саму направленность личных усилий верующего. И самое драматичное, что такой враждебной средой на глазах становится свое собственное, только вчера бывшее святым отечество; не миры иноверцев и инородцев, а родная, пронизанная лучами Третьего Рима Русь! Начиная с этого диалога Православие окончательно и универсально становится Традицией в изгнании, гонимой Верой повсюду, и даже на самой Руси.

Фундаментальный факт этого изгнания и мучительный поиск нового субъекта спасения и дает всей сцене невероятной силы экзистенциальный колорит. В принципе, если бы этот короткий фрагмент был до конца осознан, адекватно прочитан, многие великие произведения русской литературы (консервативно-революционного характера) были бы излишни. Курочка у нас была черненькая, по два яичка на всякий день приносила. Бог так строил робяты на пищу. По грехом, в то время везучи на нарте, удавили. Ни курочка, ништо чудо была, по два яичка на день давала.»

В такие и аналогичные моменты «Жития Аввакума» перед нами встает шершавый лик мира, в котором все внезапно разладилось. Идеалы «Домостроя» и не заслуживающая описаний индивидуальная борьба человека против того, что отвлекает его от соответствия сакральным нормам — все это остается за кадром. Всплывает голая человеческая и историческая природа. Появляется во всем ее необработанном виде ошалелая онтология катастрофы.

Не просто личная драма индивидуума, борющегося с обстоятельствами. Такая реальность известна во все времена и во всех обществах, в сакральных также. Но эти перипетии проходят там в канве позитивных парадигм, и любое экзистенциальное напряжение разрешается во всеобъясняющем мифе, где индивидуум абсорбируется архетипом. Поэтому, к примеру, в легендах и повествованиях Средневековья, часто говорится о том, что близкие родственники, выросшие вместе, не узнают друг друга через небольшой срок разлуки в новых ситуациях. На эксплуатации этой темы построено множество сюжетов. Речь идет о том, что ситуации в сакральном обществе значат гораздо больше, нежели индивидуальности. Архетип поглощает конкретную личность. На этом основана также устойчивая в сакральных сюжетах идея подмены. Индивидуальность стерта перед ролевой, функциональной стороной человека или предмета. Доля неосмысленного, не учрежденного гносеологическими моделями, индивидуально-материального веса существа или вещи бесконечно мала. Поэтому само страдание дегуманизировано, ритуализировано. Человек страдает, так как он недостаточно тождественен архетипу, а следовательно, это вполне нормально и должно восприниматься как нечто закономерное. Даже с юмором. В «Житии» страдание совершенно иного рода. Оно неигровое, нефункциональное. Марковна, ребятишки, курочка, купание в холодной воде, пытки, мучения принадлежат уже совершенно иному миру, где их индивидуальный объем существенно, качественно выше. Поэтому и страдание столь пронзительно. Столь остро и вызываемое им соучастие. А это классическое качество литературы как таковой.

Когда мы читаем о страданиях святых и подвижников, мы восхищаемся ими, рассматривая это как высокий образец, как архетип, как модель. Мы не соперничаем им, мы видим в их пути подтверждение фундаментальной нормы, которая в очередной раз утверждается вопреки вполне естественным помехам. Когда мы читаем историческую хронику о нашествии на Русь инородцев, об их зверствах, мы напиваемся яростью и желаем утвердить снова и снова наше я, нашу верность корням и павшим за Отечество.

Историческое повествование о голоде, море, язвах, вызывают у нас механические помыслы о том, «какие обширные бывают катастрофы», и «какое значение они могли иметь для жизни народа». Когда мы читаем места из «Жития Аввакума» о Марковне и детишках, нас пробивает совершенно иное, пронзительное, слепое, неархетипическое, но глубоко задевающее чувство. Будто фрагмент реальности, тяжелой, необработанной, сырой, невыносимо гнетущей своим наличием, вырван из поля плоских схем и брошен нам в лицо.

Отчетливо начинаем мы понимать, что что-то не так. По большому счету, по-крупному, радикально не так. Не в судьбе протопопы, не в несправедливостях и самодурстве властей, не в разворачивании исторических цепей. Что-то не так вообще. Что-то не так с миром. Эпизод с падением Марковны и курочкой вываливается из логики мировой истории, рушит, крушит модели мира. Открывает незаделываемые, фатальные трещины. Мы соприкасаемся с донным, глубинным злом, с фонтаном экзистенциальной эсхатологической нефти.

Последний человек — первый человек

В «Житии Аввакума» впервые в русском тексте внезапно и без предупреждения появляется человек. Этот человек — сам протопоп Аввакум. Он же и первый русский писатель.

Этот человек дышит и страдает, чувствует и переживает, борется и мучается, ждет и жаждет, надеется и негодует. До Аввакума русский человек был сакрализован, принадлежал сфере абсорбирующего архетипа. Он был надежно защищен от экзистенциальных бездн щитом священного быта. Ангелы, святые и начальства надежно охраняли его от неосмысленного дыхания факта. Аввакум лишен этого. Он рожден к трагическому, расколотому новому бытию, в котором

отсутствуют древние анагогические спирали смыслов. Перед ним зловеще, грандиозно и невместимо встает зарево Ничто.

Не в силах справиться с открывшимся античудом, Аввакум бросается к надеждам, уповает на метанойю Царя, на преодоление иерархами странной и необъяснимой комы перед лицом явной ереси западных новин. Но жуткая догадка проникает в его сознание все яснее и яснее. Реальность из благословенной размытости духовного видения, не различающего физических деталей из-за поглощенности обобщающим синтезом, фокусируется в режущий жгучий ком. Задавленная курочка, дававшая ребятишкам яйца в трудной и голодной ссылке, приходит с того света гранитной плитой. В традиционном мире нет таких курочек. Курочек самих по себе, индивидуализированных, самостоятельных, в каком-то смысле, аутогенных. (Отсюда буквально — «ни курочка, ништо чудо»). Аввакумовская курочка — первая. В ее случае впервые смерть становится необратимой. Это важнейший знак наступления Ничто. Заря этого страшного откровения посещает Аввакума в детстве при созерцании «мертвой скотины». — «Аз же, некогда видел у соседа скотину умершу, в той ноши вставше, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся ноши молитися.» Аввакум со всей грандиозностью истины фиксирует в своем «Житии» катастрофу. И осмысляет ее в терминах Православия. То, что он переживает, принадлежит особому миру, в котором все не так. Уже не так. Это мир антихриста, вселенная конца времен.

Ее онтологический стержень, ее сотериологическая лестница утрачены, отъяты, удалены.

Необратимые ветры Ничто свирепствуют над вчера еще богоизбранной страной, крушат и стригут вчера еще богоносный народ.

Гонения, удары, голод, головокружения, пытки, пожары, гари, четвертования, мутиляции, обрушение языков и конечностей. Моря крови. Дьяволофаня охватывает последний островок сакральности — Русь. И на пороге, на критической неравновесной черте, на кромке онтологического обрыва — одинокая фигура протопopa. Он последний человек Святой Руси, сохранивший полноту ее священного сознания, содержание ее спасительной, сладкой плоти. Он последний человек-архетип, последний русский. И в нем, в буйстве и прозрениях его, бурлит и светится Вся Русь, национальный холос, онтологический пульс Веры и Церкви. Но он же и первый человек-неархетип, первый маленький человек, брошенный в окружение бездн, отвесов утратившего содержание отчуждающегося бытия. Два человека (первый и последний) соотносятся двум стилям в филологии «Жития Аввакума». Классические богословские и житийные топусы — это сакральный пласт, за ним — сонмы безымянных авторов, хронистов, агиографов, писарей. Пронзительный дискриптив курочки и детишек, диалога с Марковной — постсакральное откровение. В нем, как в матрице, читается «Станционный смотритель», «Шинель», «Кроткая», «Бедные люди» — все маленькие бедные люди великой и проникновенной русской литературы, литературы последних бездн.

Аввакум-свидетель

В «Житии Аввакума» зафиксирована смена фундаментальных онтологических состояний, поэтому значение этого памятника трудно переоценить. На границе безвозвратной утраты сакрального и эры катастрофической экзистенциальности сталкиваются между собой два мира, две реальности, два насыщенных невероятным бытийным жаром модуса бытия — национального и универсального. Это момент рождения литературы; быть может, ни в одной культуре не виден он с такой потрясающей наглядностью. Но история русского народа есть зеркало мира, его онтологии, его эсхатологии. Русь не локальный колорит, не этно-географический заповедник — истерическое нагнетание всех главных вопросов бытия, стремительное суммирование бездонных проблем, концентрация ужасающих вопросительных знаков, поставленных на заре Творения и зреющих к разрешению в огнепальном конце времен.

Какова доктринальная подоплека протопopa Аввакума как архетипа, как последнего человека Традиции? Какова его свидетельская, еще нелитературная ипостась?

Аввакум как апокалиптический свидетель воплощает в себе краткий курс православной экклесиологии в ее эсхатологическом аспекте. Модель такова: Церковь Христова, выйдя из катакомб при Константине Великом, устанавливает в подпорченном, пред-окончательном бытии уникальную область Спасения, корабль Веры, новую онтологию «усыновления» отпавшего человечества, дошедшего своими темными путями до нижнего предела истории. Церковь и Империя объединяются на обещанный 1000-летний период в домостроительную литургическую симфонию.

Византийский император — «удерживающий», «катехон» — является при этом важнейшей эсхатологической фигурой: пока он есть, «сын погибели не приходит в мир».

Православная Церковь и Православная Империя подчиняют темные силы ада, но враг не дремлет. В IX веке каролингские монархи Запада совершают узурпацию императорского титула, еретически разрушая сотериологию «катехона». Ватикан идет еще дальше и уклоняется от путей спасения в латинскую ересь. В XI веке Запад отпадает окончательно, а в XIII — доказывает свою кощунственную, антихристианскую, еретическую сущность позорным осквернением Константинополя и Храма Святой Софии.

Позже сбываются страшные сроки, и сама Византия — оплот Православия и ось Империи — отступает от своего предназначения, идет на поклон к латинским еретикам. Флорентийская Уния. Порча Византии в духовном смысле тут же отражается на материальном уровне — турки-агаряне разоряют ее. Предательский Запад помогать не собирается. Колоссальная эсхатологическая катастрофа. Конец Традиции в православно-византийском, последнем, истинно христианском смысле. Но тут поднимается Русь, свободная, православная, верная заветам изначальной Церкви, Русь-Церковь, Русь-Империя, Русь-Царство, Русь-«катехон», Святая, Трисвятая Русь, последняя, сакральная точка. К Москве стягивается весь вес христианской сотериологии и эсхатологии, к русскому обряду, к русскому царю, к русскому народу. Московский период — пик сакральной истории. «Время мало», на которое задерживается приход «сына погибели». Но все более тревожно на западных границах Руси. Малороссы и белорусы готовы пойти по темным путям греков, многие склоняются к унии, к латинству. Лучшие умы Руси, — такие, как Захария Копыстенский («Книга о Вере»), — видят в этом угрожающие признаки конца. И тут грянул раскол. Пресловутая справа. Никоновские реформы обряда и богослужебных книг. Все выдержано в новогреческом, малороссийском, почти откровенно униатском духе. Аввакум-богослов, Аввакум-эсхатолог, Аввакум-свидетель грозно утверждает колоссальный духовный сакральный вес того, что кончается, и открывает покров наступающих на Русь бездн. Самые избранные, верные и чистые столкнутся с самыми низкими тупиками кошмара, падения, отступничества.

Отсюда не имеющая аналогов насыщенность богословского дискурса протопопа.

Мы теряем все. Ничто пронзительно косит на Русь ядовитым дыханием. Собака Никон, охмуренный Царь, впавший в помрачение из-за конъюнктурной прагматической политики, посягающий на самое святое. Обалделый клир, оглушенный и нерасторопный, притихший и покорный, как бы разом все забывший, запямятовавший Максима Грека и Стоглав, Грозного и Филофея. Внезапно духовно обмякший, обмороченный, замороженный народ.

На Святую Русь легло ледяным покровом безотзывное, необратимое дыхание сатаны. И закрылись глаза, заснули души, отвердели сердца. Мор духовный, наваждение, тотальная амнезия, безволие, обессиливающий шок.

Еще пылает в душе Аввакума-свидетеля Бытие, еще теплятся угли Святой Родины, такой близкой, знакомой, угадываемой здесь и теперь за первым инеем «сына погибели». Но уже ясно ощущается зима. «Мы, сошедъшеся со отцы, задумалися; видим, яко зима хочет быти; сердце озябло, и ноги задрожали». Зима антихриста. Русь после Руси. Церковь после Церкви. В «Житии протопопа Аввакума» богословский эсхатологический дискурс становится тем отчетливее, тем более выпуклым, чем острее граничит он с собственно литературой. Литература — явление зимнее. Это атрибут утвердившегося антихриста. Протопоп с ужасом чувствует ее приближение.

Язык Епифания

Огромную роль в структурной лингвистике (шире — в современной филологии) играет предложенное Ф.Соссюром разделение основного предмета изучения на собственно «язык» (la langue) и «речь» (la parole или le discours). «Язык» представляет собой потенциальное поле филологических возможностей, на базе которого формируются конкретные высказывания. «Язык» — структурированный синхронный резервуар, предопределяющий рамки возможных дискурсов. Структуралисты «языку» уделяли особое, повышенное внимание, так как обнаружили, что именно на этом «фоновом» уровне концентрируются смысловые императивы, в огромной мере предопределяющие содержание «речи». Иными словами, то, что говорится на данном языке, в огромной, почти решающей степени зависит от того, каков этот язык сам по себе.

Переход от сакрального общества к обществу постсакральному, профаническому, является катастрофическим изменением этой предопределяющей стихии «языка». Профанизм не просто одно

из возможных высказываний, это — язык, язык зимы и полуночи, резко, бритвенно контрастирующий с летним, полуденным языком Традиции.

Поэтому сюжеты отрубания языка (священника Лазаря, Феодора, дьякона Епифания) играют столь важную роль в повествовании «Жития». Никоновские реформы стремятся отсечь «язык» Традиции, святорусский язык, предопределяющий смысловую структуру высказываний. Но Аввакум-свидетель сообщает, что вырезание языка страстотерпцам-староверам не лишает их речи. Вырастает новый язык; с плотской телесной наглядностью, высшим доказательством неизменности, сверхвременного присутствия Традиции появляется он снова во ртах мучеников истинной Веры. Эти чудесные языки казнимых старообрядцев есть единый язык, противоположный тому, что назовут потом «языком литературным». Не «речи», не «высказывания» сталкиваются между собой в фундаментальной для русской истории парадигме раскола — бьются языки, литературный и свидетельский, осененные двумя противоположными духами: духом полноты и духом отсутствия, духом наличия и духом сосущей, зияющей пустоты.

Нетленный характер подлинно сакрального языка проявляет себя в жестоком мучительстве и в последующем за ним чуде восстановления, реинтеграции. В последний час, в сладко чаемый миг Пришествия, все, все будет восстановлено. Помните, каков был язык Спасителя, явившегося к Иоанну Богослову, чтобы возвестить «Апокалипсис»?

Аввакум против Пушкина

Все понимают, какую роль в русской словесности играет Александр Сергеевич Пушкин. Романтическая легкость, наивный психологизм, дерзкий мегаломанический эгоизм этого, бесспорно, одареннейшего человека гипнотизирует не только убежденных прогрессистов, но и многих консерваторов. Существует даже тенденция рассматривать неглубокие, легковесные псевдохристианские разглагольствования Пушкина (особенно в переписке со священниками) как доказательство его «традиционализма». Светский скептик, богохульник, масон и индивидуалист подчас выдается чуть ли не за пророка-мудреца. Ладно еще, когда «пушкиниана» становится объектом исследования полисектантских искателей и гностиков Серебряного Века. Но умиленные вздохи «Ах, Пушкин!» сплошь и рядом встречаешь среди самой консервативной, ностальгико-монархической публики. Да и сам новообрядческий клир едва ли способен посягнуть на устоявшийся миф, не вдаваясь в его генеалогию, не решаясь вынести свое суждение, к примеру, о «Гаврииаде» шаловливого африканского кудрявца.

Но если всерьез посмотреть на то, что Пушкин написал, мы не увидим там вообще ни одной темы, сопряженной с Традицией или ее языком. Обаятельная светская подделка под фольклор, зачаточный экзистенциализм, крайне остроумное копирование европейских романтиков. Если и есть в этом архетипические мотивы, то они либо связаны с инерциально задействованными сюжетами народных сказок и легенд, либо с элементами масонского символизма. Язык Пушкина является современным языком, тем, что, по задумке палачей-реформаторов XVII века, должно было заменить собой отрубленные языки старообрядческих исповедников. Это литература без свидетельствования, Россия без Руси. Причем реальный трагизм, расколотость души, страстное ожидание очистительного пламени, что составляет нерв «Жития Аввакума», испарено, забыто, «преодолено». Более ста лет новообрядчества не прошли даром. С ядовитым богохульником, ничтоже сумняшеся, переписывается, обменивается плоскими моралистическими сентенциями никонианский иерарх.

Именно это — литературу — предвидел, прозревал, предчувствовал скорбный гений Аввакума.

Здесь нет личной вины литератора, и едва ли все можно свести к проблеме морали и ответственности.

Язык диктует, предопределяет высказывание. Пушкин не творец языка, он жертва эсхатологической метаморфозы языка, он инструмент повествования постсакрального языка о себе самом. На этом строится его культ в десакрализованной России, частью которой является и постсакральная новообрядческая религиозность. Но это вопрос отдельный и сопряженный с ересеологией.

Умный волк

Фридрих Ницше, трагичнейший из современных мыслителей, назвал одну из своих работ «Мы, филологи». Невозможно мыслить, философствовать и при этом не мыслить и не философствовать о

языке. Невозможно корректно высказывать что бы то ни было, формулировать какую бы то ни было идею или соображение до тех пор, пока серьезному и неторопливому исследованию не подвергнется сфера языка, сфера фоновых, закадровых парадигм, где обитают смыслы и связи, где плетутся перевозавязи речи, еще не отделившейся от живой матрицы. Любое наше историческое, мировоззренческое, культурологическое или искусствоведческое замечание или мнение — от самых незначительных до самых обобщающих — нуждается в огромной предварительной работе по выяснению подразумеваемой подоплеки, по выявлению той невидимой базы, не выступающей открыто, но постоянно наличествующей и часто — втайне от нас самих — посещаемой в глубинных пластах сознания, в соответствии с которой мы думаем, говорим и пишем именно это, а не нечто иное.

Пока мы не схватим субтильного, постоянно ускользающего детерминизма языка, возможности нашего познания будут прочно заблокированы. Читая или высказывая, обдумывая или оспаривая, мы почти всегда совершаем механические, никак не затрагивающие нашу суть действия, полностью predeterminedные устройством культурно-интерпретационного аппарата. Мы духовно живем под бременем глубокого гипноза, введшейся в нашу сердцевину суггестии, невидимого внушения, и смиряясь с этим, отказываясь травматически проламываться в опасные миры, где зарождаются идеи, слова и знаки, мы отказываемся от высшего нашего предназначения, от сиятельной свободы нашего двуногого рода. Если мы не филологи, тогда мы вообще никто. Пара понятий — «сакральное» и «несакральное» (современное) — является не речевой, но языковой. Эти категории предопределяют то, на каком языке, в какой системе координат мы собираемся говорить, думать, беседовать. Точку зрения «несакрального» на «сакральное» мы прекрасно знаем. Это легко вычленимая реакция тины, покрывающей дно сознания наших современников. «Сакральное» — это «преодоленное», «старое», «невнятное», «предшествующее», «предварительное», «незаконченное». Оттенок взгляда профанического на сакральное может меняться от умеренной симпатии или любознательного интереса (консерватизм) до ярости и презрительной неприязни (прогрессизм). Но все объединяется полным непониманием смысловых и языковых основ. Эта позиция — общее место, и если мы сможем опознать то, что нам кажется само собой разумеющимся как нечто искусственно запрограммированное, мы уже очень далеко продвинемся по пути познания.

Точка зрения «сакрального» на «несакральное» — это апокалиптическое свидетельство. Самый ясный и убедительный, законченный и выразительный пример этого — «Житие протопопа Аввакума». В отвлеченно-философских терминах аналогичную грандиозную картину отразил Рене Генон в книгах «Кризис современного мира» и «Царство Количества и знаки времени». На чашах весов два мира, два народа, два государства, две страны, две стороны света, две Церкви, два языка.

Огненный поцелуй гарей, вырванный язык старообрядческих страдальцев, отрубленная кисть, застывшая в двуперстном знамении, молниевидное и кровоточивое свидетельство Аввакума — наша культура, наша лингвистика, наш лагерь смыслов. Маленький человек — факт. Наш общий факт. Но это не триумф развития и не вершина справедливости. Мучительное, невыносимое изгнание, пытка, наказание, расплата за что-то совершенное или несовершенное. Маленький человек есть казнь Великого Человека. И лишь неизмеримым страданием способен оплатить он невыносимую предоставленность самому себе. В желтых комнатах, избах, скитах, в перекошенных путях, залитых ворчливой грязью, заморожена Русь непонятой, нерасшифрованной проповедью Аввакума.

Никакого прямого вывода из нее сделать невозможно. Это не триумфальная, жизнеутверждающая программа. Это поражение в самое наше сердце невыразимой, идущей от каких-то далеких, запрятанных, невероятно печальных бездн Бытия, неформулируемой тоской. Русской тоской, от которой вызревают в зачарованном народе Кирилловы и Шатовы, Настасьи Филипповны и Мышкины, Карамазовы и Незвановы, все как один родом из Раскола, Раскольниковы — все неудачные, обреченные, заколдованно не прямые, будто осененные ледяной порчей, которую безуспешно селятся избыть, скинуть, снять, развеять.

Но таковы законы зимы.

Сердце зябнет...

Ноги дрожат...

«Умный волк» — темный умелец антихрист — рыщет на отсырелых, просевших просторах замороженной Родины.

МАГИЧЕСКИЙ БОЛЬШЕВИЗМ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Запрещенная перспектива

"Чевенгур" есть базовый текст Революции. В некотором смысле, он и есть выговаривание, произношение Революции. В нем Революция говорит о самой себе. Литературная судьба «Чевенгура» есть онтологический маршрут тайной природы Революции по русскому XX веку. Когда книга была создана, было уже поздно. Расплавленный металл красного бытия застыл. Из взбудораженной бездны истории поднялись опосредующие «железные тиски государства». В конце 20-х «Чевенгур» читался как тревожное напоминание о том, как многомерна была возможность и как плоска вытащенная из нее действительность. Это был упрек, приговор, пощечина. Взяв в руки «Чевенгур», советские смутились. Напоминание было слишком по-живому, слишком близко и ощутимо теплились впечатанные в страницы стихи. От Платонова отвернулись.

В 70-е и 80-е «Чевенгур» читался как антисоветская агитка. В первый раз книга мне попала в самиздатовском варианте, напечатанная на машинке со ссылкой на парижское издание. Пасквиль на большевизм, издевательство над истоками советизма, грамотно упрятыми за долгие десятилетия режима под стандартизированные формулы бюрократии. При этом что-то пронзительное и сверхполитическое было слишком любовным, слишком проникновенным, слишком явно и до потрясения родным, чтобы все исчерпывалось шаржем. Явное противоречие между открытостью текста и критической функцией бросалось в глаза, но едва ли могло тогда быть адекватно расшифровано. В какой-то момент появились перепечатки нелитературных публицистических текстов Платонова в ранних коммунистических журналах: в них он открывался как обнаженный и абсолютно искренний герой «Чевенгура», предлагал взорвать Памирские горы, чтобы растопить северную мерзлоту и превратить Советскую Родину в единый вечно летний сад, приводил при этом точные расчеты того количества динамита, который понадобится... Оказывается, никакой сатиры или иронии, никакой критики не было и в помине. Полное отождествление. Платонов и был частью «Чевенгура», Революция была его духом, а сам он — одной из первых новых ее творений. Это озадачивало. От того и трудно было разрешить этот парадокс, что между ранним революционным и поздним СССР была почти обратная историческая симметрия — с охлажденным и равноудаленным от обеих границ (начала и конца) отчужденным периодом в середине. Советский зон был как Вселенная. Истоки его были одни, середина — другая, конец — третий. И, при некоторой схожести фразеологии, смысловые материи менялись тотально.

«Рожденные Революцией» держали животворное единство с ее кровавой утробой недолго. Скоро они стали «стесненными Революцией», понятие было обескровлено и десемантизировано. При Сталине Революция превратилась в глиняный памятник. Без нее ничего бы не было, но ее смысл переместился отныне на невозвратную (историческую и онтологическую одновременно) дистанцию. Позднесоветский период, из которого вылупилась заупокойная перестройка, был перенаселен «забытыми Революцией». Глиняному памятнику приделали брежневскую планку орденов и вставную челюсть. «Чевенгур» в этот период мог ассоциироваться либо с «буржуазным кичем», либо с умственным расстройством. Обыватель морщился от него, как от церкви.

Но теперь, когда мы можем охватить все советское время, весь зон-топос большевизма целиком, звезда «Чевенгура» открывается нам такой, какая она есть. После краха СССР нам не с чем соотнести Андрея Платонова. «Чевенгур» как реальность в абсолютном надири. «Чевенгур» как смысл в зените умственного внимания — ничто не мешает нам смотреть на светило прямо. На небе смыслов мученический цветок Андрея Платонова раскрывается со всей пронзительностью несуществования. Его магический большевизм становится интеллектуальной осью, полноценным метафизическим ядром лишь тогда, когда общая, уводящая в сторону и сбивающая с толку, многомерная плоть имманентного многообразия усеченного инобытия в осуществленном, но предельно искаженном реализованном виде окончательно рассеивается.

Точно так же в европейском фашизме, пока он существовал, линия Эволы, Вирта или Юнгера была почти неразличимой из-за громыхания конъюнктуры, но, по рассеиванию дыма, ретроспективно, остался только слабо примешанный ко всему традиционализм — единственный заслуживающий интереса; а громоздкие опусы партфункционеров или речи Муссолини оказались мертвыми

документами эпохи, пустыми отходами от консервов. Андрей Платонов был на периферии советской культуры и советской политики. Но тени иссякли, и обнаружилось, что центральной фигурой большевизма был именно он, схвативший жизненный пар Революции как никто другой.

Душа как профессия

«Чевенгур» — это учение, это неосакральная текст. Рассмотрим важнейшие его узлы. Чтобы понять, чтобы отождествить себя, чтобы подвигнуться. Революция, по Платонову (а это значит Революция в ее последнем, онтологическом измерении) есть дело души. Души здесь и сейчас, немедленно, неотложно, экстренно. Но душа должна быть не фасованная, не скрепленная с нумерованным и приватизированным телом, а душа в чистом виде, как она есть, во всем объеме, во всей бескрайней и безоглядной телесности ее. Душа не чья-то в отдельности, но всеобщая, вседуша. Предпосылка Революции — всеобщее, разлитое повсюду и во всех (пусть в разной степени и по разным емкостям) томление. Душа — это то, что стонет под гнетом несобираемой расчлененности мира, не складывающейся в равномерную мозаику, скребущей разрозненностью мыслей, чувств, созерцаемых предметов, осязаемых тварей, трудных для выговаривания и осмысления слов. «Революция завоевала Чевенгурскому уезду сны и главной профессией сделала душу».

Преддверие Революции, ее гносеологическая предпосылка в общем чувстве невыносимости разрозненного бытия, под которым болезненно и безнадежно мучается Целое. Все герои «Чевенгура» помазаны общей тоской. Тоска — это донное содержание Революции, давящий изнутри невыносимый груз.

«Дванов опустил голову и представил внутри своего тела пустоту, куда непрерывно, ежедневно входит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усиливаясь, ровная, как отдаленный гул, в котором невозможно разобрать слова песни».

Пустота в теле, пустота в сознании, пустота в сердце... Неуспокоенная, грозная, чреватая стихия...

Предчувствуемая цельность души, души как революционной профессии, никогда не является в виде сусально-ханжеских «идеалов». Она ноет тьмой, нудно разъедает невнятной болью, смутным вянием абсолютной и беспричинной грусти. То, как Платонов описывает «опыт души», безошибочно ставит его в разряд виднейших современных мистиков: реальное столкновение с этой инстанцией бытия есть нечто противоположное лживым и самовлюбленным сказкам католиков, моралистов, теософов, торгующих по демпинговым ценам позолоченным убогим фарсом «внутреннего света», «озарения», «просветления» и т.д. Реальное столкновение с душой подобно откашливанию могильной глины, удушью нестерпимым запахом разлагающихся трав, слиянию с пустым сознанием червя. Дванов, герой «Чевенгура», думает: если человек произошел от червя, от кишки, наполненной лишь липким мраком, то не таким ли должно быть и его духовное средостение? Именно: душа, открывающая свой подлинный аромат наличия, ближе всего к пустым внутренностям полой земляной тягучей и бессмысленной трубки. Это абсолютно неизбежно, — шар подлинного бытия разрозненно граничит с нашим миром своей самой внешней, самой отталкивающей, обросшей илом нижних вод стороной, и продрасть к центральному ядру можно лишь через сверхплотные регионы ядовито-кислых скорлуп. Мистический опыт души открывается магическими пролетариями Платонова через сложную практику отрицания. В «Чевенгуре» наличествует целый веер алхимических рецептов трансмутации.

Общая картина этого большевистского герметизма такова: потаенное и истинное Целое, в его свободном расплавленном, предшествующем разделению состоянии — душа — подвергается воздействию нехорошего начала. Под ядовитым дуновением вынырнувшего из-за запретной тени зла душа начинает отчуждаться от себя, порождая своей гибелью, своим темным закатом антибытие. Это антибытие окончательно воцаряется в частном, в приватизированном имени, в обладании, в отсечении от невидимой, потревоженной, удушенной тайной ткани сохшихся узлов. Мучаясь, кончается душа, когда ложь эксплуатации превращает ее в частную собственность, обкрадывая и изнурая до ничто ее сладкое содержание. Людей становится много, они делят душу на свои нарезки, обустройства индивидуальными телами, замахиваются на природу, на души других. Одним из ключевых рычагов эксплуатации, по Платонову, является разум. «Ум такое же имущество, как и дом, стало быть, он будет угнетать ненаучных и ослабленных...», — верно излагает важнейшую мистическую тайну пролетарий Чепурный, основатель Чевенгура, где «главной профессией сделалась душа». Осторожнее ту же истину распознает и мастеровой Захар Павлович: «Никто ничего серьезного не знает — живое против ума прет...»

«Живое» здесь надо понимать в онтологическом смысле, «душа». Душа «прет» против ума, который вместе с эксплуатацией, частной собственностью, отчуждением, ожиданием, буржуазией, постепенностью, временем и историей стоит на противоположной стороне классовых сражений. Трудно сказать, где в большевистской метафизике «Чевенгура» располагается сам «темный принцип», «ариман», а где — лишь результаты его злодейства над душой и жизнью. Весь арсенал неаутентичного бытия — имущество, работа, смерть, индивидуальность и рассудок — равно инструменты классового, онтологического врага. Его не исправить и не улучшить, так как это «преграда», сам «сатана» из особой почвенной великороссийской мистической доктрины сокровенного большевизма Андрея Платонова. В этом месте объясняющий теоретический аспект учения переходит в праксис. Вера без дел мертва. Начинается осуществление невозможного.

Милосердный геноцид

Осуществление магического коммунизма в Чевенгуре не является эксцессом, это нетерпеливое и закономерное доведение до логического предела предпосылок Революции. Но взятие политической власти и ее вооруженное удержание — лишь поверхностный процесс, не приближающийся к сути прошедшего, происходящего, чаемого. Революция имеет глубинное онтологическое трансцендентное измерение. Это — уникальный и магический всенародный вселенский акт по слову преград, по переплавлению отмерщвленных останков в невообразимую раскрошенно-кровавую субстанцию, призванную не столько стать фундаментом нового строительства, сколько расчистить место, актуализировать ту упругуюжигающую пустоту, которую великороссийский пролетариат взрастил и выпестовал в своих вопросительных глубинах. Не переделать старое, не навязать реальности какие-то новые выкройки или имена, но, уничтожившись, распластав себя и классового врага перед лицом абсолютной загадки, вынудить свернувшуюся и поруганную в действительном тайну объявить себя в полной и немислимой форме. «В семнадцать лет Дванов еще не имел брони над сердцем — ни веры в бога, ни другого умственного покоя — он не давал чужого имени открывающейся перед ним безымянной жизни. Однако он не хотел, чтобы мир остался ненареченным, он только ожидал услышать его собственное из его же уст имя вместо нарочно выдуманных названий».

Так идет созревание будущего магического коммуниста Александра Дванова. Позже категории обостряются, опыт революционного путешествия на край ночи и разверзшаяся коммунистическая метафизика чевенгурского эксперимента делают проблему куда более радикальной: не просто отказаться от старых названий старого, но высветлить из-под непробиваемого покрова имманентного новую плоть и новую кровь. Праксис магического большевизма заключается в великом творческом разрушении, в тотальном разбивании всех преград и пределов. Все, что было хоть в малой степени самодовольным продуктом отчуждения (а следовательно, пусть не стойким и не убежденным, но пособником его), подлежит искоренению. Великое отрицание преграды, как главное условие обиходования мировой души, отнюдь не доказательство простой наивности чевенгурцев, то есть всех нас, русских, поддавшихся на донный большевистский зов. Отрицание преграды — это освобождение пути для бытия, это максимум того, что мы можем сделать сами и по своей воле, чтобы не посягнуть на фальсификацию, подделку того, что может обнаружиться за разодранными завесами. Уничтожить несовершенное — в наших силах, создать совершенное — не в наших. Все абсолютно верно. Созидать новую неотчужденную онтологию должна она сама. Наше дело, наш долг, наш подвиг — расстелить призывную пустоту, выпустить ее наружу из наших сердец, смести вон упорствующего классового врага, цепляющегося за обладание, за свое «я», за свои привычки, свои продукты, свои ритмы. Здесь кроется таинство милосердного нежного большевистского геноцида, вдохновившего когда-то другого пророка Руси, великого Николая Клюева, на загадочные, головокружительно-неведомые по происхождению строки: «Убийца красный святей потира».

Беспощадному искоренению подвергаются в чевенгуровском праксисе не просто враги или идеологические и классовые противники. Идет мучительное, страдательное, упоительно безумное уничтожение тех форм, которые сильнее всего якорями индивидуальности привязывают бытие к неизбывно разрозненному существованию. И мы видим, как вожделенно подвергающиеся ликвидации кулаки и полубуржуи сами воспринимают свою кончину. Они отнюдь не просто «несчастные жертвы варварства». Они соучаствуют, но только как могут, пассивно, половинчато, в мистерию «страшного суда», «конца света», ожидание которого составляло смысл их старообрядческого (говоря о жителях Чевенгура, Платонов пишет имя Господа на старообрядческий манер, давая важный намек) существования.

«Вы мне что-то про ихнюю идеологию расскажите, пожалуйста!»

— Ее у них нету, — сказал председатель комиссии. — Они сплошь ждут конца света...»

В этом — оскорбительно для малой мысли и минимально гуманистических стандартов, но с предельной метафизической откровенностью — проступает тот парадокс о причине и следствии зла, о котором мы упоминали выше. Буржуи и полубуржуи не только соучастники и сподвижники мирового зла отчуждения, какой-то частью своей души они еще и жертвы его. А следовательно, действительная их часть воспринимает акт ликвидации как насилие, а малый, глубоко запрятанный пролетарско-великороссийский элемент в последних глубинах смиренно радуется искупительной кончине — в этом предрасстрельном покое, с поразительной достоверностью описанном Платоновым, светится их соучаствующее торжество в новом бытии. Коммунисты не просто расстреливают буржуев, они ритуально простреливают им горло в области желез (налицо знание Платоновым магической анатомии), где у тех находится «душа». И только полное уничтожение — физическое и ритуальное — приравнивает пассивных соучастников мистерии души с активными. После окончательного уничтожения буржуазных элементов наступает общенациональное примирение с трупами:

«Теперь наше дело покойнее! — отделавшись, высказался Чепурный. — Бедней мертвеца нет пролетария на свете.»

Сложное слияние в пределе имманентной нищеты палачей и жертв, которые в Чевенгуре меняются традиционными местами, обретая головокружительное единство, нарушенное уже первым малым шагом социальной и мировой истории, начавшейся грехопадением в собственность. Коммунизм есть не только советская власть плюс электрификация всей страны. Это уже обустроивающий, нэповский по сути тезис. Коммунизм, по Платонову, есть конец света, окончание всемирной истории, начало особого, изъятого из заразных объятий материи обнаженного цикла солнечной Вечности. Уничтожение буржуев и полубуржуев (эти последние вообще сами напросились на то, чтобы быть расстрелянными поутру из пулемета, так как тяга к имуществу и обладанию превысила их стремление быть) есть не акт возмездия, но осуществление вселенской теургии, подлом запретной двери, за которой одиноко тосковала в темные эпохи эксплуатации солнечная дева Цельного. Полубуржуи краем сознания, побочной логикой понимают важность и священную необходимость собственного истребления. Они, отпущенные ревкомом Чевенгура, никуда не ушли и сами поставили себя под пулеметные пули Кирея, спешно уничтожившего врагов, чтобы не омрачать пробуждения в первом дне чевенгуровского коммунизма товарища Чепурного. Формально вроде бы полубуржуи «иметь» поставили выше «быть», и вследствие обреченно потыкались в прихваченные сверх обычной нормы куски мануфактур недоуменными ртами. Но потаенно не только жадность, но и закупоренная жажда страдать заставила чевенгуровских полубуржуев пренебречь милостивым правом к депортации. Уничтожить ради торжества коммунизма надо все — эксплуататорский класс, собственность и собственников, производительный труд, мировую историю, индивидуальную мотивацию и, самое главное, разум.

Секира Великой Глупости

Идиотизм, глупость и абсурд выставлены Платоновым как важнейший оперативный мистический инструмент преобразования мира и человека. Можно говорить об особой сотериологической функции ошарашивающей глупости коммунистов. Эта глупость культивируется как самая действенная форма существования, всеми силами рвущегося к мировой душе. Немецкий философ Людвиг Клагес суммировал эту древнейшую сакральную практику в краткой формуле «душа против сознания» («Die Seele gegen der Geist»). Душа намного выше и ниже разума одновременно, она качественно инакова по отношению к нему. Разум весь строится на дроблении, он считает и разывает, мешает (быстро или медленно — у кого как) квантики штучных вещей и представлений, дробя чувства, калеча интуитивные движения, преобразуя предсловесные токи сердечных глубин в хищную хитрокорыстную затею. Блаженны нищие духом, то есть сознанием, разумом, умом. Блаженны идиоты, блаженны обреченные и трагичные борцы с главным эксплуататором — рассудком. Это наш внутренний буржуа. Вторая сторона другой противоестественной эксплуататорской химеры — «индивидуального я». Все бытие чевенгурцев, лопающееся от жаркой тяги к освобождению души, исполнено звонкого, вибрирующего безумия. Безумие — единственное и главное содержание их революционного жизненного процесса. Сложнейший онтологический путь, культивация самых тайных и опасных тропинок жизни. Шизофреники, тяжелые придурки, «прочие», утратившие от бездны лишений простейший ментальный аппарат, едва-едва с огромным трудом способные управиться с простейшими операциями над своим телесным естеством, не прекращающийся полукolleктивный-полуперсональный делирий снов, переходящих в явь, и снова возвращающихся в онейрическую степь... Содержание коммунистического островка предельно нелепо. В Чевенгуре это нагнетено до предела, так, что дрожь пронизывает и привычных ко всему коммунистов из других мест. Иногда Платонов достигает в исследовании этой рискованнейшей стихии критических предельных секторов. Леденит своей потусторонней достоверностью сцена с одинокой бочкой в степи.

«Черное правильное тело заскрежетало — и по звуку было слышно, что оно близко, потому что дробились мелкие меловые камни и шуршала верхняя земляная корка.(...)»

— Это упавшая звезда — теперь ясно! — сказал Чепурный, не чуя горения своего сердца от долгого спешного хода.

— Мы возьмем ее в Чевенгур и обтешем на пять концов. Это не враг, это к нам наука прилетела в коммунизм... (...)

— А может, это какая-нибудь помощь или машина Интернационала — проговорил Кеша.

— Может, это чугунный кругляк, чтоб давить самокатом буржуев... Раз мы здесь воюем, то Интернационал тот о нас помнит...

— Не иначе как бак с сахарного завода, — произнес Вековой пока без доверия к самому себе. (...)

Бак замедлился и начал покачиваться на месте, беря какой-то сопротивляющийся земляной холмик, а затем и совсем стих в покое. Чепурный, не думая, хотел что-то сказать и не смог этого успеть, услышав песню, начатую усталым грустным голосом женщины:

Приснилась мне в озере рыбка,
Что рыбкой я была...
Плыла я далеко-далеко,
Была жива и мала...

И песня никак не кончилась, хотя большевики были согласны ее слушать дальше и стояли еще долго в жадном ожидании голоса и песни.(...)

— А кто же там такой — спросил Кеша.

— Неизвестно — объяснил Жеев.

— Какая-нибудь полоумная буржуйка с братом — до вас они там целовались, а потом брат ее отчего-то умер и она одна запела... (...)

— Как будем? — спросил Чепурный всех. Все молчали, ибо взять буржуйку или бросить ее — не имело никакой полезной разницы.

— Тогда бак в лог, и тронемся обратно мыть полы.»

Едва ли у изощрявшихся в абсурде сюрреалистов есть сцены, даже отдаленно приближающиеся к этой. Плотность описания и магическая конфигурация замысловатых фигур идиотизма таковы, что текст ощущается как субили медленно — у кого как) квантики штучных вещей и представлений, дробя чувства, калеча интуитивные движения, преобразуя предсловесные токи сердечных глубин в хищную хитро-корыстную затею. Блаженны нищие духом, то есть сознанием, разумом, умом. Блаженны идиоты, блаженны обреченные и трагичные борцы с главным эксплуататором — рассудком. Это наш внутренний буржуа. Вторая сторона другой противоестественной эксплуататорской химеры — «индивидуального я». Все бытие чевенгурцев, лопающееся от жаркой тяги к освобождению души, исполнено звонкого, вибрирующего безумия. Безумие — единственное и главное содержание их революционного жизненного процесса. Сложнейший онтологический путь, культивация самых тайных и опасных тропинок жизни. Шизофреники, тяжелые придурки, «прочие», утратившие от бездны лишений простейший ментальный аппарат, едва-едва с огромным трудом способные управиться с простейшими операциями над своим телесным естеством, не прекращающийся полукolleктивный-полуперсональный делирий снов, переходящих в явь, и снова возвращающихся в онейрическую степь... Содержание коммунистического островка предельно нелепо. В Чевенгуре это нагнетено до предела, так, что дрожь пронизывает и привычных ко всему коммунистов из других мест. Иногда Платонов достигает в исследовании этой рискованнейшей стихии критических предельных секторов. Леденит своей потусторонней достоверностью сцена с одинокой бочкой в степи.

Едва ли у изощрявшихся в абсурде сюрреалистов есть сцены, даже отдаленно приближающиеся к этой. Плотность описания и магическая конфигурация замысловатых фигур идиотизма таковы, что

текст ощущается как субстанция какого-то вязкого, совершенно реального inferнального компота, а не повествовательная абстракция. В этом функция инициатических текстов — сам факт их внимательного прочтения делает соучастником радикального разрывного опыта. Только в одном месте «Чевенгура», сотканного из многомерного инициатического абсурда, он достигает уровня, в чем-то даже превосходящего эпизод с бочкой. Речь идет о приезде Копенкина с Двановым в имение, где вместо колонн стояли три пары гигантских женских ног из белого мрамора. Там же приезжие познакомились со статьей из газеты «Бедняцкое благо».

«В газете осталась лишь статья о «Задачах Всемирной Революции» и половина заметки «Храните снег на полях — поднимайте производительность трудового урожая». Заметка в середине сошла со своего смысла. «Пашите снег, — говорилось там, — и нам не будут страшны тысячи зарвавшихся Кронштадтом». Каких «зарвавшихся Кронштадтом»? Это взволновало и озадачило Дванова.» Итак, «заметка сошла со своего смысла» и вылилась в удивительный по силе магики-большевистский коан — «Пашите снег». На таких выражах пролетарской агитации обнаруживается инициатическое сочленение тяжелого геноцидального праксиса большевизма с возвышенной стихией ректифицированного белого безумия. «Пахота снегов» — безусловно, «альбедо», «работа в белом». Преображение почвы в новый трансцендентный цвет.

Пролетарская раса извечной Руси

Магический большевизм Платонова имеет и обаятельно расистский характер. Этот великоросский гносеологический (не биологический ни в коем случае) расизм — по всем правилам оперативно-теургического жанра — является одновременно интернационализмом и антишовинизмом. Чевенгурец — красное издание русского как всечеловека (Достоевский). Расизм здесь в том, что только русский (точнее, великоросс — хохлами в романе пугают крестьян) есть всечеловек, и никакой другой народ, а интернационализм в том, что русский готов и стремится вобрать в себя всех остальных — настойчиво и нежно, чтобы, изменившись как можно больше, остаться — возвышенно и дополненно — самим собой как извечно и томительно абсолютно иным. Его сердце пусто, в него свободно поместится несколько миллионов французов, толпы немцев, весь состав африканской континентальной баржи, редкие и мудрые, как котики, эвенки, толстобедрые низенькие арабы с усами, половина Китая и еще разрозненные поштучные дикари, ученые, изобретатели и сторожа вопросительной не догадывающейся о своей исконной обезумелости планеты. Но войдя в тайное, любящее без жалости и сострадания великоросское сердце, они уже оттуда никогда не выйдут. Шарик скатится в Русь, в ее вопрос, в ее расовый отчаянный протяжный возглас, и канет в никуда, чтобы выплыть на Страшном Суде не по отдельности, не по народам и отрядам, а скопом, сферой, одной неразличимой, крутосваренной, замученной, кровавой, нежной массой: вот мы, не судите нас строго, русское сердце уже сделало с нами все, что можно. Голый шар народов, усталый, прокатившийся по Уралу и Сибири, утонувший в кавказских реках и съеденный колдунами Якутии — очнется, как Всемирное Братство Трудящихся, утесненное счастьем смерти в наших объятиях...

Любопытны и фенотипические детали «Чевенгура». Большевики, коммунисты, пролетариат, по Платонову, белобрысые, голубоглазые или сероглазые с курносым («башмачком») носом. Крючковатый нос, темные волосы, карие или черные глаза — признак буржуя, белого, нетрудового элемента. Солнечные арийские большевики против лунно-левантийских пособников капитала. Явно говорит об особом расово-магическом устройстве русских Платонов в описании откровенной встречи Дванова с мужиком, который осознал, что он — «бог» и стал питаться одной землей, добывая из нее все полезное для существования. «Бог печально смотрел на него, как на верующего в факт. Дванов заключил, что этот бог умен, только живет наоборот; но русский — это человек двухстороннего действия: он может жить и так и обратно и в обоих случаях остается цел.» Это очень важно. На определенном пласте восприятия «русский» и «пролетарий» у Платонова становятся тождественными понятиями. Русский не как этнос, как метафизический тип. Тот же революционный парадоксализм в определении, то же сырое, пружинящее безумие, тот же бездонный порыв. В одном скупом описанном пейзаже «Чевенгура» магический большевизм выражен с предельной остротой:

«Великоросское скромное небо светило над советской землей с такой привычкой и однообразием, как будто Советы существовали исстари, и небо совершенно соответствовало им».

Как предельным парадоксом является онтология сакрального коммунизма, так же он расшифровывает и магический великоросский этнос, сотканный из парадоксов, способный двигаться по бытийным маршрутам сразу во всех направлениях, свободно меняя верх и низ, прошлое и будущее, бога на человека, пшеницу на глину, смерть на жизнь, и снова наоборот... Советская власть, в каком-то смысле, была всегда. Первым социалистом был первый русский человек. Неизменное национальное небо, открытое невозможному в любой плоскости, выпадающее

кравовой черноземной росой по непроглядным ночам, сворачивающееся от огня пролетарских сердечных кузниц...

Новое отношение к вещам — соляренный пролетариат

Магические большевики Чевенгура после истребления буржуазного и полубуржуазного элемента остаются наследниками брошенных вещей. Преграда сломлена, царство коммунизма на дворе, но оставшиеся вещи — в том числе и сама природа, сами тела — раскинуты перед победившим мучительным вопросом. Как обойтись в мире, где имущество отменено, с его остатками? Чем заниматься в трудовом царстве души, когда тело и рассудок упряднены, но еще остаточны присутствуют и гнетут сердце темным вопросом? Белые, все мерившие по себе, посчитали, что пролетариат отнял все у буржуев, чтобы просто встать на их место, присвоить их собственность, поменять владельца. Что, мол, произошла лишь ротация элит, а принципы общественного устройства остались прежними. Ничего подобного: пособники демона отчуждения возводят на пролетаристов-великороссов напраслину. Задача коммунизма не присвоить вещи, оставшиеся от темной эпохи капитала, но поступить с ними совершенно иным образом. Противоположным.

Лучшие сердца Чевенгура — Чепурный, Пиюся, Копенкин, Дванов, Гопнер — бьются над этой новой коммунистической манерой обращения с материальными предметами. Ощупью продвигаются они к оперативной магии бесконечной соляренной растраты — по ту сторону чреватого новым отчуждением труда. Это веки экономики Страшного Суда. Чевенгурцы ищут не укрепить вещи, не рационализировать их и даже не перераспределить их справедливо, но дематериализовать их, вернуть во всеобщую кровотокающую страдательную матрицу Целого. Исхитрившись, набравшись потаенной воли и полнясь ускользающей стратегией, пролетариат тщится растворить имущество в волнах коллективного сна, истончить его до последней внутренней черты, пролетаризировать, кенотически умалить его, стереть до тайного, невидимого красно-магического любовного корня. Этот кенотический путь как промежуточную фазу предполагает абсурдное употребление вещей, дерационализацию их функций. Идея проходит сквозь весь платоновский роман. Все предметы, элементы одежды, продукты питания и передвижения используют мимо их обычной нормы. Бомбы Пашинцева пустые внутри, на средневековых доспехах привернута красная звезда, герои кормят тараканов, уничтожают посевы, внезапно бегут без всякой видимой причины в заросшую степь.

Важная деталь: каждый, кто попадает в Чевенгур, меняет свой обычный костюм на какой-то идиотский ансамбль, сотканный из разнородных элементов. У приезжих отбирают их вещи и с насильной нежностью всучают героические обмотки, ненужные летом валенки, нелепые картузы или шлемы. Классичным становится хождение без штанов. Сложна и многомерна стратегия великой траты: можно передвигать дома, сдвигая их посолитарней друг к другу, можно перетаскивать сады, можно лепить из глины памятники живым ненаглядным товарищам, можно добывать огонь с помощью деревянного колодца, можно трудиться над созданием гигантского маяка, можно доедать остаточных одичавших кур, вытесывать из черных корней деревянные мечи, а можно и просто ловить клопов в дырках соседских хат. Иными словами, труд или любая какая деятельность в коммунизме должна либо переполосывать вещи в экстравагантные и предельно бессмысленные ансамбли, либо уничтожать их, либо делать противное себе и полезное другому. И зорко блюсти, чтобы весь процесс всеобщего избавления от уз материи шел непрерывным кругом — не застопориваясь нигде, не зацепляясь ни за какое прижимистое, индивидуальное, рациональное зерно.

Социолог и антрополог Марсель Мосс в свое время написал знаменитое «Эссе о даре», где отмечал центральное место «экономики траты» в сакральных обществах (это эссе стало стартовой чертой для экономической философии и социологии Жоржа Батайя). По Моссу, хозяйственно-социальный баланс традиционного, и особенно архаического, общества основывается на жертвенном, бессмысленном, праздничном уничтожении добавочного продукта. Это сохраняет общинный баланс и препятствует возникновению отчужденных капиталистических отношений. Чевенгурцы доходят в этом до не снившихся ни Моссу, ни даже Батайю границ. Трата в коммунизме становится абсолютной. Ей подлежат не просто прибавочные продукты, но вообще все. Задача коммунистов истратить до нитки всю вопросительную тяжесть имманентного мира.

Удивительно сходна с антикапиталистической мыслью Батайя и тема «соляренного труда». В Чевенгуре работает солнце, главный «небесный пролетарий». Солнце — традиционный символ безвозвратного дара. Оно отдает свои собственные лучи, рождаемые из него самого, вовне — без ождения возмещения затрат, без процентов, просто так, ни за что, всем и всему, от внутреннего жаркого изобилия, от чрезмерности своего огня, от свободной прозрачной производительной жертвенности. Именно солнечная энергия противопоставлялась Жоржем Батайем вампирической, лунной, собственнической природе капитализма, ткущего бесконечную «процентную паутину», мучительствующе помещая прибавочный продукт в новые закабаляющие спирали обогащения и

эксплуатации бытия. Революцию Батай представлял как восстание солнца против банкиров и трестов, как взрыв (из-за перегрева) нетраченного, уловленного света, задушенного в темных подвалах финансов. Эта же революционная природа солнца, его пролетарское (=великорусское) происхождение триумфально утверждается Платоновым в «Чевенгуре». Лунопоклонники с темными зрачками, кривыми носами и туго набитыми узлами мануфактуры порешились стыдливой страдательной умной рукой музыкального пулеметчика Кирея («Кирей для сочетания работы пулемента со своим телом не мог не поддакивать ему руками и ногами».) И солнце осталось свободным и сильным. На утро первого дня коммунизма после окончательного истребления «преграды» восход упругий, небывалый, вечный и абсолютно новый.

« — Дави, чтоб из камней теперь росло, — с глухим возбуждением прошептал Пиюся: для крика у него не хватило слов — он не доверял своим знаниям.

— Дави! — еще раз радостно сжал свои кулаки Пиюся — в помощь давлению солнечного света в глину, в камни и в Чевенгур. Но и без Пиюси солнце упиралось в землю сухо и твердо — и земля первая, в слабости изнеможения, потекла соком трав, сыростью суглинков и заволновалась всею волосистой расширенной степью, а солнце только накалялось и каменело от напряженного сухого терпения. У Пиюси от едкости солнца зачесались десны под зубами: «Раньше оно так никогда не всходило, — сравнил в свою пользу Пиюся, — у меня сейчас смелость карябается в спине, как от духовой музыки.»

В этой теме есть нечто гиперборейское.

Святотатство

Платоновский «Чевенгур» полон святотатства. Откровенного кощунства. Чего стоит одно только предложение Чепурного Порфирию «заняться ласками в алтаре» с Клобзюшей. Или недовольное выражение Копенкина: «Пошли отсюда, здесь сырым богом что-то пахнет». Коммунисты не жалуют религиозные предрассудки. Но это не значит, что они отрицают религию в силу отсутствия интереса к ее предмету. Психология и экзистенция чевенгурцев пропитана глубочайшим мистицизмом, устремлена к сложнейшим внутренним сферам, исполнена экстазиса и аскезы. Коммунизм и есть собственно этимологически «экстазис», «выход из себя», прочь, за пределы своего убогого, тщетного «я», своей индивидуальности, своей рациональности, своего собственничества. В религии большевиками отрицается ее условный, удаленно-приблизительный, отчужденный характер. Так, в описании чувств молодого Александра Дванова Платонов однозначно отождествляет «веру в бога» с разновидностью умственного покоя. Религия воспринимается солнечными большевиками как бесконечное откладывание цели, как эксплуатация нескончаемой дистанции, как обман и фальсификация прямого опыта. Это в последнем счете есть эксплуатация нетерпеливой воли мировой души к самоосвобождению. Классическая тема диалектики между мистикой, основанной на прямом опыте священного, и институционализированной религией, строящей сложные конструкции на основании веры в это священное. Религия — промежуток между бытием и его истоком. Когда она мистична, то соединяет, «связывает» («re-ligio» по латыни, дословно, «связь») их. Но чаще всего, она надзирает над тем, чтобы кто случайно или по рвению не приблизился слишком тесно к этому истоку. Тогда будут подорваны основы власти и религиозного имущества — морального и материального. Так между опытом внутренней онтологии с ее непроговариваемым, заново рождающимся каждый раз новым именем и отчужденными конструкциями ученой «духовной» схоластики возникают классовые противоречия.

В мистическом опыте человек обнажает своей внутренней тьме самого себя, стирает себя, расширяет мозг и внутренности. Это невероятный риск — свет души окатывает мраком — и совершенно не обязательно он быстро (или вообще когда-либо) рассеется. Мистик становится заложником сосущей воронки скрытого центра, и более не способен сам выстраивать стратегию передвижений, поступков, дискурсов. Строго говоря, реальный мистический опыт возможен лишь в обскурантном отношении к религиозным догмам. Ткань души всегда оказывается не такой, как предписано. Абсурдные потоки новых ускользающих цепей мгновенно смывают тщательные конструкции догматико-ритуальных систем. Мистик заведомо обнажен. В Церковь в таком виде не пойдешь... Разве что в странный храм Чевенгура, превращенный в ревком. Единственно, что понятно великороссам-большевикам в религии — это учение о конце света. Здесь никаких проблем не возникает. Тут-то и наступает все главное, чаемое, лучшее, упованное. Грани стираются. Нету смерти, нету старой жизни, нету преград и различий, нет индивидуальных душ, нет имущества, нет тел. Все погашено и зажжено одновременно. Сердечная пустота обездоленных, пролетариев, «прочих» рождает абсолютные сумерки незаходящего свечения. Времени нет. Это наступил заветный час коммунизма. Рассеялся туман рассудка, огненный шар всеобщего безумия Вселенной поднимается из ниоткуда, затмевая частности. Идея воскресения мертвых (в федоровском гетеродоксальном варианте), которую навязчиво пытаются распознать у Платонова, на самом деле,

здесь не центральна. Чепурный хочет воскресить умершего у нищенки мальчика лишь для демонстрации принципиальной незначимости смерти. И показательно, что он удовлетворяется рассказом о горестном сневидении скорбящей матери. Сон ли, явь ли, жизнь ли, смерть ли — не играет большого значения в коммунизме. Это не розовая пастораль буржуазной надежды на сытость и бессмертие. Конец света есть наступление качественно нового состояния бытия, не представимого доселе, не имеющего общей меры с теми параметрами, которыми мы оперируем до наступления коммунизма. Большеизм — это мистика выше религии, сладостное черное подныривание в ночное озеро мира, подо дно реальности, к затопленным пластам иного света. Мистика не может удержаться в рамках морали. Мораль, догма все только откладывает. Так же ничто же не может совершить, довести до конца закон. Свобода никогда и никому не дается в конце пути. Она есть здесь и сейчас, в полшага — как безотзывный бросок тела и ума в бездну магического безумия Революции души.

Свобода — это быть русским и не иметь ничего. Святотатство большеизма акт сам по себе не противорелигиозный, но сверхрелигиозный, это сметание границ, чтобы все стало храмом и алтарем, чтобы не укрылась где темная гидра отчуждающей буржуазной рассудочности, эгоизм обладания, искушение поучения. У Блока (еще одного великого национального мистика) в «Двенадцати» это ясно — «Впереди Иисус Христос». Платонов сложнее (и может быть, честнее). Он не спешит с именами. Он хочет, чтобы сладостные воды расплавленного солнечного Иного назвали себя сами. Но ожидание в Чевенгуре всерьез и страшно.

«А Юшка, проглотив последнюю жидкость пищи, встал на ноги посреди круга людей.

— Товарищи, мы живем теперь тут, как население, и имеем свой принцип существования... И хотя ж мы низовая масса, хотя мы самая красная гуща, но нам кого-то не хватает и мы кого-то ждем!..»

«Красная низовая гуща» ждет Последнего Имени, и чтобы Оно сказала себя Само. И не вождя, и не Ленина, не руководящей директивы, и не наставления. «Красная гуща» мирового дна ждет Того Самого.

Половая проблема России (что открыл коммунизм?)

Мишель Фуко (ученик Батайя, пропитанный его национал-большевицкими темами, которые в целом имеют множество параллелей с Платоновым) сформулировал очень правильную мысль: понятие «секса» рождено как специфический культурно-цивилизационный миф западной культуры — от католического Средневековья до современного буржуазного порядка. Европейский «диспозитив сексуальности», диалектика разрешения-подавления соткали динамическую систему власти и восстания на Западе. «Секс», следовательно, явление западное и буржуазное. Фуко противопоставляет ему *ars erotica* («искусство эротики») сакральных обществ античности и Востока. *Ars erotica* есть сакрализация пола и не имеет ничего общего (или мало общего) со сложной и конститутивной для Запада и его цивилизации системой характерных obsessions, ингибиций, раскрепощений «сексуальности». Гениально (не подобрать другого слова) развенчивает Фуко наивные мифы фрейд-марксизма и райхианства, утверждающие будто «освобождение сексуальности» революционно само по себе и способно опрокинуть отчуждающую, ингибирующую власть. Сегодня правота Фуко очевидна. И «сексуальность» Запада раскрепощена, а власть Капитала от этого не только не ослабла, но въелась в мозжечок его верных и безответных мондиалистских рабов. Как обстоит дело с «сексом» в Чевенгуре?

В Чевенгуре, как и в СССР, «секса нет». Девушка из перестроечного круглого моста, над которой столько смеялись умнейшие противозачаточные журналисты, озвучила великую цивилизационную, исконно советскую, большевицкую, великорусскую истину. На Руси и на Руси Советской «секса» не было. Что же тогда было? *Ars erotica*, свойственная сакральному обществу? Тоже нет, не выходит. Что-то третье. Не западный католико-буржуазный (и либертарианский на противоположном конце) диспозитив, и не простая сакрализация, как в Индии, Китае или у арабов. Таинство пола русские искали своим собственным путем. Где-то по кривым и окольным тропам, пролагая таинственные колеи, затагивающиеся живой глиняной грязью, вымывая давленней кровью, ломая кости и рвя мясо...

Русская любовь не попадает никуда. Она вне искусства и вне секса, вне сакрализации и вне «вытеснения в многополюсный дискурс». Это не норма и не перверсия, не прохлада и не огурцовое брызжащее вождение. Русь никогда не знала пола не только как универсального ответа (западного «диспозитива сексуальности»), но и как символа, подлежащего углублению, она его тоже не знала. Поэтому Чевенгур, освобождая все и вся, не выливается в розово-банную оргию, в пролетарскую свальню, в жадное набрасывание на остывших после геноцида ненужных классов

рассеянных по пустырям голодных и присмиранных баб. Революционный большевистский пол обнажает затаенную и противоразумную почву полового вопроса. Особость великорусского пола в том, что он не направлен ни на себя, ни на другого, в нем нет ни либидо, ни нарциссизма. Русский пол взбудораженно бестелесен, это огнедышащее возбуждение покойников или духов камышей, вод, горящих скирд и овинов.

Русский пол веет насквозь, подхватывая по сбивчивому пути все подряд — портки, мужиков, товарищей, тараканов, раздутый, готовый лопнуть лежалый труп, попавшихся под руку отстиранных дев, отстреленные конечности, ослюнешных лошадей, свитый бурьян, серые обнажившие свои трещины почвы, косые или набелено-уютные постройки, бледную и мертвую Розу Люксембург, далекие зарницы, уродливых диспропорциональных птиц, глупую музыку и бессовестную сердечную пустоту, утягивающую в плесневый колодец сердца огромное, расстроенное в его корневых узлах, краденное бытие.

Телесно иногда сходятся и расходятся герои Платонова. Но всегда как-то мимо. Решая что-то попутно столь важное и засасывающее, что блики внимания на ласке и мгновенном разделенном тепле ничего не решают и долго не держатся, не затрагивают главного (даже его окрестностей) и не мобилизуют его. Русские не погружаются в пол, не одерживаются им. Это напротив, сам пол, мужчина, женщина, волны упругой сдавленной нежности (подушки и дети, а также кусты, фонари, столбы и зубы...) погружаются в Русское, растворяясь в нем, ежась от безумия новых неведомых революционных почв. Чевенгурцы похлопывают друг друга, целуются, прижимаются, кормят упрощенной до пленки отвратительной пищей. Иногда им приходит в голову искать сподвижниц, но они быстро забывают об этом и сожалеют только о пропавшем в степях по этому заданию формулирующем Прокофии. Это особый, бесстыдный и аскетический, децентрированный и вынесенный в вопросительное безумие, не раскладывающийся на составляющие комплексы, пол. Таким полом обладают, видимо, ангелы. Неопределенным, смазанным, бурно неясным, томительно темным — не имеющим ни ясного объекта, ни ясного субъекта. Пол как процесс вне диалектики, вне подавления или свободы. Он вплетен в неразрешимые вопросы конца света, он пронизан, горестно утыкан абсурдом и безумием, он неизлечим, не объясним, не способен объяснить ни себя, ни всего остального. Он почти излишен, но, как и всякая вещь, требует не столько уничтожения, сколько искусного обратного ввержения вовнутрь, в исходную матрицу, томительно ожидает засовывания в причинное, цельное, солнечно-антикапиталистическое, обобщественное, вечное время, в центральные закоулки и тупики красной сахарной смерти.

Отступление от темы: голоса в голове

Мне все время кто-нибудь противоречит. Что я ни скажу, что ни подумаю, тут же валом, эхом, прибоем катятся на мысль злобно шепотливые голоса, все ставящие под сомнение, зудящие, указывающие на недостатки, шикающие, хихикающие, иногда плюющиеся. «Это не так, то не так, да и это чушь, а это он выдумал, а это вообще не он выдумал, а это всем известно, а этого не существует, а цитата-то неточна, а Чевенгур еще не весь Платонов, а Платонов еще не вся литература, а Революция еще не революция, и снова цитатка-то неверна, а Чевенгур еще не...» Одно время я задыхался от этого ропота, особенно назойливого в тишине и одиночества. Но после того, как во Франции я обнаружил в голове звенящую тишину, — что бы я ни подумал, никто не отзывался, — я посмотрел на все иначе. Тогда я стал специально там думать и формулировать самые дикие вещи, чтобы раздражить французских духов критики. Подумал, к примеру (по-французски), что хорошо бы на кэ Сен-Мишель расположить старотатарский отряд, и чтобы он все разграбил, да разрушил, повесил вокруг копченые степные котелки и стал бы неопратно пить зеленый чай, макая туда сало, выпущенное из боков побежденных (с аккуратными носами) французов. Ничего. Тишина. Свинская страна Франция, там нет даже злобных скептических внутренних голосов. Мировая капиталистическая помойка. Поэтому в глубине души я рад сейчас невидимому скептическому вою, который сопровождает это маго-большевистское литературоведческое исследование творчества Андрея Платонова.

Штурмовые отряды города-солнца

Благодаря «Чевенгуру» мы можем понять почти все. Тайну советского, тайну того, что ему предшествовало. В этом сгустке безжалостной истины видны все темные заревые тропы Руси. Раскатывая их, приходим к расколу, к Ивану Четвертому, к стригольникам и ловцам вселенной Данилы Филипповича, к миру абсолютного Достоевского и ноющей, проговорившейся только в поздних текстах национально-социалистической тоске Герцена... То, что написано кровью, написано обо всем сразу. И даже то, о чем в «Чевенгуре» не сказано ни слова, благодаря «Чевенгуру» становится кристально ясным. Как некоторые «мыслят от Аушвица», мы должны, обязаны мыслить «от Чевенгура».

Платонов — осевой писатель Руси, не только советской, маго-большевистской, но всегдашней, полупроявленной и неизменной, укрывающейся, воющей неслышным голосом под гробными снегами отчуждения. Какова историческая судьба Чевенгура, и кто его нынешние наследники?

Великую Правду Платонова скрыли, когда она родилась. Только она родилась, ее усыпили, окислили прохладой Горького, замутили коммунистическими балбесами. Это бесхозное наследие, куда опасаются тянуть поганые лапы прямые апологеты Запада и Капитала, но от которого наших современных «большевиков» немедленно, но до исподнего стошнит. «Чевенгур» — написано на знамени новой доктрины нашего самосознания. Это карта маршрута гносеологической историософской дефиниции. Это наше наследство. Мы переписываем этот текст в более сухой, отвлеченной, более подходящей моменту форме. Чтобы не расстрачивать смехотворно его тайный запал, чтобы философски оледенить важнейшую солярную энергию инициатического завета Андрея Платонова — так она еще продержится, и не распылится в пародийный кич, и не одряхлеет в отчужденных тиска «академического» (=«рессантимантного») литературоведения. Для нас Платонов — доктрина. Мы берем ее на себя и интеллектуально оправдываем все, вплоть до прямого геноцида отчуждающих классов и рациональных структур. Мы принимаем как догму чевенгурское безумие, мы скоро отправимся пахать снег. Кое у кого из нас есть тот самый, оставшийся от ликвидатора Кирея легендарный пулемет. Но все в свое время.

Размен охлажденного до нужного мига доктринализированного наследия магического большевизма на плоть и ткань политического действия однажды произойдет. Не сейчас. Пока в политике время буржуазных петрушек и справа и слева. В этой магне отчуждения, обвинения, буржуазной вакханалии и инерциального позднесоветского вырождения великому Чевенгуру не место. Никто не помнит о страдании, о перерезанных глотках, о дующихся покойниках, о нищих изголодавшихся детях, о сиротской страждущей русской пролетарской земле, о бесконечной и грозной веренице национальных трупов, разбросанных повсюду, везде складированных, все переполнивших. Мертвые сгрудились над нами, от них тесно и душно. История давит себя последней гадкой петлей. Трещат опоры материков, заводятся скользкие, язвящие воды мировых бассейнов...

Зреет — но вне внимания омертвелых отчуждением марионеток — прелюдия Нового Чевенгура, Последнего Чевенгура. Слышен в абсолютной тишине, не предвещающей ничего, кроме полночи и океана Крови, таинственный поцелуй большевистской зари. Мы снова отберем у вас все. Не чтобы иметь, чтобы быть, чтобы ничего не оставить как есть, чтобы упразднить все отдельное и привести к тотальности Победы все общее, единое, Целое. Погибли, растворившись, под бездушными белогвардейскими саблями герои солярного города.

Нет памятника, гениально задуманного Александром Двановым — руна Тиу, двухконечная стрела вертикально на горизонтальной восьмерке математической бесконечности. Бесконечность, пронзающая вечность. Построим.

Земные останки чудо-города, где уже свершился страшный суд, описал и оприходовал для ренегатки Клавдюши Прокофий Дванов, дедушка по материнской линии Михаила Сергеевича Горбачева.

Великий Город временно переехал в сферы солярного революционного догматизма, возвратился в мучительное лоно Цельности. Тела и мысли втянулись назад в сны, потом сны — в водовороты темноты без сновидений, потом — в предрассветную тьму матери мира, потом в ее световое сердце, потом еще глубже и страшнее, еще глубже и страшнее... Там они продолжают трудно начатое: Степан Копенкин, «японец» Чепурный, Пиюся, Пимен Крапов, Андрей Платонов, Александр Дванов, Александр Блок, Николай Клюев, Кирей, Юшка, Карчук, пешеход товарищ Луй — весь сонм всосанных последней тайной закончившегося бытия национал-большевистских душ.

Мы — сторожи каналов города-грома, где Splendor Solis осуществляет великое делание белой рабочей Руси, Абсолютной Родины. Великий Андрей Платонов, рожденный век назад, рожденный век вперед. Рожденный Чевенгуром, родивший Чевенгур.

Субъектом человеческого объекта делает только Красная Смерть.

А.Г.Дугин

**Интернет-сайт "Ленин", 2000
"Русская Вещь", Арктогея, 2001**

БЕЗ ГОЛОВЫ (О Бертрране де Борне)

Когда бы ни пожелал он, всегда умел он заставить Генриха-короля и сыновей его поступать по его указке, а желал он всегда одного: чтобы все они — отец, сын и брат все время друг с другом воевали. Желал он также, чтобы всегда воевали между собой король французский и король английский. Когда же они мир заключали или перемирие, тот час же старался он сирвентами своими этот мир разрушить, внушая каждому, что тот себя опозорил, заключив мир и пойдя на уступки. И от этого получал он великие блага, но и бед терпевал немало.»

Jehan de Nostradame.

Это не эссе о Бертрране де Борне, хотя человек был наш. «О, пожелтевшие листы...», о, маркиз де Сад... Как быть субъекту в темные времена? Wozu субъект? Трудно сказать, как они (субъекты) обходились раньше, — так ли необходимо было рабство для полноты самоощущения подлинных сеньоров, как считал Готтфрид Бенн? Интереснее он сам, а не антураж, а не декорации, на фоне которых он осуществляет свои разумные круговращательные эскапады. Человек, даже самый обобществленный человек, всегда один. И в сознании его прокручиваются модели, где он один есть, а все остальные тоже, в некотором смысле, есть, но лишь отражают его. Нет спору — отражают по-разному, так что даже становится интересно. И в своем одиночестве, в насыщенном и возогнанном, в ректифицированном одиночестве своем вдруг появляется она. Другой, перед которым можно распластаться по-настоящему. Она, Дама. «И поскольку дамы такой он действительно не мог найти, то и задумал ее сам для себя создать».

Бертран де Борн ранее других все осознал и стал делать трубадурский клип: у одной позаимствовал белые руки, у другой — красные, как рана, губы, у третьей — роскошный таз, у четвертой — непослушную гриву.

Дама Аудьярт хранит
Куртуазных чар запас;
в том что для тебя сейчас,
Часть я конфискую, что плохого?

Ничего плохого. На здоровье. Он создал из фрагментов женскую Утешительницу...

О, когда б желать, как Вас,
Даму Составную!

Спасительницу от гнетущего человеческого одиночества, не развлекаемого даже войной.

Почему Бертран де Борн так хотел войны? Так изворачивался и настаивал на ней? Так хитрил, чтобы она, наконец, сбылась? Он любил размыкание. Когда нечто (по видимости цельное) раскрывается и обнажает свою боль, свою кровь, свою сокрытую трагичную незаконченность, сквозь проступает иной мир, иная тишина, трансцендентальное миротворчество. Конечно, мы читали Дени де Ружмона и знакомы с его тезисом о сектантских истоках поэзии провансальских трубадуров (труверов). Конечно, здесь не обошлось без катаров, дуалистов, богомилов из родной Византии. А от Генона (и Эволы) мы знаем, что Составная Дама есть гностическая доктрина. Но этот удивительный человек, изображенный Данте адским ацефалом, видимо, привнес в безусловную торжественность адепта что-то свое, что-то пронзительно современное...

Как думают сердцем? Как думают в центре ада? Как разнится мысль головы во аде от мысли всего остального? Не праздные вопросы, вопросы для товарищей с билетами.

Им двигало индивидуализированное безумие, и спросив, какой он расы, вы получили бы не ответ, а по затылку. Бертран де Борн по ту сторону нации.

Спор без урона сторон
Без жаркой кровавой встряски,
Бессмысленный, безысходный,
Стал притчей неблагородной,
Все кончилось сном и едой:

А юность без сечи лихой
Становится жаркой трухой.

Идеальный эволаист, дамский угодник и забияка, помешанный на войне. Паладин святого сердца, ничего не соображающий в лунных лабиринтах дремы, — абсолютно солярный тип. Вне любви, поэзии и сражения нет ничего.

Не так важно, кто сражается с кем, не так важно, кто любит кого, и какая Дама предстает обнаженной перед чьими-то не очень целомудренными глазами... Важен порыв... Там внутри шевелится субъект, смутно, невнятно, не совпадая ни с чем, понуждая лишь к размыканию. Он выходит через верхнее отверстие в шее. Объявляет о себе, брызжет световой волной вверх... Ему тесны любые пределы, но особенно он негодует на коварную замкнутую диалектику того, как пары сердца движутся вверх, копятя под сводом черепа, и снова вбрасываются в вены. Этот бесконечный цикл одного и того же следует разъять. Однажды — раз и навсегда — поднявшаяся упругая волна должна не встретить черепной границы (ранее для этого в черепе проделывали специальное отверстие, память о котором сохранилась в ритуальном выстрижении цезуры, но это было до рождения Бертрана де Борна), не встретить ее и двинуться к большому куполу ада. Есть ли у ада голова? Или чей-то обоюдоострый язык снес ее напроочь? Раз и навсегда? Кто-то вывел из ада безголовых праотцев, кто-то показал нам Путь...

За подобные подозрения досталось великому Оригену, так что *passons, passons...* Мы этого не говорили. Лишь о человеческом факторе речь. Как тесно ему было жить.

Блеск утр и свет вечеров,
И громкий свист соловьев,
И расцветающий знак,
Придавший ковру поляны
Праздничную пестроту,
И радости верный знак,
И даже Пасха в цвету
Гнев не смягчает моей
Дамы — как прежде, разрыв
Глубок; но я терпелив
Дама, я было размяк...»

Хотелось бы поставить знаки пунктуации по-иному: «Дамы (как прежде): разрыв глубок». О, этот глубокий разрыв Дамы... Чего он стоит... Вы погружаетесь якобы туда, а на самом деле насквозь. Вы думаете, что это есть, а на самом деле — «Дамы разрыв». Дама не ответ, она — разрыв в плоскости одиночества, откуда выпадаешь не куда-то, а в никуда. Агрессивный самовлюбленный монстр — «он терпелив». Но ничего не произойдет, и любой авантюристический поворот лишь заострит ноющий вопрос Бертрана де Борна. Это не кончится никогда, а «он было размяк»... Рано, рано «размяк». Рано. Феодализм привлекает осатанелой субъектностью протагонистов и отталкивает ограниченностью масштабов. Но в нем есть сектора, где проступает стремление преодолеть навязанные упаднической декадентской теологией масштабы. Это уже по-евразийски, это интересно. Это ведет к небанальным выводам.

«Трувер» — это по-каталански «искатель». «Искать» — значит быть неудовлетворенным насущным, стремиться к трансценденции. Дама считалась выходом. Но что это была за Дама... Чем абстрактней Дама, тем конкретней чувство к ней. Некоторые труверы влюблялись в героинь романов и отдавали реальную кровь и шершавую жизнь свою за чернильные фигуры чьей-то второсортной фантазии. Традиционалисты сказали бы: явно речь идет о Доктрине-Софии. Да, но не совсем. Была и Дама, печать войны, магнит крови, толчок к тому, чтобы падать, чтобы валиться всерьез. Эвола чувствовал, что здесь что-то не то, что есть тонкая инстанция — Эверстовская женщина-паук, выкачивающая кровь влюбленных постояльцев (через спровоцированное самоубийство), — которая вовлечена в дело, и которая как-то связана с таинством отрубленной головы. Она сидит за тонкой перегородкой сна и тянет. Давай, мол, давай, убей ради меня, раскрась венозными цветами, получишь поцелуй. Лия? Ее звали Лия?

Любой, даже самый полноценный мужчина, пребывает под доминацией очень Высокой (гигантской) Женщины, с зубами-лезвиями и улыбкой, гасящей Луну. Он выигрывает и буянит, улыбается и складывает стихи, изредка смотря через плечо в ту ночь, которую прячет в глубине себя. Она и бьет странным светом, когда артерии открывают себя Небу. Как же Она визжит на свету... «Дама, я было размяк...» Интересен и сладостен миф об Андрогине (спросите скопцов), но где место мифу о Мужчине, о мужчине в аду, не сломленном и не успокоенном, так и освещающем себе путь глазами ненужной более головы? Это беспокоило Батайя. Это беспокоит нас.

А.Г.Дугин

"Медведь", 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

РУССКИЕ ИГРЫ ЛЕНКОМА (О спектакле «Варвар и еретик» Марка Захарова)

Актуальность момента

Все отмечают, что режиссер Марк Захаров крайне чувствителен к «актуальности момента». Я в этом не очень хорошо разбираюсь, но склонен верить мнению тех, кто в данной сфере компетентен (на мой взгляд, вещи и события находятся в процессе перманентного регресса, а следовательно, «современность» есть категория скорее негативная, чем наоборот, но это прямого отношения к делу не имеет). Посмотрев в театре Ленинского Комсомола постановку «Игрока», решил, однако, задаться вопросом: в чем «актуальность момента» этой пьесы? В результате вышло несколько отрывочных замечаний, которые предлагаются ниже.

Спектакль для «новых русских»?

Почему Захаров обратился к «Игроку»? На наш взгляд, есть две причины.

Первая (наименее значимая, лежащая на поверхности). — Судя по всему, режиссер достаточно времени проводит за границей, а следовательно, тема «русского за границей» (центральная у Достоевского в этом оборванном произведении) с некоторых пор стала для него наглядной, понятной, конкретной, свежей. Кроме того, конечно, речь идет не только об индивидуальном, отдельном опыте. До реформ «русский (советский) за границей» был носителем особой имперской силы, ядерной магии, отеческого, сталинистского (= «pere fouetteur») начала, то есть он был не столько «русским», сколько «грозным инопланетянином», источающим ауру силы, чужеродности, угрозы. Когда же принимающие иностранцы угадывали в нем «человеческие-слишком-человеческие» качества, — насморк, похмелье, жадность, — они акцентированно радовались: «если русские тоже люди, значит, возможно, они не решатся кидать в нас бомбы» (унизительное «russians love their children too» — имеется в виду: «simia quae similibus turpissima bestia nobis»).

Сегодня русские за границей находятся в ином ролевом, мифологическом качестве. Они десакрализованы, обнажены от имперских покровов ужаса. Они уравниены, а значит унижены, оскоплены, низведены к рулеткам, борделям, гангстерским кварталам, под контролем «третьего мира». Но все же что-то пугающее, особое, «марсианское» в них остается. Все же остается. Канва «Игрока» у Достоевского стала реалистичной, наглядной, узнаваемой именно сегодня. И маленькая русская колония в Швейцарии конца XIX века, описав дугу, стала странно внятной в конце XX–начале XXI века. «Новые русские» за границей.

Намеки на мир «новых русских» за границей в спектакле Захарова прозрачны и очевидны. Кстати, многократно используемый прием вставки обрывочных, эксцентричных и бессмысленных тирад на иностранных языках (вся европейская гамма), явно призван воссоздать привычную для «новых русских» за границей атмосферу раздражающе-лающей среды. — Наши крайне некультурны (мажоритарно — либо чиновники, либо бандиты), поэтому европейские языки вызывают у них одну ассоциацию — навязчивого уханья.

Но есть вторая причина, предопределившая, на наш взгляд, обращение Захарова к Достоевскому. Она сложнее и интереснее.

Самооговор

Захаров называет спектакль «Варвар и еретик». Это классическое определение русских со стороны Запада. Варвар в быту и культуре, в дорогах и песнях, в татарском отсутствии нервной «современной» индивидуалистической чувствительности и в бескрайнем органическом холизме. Варвар — потому, что дышит стихией и парадоксом, потому, что не понимает, не приемлет, не хочет картезианской, формальной логики, где безраздельно правит «двоичный код» — либо «да», либо

«нет», третьего не дано. Варвар утверждает: «а вот и дано это третье — не очевидное, не понятное, загадочное, ускользающее, взыскуемое третье, тайный шепот по ту сторону разума, сбывающееся невозможное, манящая мечта, параллельная родина, голос евразийского букета кровей, зовущий гул донного знания». Варвар, стремящийся со всей неудержимой силой скифской, туранской конницы по ту сторону форм.

Лингвисты школы Пало-Альто (основатель — Бэйтсон) ввели модель для выделения двух типов логики. Одна — рациональная, другая — варварская (то есть наша с вами). Рациональная логика (дигитальная, цифровая) оперирует с понятиями «утверждение-отрицание», причем отрицание мыслится в отрыве от всякой конкретности как «чистое ничто» — непредставимая, но удобная в расчетах и анализе категория. Рациональная логика, дигитальная мысль лежит в основе западной цивилизации — с ее наукой, культурой, этикой, экономикой.

Но эта логика не единственна. Варвары (а также дети, женщины, поэты, мистики, святые, ангелы) тоже мыслят, но мыслят иначе. Они не обращаются к чистому отрицанию, не оперируют с тем, что непредставимо, абстрактно. Для них отрицание одного есть уже заведомо утверждение другого, на месте небытия у них стоит инобытие.

У варваров нет строго разделительных черт между вещами, существами, личностями. Они тяготеют к странному и сложному единению, к интеграции Всего, к слиянию разного в цветущем, пульсирующем, органическом мире, насыщенном светлым духом и парами плоти, умными энергиями и пламенными струями страстей. У варваров нет смерти, строго отдельной от жизни, нет индивидуума, отдельного от общины — семьи, племени, нации, империи. У варваров сон и явь переплетены, одушевленное и неодушевленное соучаствуют в общем ансамбле мира. Страдание и счастье варваров — две стороны единого миропереживания, единого пульса; оба необходимы, предначертаны, как дыхание, как ритм, как любовь и гибель. Полная антитеза рациональному поиску комфорта и благополучия.

Достоевский объяснил нам нас самих — раз и навсегда безотзывно показал: мы — варвары, и это наше призвание, наше «я», наша жизнь, наша судьба. Прекрасные, тревожные, мучительные люди Евразии, достоевские люди, идущие вглубь бытия, неуклюже роняя по ходу дела акцидентальные несущественные детали, «скорлупы», составляющие, однако, основной смысл западного человека. Нас можно понять только изнутри. Извне мы — големы, слегка косоглазые, широкоскулые, смазаннолицые, татаро-славянские истуканы, носители тайного спасения мира.

Мы — еретики. Опрятный католицизм, изящно оформленный, прилежно осознанный, грамотно организованный, административно совершенный называл православных — с их исихазмом и эсхатологией императорской власти, с их глоссолалией поместных церквей и черным кастовым духовенством, с их предельным мистицизмом и трансцендентализмом, с их традиционной неразберихой в делах монастырского и епархиального менеджмента — именно «еретиками», «спиритуалистской восточной сектой». Мы, правда, отвечали им тем же, считая «церкви запада — латинской ересью».

Кажется пора поставить вопрос жестко. Православие и католичество (+ протестантизм как последний предел вырождения) — это не просто разные версии одной религии, это вообще разные религии. Только что-то одно из них можно действительно называть «христианством». Если они «христиане», то мы к такому «христианству» никакого отношения не имеем. Если же христиане — мы (а я думаю, что именно так оно и есть), то они — кто-то еще. Легенда о Великом Инквизиторе Достоевского сегодня нисколько не утратила своей актуальности. Возможно, только сегодня она до конца и стала понятной. Захаров не просто обращается к Достоевскому, что само по себе — вызов. Он выносит в название важнейшее, интимнейшее определение русских в глазах «просвещенного» Запада, которое иронически принимал и агрессивно направлял против «недолюдей страны заходящего солнца» наш великий русский гений, пророк России, автор Русской Идеи в ее наиболее полном, живом, парадоксальном и священном оформлении.

«Русский хаос» ценней «нерусского порядка»

Мало-помалу мы приблизились к роковой черте. Еще ни слова не сказав, собственно, о самом спектакле, мы оказались в столь напряженном культурно-идеологическом поле, что слова приобретают зловещее качество приговора, диагноза, доноса. Что сделает Захаров с таким литературным материалом, с таким автором, в такой ситуации, назвав спектакль таким образом? В иные времена и в иных ситуациях спрос с него был бы гораздо мягче. Но не сегодня. Сегодня слова «варвар и еретик», слова «Россия», «Достоевский» пахнут кровью и выбором, порохом баррикад и

гноем русских нищих в переходах. Битва за тонкий дух России (точнее, против тонкого духа России) идет всерьез и страшно.

Пауза. Смотрим спектакль.

К концу первого действия сомнений не остается. Сквозь шум, нагроможденные декорации, визгливые выкрики статистов, традиционный ленкомовский эксцентризм, проступает Достоевский. Такой, как он есть. Страшный и страдающий, ставящий под сомнение все кроме... кроме своей высшей духовной идентичности, кроме своей абсолютной, страстно-трагичной, уникальной, мессианской, трансцендентальной русскости. Спектакль получился об избранном народе, о русском народе.

Не самое главное произведение Достоевского, не самое удачное, не самое законченное, не самое программное. Но все же — ни с чем невозможно спутать агрессивный трагизм национальной души, измученное величие «варварской» мысли, разбивающей любые навязываемые извне нормативы. Русский хаос. Но даже этот, неоформившийся, еще не ставший космосом (может быть, он никогда и не станет им) хаос ценней, прекрасней, глубже, живее, чище, фантастичнее, этичнее, в конце концов, всех ненаших порядков — старых или новых, германских, швейцарских, польских, английских или американских. В спектакле Захарова Достоевский схвачен и расшифрован совершенно точно. В каждой сцене — массивно выраженный русский намек: «третье дано», «третье» — по ту сторону добра и зла, вне двоичной логики и двоичной этики, выплескивается наружу в нации, не заключимой в тесные (а в сущности, по-настоящему порочные, антихристовы) рамки «современного цивилизованного сообщества».

Мы не знаем и не хотим прав человека. Мы не знаем никакого отдельного человека, мы знаем лишь человечество, разделенное ангелом мрака на две части — на «наших» («варваров и еретиков») и «ненаших» («цивилизованных и опрятных», «последних людей», проклятых Заратустрой). «Наши» в страдании и проигрыше, в буйстве и пороке, в несчастье и бестолковщине, в возвышенном даре и темной зависти, в жертвенном подвиге и еще более в жертвенном насилии — «наши»... Не хорошие, не плохие — просто «наши», до боли, до воя, до эпилептического припадка, до суицида, до революции... Откуда бы и каким бы путем Захаров ни пришел к постановке «Игрока», ясно одно — это не следствие ошибки, он не просто сбился со столбовой дороги «открытого общества». Более серьезные, более потаенные, сокрытые голоса нашептали ему выбор произведения, название спектакля, подбор актеров. Голоса «наших». Они исходят изнутри. Это часто голоса мертвых или тех, кто еще не родился, не увидел евразийское солнце — наш снег, нашу осень, наш строгий и бесконечный, указующий в небо, бескрайний лес. Это голоса крови — той, что в жилах, и той Божественной Крови, что протягивает нам православный иерей в ложице, произнося: «и в жизнь вечную»...

Когда внесли Чурикову

Чурикова в спектакле изображает Великую Мать. Все думали, что она вот-вот умрет или уже умерла. А она приехала в Швейцарию, эмерджентно манифестировалась в неразрешимой (да и смерть ее ничего бы не спасла), запутанной ситуации русских в их путешествии в страну Запада, в их «voyage au bout de l'Occident». В Чуриковой (=ее героине: у высших актеров деления на роль и исполнителя не существует) важно не материальное богатство, но бытийная полноценность. У Достоевского это очевидно. Захаров подчеркивает это еще отчетливее. Во втором действии ксенофобия достигает пика. Все, кто играют иностранцев, стараются всячески подчеркнуть их экзистенциальное убожество, вызвать в зрителе негодование, отвращение, брезгливость, презрение.

Чурикова — это пока еще сохранившееся ядерное оружие России. Оно проматывается, самодурски раздаётся, не бережется, не отлаживается. Во всем хозяйстве, в семье, в слугах, в самой Барыне — распад, дряхление, угасание. Генерал (Джигарханян, в той версии спектакля, которую мы смотрели) символизирует Минобороны. Промотавшийся, слепой, надеющийся (зря) на выплату задолженностей, лезущий в цивилизованное сообщество, где его держат за невеселого и ненадежного проходимца, неудачник, лгун. Одуревшая, но подобострастная (кстати, довольно привлекательная) дворня, с бесподобным патриотическим хасидом Броневым. Наконец, сам «Игрок», репетитор Абдулов (человек с евразийской фамилией, евразийской внешностью, евразийской печалью). Распятая между капризом, жертвенностью, истерикой, пороком и монашеским аскетизмом, до крайности убедительная Саша Захарова.

Все это — элементы структурного распада, не чреватые ничем.

Но...

Но складывается из трагедии странная и верная интуиция. Наше падение на материальном плане отражает какое-то высшее, трансцендентальное могущество, иную правду, иную победу. Все русское, даже распадное, растерзанное, изолгавшееся и потерявшееся, проигравшееся, суицидное, летящее сотнями разбитых чучельно-чайковых тушек в швейцарские бездны неумного, неуклюжего провала — все это в миллиарды раз прекраснее, роскошнее, чище, благороднее, духовнее, покаянно-нравственнее, возвышеннее, ближе к тайному Богу и не освоенной Истине Его, чем лакированные, холодно-металлические, блестящие модели строго разумного фосфорисцентного Запада. Захаров поставил, в конце концов, радикально патриотический спектакль. С прекрасными актерами, в которых именно сейчас, в самый тяжкий для страны и общества период, вскрываются тайные рычаги их глубокого таланта — таланта не столько личного, сколько национального, евразийского, почерпнутого напрямую, смело и оправданно из сокровищницы общественного бытия. Русско-советские актеры в русско-советском спектакле у русско-советского режиссера в русско-советском театре. И уже очевидно, заверено, чеканно утверждено, что речь не об отставании Захарова от генерального курса, не о погрешностях в равнении на остальной цивилизованный мир, «где соблюдаются права человека» (ничего они там, кстати, не соблюдают), но об осознанном и горделивом «да!», сказанном своим корням и своей естественной органической идентичности. И в этом нам видится нечто большее, чем «актуальность момента». — Искренний поворот лицом к Евразии, принятие и освоение нашей культуры и нашей судьбы. На этот раз с откровенным вызовом и достоинством.

Возвращение в отсутствие времени

Такое впечатление, что в «Варваре и еретике» целая туманность тем, существ и предметов собралась в правильный фокус, нашла наконец свое место. В Ленкоме — лучшие актеры. Они актеры советские, укорененно советские, признанные и принятые советским духом, советским народом. Явно было что-то и тогда, в позднем скучном разваливающемся брежневском недогосударстве, что уходило корнями в просторы Великой России, тянуло ляжку ее странной, не прямой судьбы. Брежневский зон был страшной подменой: лучшее в нем принадлежало Евразии, ее часу, ее самоутверждению; худшее — стариковской болезни мозга, перенапряжению, цепной реакции бестолковых и тупиковых умозаключений и действий, нагромождающих одно недоразумение на другое. Из этого хотелось выбраться всем. И самым тонким, и самым смелым, и самым пассивным, и вовсе поганцам. Понятно, что было желание сбросить надоевшее ярмо, так как смысл служения стерся, потерялся, стал размытым и невнятным. Но ради чего? Каков был положительный идеал?

В перестройку не думали, почти совсем не думали, очень спешили. И вместо оздоровления, вместо шага вверх, навстречу идеалу и высокой мечте нашей, рухнули не в родной хаос, но в мелкую грязь, в жижу непереваренных позднесоветских комплексов, в дурную и плоскую неумную пародию.

И пошли растрчивать себя, расходуя по медьякам, по ваучерам, по жалким ресторанным костям великие русско-советские актеры и актрисы, смущенно вступая в омерзительные рекламные ролики, дешевые фильмы о «русской мафии» и «авторитетах», позируя с ворами и банкирами, развлекающая сосоротых нуворишей на гадких парходиках в невеселом угаре и дежурном, невыразительном (теперь легитимизированном, а потому совершенно пресном) пороке. Культура эпохи реформ — культура позора, унижения, самоотчуждения. Об этом лучше не вспоминать. И Ленком тут не исключение.

Но вот она третья фаза. Постановка «Варвара и еретика». И легкий ветер надежды.

Возвращение наших любимых актеров, возвращение туда, откуда они вышли, откуда они возникли, из чего они взяли — дерзко и нежно — упругие силы своего большого таланта, — не личного, общественного, национального, всеобщего таланта. Возвращение к России, к тайным знакам на ее сонном челе.

Когда вносят Чурикову, барыню, в зале — отчетливо слышимый вздох. Как-то понятно, что все станет сейчас на свои места, что ситуация разрядится, сюжет прояснится, мораль произведения и замысел режиссера станут очевидны. Но нет. Великая актриса не приносит ответа, не означает развязки. Она — не жива и не мертва, она не дает наследства, но и не лишает его. Она давяще, бесформенно, вопросительно присутствует, но это присутствие — неочевидное, гнетущее, радостное, непредсказуемое — присутствие национального бытия.

Наш национализм страдательный, вопросительный, жертвенный — единственный в своем роде. Мы утверждаем не чванливое довольство наличествующим, приобретенным, накопленным (выигранным в рулетку), но стеснительную гордость за отсутствие, за недостаток, за пронзительное осознание нехватки, лишения чего-то невыразимого, не имеющего имени, но самого главного, основного.

Отступление о Соросе (robber capitalism)

Однажды мы посетили встречу с Джорджем Соросом, который приехал учить нас о том, что наш «капитализм, мол, грабительский и злой», что «капитал в России находится в руках людей с некапиталистическим сознанием». Подкармливаемая им кампания на все кивала, пытаясь поддакнуть, думая — на самом деле — лишь о его новых спонсорских дотациях. Это было бы банально, если бы не одна деталь. Мы заметили, — явно, пронзительно, с шокирующей очевидностью заметили, — что сидящие в зале «российские либералы», на самом деле, абсолютно невежественны в том проекте «открытого общества», который продвигает Сорос. Мы, с точки зрения философско-культурной, оказались, как это ни парадоксально, гораздо ближе к пониманию идей Сороса, чем все его апологеты и нахлебники. Дремавший напомаженный Сорос во время нашего выступления проснулся и принялся улыбаться. Конечно, мы — ярые враги «открытого общества», но для нас ясен проект и внятна импликация Поппера, Хайека, Фукуямы, шире, всей позитивистской картезианско-юмовской традиции, вылившейся в Адама Смита, либр-эшанжизм, современные теории тотальной капитализации и вестернизации планеты. Мы свой выбор сделали давно и осознанно. А что же публика? Ей было по правде глубоко наплевать на старенького миллиардера, на его идеи и концепции, на его прожекты относительно «неграбительского капитализма», на его принадлежность к Бильдербергскому клубу, прообразу завтрашнего Мирового Правительства (от имени которого он, в сущности, и вещал). Жадно, бесстыдно и совестливо одновременно, совершенно по-русски, гипертрофированно по-русски либералы, услужливые попики, аналитики и банкиры жаждали денежек, еще, еще, еще, не заработанных мондиалистским шустрением, но на халяву, чисто по грабительски, просто так данных, брошенных, сунутых, переведенных, отваленных... Мы чувствовали себя, как в сцене из «Идиота», где Рогожин бросает миллион рублей в огонь. И смотрит на душевные муки собравшихся. «Позвольте, хоть на карачках, по собачьи, так прямо да и из огня, вынесу...»

Мы абсолютно Достоевская страна. И наши либералы ничтожны и подлы по-русски, а не по какому-то еще национальному признаку. По-русски же они и совестливы. Никуда не уйти им от России, ни в какой Запад они никогда не впишутся. Никому они там такие не нужны.

На встрече с Соросом нам стало это кристально ясно.

Захаров не ждет, пока это поймут остальные. В «Варваре и еретике» он прямо лоббирует «грабительский капитализм», воспекает национальное, хаотическое, агрессивно иррациональное отношение к экономике. Абдулов не грабит и не убивает. Он играет. Но разве русские грабители и убийцы — те, кого называют «новыми русскими» — разве они не играют? Да в этом же весь нерв их затей, их занятий, их пути! Им нужны не деньги, но горизонты, на которых обнаруживается тайная, раскрепощенная, ухарская свобода. Они самодуры и баламуты, они гуляют, а не копят, хватают еще, чтобы дальше (и шире) гулять. Конечно, такой капитализм — грабительский. Но какой капитализм не является грабительским? Спекулянт Сорос не грабит ли сам? Не обманывает ли? Не разоряет ли? Не пускает ли по ветру? Не бросает ли целые народы и государства (Малайзия) в нищету и скорбь? «Частная собственность есть кража», — абсолютно верно заметил Прудон.

Наш капитализм не более и не менее грабительский, чем их. Но наш несет угрозу капитализму вообще, поскольку на какой-то напряженной ноте, в угаре успеха или краха, в пароксизме безумия или гульбы, в страстном порыве или темной глупости русские в один момент могут схватить смысл своего предназначения, стряхнуть удушающие тенета страстного, иссушающего душу недоумения, национальной дремоты и... И опрокинуть узду повиновения. Восстать. Вновь сказать всему миру и всем народам о своем уникальном, жертвенном и трагичном, кровавом и ослепительном Русском Пути.

Мы — русско-советские люди

Марк Захаров первым из художников сделал решительный шаг. Нам предложен третий путь, указана площадь для выработки новой культурной стратегии в перспективе новой идеологии. «Демократы» (вслед за Чаадаевым) твердят, что мы — незаконченный народ, что наша суть — недостаток, изъятость, погруженность в муку отсутствием. Это правильно, неправильно лишь, что это ставится нам в вину, расценивается как минус.

«Патриоты» утверждают обратное: что мы — во всем хороши, что ничуть не хуже других, что и так все в порядке, что мы, в конечном счете, такие же, как остальные. Это неубедительно. Мы не такие, как все, мы — совершенно иные, и, может быть, мы даже совсем не хороши. («Злые люди песен не поют, почему же они есть у русских», — говорил Ницше). Но импульс,двигающий патриотами, оправдан и прекрасен. Они говорят «да» России, любят ее, хотя подчас как-то формально. Нужно нечто третье: мы должны принять наше «варварство и еретичество» именно как таковые, без всякой подстройки под нормы и чужие мерки, но утвердить эту погрешность, это отклонение от нормы, эту нехватку как высшее наше достоинство, как триумфальную постановку вопроса над ответом, отсутствия над наличием, мечты над реальностью, возможности над действительностью.

Нам всем надо сделать шаг в сторону, сбросить надоевшие, прилипшие, искусственные маски. Мы — русско-советские люди, мы один народ, одна нация, один тип, один стиль, одна культура, один язык, одна душа. По ту сторону белых и красных, социализма и капитализма, праведности и порока — наша Родина, общая, единственная, ненаглядная. Одни люди, «наши» люди, неуклюжие, застенчивые, злые, поющие песни, неприкаянные, задумчивые, странно внимательные к тому чего нет, странно брезгливые к тому, что есть, замороженные донной тайной, тайной последних времен...

«Варвары и еретики», русские люди конца истории — самое интересное, что еще в ней осталось.

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1996
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ГОРОД КУРЕХИН

Тайна имени

Санкт-Петербург навсегда останется в моем сознании его городом. Улицы, станции метро, набережные, концертные залы, книжные магазины, аудитории институтов, мастерские художников, репетиционные базы музыкантов, Пушкинская 10... На всем этом печать Сергея Курехина, его интонация, его присутствие, его походка. Его дух, его стиль, его взгляд.

Мы шли по набережной осенью 1995. Внезапно остановившись, Курехин говорит:

— Александр Гельевич, нам необходимо ввести такую важную тему — имя города.

— ?!

— Если город постоянно переименовывают, если его имя не очевидно, то все имена не настоящие. Если бы Питер точно назывался Питером, то его не стали бы все время называть по-разному. А раз так, то у него нет имени.

— Не может быть города без имени.

— Да, конечно, значит, его имя — тайное. Какое-то секретное, еще не найденное, не озвученное.

— Может быть, он не «Санкт-Петербург», а просто «Санкт»? — предположил я.

— Нет, скорее всего, сложнее... Надо найти имя города... Для этого надо устроить какой-то сногшибательный сеанс.

К этой теме мы возвращались еще не раз. Имя города. Город без имени. Город-призрак. Город-мерцающая тревожная возможность. Бросок России к Северу (положительно), но и к Западу (отрицательно). Город огромной Империи (положительно), но Империи светской, профанической (отрицательно). Питер, двойственная реальность, город-перевертыш.

В наших прогулках с Сергеем Курехиным, которые были одновременно перипатетическим политическим заговором, философским дискурсом, планированием макропроцессов в современном

искусстве и обменом магическими формулами, мы заметили, что реальность Питера воспроизводит лабиринт. Даже при ходьбе по самой прямой улице, прочерченной по голландской линейке, остается ощущение, что двигаешься по спирали. Какой-то темный дух заворачивает шаги в причудливые траектории, не имеющие ничего общего с евклидовыми законами. Постоянное смещение, раздвоение пространства. Но пространство формирует мысль (а мысль — пространство), поэтому семантика Питера — такая сложная, мерцающая, двусмысленная... Семантика спирали.

Сергей Курехин немислим без Питера. Его дух связан с этим городом глубочайшими узами. Никто так ясно и объемно не понимал его, не выражал его, не воспроизводил его парадоксальных, спиралевидных парадигм. Я подозреваю, что Сергей и был «духом Питера», как бывают духи священных рощ и ручьев, рек и холмов, лесов и полей. Этимологически слово «гений» некогда означало у римлян именно «дух», подразумевая «дух места». Гений Курехина — питерский гений. Тайна имени города без названия, города гниющего и веселящегося, болтливой и насупленного, тонкого и болезненного, лабиринтно-тупикового и непрерывно ищущего выхода за свои расплывчато-тюремные невидимые границы. Сергей унес с собой на ту сторону секрет невероятной важности. И по всей видимости, делу его нет подлинных наследников — он был настолько выше и глубже коллег, что с его исчезновением пропала волшебная ось.

Нераскрытая тайна имени.

Путешествие из Москвы в Петербург

Курехин, зная все нюансы и детали питерской интеллигенции, видимо, давно разочаровался в ее магистральной ориентации. Во всяком случае, своего скепсиса он не скрывал. Но стремился изменить такое положение дел, вдохнуть в мозги города новые темы и сюжеты, новую энергию и новые концепции. Он чувствовал кризис — не только городской, но национальный — и искал иные пути. Питер — важная точка русской истории. «Культурная столица». Поэтому — как в лаборатории — там должны были быть осмыслены и реализованы новые модели, открыты новые горизонты.

Известно, что питерцы не любят москвичей. Так же, как романовская Россия не любила Московскую Русь. Питерцы — западники и либералы, интеллигенты и рационалисты, модернисты и апологеты светской культуры. То, что Курехин был инициатором моего вторжения в Питер, имело символический смысл. Я — коренной москвич, патологически люблю Москву и московский период истории. Я — последовательный и радикальный противник западничества, либерализма, профанического уклада. Следовательно, я представляю собой символическую антитезу всему питерскому настрою, его исторической ориентации. Сергей же, напротив, плоть от плоти именно Питера. Наш союз, наша предельная солидарность призвана была нарушить базовые клише, открыть внимательным созерцателям и активным деятелям — интеллигенции, властям, людям культуры, администрации — новый путь невозможного альянса: авангардизма и традиционализма, постмодерна и премодерна, национальной идеи и аристократического космополитизма, глубокой трагической серьезности и легкой иронии, «правого» и «левого» (если эти термины еще вообще что-то означают). Питер должен был отыскать свое тайное имя через обращение к своей матрице — к Великой Москве, центру мира, полюсу Святой Руси. В этом — пространственный символизм кампании. Сознательная наша стратегия по смещению банальных клише. Сергей ожидал, что она будет понята и принята довольно легко, он верил в сообщительность питерской элиты, не сомневался в своем авторитете, доверял интуиции и проницательности друзей. Но все случилось иначе.

Змея вокруг сердца

Курехин рассчитывал, что большинство будет ошарашено. Так и было. Что зашевелятся его давние недоброжелатели и завистники. И так было. Что никто поначалу ничего не поймет. И так было. Но при этом он ошибся в одном: он был уверен, что небольшое ядро наиболее проницательных и авангардных людей Питера схватит идею, солидаризуется с ориентацией «поиска имени», «нового курса». Конечно, кое-кто — больше из доверия к Сергею, чем из понимания — его поддержал, но критическая масса не сложилась. Это, на мой взгляд, было чем-то большим, чем банальное недоразумение. Какие-то странные, малопривлекательные силы (но очень серьезные и очень негативные) восстали на сложный и тонкий наш план.

Курехина не поняли, Курехина предали. Вызов не был расшифрован. Все свели к эпатажу, скандалу, эскападе, экстравагантности, заблуждению.

Светлый дух города столкнулся с темным духом, который имел множество лиц. Болотные испарения подавили утонченное пламя. Тупиковые лабиринты улиц, не ведущих никуда, одержали триумф. И скоро тьма подступила к Курехину, к его сердцу, к человеку-звезде, к тонкому духу понимания и тайны.

9 июля 1996 Сергея не стало. Страшный диагноз — саркома сердца... Когда Курехин последний раз приезжал в Москву, мы говорили с ним о древнем гностическом символе — змее, обвинившемся вокруг сердца, сердца Осириса, умирающего и воскресающего бога. Тревожное предвидение, хотя Сергей еще и не догадывался о своей болезни. Змей, обвинившийся вокруг сердца. Ночь непонимания и пассивности, жестокий ритуал погашения светильников.

После смерти Сергея Курехина его памяти было посвящено множество программ и статей. Но последний период то стыдливо обходился молчанием (о мертвых либо хорошо, либо ничего), то сквозь зубы бормоталось что-то невразумительное. Я еще не встречал ни одного материала, ни одной передачи, где была бы предпринята попытка осознать и осмыслить его путь и его вызов, его идеи и его миссию, логику его судьбы и концептуальное содержание его творчества. Это, по меньшей мере, подозрительно.

А ведь это вы убили его. Не стройте иллюзий. Вы.

Этот город должен был бы носить его имя, если не был бы городом тупиков.

А.Г.Дугин

РАБОТА В ЧЕРНОМ (О Егоре Летове)

Интеллектуальный постпанк

Одним из ярчайших парадоксов нашего времени является факт популярности среди молодежи группы «Гражданская Оборона» и ее лидера Егора Летова. Тысячи «фанов» штурмуют залы, где проходят его выступления, юноши и девушки в майках с его портретом наполняют летом московские улицы и вагоны метро, его песни выучиваются наизусть, и на концертах публика даже не слушает его тексты — так хорошо она знает их на память. Его любят и боготворят не только в Сибири, откуда он родом, но и в столице, в крупных городах, во всей России.



Что же здесь парадоксального? — могут спросить те, кто наблюдает за рок-культурой лишь со стороны.

Дело в том, что музыка и поэзия Летова на самом деле представляют собой глубочайшее интеллектуальное послание, которое даже в своем наиболее поверхностном аспекте апеллирует к культурным явлениям, известным лишь профессионалам и элите. Аллюзиями на фильмы Коппола, Герцога, Фасбиндера и Вендерса, на тексты Германа Гессе, Беккета, Мамлеева, Андреева, Сэнт-Экзюпери и Арто, на политические доктрины Бакунина, Сореля и Прудона, на дзэн-буддизм, магические учения и т.д. — всем этим полны песни Летова. И одновременно именно они заучиваются ребятами 12–14 лет, которые живут в мире «Гражданской Обороны» как в психоделической цитадели, противопоставленной внешнему миру, где сменяют друг друга в калейдоскопическом ритме режимы и системы, политики и партии, оставаясь в сущности одним и тем же — отчужденной Системой, безжизненной и бескровной.

Казалось бы, подростки должны были увлекаться чем-то попроще, чем-то более понятным и веселым, нежели полная страшных образов и сложных идей поэзия Летова, требующая от слушателей такого культурного уровня, который не часто встретишь даже у «матерых» интеллигентов. Но на деле все обстоит обратным образом. Попсу, бессмысленные и лишённые всякой идеи песни, любит именно старшее поколение, — в этом сходятся откровенная урла и «новые русские», рэкетеры и «чичи», истэблшмент и обыватели. Чем младше постперестроечный подросток, тем больше у него шансов стать поклонником именно сложного Летова, а не кривляющихся дебилов попсовой эстрады.

У Летова есть послание, которое близко и необходимо молодежи. Успех «Гражданской Обороны» — глубокий синдром неких фундаментальных изменений в сознании и идеологии целого поколения.

Структура свободы

Одной из важнейших категорий в идеологии Летова является идея свободы. Это для него высшая ценность и последняя цель. Но по аналогии с текстами Тантр и доктриной Юлиуса Эвола Летов в своем творчестве все четче различает «свободу» и «освобождение». Освобождение предполагает путь эволюции, постепенных изменений, путь последовательных состояний и действий, направленных на достижение почти однозначно недостижимой цели. Это метод прогрессизма и либерализма.

Этот путь Летов отвергает сразу и полностью, начиная с самых ранних песен. «Все, что не анархия, то фашизм, но анархии нет!». В этой короткой летовской фразе выражен синтез его мысли. Если «анархии (= свободы) нет», то именно ее отсутствие (а не иллюзорное к ней приближение) должно быть положено в основу радикального опыта. Радикальное осознание невозможности освобождения приводит Летова к трагическому утверждению того экстремума, где эта невозможность проявляется ярче всего. Наступает режим «суицида», «некрофилии», рождается грандиозная по своей серьезности и глубине эстетика «Гражданской Обороны», по внешним признакам напоминающая западный панк. Диалектика некрофильской мысли, отказ от всех промежуточных решений, радикальное требование всего «здесь и сейчас» и ни мгновением позже, приводят Летова к парадоксальному выводу: «истинная свобода — это обратная сторона предельной несвободы, проявляющейся в безумии, смерти, последнем унижении, заточении в темницу, в гроб, превращении в предмет, в «общественный унитаз», «в лед». В одной из своих лучших песен «Война или мир?» Летов ясно формулирует этот принцип:

- Свобода или плеть?
- Свобода или плеть?
- Свобода или плеть?
- Плеть!

Свобода обретается не вне, а внутри, не по пути вверх, а по дороге вниз. Она обнажается через мрак, а свет ее только отпугивает. Она достояние обделенных, а не удел обласканных судьбой. «Плеть», «страдание», «боль», «пытка», «смерть» ближе к ее тайной сущности, нежели все внешние атрибуты независимости и власти.

Многомерный танатос



Если для обывателя смерть — это абсолютный конец, то для жаждущего свободы Летова — это скорее великое начало. Смерть у него не одномерна и не плоскостна, она обладает множеством измерений, исследование и описание которых составляет динамическую ткань творчества «Гражданской Обороны». Мука, пытка, страдание, погруженность в последние низы бытия, восприятие мира как гигантской и безысходной выгребной ямы, суицидальные порывы, некрофильские, садо-мазохистские припадки — это преддверие Смерти, вскрытие ее фактического присутствия в бытии, обнаружение ее повсюду и во всем. Постоянство и единственность некрофильской темы всех текстов «Гражданской Обороны», а также их совершенная серьезность опровергают возможное подозрение, что речь идет о некотором искусственном концепте. Летов органически воспроизводит «гностический синдром», то есть восприятие мира, свойственное гностическим сектам ранних христиан, которые считали что весь мир создан «злым богом», «демиургом», а следовательно, его последним основанием является именно смерть и страдание. В отличие от западного панка, чей стиль заканчивается (в лучшем случае) обостренным экзистенциализмом и эстетическим эпатажем, Летов вписывается, скорее, в совершенно иную, сугубо автохтонную, русскую духовную традицию, в которой глубинные гностические мотивы повторяются со странной регулярностью — у философа Сковороды, у Кириллова в «Бесах» Достоевского, у многочисленных персонажей Мережковского, Сологуба, Платонова, Мамлеева, а также в поэзии Хлебникова, Есенина, Клюева.

За предчувствием смерти Летов погружается в исследование ее самой. Это наиболее сильные и страшные песни, где дается феноменологическое описание состояний *post-mortem*. Их сюжеты спонтанно воспроизводят общий сценарий инициации, первая фаза которой — «работа в черном», «*oeuvre au noir*» — повсеместно называется «опытом смерти» или «сошествием в ад». Моделью такого текста является «Прыг-скок», длинная композиция с одноименного альбома (беспорно, одного из лучших летовских дисков). Зашифрованное в ней описание путешествия «по ту сторону» может быть понято и как феноменология «психоделического путешествия» с помощью (явно чрезмерной) дозы наркотиков, и как инициатический опыт первой фазы герметического «Великого Делания». Текст песни дает впечатляющие и телесно конкретные образы вступления в тот мир смерти, который открывает особое бытийное измерение, находящееся по ту сторону пространства и времени. Само «прыг-скок», знакомая детская присказочка, становится здесь инициатическим термином, обозначающим «разрыв сознания», «выпрыгивание из обусловленной человеческой формы», «переход в наиндивидуальное».

«Прыг — секунда! Скок — столетие!», — поет Летов, указывая на опытное преодоление законов времени. И далее: «прыг под землю, скок на облако, ниже кладбища, выше солнышка...», — что означает преодоление законов пространства. И самым главным символом текста становятся «качели без пассажира»,двигающиеся «без постороннего усилия, сами по себе», — человеческая форма, телесно-психическая, покинутая духом, который отправляется в страшный *voyage* по ту сторону.

Так вскрытие вездесущей смерти, как гностический синдром ненависти к проявленному актуальному миру, перерастает в танатофилию, в любовь к смерти, а она, в свою очередь, выводит Летова в новое магическое измерение, свободное от тоталитарных законов концентрационного внешнего мира. Постигание внутренних таинственных измерений смерти, исследование ее бытийного объема, радикальный опыт полного рискованного погружения в нее — все это постепенно приводит Летова к парадоксальному результату: из заклятого врага смерть превращается в помощника и учителя, способствующего обретению истинной свободы, в проводника, показывающего новые горизонты.

Война!

Для того, чтобы Система из «концлагеря отчуждения» превратилась в Империю Свободы и Вечности, она должна быть разрушена и подорвана в самых своих глубинных основаниях. «Злой Демиург» должен быть повержен, а те, кто претендуют на власть, должны пройти всю бездну страдания, окунуться в облагораживающий опыт смерти, «работы в черном», реализовать «разрыв сознания», обрести то таинственное измерение, что соединяет «этот мир» с «миром иным». Как в древних сакральных царствах и еще до сих пор среди малочисленных народов, не потерявших традицию, править могут только посвященные, только герои, только люди, прошедшие страшные испытания водами и пламенем внутренней духовной Революции.

Пока этого не произойдет, на периферии жизни, затерянные в гигантских ядовитых городах и заброшенных, занесенных снегом поселках, участники общенациональной «Гражданской Обороны» будут копить благородную ярость отверженных, презираемых, отказавшихся от своей доли в фиктивном и подлом мире Системы. Со шприцом, бритвой, стаканом, револьвером или просто в медитации будут погружаться они под шаманский голос пророка Егора Летова в очистительный опыт Смерти, чтобы либо исчезнуть в нем, проглоченные страшной стихией, либо вернуться преображенными и готовыми к Восстанию, к Революции, к Войне.



Рано или поздно Война придет. Так сказал Егор Летов:

- Мир или война?
- Мир или война?
- Мир или война?
- Война!
- И даже больше:
- Свобода или плеть?
- Война!
- Любовь или страх?
- Война!
- Бог или смерть?
- Война!

"Вечерняя Москва", 1994
"Новый Взгляд", 1994
"Русская Вещь", Арктогея, 2001
"Сельская молодёжь", 2004

А.Г.Дугин

Газета "День литературы", 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫГУН ИМПЕРИИ

И мы подыдем их на вилы,
Мы в петлях раскачем тела,
Чтоб лопнули на шее жилы,
Чтоб кровь проклятая текла.
А. Блок

«Поразительно умный человек»

Поразительно умным человеком» назвал Лев Толстой Проханова. Конечно, это относилось к Проханову-старшему, тоже издателю и тоже писателю, к интеллектуалу и нонконформисту, жившему сто лет назад.

Ничего не меняется. Одни и те же имена, одна и та же мучительная борьба, одно и то же сверхчеловеческое напряжение сил, одна и та же Россия, сложная, терзаемая, опьяненная самой собой, духом своих людей, лучших людей земли, ее солью... В делах о духовной секте Татариновой в XIX веке фигурирует генерал Евгений Головин, а среди следователей-чиновников — Липранди. Моя собственная юность прошла под знаком дружбы с великим современным мистиком Евгением Головиным и в компании сверстника Олега Куприянова, прямого потомка Липранди... Мой далекий предок Савва Дугин боролся против западничества Анны Иоанновны за крайний православный традиционализм, за восстановление Патриаршества, за возврат к Старой Вере (за что и был казнен Бироном).

Такое впечатление, что в истинной истории принимает участие очень ограниченный круг людей, а все остальные выступают как расплывчатые и невыразительные декорации, как иллюстративный материал истории. Нет никаких сомнений, что существует «вечный Проханов», издатель «Духовного христианина», «Дня», «Завтра». Вчитываясь в то, что публиковал «Духовный христианин», этот интеллектуальный журнал нонконформистской, революционно-консервативной, национальной и неортодоксальной русской мысли, поразительно много встречаешь параллелей с нашим временем.

Проханов родом из кавказских молокан, из крайней спиритуалистической русской секты, одержимой мечтой о «волшебной стране», где вместо воды источники земные дают молоко, белое райское молоко... Туда же, к Кавказу, тянулись согласия и толки «параллельной России», бежавшие прочь от романовской скуки и зевотной чиновничьей веры. Из родных моих ярославских земель, где около половины населения были староверами, и где в знаменитом селе Сопелково обосновался всероссийский центр бегунского согласия, тянулась нить национальных сектантов, хлыстов, скопцов, прыгунов, шелапутов, безденежников к русскому Кавказу, прохановскому Кавказу, белой святой арийской горе Эльбрус, недалеко от которой первые молокане нашли таинственные источники белого, молочного цвета.

Все повторяется.

Линии русских судеб сходятся в конце тысячелетия в последний узор.

Мамлеевский шепот

Своим знакомством с Александром Прохановым я обязан Юрию Мамлееву, глубочайшему и прозорливейшему современному русскому писателю, нашему новому Достоевскому. Вернувшись из глупой эмиграции в перестройку, крестясь на фонарные столбы и облизываясь на любимые русские московские лица, как на пасхальные яйца, Мамлеев своим классическим полупшепотом сообщил мне в конце 80-х: «А Вы знаете, Саша, что Проханов — «наш»?»...

«Как «наш»?», — удивился я. Мне казалось, что он по ту сторону баррикад, что он — «кадровый», человек, покорно и безропотно обслуживающий догнивавшую Систему. А это в моих глазах в то время было полнейшей дисквалификацией. «Нет, Вы ошибаетесь, — продолжал уверять меня Мамлеев, — он все-таки «наш», «потаенный», «обособленный»...

Я поверил Юрию Витальевичу и пошел в журнал «Советская Литература» к Проханову.

После нашей встречи я смутно почувствовал, что Мамлеев был прав.

Неудавшееся преобразование

Но настоящее озарение Прохановым пришло в фатальный август 1991. Это был поворотный момент моей идеологической судьбы. Утром 19 августа, в Преображение Господне, когда я услышал голос Лукьянова по радио, я осознал себя до конца и бесповоротно совершенно советским человеком, фатально, триумфально советским. И это после стольких мучительных лет лютой ненависти к окружающему строю, к «Совдепу», после радикального бескомпромиссного национал-неконформизма... Конечно, я всегда презирал и Запад, считая, что у России есть свой путь, не советский и не либеральный — третий, особый, уникальный и мессианский. Но в тот август я (даже вопреки своему сознанию) всей внутренней логикой души был на стороне ГКЧП. Речь Лукьянова была для меня ангельским хором. Слова обращения — вестью о новом порядке, о верности и чести, о решимости последних государственников встать на защиту великой державы перед лицом распустившихся столичных толп, мечтающих отдалиться кока-колонизаторам.

Совсем скоро пришло понимание катастрофы. Вялые солдатики; агрессивные и в миг собравшиеся враги, на глазах превратившиеся из вялых и пассивных кээспэшников в фанатичную и хваткую русофобскую и, увы, крайне эффективную свору; невнятные гэкачеписты...

И когда уже стало ясно, что все кончено, что вот-вот вернут из Фороса могильщика последней империи, на тухнувшем экране появляется знакомое лицо Проханова. Под свинцовой плитой вздыбившихся сил распада и смерти, празднующих мстительную победу, Проханов отчетливо и мужественно произносит слова спокойного самоприговора. Он полностью оправдывает ГКЧП, во всеуслышание обреченно и собранно произносит роковые слова.

На нем сходится пульс исторического достоинства. В этот момент он совершает редчайшее действие, на которое мало кто способен. Он продолжает сохранять верность тому, что со всей очевидностью и фатальностью проиграло. Он утверждает на практике высшее качество человека — идти против всех, когда ясно, что этот путь обречен.

Такого жеста я в своей жизни не видел. Он встал лицом к лицу с историей, с ее страшной, свинцовой мощью, и спокойно сказал, что не согласен с общеочевидным ходом вещей. Так можно поступить только находясь в духе.

Он остался последним на последнем рубеже. Позади зияла пропасть.

Паладин пустоты

После августа 1991 года наши отношения изменились качественно. Я утратил остатки осторожности в отношении «советской» фигуры. Проханов, видимо, решил идти навстречу тем идеям и концепциям, которые не укладывались ранее в вялотекущие взгляды «официальных государственников». Я думаю, что сам он испытал глубочайший шок.

Проханов верил в Советское Государство, был предан Советскому Государству, служил Советскому Государству и... его Системе. Но он продолжил эту веру и это служение дальше особой запретной черты, за тот предел, где остальные чиновники-государственники выходят из игры, печально или бесстыдно (в зависимости от темперамента), сдают высоты, мандаты и позиции, угрюмо вытаскивая из внутренних карманов аккуратненький белый платок поражения. Проханов доказал, что

принимает все серьезнее и глубже, чем это делали те, которых он искренне считал своими вождями, своими авторитетами, своими полководцами. Так и Аввакум когда-то страстотерпно доказал, что абсолютная покорность Царю и предельное уважение к церковной дисциплине в определенной ситуации не останавливают русского христианина от восстания и утверждения Истины вопреки всему.

Этот же столь внятный дух Консервативной Революции заиграл в Проханове. Истинно русская природа «духовного христианина», способного к утверждению покорности через бунт, верности большинству через отрицание его правоты. Своего рода советское, государственническое исповедничество. Проханов, певец Системы, остался верен Системе даже тогда, когда она рухнула. На это не способен ни один конформист, это противоречит самой логике Системы, основанной на абсолютизации сиюминутного, на полной покорности социальному року, на шкурности и имитации, которую мы имели случай созерцать последние годы в небывалом объеме. Но тем фактом, что нашелся кто-то один, кто сказал «нет», было доказано, что в защищаемом уходящем строе было иное содержание и иной смысл, нежели банальности бесхребетной массы жадных аппаратчиков, готовых служить кому угодно.

Поступок Проханова в августе 1991 имел важнейшее историософское содержание, поскольку его отсутствие или наличие имеет прямое отношение к постижению логики идеологической истории.

Но после августа он оказался в роли паладина пустоты.

Советский Дон Кихот в окружение свиней, отставших от обоза и притворяющихся «пострадавшими». Проханов стал моральным и психическим хребтом патриотической оппозиции после августа 1991. Осью сопротивления, полюсом всего того, что было в эти годы окрашено в тона реального героизма и несимулированного достоинства.

Газета «День» под его руководством стала отражением его души, и та композиция, которую он создал из идей, личностей, тем, персонажей, взглядов, текстов, позиций, не имела никакого аналога. Каждый номер отвечал пульсу истинной истории. Каждая строчка ожидалась с жадностью теми, кто стал прозревать, пробуждаться, распрямляться вместе с ритмом этой газеты.

Прохановский «День» стал настоящим «кораблем» в океане бесстыдства и гиперконформизма.

Оплодотворение патриотизма

Сделав все, что мог, для чести и верности, собрав, склепав народную оппозицию из разрозненных осколков, из не совсем покорных и не совсем безразличных сил, движений, людей, Проханов оказался мотором всего героического периода сопротивления от 1991 по 1993 годы. Если внимательно проанализировать «День» того времени и сравнить его с другими «патриотическими» и «оппозиционными» изданиями, то сразу заметна удивительная разница между живым и фиктивным, между новаторским и имитационным, между искренним и поддельным. Прохановский «День» говорил все и до конца, круша предрассудки обывательских кадровых изданий, воспитывая и организуя массы, открывая обалделым от всего происходящего советским людям неожиданные, новые идеологические и политологические горизонты, срывая мировоззренческие табу, бесстрашно бросаясь в неожиданные духовные эксперименты. Это было своего рода оплодотворением патриотизма. Будто в постно-скопческую, уныло и по-чиновничьи юдофобскую преснятину вкололи сыворотку пассионарности.

«Евразийство» и «геополитика», «империя» и «третий путь», «консервативная революция» и «национал-большевизм», «континентализм» и «традиционализм», «новые правые» и «новые левые», «неосоциализм» и «неонационализм», «православный нонконформизм» и «исламский фундаментализм», «национал-анархизм» и «панк-коммунизм», «конспирология» и «метаполитика» стали постоянными темами «Дня», разрывая дрему банальных клише ординарных «консерваторов». Но, видимо, чтобы не пугать «кадровых», Проханов добавлял в кипящий котел нонконформизма полотна угрюмых авторов из «старых правых», бубнящих о своем в привычном для среднего патриота ключе. Эта шифровка Проханова была необходима, как развлечение лекарства, иначе, в более концентрированном виде, постсоветские люди (даже самые лучшие из них) новаторства переварить не смогли бы.

Сам Проханов часто говорит, что просто «открыл шлюзы всему, что хотело выплеснуться наружу»... Но он явно скромничает, почему же десятки балбесов-редакторов из других патриотических изданий продолжали угрюмо свои нудные и бессодержательные внутренние разборки, по сотому разу повторяя опустылевший хоровод публицистов и писателей из прошлого, давно утративших

(или никогда не имевших) представления о реальности, об идеях, о вызове времени, тщеславных, трусливых и плоских?...

Проханов уникален тем, что его темперамент, его тип, его природа наследуют в огромной мере молоканский, нонконформистский, национал-радикалистский дух свободы и независимости, дух восстания, дух непокорности, дух обособленности. Этой своей чертой Проханов пугал и пугает «кадровых». По этой причине Мамлеев назвал его «нашим». Поведение Проханова эпохи «Дня» в контексте патриотической оппозиции было поведением мужчины в среде взрумяненных (или вялых) теток. Кшатрийский темперамент, стремление осуществить, воплотить задуманное и намеченное, причем здесь и сейчас.

Проханов проецировал свой архетип на других, не просто влияя на читателей, но создавая читателей, вызывая читателей из небытия, формируя их, утверждая, что они должны быть, даже в том случае, если их нет. Не только газетная, но социальная, антропологическая верстка. Она была сложнейшей и напряженнейшей. Но сулила невиданные результаты. На карту была поставлена судьба величайшего народа и его государства. Жизнь или смерть зачарованной, уникальной нации.

Перпендикулярный возраст рождения

Я думаю, что необходимо заново собраться, напрячься, вспомнить все, ощутить в крови голос, шепот, рев предков, вой обособленной Родины, нашей последней Руси, и отряхнуть некротомантические могильные скорлупы. Умерший человек никогда не возвратится к состоянию старца, а старцу никогда не быть больше юношей. Новое Рождение перпендикулярно всем возрастам. Новая Жизнь по ту сторону как старой жизни, так и старой смерти. Это справедливо для человека, это справедливо и для народа и для государства.

Нам надо зачать и родить Новую Русь. И в ней воплотится Русь Вечная. Просто к старому возврата нет.

Среди строгих и рациональных кавказских молокан с довольно пессимистическим складом ума иногда появлялись проповедники иного рода. Разновидность хлыстов — прыгуны, последователи Максима Рудометкина, автора тайной, исчезнувшей «Книги Солнца». Они проповедовали необходимость дикого телесного ажиотажа, взвинченного эзотерического духовного радения, выкликивания из-за грани потустороннего новой реальности, Нового Града. И бывало, что и молоканские наставники — прямые предки Александра Андреевича Проханова — подавались на этот вызов экстатического делания. Прыгуны, посланцы невиданной энергии, призывающие сделать фатальный шаг за черту, за бритвенную черту ночи, чтобы выплыть с обратной стороны, не сожалея более о закате, но доставая из бездны полуночи новое солнце, упование Новой Зари...

Плоть застывает. Плоть империи — тоже. В некоторых фатальных случаях ее не отогрешь. И тогда надо прыгать. В бездну. В неизвестное. В ночь. Чтобы обрести там, — в риске и тайне последнего, предельного подвига, — Новое Рождение. Родину. Нашу Родину.

Часть 5: Парадигма души

А.Г.Дугин

"Новая Газета", 2000
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

МАКСИМАЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ

Гуманизм и негуманизм

Принято считать, что традиционалистское мировоззрение в своих философских истоках сопряжено с отрицанием гуманизма как основной идейной установки Нового Времени, как эмблемы Просвещения. Отец-основатель наиболее последовательной и ортодоксальной традиционалистской

школы — Рене Генон — сам неоднократно давал повод для такой уверенности, поскольку разоблачал несостоятельность «гуманизма» с точки зрения основных принципов священной Традиции.

Столь жесткая установка на последовательный антигуманизм, — хотя и оправданная с точки зрения общей логики традиционализма, — с чисто терминологической точки зрения крайне сужает рамки интерпретации в традиционалистском ключе многих философских, культурных и социальных явлений, порождает видимость той «системности», которая, на самом деле, совершенно чужда традиционализму. Это обстоятельство было осознано другими представителями традиционалистской школы и консервативно-революционными философами — Мирчей Элиаде, Мартином Хайдеггером и др. По этой причине они предпочитали избегать выражений типа «антигуманизм», «отрицание гуманизма» для характеристики своих позиций (по большому счету совпадавших с вектором мысли Генона или Эволи), и пользовались термином «новый гуманизм». Такое разделение на «новый гуманизм» традиционалистов и просто «гуманизм» сторонников «современного мира» было актуальным и ранее. В настоящее время, учитывая колоссальные трансформации, которые происходят в сфере мысли и которые можно суммарно описать как тотальную победу либеральной мировоззренческой модели над ее историческими и геополитическими альтернативами, провести тщательное исследование проблемы «гуманизма» просто необходимо.

Новизна нашей ситуации заключается в том, что триумф либеральной системы — вопреки предвидениям традиционалистов (в частности, Эволи) — произошел не вследствие ее конвергенции с системой социалистической (второй магистральной ветвью мировоззренческого развития, коренящейся в Просвещении и Французской революции), а в результате ее победы над советской системой в процессе жесткого отрицания и преодоления этой системы. Именно этот факт является главным интеллектуальным событием XX века, которое произошло на наших глазах, перевернуло все предыдущие философские прогнозы, но странным образом осталось почти незамеченным, не осмысленным, не продуманным представителями интеллектуальной элиты (за редким исключением). В то же время это событие требует масштабной ревизии всей структуры прежних традиционных мировоззрений, проверки их адекватности, их прогностической надежности, пересмотра самых базовых понятий и терминологических цепочек.

Вопрос о «гуманизме» — один из центральных вопросов современной мысли, позволяющих проследить фундаментальное изменение новейшей эпохи, а также наметить контуры позиции, которую последовательный традиционализм должен занять в радикально новой исторической ситуации.

Антропология традиционного общества

Вопрос о «гуманизме» отсылает нас к проблеме представления о статусе человека в различных религиозных моделях, философских теориях, социальных схемах.

Традиционные общества не знали «гуманизма». Это очевидно, так как ни в одном из них человек не рассматривался как самодостаточная и законченная категория, как «мера всех вещей», как духовный и материальный полюс мира. Человек в Традиции был всегда одновременно и чем-то большим и чем-то меньшим, нежели человек «гуманизма». Он рассматривался как удивительное (и неравновесное) сочетание сверхчеловеческого элемента («души», «божественной искры», «божественного Я») и недочеловеческого элемента (животного, материального, социального механизма). Человек балансировал на грани двух нечеловеческих бездн, соскальзывая в которые, он в любой момент мог пуститься в серии сложных метаморфоз — скитание по животным и ангелическим мирам. Часто сами «боги» древности изображались с зооморфными чертами, так как единство сакрального мира оставляло открытым все пространство от самых верхних регионов бытия до самых нижних — «что вверху, то и внизу», по выражению Гермеса Трисмегиста. Человек же находился «где-то посредине», как бог среди животных и животное среди богов. В такой антропологической картине собственно человеческими были только пропорции сочетания разных элементов, а не само их содержание. Все «духовное», разумное в человеке рассматривалось не как его собственный видовой атрибут, но как следствие его сопричастности объективному миру Божества. Все телесное и инстинктивное — как знак принадлежности к низшему животному миру. Содержательная часть человека, таким образом, была выражением (отражением) Божества, и изучение ее в человеке было не гуманистическим, но теологическим вопросом. Остальное же было вопросом зоологии, которая интересовала в мире Традиции скорее авгуров, гадавших по внутренностям животных и приносивших их в жертву, нежели ученых и философов.

Такое отношение к человеку, естественно, приводило к мысли о качественном неравенстве людей между собой. Это неравенство было гораздо глубже и серьезнее, нежели все разновидности современного расизма (при нацизме) или социальной дифференциации людей по материальному

признаку (при капитализме). Иерархия в рамках человеческого типа в традиционном обществе простиралась между двумя крайними полюсами — между человеко-зверем (низшие касты) и человеко-богом (высшие касты). А в промежутке располагались разнообразными смешанные типы.

Эта общая схема полностью применима лишь к архаическим обществам. В рамках авраамической традиции — иудаизма, ислама, а также в христианской цивилизации, которая вообще представляет собой уникальный тип традиционного общества, — картина была более нюансированной. Иудаизм проецирует такую видовую дифференциацию на этнический уровень, ислам стремится релятивизировать неравенство через обращение к абсолютной трансценденности Божества, а христианство разводит социальную и церковную иерархии (что в определенные исторические периоды приводит к их противопоставлению). Но это в теории. На практике все традиционные общества предполагают качественное неравенство людей, заведомо предопределенное соотношением в человеке «божественных» и «звериных» элементов.

Строго говоря, именно в авраамизме мы встречаемся с первыми робкими и относительными еще зарисовками будущего гуманизма, так как трансцендентный бог семитов, вынесенный радикально вне пределов мира, устанавливает такую гигантскую дистанцию между собой и всей сотворенной реальностью, что видовые и качественные различия между элементами этой реальности перестают быть решающими и значимыми. Здесь еще нет гуманистической идеи о самодостаточности человека как вида, но есть качественное уравнивание всего творения перед лицом не вступающего в творение Божества. Не случайно исторически гуманизм зародился именно на Западе, где распространилась та версия христианства, которая была ближе всего к семитскому авраамическому духу.

Но пока существовало полноценное традиционное общество, эти тенденции к гуманизму оставались в потенции. На практике же доминировали иные антропологические установки.

Время рождения гуманизма

Впервые гуманизм открыто заявил о себе в эпоху Возрождения. Эта эпоха была временем отрицания предшествующего средневекового строя. Своего рода мировоззренческим нигилизмом, возвышающим то, что в Средневековье было задавленным, маргинализированным и осмеиваемым то, что, напротив, считалось неприкосновенным и сакральным.

Для традиционалистов характерно противопоставлять Средневековье и Возрождение как две антитезы, как традиционное общество и антитрадиционное общество, призванное предуготовить дальнейшие этапы десакрализации цивилизации, нашедшие окончательное воплощение в Новом времени и эпохе Просвещения. Именно в таком деструктивном, нигилистическом контексте видится гуманизм Возрождения. Очевидно, что сторонники «современного мира», «прогрессисты и «умеренные консерваторы», видят всю картину строго наоборот, считая Средневековье — как всякое традиционное общество — «темной, варварской эпохой», «периодом обскурантизма, тоталитаризма и мракобесия», а в Возрождении распознают первый этап «освобождения». Отсюда специфически современный культ Возрождения, искусства, науки, философии этого периода.

Такой подход довольно логичен, но только в том случае, если мы ограничиваем наш взгляд исключительно Западом, да и то в его католической и посткатолической версии, то есть начиная приблизительно с IX века от РХ, когда западное христианство стало активно выделяться из общеправославного контекста и в церковном и в государственном смыслах. Тогда, действительно, мы имеем дело с дуализмом: традиционное общество Средневековья — антитрадиционное общество Возрождения, позже Просвещения вплоть до сегодняшней атлантической технократической постиндустриальной цивилизации. В таком случае средневековая католическая антропология должна быть взята за норму традиционного понимания человека, а возрожденческий гуманизм предстанет как стремление релятивизировать Божественное и «люциферически» возвысить человеческий фактор, поставить на место сложной небесной иерархии героев и титанов Града Земного.

Оставаясь в рамках такого взгляда на вещи, можно легко сконструировать обе позиции — и традиционалистскую и модернистскую: радикально расходясь в знаке, они будут описывать одну и ту же реальность. Но можно взглянуть на вещи и под иным углом зрения.

Парадоксы европейского Средневековья

Средневековье можно отождествить с Традицией только в том случае, если мы отождествляем христианство с католичеством, а Традицию с христианством. Оба эти тезиса весьма ограничивают полноту проблемы. Синхронно со Средневековой Европой существовали такие традиционные общества, которые были гораздо более сакральны и полноценны. Более того, для этих обществ само европейское Средневековье было ничем иным как извращением, десакрализацией, карикатурой на подлинную Традицию. А следовательно, и схоластическая антропология и экклесиология осознавались скорее как отклонение от сакральной нормы, нежели как ее вершина. Такие общества были разнообразны — начиная от индуизма, дальневосточной цивилизации, буддистского мира, кончая халифатом, миром ислама. При этом степень сакрализации и полноценной традиционной антропологии в этих неевропейских обществах была несравнимо выше.

С другой стороны, — и это обстоятельство часто вообще упускается из виду, — рядом со Средневековой Европой существовала огромная сакральная и абсолютно традиционная цивилизация, которая основывалась именно на христианской традиции, но при этом соответствовала всем критериям законченного сакрального общества, ни в чем не уступающего нехристианским моделям. Это — Византия, православная эйкумена. И недостаточность католического Средневековья, его незаконченность, его карикатурность яснее всего может быть осознана именно в сопоставлении с Византийской державой того же периода, которая оставалась полноценно традиционной и сакральной на протяжении всего европейского Средневековья, соотносясь с ним как норма с отклонением, целое — с искаженным фрагментом. Иными словами, сама западная традиция может быть в таком сопоставлении осознана как некий скрытый нигилизм, прокладывающий дорогу остальному процессу десакрализации.

Яснее всего это видно в сравнительном анализе восточного богословия, особенно исихазма, и западной схоластики. В антропологической сфере (которая нас более всего здесь интересует) важно сравнить антропологию православного святого Григория Паламы с антропологией Фомы Аквинского. В случае Паламы мы видим человека,двигающегося внутрь духовных миров по сложнейшей лестнице обожающих метаморфоз, включающих в себя даже низшие, телесные пласты. Человек растворяется в Божественном нетварном свете, обожается, преображается, преодолевает все онтологические и антропологические пределы.

У Фомы Аквинского человек строго ограничен заведомо поставленными видовыми рамками. Он возвышается только намерением, верой и поступками, а также нравственными достоинствами. Его природа статична и подлежит лишь количественному, но не качественному улучшению. Он может быть спасен (если постарается), но не может быть «обожен». Он ограничен своим видовым качеством и не способен на метаморфозы. И при жизни и после смерти он остается лишь человеком.

Фактически, это и есть гуманизм, только в схоластическом, утяжеленном развитой догматикой виде. А следовательно, православная антропология соотносится с католической приблизительно так же, как католическая с возрожденческой. Конечно, Палама не вся Византия, а Фома Аквинский не весь Запад. Но их учения в высшей степени показательны для характеристики общего магистрального настроения соответствующих цивилизаций. То, что в Средневековой Европе было действительно традиционного, принадлежало скорее к сфере народных верований или эзотерических организаций, то есть наиболее сакральные элементы были в то же время наименее христианскими и наиболее маргинальными. Отсюда, кстати, тянутся истоки европейских орденов и тайных обществ, в которых изначально было нечто антикатолическое, и в христианской и в антихристианской формах.

Придя к этой более сложной картине, мы вынуждены уточнить представление о качестве Возрождения и по-новому взглянуть на явление гуманизма.

Ренессанс, взгляд справа

Простота схемы «Средневековье = традиция, Возрождение = отрицание традиции» нарушилась. И здесь открывается интересный момент: мы получаем возможность взглянуть на Ренессанс с особой точки зрения, увидев в нем не только революционные, но и консервативные черты, не только шаг в сторону десакрализации, но и шаг в сторону ресакрализации. А это, в свою очередь, меняет наше представление о сущности возрожденческого гуманизма. Факт отвержения эпохой Возрождения Средневекового духа очевиден и не подлежит сомнению. Но если учесть, что сам этот дух никак не может быть отождествлен с совершенным типом традиционного общества, что он уже несет в себе элементы десакрализации, заключение человека в жесткие и непреодолимые рамки видовой предопределенности, то такое отвержение приобретает дополнительное измерение. Мы можем рассмотреть Возрождение как своего рода попытку Консервативной Революции, направленной не

на окончательную десакрализацию мира, а, напротив, на преодоление сухой рационалистической модели безжизненной средневековой схоластики.

В такой ситуации многие вещи встают на свои места. Известно*, что идеология Возрождения коренилась в герметических тайных обществах, и все содержание культурных памятников этой эпохи есть не что иное, как многообразное шифрованное послание, состоящие из алхимических доктрин, каббалистических теорий, магических рецептов и мистических символов. Такое прочтение Возрождения справа мы можем подробно найти у современных историков религий (М. Элиаде, П. Вульо), у традиционалистов-герметиков (Фулканелли, Канселье). Элита Возрождения видела «новый мир» как возврат к одухотворенной вселенной, освобождающейся от рационалистических отчужденных оков схоластики. Не противопоставление человека религии и божества составляло суть Возрождения, но противопоставление живой и тотальной сакральности — сакральности урезанной, номинальной, условной, фрагментарной. И в этом смысле Возрождение можно трактовать как попытку Европы приблизиться к нормам сакрального общества, а не еще более отдалиться от них.

Именно этот консервативно-революционный аспект обнаруживается в свойственном Возрождению «эллинизме», который в такой перспективе предстает как ностальгический мотив по утраченной сакральности, по единой цельной картине бытия, раздробленной схоластикой. «Эллинизм» Ренессанса есть одновременно обращение и к дохристианской культуре, и к некатолической культуре Византии, осознанной как продолжение греческой цивилизации. Не случайно родиной Возрождения стала Италия, где греческое влияние было особенно сильно. Новое открытие Европой древнегреческой культуры и философии, а также мифологии и стилистики идут именно через Византию, которая поставила в Европу многих учителей Возрождения. Таким образом, функция Греции в трансформациях Ренессанса была и пространственной и временной. Безусловно, прямое влияние Православия было незначительно, и именно против него последовательно и целеустремленно боролись владыки Ватикана. Но косвенно дух византизма, традиционного общества, сакральной антропологии явно различим у большинства духовных вождей этой эпохи. Гуманизм Возрождения оказывается реакцией на менее артикулированный, очевидный, но еще более последовательный «католический гуманизм» Средневековья. На место человека-раба, служителя или администратора, строго ограниченного видовыми и социальными «аквинатскими» рамками, приходит человек-маг, человек-титан, человек-вселенная, который способен расширить себя и горизонтально — до бескрайних просторов животной страстности — и вертикально, к горным безднам ангелического, герметического гнозиса, позволяющего повелевать духам и стихиям. Такой гуманизм исходит из антропологической картины, гораздо более сакральной и традиционной, нежели теории схоластов, а следовательно, он, в определенном смысле, является более традиционным и «архаическим», более консервативным, нежели модели католической теократии. Это движение к ресакрализации не одномерно, противоречиво. В нем соучаствуют различные и часто антагонистические тенденции — западноевропейский орденский герметизм, немецкие и испанские каббалисты, экстравагантные магические братства, гротескные неоязычники, агенты Византии, привлекающие внимание Европы к святоотеческому наследию, криптомусульмане и представители различных суфийских тарикатов, потомки римской «черной аристократии», тайно продолжавшей традицию верности дохристианским родовым культам и тревожным ритуалам. Каждая конкретная версия сакральности предлагала собственный вариант. Наиболее логичным в такой ситуации было бы обращение к восточному христианству, что создало бы конфессиональную преемственность и вместе с тем привело бы Европу к масштабной ресакрализации. Но именно такому развитию событий активнее всего противодействовало папское окружение, предпочитая иметь дело с экстравагантными культами, вообще ничего общего не имеющими с христианской традицией, нежели признать глубокую ошибочность избранного еще на заре Средневековья богословского и экклесиологического пути.

Итак, внимательный анализ Возрождения открыл нам новую картину: гуманизм пришел не как отрицание традиционной антропологии, но, напротив, как стремление преодолеть схоластическую редукцию; не как отрицание Традиции, но как отрицание отрицания Традиции; не как просто революция, но как Консервативная Революция. Следовательно, отождествление Геномом и Эволой возрожденческого гуманизма с антитрадицией неверно.

Как же в таком случае использовать сам термин «гуманизм»?

Два гуманизма

Единственным логическим выходом из сложившейся концептуальной ситуации является утверждение о двух «гуманизмах». Только выяснив и разлив этот понятийный дуализм, мы сможем адекватно пользоваться этим термином в самых разнообразных ситуациях.

Антропологическая картина Традиции, как мы показали, всегда представляет человека как «потенциального бога». Если в общей картине мироздания в таком случае интерес к Богу вытесняет интерес к человеку как к «только человеку», то для конкретных людей это означает абсолютизацию этики видового самопреодоления. Задача человека в Традиции — стать больше, чем человеком. Причем стать не абстрактно, по каким-то техническим характеристикам, но ощутимо и конкретно, в ходе реального, переживаемого опыта преображения. Иными словами, человек, реализуя сакральное измерение, растягивает свои границы до пределов самого мироздания. Сущностное тождество макрокосма и микрокосма подтверждается в уникальном духовном опыте, ориентация на который ложится в основу устройства всей цивилизации. Традиционное общество воспроизводит одновременно и все мироздание и единого человека; оно одновременно и космоцентрично и антропоцентрично, но антропоцентрично в максимальном, абсолютизированном виде: Вселенная есть огромный человек, человек есть маленькая Вселенная. Общество, социальное устройство обобщает людей до архетипа, объединяет их друг с другом и с миром и параллельно иерархизирует функции. Так в едином теле или в звездной системе иерархизированы функции органов и траектории движения планет.

В каком-то смысле такое направление антропологии может быть названо «гуманизмом», но «гуманизмом максимальным». «Максимальный гуманизм» отличается тем, что не ограничивает человека видом, относится к нему как к обобщающему символу, к магическому фокусу, в котором самые разнообразные бытийные страты соприкасаются между собой. Такой максимальный гуманизм никогда не ставит знака равенства между человеком и им же самим. Человек в нем воспринимается как задание, а не как данность, как проект, как перспектива интеграции, как нечто, что может вместить в себя все остальное, что способно (и должно, призвано) обожиться.

Так понимает человека индуистская традиция, утверждающая, что «человеческое я, атман, тождественно абсолютной реальности, то есть брахману». То же самое справедливо для китайской традиции, которая учит о том, что задача каждого человека стать «совершенным человеком» («бессмертным»), а затем и «трансцендентным человеком», вбирающим в себя все бытие и все небытие.

Другая версия гуманизма прямо противоположна вышеизложенной. Она исходит из представления о человеке как законченном, автономном виде с четко очерченными границами, довлеющими надо всеми представителями этого рода. Человек в такой оптике видится как данность, как предопределенность, занимающая строгую нишу среди всех остальных существ. Это не животное и не дух. Это нечто самостоятельное, нередуцируемое, не подлежащее ни дроблению на несколько отдельных составляющих, ни интеграции в иные организмы. Такое представление о человеке следует назвать «минимальным гуманизмом».

Итак, мы подошли вплотную к новой схеме. Традиционно друг другу противопоставляются гуманизм и антропология Традиции, где главным критерием является то, стоит ли человек в центре картины мира или на ее периферии. Там, где его место центрально, мы имеем дело с гуманизмом. Там, где периферийно — со структурой традиционного общества. Теперь же вся ситуация меняется. С одной стороны, мы имеем два типа гуманизма — максимальный и минимальный. Если мы говорим о гуманизме, то предполагается, что человек здесь поставлен в центре мира. Но отныне мы знаем, что этого определения недостаточно. Нам гораздо важнее не то, поставлен ли человек в центре мира или на его периферии, а то, какой человек поставлен (или не поставлен), что вообще понимается в каждом конкретном случае под «человеком».

Максимальный гуманизм видит человека как потенциальное божество. По мере того, как эта потенциальность становится актуальностью, теоцентрическая Вселенная становится антропоцентрической. Но лишь в динамике этого процесса, а никак не вне его. Человек, в видении «максимального гуманизма», стартует с периферии и движется к центру по серии метаморфоз. Сам по себе человек никогда не интересен, никогда не самостождественен, поскольку он воплощает в себе центростремительный (или центробежный) процесс. Человек в таком гуманизме есть траектория, а не точка. Он в каком-то смысле стоит всегда в центре — как идеал и положительный предел. Но в каком-то смысле всегда на периферии, поскольку идеал реализовать на практике крайне сложно. Но в любом случае и во всех обстоятельствах гуманизм остается максимальным, так как даже признание периферийности положения человека в такой картине осознается как драма, как трагедия, как испытание, как нечто «ненормальное».

Наиболее полно концепции максимального гуманизма развиты в неавраамических традициях, но с определенными поправками и нюансами характерны и для авраамических доктрин, всегда стремящихся преодолеть в духовной и социальной практике некоторые ограничительные выводы пессимистической семитской антропологии, диктуемые постулатами креационизма.

Минимальный гуманизм видит человека как человека актуального, обреченного на то, чтобы всегда оставаться таковым. Человек здесь всегда сущностно одинаков, неизменен, самоидентифицирован. Предел его трансформаций строго очерчен и заложен в определение вида. Ничто не может изменить его внутренней природы — он никогда не станет зверем или богом. Он обречен на то, чтобы быть человеком. И только человеком. Такой человек минимального гуманизма может находиться в центре картины мира или на ее периферии. Если в центре располагается абстракция трансцендентного Творца, то человек-творение помещается на далекую окраину бытия, в мир, созданный из ничего. Это неизбежное онтологическое изгнание, драматическое переживание которого составляет уникальность последовательного креационистского взгляда на мир. Но если волюнтаризм «веры в Творца» иссякает, человек может оказаться и в центре картины мира, — несколько не по своей воле, как механическое заполнение образовавшегося вакуума. В таком случае видовые границы обнажаются во всем онтологическом масштабе, как факт чистого ограничения, установленного не наличием внешней преграды, но ограниченностью внутренних потенциалов. Вместо деления картин мира на гуманистическую и негуманистическую (по критерию центральности или периферийности места человека) мы получили более сложное деление, где противопоставляются между собой два типа гуманизма, — максимальный и минимальный, — независимо от того, признается ли (или нет) центральность позиции человека в бытии.

Краткая история максимального гуманизма

Выяснив базовые характеристики двух типов гуманизма, легко проследить эволюцию их развития в истории. Теперь нам понятно, что всякий раз, когда мы сталкиваемся с упоминанием гуманизма, необходимо ставить дополнительный вопрос: о каком, собственно, гуманизме в данном случае идет речь? И в зависимости от уточняющего ответа строить дальнейшие рассуждения.

История максимального гуманизма на Западе имеет свои фазы. Отправляясь от традиционной антропологии архаических обществ, она доходит до кардинальной эпохи распространения христианства и воплощается в Византийской империи, цивилизационная доминанция которой над Европой длится фактически до Карла Великого. Начало радикальной автономизации католической цивилизации приходится на IX век и достигает кульминации в XI веке, когда окончательно юридически оформляется церковная схизма. Эта автономизация сопровождается последовательным отступлением от максимального гуманизма Православия и постепенным дрейфом в сторону гуманизма минимального, который находит свою окончательную формулировку в творениях схоластов (см. интересное исследование этой темы у ученика Макса Вебера Вернера Зомбарта*). Определенные черты минимального гуманизма можно различить уже у Сократа и греческих софистов, — вспомним Анаксагора с его «человек есть мера всех вещей», — но лишь в средневековом европейском христианстве он кристаллизуется в некоторую последовательную антропологическую доктрину, связанную, в частности, с введением «filioque» в до этого православный «Символ Веры».

Конечно, и в католической Европе продолжают жить и максимально-гуманистические тенденции, но они концентрируются на периферии католического официоза — в тайных обществах и орденах, в еретических сектах и т.д. Мистики, алхимики, тамплиеры, катары и гибеллины являются классическими представителями такого максимального гуманизма.

Но все же нормальные традиционные цивилизации, утверждающие приоритет «максимального гуманизма», пребывают вне Европейского Запада — в цивилизациях Востока и в православной Византии.

В эпоху Возрождения происходит попытка совершить переворот в этой области, но он остается частичным, и католическая догма продолжает быть на Западе доминирующей. Ватикан сумел подчинить своему духу новые веяния, и многие революционные процессы пошли по совершенно иному пути.

Вспышку максимального гуманизма Европе удалось преодолеть, и начиная с определенного момента новый культурный и цивилизационный фон, созданный титанами Ренессанса, был превращен в плацдарм для укрепления позиций минимального гуманизма, но в радикально иной форме. Секуляризация и антисредневековый настрой Возрождения стал новой отправной точкой для тенденций к утверждению «автономного индивидуума», нашедших выражение у энциклопедистов, вождей Просвещения и отцов-основателей идеологии Нового времени. Используя побочные эффекты возрожденческой революционности, архитекторы «современного мира» выбрали лишь отрицательный, десакрализирующий (относительно Средневекового порядка) аспект этого периода. Пессимистическая версия схоластического минимального гуманизма стала постепенно сменяться оптимистической его версией. Базой для этого послужила манипуляция с

разрозненными фрагментами неудавшейся, незавершенной (в максимально гуманистическом смысле) революции Возрождения.

Именно такой минимальный гуманизм, особенно в секуляризованном, рафинированном виде, и может быть признан основной, доминантной линией развития современного Запада, который идет по пути постоянного очищения этой философской, мировоззренческой позиции вплоть до самых радикальных и абсолютизированных выводов. Культ человека как «только человека», превозношение рассудка как «только рассудка» (а не как «прихожей сверхрационального и развоплощенного, сверхчеловеческого Ума») — таково последнее слово минимального гуманизма, произнесенное в эпоху Французской революции, этого уникального события, от которого отсчитывает свою историю «современность».

Но и здесь не все было однозначно. Даже во Французской революции есть определенные возрожденческие черты, есть стремление обратить разрушительный импульс не только против отчужденного абсолютизма, но и против самого рационалистического настроения европейской цивилизации. Якобинцы, социалисты, мистики, неотамплиеры видят в происходящем возврат к Европе языческой, доватиканской, сакральной. Это прекрасно описал Жерар де Нерваль. Параллельно сама Европа остается культурно дифференцированной. Так, например, в Германии, тяга к реставрации максимального гуманизма не иссякает вообще никогда. Массонские ложи и рыцарские ордена Центральной Европы грезят о реставрации, об алхимической, розенкрейцеровской Консервативной Революции. От Вольфрама Эшенбаха, автора «Парсифаля», через «безумного» барона Хунда тянется странная нить неконформистской традиции к романтикам — Гете, Новалису, братьям Шлегелям, Шеллингу, наконец, к великому Гегелю, попытавшемуся систематизировать и обобщить традицию европейского максимального гуманизма. Используя терминологию Карла Поппера, можно сказать, что сквозь всю европейскую историю явственно различимы плоды колоссального труда клуба «врагов открытого общества» от Платона до Гегеля. И трудно понять, где мы имеем дело с консерваторами, а где с революционерами. Именно к этой традиции максимального гуманизма с полным правом можно причислить самого Маркса или Бакунина. Их гуманизм — лишь социально-экономическая вариация радикального гегельянства, опрокидывающего основы «банального рассудка», то есть того же минимального гуманизма.

И уже на рубеже XX столетия мы имеем Ницше с его максимальным гуманизмом Сверхчеловека, консервативных революционеров Хайдеггера, Шпенглера, Юнгера, Эволу.

Краткая история минимального гуманизма

Минимальный гуманизм представляет собой методологию, теоретически способную перетолковать на свой лад самые разнообразные культурные и религиозные формы. Но все же есть определенные традиции мысли, которые наиболее ему соответствуют. Такова специфика семитической религиозности, наиболее ярко выраженная в иудаистическом религиозном комплексе. И христианство и ислам в значительной степени восприняли этот авраамизм, но вместе с тем и преодолели его (хотя в обоих случаях по-разному). Более того, в самом иудаизме существовали направления мысли, которые стремились переинтерпретировать креационистскую модель, являющуюся прекрасной метафизической предпосылкой для минимального гуманизма, в ином ключе. Таковы изначальные гностические тенденции в иудаизме, в частности, течение меркаба-гностиков. Позже та же тенденция проявилась в европейской каббале, еще позже — в восточно-европейском хасидизме. Поэтому не верно, строго говоря, отождествлять минимальный гуманизм с авраамизмом, так как существует слишком много исключений. Но в то же время определенная связь между этими формами имеется.

Но здесь возникает любопытный парадокс: акцентировка минимального гуманизма при интерпретации конкретной религиозной традиции может приводить к неожиданным результатам. Так, в частности, католическая традиция по своим догматическим основаниям, безусловно, является менее минимально-гуманистической и рационалистической, нежели предельно последовательный и радикальный креационизм иудейских ортодоксов. В то же время в рамках всех версий христианства именно католичество более всего акцентирует креационизм. Однако, в то же самое время, когда в Европе наблюдается расцвет схоластической антропологии, европейские иудаистические круги начинают активно распространять каббалистические доктрины, которые, в свою очередь, хотя и в иудейском контексте, представляют собой явный образец максимально гуманистического мировоззрения (вспомним каббалистическую идею «Адама Кадмона», который соответствует «совершенному человеку» китайской традиции, «атману» индуизма и т.д.). Когда гуманисты Возрождения (Ройхлин, Пика дела Мирандолла и т.д.) обращались к «еврейской каббале», они видели в ней как раз преодоление креационизма, избыток которого удущал героический порыв в самом католичестве (хотя надо заметить, что христианская традиция — даже в ватиканской версии — догматически гораздо ближе к гуманизму максимальному, чем к минимальному).

Генеалогия минимального гуманизма, с учетом вышеназванного парадокса, который никогда не следует упускать из виду, может быть прослежена от авраамического креационизма через греческих софистов и ранних рационалистов к средневековой схоластике, а от нее — к номинализму, Реформации, Ф. Бэкону, Галилею, Просвещению и так вплоть до Нового времени. Аристотелевская двоичная логика, постепенно освобождавшаяся от всех инерциальных пережитков сакральности (в частности, от концепции телеологии действия, заложенной в самом действии), обнаружила себя в этой традиции как единственное содержание рассудка. Важнейший шаг в абсолютизации такой позиции сделал Рене Декарт, а первые радикально пессимистические выводы из нее сформулировал трагический интеллект Иммануила Канта (кстати, происходившего из семьи французских гугенотов, эмигрировавших в Пруссию).

От Канта эта линия перешла на позитивизм в целом, предопределив весь строй современной западной цивилизации. В наиболее же законченном варианте в наш век постулаты минимального гуманизма были сформулированы неопозитивистской, либеральной школой швейцарца Карла Поппера, француза Раймона Арона и австрийца Фридриха фон Хайека. В США эта тенденция давно стала основой доминирующего мировоззрения, предопределив главные философские и культурные контуры всей атлантистской цивилизации в целом.

Путь десакрализации, которую неизбежно влечет за собой минимальный гуманизм, был огромен, но корни его следует искать не в гипотетическом нигилизме, но в специфике определенных метафизических доктрин, которые проявили весь заложенный в них потенциал лишь в процессе постепенного обмирщвления.

Трезвый, демифологизированный, рационалистический, технократический мир, который сегодня выдается Западом за единственный эталон «прогресса» и «нормы», а на самом деле является результатом исторического пути лишь одного, западного сектора человечества, основан именно на принципах минимального гуманизма, на особой соответствующей ему антропологии.

Уникальность момента

Некоторое время назад даже самый пронзительный ум вряд ли смог заметить вскрываемый здесь дуализм в области гуманизма. Казалось, что все формы гуманизма противостоят консервативным, архаическим, «фашистским», реакционным моделям, борьба с которыми объединяет «прогрессивный» лагерь. Но постепенно стало ясно, что истинная линия раскола проходит по совершенно иной территории, и что фронт пролегает между двумя полюсами — либеральным и нелиберальным. В истории мировоззрений это отразилось в противостоянии советского гуманизма и западного гуманизма, которое закончилось поражением марксистской системы как последней носительницы максимально гуманистического начала в планетарном масштабе.

В этот ключевой исторический период особую актуальность приобрели предвидения радикальных либералов, раньше, чем все остальные, заметивших и подчеркнувших несовместимость социалистической и коммунистической версии Просвещения с магистральным путем развития Запада. С другой стороны, либералы реабилитировали определенные консервативные идеологические течения, которые не пытались оспаривать приоритет минимального гуманизма, что уже давно составляет норму политической корректности в западном обществе.

Это пример того, как предлагаемая типологизация двух гуманизмов дает возможность осознать кажущиеся на первый взгляд странными закономерности политической истории XX века.

Свобода — это рабство, мир — это война, любовь — это ненависть...

Крайне трудно объективно и беспристрастно описать обе позиции, так как в принципе невозможно быть по ту сторону этой проблемы, рассматривать ее как нечто отстраненное. В основе любой философии, любой культурной позиции, любого мировоззрения обязательно лежит определенная модель общей антропологии, часто совершенно неосознанная и нерелевантная, но обязательно присутствующая как своего рода фундамент. Поэтому любое описание каждого типа гуманизма не свободно от явной или скрытой апологетики позиции, близкой автору, и критики позиции противоположной. Любой философский или иной текст, затрагивающий эту проблему, является заведомо полемическим. Ответственному мыслителю по этой причине нельзя доверять этической риторике, автоматически возникающей при описании обоих гуманизмов, нельзя поддаваться на привлекательные ассоциативные ряды. В конце концов, использование оценок (явных или скрытых) в этой сфере есть не что иное, как прямая пропаганда или агрессивный рекламный ролик.

Так обстоит дело при формулировках принципов минимального и максимального гуманизма у их теоретиков. К примеру, когда традиционалисты и консервативные революционеры используют для определения максимального гуманизма термин «новый гуманизм», они не просто указывают на некоторое дополнительное качество, никогда ранее не бывшее (что, на самом деле, прямо противоположно истине, так как максимальный гуманизм намного древнее минимального), но стремятся сделать свою позицию — явно расходящуюся с магистральной линией развития западной цивилизации — более привлекательной. Если отождествлять с гуманизмом лишь минимальный гуманизм, то гуманизм Элиаде или Хайдеггера будет, действительно, «новым» или «иным».

Еще более по-рекламному агрессивно поступают наиболее радикальные и сознательные апологеты минимального гуманизма — такие, как Карл Поппер. Они отождествляют минимальный гуманизм и его разнообразные проекции с целым веером внешне привлекательных концепций — «открытое общество», «подлинная демократия», «реальная свобода», «разумный строй», «права человека» и т.д. Вместе с тем позицию своих противников они характеризуют откровенно уничижительными, демонизирующими характеристиками — «тоталитаризм», «красно-коричневые», «диктатура», «концлагерь», «новое рабовладение»; особенно популярным оскорблением, побившим все рекорды в этом смысле, является «фашизм». На самом деле, основанное на принципах минимального гуманизма «открытое общество» является «открытым» весьма условно. Оно видит индивидуума как закрытую систему, и собственно открытой здесь является лишь возможность хаотического (или стохастического) материального обмена между неопределенно большой группой «закрытых» систем. В определенном смысле, такое «открытое общество» будет абсолютной тюрьмой, но преграды и запоры здесь будут находиться внутри, а не вовне, отчего вся система будет еще более жесткой. Сартр совершенно справедливо говорил по этому поводу о «тюрьме без стен». Максимум горизонтальной (торгово-рыночной) открытости и свободы в такой модели будет уравниваться минимумом открытости и свободы в вертикальном, нематериальном аспекте. Чудовищную природу такого попперовского идеала блестяще вскрыл Олдос Хаксли в либеральной антиутопии «Brave New World»*.

Таковыми же относительными (если не сказать сомнительными) являются и все остальные «рекламные» синонимы «открытого общества». Критикуя философию максимального гуманизма за «иррационализм», Поппер одновременно прославляет хаотическую (то есть собственно, иррациональную) природу «демократии» и «рынка». И наконец, сам термин «демократия» в теориях наиболее радикальных либералов постепенно мутирует, а затем вообще исчезает, поскольку концепция «демоса», «народа» как некой общественной, соборной единицы противоречит основным постулатам минимального гуманизма. Отсюда только один шаг остается для отождествления либералами «демократии» с «фашизмом». Не стоит удивляться — в политической пропаганде и рекламных технологиях нет такой нелепости, которую при необходимости не использовали бы в своих целях четко знающие свой интерес менеджеры и манипуляторы.

Верно и обратное: «враги открытого общества», то есть, иными словами, «максимальные гуманисты», отрицают лишь торговую «открытость», отвергают подчинение всех остальных реальностей «рыночному эгоизму» и возведенному в абсолют «свободному обмену». В иных областях «открытость», напротив, признается и восхваляется. Более того, максимальный гуманизм исходит из базовой предпосылки о том, что человек по определению является «открытой системой», что он никогда не равен себе, что он может реализовывать свою идентичность во всех существующих онтологических направлениях. Но законы и модели такой реализации являются совершенно иными, нежели в теориях либералов.

То же самое можно сказать и об упреках в «иррационализме». Максимальный гуманизм не отвергает разум как таковой, он отказывается абсолютизировать индивидуальный двоичный дигитальный рассудок, ту «старую логику», которую Гегель противопоставил своей «новой логике» или «большой логике», «Grosse Logik». Критический и трагичный рассудок Канта, фатально не способный схватить «ноуменальную» сторону реальности, с определенной точки зрения, не менее иррационален, нежели сверхрассудочная «интеллектуальная интуиция» традиционалистов или «диалектический разум» того же Гегеля, которые, напротив, справляются с ноуменальной стороной реальности довольно легко. Когда же у полемистов минимального гуманизма не остается аргументов, мы слышим (у Поппера) привычное: «Но зато Гегель — фашист, мыслитель, обслуживавший полицейский режим тоталитарной Пруссии». Действительно, сильный аргумент. На это можно ответить: «Открытое общество швыряет ядерные бомбы на головы мирных жителей». Но такой способ ведения полемики — тупиковый.

Битва за смысл истории после ее конца

Минимальный гуманизм и максимальный гуманизм представляют собой две полярные идейные установки. Превосходство одной из них над другой не может быть ни подтверждено практикой, ни

доказано с помощью особой аргументации. В этом они сродни религиям, истинность которых основана на вере. Но в то же время они гораздо шире, нежели религиозный комплекс, так как относятся не к догматике, а к тому глубинному уровню, который, в определенном смысле, предшествует догматике, предопределяет ее или, в определенных случаях, меняет ее с помощью интерпретации до неузнаваемости.

Оппозиция минимального и максимального гуманизма не только знак нашего времени. Просто сейчас определенные закономерности истории мысли стали предельно наглядны. Не случайно все чаще говорят сегодня о «конце истории». В некотором смысле нечто подобное, действительно, происходит. И поэтому многие неявные закономерности и интеллектуальные траектории сейчас выступают на поверхность, тогда как ранее было технически невозможно окинуть их взглядом, — очередной виток «неокончившейся истории» мог опрокинуть (и действительно опрокидывал) любое скоропалительное обобщение. В настоящий момент многое из того, что было «тайным», становится «явным». На грани тысячелетия, миллениума, мы входим в уникальный период суммирования результатов истории. Само время требует от нас окончательной ревизии и последних обобщений. Именно этим призвано заниматься интеллектуальное сообщество. Наиболее пронзительные и чуткие к зову эпохи мыслители так и поступают. Вопрос о максимальном и минимальном гуманизме может быть рассмотрен с самых различных углов зрения.

С одной стороны, это метод, позволяющей по-новому структурировать генеалогию, топологию и качественную хронологию человеческой мысли. Нетрудно разработать на этом основании емкую и наглядную классификацию.

С другой стороны, такая постановка проблемы помогает выяснить истинную картину определенных рекламных и пропагандистских стратегий, которые агрессивно навязываются людям инженерами интеллектуальных процессов, использующими заведомо пристрастную, упрощенную и некорректную аргументацию, натяжки и подлоги, унижающие интеллектуальное достоинство человека. Иными словами, мы имеем дело с новым оперативным инструментом критики.

И наконец, самое важное. Если и можно согласиться с тем, что «история закончилась», из этого никак не вытекает, что вместе с ней закончилось и ее осознание. Напротив, вся динамика, вся жизнь, вся напряженность исторического бытия переместилась сегодня в область осмысления свершившегося. Что кончилось? Почему кончилось? Навсегда ли кончилось? Каким было то, что кончилось? Как быть, когда это кончилось? И в этой области осмысления, рефлексии мы так же далеки от единодушия, консенсуса, одномерного и беспрепятственного мерного течения процесса, как и в те времена, когда основная динамика бытия воплощалась в события, а не в осмысление событий (как это происходит сегодня).

Вражда, «отец вещей», по Гераклиту, диалектически управляла ходом истории. Мысль о содержании истории, постфактумное распознавание ее узора также несвободна от напряженной магии «отца вещей».

Минимальный гуманизм предлагает свою версию «конца истории» (это фукуямовская модель) и настаивает на своей интерпретации. В целом это позиция современного центра, позиция победителей.

Максимальный гуманизм имеет по каждому пункту свое собственное суждение. Но это позиция периферии. Метаидеология глобальной постисторической оппозиции, столь же планетарной и мондиальной, как и выигравшая сторона.

Максимальный гуманизм – мета-библия, мета-повествование современного партизана.

А.Г.Дугин

"Элементы", №9, 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ПОСТМОДЕРН?

Актуальное избегает дефиниции

Последние десять лет выражения «постмодернизм», «постмодерн» употребляются настолько часто, что становятся банальными, привычными и бессмысленными. Однако содержание этих терминов остается предельно расплывчатым. Согласия нет ни у критиков, ни у художников, ни у искусствоведов, ни у философов. Отсутствуют точные дефиниции, объект определяется скорее интуитивно, схватывается приблизительно. А так как «постмодерн» нарочито стремится быть двусмысленным, «аллюзивным», «гиперироничным», рефлексивным сразу на нескольких уровнях, то ускользание явления от фиксированной расшифровки становится одной из его базовых характеристик.

Собственно, это не ново. Любой процесс, который не закончен, не завершен, пребывает в развитии, с необходимостью предстает противоречивым, многоплановым, неопределенным. Даже этимологически это очевидно — неопределенен, так как еще не достиг предела, не обнаружил своей цели. Он еще жив и органичен, может сбиться с кажущейся отчетливой траектории и всех удивить. Расплывчатость определения «постмодерна» — явное свидетельство его актуальности. Но это не достаточное основание для того, чтобы отказаться от любых попыток выяснения того, чем он на самом деле является.

Несколько цитат

Для того, чтобы продвинуться в исследовании нашей темы, приведем несколько выдержек из классического анализа этого явления. Вот как характеризует постмодерн Ихаб Хассан, теоретик американской контркультуры*:

- 1) Неточность (благосклонность к двусмысленностям, цезурам, соскальзываниям)
- 2) Фрагментация
- 3) Де-канонизация
- 4) Утрата «я» и «внутреннего мира»
- 5) Не-презентабельность и не-репрезентабельность
- 6) Ирония (проистекающая из перспективизма, а тот, в свою очередь — из много-значности)
- 7) Гибридизация
- 8) Карнавализация (аналогичная гетероглоссии Рабле или Стерна и тождественная центробежной полифонии, веселой многоцветной релятивности)
- 9) Перформанс и соучастие (энергия в движении)
- 10) Конструкционизм, что подразумевает, что мир не дан нам раз и навсегда, но является процессом непрерывной генерации множества конфликтующих между собой версий
- 11) Имманентность, интертекстуальность всякой жизни, являющейся связкой сопряженных значений.

Основные правила постмодерна, по Чарльзу Дженксу, одному из лучших современных историков архитектуры*, таковы:

- 1) Вместо гармонии, к которой стремился Ренессанс, и интеграции, к которой стремился модерн, постмодернизм настаивает на гибридном искусстве и архитектуре, характеризующихся «диссонантной красотой» и «дисгармоничной гармонией». Больше нет совершенного ансамбля, где ничего нельзя отнять или добавить без того, чтобы эту гармонию не нарушить, но во всем — «трудные ансамбли» и «дисперсные единицы». Должны быть трения различных стилей, удивляющие наблюдателя расколы, синкопированные пропорции, фрагментированная чистота и т.д.
- 2) Постмодернизм предполагает политическую и культурную плюральность; необходимая гетерогенность массовых обществ должна просвечивать через постмодернистские здания. Нельзя допускать преобладание какого-то слишком доминирующего стиля.
- 3) Постмодернизм предполагает элегантный урбанизм. Элементы традиционного урбанизма, то есть улицы, аркады и площади, должны быть реабилитированы, учитывая новые технологии и транспортные средства.
- 4) Возврат к антропоморфизму — элемент архитектуры постмодерна. Человеческое тело снова обретает свое место в декорации.
- 5) Континуальность и принятие прошлого, анамнез. Воспоминания, реликвии включены в постмодернистские конструкции, понимает ли публика их значение или нет.
- 6) Живопись постмодерна акцентирует нарративный реализм, натюрморты и пейзажи.
- 7) Постмодерн означает «двойное кодирование». Каждый элемент должен иметь свою функцию, дублирующуюся иронией, противоречивостью, множественностью значений.
- 8) Коррелят «двойного кодирования» — многозначность. В этом проявляется отказ от интеграционного минимализма «высокого модерна».
- 9) Воспоминания и ассоциации идей должны обогащать всякое постмодернистское здание, в противном случае оно будет покалеченным, ограбленным.

10) Постмодерн предполагает вступление новых риторических фигур: парадоксов, оксюморонов, много-значимостей, двойного кодирования, дисгармоничной гармонии, комплексности, противоречивости и т.д. Эти новые фигуры должны служить тому, чтобы сделать присутствующим отсутствие.

11) Возвращение к отсутствующему центру. Архитектурный ансамбль или произведение искусств исполняется таким образом, чтобы все элементы были сгруппированы вокруг единого центра, но место этого центра — пусто.

Терминологические вопросы: что за ними прячется?

Еще в 1987 году на первой волне дискуссий о «постмодерне» Вольфганг Уэлш* в своей книге «Unsere postmoderne Moderne» попытался показать генеалогию явления. Уэлш стремится сделать ряд разграничений между собственно «постмодернизмом» и параллельными ему явлениями, — такими, как «постистория» и «постиндустриальное общество». На самом деле, даже при том, что тезисы Уэлша в чем-то обоснованы, они явно не покрывают всю полноту данного явления, и строгое размежевание, на котором он настаивает, оказывается явно преждевременным. Напротив, даже с точки зрения лингвистики, приставка «пост» явно во всех трех случаях не случайна, и на самом деле, объединяет эти три явления, которые, не будучи синонимами, параллельны и взаимосвязаны.

Теория «постистории» развита и впечатляюще изложена Жаном Бодрийяром. «Постисторией» Бодрийяр называет такое состояние общества, в котором актуализированы все исторические потенциальности, а следовательно, невозможно никакое подлинное новаторство. Единственным настроением остается горечь, цинизм, пассивность и серость. Движение мира, по Бодрийяру, достигает конечной стадии, определяемой как «гипертелия», когда возможности полностью нейтрализуют друг друга, порождая повсеместное «безразличие», «индифферентность», превращая нашу цивилизацию в гигантскую машину, «мегамашину», которая, в свою очередь, окончательно и бесповоротно «гомогенизирует» все типы «различий», порожденных жизнью. Так, текстура мира, заключающаяся как раз в производстве «различий», перетекает к фазе производства «безразличия». Иными словами, диалектика дифференциации опрокидывает свою основу и производит индифферентность. Все уже в прошлом: вера в утопии, надежды на лучший мир, поющее завтра... Происходит только одна и та же процедура: бесконечное клонирование, раковая пролиферация, напрочь лишенная всякого новшества, «непристойность ожирения». Постистория не порождает и не снимает больше противоречий, но поглощается экстазом нарциссизма.

Бодрийяр пессимистичен. Он уверен, что основной чертой постистории является утрата веры в утопию. Этот же критерий он применяет к постмодернизму, к эпохе постмодерна. Постмодернистский активизм — лишь тупиковое самообольщение нарциссизма, утратившего последние останки жизни и творчества.

Уэлш пытается опровергнуть Бодрийяра, утверждая, будто тот не понял позитивной стороны постмодерна. Но от этого диагноз Бодрийяра не становится менее убедительным. Если постмодерн и отличен от постистории, все равно это не отменяет их синхронности. Они существуют одновременно и параллельно. Постистория — факт. По меньшей мере, она создает исторический экзистенциальный и культурный фон постмодерна. Можно признать отличие постмодерна от постистории, но нет никаких оснований для того, чтобы их противопоставлять. Скорее напротив, между ними так много общего, что они напоминают близнецов. Далее мы поймем, какие могут быть реальные основания для подобного разграничения. Пока же просто зафиксируем возможность такой терминологической поправки. Уэлш предлагает отделить постмодерн от постиндустриального общества, ярким теоретиком которого является американец Дэниэл Белл. Белл — убежденный технократ, и считает, что постиндустриальное общество является такой стадией развития производственных отношений, когда все исторические социально-экономические противоречия снимаются за счет развития техники. Переход от машинных технологий к технологиям информационным, по мнению Белла, сводит на нет противостояние труда и капитала, эксплуататоров и эксплуатируемых, власти и населения. «Открытое общество» Поппера реализуется на практике, впервые в истории происходит тотальная рационализация социального и производственного бытия человечества. Дэниэл Белл рассматривает постиндустриальное общество как совершенный идеал и высший позитив. Как «конец истории». Единственной преградой для реализации этого идеала Беллу видится культура. Сфера культуры основана, согласно ему, на логике, отличной от дуальной модели рационального функционирования, а следовательно, рано или поздно, обострится главное противоречие постиндустриального общества — противоречие между монолитной и универсальной логикой рациональной технократии и сферической, плюральной и а-рациональной логикой культуры. Таким образом, Белл приравнивает культуру к «субверсивной» реальности, самим фактом своего существования угрожающей беспрепятственному функционированию постиндустриальной «идиллии» тотальной технократии. Но эта оппозиция может не перерасти в открытый конфликт или катастрофу. Если постиндустриальное общество —

мегамашина банков, рыночных механизмов и информационных технологий — сумеет «рекуперировать» культуру, превратить ее в потребительский продукт, в гаджет, в элемент своей замкнутой технократической игры, — ее подрывное содержание будет сведено к минимуму или вообще к нулю.

Представив себе такую успешную операцию, мы получаем картину, строго тождественную «постистории» Бодрийяра. Иными словами, постиндустриальное общество породит совершенную постисторию в том случае, если сумеет избавиться от вызова культуры. Чем же отличается «постмодерн» Уэлша от этих двух уровней — от постиндустриального общества и постистории? Уэлш приводит в качестве основного критерия «оптимизм».

Смутное определение. Чей оптимизм? Оптимизм по какому поводу?

Здесь мы вынуждены обратиться к «новым правам», которые с энтузиазмом приняли сторону Уэлша. Они-то и объяснят нам истоки столь упорного желания выделить постмодерн в самостоятельную категорию.

Оптимизм постмодерна

На вызов «постмодерна» одними из первых среди интеллектуалов, причем с совершенно позитивным и оптимистическим отношением, откликнулись европейские «новые правые» — Армин Мелер, Ален де Бенуа, Робер Стойкерс и т.д. Это вполне логично. Им показалось, что они «пересидели модерн», то есть оказались современниками той эпохи, когда, наконец, кончилась безраздельная доминация принципов и теорий, оставшихся на протяжении долгого времени неприемлемыми для «консервативных революционеров», отвергавших «современный мир», постулаты Нового времени. Против концепции постмодерна выступили многие последовательные гуманисты, в частности, Хабермас, который распознал в этом «болезненный удар по великому проекту Просвещения». И естественно, симметричные (но с обратным знаком) реакции не могли не проявиться со стороны извечных противников Просвещения, «новых правых».

Робер Стойкерс убедительно показал, что в постмодерне увидели свой шанс представители той традиции, которая возникла несколько веков тому назад в качестве альтернативы картезианству и его проекту «*mathesis universalis*», предполагавшему полную рационализацию социального существования и, в частности, предельную равномерность архитектуры. Эта тенденция, т.н. *Gegen-Neuzeit*, «контр-модерна», восходит к 1750 году, когда Руссо в своей речи раскритиковал механицизм Декарта, а Баумгартен в своей «Эстетике» потребовал «эстетической компенсации» нарастающему рационализму. От Вико и Руссо до Бодлера, Ницше и Готтфрида Бенна «контр-модерн» не ослаблял своей жесткой позиции относительно картезианского идеала. И последние наследники данной линии, как им казалось, дождались, наконец, своего часа, то есть того момента, когда пафос модерна оказался полностью исчерпанным (причем это стало очевидно не только его противникам, но и его сторонникам). Отсюда оптимизм «новых правых» при трактовке темы постмодерна, и стремление поддержать дефиниции Уэлша и других теоретиков, начиная с Амитаи Этциони, автора работы «Активное общество», где впервые употреблен сам термин «постмодернизм». Любопытно, что практически тождественный анализ содержания термина «постмодернизм» предложил и «новый левый» Жан-Франсуа Лиотар, увидевший в данном явлении возможность преодоления механицизма и картезианства*. Этот факт означает, что не только «новые правые» имели основание для акцентировки положительного потенциала постмодернизма, вытекающей из специфики их собственной интеллектуальной преемственности «консервативной» традиции *Gegen-Neuzeit*. Мобилизованы были также и те левые мыслители, которые критически относились к современности с совершенно противоположной позиции, рассматривая картезианство как «рационалистический тоталитаризм» и типологическую основу «фашизма».

Как бы то ни было, намечается явная тенденция со стороны отдельной группы интеллектуалов, имевших претензии к «модерну», взять постмодернизм как позитивный инструмент для утверждения своей собственной истины в тех условиях, когда противоположная и ненавистная им позиция теряет видимость абсолютности, начинается раскачиваться, ставиться под сомнение, утрачивать убедительность и очевидность. Если в отношении «новых правых» их робкий оптимизм может быть определен выше приведенной фразой — «пересидели модерн», — то в случае «новых левых» уместно иное определение — «перепрыгнули тоталитаризм, заключенный в модерне», «сделали последний шаг к совершенной свободе». К этой «новой левой» линии оптимистического постмодерна примыкают и Фуко, и Делез, и Деррида, которые — каждый по-разному — видят в данном явлении измерение «новой свободы». Фуко, — в последний период, характеризовавшийся расставанием со структурализмом, — усматривал в постмодерне окончательный разрыв с «универсалистской парадигмой», то есть со всеми эпистемологическими и идеологическими нормативами, которые претендовали на монополию, знание единого «кода» реальности. Взамен

этого Фуко провозглашал начало эры нагромождения «различий», полную фрагментацию реальности, переход к высвобождению сущностной гетерогенности, несводимости вещей и существ.

Жиль Делез развил свою концепцию «ризомы», кишасящего хаоса непредвиденных наложений разнообразных эволютивных и инволютивных цепей. От лейбницевской «монады» Делез перешел к теории «номада», «кочевого блуждания реальности» по лабиринтам витальных эшелонов, несистематических и неожиданных различий и синтетических симультанностей. У Делеза нагляден вполне «левый» оптимизм «освобождения хаоса».

Деррида же обнаружил в том же явлении новые пути «дифференциации», которые отныне обладают не статически музейным, но динамическим характером, так как не могут быть постулируемы и классифицируемы.

Любопытно, что всех этих «оптимистов постмодерна» Хабермас, верный «диалектике Просвещения», обвинил в ренегатстве и чуть ли не в «фашизме», верно подметив, впрочем, совпадение энтузиазма у «новых правых» и «новых левых». Сам же он готов скорее причислить себя к «ортодоксальным левым», отрицающим постмодерн как угрозу возврата к пре-модерну. Но именно этот возврат действительно имели в виду Мелер, де Бенуа и Стойкерс, тогда как мысль постмодернистов с «нового левого» фланга обнаруживала, скорее, тревожный виток абсолютного нигилизма. Итак, подведем предварительные итоги. Существует оптимистическая версия постмодерна, основанная на традиции отрицания (или преодоления) модерна. Если эта традиция представлена как непрерывная линия у некоторых современных теоретиков «консервативной революции», то в случае «новых левых» она воплощается скорее в тенденции к «прогрессивному скачку вперед», за рамки развития, имманентно присущие эпохе модерна и распознанные как ограничительные рубежи. Поэтому существует тенденция противопоставлять «постмодерн» как проект, как интеллектуальное усилие, как «озарение», как стиль, как «активность» иным модальностям ультрасовременной эпохи, которые, в свою очередь, определяют пассивную, фоновую, «негативную» реальность, воплощенную в соответствующих концептах «постистории» и «постиндустриального общества».

Теперь все эти три понятия могут быть иерархизированы. Если рассматривать постмодерн как явление синонимичное и «гомологичное» постистории (Бодрийера или Фукуямы) и постиндустриальному обществу, то мы можем говорить о «пассивном постмодернизме», «фоновом постмодернизме», «пессимистическом постмодернизме». Такой «постмодернизм» строго совпал бы с культурой, полностью рекуперированной технократическим гиперкапиталистическим проектом постиндустриального общества (об этом убедительно писал Арнольд Гелен). Совершенно очевидно, что нечто подобное явно существует и, быть может, является наиболее выразительным и бросающимся в глаза элементом нашей эпохи.

С другой стороны, есть тенденция, напротив, отделять постисторию и постиндустриальное общество от собственно постмодернизма, рассматривая их как антитезы, как полюса, как противоположности. В таком случае постистория и постиндустриальное общество будут синонимами негативных результатов именно «модерна», а постмодерн будет путем преодоления, новым проектом, нонконформистской стратегией, «заданием», «альтернативой». Такой «постмодернизм» можно определить как «активный», «оптимистический», «революционный», «субъектный». И именно на таком понимании сходятся между собой два наиболее радикальных — а это всегда интереснее — фланга современных интеллектуальных полей: «новые правые» и «новые левые». «Новые левые» видят в «активном постмодерне» пришествие освобождающего хаоса, «новые правые» — расчищение пространства для «строительства нового порядка» и «утверждения новой аксиологической структуры».

Парентезис — сплавление крайностей

Отклонимся несколько от главной темы и рассмотрим подробнее совпадение позиций «новых левых» и «новых правых» в вопросе постмодернизма. «Новые левые» и «новые правые» отличаются от «старых» по признаку, который сам по себе может служить наглядной иллюстрацией того, что является сущностью «модерна», *Neuzeit*. «Старые левые» стремятся расширить классическую рациональность до глобального телеологического проекта, основать максимально разумный и упорядоченный строй, доведя до последних границ основные тенденции Просвещения.

«Старые правые» отталкиваются от очень сходной рационалистической парадигмы, но при этом отрицают «проектный», глобалистский, универсалистский и «прогрессивный» ее аспект. «Старые правые» тяготеют к сохранению исторического статус-кво, к укреплению и консолидации уже существующих — социальных, политических, государственных, национальных, экономических и

т.д. — структур в той дискретной диспозиции, в которой они фактически пребывают. «Старые правые» могут быть названы «минимальными рационалистами», тогда как «старые левые» — максимальными. Но к этим магистральным политическим проектам традиционно примешивались ультра-элементы, которые выходили с обеих сторон политико-идеологической карты за кадры приемлемости. Их обычно называют «крайне правыми» и «крайне левыми». На самом деле, эти элементы были изначально довольно чужеродны общей идеологической расстановке сил, так как их ориентации заведомо пересекали нормативы «нового времени». Именно эти тенденции, но не в сектантской и суженно-еретической, а в открытой и авангардной форме, и легли в основу того, что принято называть «новыми левыми» и «новыми правыми». Их отличие от «крайних» было не в идеологии, но в манере, стиле постановки вопросов и обсуждения проблем. В некотором смысле, они были еще более «крайними», чем самые «крайние», вообще сплошь и рядом выходя за рамки установленных конвенций.

Так, «новые левые» поставили под сомнение «тоталитарные» аспекты коммунизма, наглядно проявившиеся в Советах или маоизме. Но не по моральным соображениям, а следуя логике философии освобождения, которая привела их к критике марксизма и разоблачению его «фашистской» сущности. Иными словами, как наиболее последовательная форма «левого» был утвержден «открытый недогматический анархизм». Но такой «анархизм» в своей законченной версии подрывал всю концептуальную систему «прогрессистской мысли», обнаружившую свои принципы в эпоху Просвещения. Источник «диктатуры» и «эксплуатации» обнаруживался в самом разуме, который для «старых левых», напротив, осознавался как главный инструмент освобождения. Ясно, что далее следовал хаотический иррационализм, отказывающийся от любых строгих и фиксированных кодов и рационализаций, вплоть до таких гибких и комплексных моделей, как фрейдизм (см. критику фрейдизма у Делеза и Гваттари в «Анти-Эдипе») «Новые правые», со своей стороны, прошли аналогичный путь, но в обратном направлении. Одним из вдохновителей их мысли был Юлиус Эвола, атипичный политик, философ и идеолог, который рассматривал всю историю современного мира — начиная чуть ли не с христианства — как эпоху деградации и вырождения и противопоставлял этому древнейшие идеалы традиционных обществ Античности. Ясно, что на философском уровне это означало полный разрыв с рационализмом во всех его интерпретациях, а следовательно, и со «старыми правыми», ограничивающимися «национализмом», «этатизмом», конвенциональной религиозностью, морализмом. «Новые правые» — в первую очередь, Ален де Бенуа, Джорджо Локки и т.д. — внешне модернизировали дискурс традиционалиста Эвола, добавили к нему множество культурных, философских и научных пластов, которые выражали ту же тенденции на иных языковых уровнях. В современной философии и физике это направление получило название «холизма», от греческого слова «холос», «целый». Вслед за Эволой «новые правые» утверждали, что дух современности основан на «разъятии целостного», на анатомировании, и это касается как сферы мысли, так и сферы политики. «Новые правые» подвергли масштабной ревизии всю «правую» мысль, отвергнув большинство ее постулатов — «государство-нацию», «мораль», «ксенофобию», «элитизм» и т.д.

«Новые правые» и «новые левые» изначально были скорее постмодернистами, нежели модернистами, если понимать под «постмодерном» его активную версию. Можно, однако, еще более уточнить соотношение их взаимных постмодернистских проектов и выяснить, до какой степени они остаются солидарными.

«Новые левые» постмодернисты считают, что освобождение от «террора рассудка» наступает в пограничном динамико-хаотическом состоянии, в спровоцированном контролируемом помешательстве. Социальный аналог этого — оргиастический праздник революции, перформанс смещения смыслов, растворение иерархий, сатурналия, «потлач». При этом, хотя сами «новые левые» упорно не желают говорить о «созидательной программе», инерция отказа от «классической рациональности» выносит их по ту сторону тонкой пленки «динамического хаоса» и принуждает к утверждениям. Так, к примеру, Жиль Делез в «La logique du sens», следуя за Антоненом Арто, говорит о «новой поверхности» и «теле без органов», что точно соответствует инициатической концепции «нового человека» или «нового творения». Юлиус Эвола, крупнейший специалист в области эзотеризма, именно на аналогичных инициатических теориях основывал свои политико-идеологические модели. Этапы инициации делятся на отрицательные («работа в черном», «растворение», «хаос») и положительные («работа в белом», «создание зародыша», «новая гармония»). Программа «хаотического анархизма» Делеза соответствует первой стадии инициатического делания. Ее социальным аналогом является революция, восстание, оргиастический перформанс и т.д.

«Новые правые» особенно акцентируют, впрочем, вторую, созидательную стадию, творение «нового порядка», «возвращение сакрального», но она возможна только после радикального избавления от «классической рациональности» и ее социальных порождений. Хаос «новых левых» становится зародышем порядка «новых правых». А так как мы говорим лишь о теоретическом проекте, то трудно заведомо сказать, до какой степени будет простираться солидарность этих двух

версий «активного постмодернизма», и когда они войдут (если вообще войдут) между собой в противоречие. Вполне логично допустить, что не весь хаос захочет преобразовываться в «новый порядок», предпочитая остаться в таком же децентрированном состоянии, а это с неизбежностью повлечет за собой новые линии раскола.

Есть одна историческая особенность, которая не позволяет все же говорить о реальном и масштабном сотрудничестве «новой правой» и «новой левой» версий постмодерна. Дело в том, что в Европе (особенно во Франции) несколько десятилетий подряд «новые левые» рассматривались как осевой элемент интеллектуального истеблишмента, как признанные гуру интеллигенции, тогда как «новые правые» постоянно подвергались культурой дискриминации, находясь в маргинальном положении, несмотря на то, что, с чисто теоретической точки зрения, их интеллектуальный вес был примерно равным. Поэтому даже в случае самого радикального нонконформизма «левые» приравнивались к «экстравагантным чудачкам», тогда как «правые», даже весьма умеренные, с негодованием отвергались как «фашисты». Поэтому между двумя идеологическими семьями, столь сходными в общей стратегии, пролегла искусственная социальная пропасть. И последствия этого ощутимы даже сейчас, когда сами «новые левые» на глазах маргинализируются и отлучаются от права на высказывание в либеральном истеблишменте.

Но самое главное заключается в том, что обе версии «активного постмодерна» в целом представляют собой крайне миноритарный культурно-идеологический сектор, который несопоставим с обобщенным «пассивным постмодерном», то есть с откровенным и навязчивым наступлением тех феноменов, которые определяются как «постистория» и «постиндустриальное общество». Теоретическое сближение, возможно, даже слияние «новых левых» и «новых правых» в едином активном постмодернистском проекте, не снимает основной проблемы — проблемы тотализации постистории. Иными словами, активный постмодерн и пассивный постмодерн не являются однопорядковыми категориями. Первый — элитарно маргинален, второй — агрессивно тотален, поддерживается магистральной логикой истории, не меняющей основного курса последних столетий, но доходящей до последних границ.

Суть проблемы в том, что, «пересидев модерн» или преодолев, наконец, тоталитарные границы «классической рациональности», — то есть получив возможность утверждать альтернативные проекты, не боясь подвергнуться «просвещенческой» цензуре, — «активные постмодернисты» потеряли того социально-исторического субъекта, для которого подобное утверждение, подобный призыв еще имели какой-либо смысл. Иными словами, хитрость постистории в том, что она способна рекуперировать свою абсолютную антитезу, которой расчистила путь.

Отсутствующий центр

Тема «отсутствующего центра» в приведенных в начале статьи «правилах» Чарльза Дженкса является показательной. Можно представить себе картину так: «классическая рациональность» отказывается от авторитарной доминации и оставляет центральное место. Но при этом ставится одно непереносимое условие — это место должно оставаться пустым и впредь. Активные постмодернисты — «новые левые» и «новые правые» — радуются, что идол ушел, и готовятся занять его место, так как в их руках сосредоточены нити альтернативного проекта, вся логика и механика нон-модерна и его внутренней структуры. Однако, здесь не учитывается одна принципиальная деталь. «Классическая рациональность», великие «мета-рассказы» современности самоликвидируются не под воздействием внешних факторов, не под давлением внутренней альтернативы, не потому, что признают свою неправоту, а потому, что стремятся найти себе новую форму существования, которая вбирала бы в себя противоположности, не билась с ними, но всасывала бы их в себя. Иными словами, в постмодерне ищет последнего и торжествующего этапа именно дух самого модерна, ведь, в конечном счете, основание разума неразумно, а рассудок и его деятельность вращается вокруг ноуменальной пустоты. Но признание такого обстоятельства может привести к травматическому разрыву и к взыванию к иному (к «витальному порыву» Бергсона, к «сверхрациональному интеллекту» традиционалистов, к «темному мгновению» Блоха или «проклятой части» Батайя, к теории хаоса Пригожина и Мандельброта, к «сверхчеловеку» Ницше и т.д.), и в этом случае речь идет о революции, а может явиться и попыткой сохранения статус кво, но в абсолютизированном, максимальном виде.

У постистории есть явная надежда — сделать «конец времен» бесконечным, превратить кризис рациональности в нечто, длящееся вечно, в *modus vivendi*, в безусловно защищенный, самозамкнутый стиль, сделать из депрессии безразличия, из констатации — ироничный намек, из экзистенциального ужаса — аспирина. Отсутствующий центр, обнаружив себя, делает важнейшую историческую попытку. — Не желая более скрывать ту уловку, которая лежит в основе модерна, *Neuzeit*, постистория пытается навсегда загипнотизировать реальность тем, что добровольно

демонстрирует свою ничтожность, намекая на то, что потенциал имманентного «ничто» несопоставимо шире потенциала «нечто». Пустое место в центре. Не нашим, но и не вашим.

На глазах сбывается событие колоссальной значимости — активный постмодерн, постмодерн как альтернатива, как преодоление, как иное, нежели модерн, обнаруживает отсутствие исторического измерения, утрачивает онтологическую и гносеологическую содержательность, растворяется пассивным постмодерном (постисторией, постиндустриальным обществом), трансформируется в призрак, становится фрагментом сложной скользящей цепи одного из случайных «трудных ансамблей». Вместо подлинного а-рационального хаоса наступает имитационный хаос, «ложный беспорядок», «фиктивная имитационная свобода».

Трудно, конечно, точно предугадывать будущее, но, скорее всего, радикальный пессимизм Бодрийера оправдан. Постистория сумеет поглотить постмодерн в его альтернативной версии. И как по какой-то странной закономерности один за другим уходят на наших глазах из жизни люди, которые воплощали в себе возможность иного пути — Делез, Дебор, Гватарри, Курехин...

Центр стал пустым только на том условии, что его не займет никто. Последняя уловка модерна — самому выступить в роли своего собственного врага. Еще Дебор показал, что наиболее эффективное орудие Системы заключается не в жестком распределении ролей — друг-враг, но в мягкой интеграции, рекуперации, скруглении углов, всасывании антитезы. Постмодерн со всей изначально присущей ему двусмысленностью и соскальзыванием значений — идеальное орудие для достижения этой цели.

Чем гарантируется бесконечность постистории? Тем, что кончатся нечему, тем, что забегая вперед, прогностически утверждается как нечто сбывшееся, как конец, нечто не сбывшееся; как нечто наступившее нечто не наступившее, и тем самым, происходит ускользание от того, что, по всей логике, должно было бы сбыться и наступить.

Черная, черная Ночь

Если рассмотреть ситуацию предельно честно, то мы должны констатировать большую правоту пессимиста Бодрийера. Это значит, что в своем массивированном проявлении, в крупном масштабе постмодерн все же является лишь дополнительным измерением постистории и стилем постиндустриального общества. Иными словами, в подавляющем большинстве случаев постмодерн есть «пассивный постмодерн». Активный постмодерн, совместный идеальный проект «новых правых» и «новых левых», представляет собой «призрак», тень, мерцающую на грани проявления, не способную воплотиться в субъекта истории. При этом дело не только во внутренней слабости и количественной незначительности нон-конформного полюса. Сама Система активно препятствует и предупреждает любые возможности оформления альтернативы в сплоченную целостность даже самого малого масштаба. Гигантские силы постистории затрачиваются на то, чтобы не допустить синтеза «новых левых» и «новых правых», даже при том, что, вместе взятые, они представляют ничтожный процент массовых обществ. Постиндустриальное общество, видимо, всерьез отнеслось к концепции Белла относительно жизненной опасности культуры для технократии. Поэтому технократия (в союзе с плутократией и медиакратией) спешит полностью скупить и освоить культуру, а там, где это наталкивается на сопротивление, включается аппарат репрессий. Так было в случае с французской интеллектуальной газетой «Idiot International», жестоко разгромленной Системой в 1993 по абсурдному обвинению в «красно-коричневой» ориентации. Под этим уничижительным термином понимается нон-конформистский альянс активных постмодернистов из различных идеологических лагерей. И действительно, в редакционной коллегии газеты были «новые левые», коммунисты, гурю «новых правых» Ален де Бенуа и многие другие политически парадоксальные личности. Газета была закрыта, а ее руководители были вынуждены пройти через уничижительный процесс публичного покаяния. Несмотря на видимость, постиндустриальное капиталистическое общество остается жестко тоталитарным по сути.

Мы не отказываем активному постмодернизму в праве на существование, напротив, мы сами рассматриваем себя как органических представителей этого направления. Но мы не склонны обольщаться относительно успеха материализации этой тенденции. Если бы она смогла обрести минимальный социально-исторический объем, мы вступили бы в эпоху Революции, и химеры постистории рассеялись бы, как предрассветный туман. Надо делать все для того, чтобы так оно и вышло. Однако мы должны опасаться принять несуществующее, мерцающе-потенциальное за актуальное. Если мы попадемся в эту ловушку, то незаметно общество спектакля, постистория, пассивный постмодернизм поглотит нас самих, превратив в гаджет, в рекламную экстравагантную пародию, в постмодернистский двусмысленный, синкопированный, соскальзывающий штамп. Активный постмодернизм — радикальная антитеза постистории, активное растворение существующей Системы, громогласное и победоносное утверждение пустотности ее центра. Эта

пустотность вместо того, чтобы оставаться кокетливой, поверхностной, щекотливой, играющей и претендующей на вечность, должна открыться как пустотность бездонной воронки онтологического уничтожения. Иными словами, активный постмодернизм станет реальностью лишь в том случае, если современный мир провалится в пустоту своего собственного центра, будет на деле съеден пробужденным хаосом, который низвергнет Систему в сумерки агонизирующего страха и болезненного, несладкого, признанного распада. На место «положительного отрицания» вечной тупиковой эволюции пассивного постмодерна, постистории придет единственная и уникальная, изъятая из игры экранных теней синкопа Революции и «уничтожающее катастрофическое отрицание», уже не условное и не стильное, сырое, варварское, мстительное. Пока же этого нет, пока постистория сохраняет полноту власти и контроля, наш полюс остается балансом на краю бездны, полусуществованием, тлением эсхатологической потенции. И мы обязаны признавать его именно таким, каков он есть. Это трагично, но зато ответственно.

Активный постмодерн как пост-постмодерн, как конец постиндустриального общества и финальная Революция стоит под вопросом. Он может сбыться, а может и не сбыться. Пока видимость вещей подталкивает нас к заключению, что сбыться ему будет очень не просто. Но есть нечто, что не подлежит сомнению, что является безусловным и совершенно неизбежным.

Конец истории не будет длиться бесконечно, несмотря на все его претензии. Эта мнимая бесконечность конца — последняя иллюзия зона, дошедшего до своей границы. Имманентный процесс не хочет переходить волшебную грань от бесконечно-малого до никакого, от почти ничто к самому настоящему ничто, от квазисуществования к тотальному несуществованию. Стремление к телеологической точке хочет растянуться до бесконечности в максимальной близости к этой точке. Так в парадоксе Зенона черепаха пытается сделать несколько маленьких шажков, чтобы обогнать быстрого Ахилла — вестника смерти.

Время чувствует, что его время заканчивается, выходит. Что приходит иное время — время конца. И в страхе оно сбивается с прямого пути. Заворачивается в спирали, свертывается, дробится, прикидывается состоящим из бесчисленных квантов, аналитическое перебирание которых одного за другим все оттягивает и оттягивает заключительный аккорд. Процесс хочет пережить свой конец, сохранить себя в инобытии химерической виртуальной жизни, на экране игры имиджей, в клонах и муляжах вещей и существ. Изобретательность агонизирующего автомата неохватна, почти бесконечна. Она воплощена в стратегии пассивного постмодерна, которая выдает себя за абсолютный стиль, так как в нем есть потенции для универсального многократного рециклирования всех исторически фиксируемых или симулированных ситуаций.

После постмодернизма не может быть никакого следующего направления, так как это — абсолютный стиль. Тотальным он станет, однако, только в том случае, если справится с мерцанием активного постмодерна. И тогда иллюзия бесконечности будет совершенной. Но и в этом случае она останется лишь иллюзией.

Все имеет конец. Этот конец сам по себе конечен, дискретен. Раз — и все. И гаснет экран галлюцинации, называемой современным миром. И в прах превращаются трупы телеведущих, ценные бумаги, полицейские управления, аккуратные политики в костюмах, дядюшки Скруджи из Трехсторонней комиссии и Чэйз Манхэттен банка, сумасшедшие ученые с клонированной овцой Долли, цветные журналы с загорелыми девицами на пляжах и хитроглазые перверты-дизайнеры «нового мирового порядка». Черная ночь приходит бесшумно и безвозвратно. Вот это вне сомнений. Какие бы фортели ни выкидывало время у порога тайны реального конечного Конца, а не его упреждающего симулякра, твердой дланью иного хронологическая змея будет взята за скользкую шею рядом с плоским черепом. И череп этот вместе с ядовитым жалом будет одноразово свернут. Это точно. Это наверняка. Это вне сомнений.

Wann endet die Zeit?
Gott weiss es.
Gott weiss es.
Gott allein weiss es.

Но есть миг, есть час, есть стук сердца и звон звезды, когда это, наконец, случится.

Черная, черная Ночь.

А.Г.Дугин

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЛДАТ

Две части человека

Человек состоит из двух частей. Одна — данность, очевидность. Эта часть осязаемая, конкретная, индивидуальная. Она настолько изучена, предсказуема и механистична, что французский философ Ламетри назвал свой главный труд выразительным титулом — «Человек-Машина». Глупо отрицать, что эта часть превалирует. Психологический детерминизм, экономическая зависимость, врожденные импульсы, податливость к силовому воздействию извне, сексуальные влечения, голод, сон, механика рациональных умозаключений — все это дает возможность разложить человека на составляющие. Подробное изучение этих сфер и объединение полученных данных позволяет выработать наиболее эффективные способы управлять «человеком-машиной», использовать его. Все лишь дело техники. Когда нам приходит в голову мысль, когда мы совершаем поступок, когда испытываем какое-то чувство, — это не триумф свободы, но банальное верчение психофизических шестеренок.

Чаще всего эта первая часть в человеке является одновременно и единственной. Поэтому совокупность «человеко-машин» и их естественную самоорганизацию принято называть техническим термином «Система». Система как форма существования общества, коллектива, народа, социального института и т.д. Но человек не просто «машина», он — машина глупая и тщеславная. Он принимает себя всерьез и искренне верит в то, что мутное вращение невидимых маховиков его телесных и вегетативно-сублиминальных недр и есть нечто ценное, спонтанное, серьезное, непредсказуемо личное. Из такого несоответствия между механистичностью и претенциозностью рождается «Спектакль». Система обязательно включает в себя ложь, гипнотизирует свои винтики иллюзией великого тщеславия. Не Ламетри она берет в качестве знамени, но лицемерную доктрину «гуманизма», покрывая цинизм механического отношения к человеку пышной и льстивой демагогией.

Почему все же Система обязательно, всегда, в любом случае обращается ко лжи, тяготеет к спектаклю?

Потому что в человеке есть вторая часть. Эта вторая часть не данность, но задание. Не действительность, но возможность. Не наличие, но отсутствие. Не пребывание в рамках, но преодоление их. Вторая часть — в отличие от первой — может быть, но может и не быть. Она не гарантирована, не обеспечена. Более того, она рискованна и опасна. Это выход за рамки «человека-машины», но так как на самом деле «человек-машина» покрывает всего человека, то это подразумевает выход за пределы человека как такового. А за этим пределом не только герои, полубоги, сверхлюди и ангелы. Там же порхают демоны, копошатся монстры, ползают звери, носятся тени и валяются трупы.

Вторая часть предполагает прыжок в бездну. Это под силу немногим. Но мерцание новой свободы, притягательность нечеловеческого (точнее «нечеловеко-машинного») так велика, что у каждого есть в глубине души странная, часто почти патологическая тяга к этому особенному измерению, где не действуют более законы автоматов, часов, заводных механизмов.

Именно эта тайная претензия, зачатки которой носит в душе каждый, но реализуют которую лишь редчайшие одиночки, и заставляет «Систему» лгать, делать вид, что она признает за человеком эту «вторую часть», хотя, на самом деле, она основана на ее совершенном и радикальном отрицании. Спектакль рождается именно из извращенной и обесцеленной воли души к свободе, из прагматичной и циничной эксплуатации «второй части». Поэтому «общество спектакля» безнравственно вдвойне — оно не только подавляет, но и лжет. Любой тоталитаризм благороднее и честнее циничной и сознательной лжи либерал-демократии. Она замахивается на самое таинственное и священное. Мягкий концлагерь общества потребления чудовищней ГУЛАГа и Аушвица ровно вдвое.

Гуманизм против гуманизма

Двойственность человека делает понятие гуманизма тоже двойственным. Это заметили современные философы, предложив ввести пару понятий — «минимальный гуманизм» и «максимальный

гуманизм». «Минимальный гуманизм» считает, что человек-машина — это единственная, пусть скромная, но зато безопасная антропологическая категория, с которой надо смириться, пытаться лишь расширить сферу ее нарциссических иллюзий. Автомат способен грезить. Новейшие средства информационных систем — масс-медиа, интерактивные компьютерные сценарии, тотализация телевидения — создают для этого все необходимые условия. Все «неминимальное» в человеке, имеющее отношение к его второй части, переводится в плоский формат контролируемой галлюцинации, управляемого гипноза. Цифровые (дигитальные) технологии играют при этом ключевую роль. Образы, звуки, даже ощущения переводятся в цифровые коды, превращаясь в элементы социального гиперкомпьютера.

Такой «минимальный гуманизм» решительно отвергает те стороны «классического гуманизма», которые всерьез рассматривают возможности человека реализовать «вторую часть».

«Вторая часть есть функция от первой части, ее необязательное, случайное ответвление, ирония эволюционного процесса. Принимать ее как нечто, что может стать действительностью, значит ставить под удар всю человеческую цивилизацию», — вот новейший вывод «минимальных гуманистов», активно пересматривающих свое наследие на предмет «политической корректности». Ни Ницше, ни Марксу, ни Хайдеггеру, ни Фрейдю в нем места не остается. У них явно доминируют элементы другого гуманизма, «максимального».

«Максимальный гуманизм» ставит акцент на второй части. Не важно, как он ее понимает. Ницше учит о Сверхчеловеке; Маркс — о преодолении индивидуальности в новой общине планетарного типа (коммунизм), Фрейд — о доминации внеиндивидуальных категорий (Эрос и Танатос), Хайдеггер — о «потерянном Бытии», скрывшемся вместе с богами и героями от современных людей, но обретаемом через травматический опыт контакта с ничто. «Максимальный гуманизм» делает из неочевидной второй части — центр своей концепции.

По мнению «минимальных гуманистов», это ведет к ужасам крематориев или сталинских лагерей. Да, таковы издержки рискованной и опасной попытки кардинально повысить бытийный статус человека, утвердив в качестве его центрального элемента возможность героического видового самопреодоления. Положительные (и отрицательные) стороны обоих гуманизмов — и максимального и минимального — не так очевидны. Минимальный гуманизм заключает человека в безысходные рамки arrogantной галлюцинирующей куклы, чья свобода заведомо сводится к плоской фикции. Максимальный гуманизм идет на риск онтологического отбора — «избранные» возвышаются к сверхчеловеческим вершинам за счет «проклятых», оплачивающих своим человеческим страданием отчаянный эксперимент по выходу за пределы. Ведь преодоление человека-машины требует определенного насилия — по меньшей мере, над теми, кто такого преодоления вовсе не жаждет (а это, увы, большинство).

Спектакль и политика

В «обществе Спектакля», основанном на «минимальном гуманизме», все понятия и все инстанции имеют особый, игровой, фиктивный смысл. Это компьютерная, электронная, дигитальная реальность. Все в ней отцифровано, фальшиво, поддельно. Политика не исключение. Она существует как театральное представление, заполняющее в «человеке-машине» ту идеалистическую нишу, которая — как отрубленная конечность — дает о себе знать даже в том случае, если она давно уже пуста. Ноющее стремление выбирать, соучаствовать, решать, — этот пережиток «максимального гуманизма», всерьез принимавшего человеческое достоинство, — успокаивается через зрелище противостояния власти и оппозиции, партий и кандидатов, профсоюзов и общественных деятелей. Это то, что называют сегодня «политикой» и что вызывает у внимательных людей такое глубокое и непреодолимое отвращение.

Но подобно тому, как существует две части в человеке и, следовательно, два гуманизма, так существует и две политики. Политика «общества спектакля» — минимальная, массмедийная, чисто театральная. И другая политика — максимальная, рискованная, серьезная, опасная, жестокая. Об этой «второй политике» писал Карл Шмитт в своей важнейшей работе «Понятие политического»*.

Такая политика является избранной сферой для реализации второй, неочевидной, героической части. Она оперирует с реальностями, которые могут затребовать как минимум жизнь того, кто к ним прикасается. За идеи и взгляды здесь надо платить по всей строгости, а противоречия решаются не в теледебатах, но на баррикадах, в тюрьмах и застенках. Такая политика начинается как минимум с отвержения Системы и общества спектакля. Точно так же, как вторая часть в человеке начинается с преодоления «человека-машины», а максимальный гуманизм, в первую очередь, отвергает предпосылки минимального гуманизма. Когда человек рассматривается всерьез

как нечто свободное и достойное, его политический выбор обретает духовное, метафизическое измерение. Мировоззрение становится сродни конфессии, а партийные пристрастия неразрывны с глубинными онтологическими ориентациями.

Две политики не просто различны, но несовместимы друг с другом. Они не «совозможны» (по терминологии Лейбница).

Что такое политика?

Главной фигурой политики «общества спектакля» является чиновник-актер. Как чиновник он — лишь технический работник системы; как актер он — терапевт, гипнотизирующий в людях «вторую часть», чтобы не допустить ее активизации, ее действенного проявления. Для себя такой политик полностью признает справедливость тезиса Ламетри, но вовне, к массам обращается на языке цифровых мифологий, цинично и прагматически учитывающих данные психоаналитиков и новейшие методики гипнотизеров.

На противоположном полюсе, в центре максимальной политики находится альтернативная фигура — политический солдат. Он — антипод актера-чиновника. Все в нем — в обратной пропорции. Он признает Ламетри как данность, как наличие, и открыто утверждает это вовне. Макиавелли для него не руководство «для служебного пользования», но программный документ, имеющий ценность свидетельского показания. Но признание механистической структуры индивидуума не приводит его к согласию с таким положением вещей. Разоблачая мифы минимального гуманизма через демонстрацию их несостоятельности, он выступает отнюдь не как скептик или циник.

Миф плох как надувательство, но хорош как нечто, ставшее реальностью. Его реализация — категорический императив, этическое видовое задание. Тайное должно стать явным. Возможное должно заступить на место действительного. Не в грезах оглушенного телезрителя, но в живой ткани непосредственного плотско-духовного, органического бытия должен осуществиться проект фантастического существования.

Политический солдат видит в политике главное поле битвы, так как лишь в общественном масштабе внутреннее всерьез соприкасается с внешним, а значит только так можно судить о его действительной преобразующей магической силе. Политический солдат поэтому далек от одинокого мечтателя или ядовитого критика современной цивилизации. Даже если эти изоляционистские типы и правы (скорее всего, правы) в том, что изменить ничего нельзя, они пассивно подыгрывают Системе своим отказом идти на заведомо обреченное восстание. А значит сами они в глубине души не верят в весомость и силу «второй части», веры даже размером с горчичное зерно у них нет.

Политический солдат, со своей стороны, убежден, что невозможное возможно, что неочевидное истинно, что обреченное на поражение рано или поздно придет к триумфу. Он все видит по-своему и настаивает на своем видении вопреки любым доказательствам.

Максимальный гуманист, любой человек, всерьез утверждающий реальность второй части, не может не быть «политическим солдатом». Это не теорема. Это — аксиома.

Такой простой выбор

Какую политическую позицию следует занимать политическому солдату в наши дни? Когда-то этот вопрос стоял довольно остро и предполагал целую гамму решений. Сегодня он начисто лишен содержания. Когда существовало несколько вариантов для выбора между версиями максимальной политики, можно было говорить о решении или просто постановке этой задачи. Теперь все изменилось.

Политический солдат имеет сейчас лишь пядь социального пространства, и на этой пяди не может вестись никаких идеологических или межпартийных дискуссий.

После краха Советского лагеря нет никакой (даже теоретической) возможности для разговора о Третьем Пути. Общество спектакля, либеральная система, идеология «минимального гуманизма» — отныне только это является единственной политически корректной реальностью, предлагающей всем играть по установленным правилам, где выбор фиктивен, а решение иллюзорно. Это и называется «концом истории» (по Фукуяме). Система восторжествовала в универсальной,

единообразной, униформной модели. Ей противостоит не спектр антитез, но одна единственная фигура, одна единственная реальность, одна единственная личность — политический солдат.

На его знамени ничего не написано, оно черно, как ночь. Он не строит проектов и не рисует заманчивые картины грядущего. Он не соблазняет и не обманывает. Он не настаивает на правоте своего личного пути, так как это представляется ему совершенно не актуальным. Речь идет еще не о конкретном выборе, но о самой возможности выбрать в реальной и свободной, а не в симулированной шкале. Не о правоте своих идей, но о возможности исповедывать какие бы то ни было идеи совершенно независимо от массмедийного тоталитаризма и норм «политической корректности». Политический солдат думает не о победе, но о самой возможности начать битву. Ведь система не просто сильнее его, она делает вид, что его вообще не существует, что сам этот тип принадлежит к преодоленному прошлому, что это все — лишь поза, эстетическая игра, элемент виртуальной индустрии фикций...

Политический солдат — это одновременно и религиозная и нерелигиозная позиция. Сегодня можно быть членом системы и успешно примыкать к какой-то конфессии. Но можно быть атеистом, но насмерть стоять против системы. Система совсем не глупа. Она далеко ушла от наивности Ламетри, Огюста Конта или собаки Павлова. Она прекрасно освоила новейшие данные психологии глубин, истории религий, учла значение символизма и мифологии. Чиновнику-актеру ничего не стоит постоять в храме со свечкой, одеть чалму, совершить намаз или прочитать «Барух ата». А хитрому подлецу-конформисту на дне системы ничего не стоит сделать вид, что он верит в разыгрываемую пьесу.

Поэтому политический солдат не любит пышной религиозной риторики (хотя в глубине души и может оставаться верующим). Его язык сух. Он предпочитает конкретность действия.

Какого?

А вы сами не догадываетесь?

А.Г.Дугин

"Философия хозяйства", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ СОВРЕМЕННОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

Тезис Фрэнсиса Фукуямы о наступающем (фактически наступившем) «конце истории» теснейшим образом увязывается им самим с наступлением эры либерализма. Другой либеральный мыслитель и идеолог — Жак Аттали — в очень схожих тонах трактует «денежный Строй», *Ordre d'Argent*, который, по его мнению, сегодня окончательно сменяет «Религиозный Строй» (*Ordre de Foi*) и «Строй Силы» (*Ordre de Force*). Мы привыкли — вслед за Раймоном Ароном, Карлом Поппером, Николаем Бердяевым и Норманом Коном — говорить об «эсхатологической ориентации коммунистических учений». Более того, вскрытие этого завуалированного эсхатологизма было до поры до времени одним из самых сильных аргументов в пользу «антинаучности», «утопичности», «архаичности» (читай «несбыточности») коммунистических и даже социалистических концептуальных построений со стороны его критиков. Сегодня мы повсюду сталкиваемся с новым явлением — главные борцы с «эсхатологизмом», либерал-демократы, сами выступают в роли проповедников и глашатаев «конца истории». Такая метаморфоза требует от нас самого пристального внимания и самого серьезного исследования.

Показательно, что тот же Фукуяма заимствует тезис о «конце истории» у Фридриха Гегеля, которого Поппер возводит в сомнительный ранг «духовного отца всех разновидностей современного тоталитаризма — как правого, так и левого». Но Фукуяма — в очередной раз, вслед за Марксом или Джентиле перетолковывая прусского националиста Гегеля — на сей раз применяет концепцию «конца истории» к той фазе, которая наступает вместе с победой либеральной идеологии и рыночной парадигмы хозяйствования (в ее наиболее абсолютизированной англосаксонской форме) над всеми остальными формациями — феодальными, социалистическими, националистическими, религиозными. (Кстати, этот тезис он почерпнул у гегельянца Кожева, который довольно давно —

но с отрицательным знаком — увидел грядущее исполнение гегельянского тезиса не в Советах, как он думал раньше, а в США).

Так, последним словом человеческой истории провозглашается капитализм в его наиболее совершенной, наиболее развитой стадии.

Эта современная стадия капитализма отличается от известных исторически классических его форм. Отличие настолько существенно, что сегодня для его определения принято говорить о новой стадии развития общества — о постиндустриальном или информационном обществе. Такое постиндустриальное общество есть социально-экономическое и социально-политическое выражение постмодерна. Верно и обратное: постмодерн является культурным эквивалентом постиндустриального общества, начинающего полнее рефлексировать свою сущность, свое глубинное отличие от предшествующих этапов.

Мрачные прозрения в сущность новой стадии развития капитализма, когда Капитал окончательно подчинит себе все альтернативные силы и полюса социальной истории, составляли завещание последних мыслителей «новой левой» школы — Делез, Гваттари, Дебор, Бодрийяр. В их трудах последнего периода (для первых трех — в предсмертных трудах) наступление постиндустриального порядка рассматривается в крайне зловещих тонах. Но с тезисом о «конце истории» они, в принципе, согласны. Бодрийяр, правда, предпочитает говорить о «постистории», что то же самое. Таким образом, левая и антилиберальная мысль, — хотя и с противоположным, пессимистическим знаком, — в целом согласна с диагнозом оптимистического капиталиста Фукуямы, идеального «последнего человека» (именно ницшеанской концепции «последнего человека» посвящена последняя книга Фукуямы). Но там, где сами либералы видят исполнение исконных чаяний о «прекрасном новом мире планетарного рынка», «новые левые» видят триумф капиталистического отчуждения и социального зла, «реальной доминации капитала», следующей за эпохой его «формальной доминации» (формула из шестого тома «Капитала» Маркса).

Оптимизм либералов основан на их понимании человеческой истории как зла. Ее содержанием было «непрерывное хаотическое насилие, следование иррациональным импульсам архаичной человеческой души, которая постоянно стремилась спроецировать свое дикарское содержание на социальные реальности, порождая конфликты, войны, революции, режимы, постоянно тяготеющие к тоталитаризму» (см. анализ Фукуямы у Кондилиса, Ноама Чомски и Армина Мелера). По мнению либералов, «история длилась до тех пор, пока человеческий индивидуум стремился воплотить свое индивидуальное начало во внеиндивидуальных сферах, порождая насилие, конфликтность и неравенство». «Мифологическое растяжение индивидуального до вселенских масштабов и есть философская основа всех нелиберальных, иерархических, тоталитарных обществ — как древних (рабовладельческих, феодальных), так и современных (коммунизм, фашизм)». И во всех случаях социальная доминация основывалась на экономическом насилии над «естественными законами рынка». Либералы рассматривают наступление капиталистического порядка как необратимый шаг прочь от «вечного возвращения», на котором жидились традиционные общества или их современные, завуалированные, внешне модернизированные дубли. Линейное время возникает вместе с капитализмом и начинает прокладывать свой магистральный путь сквозь инерциальные толщи циклических (или синхронических) представлений.

Двадцатый век был ознаменован борьбой либерализма в его наиболее рафинированном, очищенном виде против закамуфлированных реставраций парадигм традиционного общества, наиболее яркими из которых были «фашизм» и «коммунизм». После победы над Гитлером последним бастионом истории остался советский лагерь. В советской идеологии тоже речь шла о том, что при коммунизме история будет преодолена, но либеральный анализ вскрывал за этим не радикальное и окончательное преодоление мифа, но замаскированный миф в новой форме. Падение социалистического лагеря и начало рыночных реформ стало для либералов мессианским знаком. Именно тогда и появляется знаменитый текст Фукуямы, который стал социально-политическим манифестом победившего либерализма, либерализма, преодолевшего своего последнего и самого серьезного противника.

Этот момент — конец 80-х–начало 90-х — является решающей разделительной линией. Многие вещи были впервые названы политической элитой Запада своими именами. Мы услышали из уст западных властителей все те ключевые слова и пароли, которые отчаянно реконструировали маргинализированные и демонизированные критики. «Новый мировой порядок», «мировое правительство», «единый мир», «планетарный рынок» и т.д. Если ранее либерализм сосредоточивал свои концептуальные усилия на «разоблачении иррационального мифа, лежащего в основе псевдонаучных построений марксизма и иных антикапиталистических учений» и при этом использовал преимущественно критический, аналитико-позитивистский метод, то отныне после

исчезновения оппонента, открылась возможность самим прибегнуть к утвердительным конструкциям, удивительно напоминающим мифологический язык только что поверженного врага.

Иными словами, на рубеже 90-х либерализм, долгое время выступавший скорее с критикой и аналитическим разъятием «холистских конструкций» своих оппонентов, сам стал активно использовать язык мифа, против которого столь долго боролся.

Показательно, что взрыв интереса к геополитике на Западе приходится как раз на этот момент, а геополитика является как раз той дисциплиной, которая строится на сознательном сочетании мифологического символизма и научно-критической методологии. Итак, оставшись наедине с самим собой, либерализм вынужден был заговорить языком мифа. Каковы основные черты этого мифа? Каковы источники и составные части либерализма?

Законченная эсхатологическая модель либеральной концепции основывается на следующих концептуальных блоках:

— минимальный гуманизм, индивидуализм как универсальный ключ для любых (в рамках политкорректности) разновидностей гносеологии; отсюда микроантропоморфизм интерпретаций; теза софиста Протагора «человек есть мера вещей» приобретает редуцированный характер — «маленький человек есть мера вещей», «индивидуум есть мера вещей». Этот минимальный гуманизм радикально отличает либеральное мировоззрение и от негуманистических концепций (свойственных традиционных обществам) и от максимального гуманизма коммунистов;

— просвещенческая концепция однонаправленного прогресса, линейного механического времени, необратимого поступательного развития;

— культурный, цивилизационный и экономический расизм Запада, выступающей под видом «универсализма» и «общечеловеческих ценностей»; это наследие католического понимания ойкумены, отождествляемой со «всем миром», но откуда были исключены не только нехристианские народы, но и Православный Восток;

— специфический англосаксонский мессианизм, в котором протестантская этика хозяйства (капитализм), наделена религиозным, сотериологическим значением;

— представление о техносфере как о самодовлеющей ценности;

Все эти компоненты складываются в законченную интерпретационную модель, позволяющую либералам со всем основанием заявить если не о наступившем, то о наступающем «конце истории».

Минимальный гуманизм, лежащий в основе обскурантистской по своей сути теории «прав человека», стал проговариваемым (или подразумеваемым) стержнем современности, пронизывающим юридические, культурные, социальные, политические, экономические, хозяйственные сферы. Эталон «последнего человека» транслируется на тысячи ладов всеми видами СМИ — причем от самых концептуальных форм (философские проповеди либеральных теоретиков) до самых упрощенных — суггестивных стилизаций рекламных роликов и телевизионных заставок.

Факт падения социализма перед лицом рыночного строя является фактом огромного гносеологического значения. Речь идет не о победе более эффективного порядка над менее эффективным, речь идет о выигрыше колоссального спора о содержании «конца истории». Проигрыш коммунистической версии этого конца имеет необратимые последствия. Линейное время окончательно побеждает циклическое. Запад после выигрыша холодной войны становится единственным полновластным центром геополитической власти. Падение Восточного блока подтверждает в глазах либералов окончательную историческую правоту своего пути. «Полноценные люди Запада победили неполноценных архаиков Востока».

Англосаксонский мессианизм, сформировавший американское общество по искусственному социально-экономическому шаблону, доказал в глазах его приверженцев свою состоятельность как великий либеральный эксперимент. Победа США над СССР, в такой оптике, приобретает характер «исполнения пророчеств», эсхатологически обещанное падение «империи зла» (Рональд Рейган). Технологическое развитие, и особенно рывок в информационной инфраструктуре, где лидером опять же являются либеральные страны, позволяет Западу контролировать и задавать исходные параметры структуры техносферы. Это обеспечит материально-силовую поддержку новой либеральной гегемонии.

Налицо все признаки осуществляющейся, сбывающейся эсхатологической утопии. Либеральной утопии.

Как и всякая утопия, как и всякий миф, такая концептуальная конструкция стремится избежать критического анализа, апеллирует к эмоциональной, сублиминальной, суггестивной сфере. Стремится выдать себя за нечто само собой очевидное, естественное, безальтернативное, неизбежное. За то, чем она не является.

Задача корректного ученого — проигнорировать этот гипнотический и вполне тоталитарный заряд, и беспристрастно выяснить структуру либерального, в том числе и рыночного, мифа.

Готовых рецептов здесь нет. Историческая ситуация является беспрецедентной, уникальной, и только сочетание серьезной научной подготовки с эвристическими методами может вывести нас на позицию, с которой мы увидим во всем объеме реальные очертания того «прекрасного нового мира», который нам усиленно навязывают современные проповедники рыночной либеральной Веры.

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 1999
"Вторжение", №19, 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

МАГИЧЕСКИЙ ВЛАСТЕЛИН

Царское счастье

Тема власти испокон веков была связана с мистическими сюжетами. Фигура царя, императора, вождя виделась в особом сакральном свете. Власть воспринималось традиционным человечеством не просто как материальное или социальное могущество, но как трансцендентное избранничество. Миссия властелина была миссией священной.

Это в разных формах запечатлено в серии религиозных теорий, мифов, легенд. В политеистическом мире Греции, Рима или Древней Индии династии царей возводились к божественным или полубожественным предкам. Священное право царской власти основывалось на видовой инаковости происхождения. Как боги правят вселенной, так и их прямые земные потомки — цари — правят землей, частью вселенной.

В Древнем Иране цари считались наделенными специальной сверхъестественной силой — хварено или фарн. Эта сила — изображавшаяся в виде крылатого диска — давала им высший авторитет, равный богам.

В цикле средневековых европейских легенд о Короле Артуре он предстает как сакральная фигура, призванная осуществить сложную миссию, связанную с реализацией «мистико-политического спасения» мира, — поиск Святого Грааля. Вместе с Артуром неотступно движется фигура мага Мерлина. Мерлин — жреческое начало — подчеркивает сакральную миссию королевской власти, постоянно напоминает Артуру о его предназначении, осуществляя попутно чудеса и помогая в битвах. В христианском мире это древнее священное почитание фигуры властелина не исчезло. Православие знает священную фигуру Царя-Императора, помазанника Божьего, которого святые отцы отождествляли с загадочной функцией «державного», «катехона» из «Второго Послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам». «Катехон»-император — тот, кто препятствует приходу в мир «сына погибели», «антихриста». Снова — хотя на этот раз в совершенно ином религиозном контексте — мы видим в фигуре Царя священное предназначение, интимную связь с тайными судьбами мира.

Метафизика власти

Всеобщее согласие самых разнообразных религиозных форм в отношении фигуры царя не случайно. Оно вытекает из общего представления человека Традиции об устройстве мира, о роли в нем человека.

Традиция учит, что человек поставлен в центре земного мира, в центре земных вещей, подобно тому, как Божество присутствует в центре всего бытия. Однако сам факт множественности людей, наблюдение за очевидным неравенством их качеств противоречат этому полярному представлению об избранной миссии человека как вида. Отсюда естественно возникает заключение, что подлинным человеком, «совершенным человеком», человеком в сакральном смысле является далеко не всякий. Более того, так как центр, полюс, по определению, только один, такой человек тоже должен быть одним. Это и есть метафизическая база царской власти, мистического монархизма. Царь соответствует единственному полноценному человеку. Все остальные люди — люди частные, как бы незаконченные. Их царское достоинство потенциально. Для его реализации им необходимо предпринять еще множество усилий, то есть обычные люди в каком-то смысле недолюди, недо-цари. И наоборот, если брать за норму обычного человека, то Царь видится как сверхчеловек, как нечеловек, как нечто неизмеримо большее.

В центре вещей не может стоять толпа. Такая система неотвратимо рухнет, так как хаос проникнет в ее сердцевину. Там, в точке полюса, есть место только для одного, для Единственного. Не важно, хорошо ли правит царь или нет. В Китае, к примеру, лучшим императором считался тот, кто как можно меньше вмешивался в конкретные дела Поднебесной и как можно больше предавался созерцанию, «деянию недеяния». В своем магическом дворце Мин-Тань китайский император передвигался в зависимости от сезона от зимнего крыла в весеннее, из весеннего в летнее и т.д., как солнце. И дела в Государстве шли отлично (народ отъедался, чиновники крали и самодурствовали в меру, мудрецы-даосы пили вино и летали по воздуху, лисы беспрестанно заходили в гости к крестьянам и т.д. — читай традиционную китайскую литературу).

Царь не просто самый положительный человек, «лучший из всех», наделенный достоинствами и добродетелями. Царь просто не может и не должен оцениваться в соответствии с обыденной логикой. Его ценность заключается в его судьбоносной функции, в его особом внутреннем бытии, а не в эффективности его государственного менеджмента. Этот менеджмент — дело визирей, советников, воевод, администраторов, канцлеров, чиновников. Сам Царь выполняет сложное бремя власти уже тем, что он есть. И тем, что он — один.

Вес царского одиночества, личного соучастия в судьбе мира, наглядно показан в фигуре «короля Немейского леса», изученной этнографом Фрезером. Одиноким «лесной царь» призван охранять священную поляну день и ночь с мечом в руке. Он не имеет никаких привилегий, он хранит святыню, не представляющую из себя никакой материальной ценности. И это длится до тех пор, пока новый претендент на статус «царя Немейского леса» не сумеет подкрасться к нему незаметно и заколоть мечом. Чтобы стать на его место и так же трагично, обреченно и воистину по-царски нести вахту высшего спасительного одиночества. Siebente Einsamkeit. Фрэнсис Коппола в своем «Апокалипсе now» дал современную версию «немейского короля», сумасшедшего полковника Курца, вышедшего из-под контроля системы и организовавшего во вьетнамских джунглях маленькую жестокую монархию — последний оплот мира Традиции в деградировавшей «демократической» современности, изгнавшей дух из реальности вон. Не случайно в фильме Копполы на столе полковника Курца — книга Фрезера «Золотая Ветвь», та самая, где идет речь о «короле Немейского леса».

Неискоренимая полярность бытия

«Чем больше все меняется, тем больше оно остается тем же самым», — шутят французы. В современном мире, где якобы покончено с предрассудками, где нормативы Традиции осмеяны и унижены, где холодная рассудочность и технический расчет затмили собой миры легенд, снов, мифов, идеалистических гамм, на первый взгляд, кажется, что нет больше места священной власти, нет места трагичной и прекрасной фигуре святого вождя. Но на самом деле все не так просто. Не так легко оказалось изгнать священное из человеческих глубин, отменить »демократическим декретом» полярную психологию, которая впиталась в человеческое существо вплоть до самых интимных глубин его. Внешняя десакрализация власти никогда не удавалась полностью. На место Мерлина, жреческих институтов, опекавших вождя, придававших ему трансцендентную ориентированность, встали новые формы «окультурной власти» — масонские ателье, оккультистские ложи, тайные Ордена, сохранившиеся до сих пор, несмотря на обмирщвление цивилизации (по меньшей мере, западной цивилизации). Внешне «выборная» и «демократическая» реальная власть сохранила укорененность в определенных структурах, которые и по методологии и по ориентации резко контрастируют с поверхностными клише «просвещенного человечества». Даже в современном мире власть все еще связана с тайной, с тайными обществами, с темными лабиринтами непростой реальности, надежно скрытой от глаз непосвященных. Материалистический советский режим, провозгласивший торжество рационализма и полный триумф разума над всеми видами «отживших предрассудков» (Церковь, монархия, народные обычаи и т.д.), на самом деле, дал в XX веке такую архаическую сакрализацию власти, которой не знало даже недавнее добольшевистское прошлое —

романовский период. Владимир Ленин был по примеру египетских фараонов забальзамирован. Его историческая личность была молниеносно растворена в мифологическом контексте, превращена в архетип. Ленин стал культовым «первопредком» нового советского человечества, основателем новой неформальной династии «красных вождей». Снова, как в традиционной мифе, священный Вождь превращается в «человека по преимуществу», в «самого человеческого человека», в воплощение объективной мудрости, лежащей в центре новой социальной реальности, на полюсе наступившей советской эры.

Вслед за ним приходит другой мифологический властелин — Иосиф Сталин. Теперь сакрализация происходит не после смерти, но уже при жизни вождя. Опираясь на неувядающую мудрость бальзамированного первопредка, Иосиф Сталин — как римский император — единовластно правит гигантской геополитической конструкцией. Просыпается в Кремле раньше всего народа, как солнце, засыпает позже всех остальных. Сталин — советский аналог «пресвитера Иоанна», шакраварти, царя Шамбалы, стоящего в центре вещей. Его империя — уникальная волшебная территория, где отменены законы буржуазной энтропии, где протекает магическое бытие социализма, провиденциально изъятого из-под гравитационного бремени «процентного рабства».

Вместе с ним в рационалистической Европе, колыбели просвещения и критического скептицизма, на родине Канта, вивисекторов и холодных научных экспериментаторов, поднимается другой вождь, иная версия сакрального властелина. И к нему тянут сладострастные руки возбужденные толпы. В нем видится остолбенелой Европе исполнение пророчеств Фридриха Ницше о приходе сверхчеловека. Священное возвращается. Адольф Гитлер с символом полюса, центра вещей, вокруг которого вращается колесо Вселенной, воздевает в провиденциальном жесте руки к ночному своду конца кали-юги. «Я беру ночь и кидаю ее в небо...»

Пятиконечная звезда, как и свастика, заимствована из анналов масонского символизма. Оба знака полюса, центра вещей, оба знака представляют собой иероглифы «совершенного человека», «самого человеческого человека», то есть сверхчеловека.

Но и совсем трезвые либералы не свободны от оккультных связей. Могущественная сеть масонских лож активно действует за кулисами «открытого общества». Все американские президенты в истории США (кроме Рональда Рейгана) были высшими иерархами англосаксонской масонерии. Рационализм и демократия соседствуют у них с пышными ритуалами посвящения в масонские степени, с легендами и обрядами «архитектора Хирама», который умирает и воскресает в градусе «мастера», то есть того, кто отныне имеет тайное право управлять непосвященными толпами, «профанами». «Коллективный Мерлин» современного масонства действует иначе, нежели архаические спонтанно всплывающие архетипы вождизма «красно-коричневого» образца, более подходящие Евразии (хотя и в нацистском и в коммунистическом движении у истоков мы встречаем те же оккультные, масонские или парамасонские организации, только более революционного, более «горячего», «идеалистического», «спиритуалистического» характера, нежели «прохладная», карьеристская, прагматическая масонерия англосаксонского образца).

Оккультная власть атлантистского Запада не прибегает к прямым формам сакрализации. Здесь более тонкая игра. Мировое господство, установление «мирового правительства» достигается постепенно, методология гибка. До поры до времени истинные иерархи, подлинны властелины остаются в тени. На рампе веселятся бараноподобные шалунишки типа Клинтон. Архитекторы и истинные властители нитей театра кукол концентрируются в невидимых парамасонских структурах наподобие «Бильдербергского клуба» или «Трехсторонней Комиссии». Там зловеще зреет, наливаясь невидимой властью, банковская тушка процентного паука Дэвида Рокфеллера (Чэйз Манхэттен-банк).

И красные, и коричневые, и даже либерал-демократы, — то есть все возможные формы современных и нетрадиционных политических режимов, — неизбежно сопрягают власть с сакральностью, с тайными организациями, с секретными ритуалами и закрытыми доктринами. И ничто не сулит того, что такая ситуация может вообще когда-либо измениться, пока человечество есть то, чем оно является.

Tarnhari и Евразия

Бесполезно разоблачать оккультную подоплеку власти. Тщетно настаивать на том, чтобы власть стала прозрачной, идеально внятной для ограниченных возможностей простого обывателя. Этого никогда не будет, и никогда не было. А там, где это формально провозглашается, речь идет об обыкновенном подлоге, о массовом надувательстве, об инструментальном использовании наивного самолюбия маленького человека, злобного, доверчивого и бестолкового одновременно. И уж совсем

глупо надеяться на то, что простое несогласие с фактом наличия оккультной власти способно ее отменить или хотя бы ограничить.

Власть была и будет сопряжена с тайными аспектами бытия, доступными лишь избранным, немногим, — «коллективному Мэрлину», и той единственной фигуре, на которую этот «Мэрлин» сделает ставку. Нам, русским, нам, евразийцам, сегодня нужен вождь. Настоящий вождь, не суррогат, не профан, не чиновник, не маргинальный выскочка, не маниакальный себялюбивец. Нам нужна полноценная пара — «Артур» и «Мерлин», священный царь и истинный жрец, компетентный в тайных извивах Предназначения.

Без этого мы, весь народ, будем лишь послушной отарой у погонщиков из «мирового правительства», которое вот-вот объявит о своем существовании открыто (последние строки из новой книги Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска»* имеют прямое отношение к решимости архитекторов «нового мирового порядка» провозгласить пришествие новой планетарной власти). Без этого наши протесты и наши восстания, наши марши и наши кампании будут легко использованы в своих интересах тайными центрами мондиализма.

Магический властелин Евразии должен выводиться в пробирках национальной лаборатории духа уже сейчас. По правильным рецептам и вдали от самовлюбленных неопитов, лишь догадавшихся о существовании чего-то глубинного, но застывших в ужасе на пороге бездны, открывшейся их взору.

Тайный Властелин Евразии. Tarnhari. Скрытый Царь. Спящий Император виртуальной континентальной Империи. Либо мы пробудим Его, истинно «державшего», либо атлантистский антихрист опечатает нас и наших детей своим темным знаком, несмыслаемым знаком «нового мирового порядка», порядка Левиафана.

А.Г.Дугин

Газета "Завтра", 1999
"Вторжение", 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ИГНОРАМУС

Пророк-невежда

Меня в свое время очень заинтересовал такой факт: в древности, в традиционном обществе статус пророка применялся только к весьма определенной категории людей, причем важнейшим условием были их безграмотность, отсутствие официального образования, иногда даже неумение читать. Пророком признавался, конечно, не всякий невежда, таких было множество, пророков же единицы. Но тем не менее, получение нормативного (естественно, религиозного, традиционного) образования было непреодолимым препятствием для того, чтобы стать им.

Эта техническая деталь была призвана подчеркнуть, что пророком является только тот, кто черпает свое знание, свое видение основ реальности из прямого источника, вертикального по отношению к образовательной культуре общества. При этом самое интересное то, что в традиционном обществе вообще не было представления о светскости, о «секуляризации», о разделении духовного и практического. И уж тем более религиозное образование было пронизано приоритетно созерцательной, трансцендентной направленностью. И все же пророк должен был быть свободен и от этой возвышенной, богоцентричной формы подготовки. Его миссия состояла в том, чтобы быть совершенно независимым от любых ограничений, чтобы индивидуальные (пусть сакрализованные) черты не замутили ясность прямого и ничем (и никем) не опосредованного контакта со стихией Божественного.

Ценность пророчества была в полном погашении индивидуального начала, не в усложнении и совершенствовании личности, но в ее предельном упрощении, в ее погашении, в ее умалении. Пророки были несчастны, изолированы, часто избиваемы. Это их удел. Они не становились главами религиозных школ, не вкушали уважения и почестей. Их влекла область убытка, нищеты, неустроенности. Их бытие вращалось вокруг оси, радикально отличной от их индивидуальной человеческой структуры. Православный догмат относительно того, что через пророков в ветхозаветный период священной истории говорил Святой Дух, все подтверждает. Обратите

внимание: задолго до Христа, когда впервые троическая тайна была до конца обнаружена, Третье Лицо Пресвятой Троицы, заведомо не рассчитывая на возможность понимания в ветхозаветном контексте, вступало в прямой контакт с людьми. И те, сквозь кого проходила эта трансцендентная речь, заведомо не могли сознательно и лично ее вместить, так как религиозный контекст, в котором осуществлялись пророчества, был радикально не способен ни охватить содержание грядущей новозаветной свободы, ни распознать основы троической метафизики.

Чтобы верно, максимально точно передать эту невместимую речь, пророк должен быть свободен от всех конвенциональных знаний. Должен быть белым чистым листом, на котором перо божественного ума напишет свои загадочные письма. Он должен быть *ignotus*, простецом. Пророк-невежа...

Не понятый не только другими, но (и это самое главное) самим собой. Не компетентный в познании не только внешней правды, но и той истины, которая излагается сквозь него.

Чуждый самому себе.

Иссушаемый, палимый своей внутренней тайной, которая, тем не менее, ему не принадлежит.

Нищие духом

В Православии несмотря на то, что новозаветная истина стала теперь доступной и вселенски благовестуемой, сохраняется очень схожая тема, отраженная в чинах блаженств: «блаженны нищие духом, ибо тех есть царство небесное». «Нищие духом», как бы ни пытались их рационалистически растолковать, все же явно простецы, люди, лишенные общего духовного знания, обделенные образованием, тем, что представляется вовне «духом» и «мудростью». В каком-то смысле, этот чин блаженств ставит (как и в случае с пророками) невежу и малоумного над образованным и мудрецом.

Конечно, не всякий дурак блажен. Но обратите внимание на метаморфозы русского языка: «блаженными» в народе называют именно дурачков, юродов, слабоумных. Самое удивительное, что в данном случае «безумие» ставится уже не просто выше разума, но и в каком-то смысле выше христианской православной культуры, выше особой новозаветной рациональности.

Получается, что снова, как в древние времена закона, стихия Божества настолько превышает человеческие возможности, что не просто ее совершенствование и улучшение, а ее радикальное преодоление является предпосылкой реального и эффективного приближения к нетварному троическому бытию.

Нищий духом растворяет в себе индивидуальное, распускает пульсирующий комок разума, расшнуровывает хитросплетения сознания. Он не читает, не пишет, не получает образования, не строит жизненный путь. Нищий духом живет как трава или птица, как змея или голубь, как ветер или болото, как первый цветок весны и последний лист осени. «Умный», «недурак», «образованный», «культурный» на пике своего прозрения в суть вещей тоже достигает прозрачности, ощущения восторженного всеединства, где вещи мира сплетаются в единый нерасчленимый венок торжества. Но это — мгновение, случайность, экстатический момент, от которого неизменно приходит отрезвление, погружение в лабиринты рассудочных дуальностей. Для «умного» такое состояние — лишь обещание, плоская карта недоступной страны. Для нищего духом — это его Родина, привычная и исполненная неиндивидуальным простецким светом, светом бытия.

Нищий духом непонятлив и непонятен, не плох и не хорош. У него полуоткрыт рот и не стирается рубаха. Он неопрятен и неприемлем в своем неоправданном, необоснованном и непреходящем темном восторге, в своем зверином вое, в своей «расхристанности». Он не собрался во Христе, он распустился во Христе. Но он блажен, и его доле позавидуют самые умудренные и очищенные старцы. Путь его прям, так как он никуда не идет, никуда не спешит, ничего не знает. И сквозь него по-прежнему невнятно, сверхчеловечески, милосердно и грозно продолжает вещать Святой Дух.

Маламатья

Не только в христианском контексте есть традиция сакрализации юродивых. В исламе существует секта «маламатья», которая основана на той же самой духовной предпосылке: бездна между человеческим и Божественным столь велика, что мудрость благочестивого богопознания и нормативы морали никак не приближают человека к Творцу. От глубочайшего отчаяния,

сращенного с глубочайшим восторгом, торжественно и нервно движутся представители секты «маламатья» в миры безумия. Они очерняют себя в глазах умных и набожных, но и среди грешников, остолопов и распутников остаются изгоями. Они покидают почву сознания, архитектуру изысканной исламской диалектики, отправляясь в никуда.

Многие считают их «святыми», почитают их могилы как «мазары». Другие видят в этом извращение религиозного инстинкта. Самим «маламатья» наплевать и на тех и на других. Они делают ставку на минимум и пытаются ускользнуть через узкие врата. Они не ведают, что творят, но творят это настойчиво и рьяно. Они гасят себя, как свечи, и пытаются еще и развеять оставшийся дымок.

Сквозь них зажигается тогда иное пламя. Безумное пламя невозможной близости. Дыхание «мира ближних», от которого дрожат горные хребты.

Православное юродство

Аналогом «маламатья» являются православные юродивые. И снова они противопоставляют свой выбор не светскому миру, но миру православному, христианскому. Они напоминают: похвально встать на путь христианского благочестия, праведно совершенствовать свою личность, но нельзя низводить логику Божества до человеческой рационально-моральной планки; дистанция столь огромна, что великое и малое перед очами Господними сливаются, и то, чем человек гордится, Богу противно.

Юродивые нарушают иногда православные заповеди (или делают вид, что нарушают), специально ищут повода быть посрамленными, заушенными, побитыми, оскорбленными, униженными. Если благочестивый христианин копит добродетели, то юродивый, скитаясь по базарам, копит затрещины и подзатыльники, насмешки и ругательства. Это его дурацкое богатство, его лестница, его служение.

Иногда юродивые помогают людям. На царском пиру знаменитый русский юродивый вылил в окно предложенную царскую чашу, чем заслужил тумачи. Но вспыхнувший в это время огромный пожар в Пскове, как по волшебству, погас сам собой. Дурак своим дурацким и невежливым, бесстыдным в отношении батюшки-Царя поведением спас тысячи жизней.

И не сам юрод это делал. Десница Господня двигала его косыми неуклюжими жилистыми мышцами, обтянутыми нездоровой серой кожей.

Псевдомессии и цадики

В иудаизме тема священного невежества развита подробно. Сам еврейский «машиах», по преданию, должен быть необразованным. Череда иудейских псевдомессий — от Саббатаи Цеви через Барухия Руссо до Якова Лейба Франка — доказывали свое «мессиянство», в частности, отсутствием ортодоксального раввинистического образования.

В этих псевдомессиях есть нечто явно глупое. Они шокируют, иногда своим напыщенным искусственным величием, иногда своей неожиданной низостью. Саббатаи Цеви, собиравший евреев для возврата в Израиль (он был первым историческим сионистом, проповедовавшим «алию») и готовый оседлать льва семиглавым змеем, вдруг пугается наказаний и, посаженный пашой в тюрьму, переходит в ислам. Для иудеев это — шок. Лишь малая горстка последователей (известных как «денме», «оборотни») остается верна Саббатаи и называет его поступок «священным вероотступничеством». Еврейский рационализм здесь отчаянно пытается освоить и оправдать логически самые нелепые вещи, от ужаса потерять пульсирующий ток сияющей трансцендентной глупости, которой так не достает их холодным душам.

Первые хасидские цадики принадлежат к сходной категории, их авторитет был принципиально не законническим, не начетническим, не формалистичным. Источник их сил и способностей основывался на прямом опыте контакта с иным миром, в котором они были как у себя дома. Если раввинистические формалисты подробно описывали маршрут, как попасть туда, хасиды шли, куда глаза глядят, и тупики и омуты оказывались для их мутных от скорби глаз мостами в неведомый рай.

Первые цадики очень похожи на русских юродивых. Чем им хуже, тем им лучше. Чем больше пинают их казаки-антисемиты, чем больше ругают ученые-«митнагеды» из своих, тем спокойнее на их воспаленной, утопленной в мирах небесной колесницы душе.

Параллельная иерархия

Эти примеры свидетельствуют: есть не одна духовная иерархия, а две. Если первая утверждает духовную традицию, четко очерчивает границы добродетели и греха, самосовершенствования и упадка личности, показывает путь образования и самосовершенствования, то вторая, тяготясь этими границами, как бременем, наложенным на свободное всевластие Божества, силится их превозмочь, — ценой отказа от индивидуальности и рассудка. Не считая свою истину лучшей, не пытаясь навязать ее остальным, как норму (ведь любая норма быстро остывает и дает место фарисейству, отчуждению), люди второй духовной иерархии смиренно избирают своим делом безумие, невежество, скромное игнорирование высот и низин нашего мира. «Дуракам закон не писан», им писана трагическая, надрывная, болезненная, иссушающая душу благодать. Человек — это звучит глупо, утверждают люди параллельной иерархии, носители нищей духовности. Утверждают и показывают на самих себе. Люди первой иерархии, если они внимательны, не спешат отрицать дурацкую тайну, вызов блаженных идиотов. Не будучи способными броситься в сладкий черный омут, они пристально вглядываются в него, и если упорствуют в своем, то мало-помалу распознают его послание, учатся (они все время учатся, в отличие от дураков-неучей) уважать таинство нищеты ума. В определенных случаях — когда неземная логика в юродивых становится совсем очевидной — их канонизируют наряду со святыми. Но самые последовательные дураки стремятся избежать и такого положительного внимания со стороны первой иерархии. Тайна и нетранслируемость, заведомая нерасшифровываемость их послания гонит их в запретные норы. Тайные святые... Тайные праведники... Тайные безумцы... На них держится мир, и он будет стоять только до тех пор, пока вторая иерархия будет сохраняться в тайне.

Тай-река...

Пророк, народ, дурак...

Любимый сказочный персонаж нашего народа — дурак и простец. Его прямолинейная дурь побеждает изощренные каверзы умных врагов. Простодушная чернь его природы спасает возвышенных царей.

Иван-дурак — носитель таких добродетелей, которые в обычном обществе считаются пороками. Он ленив, бестолков, стремится избежать ответственности, полагается на авось, взбалмошен, не способен к расчетливости, непочтенен, необразован, не работает над собой, ничему не учится и не хочет. Он действует, играя и уклоняясь от внешнего давления. Он исповедует пассивный антиномизм, безразличие к нормам и законам, к добродетелям и порокам. В нецензурированных версиях русских сказок Иван-дурак переходит все возможные нормы приличий. Что он только там не проделывает с яблонькой, черепами, горами, чертями, лаптями, бабой-ягой и ее дочерьми, — стыдно повторить.

Он не знает никаких запретов, если его оставляют в покое, он все время дремлет на печке, если его насильственно будят и куда-то отсылают, он начинает забавляться и валять дурака. Все, что у него получается, получается ненароком. Личный момент в его этосе полностью отсутствует. Он добивается всего тем, что позволяет событиям развиваться по их внутренней логике.

В Иване-дураке индивидуальное начало минимализировано. Он скрывается от самого себя и позволяет действовать через себя Иному, освобождая свое существо для чего-то более ценного, нежели он сам. Иван-дурак — глава второй тайной иерархии, полюс параллельной духовности.

Историки народных преданий единодушны в выводе: в этом персонаже искусно зашифрована информация о древней жреческой касте, вытесненной из официального социально-политического контекста в область сказаний. Но сказки — первая и базовая форма духовного воспитания человеческого существа. Каковы сказки, таков и народ. В более старшем возрасте у людей нарастает недоверчивость к учителям, усиливается защитный механизм. А первые в жизни слова, услышанные детской душой, сохраняются навсегда.

С первых годов русский человек узнает о параллельной иерархии, о том, что «блаженны нищие духом». Так формируется наше мировоззрение, наша коллективная психология. И этого из нас не вырвать.

Когда мы слышим это на литургии, мы уже готовы внутри. Это повторение.

Да, блаженны... Естественно, блаженны... И именно нищие духом...

Конечно, мы чтим обычную иерархию. Но, на самом деле, не очень, больше делаем вид, еще точнее, чтим скорее от безразличия к ней. Она не затрагивает нас, наша душа смотрит в иную сторону. Реально мы любим только безумие, то страстное восторженное состояние, когда солидный исправно одетый человек растворяется, и из под кожи его начинают бить фонтаны разноцветной жизни. Мы хотим, чтобы все это поскорее кончилось, чтобы это никогда не кончалось.

Мы не любим учиться и не тянемся учить. Все и так ясно: чем глупее, тем истинней. Народ-дурак, народ-пророк, народ-сам себе лесной царь.

То, что говорят о нас наши злейшие враги, больше похоже на правду, чем формальные ответные самовосхваления, составленные по шаблону. Мы действительно выродки и не такие как все. У нас по дорогам проехать невозможно, зато по болотам идти одно удовольствие, они вымощены гранитом нашей странной веры.

Знаете почему в русско-советских домах все углы косые (кто клеил обои, поймет, о чем я)? Потому, что в живой природе нет прямых линий, наши дома построены живыми и веселыми (часто пьяными) людьми. Мы именно «на коленях грезим о великой империи». И на коленях, и грезим. И насыщаемся слезами, и ободряемся гонениями, и любим все терять по глупости, чтобы Высший Ум сам все сделал по-своему, чтобы нам не мешаться у него под ногами, чтобы знать наше место, малое место величиной с горчичное зерно, горькое горчичное зерно побольше Вселенной.

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ПОЛОЖИ СВОЕ ТЕЛО В ОСОКУ

Метафизика преступления

Когда обыватель ужасается описаниям чудовищных преступлений с мутацией, расчленениями, кошмарными подробностями — это понятно. Менее понятно, почему он любит, страстно любит ужасаться этому, неявно, но настойчиво требует все больше и больше ужасов, все больше и больше расчленений, чтобы, содрогаясь, в тысячный раз читать чудовищные подробности — отрезанные головы, вытряхнутые внутренности, вскрытые лона, выдавленные глаза, отделенные кости, уши, по которым полоснули бритвой, гениталии, валяющиеся в нескольких шагах от их бывших владельцев и т.д.

Ясно, что Чикатило — понятие внутреннее, что он выражает какую-то обязательную, интимно-близкую, неразрывно связанную с глубинами подсознания фигуру. Это не человек, это фетиш, знак, голос человеческой психики.

Преступление, — особенно страшное преступление, — резонирует с природой человека, с ее фундаментальными пластами. Значит, преступления и психиатрия связаны неразрывно.

Разделение преступников на невменяемых и вменяемых — чистая социальная условность, конвенция. Если маньяк способен к ясной рациональной деятельности и прекрасно владеет собой, это отнюдь не означает, что он не может обладать вместе с тем настолько выраженным, настолько яростно заявляющим о себе душевном миром, что в определенных ситуациях глубинные архетипы захлестывают его с головой, ввергая во власть древних космологических стихий, толкая на реальное совершение того, что являлось содержанием древнего мифа.

И напротив, явный шизофреник, не способный составить мало-мальски разумного предложения или непротиворечивой грамматической конструкции, в момент адского преступления нередко обретает поразительную ясность сознания, которой столь болезненно, столь жестоко, столь фатально и мучительно лишен в обычных ситуациях.

Одного при этом убивают, а другого просто лечат. Это имеет смысл лишь в упрощенном социальном обиходе, где без огрубленных определений и приблизительных сентенций не обойтись.

На самом же деле, все намного, намного сложнее.

«Преступление–бессознательное–мифология–религия».

Эту цепь нельзя прервать искусственно. Где строго кончается одно, а начинается другое?

Исток религии — «сюжет, предшествовавший изгнанию праотцев из рая» — есть Преступление.

Развитием или свертыванием Преступления, подготовкой к нему или проживанием (изживанием) его последствий является вся известная мифология — от классики до архаики.

И все это не данные отвлеченной историографии или описания давно прошедших эпох. Все это существует в психике конкретных людей, наших современников, и не собирается никуда исчезать из этого облюбованного места — из «топоса» души, который, собственно, и состоит из испарений преступного тела и уплотнений воющего с ним покаянного разума.

Чикатило современник Диониса. Компаньон египетского бога Сета, соучастник великой мистерии индусских богов, принесших в жертву и расчленивших Праджапати — первочеловека.

В драме психики, в таинстве преступления, в ассимиляции мифа — нет времени. Все, что происходит там, случается в вечном настоящем. Зеркала репрезентаций, сложные механизмы нагромождающихся контекстуальных дистанций, горы конвенциональных срезов культуры — все это растворяется во влажно-реальном, пробужденном, умопомрачительном акте конкретного преступления.

Мистику его видения могут лишь представляться. Ученый, сталкивающийся с головокружительными тайнами, успокаивает себя тем, что это все в прошлом. Художник снижает накал безумного откровения тем, что разделяет творчество и быт.

Преступник не имеет укрытия. Он один на один с голым бытием. А перед ним с чудовищной наглядностью факта, совершения, реализации — кровоточащий плод его рук. Некуда бежать, не на что списать. Невозможно проснуться или протрезветь. Пробуждение и трезвость и так тотальны.

«Что я сделал!» — ревет внутри.

«Это Я сделал!» — давит плитой на сердце.

«Мне удалось это сделать!» — торжествует темный вихрь из бездн внутреннего мира.

Зверь в нас не метафора. И не болонка. Пострашнее шакала, поковарней диких котов, погрязнее лунных свиной Гекаты, покровавей геенн, поопаснее рыси... Это не просто зверь. Это Человеко-Зверь, Therion.

Динамика ролей

Неверно делить преступников на вменяемых и невменяемых. Это мы уже сказали. Неверно также делить главных действующих лиц преступления на жертву и палача.

А вы думаете убивать не больно? Терзать воняющую плоть не противно? Мучить других, наивно попавших в ваши руки, не страшно?

Все знают о «Стокгольмском синдроме». Когда заложники встают на сторону террористов. Менее известны (так как свидетели чаще всего молчат вечным молчанием) перманентно повторяющиеся ситуации, в которых истязаемая жертва начинает осознавать себя палачом и морально ликовать, даже сладострастно издеваться над мучителем. Мифическая драма, очень напоминающая сценарий ролей в половом акте. Имитация насилия, имитация жертвенности, постепенно переходящая в нечто противоположное. Роли меняются, меняются положения тел. Якобы боль (и просто боль) рождает наслаждение (или якобы наслаждение). Мужчина отдает часть своего организма, а в быту это называют обратной формулой. Как и эротический акт, преступление корнями уходит в тайну возникновения мира, в базовые пласты антропо- и космогенеза.

Преступник и жертва находятся в таинственном сговоре, в симбиозе, в особых уникальных отношениях. Тот, кому предстоит убить, и тот, кому предстоит быть убитым, выносятся за пределы социальных конвенций, так как обоим сейчас, вот-вот, предстоит окончательно и бесповоротно переступить линию в одном направлении. Они попадают не в никуда... Точнее, это никуда постепенно превращается из непроницаемой тьмы ужаса в особое таинственное, волшебное пространство вне времени, где пейзажи, вещи, декорации приобретают абсолютно новый смысл.

Повторяется великая драма творения, в основе которого — жертва, убийство, заклятие, расчленение.

Жертва становится основой нового мира. Палач, исполнитель космогонической мистерии, умирая с тем, кого он убивает, казнит самого себя и снова очищается в кровавом ритуале.

Человеческие жертвоприношения древности имели тот же смысл.

Расчленение — возврат к космогонической мистерии.

Духи-пожиратели

Известно, что типичным синдромом шизофренического бреда является галлюцинативное представление собственного тела как решета, навязчивая идея отделения членов одного от другого, странная способность «заглянуть внутрь своего собственного организма». «Человек открывается, как цветок, его внутренние органы становятся внешними», — свидетельствуют пациенты клиник для душевнобольных.

Происходит провал под поверхность сознания, а в этом мире, максимально приближенном к телесности, предметы, зародыши мыслей и змеи медленных чувств настолько удалены друг от друга, что настойчиво отказываются от помещения или складывания даже в отдаленное подобие системы.

Почему так?

Потому что акт творения космоса, акт возникновения вселенной логически означает переход в мир множественности, в плоскость дискретных частиц. Отталкиваясь от хаотического дна реальности, человеческое сознание и человеческое общество, а равно и физический порядок вещей и элементов, сразу же стремятся подняться к более высоким уровням, где восстанавливается некое подобие того органического единства, которое было присуще (и присуще) Праджapati до творения, жертве до ее расчленения.

Но этот путь всегда обречен, пока внизу лежит квантовая тьма материи. Она будет заставлять возвращаться к ней все снова и снова, пока проблема дискретного существования, множественной количественной вселенной не будет решена однажды единственным, бесповоротным и необратимым образом. Расчленение есть не что иное, как онтологическое свидетельство о входе Духа в материальное бытие.

Он входит через расчленение, и значит и выйти сможет только таким же путем. Убийца и убиенный — полюса только в роковом, фатальном и неснимаемом, метафизически противоречивом дуализме. На самом деле, они — суть одно и то же. Жертвенный акт должен повториться дважды.

Мы возникаем в материи как результат расчленения, мы имеем шанс вернуться в дух только через такое же действие. На этом основана шаманская инициация. Духи варят неопфита, стремящегося стать шаманом, разрывают его на много кусков, отделяют кости его скелета от мяса. Потом собирают заново. При этом в магическом ритуале часто повторяется одна деталь — восстановленный человек, «заново рожденный» не имеет более магической плоти. Он символизируется отныне черепом или скелетом. Он — только основа человека, его твердая вертикальная, осевая духовная часть. Мясо материи надежно счищено с костей души.

Именно этот символ был знаком таинственных орденов, появившихся в начале Возрождения в Европе. Скелет и кольцо с черепом.

Такой же смысл у тибетского ритуала чод, где буддиста разрывают в чаше его собственного черепа дакини — женские духи, исполняющие роль посвятившей. Они съедают тело неопфита, истязают

его, пока на месте человека не создается совершенно гладкое черное озеро. Это внеиндивидуальное черное озеро есть нирвана. Обретение истины.

Заметьте, что посвященный шаман или тантрический буддист, достигший таким образом Пробуждения, благодаря палачам тонкого плана обретают духовное бессмертие, становятся в каком-то смысле намного выше, чем их мучители, которые оказываются в конечном итоге, лишь слугами в инициатическом пути человека, ищущего более свободного и более достойного существования, чем эта земная имитация жизни.

Кстати, сходную функцию выполняют бесы в пути монашеской и особенно анахоретической христианской реализации. Они истязают отшельников, мучают их, но, в конце концов, именно благодаря борьбе с ними, благодаря страданиям и боли, обретается спасение и просветление.

Новое шизофреническое тело

Антонен Арто, который, будучи реальным безумцем, спонтанно открыл и прожил глубиннейшие доктрины Традиции, писал об особом «новом шизофреническом теле», к которому рвется темная воля исследователя глубин после болезненного, невыносимого понимания распада плоти, после «расчленения» и «саморасчленения». Это «новое шизофреническое тело» не имеет отдельных органов, членов. Это голова — без глаз, рта, ушей, ноздрей и т.д. Просто «голова». Точно так же и остальное тело, — которое, кстати, в данном случае не может быть строго отделено от «головы», точнее, того, что здесь называется условно «головой», — не имеет деления на «руки» и «ноги», более того на «внутренние» и «внешние» органы. Сущность «нового шизофренического тела» в том, что оно принципиально нерасчленимо, что оно — постпреступно, сверхжертвенно, не имеет шансов ни стать жертвой, ни выступить в роли палача. Эта реальность — реальность души, взятой в ее наиболее свободной и самостоятельной форме. Это гораздо ближе к реальному «я» человека.

Жиль Делез, боготворивший Арто, идеально точно подмечает, что «новое шизофреническое тело» есть «новая поверхность», то есть тот фантастический и впервые интересный и осмысленный мир, куда стремится подняться, поместиться пронизательная воля трагического шизофреника, схватившего и пережившего кошмар человеческой конституции в ее наиболее глубинном измерении.

«Новая поверхность» — то, что следует за магическим ритуалом спуска в миры расчленения, как вторая фаза, как награда, как венец инициатического делания. Эта «поверхность» во многом подобна обыденному горизонтальному сознанию, и вещи, смыслы и существа, на ней обитающие, весьма напоминают предметы знакомого мира. Но... Но в данном случае это уже не предметы, а их смысловые эссенции, они не подлежат больше кошмарной перспективе распада как темной подоснове души. Они неанатомируемы, неразлагаемы, неампутируемы, органично целостны. Морговое вскрытие и американский ножик Мальдорора над ними не властны. Не удивительно поэтому, что в мире «новой поверхности» намного легче дышать, там разряженный и увлекательный воздух — ведь масса ненужных людей, сил, пейзажей и мыслей остаются за бортом этой реальности. Они — скорлупы, темная магия расчленения забирает их целиком, поскольку очищать и инициатически оживлять в них попросту нечего.

Куда исчезают помехи?

Давнишние знакомые? Детские сны? Покойники? Старые газеты?

Был у меня приятель
Лучшего ты не найдешь, —
как пели сросшиеся уроды в одном из рассказов Густава Майринка.

Возможно, существует особое пространство внешних оболочек, где фрагменты реальности, оказавшиеся непригодными для инициатического строительства души, пребывают вечно, безостановочно переминаясь и разлагаясь в неуютном космосе, навсегда оставленном жизнью и ее агентами. Туда же отправятся очень многие из тех, кого мы знаем и о ком думаем.

Но все это больше не имеет никакого значения.

А.Г.Дугин

ТЕЛО КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Чем спасается обыватель от изощренной и нахрапистой агрессии сил «ближнего зарубежья»? Он хитер, и окунаясь в пучки нефтеносно-удушливых сновидений, в импульсы и позывы, идущие как бы ниоткуда, как бы изнутри, знает бережно свою заветную гавань, свою точку опоры... Куда бы ни заносили обывателя мечты, кошмары, алкоголь или испарения плоти, он всегда помнит свою родину, свой оплот, замерзшую сферу, где все успокаивается и, как ему кажется, упорядочивается. Зона порядка обывателя — тело.

Распыленный несамотождественный комок путешествующей, нагой, запуганной, подставленной острым потокам и невидимым существам души, этот вопль заброшенности, потерянная растекающаяся капля жертвенной, соблазнительной для профессионалов потустороннего, светоносной материи, эта хрупкая реальность, готовая свергнуться в безумие, в водопады темной и необратимой догадки, всегда спасается, когда вваливается в спокойное, сытое, устойчивое, посапывающее тело. «Последнее прибежище негодяев». Тело. Оплот, форт обскурантов всех стран и народов. Запечатанный ответ. Именно поэтому гады всегда будет смеяться в мутный глаз мыслителя и вибрировать мясистой грудной клеткой... Обладание телом гарантирует им спокойную легкую смерть, так как избавляет от осознания жизни...

Жизнь есть жизнь только тогда, когда она становится рискованным фактом сознания, когда открывшийся цветок мозга обжигается крапивой невидимого дыхания, препарируется бритвами несхватываемого присутствия.

«Постойте.. Я уже когда-то видел этого человека напротив на скамейке в метро... Где же это могло быть? То ли в бассейне? Нет, по-моему, на вечеринке у Павлика...» Может, и так, а может, в материальном облике воплотилось ваше давнее видение, еще более зловещее оттого, что не наделено никаким смыслом, никаким символизмом. Просто наяву вы встречаете ничем не выдающуюся рожу, которую видели во сне. Бессмыслица теперь будет преследовать вас, третировать, пугать, поучать...

Рано или поздно, в ваше окно на высотном этаже без балкона постучит чья-то рука...

Обыватель защищен телом. Но, на самом деле, каждый психически неустойчивый человек подозревает, что здесь есть какой-то подвох. Разве нет ржаво-пружинного скелета у истерички? Разве поверженный в белую горячку мужик есть облако сна, а не куча жира, мышц и ботинок? Разве философ не может съездить другому философу по харе упругим, зычным шлепком?

Обыватель, на самом деле, защищен не телом, но ложным знанием о том, что тело есть тело, и что оно представляет собой фиксированную ортогональную реальность, куда всегда можно спуститься (или подняться) поутру, с похмелья, озираясь и отряхиваясь от шалостей... Похмелье (кто знает) сладостно именно возвратом. Вот и дома. Взболтанная душа приятно оседает, растекаясь до органов, до кожи. Щекочет душа и успокаивается, принимает подсказанную родную форму, ниже которой не упасть.

Это щекотка ложного знания. Защитный механизм входит в силу, жалея резиновую, розовую, как пирожное, жертву. Мужественный человек когда-то получает анонимный телефонный звонок. «С вами говорят из агентства путешествий имени Изидора Дюкасса. Вы получили приз — бесплатный билет на сафари в гностической пустыне ужаса.» После того, как вы переступите порог, спеша на рейс, вы безвозвратно потеряете прописку, кров, паспорт. Врата страннического согласия сомкнулись за вашей спиной...

Тело есть не более чем представление. Одно наряду с другими. И если в какой-то момент вы не сможете достаточно на нем сконцентрироваться — на этом представлении, на этой мысли (а узнав то, что вы теперь знаете, вы уже никогда не сможете на этом сконцентрироваться достаточно!), вы очень рискуете провалиться. Тело станет дырявым, как решето, как сеть, как сито, в него можно просунуть кулак, трубу, кортик...

Тела просто не станет, а пар души, глянув на себя в зеркале, увидит пустую комнату... Значит, мы умерли?

Ничего подобного. Просто повышен градус знания о реальности, просто развеяна липкая иллюзия, разоблачена дезинформация. Хитрый учитель украл вашу лягушачье-лебединую шкуру — и ваше обнаженное нутро теперь выставлено на обжигающе стыдный показ. Вы не подозревали, что внутренний мир может быть столь уродлив? И что из складного девичьего стана вышел горбатый кривой мужик с лошадиным хвостом и пиявками в прозрачном черепе?

Под знаменем тела ползут полки одуроченных мира сего. Из-за дымчатого стекла нашего кафе «У Иодалбаофа» мы пристально созерцаем набычившиеся колонны. Только самые пронизательные из дебилей неуютно ежатся — «Кажется... Кажется, за нами кто-то подглядывает». Вот именно.

Тело столь же важный атрибут человека, как портсигар. Это модельный porte-cerveau, защитный комбинезон для рептилий, демонов, даунов и аристократов. Но догадавшиеся пребывают по ту сторону стекла — par dela la de la glace.

Тело Ленина обскуранты, помешанные на культе тела, хотят вынуть из мавзолея. Хмурое идолопоклонничество низшей касты, опасющейся сгустка земных лучей. У Ленина не было тела, у Ленина была большая любовь. Первая, соловьиная, складывающаяся и раскладывающаяся, как американский ножик, растягиваясь по-крупному и ссыхаясь в волдырь на сморщенной половинке истраченного на великое дело мозга. Зачем Ленину мозг? Он вполне обходился и без него. Он обходился и обходится без тела.

Либералы — это каракули. Они думают причинить Ильичу вред, плюнуть в страну, двинуться нефтью... Ильич есть тот, кто причиняет вред. Не стоит заблуждаться. Его тело — его бледный восковой труп, который так близко к нам — это его собственное представление. И что с собой делать, ему видней. Холодные туши без воображения плодят друг друга и хотят побеспокоить умиротворенный сон вождя с восковым посапыванием своим хороводом и желтыми наложниками — диск-жокеями в кузнечиковых мак-дональдсовских кепках. В Румынии «новые правые» вынесли на синод вопрос о канонизации Влада Тепеши, героя Евразии, защитника Православия от неверных. Румыния — единственная православная страна, где нет национальных святых. Теперь будет. Кто есть каннибал, пожирающий тела? Просветитель, носитель знания, добродушный разоблачитель тела как представления. Одного наряду со многими. Евразийский центризм приходит на смену периферийной ряби маргиналов. Маргиналы слишком плохо питаются. Едят жадно, брызги летят, сальные губы обхаживаются острым рассерженным язычком.

С таким контингентом мы никогда не сумеем заминировать почту, телеграф, телефон. Пусть накопят на «Жигули», а потом приходят за партбилетом.

Тело — представление. Значит и власть — представление. Значит и деньги — представление. Значит и милиция — представление. (Догадались, куда я клоню?)

Но центр жизни никогда не был в теле, он был (и есть) где-то еще. Центр жизни. Политический Центр Евразии. Царское место. Плацента младенца нового типа. Евразийского маленького победителя. Мальчика Души.

Где-то еще..

Quelque part... Quelque part... Dans la nuit...

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

МАЗОХИЗМ И ИНИЦИАЦИЯ

Человек страдающий

Человек подвергается унижению, насилию, давлению постоянно. Это необходимая составляющая человеческого существования. Страдательный аспект бытия. Все вещи и все сущности мира подлежат воздействию извне, безразличному по отношению к их претензиям и стремлениям, постоянно нарушающему их физическую и моральную целостность. Но только человек испытывает отчужденное воздействие как страдание, как особое, ни с чем не сопоставимое чувство, отсутствующее у других видов. Боль известна всем, страдание — только человеку. И не случайно на метафизике страдания основаны некоторые религии — христианство и буддизм. Страдание настолько центрально для человеческого бытия, что во многом характеризует его.

Почему страдает только человек? Потому что только у человека есть осознание и переживание той диспропорции, которая состоит в зоре между материальностью и страдательностью одной стороны его природы и духовным, царственным, властительным аспектом другой. Человек сущностно двойственен. Он полураб-получарь. Он раздавлен между двумя жесточайшими пластами знания — унижительной диктатурой внешнего мира (включающей в себя как самый болезненный аспект моральное и физическое насилие со стороны других людей) и настойчивым внутренним голосом «эго», мерно, навязчиво, и не взирая на объективную картину, утверждающим маниакальное: «ты — хороший, ты — лучше других, ты — самый лучший»... Любой в тайне числит себя «царем мира», «солнечным гением». На практике это выражается в странной форме, когда явный дегенерат бормочет: «я очень даже ничего», «зеркало и люди ошибаются», «они еще не знают, на что я способен»...

Эта драма лежит в основе человеческого факта. Она центральна. Зор между претензией и реальностью. Он лежит в основе страдания. Страдания — несопоставимого с физическим мучением, многократно превосходящим его. Моральные пытки — самые страшные. Раненое самолюбие — ужаснее «испанского сапожка».

Abuse

Сейчас стало модным английское слово «abuse». Оно означает «злоупотребление», «агрессивное нарушение сферы основополагающих прав и свобод личности», «нелегитимное вторжение в зону приватного». Иными словами, «насилие», «изнасилование». Abuse, в широком смысле, это всякое активное и наглядное противодействие извне человеческим индивидуальным претензиям. Abuse может быть физическим и нравственным, психологическим или даже интеллектуальным. Это — наглядное, «спектаклярное» предъявление человеку или группе людей их «страдательной», объектной, материальной стороны. В принципе, с точки зрения философии, марксистский материализм был институционализированным тоталитарным abuse, так как нет ничего унижительней для человеческого существа, как быть доктринально и социально приравненным к развившейся из бактерии постобезьяне, скованной жесткой сетью социального механизма. Фраза Ленина о том, что «сознание есть лишь отражение объективной реальности, данное нам через ощущения», есть типичный интеллектуальный abuse, ведь человек и его дух (если, конечно, принимать его всерьез) сводится как раз к эмерджентной спонтанности свободного выбора.

Либеральное общество тоже построено на доминации abuse. Но здесь картина обратная. Либерализм ставит в центре своей картины мира индивидуума, который — в отсутствии объективной истины — волен относиться к миру и другим существам, как ему заблагорассудится: лишь бы он платил налоги, потреблял и производил (а если не захочет — исчезнет). Отсюда постоянное насилие капиталистического общества над окружающей средой, над историей и т.д. Но ярче всего это проявляется в психологии западного человека — в своих бытовых проявлениях он попросту отрицает существование другого и других, относится к ним как к рыночным объектам. Он никого не слушает и никого не слышит. Он утверждает себя как центр вселенной, игнорируя самые яркие опровержения как внешнего мира, так и других людей и культур. Это — «американская мечта», обязательный «иконостас» на стене каждого американца — серия личных фото «history of myself». Капиталистическое общество, основанное на индивидуализме, фактически предполагает отрицание одной личностью бытия иных личностей. На социальном уровне это означает расистское отрицание за другими, не либерал-капиталистическими, не западными типами обществ и культур права на существование. Демонизация традиционных обществ и режимов и т.д. Либеральный abuse прячет себя за «американской улыбкой», ужасается себе в экстазах — общезападная истерия относительно «child abuse», экологическая нервозность и т.д.

Но дело не только в том, что марксизм и либерализм основывают свои модели на легализованном моральном, экономическом и социальном насилии. Это не их вина. Просто эти доктрины и культуры таким образом отвечают на объективный вызов реальности насилия, императива страдания. Исторический материализм полностью склоняется перед ним, стремясь лишь рационализировать бытие под плитой объективного рока. Либерализм волюнтаристически отрицает его на уровне

индивидуума, делая самого индивидуума источником эгоистического насилия над другими, фарисейски не признавая этого.

Как еще можно ответить на вызов abuse? На стихию унижения, в которую мы ступаем, рождаясь в человеческом качестве?

По эту сторону психического заболевания

Страдание есть. Условия человеческого существования и есть страдание. Большинство людей разливают, раскатывают его по максимально большому временному пространству. Разбавляют его, растягивают, распределяют по ситуациям, контекстам, планам, сновидениям. Иными словами, все ищут компромисса со страданием и унижением. «Меня унижают, и я кого-то унижу». «Мне причиняют страдание, и я причину то же самое другим». «Меня «опускают» — а я прикинусь самому себе, что я этого не замечаю, что этого нет.» И так далее. Человек крайне изобретателен в этом вопросе. Вся человеческая психология есть ничто иное как развернутая, монументальная, хитроумная стратегия по ускользанию от невыносимости страдания и унижения. Когда этот защитный механизм ломается, неотвратимо, как налоговая инспекция, приходит душевное заболевание. Маниакально-депрессивный психоз, паранойя, шубообразная шизофрения, циклофрения и т.д.

Но душевнобольные, как прекрасно показал Карл Густав Юнг, лишь выражают в гротескной форме базовые антропологические проблемы, архетипические ситуации и символы. Они обнажают то, что «здоровые» скрывают, разоблачают то, что остальные пытаются представить несуществующим. Поэтому в психическом заболевании Страдание так наглядно, так емко, так бросается в глаза. Само понятие «болезни» здесь показательно. Сумасшедший мучим реальной болью, а если она в душе, а не в теле, то это только делает ее более глубокой и неизбывной. Здесь abuse, лежащий в основе реальности, воспринимается предельно интенсивно и остро, то есть так, как, собственно, его и следует понимать.

«Здоровый» человек, со своей сложнейшей стратегией по избежанию Страдания, находится по эту сторону безумия и боли. Просто его болезнь пока довольно легко протекает, заболевание затаилось, спряталось. Но придет момент, и это случится. В виде обвала сознания, в форме кошмара. Перед смертью человек обязательно сходит с ума. Даже на очень короткий промежуток времени. Но время тогда растягивается, длится нескончаемо долго. Вся боль бытия, от которой благополучно ускользал в течение жизни, обрушивается внезапно и ядовито наглядно. От безумия не удастся уйти никому.

Унижение и посвящение

Как решают эту проблему традиционные общества, основанные на сакральном принципе? Во-первых, они не бегут от этого факта, а всецело признают его. Страдание, боль, пытка, abuse — норма существования в наличном мире. Человек — двойственен. Как данность — он объект, подверженный страданию, раб, вещь, зверь, инструмент, домашнее животное, кукла. И это — его стартовая черта.

Кто довольствуется данностью, должен удовлетвориться ролью раба, и тогда его страдание будет не глубже страдания запряженного в плуг мерина.

Кто не довольствуется данностью, и стремится утвердить свое духовное достоинство, должен обратиться к особой области — к области инициации. Духовное достоинство не данность, но задание. Оно может быть исполнено, а может быть проявлено. Гарантий никаких. Сфера этого рискованного пути — инициация. Инициация предполагает переступание фатальной черты, которая отделяет мир, подверженный страданию, от мира, где его больше нет. Этот второй мир — мир власти. В нем человек более не предмет и навсегда избавлен от кошмарной перспективы abuse. Это — мир достоинства. Но такое достоинство не просто индивидуальная иллюзия, как в либерализме. Напротив, оно — факт. И подтверждается реальным статусом и качеством бытия человека, прошедшего посвящение. Отныне его онтологическое и социальное достоинство становится иным. Посвященный располагается в центре бытия. Уже ничто не может причинить ему страдания. Он бесстрастен, неподвижен, безразличен и холоден. Он горит иным огнем — огнем вечности. Это — огонь свободы.

Достичь этого состояния нельзя, если просто волюнтаристически отрицать страдание, культивировать безразличие и бесстрашие. Так не пойдет. Любая имитация будет немедленно

опровергнута внешней агрессией, новым унижением, демонстративным «опусканием» шарлатана, возомнившего о себе бог весть что.

Путь инициации — путь реального и доказательного пресуществления человеческой природы. Необходимо не избегать страдания, а напротив, столкнуться со всей его полнотой, пережить его в максимально насыщенном, концентрированном и нагнетанном объеме. Это означает состояние, по болезненности и мучительности сопоставимое с глубоким и тяжелым душевным расстройством, с самым настоящим безумием.

Первая стадия инициации — праздник боли. Поиск унижения и мучительных ситуаций, нагнетание страдания и тяжести. Вся данность в человеке должна быть подвергнута сознательному abuse. В некотором смысле, это сопоставимо с радикальным опытом предельного мазохизма. Сломать надо «эго». Центр человеческой данности, ось «страдательного» бытия.

Это nigredo алхимии. Аскеза христианского монашества. Тропа инициатического юродства или суфийских маламатья. Даже масонство сохранило элементы этого инициатического учения: посвящаемого вводят в ложу сознательно в растерзанном виде, вызывающем чувство стыда, унижения, самоотвращения. В архаическом ритуале инициация сопрягается с нанесением телесных повреждений разной степени тяжести — вплоть до искалечивания. В некоторых традициях особо высокое посвящение требует отрубания жизненно важного органа — полового члена, руки или ноги. Часто наносят характерные шрамы, порезы, выбивают зубы и т.д.

Не стоит с этим спешить

Итак, страдание ставит перед человеком выбор: либо компромисс, либо попытка радикального преодоления. Но радикальное преодоление не означает ухода от страдания. Оно, напротив, предполагает проход через страдание, через его наиболее концентрированные, сгущенные, чудовищные зоны. Чтобы выйти за сферу действия abuse, надо добровольно пойти на abuse. Не дожидаясь внешней ситуации, надо начать планомерную и страшную работу по мазохистическому самомучению. Надо набраться яда бытия в полной мере.

Это предполагает «тотальный мазохизм». Радикальное искоренение «ветхого эго», его фиктивного тлеющего самодовольства, его разлагающих «нашептываний». Конечно, спускаясь в безумие, есть серьезный шанс, что обратного подъема не будет. А уж возврата к нормальности не наступит точно. Это — путешествие в один конец. В этом — риск инициации. Потерять «старое я» еще можно при наличии последовательных и целенаправленных, упорных «инициатически-мазохистических» действий. Не факт только, что «новое я» будет приобретено. Это «новое я» не следует торопить. Иначе вместо «incipit vita nova» появится тот же самый «старый» персонаж, столь же подверженный унижающим репрессиям внешнего и внутреннего мира, как и ранее, только теперь еще палимый желтухой шизофрении, не доведенной до конца. Чем дольше оставаться в режиме nigredo, тем надежнее.

«Высшее я», истинное духовное достоинство придет само. Если, конечно, придет. А коль скоро это случится, то очевидность преображения будет свидетельствовать сама за себя.

Пока же отдайте плоть учителю или командиру. Так будет вернее.

.Г.Дугин

**Интернет-сайт "Ленин", 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001**

ТЕАТР «ЛЮДИ»

Был на новогоднем празднике крупной российской буржуазии. Вместе с политиками Центра и beau monde. Было много икры (черной и красной), были перепела и осетры.

Порадовал огромный злобный змей из воздушных шариков. Он открыл свою пасть с клыками и дружелюбно навис над поедающей блюда (их было слишком много) публикой.

Милый Оуроборос черного тысячелетия...

Со вкусом подобранная эстрадная программа: упор сделан на *underage*. Эстрада, моды, танцы и песни — все в исполнении полуподростков-полудетей. Я не очень понимаю в моде, но, видимо, начало следующего тысячелетия как-то связано с культом *crowned and conquering child*. Играющий ребенок по-ново-русски.

Евразийские новые русские конца истории. Никто (на удивление) не набросился, все плясали и ели. Смотреть было не противно. Так же, как на зверей, картины Пушкинского музея, бомжей, балет или ворон. Классовой и социальной солидарности не было. Этническая была. Кстати, совершенно не было похоже на «Титаник». Какая-то невысказанная драма была всеми нашими проглочена и жгла их изнутри. Кончись мир, рухни потолок, никто бы особенно и не удивился. «Поделом нам», вздохнули бы тысяча сытых губ. Кое-кто бродил в темных водах воспоминаний о зоне, артисты переживали еду надрывно и по-чеховски, как и положено русским артистам, политики-центристы и чиновники — тоже как положено, ничего не соображали и регистрационно пасли своих полных (но не до жиру), давно отцветших подруг жизни, выведенных на нумерной банкет. У русских горечь идет прежде вкуса, а слезы растворяют жир изнутри. В конечном счете, все мы как-то очень, очень бедны.

Я любил свой народ даже таким — с острыми, пронзительно ищущими осетрину наточенными и выверенными вилками. Меладзе пел что-то свое, про бабочек, и какие-то другие малопонятные, но неотвратительные вещи. Никто не разбирал слов, даже подпевая. Некоторые фотомодели были столь высоки, что нагнеталось сказочное ощущение. Когда рост женщины дотягивается до патологии, до уродства, рождается тонкая магия, будто мы в лесу, будто новые запахи и новые движения рождаются из непредсказуемой, аристократической грации древесной мглистой зари. Безобразно высокие женщины... Обещание нового, чисто интеллектуального, культа.

Но я хотел написать о другом. Вдруг среди вечера, когда съели первую порцию всего и, откинувшись, стали ждать вторую, на сцене дебил в блестящих торжественно объявил: «Театр Люди».

Меня охватило током. На мгновение показалось, что дыхание куда-то ушло, и нового вдоха не будет, что сейчас змей из шариков оторвется от пола и взлетит над залом, целя своей красной добродушной пастью в меня, чтобы я захлебнулся соками рыбы (хоть пост, но суббота — в субботу рыбу можно), подавился икрой, упал, скрючившись, под столик и забился в конвульсиях от отсутствия воздуха. Так бывает, когда среди обычного вялого потока сознания врывается звездой страшная электрическая мысль и жуткое подозрение каленой жестью обрушивается на размягченную кашу головного мозга.

«Театр Люди».

Далее началось вполне майринковское представление.

На сцене появилась труппа, которая начала довольно банальный кордабалет под гнусавую англосаксонскую музыку. Но что-то было не так. Это почувствовал весь зал, напрялся, как-то вдруг застыл. У кого-то улыбка замерзла и медленно оползла. Участники шоу были какого-то странного размера.

Вначале показалось, что это опять дети, опять модный *underage*. Но лица... Лица были не детские, слишком странные, застывшие, старые, хищные, угрюмые. Особая раса.

И тогда дошло: Лиллипуты.

Лиллипуты все плясали и плясали. К ним вышел толстый высокий лиллипут и стал изображать из себя Челлентано, а малюсенькие тетки позади него подпрыгивали в такт. Потом они переоделись в католико-монашеские (*sic!*) одежды и стали делать неприличные жесты, показывать острые язычки, двигать маленькими бедрами, взвивать платья... В таком сочетании было что-то невероятно терпкое. Магия грустных евразийских соплеменников, сожалеющих о затопляемой станции «Мир», мгновенно рассеялась. Из глубины холодного хирургического ужаса заговорил очень трезвый голос.

Лиллипуты переоделись в жирафов (чувствуете брутальный ход мысли режиссера-постановщика: жираф чем отличается в первую очередь от других животных? — Правильно, чрезмерной шеей, что, в свою очередь, связано с переразвитием звериной щитовидки). Один был с сигарой, другая — с

толстыми красными губами. Они терлись плюшевыми шеями, двигаясь в очень странной грации, напоминая танцоров вуду или телепередачи с того света.

Потом действие тошнотворно нагнеталось, следующая партия лиллипуток уже танцевала канкан. Их черные чулочки с подвязками на крохотных кривых ножках странно, с туманной логикой чистого безумия, подбрасывались в воздух и гравитационно падали, как свинец, назад, приликая к полу. Застывший зал пытался вздернуть плечами, а ведущий, тоже почувствовавший наконец (идиот, как поздно!) что-то не то, выкрикнул: «Маленький театр маленьких людей».

Так вот он какой — маленький человек. Все стало понятно. О ком шла речь у либералов, у проповедников минимального гуманизма. Лиллипуты, freaks, geeks, люди с большими генами, с неточно подобранным комплектом хромосом, с искаженной щитовидкой. «Subhuman, subhuman, I tell you, brother, I tell you, brother...»

«Театр Люди» хочет убедить нас, что это — люди. Когда в цирке животные подражают человеку, все смеются, не задумываясь. Правда, я не смеюсь, но это не в счет. Я просто не хожу в цирк. А тут лиллипуты подражали людям, играли в людей, выдавали себя за людей. И то ли доктор Менгеле, то ли Мухаммад Дарашикхук, то ли подземный академик Сахаров назвали этот театр «Люди».

Это — утверждение, но сколь циничное! Такое впечатление, что за поверхностной гуманитарной помощью, за великодушным признанием видовой принадлежности стоит дичайшая, неместимая ложь — ложь всего этого вашего гадкого миллениума. Либеральная антропология цинично дает документ о полноценности — неполноценному, утверждает статус фактического за тем, что только может стать (а может, и не стать, как все в бытии: ведь бытие есть зона высшего риска) фактом, но еще им не является. Значит, стремление к преодолению, к реализации, к осуществлению, к подвигу и росту бессмысленно. Значит все недоделанное, abortивное, не доведенное до ума и до конца и есть эталон. Отсюда культ удачливого дебилизма. Это — дискретный идеал «нового человека» мондиализма. Не имея представления о цельности, оставаясь подростком-придурком до самых седин, проваливая все целостные начинания, он, тем не менее, достигает частичных успехов — ведь мондиалистский chance слеп и в лотерее gain-loose выигрывает отнюдь не самый достойный и не самый красивый, не самый белый и не самый сильный, не самый высокий и не самый справедливый. Не самый цельный.

Лиллипуты, играющие в людей. Маленькие люди. Но все политкорректные люди — маленькие люди. Все они играют в людей. Последние люди, минимальные гуманисты играют в людей. Им сказали, что все уже достигнуто, так что be proud and take care. А то, что еще не достигнуто, и достичь невозможно. Ненужно. И чуть что: «Вам это ничего не напоминает». Действительно, напоминает. Да, да, il futuro appartiene a noi! Говоря вашими слоганами.

Нам показывают болезненное, заблудившееся, отпавшее, рухнувшее, отмеченное дегенерацией, ущербное и томным эротичным голосом шепчут при этом: «Это тоже нормально... В конце концов, мы все freaks, у всех у нас есть маленькие пороки, которые, стоит ослабить галстук, разрастутся в настоящих монстров... Мы — уроды, мы — уроды, мы — люди, мы играем в людей, в маленьких людей, но людей. Мы — люди». Люди?!.

Тем временем шоу лиллипутов зверело. Они прыгали и металась по сцене, как мыши в ракушках, пока, наконец, два рослых коротышки ни подняли одну из лиллипуток с зонтиком в странной мини-юбке, ни перевернули ее вниз головой и ни начали ритмично и весело трясти. Показался неопрятного цвета купальник, англосаксонский голос в динамике завизжал: Darling, darling, darling...»

Шоу кончилось.

Хрустальная магия ужаса разрешилась. Публика схватила ртами воздух и очень редко захлопала.

Потом, чтобы быстрее избавиться от неприятного чувства, которое ползало еще по спинам, стала наливать и снова резко обратилась к еде.

«А теперь выступает группа «Девочки». Все опять, было, вздрогнули, но девочки были обычного среднего роста и лет 15–16-ти. Отлегло. Трясение телес нехудых подростков за вечер превратилось во что-то само собой разумеющееся.

После «Девочек» на сцену полз какой-то второй сорт. Названий не помню, мы засобирались и поехали.

Но «Театр Люди» реально существует. Очевидно, что целая волна антропологических пессимистов (мягко скажем, чтобы не дразнить) бросится теперь скупать билеты на выступления этого коллектива. Он дает представления в Москве. Пойдите, проверьте все досконально. Я нисколько не утрирую. Это — ключ к Попперу, сценографическая инкорпорация определенных тезисов мондиалиста Фукуямы. «Мы — уроды, мы — уроды, мы — последние люди... Но люди, люди, люди...»

Так что пойдёмте все смотреть лиллипутов.

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ТОТ, КТО ИДЕТ ПРОТИВ ДНЯ...

Тема «нового человека» — центральная не только для судьбы коммунизма в России, которая оказалась столь трагичной именно за счет того, что попытка создания такого «нового человека» не увенчалась успехом (крах этого начинания уже автоматически заключал в себе все последующие события — застой, брежневизм, перестройку и самоликвидацию социалистической империи). Эта проблема в ницшеанской терминологии («сверхчеловек») играла огромную роль и в нацизме. Но само это выражение отнюдь не результат концептуального творчества красных или коричневых... Проблема задела гораздо более широкие слои — и консервативных революционеров Европы, и вообще всю русскую интеллигенцию накануне Революции, так что большевики и фашисты заимствовали концепцию «нового человека» из более широкой культурной среды. Но и сама предреволюционная интеллигенция не выдумала эту тему. Она восходит к намного более древним корням — в священные учения, в область инициации и эзотеризма. Более того, термин «новый человек» является осевым понятием эзотеризма, так как он означает «посвященного», прошедшего инициатический ритуал.

Это относится не только к выражению «новый человек», но и ко всякому употреблению слова «новый» в контексте сакральной традиции. Логика такова: Традиция разделяет два типа существования. Один тип является естественным, он называется также «ветхим». Это существование по инерции, всякая данность, наличность и т.д. Этот «ветхий» аспект указывает не просто на старость, древность, но на особое качество даже тех явлений, которые кажутся «новыми». Так, например, младенец, рождающийся от телесной матери автоматически становится ветхим, попадая в ветхий мир, становясь под его ветхие законы и нормы. Естественное, «рожденное снизу», в Традиции есть «ветхое».

Вторым типом существованием является «новое». Оно подразумевает не просто временную последовательность, но некоторое внутреннее качество бытия. Так, «новыми» могут быть «посвященный старец» или древнейшие эпохи Золотого Века. «Новое» бытие означает переход на особый, трансцендентный, духовный уровень, где все бытийные нормы и закономерности в корне отличаются от естественного для телесной реальности хода вещей. Путь в «новый» мир идет через ритуал инициации, когда ветхое, телесное в человеке умирает, а новое рождается. То, что приходит в мир по естественным законам — в силу инерции — заведомо ветхое. То, что, явившись, сознательным и волевым образом выбирает противоестественный, не само собой разумеющийся путь радикального преодоления, преобразования, полной трансформации, есть воистину «новое».

Новое означает «рожденное свыше», прошедшее ритуал инициации, преодолевшее естественную наличную структуру своего собственного бытия. «Новое» бытие характеризует «нового человека». «Новые небеса и новая земля», о которых говорит Апокалипсис, не просто пророческое описание того, что грядет в физическом мире, но видение особой вечной и трансцендентной реальности, которая существует по ту сторону времени и пространства, то есть уже сейчас и уже здесь, ведь Царство Божие внутри нас.

«Новый Завет» христианства, Новый Израиль как православная Церковь и, наконец, «новый человек», о котором прямо говорит апостол Павел в своих посланиях — все это не просто метафоры, но точные и строгие определения эзотерической и инициатической природы уникальной

Традиции, внутренней и эзотерической по отношению к ветхому, внешнему и экзотерическому иудаизму. «Новое рождение» — христианская инициация — в Церкви есть крещение, «рождение свыше». В этот момент в душу новообращенного закладывается зерно «новой жизни» — семя Святого Духа, новой сверхтварной Личности.

Итак, Традиция в связи с «новым» всегда говорит именно о рождении, о новом происхождении, о воскресении, которое возможно лишь после особой инициатической смерти. Термин «новое рождение» подчеркивает, что речь идет об особом органическом и целостном явлении, во всем подобном телесному рождению, но только в духовной сфере и в результате сознательного волевого решения и усилия. Такой метод не может стать атрибутом образования или воспитания. Воспитание предполагает улучшение того, что уже есть, его эволюцию, обтесывание материала, который есть в наличии. Поэтому образовательный процесс имеет дело только с ветхим, лишь улучшая его качество, обтачивая и совершенствуя наличествующее.

Инициатическое рождение — нечто совершенно иное. Речь идет о действительном «разрыве сознания», о переходе от одного (ветхого) к радикально другому (новому). Отсюда, кстати, традиционная инициатическая смена имени после посвящения. И на сей раз это не метафора. Старое существо в инициации совершенно исчезает, умирает. Носитель нового имени — это уже новая личность, по-новому устроенная, обладающая иными органами, иным восприятием, иной бытийной и даже физиологической структурой.

У архаических народов в наиболее жестких инициатических практиках речь идет о ритуальном расчленении посвящаемого, о поедании его тонкого тела сущностями субтильного плана и о новом световом вселении в его оболочку таинственного трансцендентного луча. В шаманском посвящении речь идет о варке тела неопита духами; у тибетцев это ритуал Чод — процесс разрывания посвященного женскими «стражами порога», дакинями и т.д. Лишь после «разрыва сознания» начинается возвращение духовного зерна. До этого момента возвращать, строго говоря, нечего.

Новым человек может стать только человек, прошедший посвящение. Это качество можно приобрести лишь в организации строго инициатического типа. Вне инициатического контекста любой разговор о «новом» будет демагогией. Более того, сама идея о воспитании «нового человека» уже заключает в себе противоречие. Воспитывают только ветхое, новое рождает.

И большевики, и русские интеллигенты, и фашисты, и многие авангардные художники XX века, безусловно, интуитивно тянулись к инициации, но эта тяга была смутной, расплывчатой, нечеткой, слишком приблизительной. Поэтому их «новый человек» остался лишь намерением, романтической мечтой, абортивным полусостоявшимся чудищем. В кожаных комиссарах и лучезарных эсэсовцах, безусловно, есть отблески этого «нового»... Но это «новое» отражено как в кривом зеркале. Крик о трансцендентном задавлен пуховой подушкой ублюдочно-человеческого.

Нет и не будет политического успеха у тех движений и сил, которые стремятся противостоять современному миру и продолжают хоть в чем-то быть с ним солидарными. Радикальный разрыв, абсолютный развод, жесткий и непоправимый уход в сферу Иного.

Ничего человеческого не должны быть в нас, ничего ветхого, ничего усредненного, ничего банального.

Опыт инициации не передаваем. Либо он есть, либо его нет. И никакие ухищрения нью-эйджевских мистиков и неоспиритуалистов не смогут скрыть их фатального сродства с ветхим миром современной деградации.

Евгений Головин любит повторять гениальную фразу: «Тот, кто идет против дня, не должен бояться ночи».

От подлинного мира, нового мира и нового человека, от новых небес и новой земли нас отделяет страшный и торжественный барьер великой завесы. Разодрать ее дано немногим — ведь эта завеса смерти, черный иконостас великой полночи.

Все беды, поражения, неудачи имеют внутренние причины. Строго говоря, вовне вообще ничего нет. Поэтому неверно сетовать на объективный рок — эту иллюзию порождает мы сами нашей ленью, нашей тупостью, нашей трусостью. Номо Novus — строго инициатическое понятие. Его светильники переставлены, на нем королевская мантия.

Прыгайте в бездну, не задумываясь. Если вам удастся выплыть с другой стороны, вы обретете дар, ценней которого нет во всей реальности. Если сгинете — тоже не велика потеря. Место другим освободите...

Есть предсказание, что в последние времена на земле лишь ничтожная горстка среди двуногих будет подлинными людьми, остальные же — низшими демонами, обретшими призрачную, сочащуюся гниением плоть. Оглянитесь вокруг, эти физиономии вам ничего не напоминают? Ведь вылитые бесы с картин Страшного Суда сплывают по эскалаторам, набиваются в автобусы, пролезают в телевизор...

Последнее время нарастает предчувствие, что скоро, очень скоро придет благословенный момент, когда новый человек будет судить и казнить ветхого. Точных сроков, конечно, мы знать не можем, но сладкий день Гнева приближается.

Тогда вы у нас попляшете...

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

РАСТВОРЕНИЕ СОЛИ

«Эго» против бытия

Истина, реальность, религия и бытие начинаются для человека там, где кончается его «я», его «эго», его «индивидуальность». Пока эта индивидуальность есть, реальности нет. И наоборот, реальность обнаруживает себя там, где «я» заканчивается.

«Я» есть высшая и хитрейшая из отчуждающих иллюзий, наиболее отточенный инструмент дегенерации, рычаг отрыва мира от его светового, потустороннего истока. Если бы не «эго», не было бы ни грехопадения, ни Поппера. Не было бы той кошмарной пленки, наброшенной на мир, которая делает его инвалидским гротеском, сплошной тюрьмой без стен, гравитационным карцером.

«Эго» подлежит уничтожению, радикальной отмене. На его месте должно водвориться нечто иное. Не следует заглядывать вперед, пусть это будет что-угодно. Если сумеет затушить «я», все остальное приложится само собой.

Механика рождения «я»

Откуда взялось «я»? Откуда зло пришло в мир? Откуда произрасла худшая из иллюзий?

Ведь никакого «я» нет ни у зверей, ни у цветов, ни у камней, ни у вещей, ни у ангелов... У всех здоровых видов, населяющих миры и пространства.

Чтобы проследить корни этой «тайны беззакония», надо совершить краткий экскурс в космологию.

Бог сотворил всю вселенную из двух полюсов. Один полюс — объективный, другой — субъективный. Объективный полюс был вызван к бытию, движению и циклическому круговращению как бы извне. Как декорация, как ландшафт, как сцена. Все крутилось и двигалось, подчиняясь внешней силе. Это — субстанциальная часть творения. План материи.

Второй полюс — субъективный. Он вмещает в себя причинные, животворящие силы, смысловые линии мира. Это — эссенциальная, квинтэссенциальная часть. План ангелов-идей.

Ни там, ни там нет «я». Есть формы, есть бесформенные световые траектории, но «я» нет.

Между двумя мирами было поставлено нечто третье, нечто промежуточное. Фигура медиатора, посредника. Это — Человек.

В нем и только в нем осуществляется конверсия субстанциального в эссенциальное, и наоборот. Человек может волатилизировать материю и коагулировать дух. Для этого он, собственно, и был создан двойным — из духа и тела.

Ангелы курируют материальные пространства как настоятели, извне. Их природа радикально отлична от природы материальных форм, несводима к ней. Лишь человек способен к магическому спасительному превращению нижнего в высшее, плотного в тонкое.

Ангелический луч света упал на поверхность материальных вод, и появился Адам, существо из водного света, огненной воды, воды, которая не мочит рук, он — жидкий огонь. Адам был предназначен к тому, чтобы стать печатью творения, осью мировращения.

Но тут произошло нечто катастрофичное. Вдруг он отказался выполнять задание, и объявил о своей самодостаточности. Это было началом ужаса.

То, что получилось из слияния светового и материального, было похоже на «я». Это — «душа». Но, будучи сугубо инструментальной, душа не могла еще сказать о себе «я», потому что постоянно осуществляла вначале динамический синтез, переводя «все» нижнее во «все» верхнее. Поэтому человек называл себя «всем во всем», спасительным круговращением бытия.

В какой-то момент эта промежуточная реальность перестала двигаться, осуществлять свою провиденциальную функцию, застыла. И тогда возникла фатальная иллюзия. «Время рождения «я». В алхимии этот процесс представлен как появление Соли. Соль — третий, промежуточный элемент — возникает из воздействия огненной Серы на влажную Ртуть. Соль = душа. Евангельские слова о «соли земли» надо понимать именно таким образом.

Но алхимики считают, что эта соль не та. Это — ложная кристаллизация.

Следовательно, ее необходимо снова привести к двум составляющим, разложить на внеиндивидуальный дух и внеиндивидуальную материю, на Серу и Ртуть.

«Работа в черном», «разложение трупа», «гниение», «putrefactio», «голова ворона».

«Я» уничтожается как ненужный, неудачный выкидыш космогонического, антропогонического процесса.

Но теперь создается «новое я». Новая Соль, иная. Эта Соль — душа, не знающая статического «я», никогда не отождествляющая себя с «эго», душа, перманентно осуществляющая изначальную миссию — обрушивающая верхнее на нижнее, фонтаном преображающая нижнее в верхнее. *Animam stante et non cadente*. Это — настоящий человек, возвращающийся из скитаний по лабиринтам видовой иллюзии к забытой миссии. Блудный сын. Тайная дочь. Аэлия Лаэлия Криспис (для тех, кто понимает, что мы имеем в виду).

Новая антропология

Наш подход к антропологической проблематике вытекает из алхимической доктрины. Он отрицает за человеком право на индивидуальность, на наличие «я». «Я» — это неопрятное, некрасивое, преступное заблуждение. Его искоренение — первая задача и главная. «Я» — фикция, пустой орех, который, по Ницше, страстно желает быть расколот.

Индивидуальность не что иное как погрешность, дефектность, проекции света на тьму, случайное и ничего не значащее, ни о чем не говорящее и совершенно не ценное отклонение от типа. «Я» возникает как брак, как неудача в магическом антропогенезе, в человекосоздании. Удавшийся, удачный человек не может сказать о себе «я», потому что он включает в себе всю природу, всю миссию, всю историю, весь космос. Его имя раскладывается на круговой веер иных имен, чтобы снова слиться в одно. Настоящий Человек — удачное зачатие, получившийся вид, правильно сложенные фрагменты мозаики. «Индивидуум» — его антипод. Авортон, неудача, продукт не вовремя прерванного действия, пораженный ген. Чтобы Человек был, индивидуум должен умереть.

Суетно могут задать вопрос. — «При отрицании «я», где гарантии, что на его месте не воцарится нечто неприличное, еще более худшее?»

Ответ. Во-первых, хуже некуда, а во-вторых, предоставьте все видовой природе. Мы задуманы как спасители, как сотеры, как преобразители бытия, и лишь заблуждение, наведенные химеры рассудка и враждебная подлинному гуманизму сатанинская культура сделали из человечества рабов «открытого общества». Даже если вы превратитесь в булыжник, это будет ценнее, чем если бы вы стали преуспевающим менеджером в насквозь фиктивном, призрачном мире победившего мондиализма.

Вас назовут «зомби», но на самом деле «зомби» — это они. Вам откажут в разуме, но их «здоровый рассудок» сам по себе есть нескладное и безответное безумие. Вы будете называться «марионетками сбрендивших гуру», но те, кто будут произносить это, сами работают от розетки, от простой электрической розетки телевизора на 220, послушнее системе, чем пылесос домохозяйке.

Истина требует от вас отказа от «я». Вы должны называть себя как-то иначе. И в этом пусть будет не ограниченная свобода.

Растворение Соли — первая заповедь существа, искренне стремящегося обрести реальное видовое достоинство и избежать позорного провала уникального шанса — своего воплощения.

Почитайте отца нашего Сульфура и мать нашу Аргентум Вивум.

Да станет каждый из нас философским ребенком — Солнечной Солью!

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ДИАКРИСИС

Одной из существенных черт полноценной личности должно быть искусство «различения движений души», которое в православной аскетической традиции называется греческим термином «диакрисис». В монашеском контексте «умного делания» эта практика имеет особый и возвышенный характер, имитировать который обычным людям вряд ли под силу. Но эта техника обладает и универсальным значением для всех тех, кто стремится из недотыкомки перейти на новую, более адекватную видовую ступень, приближаясь к заветному статусу «обособленной личности», которую только и можно в наши суровые эсхатологические времена считать «человеком».

Сразу бросается в глаза связь между терминами «обособление» и «различение» (собственно «диакрисис»), и на самом деле, «обособленным» становится не тот, кто с основанием отделил свою судьбу от судеб дегенератов кали-юги, но тот, кто сумел осуществить перерасчет своего наличного существа, пустив в расход обывательскую тушку (вместе с испарениями духовными) и выведя из подвалов забвения и унижения «проклятую (в современном антропологическом и психиатрическом ландшафте) часть» (Батай). Иными словами, только тот, кто способен эффективно осуществить «диакрисис», может надеяться на определенный интерес со стороны реально компетентных сущностей. До сдачи экзамена в этой области человек остается простым намерением, неоплаченным векселем, пустяком.

В интеллигентских средах нечто аналогичное в свое время было принято называть «рефлексией». Под этим термином понимался непрерывный анализ жестов, мыслей и поступков, который отличал «думающих» от «обычных». «Рефлексия» была магнитной карточкой интеллигенции. Но так как наша современная интеллигенция есть (бездарная и плоская) пародия на Серебряный век, то и в этой апелляции к «рефлексии» можно усмотреть не только сублимацию невротических комплексов, но и подражание фигуре Серебряного века, который основывался на очень сложном и глубинном психо-мистическом комплексе, граничащим со своего рода «эзотеризмом». (О степени пародийности и имитации у самих представителей Серебряного Века можно будет рассуждать только после того, как будут произведены полномасштабные исследования этого сложного и интереснейшего явления в ключе, блестяще обозначенном Александром Эткингом в «Содоме и

Психее», «Эросе Невозможного» и, особенно, в «Хлысте»* ; забегая вперед замечу, что за освоением Эткинда остается произвести следующий герменевтический шаг и разобрать выделенный им комплекс с учетом работ Генона, Эвола, Корбена, Элиаде и других традиционалистов). «Рефлексией» принято называть имитацию «диакрисиса» или «диакрисис» неоконченный, проведенный кое-как, путано и хаотически, неудачный, вечно обрывающийся на самом важном месте, — одним словом, такой «диакрисис», которого лучше было бы и вовсе не производить. И все же термин «рефлексия» не превратился, пожалуй, в такой кич, как слово «культура». Можно себе представить «выдающего деятеля культуры», являющегося при этом полным идиотом (таких, кстати, большинство), но любого «рефлектирующего» человека просто «идиотом» назвать трудно.

Практика реального диакрисиса, которую можно вполне реализовывать и в светском обществе, заключается в культивации перманентно расколотого состояния, во вступлении в режим «раздвоенного сознания». Для этого следует сделать несколько внутренних операций. Во-первых, надо четко сформулировать задачу: стремление стать обособленным и перестать быть необособленным. Это серьезное решение. За него придется впоследствии дорого платить. Но что ждет вас, если вы предпочтете остаться такими, как вы есть? Скука, старение, охлажденная сизая плоть, бесноватые смешки, тление внутренней жадности, круглый, как дурачок, призрак «я», злые растерянные родственники, остекленелые товарищи по учебе, работе, косяк и стакан, выборная урна, дядьки и тетки в телевизорах, пластиковые стаканчики, постоянная смена погоды... Так что риск не велик, даже если вас раздавит раздвоение, это можно будет списать на издержки санации. Можно подумать, вам есть, чего терять, кроме собственного невежества и несостоятельности.

Итак, решив стать «обособленным», вы отслаиваете от своего существа «второго». Этот «второй» есть тот, кого вы привыкли считать «первым» и «единственным». Видите, как просто. Надо только перейти от дурацкого утверждения, что «1 равно 1», и всерьез схватиться за увлекательное и манящее «1 не равно 1». Этот «второй», бывший «первый», отныне будет тем, что вы более всего ненавидите. Он отныне не вы, но агент, черный двойник, внедренный крылатыми воздушными бесами в ваше тело и в вашу душу, чтобы надругаться над скрытым там неведомым и вам самим сокровищем, опоганить его, посмеяться над вами. Вы как данность — насмешка над вами как заданием. И есть сила оставить эту данность неприкосновенной навсегда. Эту силу вы ошибочно называете «я». Но это не вы делаете жесты, не вы думаете, не вы говорите, не вы читаете, не ваши мысли вяло тянутся сквозь ваш череп, с кем-то споря и что-то доказывая. Это он, иной, произносит «я» тогда, когда это слово слетает с ваших губ. Подмена. Современный мир в основах своих покоится на сваях гигантской подмены, тотального надувательства. И это захватывает глубины, минеральные корни антропологии. Поэтому диакрисис обособления рано или поздно заставит подвергнуть тотальному ревизионизму все. Однако делать это надо корректно и плавно, *suaviter cum magno ingenio*. Конечно, «второй» не так прост, чтобы сразу поддаться на ваш выпад. Он хитер и опирается на коллектив, на физическое и психическое самочувствие. Он гибок, как змей, кротообразен, как Капитал, он нарыл в вас тысячу ходов. Это хитрая скотина, состоящая в заговоре с целой сворой еще таких же полувидимых мерзавцев, восседающих в тех «людях», которым вы привыкли доверять. Так вот: не надо им доверять. В конце кали-юги под маской человека скрываются в подавляющем большинстве своем совершенно иные товарищи. Кто, по-вашему, после сожжений Де Моле и Аввакума станет охранять бреши в великой стене?

«Второй» (зовите его как-нибудь особенно, например, как вас самих зовут: «Вася», «Федор», «Лена», «Коля») должен пострадать, его следует наказать, он достоин этого. Он совершил преступление, и вам удалось поймать его за руку. Схватите его покрепче, пытайте его, добивайтесь от него признаний, внимательно исследуйте его контуры, выбивайте с пристрастием, почему он «думает», «говорит», «делает» те или иные вещи, чувствует так, а не иначе. Поначалу поступайте всегда прямо противоположным по отношению к нему образом. В дальнейшем эту практику можно более нюансировать. Когда вы обретете над ним начальный контроль, можно ему иногда потворствовать, чтобы выяснить, к чему он клонит, и насколько глубоко пустил он корни в вашем существе (теле, душе, уме).

Пошлите все и всех к чертям, сосредоточьтесь только на этом перманентном разделении. Не обманывайтесь — наркотики и алкоголь не помогут. «Второй» постоянно охмуряет вас и околовывает своими низкими чарами; это от них вы хотите сбежать, укрыться, когда тянетесь к косяку или таблетке (на фоне тотальной наркоты алкоголь вообще перестал считаться пороком и опасным пристрастием, став своего рода консервативной ностальгической добродетелью). Это не выход, пробуждение достигается в обратном направлении, а не в усугублении сна. «Второй» легко обходит вас на психоделическом пути, всплывая с той стороны именно там, где вам чудится безвозвратность побега. Стражи Системы приучают вас к компромиссу и покорности через зависимость опыта «освобождения» от внешней инфраструктуры.

Реальные эксперты потустороннего принадлежат сфере трезвения. Диакрисис не предполагает утвердительно «первого». Об этом нельзя ни думать, ни говорить. Он предполагает отрицание

отрицательного «второго». Чем суше и последовательней будет этот путь, тем достовернее и живее содержание вас как существ. Обращайтесь с собой как с инструментом, как с молотком, гвоздем, серпом, рычагом, рубанком, пистолетом. Считайте отныне, что вы пролетарий трансцендентного. У людей, идущих к «обособлению», больше нет достоинства. Известно, что если семя не умрет, ничего не произойдет. И это касается вас лично, каждого из вас, молодого и старого, довольного или обделенного, мужского или женского... ничего этого, на самом деле, нет. Вы только еще можете быть. Но это только гипотеза, подтверждающаяся или опровергаемая вашей жизнью.

Без диакрисиса национал-большевизм недействителен.

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ПОБЕГ

Устройство реальности таково. Существует круг проявленного, упорядоченного, данного, структурированного. Этот круг «мира сего». Порядок в нем максимален в центре и минимален на периферии. Это круг «мира сего» имеет свою жесткую логику, свои законы, свое фиксированное устройство. Не всегда и не всем оно понятно. Но по мере приближения к его центру, к его полюсу общая логика становится все более и более вразумительной. В этом центре пребывает власть. Не только политическая, но всякая, тотальная — власть физических материальных законов, исторических тенденций, заданных плотью этого мира фатальных векторов. Христиане называют абсолютного носителя этой власти «князем мира сего», *princeps hujus mundi*, по-латыни. Чаще всего он отождествляется с дьяволом.

«Мир сей» можно также назвать Системой. Кругом системы. Крайне левые часто отождествляли его с «фашизмом» или «Аушвицем». «Мир сей» проецирует свою власть на все уровни, наличествующие в конституции существ, которые оказались в него вовлеченными. Рождаясь человеком или приходя в мир животным, насекомым, растением или вещью, мы автоматически оказываемся под ярмом тотальной власти Системы. Это она создает мораль, определяет нормы, устанавливает законы, определяет что и как делать, как и где жить, как и когда умирать. У «мира сего» — своя география, своя цельность, своя логика, своя судьба. Она хочет выглядеть единственной и общеобязательной. Она желает выдать свой порядок за единственно возможный, свои принципы за универсальные установки, не имеющие альтернативы. «Мир сей» называется также «ветхим миром», его закон — «ветхим законом», существа, его населяющие — «ветхими существами». В центре его находится «ветхий князь». Вся реальность циркулирует между центром Системы и ее периферией. Удаляясь от центра, реальность распадается на фрагменты, теряет упорядоченную структуру, страдает, извращается, разлагается, нищает, деградирует, теряет могущество, силы, власть, благополучие, состояние. Приближаясь к центру, напротив, реальность упорядочивается, усиливается, укрепляется, нормализуется, получает соучастие во власти «ветхого князя», наделяется могуществом. Эта динамика перемещения под воздействием двух сил — центробежной и центростремительной — составляет единственное содержание «ветхого существования», «бытия в Системе». При этом сама Система постоянно изменяется, хотя сохраняет постоянным свое сущностное качество.

Вопреки претензиям «онтологического Аушвица» на свою единственность, безальтернативность, неизбежность, это ложь. Есть, может быть, иной круг. Это — «новый мир», «новые небеса и новая земля», «новая жизнь» Данте, «новый человек», «новый Адам», «новое бытие», «новый порядок». Где и как найти это?

Только не в Системе. В ней нет такой точки, которая служила бы переходом к «новому бытию». В ней не может быть такой точки. Но все же есть два предела, которые граничат с отсутствием Системы, а это уже близко к тому, что нас интересует.

Первая линия — это центр. Здесь нет иллюзий объема. Власть обладает магическим качеством, она ставит существо одной ногой на зыбкую почву потустороннего. Поэтому власть так головокружительна. В абсолютном центре Системы очевидна ее фиктивность, ложность ее претензии на безальтернативность. Властелин соприкасается напрямую с «князем мира сего», знает его дыхание, зловещий аромат его присутствия. А при соприкосновении с этой черной тайной,

открывается парадоксальная возможность заглянуть через плечо Узурпатора. Там хлещет иной свет. Мистерия царской власти — одна из самых глубоких и страшных.

Вторая грань — предельная периферия. Там ткань бытия истончается до прозрачной пленки. Фрагменты, разложившись, живут сами по себе. Тела, чувства, мысли, концепции и предметы превращаются в решето. Микробы вырастают в гигантов, объемы сжимаются, как ссохшаяся кожа. Небеса свертываются в свиток, умещаются в ладони. Как это ни странно, но шагнувший за последнюю черту встречается с тем же, с кем и высший властелин. Тот же темный силуэт, те же баюкающе угловатые жесты, те же — черные на черном — плечи, восковые руки, слегка волочит одну ногу. И снова блеск «нового света». Из-за его спины. Прыгайте.

Что-то, чего не помнишь и не опишешь. Вы на периферии иного. Среди фрагментов, разрозненных кристалликов еще не собранной мозаики, в нижнем сословии, еще без статуса и прав, еще с печалью и ужасом от происшедшего. Кто вы? Где вы? Вы ничего не можете вспомнить. Что с вами случилось? Имя... Что-то вертится в голове, но ускользает. В таком свете ничего не видно, для этого необходимо присутствие мрака.

Какие новые чувства...

Что так саднит в лопатках?

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ПЯТЬ ТЕЗИСОВ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Пора называть вещи своими именами, не обращая внимания на корректность и академизм стиля. Становится ясно, что никто нас-таки и не поймет и не примет. Следовательно, придавать дискурсу отвлеченный тон не имеет большого смысла. В конце кали-юги в шахматы не играют.

Каждый должен уяснить себе, чего мы хотим и чего мы хотим лично от вас. Вопрос о смысле жизни. Вполне нормальная проблематика. На переломных эпохах его ставят без усмешки и обиняков.

Наша задача имеет несколько уровней.

Первый уровень. — Необходимо понять ход истории

Без этого не будет ясно — контекст, в котором мы пребываем; язык, на котором говорим; среда, в которой очутились. Тот, кто не имеет представления о ходе истории, о ее моделях, тот все равно, что грач. Он подвержен силам извне, объем его умного бытия пуст. Любой дурак должен иметь мало-мальское представление о ходе истории. Когда-то это было настолько очевидно, что без определенных мыслей на этот счет люди не отваживались отправиться на базар. Сегодня сама постановка проблемы может показаться слишком отвлеченной для профессиональных философов, историков, президентов. Жир и телевизор стали протезами мозга. Кто о чем-то заговаривает — либо шутит, либо только что освободился по амнистии. Дух времени противоречит тому, чтобы мы двигались в сторону осознания хода истории. Случайно?

Второй уровень. — Необходимо поучаствовать в ходе истории

Но только после его хотя бы крайне приблизительного осознания. Иначе, впрочем, мы окажемся лишь в положении зубоковырjalки для вне нас расположенных сил. Если мы имеем модель хода истории, участие в нем делается качественно иным. Теперь процесс существования приобретает брезжащую осмысленность. Происходят предварительные дифференциации. Начинается первичный экзистенциальный и гносеологический опыт. Что-то и кто-то сопротивляется вашему стремлению, что-то и кто-то оказывает поддержку. Бытие приобретает осмысленность, векторную когерентность. Не обязательно участие должно быть масштабным. Иногда достаточно мелочей, бытового исповедничества. К примеру, вы помните, что живете в конце истории. Следовательно, вы пьете

кофе или прогуливаетесь по саду или бьете морду — но все это уже не просто так, а как существо, пребывающее в конце истории. Каждый ваш жест, каждое ваше состояние, каждое чувство приобретает дополнительное измерение. Конечно, едва ли вы останетесь на уровне бытовом и не попытаетесь социализировать свой опыт. Ведь опыт, новый опыт, начнет раздирать ваше я. Поэтому вас помимо вашей воли само собой вынесет к третьему уровню.

Третий уровень. — Необходимо изменить ход истории

Это вытекает из предыдущего. Если ваше участие в ходе истории не будет выражаться в его изменении, хотя бы самым незначительным, значит это участие фиктивно. Это ясно. Стремясь изменить хоть немного ход истории, вы проверяете состоятельность собственного исторического бытия. Опасный путь, на нем много ловушек и рытвин. Здесь следует учиться различать тонких духов. Впервые дает о себе знать хохочущий демон тщеславия, ваш темный двойник. Он пытается вовлечь вас в воронку темного верчения, вам будет казаться, что вы зреете и оставляете следы в массе времени, но на самом деле, вас за уши вращают «темные» вокруг вашей же фиктивной макаронной оси. Им можно убедить лишь смотрительниц музея. Реальное изменение хода истории — пусть на градус — огромная удача. Это очень и очень много. При условии, если вы прошли первых два уровня. В противном случае, все — галлюцинация сивого пня.

Четвертый уровень. — Необходимо повернуть ход истории вспять

Необычайный подвиг. Тише, здесь начинается разоблачение наших тайных помыслов. Это самая высокая степень изменения хода истории. Если вы обращаете время вспять, значит вы равнозначны с самой историей, вы ее дубль, человеко-время. Значит вы внутри, а не вовне. И колесо событий семенит вокруг вас. На это способны только герои и святые. Но кто сказал, что двуногие свиньи терпимы в глазах онтологии? Тот, кто имеет форму человека, должен быть либо человеком, либо он будет наказан. Не стоит вводить ни себя, ни других в заблуждение. Вне трансгрессии нет нашего вида. Наша сущность в том, что у нас отсутствует последняя дефиниция, последнее утвердительно основание. Мы никогда не можем со всей ответственностью сказать: «человек — это нечто». Всегда есть открытое измерение для оспаривания, и убедительного, наглядного оспаривания. «А вот и не нечто»... Земля уходит из-под ног... Кто-то низвергнется, кто-то наконец научится парить в регионах огня. Вобрать в себя испущенное семя, затолкать внутрь гортани произнесенное слово. Когда вам говорят: «нечто — модно», «нечто современно», в конце концов, «нечто есть здесь и сейчас» — отвечайте злым хохотом, царапаньем глаз, шипением и круговращательной пляской. Ничто не так, ничто не есть, ничто не современно. Докажите это, добившись всего, и выбросьте на помойку. Холокост времени. Топ-модели — онтологические жертвы новых метафизических снайперов. Со всем этим надо разбираться решительно. Время — назад!

Пятый уровень. Последний. — Необходимо остановить ход истории

Это понятно (да что вы?). Если мы сумеем обратить ход истории вспять, уже попадем в мир, где все не так как вчера, как сегодня, как завтра. Будет ли история тогда, когда она обратит свое течение вспять? Можно ли назвать Иордан, в который ступил Спаситель и который от ужаса перестал течь в привычном направлении, «рекой»? Или застывшие воды Красного Моря, по которому шел Моисей, «морем»? Но субтильная разница остается. В обратном направлении или вообще без направления... Далекая, естественно, перспектива, но не пустой разговор. В теле нам придется решать эту важную задачу. Тело будет другим, конечно, несколько сахарным, но все же телом. Обратное или вообще никуда? Начать снова или оставить в таком состоянии? Чтобы быть последовательными, ответим честно: придется остановить, хотя кое-какие могущества так просто с этим не согласятся. Сложная невыносимая драма в статическом зависании, неподвижная динамика колоссального вопроса.

Но придется остановить...

А.Г.Дугин

"Вторжение", №6, 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ОБЛАКА

Иллюстрация теории хаоса

Когда современные ученые хотят наглядно объяснить теорию хаоса, они часто используют образ облаков. Цикл существования облаков представляет собой типичную хаотическую систему. С одной стороны, их общая траектория и структура подчиняются некоторой логике, можно высчитать и предопределить их консистенцию, их направление, их плотность. Но на более конкретном уровне, их поведение непредсказуемо; фигуры, в которые они складываются, абсолютно произвольны, конфигурации спонтанны. Здесь отступают на задний план и теория вероятности, и статистические закономерности. Облака ускользают от строгих приемов классического анализа, тяготеют к спонтанной неопределенности, к произвольной свободе постоянно менять свои объемы и узоры.

Облака выполняют для созерцателей с земли важнейшую функцию — они учат нас подвижности и гибкости восприятия, заставляют прислушиваться к странной лексике тонких метаморфоз, иллюстрируют вонне глубинные движения нашего внутреннего мира...

Облака не принадлежат к сфере порядка. Они частично изъяты из нее, вывешены. Но то же время неверно утверждать, что они совсем вне логики — напротив, своя облачная логика у них есть. Это субтильная логика хаоса, странный сбивчивый ритм тонких процессов.

Существует удивительное сходство между свободным потоком мысли и течением этих высоких тяжелых и бесплотных небесных масс.

Символизм связи

В Традиции символизм облаков играл очень важную роль. Они выступали как облачение небес, а небеса были образом духа. Показательно, что в миг Второго Пришествия Господь «грядет на облаках». Изображения облаков в иконописи указывают на трансцендентные божественные миры.

Но все же существует различие между символизмом небес и символизмом облаков. Небеса остаются постоянно неизменными, всегда вверху. Облака же, как зримое воплощение «верхних вод», могут стугиться до такого предела, когда, не в силах более удержать водную массу, разверзаются животворным ливнем. Контакт между далеким бесстрастным миром вечной лазури и живой землей людей осуществляется через таинство дождя, облачное таинство.

Отсюда — древние культы, связанные с дождем, ритуалы вызывания дождя. В Библии пророком, имевшим власть «заключать небеса» и, соответственно, способным вызывать дождь, назван Илия Фесвитянин, взятый впоследствии живым на небо, так и не увидев смерти. Сакральное сознание видело в дожде не природное, утилитарное явление, необходимое для удачного урожая, но фрагмент вечного откровения, данного человечеству Творцом.

Облако в религиозном символизме выступает как посредующая инстанция между горним и дольным. Благодаря ему возможно связать далекие друг от друга уровни бытия небо и землю.

Облачное тело

В духовной реализации человека есть этап, когда «облачная» тематика становится центральной. За периодом догматической, концептуальной подготовки, когда умозрительные реальности структурируются в соответствии с особой логикой, следует этап практической проверки того, насколько адекватно усвоена теория. Человек тогда вплотную становится перед проблемой создания «облачного тела».

Суть этого этапа состоит в том, чтобы освободить из-под материальных и рациональных звеньев, составляющих обыденное человеческое существование, некую тонкую эфирную субстанцию, зародыш «нового я». Эта не осязаемая, не схватываемая, не исчислимая ни в каких единицах прозрачная пленка, напоминающая странные и тревожные небесные сгустки. Внутреннее облако вначале сохраняет форму человека — как металлическую, так и физическую, отслаиваясь от него постепенно, осторожно отделяя спайки и тесно переплетенные узлы. Оно послушно и нежно в отношении человеческой формы, но принимая и признавая ее, оно все же настойчиво и упорно стремится обрести самостоятельность.

«Облачное тело» на старомодном языке можно было бы назвать «душой», если бы это слово хоть что-нибудь значило сегодня. Первые признаки его шевеления внутри могут проявиться и у

«простых». Странное сочетание случайных звуков или картин... Внезапно напомнившая что-то резкое, но не схватываемое, интонация собеседника... Лавина внутреннего тепла, беспричинно разлившегося по телу... Смутное, но непреодолимое влечение... Парализующая замороженность обычным бытовым предметом, от которого не можешь оторвать взгляд... Бессмысленный, но властный толчок выйти совсем не на той станции, которая нужна... Это шепот «облачного тела», дуновение «хлада тонка». Но если нет сложнейшей духовной программы, если нет длительного и трудного подготовительного пути, это дыхание «нового я» останется неиспользованной возможностью, мерцающей фикцией, поцелуем извне... А всякое грубое стремление немедленно освоить эту реальность, жестко вогнать ее в примитивную наркотическую или алкогольную зависимость — фатально. Узлы и спайки окостенеют, а рационально-телесная система начнет неприятно гнить. Такие провоцированные калеки и добровольные fricks населяют визуальный лимбу с современным социума, но их самогипноз и коллективная порука не спасут от онтологической экспертизы, результаты которой нетрудно предсказать заранее.

Путь пробуждения «облачного тела» — наука в высшей степени аристократическая. Она не терпит ржавой вульгарности инженера, широких ртов интеллигенции, неопрятного задора планетарной лимиты, желтушных зрачков новообратившихся. Здесь необходимо властно и по-господски присвоить себе время, — много времени — чтобы, методично и внимательно повторяя до бесконечности один и тот же жест, обдумывая одну и ту же мысль, читая одну и ту же фразу, научиться отличать те редкие мгновения, когда внутри пробуждается едва уловимое шевеление иного — того, кто живет сквозь вас.

Облачное тело. Важнейшее понятие бесполезной и веселой науки строительства души. Законы хаоса, очерченные в герметических доктринах, описывают общую траекторию, — «наша задача сделать дух телом, а тело духом», — но секреты пропорций не разглашаются. Тайна внутреннего облака, спонтанно избранный вектор направления, непредсказуемость формы крылатой массы, родившейся из почти двухметрового бледнокожего червя...

Чернотой верхнего золота...

Облако Страшного Суда будет темно-красным. И потоки, что низвергнутся тогда на землю, будут того же цвета.

Сегодня не может быть никакой духовной реализации, свободной от эсхатологической проблематики. Сегодня не может быть никакой эсхатологической проблематики, без тотальной проекции ее на все социальные, экзистенциальные и мировоззренческие страты. Духовная реализация не может быть отделена от политики, политика не может оставаться в рамках метафизического обскурантизма. Исторгая из себя освобожденную тонкую субстанцию нового (подлинного) «я», мы строим единое Облако Гнева. Пусть, как вампир, выпьет душа все соки организма, пусть набрякнет, как перед грозой, ураганом, бурей, штормом, от заплесневелой крови своего и чужого тела. Облака вначале белые — потом красные. И красное, вскипев золотым ребенком, обрушится на черное. И черного больше никогда не будет. Или, иными словами, — чернотой верхнего золота опылится все.

Вверх, чтобы потом — вниз.

Вниз, чтобы потом — вверх.

А.Г.Дугин

"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ИМПЕРИЯ СНА

Сон — это Родина

Сон — это то место, откуда мы приходим. Наша пробужденная реальность основана на доминании актуального (действительного). Действительное — плотно, однонаправленно, необратимо, безальтернативно. Там, где в плотном пребывает точка бифуркации, траектория может идти только по одному из маршрутов. В этом — наказательная сторона морали. Направо пойдешь — одно,

налево — другое и т.д. Возврата нет. Во сне душа втягивается в саму себя и вращается ближе к своему центру. Индуисты сравнивают сон со втягиванием черепахой конечностей в панцирь, бодрствование — с выпусканием лап и кожного черепа.

Сон — это стихия потенциального, возможного. Здесь все обратимо, все растворено. Бифуркации здесь таковы, что можно после точки раздвоения траектории пойти сразу по двум альтернативным дорогам.

Онейрическое время не измеряется бодрственным временем. Минута сна, фиксируемая извне, может длиться сколь угодно долго во внутреннем измерении. Из снов мы запоминаем только наиболее актуалистические моменты и трактуем их на основании бодрственного опыта. Все существенное стирается бесследно, так как прямая коммуникация потенциального с актуальным разрушает защитные механизмы актуального. Итог — помешательство.

Онейрическое пространство не менее реально в смысле его знаковости и качественной нагрузки. Путешествия во сне — это исследование параллельной топологии, которая является промежуточной реальностью между кристаллической решеткой духовной географии и эмпирической реальностью актуалистского мира.

Сон не субъективное, не объективное. Это промежуточное. Сон важен и интересен сам по себе, а не применительно к миру бодрствования. У него есть собственные законы и интерпретационные коды.

Но: реальность сна более реальна, чем реальность бодрствования.

Бодрствование — это просто сгущенный сон, тело — это сгущенная душа. Правильным было бы интерпретировать события бодрствования через реалии сна, а не наоборот.

Эротизм не является разгадкой онейрических сюжетов во фрейдистском смысле, но он является особой внутренней шкалой онейро-опыта, так как эротическое пространство, с точки зрения традиционной космогонии, и является промежуточной сферой между телесным миром и миром принципов. По этой причине душу (тонкое тело) индуисты называют «телом наслаждений» или «эротическим телом». Погружение в наше внутреннее и есть погружение в сферу эротического, брачное соединение периферийного с центральным.

Погружение в сон — это брак, и плотский брак лишь символизирует истинный брак тела со своей собственной душой.

В различных традициях существовали многочисленные практики коллективных сновидений, групповых онейро-путешествий. Люди определенного братства в соответствии с инициатической практикой и для ясной познавательной цели отправлялись в коллективный сон. Это — возвращение в Хуркалю (исламского эзотеризма), в столицу Востока, на родину Пурпурного Архангела.

Россия — родина сновидений, в сакральной географии она выполняет функцию Хуркальи.

На территории Российской Федерации расположены тайные каналы соприкосновения потенциального с актуальным.

Сны и Геополитика

Строго по Генону будет так. Есть сны со сновидениями и без сновидений. Во снах со сновидениями (более низкая онтологическая ступень) есть длительность (чьим частным случаем является время) и нет пространства.

Во снах без сновидений нет длительности, но есть логос-бодхи. Или проявленный свет.

От телесного мира, выступающего в бодрственном состоянии, ведут ступени внутрь.

Сон — первый шаг внутрь себя. Здесь снимается дуализм воспринимающего и воспринимаемого. Источник звука, света, тактильного ощущения — сливаются с их перцепцией. Заканчивается раздвоенность пяти индуистских элементов на активное-пассивное; пары всасываются в пятиричную модель танматр. Теперь танматры генерируют импульс-перцепцию автономно. Так по Веданте и Санкхье. Теперь по-нашему.

Что это — длительность без пространства? Это и есть качественное пространство. При этом регионы сна со сновидениями сами иерархичны. Нижние сны — ближайшее зарубежье — отличаются тем, что там длительность более напоминает время, и соответственно, качественное пространство раздваивается, тяготея к обычному. На этом уровне сновидения последовательны. И протекают где-то.

Любопытно, где именно?

Чаще всего, место протекания сновидения является «мандалой», то есть структурированной моделью, с четким делением на центр и периферию. Так же градуируются и персонажи снов и ситуации. Каждое пространственное окружение воспроизводит символические структуры реальности, которые некогда воплощались в реальные культовые пейзажи — структуру жилища, огорода, села и т. д. В детстве, когда наше воспоминание о Родине еще ярко, мы наделяем окружающие пейзажи рудиментами сакрального значения, прикрепляя к ним архетипы. Позже детское восприятие пространства становится субститутом сакрального топоса во взрослых снах.

Здесь фундаментальный момент. Душа ребенка легко закрепляет пренатальные архетипы качественного пространства (то есть чистой длительности), если семья седентарна. А еще лучше негородского проживания (так как современный город — продукт искусственной и десакрализованной организации — там, где есть сакрализованность, она часто снится). Росток души ребенка, даже без специальной практики Традиции, окачествляет пространство, где он появился на свет, сделал первые шаги изнутри вовне. Сад, двери, окна, крыши, деревья — все принимает в себя архетипические токи, изливая онейро-Родину на «малую Родину» тела. Кочевничество, номадизм грубо обрубает это свойство. С этим связан ритуал детского травматизма и обряд обрезания. Крайняя плоть осознается как магическая пуповина, связующая телесный организм с эротическим телом души внутри и внешним миром снаружи.

Обрезание втискивает андрогинную душу — следом которой в анатомии являются как раз крайняя плоть — в поляризованное гендерное тело, делая возврат невозможным. Обрезанные мужчины становятся мужчинами, окончательно, бесповоротно.

Разрушается мост непосредственного — «манифестационистского» — процесса. Кочевничество сопряжено с травматизмом и разновидностями «креационизма». Его отличительным признаком является обряд «обрезания».

В США сегодня практикуется тотальное обрезание младенцев мужского пола (по гигиеническим соображениям), и американцы постоянно перемещаются по США — из штата в штат.

Так формируется фундаментальный онейро-дуализм: атлантистские химеры и континентальные, евразийские сны.

Атлантизм сновидений заключается в их разлученности с явью, в их «отрезанности» от яви. Это делает их более грубыми — раз, и более яркими — два.

Грубыми — в смысле телесности и необратимости, яркими — в смысле их насыщенности, не способной вылиться во вне, повлиять на внешний мир.

Наличие непреодолимой черты между этими состояниями является источником базового психического и невропатического травматизма Запада. Эта черта становится главным фактором ужаса.

Евразийские сновидения более плавные, они не локализируются только во сне. Евразийцы видят сны постоянно. С большей или меньшей интенсивностью. Сюжет евразийского сна более абстрактен и абсурден, его невероятно сложно схватить. Если кто-то способен описать в деталях свой сон — это человек с ненашим происхождением. Настоящий евразийский сон неопишуем, он сам описывает бодрствование.

Евразийские онейро-процессы лежат в основе нашей эпистемологии. Познание начинается у нас через постулируемость прозрачности границ. Так как Евразия — это свобода и плюральность, ее тоталитарность онейрична и анагогична. Это континент освобожденного воображения.

Великий Генон, оставаясь всегда истинным, порождает дуралеев-схоластов, которые избегают содержащегося в Геноне вызова путем его идиотического буквалистского повторения.

Абстрактно рассуждать о снах со сновидениями и снах без сновидений не стоит. Надо быть верными земле, любить свою Родину. Наша земля — внутри нас. Наша Родина — сон. По мере реализации великого возврата все прояснится само собой.

В каком-то смысле, длительность становится пространством, замыкаясь сама на себя. Циклическое время и есть длительность (по Генону). А в центре его лежит алтарное пространство сна без сновидений. Сон без сновидений — это восток вещей. Вокруг этого сна вращается пространственно-временной календарь — сферический кельтский крест.

Но каков промежуток между периферией сновидения — ближайшим зарубежьем — и алтарным пространством? В этом пространстве содержание всех циклов мира. Как бы оглавление великого словаря бесчисленных миров — иных и этих. Сравнивая и сопоставляя строки, можно понять, как устроена онейрическая Родина, и что у нее самой в центре — внутри.

Если у вас не хватает любознательности выучить десяток земных языков, освоить десяток научных дисциплин для того, чтобы как-то разобраться в уголке, куда вас закинуло, как собираетесь вы осваивать миры внутри? Любознательность к внешним наукам и языкам — не обязательное условие, просто показатель, что человеку не все безразлично. Само по себе совершенно не ценное качество. Если нет главного. Но главного точно нет, если глаза не горят и скулы тянет вниз. И сон для вас закрыт. Сон — дело предельных пассионариев и неконформистов. Как и любовь. Двигаемся внутрь, практически, упорно, остервенело ... и там выясним о времени и пространстве.

Время и пространство это протопарадигмы, за толкование которых ведется геополитическая война. Евразийское время и пространство глубже укоренены в онейро-мирах, бьются оттуда. И главное: евразийское время и пространство не разделены четко между собой. Наличие общей бахромы — крайней плоти — оперативно соединяет явь и сон. Евразия андрогинна.

Атлантист всегда четко знает: вот — время, вот — пространство, вот — явь, вот — сон. Евразиец не уверен.

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1997
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

АЛКОГОЛЬ И ДУША

Учитесь плавать, учитесь плавать,
Учитесь водку пить из горла,
И рано-рано из Мопассана
Читайте только рассказ «Орла»
Евгений Головин

Секреты спирта

Вино является табуированным веществом во многих сакральных цивилизациях. С его употреблением традиционно связываются многочисленные ритуалы и обряды. Показательно, что само слово «спирт» происходит от латинского «spiritus», то есть дух. Каббалисты также связывают вино с внутренними, эзотерическими аспектами. На иврите слова «вино» и «мистерия», «тайна», имеют одинаковое числовое значение, а следовательно, являются синонимами в мистическом смысле. Еще полнее эта тема развита в исламской традиции. Шариат, закон экзотерических, внешних религиозных правил строжайшим образом запрещает мусульманам употребление спиртных напитков, что считается страшным грехом. В полной противоположности к этой строгой позиции находится суфийская традиция, внутренний ислам, где, напротив, всячески славословится винопитие и на разные лады восхваляются достоинства алкоголя. Алкоголем — кстати, само это слово арабского происхождения — суфии, исламские эзотерики называют свое «тайное учение», «внутреннюю инициатическую доктрину». Подобно тому, как спиртное запрещено для внешних и разрешено для внутренних, люди шариата имеют дело с оболочкой истины, а люди тариката — с ней самой.

Но, естественно, простое опьянение не гарантирует обязательного достижения истины. Это лишь путь к ней. А как всякий путь, он может быть успешным, а может и окончиться ничем. Не совсем ничем, поправимся. Если человек раз ступил на путь, он никогда не останется прежним, даже если заблудится. Шаг внутрь как безотзывный вексель. Это необратимый процесс. Поэтому инициатические учения старательно камуфлируются непроницаемым покрывалом аллегорий и темных формул.

Ислам дает важный образ устройства реальности. Окружность — шариат, внешнее. Центр окружности — истина, хакикат. Луч от окружности к ее центру — тарикат, что означает, на арабском, «путь». Вот этот-то луч и именуется на языке инициатической традиции «вином». И тождественен он тайне посвящения. Кстати, на основании той же логики индусы называют инициатические доктрины тантризма «путем вина».

Эта же парадигма лежит в основе ритуальных пьянок знаменитых даосов в китайской традиции и вакхических мистерий в Древней Греции.

Подсмотренный сон

Вино не просто символ, аллегория. В Традиции все связано. Если что-то соотносится с чем-то, значит эти вещи связаны и практически. Иными словами, если алкоголь синонимичен инициации, значит, и производимое им на человека действие в целом должно воспроизводить сценарий посвящения. Выпивка — это путь, путь внутрь.

И правда, алкоголь производит на людей такое воздействие, при котором они как бы входят внутрь своего существа. Поэтому опьянение подобно сну. В нем все вещи так же, как и во сне, приобретают особый дополнительный смысл, угадываемый и смутный одновременно, слова и звуки слышатся по-новому, потоки ассоциаций и полувидений захватывают пьющих. Предметы и чувства меняют свои пропорции. Ничтожная причина вызывает гипертрофированную реакцию, угроза или опасность игнорируются. Пьяный лезет на крышу, ходит по карнизу, взбирается на дерево, на трубу. Бегаёт через автотрассы. Нападает на сильнейших. В общем, ведет себя в особом режиме, когда внешний мир далеко не столь весом и плотен, фиксирован и тяжел, как в пробужденном состоянии. Это сон, но сон со свидетелями. Наличие свидетелей такого «сновидения» лежит в основе утреннего похмельного раскаяния. Человек, даже если прекрасно помнит происходящее во время пьянки, испытывает угрызения совести, будто что-то совершил в беспамятстве. Это результат последствий «второго состояния», которое ускользает от критического дневного рассудка.

Сон и опьянение типологически близки. Человек входит в них как в область своей души.

Мастер алкоголя

Возникает справедливое недоумение. Если пьянство столь положительно с духовной точки зрения, почему же выпившие люди производят столь отталкивающее впечатление, вызывают, скорее, брезгливость и презрение, нежели восторг? Не в себе, с мутными глазами, сально и идиотично дергается рот, нечленораздельные агрессивные слова, хлюпанье, злоба, слюнявая неопрятная сексуальность, немотивированное неумное веселье, отталкивающее и никого не впечатляющее, кроме самого деятеля, озорство...

Дело в том, что алкоголь сам по себе лишь открывает врата внутрь, но не обеспечивает безопасности пути и не гарантирует достижения цели. В традиционных цивилизациях алкогольные ритуалы проходили по строго определенному сценарию. Им предшествовала инициатическая подготовка, в ходе которой излагались основы и законы алкогольного путешествия, давались важные советы, указывались ориентиры и цели, перечислялись опасности. Помимо сценария в ритуальном опьянении обязательно присутствовал «проводник» или «учитель», который вел пьющего (или пьющих) по лабиринтам внутреннего мира, настраивал на определенный лад, подсказывал в нужных местах.

Алкоголь растворяет материальную иллюзию непреодолимой телесности, которая предопределяет модус существования в дневном сознании. Но при этом в отличие от обычного сна человек сохраняет определенный волевой контроль над физической реальностью, которая теоретически должна проходить различные диссолютивные стадии под наблюдением незаснувшего разума. В этом — смысл магического воздействия алкоголя.

Но для прохождения всех этапов этого пути, этого «плавания», необходимо обладать очень концентрированным вниманием и развитым сознанием. В противном случае растворенная плоть только поднимает тину промежуточного пространства между телом и душой. Она-то и выступает на поверхность в обычных всем знакомых пьяницах, брезжит из них. Эта промежуточная сфера очень интересна. Ведь именно в ней происходит самое важное событие опьянения. Здесь корабль алкоголя сбивается с курса, попадает в спиралевидный водоворот.

Предсердие

Православная монашеская традиция — в частности, авва Дорофей, а позже все исихасты — дает подробное описание тонкой природы человека. Эта традиция, в отличие от иудаизма и индийской йоги помещает «зародыш души», «косточку бессмертия» в сердце, а не в основание позвоночника. Это связано с тем, что христианская инициация рассматривает состояние второго этапа посвящения, когда жизненная таинственная сила поднимается от копчика к сердцу. Такая тонкая физиология соответствует в нормальном случае конституции каждого крещеного православного христианина (у католиков и протестантов все иначе, но это отдельный разговор), а этап подъема этой силы относится к предыдущей стадии «оглашенности».

Итак, духовный центр, «истина», полюс находится в центре человека. Можно отождествить картину исламского круга — шариат, тарикат, хакикат или окружность, луч, центр — с устройством человеческого организма. Кожа — «кожаные ризы», оболочка, «эпидермический плащ» — окружность. Тактильность — основной «земной» компонент бодрственного восприятия. Сердце — центр, полюс. А между ними находятся телесные слои и внутренние органы. Кстати, именно у аввы Дорофея приводится символ круга, луча и окружности, применительно к устройству реальности. Такая же фигура — с некоторыми важнейшими историко-мистическими деталями — открывает рукопись протопопа Аввакума.

Важнейшую роль в тонкой физиологии играет предсердие. Оно символизируется «змеем, свернувшимся вокруг сердца», «древнем драконом, стерегущим сокровище». Сердце — душа. Предсердие — то пространство, которое препятствует входу.

На основании этой картины учителя Умного Делания предостерегали от «развития жидкости предсердия». От этой причины происходили два эксцесса — ярость и похоть. Ярость — мужское, огненное начало. Похоть — женское, влажное. Сокровенный свет души прячется за оболочкой змеино-го предсердия. И если операция вхождения внутрь произведена не аккуратно, ложные силы захлестывают личность практиканта. Опыт срывается.

Очень показательны это упоминание двух проявлений предсердия — ярости и похоти. Дело в том, что в индуистском учении Санкхья «тонкое тело» человека, «душа» называется иначе — «телом наслаждений», «сукшма шарира». Это что касается «похоти». Вместе с тем оно описывается как «огненная колесница» и имеет второе сходное название «линга шарира» — «тело фаллоса». Это — «яростный», «мужской» аспект. Научно настроенные индусы описывали те же явления, что и православные аскеты, только во внеморальном, строго констатационном ключе.

В любом случае, смысл строго совпадает. — Предсердие — оболочка души, и экспансия энергий души вовне, в область предсердия, порождает всплески мускулиной агрессивности и женского эротизма.

Идущий путем алкоголя движется в обратном направлении. Он приближается к центру извне, но затронув источник своей жизни, сердце-душу, он производит сходный эффект — разлитие сердечной субстанции в «зоне змея». Дремлющий дракон пробуждается, набрасывается на замеченного пришельца и поглощает его. Вот перед нами бессмысленное (иногда блюющее) нечленораздельное существо с всполохами желания и мутью агрессии. Слабые же просто стонут и пускают слюни. Но змей безжалостен, слабых он делает рабами. И тогда никакая закодированность не поможет.

Национальные модели пьянства

Естественно, по-настоящему инициатические алкогольные ритуалы сегодня не существуют. Лишь изредка в отчаянно революционном порыве отдельные великие люди пытаются восстановить таинство в его магическом измерении. Таков Евгений Головин, «адмирал», бессменный капитан инициатического «Bateau Ivre» в центре Евразии. К герметика Рабле возводил «метафизику» своего пьянства прекрасный Ги Дебор. Французский алхимик Клод д'Иж следует по влажному пути в том

же «философском море». Но это «высшие неизвестные», дорогостоящие исключения. Большинство пьет в безысходно профаническом режиме. Но и здесь можно выстроить иерархию.

Наиболее приближены к сакральному алкоголизму архаические народы — автохтоны Сибири, американские индейцы, чукчи, эскимосы и т.д. Здесь еще сохранены мистические инициатические фрагменты опыта опьянения. Любой понимает, что «огненная вода» — лишь недорогое путешествие по ту сторону, разновидность «шаманского транса». Более всех закладывают, естественно, сами шаманы. Но «огненная вода» внесла некоторый элемент «демократии», и поэтому следовать за шаманами могут и все остальные. Чистоты опыту это не прибавляет, но все же сам факт пристрастия архаиков к спиртному надо понимать как исключительно положительный фактор. — Ностальгия по полной многомерной реальности в этом иссушенном, выхолощенном, механическом, картезианско-рыночном концлагере свидетельствует о духовном здоровье, а не о генетическом вырождении. Алкоголь во многом полезен, он способствует очищению организма от накопления темных осадков предсердия. Это экзорцистская терапия. Вудуисты много могли бы рассказать о замечательных целебных результатах пьянок.

Вторая категория — русские. Они на порядок профаничнее архаиков, скептическая культура сделала свое дело. Но все же сохранены многие сакральные элементы. Во-первых, русские почти никогда не пьют в одиночку. В народе это считается «последней степенью падения». Знаменитое «на троих». Это свидетельствует о мистериальном характере всего предприятия. Люди отправляются в плавание, поддерживают друг друга, покидают тесные границы телесной дневной раздельности, перетекают в новый коллективный организм, пластичный и неожиданный. Потенциалы душ объединяются. Все смотрят общий интерактивный сон. Во-вторых, пьяные разговоры сплошь и рядом переходят на абстрактные темы — «политика», «взаимное уважение (или неуважение)», «бабы» и т.д. Таким образом интуитивно поддерживается концентрация внимания, сознание балансирует на грани от впадения в вегетативную пассивность сочащегося тела.

И наконец, самое низшее пьянство практикуется на Западе — у англосаксов, французов или сонных скандинавов. Здесь — чисто женский вариант. Одиночество, картина алкогольного бреда полностью сосредоточена на телесном и низменно сексуальном аспекте. В тонкой физиологии западного человека убого и смехотворно мало не только сердце, но и предсердие. Западного дракона в других местах света ничего не стоит перепутать с пивкой. Таков же и тупой западный алкогольный разврат. Два три сценария, вспышка садо-мазо, моторное бахвальство в пустоту, схлопывание в ничто, в типичный капиталистический сон без сновидений. Алкоголь помогает вывести унтерменшей на чистую воду. Им лучше безалкогольное.

Есть еще одна, еще более низко стоящая категория. Но не в национальном, а в половом смысле. — Путь вина заказан для женщин. Это строго мужской ритуал. Русские прекрасно понимают этот сакральный момент. Mannerbund, «мужской союз», «пьяное братство», в тайне от жен и девиц, в оппозиции им. Женщины отвлекают от внутренней концентрации (отталкивают), и в то же время препятствуют путешествиям и бродячему опыту спонтанности (привязывают). Они — помехи и для неподвижного созерцания и для динамичного скачка. Женский алкоголизм самый десакрализованный, наподобие западного. Наркологи знают, что чаще всего пьянство здесь одиночное, не связанное собственно с функцией «новой общности». Тонкая структура женщин значительно отличается от структуры мужчин. Не случайно, считается, что у мужчин правый глаз символизирует солнце, а левый луну, тогда как у женщин — с точностью наоборот. Это симметричное обратное отражение. «Ее путь, — как говорил Ницше, — обретение глубины собственной поверхностности». Иными словами, инициатический путь связан для женщин исключительно с «трезвением». Вся траектория перевернута. Мужчинам необходимо заснуть, не заснув, женщинам — проснуться, не просыпаясь.

«Слушай, утопленник, слушай»

Истинный опыт, удачный опыт, инициатический опыт, предполагает одноразовый и необратимый характер. Это в полной мере касается алкогольного плавания. Несмотря на штормы и бури, на штиты и мальстремы задача — добраться до противоположного берега. Это — берег души. Там начинается «новая жизнь», рождается «новый человек». Нет, это не конец пути, это только его начало, но настоящее, по ту сторону подземных химер того балагана, который мы — совершенно ошибочно и безосновательно — считаем жизнью, бытием.

Попыток же будет ровно столько, сколько будет неудачных стартов, катастроф, кораблекрушений. Горе проигравшим, обреченным на белогорячечное повторение. Но нельзя и не отдать должное трагически погибшим на этом пути, утопленникам «великой мечты», жертвам ядовитого

предсердия. Там кошмарная жизнь — в океанических глубинах влажной ртути, но не страшней той, в которой барахтаемся все мы.

Дидактика здесь неуместна. Важно лишь знать строгую цену вещей, разгоняя водоросли глупости и пристрастные наводки культурных манипуляторов. Алкоголь может сделать свободным, может поработить, а может оставить в том неприглядном виде, в котором вы сейчас пребываете.

Никогда нельзя сказать наверняка. Если же вам повезет, то, как сказал Головин:

Перед вами, как злая прихоть
Взорвется знаний тухлявый гриб,
Учитесь плавать, учитесь прыгать
На перламутре летучих рыб.

А.Г.Дугин

"Вторжение", 1999
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ЭССЕ О ГАЛСТУКЕ

Иудина удавка

На шее старовера вы никогда не увидите галстука. Кроме того, старообрядки отличаются от прихожанок господствующей Церкви тем, что их платки заколоты под подбородком булавкой, а не завязаны узлом. Если вы заинтересуетесь причиной такого положения дел и спросите самих старообрядцев, они нехотя, сквозь зубы бросят кратко загадочную фразу: «Иудина удавка».

Галстук пришел в Россию с Запада, и ревнители древнего благочестия видели в нем символ нерусской, богоотступнической, еретической моды той части света, куда рухнул сатана. Поэтому, кто носит галстук или бант, приравнивается к богопредателю и пособнику в богоубийстве — Иуде Искаротскому, прототипу всех еретиков. Обычай завязывать платки — тоже западная, европейская традиция. Соответственно, и объяснение схожее.

Российские модернисты XVIII века, издеваясь над «дикарскими» нравами староверов, поступали цивилизовано и в приказном порядке заставляли стойков «брынской веры» носить шутовские наряды — желтые безрукавки, высокие клееные воротники и т.д. На сакральную щепетильность к элементам наряда у старообрядцев «просвещенные» власти отвечали анти-маскарадом, тоталитарной циничной идиотизацией наиболее внимательных к символизму слоев русского населения. Что же они хотели после высоких стоячих клееных воротников, гарей, насильных новообрядческих причастий, выжигания скитов и пустыней? Чтобы их пощадили в 1917-м? С их немецкими царями и конформистскими чиновничьими приходами? Имманентная справедливость истории.

Но только ли реакция на Запад, практиковавший «гуманитарные бомбардировки» и «цивилизаторский террор» задолго до изобретения бомб и слова «цивилизация»? Вспомним, хотя бы четвертый крестовый поход против Константинополя. Вспомним осквернение православных святынь, святотатственные ритуалы в Святой Софии, гораздо более кощунственные и сатанинские, нежели грубое и одномерное превращение древнего православного Храма в мечеть незатейливыми турками. Не носить галстук следует даже из общей неприязни к Западу. «Иудина удавка» — и все тут. Перст судьбы, указательный знак «на пути к заслуженной осине».

Тайная метафизика галстука, однако, сложнее и многомернее.

Брэммель, букет фиалок

Однажды великий денди всех времен и народов англичанин Брэммель явился на великосветский раут без галстука, нацепив на ворот букет фиалок. На фоне сверхвнимательного отношения английского аристократического общества к олимпийскому искусству завязывания галстуков, — которое было истинным *ars regia* той эпохи, — это был шок. Шок для английской аристократии,

загипнотизированной дэндистским занятием, возведенным в гипер-культ не без участия самого Брэммеля. Дэнди привлекли декадентский свет к всепоглощающей магии деталей (конкретно — узлов шейных платков), и потом с ноншалантной прохладой Шивы, красно-коричневого, — король дэнди разрушил subtilный дворец собственных ироничных вивисекторских махинаций. *Tel demiurge*.

Искусство узлов на шейных платках... Только ли насмешка утонченного нарциссического эгоцентрика над нарождающимся цифровым материализмом английской буржуазии? Только ли последняя трагическая гримаса безвозвратно ушедшего Средневековья? Только ли арьергард феодального пренебрежения к утилитаризму масс?

Искусство завязывать узлы было искусством сакральным. Известно, что у древних инков была письменность, основанная на узлах. Символизм узла — один из древнейших в Традиции. Многие компаньонские цеховые братства узнавали своих именно по особому способу завязывания узлов. Каждый узел — означал особую степень посвящения, особую инициатическую информацию. Такой же символизм сохранялся в масонских ателье.

Так английские дэнди, оказывается, почерпнули идею «искусства завязывания галстуков» в мистических пластах — попробуйте в Англии XVIII — XIX веков принадлежать к высшему обществу и не быть масонами! И что еще интереснее: попробуйте вообще придумать что бы то ни было — в какой бы то ни было сфере — о чем не знали бы древние традиции, что не хранилось бы в сокровищнице архаических архетипов...

Дэнди были скрытыми, отчаявшимися педагогами кончающегося мира... Трагичными знаками европейской осени... От испытательской лупы доктора Фауста остался изящный монокль, от инициатических перчаток мастера — белоснежная пара пораженного сплином женственного гипериндивидуалиста. Не был ли сам этот дэндистский индивидуализм — вечерним, закатным бликом плотно забытого учения о «высшем я»?

Но последний дэндистский батальон и его несравненный «фюрер» не могли не заметить, как утонченная весть о великом символизме узлов, преображающая практика магического нарциссизма, маньеристский герметизм парадоксальных деталей в сложных ансамблях свободной воли аристократического модника — как все это жадно пожирается, полуусваиваясь новым сословием, имитирующим фасцинирующий образец, чтобы немедленно, естественно и цепко подделать содержание.

И высшее «я» трагического одинокого дэнди в давке присваивалось тысячами парвеню, топтавшими жадными мосластыми пятками прощальное послание затонувшего мира прошлого...

И тогда Брэммель решил на это... Можно представить себе мучительную ночь. Изысканные орхидеи в роскошной почти дамской спальне с множеством зеркал душат и вопреки обычному навевают темные фантазии... Легкий дымок опиума порождает подземные картины шевелящегося Аида, где разбросанные золотые заколки, оживая, складываются в зловещие фигуры ускользающего смысла, чтобы снова распасться на невнятные островки... Холеные, изнеженные пальцы короля один за другим перебирают шелковые, батистовые полоски, где каждый стяжок и фрагмент узора настолько тщательно просчитаны, что созерцание их вызывает тревожное ощущение абсолютной гармонии, но... но... Всякий раз нервная тонкая кисть отбрасывает их одну за другой. «Не то, не то, не то...» И когда над Темзой поднимается яркий день во фраке сухого тумана, когда жизнь Лондона проламывается унылым воем очнувшегося вульгуса — маленький, невзрачный букет алхимических фиалок — *violette, oeuvre au noir* — останавливает, каптивирует взгляд человека, пережившего в эти часы такое...

Это была революция, равнопорядковая «окончательному решению». Гордиев узел. Без галстука.

Брэммель сдирает «Иудину удавку». Освобождение? Как бы не так. Работа в черном. Шаг по ту сторону. Дэндизм умирает. Это эфирный двойник, отделившись от удушенного трупа, ощущает первое облегчение, которое вот-вот сменится грозными видениями новой географии ада.

Букет фиалок.

Препоясан силою охотник небесный

Вы часто смотрите на звездное небо? Я думаю, что постоянно, не отрываясь. Я думаю, что вы просто ничего другого и не делаете. И значит, вы задумываетесь снова и снова, в какой уже раз, о странной фигуре небесного охотника, о тревожной магии очертаний созвездия Орион. Один индусский брахман тоже не мог оторваться от этой картины, справедливо полагая, что это — кратчайший путь к мудрости. Его звали Бал Ганандхар Тилак. Он ненавидел англичан (как всякий порядочный человек), но в отличие от коллеги Ганди полагал, что этих «цивилизаторов» надо гнать с земель священного Индустана шрапнелью и ядом, кинжалом и удавкой, а не просто мирными голодовками и сидячим протестом. Он также терпеть не мог подделки теософов и коллаборационистов из Арья-самадж и Брахма-самадж. Как брахман, он не мог взять в руки оружия, — «ахимса», «непротивление» жреца *u#ber alles*, — но другим-то можно было дать правильный совет, проконсультировавшись с дхармой. Ясно, что такого индусского друга могли любить только Рене Генон да Герман Вирт. Отчетливо антинаатовской платформы придерживался ученый. (Кстати, партия «Джайнати бхартти», которая в сегодняшней Индии — политический лидер, воспитана на идеях Тилака; жалко, что наши лидеры воспитаны не на Геноне, Вирте и К. Леонтьеве). Итак, Бал Ганандхар Тилак смотрел на созвездие Орион и написал книгу с таким же названием.

На санскрите это созвездие названо «головой антилопы» (мрига-ширша) и символизирует первочеловека Праджапати, которого в начале времен (вроде по ошибке) боги принесли в жертву (так как обещанный козел задерживался), а потом решили восстановить все, как было, и попросить прощения. Все нашли, а голова потерялась. Пришлось приделать Праджапати — *tel Ateon*, о нем и его алхимическом изображении смотри в иллюстрации к *Tabula Smaragdina* — голове антилопы. Я думаю, отыскать его голову — наша задача, как и тайное слово мудрецов Татарии, *parole delaisse2e*, утраченную чашу, подлинное написание четвертой черты буквицы «шин», правильное произнесение заветного имени, страну с сохраненной непорочной иерархией и водой молочного цвета и многое другое... Наша, только наша, и ничья больше.

Но мы отклонились от темы...

Тилак пишет, что, «хотя сегодня брахманы носят нить с тремя узелками на шее, ранее они носили ее на поясе в знак трех звезд, которые препоясывают чресла небесного охотника Ориона, похитителя Авроры». В примордиальные доведические времена индоарийской общности, когда наши жили в арктических областях, — «*Arctic home in Vedas*» (кто автор?), — все носили в память о Праджапати пояс с тремя узлами на бедрах. Это — три звезды великого созвездия, по которому знающий легко узнает, когда начинается мир и когда он закончится.

Пояс с узлами. Искусство завязывать пояс. Вот к чему мы пришли. Оказывается между петлей на шее — сакральная нить брахмана — и поясом существует прямая связь и определенная логическая последовательность. Вначале был пояс. И лишь потом — петля на шее.

Пояс как знак индоарийской общности. У зароастрийцев до сих пор есть ритуальный элемент — сакральный пояс, «кусти». Он, правда, перевязан четырьмя узлами. Его наличие отличает благородного человека от выродка. Четвертый узел — тот, который развязывается и завязывается, а так — три. Пояс Ориона. У зароастрийцев бытие отчетливо дуально — часть принадлежит Ормузду-свету, часть — Ахриману, не-свету. Выше пояса — часть Ормузда, человек. Ниже — часть Ахримана, *Untermensch*.

Отсюда, кстати, сакральная поза сидения с поджатыми ногами. В таком положении видна вертикальная верхняя часть — доля Ормузда. А ахриманово наследство — горизонтально и распластано, минимализировано. Пуруша — паралитик вечности, не движется, без ног. То, что без ног — священно. Настоящий властелин, настоящий человек не должен передвигаться самостоятельно — для чего же тогда рабы и паланкины? Нет, конечно, не из-за рабов, но время течет мимо него, он стоит в центре вещей и просто крутит колесо. Сидит в центре вещей.

Староверы не только никогда не носят галстук, но считают бесстыдным и непозволительным появиться на людях без пояса, подхватывающего выпущенную на штаны рубаху. Поясу — да, галстук — нет. Староверы верят совсем по-старому, так же, как верили индоевропейские предки доведического периода, пока не поменяли от тропической жары длинную евразийскую рубаху с нордическим поясом на замещающую ее нить, вокруг шеи.

Без пояса-помочи («Живой в помощи Вышняго в крови Бога небесного водворится...») нет деления на свет и тьму, на верх и низ, на рай и ад. Новый пояс дается в крещении христианину вместе с кухолью непорочной.

Ацефалы ползут на Север

Пояс делит тело на две части. Узлы — стихии, основы мироздания в его плотском варианте. Три звезды небесного охотника. Верхняя часть — та, что принадлежит свету — включает сердце и голову. Причем сердце — в первую очередь. На примере мифа Праджапати видно, что с головой можно поступить по обстоятельствам. Жорж Батай придерживался того же мнения. Главное — было бы сердце. Это солнце и ум, там свет, пусть скрытый, закопанный, обхваченный и стиснутый кольцом влажного сырого ящера. Он стережет сокровище, пока мы не выпотрошим его чешуйчатую скорлупу и не вырвем нить жизни у чудища, мы не поймем языка птиц — языка верхней половины тела. Языка того, кто вечно молча сидит в центре вещей и смотрит сквозь крепко сомкнутые веки в собственный омфалос.

Что станет с головой? Не важно. Святые, — к примеру, святой Егорий, победитель дракона, — спокойно обходились и без нее. Настоящий человек с головой может обращаться довольно свободно — это лишь зеркало сердца, часто кривое или поколотое.

Другое дело — галстук. Здесь к нижней части отходит не только генитально-ходильные принадлежности, но и грудная клетка с кардинальным узлом. И путь к ней перекрыт замком элементов. На поверхности остается одна голова. Зеркало, которому нечего отображать, кроме закопанного в трясину ахримановских болот змеиного шевеления. Настоящая Иудина принадлежность. Иуда тоже считал головой, досчитал до 30, осталось еще три, но он сорвался и бегом к осине. «Да будет двор их пуст...»

Москва стоит там, где боярину Кучке усекли голову. Поэтому сороки не летают в Москву. Когда-то давным-давно они предали Кучку, сообщив, где он спрятался, и изгнаны за 101 километр. Язык сорок — язык птиц. Снова наша связь.

Лобное место. Красная площадь. Багровая кровь растворит сгустки полночи.

Под знаменем Ориона...

Новая Заря...

Старая Вера...

А.Г.Дугин

Газета "Лимонка", 1998
"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ОРЕХОВЫЙ САД

Каббала против талмуда

Излюбленный образ каббалистов из Жероны — сад, заросший орешником. Каждое дерево усеяно орехами, а каждый орех таит в себе ядро тайны. Ореховому дереву уподобляется Тора, дворец со многими комнатами, любая ведет внутрь. Достать ореховое ядро — все равно, что войти внутрь Торы, постичь таинство Закона.

Каббалисты — особое направление в иудаизме. У них все резко отличается от обычной еврейской традиции, сам дух совершенно иной. Видный еврейский философ Гершом Шолем подчеркивал эту уникальность каббалы. Иудаизм — доктрина креационистская, рационалистическая, экзотерическая и моралистическая. Буква Закона в ней возведена в абсолют. Талмуд не знает мифологии, только обрядово-этические и культовые предписания, уточненные до мелочей, но всегда рациональные и выдержанные в духе самого строго единобожия. Только Яхве божественен. Вся остальная реальность — пуста. Ей остается лишь следовать извне заданному откровению. А так как евреи — единственные, кто до конца осознали единственность единственного и конечность конечного, то в центре пустой реальности обожженного мира должны стоять именно они. Таково краткое изложение строгого иудаизма.

Каббала учит иначе. В ней весь мир пропитан божественными излучениями, полон мистических знаков и духовных веяний. Все наполнено тайным присутствием. Каббалисты — эзотерики, эманационисты. В основе их традиции лежит не Книга (Закон), но миф. Они иррационалисты, культ для них важен лишь с символической точки зрения, их интересует внутренний свет бытия, который напрямую связан с Божеством. Неудивительно, что экзотерический иудаизм всегда относился к каббалистам настороженно, а хасидское движение, вышедшее из народной каббалы, и вовсе считается ортодоксами ересью.

Символизм орехового сада дает представление о природе каббалы и ее отличии от иудейского рационализма.

Две стороны мира

В орехе есть две части — ядро и скорлупа. В мире есть два плана — внутренний и внешний. Внешний мир телесного мрака, корка реальности. А внутри таится ядро духа.

Для рационалистов и моралистов от иудеев символ ореха, взятый метафизически, скандален. Для них нет и не может быть ядра. Ядро отсутствует, оно трансцендентно, «монотеистично», не имеет никакой общей меры с миром. А раз нет ядра, то нет и скорлупы, поскольку скорлупа осознается как не-ядро только в сопоставлении с ядром. Если все — только корка, то нелепо называть это коркой, так как такое заявление будет тавтологией. Каббалисты в таком случае — еретики, отрицающие единственность Яхве. Ведь утверждение «ореховой» природы реальности означает вскрытие внутреннего измерения, запредельного и имманентного одновременно. А это имеет отношение к чему угодно, только не к креационизму.

Каббалисты — революционеры. Для них мир скорлуп — лишь часть мира, а Божество гораздо шире абстрактного трансцендентного Творца. Они по ту сторону Маймонида, реальность у них двоится, как у гностиков или зороастрийцев. Но никто, кроме них, не знает всей бездны мира скорлуп, всего могущества богооставленной реальности, всей невыносимой тщеты обескровленного бытия. Поэтому их свидетельство крайне ценно. Они смогли преодолеть пустоту, выйдя за границы, внутрь, туда, где зияла для них лишь монотеистическая бездна. Не случайно каббалисты ожидали реформы иудаизма, духовной революции. Многие с восторгом приняли Саббатаи Цеви, отвергнутого раввинами. Многие переходили в христианство, участвовали в мистических организациях индоевропейской ориентации. Это сложное противостояние внутри особенного и загадочного народа отражает глубинный конфликт скорлуп и ядер, драму орехового сада, мучительное преодоление тьмы материи. Поразительно, но слова «ночь» и «орех» в латинском языке очень похожи — пох и пух.

Похищенная часть

На древнееврейском скорлупа произносится как «клиппа», а скорлупы — «клиппот» (множественное число). В каббале есть целая теория о «мире клиппот». Это важнейшая ее часть. «Клиппот» не просто вещи, объекты. Нет, материальные тела и предметы сами по себе еще не «скорлупы», это лишь пластические формы, содержащие в себе разнообразные пласты реальности. «Клиппот» — это то, что начинается глубже тела, что лежит между телом и душой. Но у кого души нет или у кого она далека и непознана, тот именно «клиппот», «скорлупу» считает своим «я». «Клиппот» — это субтильная тень, некий дубль вещи, как бы ее экзистенциальный, вкусовой след. Безусловно, именно эта тень дает предмету индивидуальность, так как она расположена между всеобщей материальностью и ангелической математикой духовных миров. «Клиппот» — отражение в зеркале, задержавшееся несколько дольше положенного, увиденное угловым зрением движение неживых предметов, острое и беспричинное чувство дискомфорта, внезапно охватывающее вас посреди обычного течения жизни... Об этом так много знают психиатры и наркоманы, эмпирики мира скорлуп.

Ореховый сад, а не просто орех. И еще — «клиппот», а не «клиппа». Множественное число говорит о многом. Да, каждая вещь имеет свою тень, вещей много и много теней. Но это не все. Каббала учит о том, что скорлупы вложены одна в другую. Пласт за пластом скрывают они ядро. Реальность, действительно, довольно механистична, и иудеи имеют все основания иронизировать над онтологическим доверием арийцев, готовых верить в «божественность» любого барахла. То, что «обычные» называют духом, культурой, мыслью, верой, не что иное, как «клиппот». Поэтому все это подозрительно и постоянно выдает свою искусственность. Темные, глумливые духи пишут романы и насылают благоговейные чувства простакам и интеллигентам. Не ведая разницы. Духи — те же тени, обертки проблематичной, спящей, похищенной души.

Креационисты говорят: душа фиктивна. Арийцы говорят: все — душа. Правы каббалисты: душа может быть, а может и не быть. Ее надо найти, отвоевать, раскопать, вернуть, обрести, вырвать у страшного и грозного, мягкого и обволакивающего, уютного, глубоко интимного, приватного, индивидуального мира — мира скорлуп...

А если не получится? — Вы останетесь такими, как есть. Вот и все.

Осенью по ореховому саду пробегут дети, давя хрустящие коричневые корочки съеденных ядрышек жизни.

.Г.Дугин

"Русская Вещь", Арктогея, 2001

ИСКУССТВО РАЗБИВАТЬ САДЫ

Я знаю, Город будет!
Я знаю саду цвель!
В. Маяковский

Потерянный сад

Обратили ли вы внимание, что тема сада, искусства разбивать сады, совершенно ушла из сферы нашего внимания? А ведь вплоть до последнего времени, даже при советском режиме, существовала профессия «садовника», и этому посвящались особые журналы и публикации. Сад ассоциируется с чем-то мирным, спокойным, стабильным, изысканным, даже чрезмерным. Естественно, что сегодня мы предельно далеки от такого состояния души, от такого настроения. Мы совершенно забываем о саде, который вытеснен если не городом и городской организацией пространства, то огородом или, в лучшем случае, спонтанным выездом на «природу».

Эдем и история

Сад испокон века считался мерилем человеческой культуры, шкалой цивилизации. Неслучайно одним из семи чудес света были «сады Семирамиды». Чем дальше в глубины истории, тем значение сада возрастает. Во многих традициях существует устойчивая тенденция отождествлять рай именно с садом — отсюда «райский сад».

В иудео-христианском символизме сам Адам, первочеловек рассматривался как «садовник». По крайней мере, так обстояло дело до грехопадения. Потом на смену садоводству пришли более жесткие профессии — хлебопашество оседлого Каина и скотоводство кочевого Авеля. Первый сад — Эдем — был насажен самим Богом и вверен Адаму как его обитель по преимуществу. Райское состояние не знало трагедий и конфликтов, огня страстей, безумств плоти, перманентной революции не утихающей гордыни. Сад, райский сад — это особое промежуточное состояние между природой в чистом виде (дикая природа) и цивилизацией, между естественным и искусственным, между человеческим и Божественным.

Согласно православной традиции, райское состояние было предназначено Творцом для Адама навечно. Именно в пространстве Сада, в Саду, должно было проходить существование человека и человечества, если бы праотцы соблюли нетронутым роковое Древо Познания. И лишь катастрофа неповиновения, заложенная в свободе воле, дарованной человеку, привела к утрате рая, к изгнанию из Сада, к прощанию с тем уникальным пространством, где все вещи и процессы находились в тонком, весеннем, прообразном состоянии.

История как история скитания, греха и покаяния вплоть до финального искупления, начинается именно с утраты Сада, протекает вне его и должна закончиться его новым обретением.

В ностальгии по нему ее самое интимное зерно.

Растение и камень

Французский традиционалист Рене Генон в своей небольшой работе «Эзотеризм Данте» прекрасно показал симметрию между символизмом сада (растительным) и символизмом камня (минеральным). Генон указал на строгую связь растительности с образами начала времен, когда все тенденции истории пребывают в зародыше, в живом росте, как прорастающие семена, тогда как камень связан с концом времен, с окончательной фиксацией ее силовых линий в строгом и неподвижном иероглифе. В христианстве такой эсхатологический символизм запечатлен в Небесном Иерусалиме Апокалипсиса, в том каменном граде, который снизойдет с небес в миг Страшного Суда.

Здесь особая логика. В начале истории — изобилие потенциалов. Утрата этого изобилия — движущий мотор исторического бытия. С одной стороны, человека все больше относит инерцией от изначального Сада, вход в который охраняет огненный архангел с мечом. С другой стороны, световая часть души мучит человечество неизбывной ностальгией по утраченному, заставляя его снова и снова идти по трудным путям Сифа, третьего сына Адама, который, по преданию, сумел вопреки всем преградам вернуться туда, откуда с позором были изгнаны его родители.

Ностальгия по Саду — тайное содержание воли всех могучих и великих народов истории. Сама «земля обетованная» есть нечто иное как историческая проекция древнейших райских земель, их тень. В этом сакральная логика вечного возвращения на древнюю роскошную землю, к истокам времени и пространства, к тому счастливому благодатному месту, откуда начались исторические скитания.

Один и тот же мотив возврата к саду объединяет по ту сторону исторических и религиозных расхождений и сиониста, движимого страстной ностальгией алии, и русского, взывающего Святую Русь, Невидимый Китеж, и германца, опьяненного субтильной тоской по древнему полярному континенту, по Ultima Thule...

И если в истоке рай выступает именно как Сад, и такой образ тайно образует всю плоть душевной утраты, то в жестких, мучительно-искупительных провидениях эсхатологии, в жуткую апокалиптическую эпоху Конца он окаменевают, одеваются в минеральные ризы, превращаются в Град.

Но оба образа, — растительный и минеральный, — оба полюса священной истории не являются, строго говоря, антитезами. И сама этимология вскрывает любопытные параллели.

Город–Сад–Гора

Русское слово «город», «град» происходит от корня, обозначающего «огораживать», «городить», обносить «оградой». Оно — однокоренное со словом «гора». В немецком мы видим ту же закономерность, ту же логику, только на материале иного корня — Burg («город») и Berg («гора»). Но самое любопытное, что немецкое «Garten», «сад», восходит к тому же славянскому «град», «городить», как и английское «garden», французское «jardin» и т.д. Скорее всего, общая идея заключается в круговой обнесенности человеческого поселения, отделенного от остального мира волшебной чертой, на которой кончается «наше» и начинается «чужое». Сад и Город помещаются в традиционной цивилизации в центре космоса как его наиболее интимная, наиболее живая, наиболее ценная часть. (Сравни «Mitgard» скандинавской мифологии «Срединная Земля»). В мифологиях некоторых народов (в частности, у индусов и персов) в центре мира находится Гора, ось. И не случайно традиционно существовал обычай основывать города на горе или холме, и в соответствии с более сложным символизмом на семи горах или семи холмах. На семи холмах стоит и Москва.

И снова странная этимологическая и символическая близость «город»-«гора». Изгнание из райского сада — изгнание из центра, который остается неизменным всегда, и лишь огрубление человеческого восприятия, его отчуждение от своего духа и своего внутреннего полюса заставляет смотреть на него как на внешний объект, небесный камень, приходящий не изнутри, а извне (или не приходящий). Каменное небо, падения которого боялись в древности бесстрашные кельты.

Вечный Сад, тайный город, скрытая столица бытия.

Разорители садов

В иудейской каббале существует формула — «разорители садов». Это — категория злых демонов, которые вырывают растения и деревья с корнями. Весь символический комплекс весьма показателен. Деревья и растения суть души людей или архетипы иных нечеловеческих существ. Они посеяны в священной земле рая, уходят корнями в глубины божественных пластов. Ведь Сад, о котором идет речь, особый. Перевернутый. Растущий не снизу вверх, но напротив, сверху вниз. В духовной реальности, то есть в истинной реальности, в реальной реальности, все обратно материальному миру — призраку, «месту скорлуп», «клиппот». «Разорители садов»... Важнейшая категория не просто в эзотерической доктрине, но в самом насущном деле — в интерпретации нашего современного мира. Его главная характеристика — отсутствие Сада. И не только. Отсутствие ностальгии по Саду, затухание трагического ощущения утраты, потери, недостаточности, необъяснимой формально онтологической тоски.

Центральное измерение, скрытый полюс, обетованная земля более не мучат иссохшие души. Если и осталась где-то фрагментарная апелляция к ним, то чисто условная, откровенно поддельная, для проформы, для поэзии, для карьеры. Пародии.

Кто теряет память об утрате? Лишь деревья, цветы и травы, вырванные с корнем. Засохшие, исторгнутые чьей-то злой рукой из благословенных небесных недр.

Лесоповал — наказание преступникам. Дело преступников. Темные энергии «разорителей садов» входят в эзков, обрекают их на срастворение с агрессивными волнами «левой стороны».

Но, конечно, не лесорубы являются главными деятелями современного упадка. Все началось в цивилизованном ключе, еще со времен споров «номиналистов» и «реалистов».

Напомним, «реалисты» утверждали, что дух вещи, ее архетип, ее имя предшествуют ее появлению в физическом мире, а следовательно, вначале существует тонкий зародыш, невидимый полюс, «душа», «универсалия», «монада» и только потом сама вещь. «Номиналисты» утверждали обратное. Вещь существует сама по себе. Она первична, а ее душа или ее имя возникают как абстрагирование, умозрительное действие, отталкивающееся от конкретного факта. Одним словом, «универсалии» нет самой по себе, она — лишь плод человеческого рассудочного домысливания. Знаменитая «бритва Оккама» — главное орудие «номиналистов». С ее помощью «номиналисты» отрезали «ненужную духовную часть», денонсировали «предсуществующее зерно» как фикцию. Понимаете, что это значит? Именно этой «бритвой Оккама» и срезали скептики и рационалисты тайные стебли вещей, уходящие в почву Сада. Интеллектуальный лесоповал. Рационалисты — «разорители садов». Дальше — больше. Декарт, печальный Кант, веселый Конт, неопозитивисты с засученными рукавами, недоумение бедняги Витгенштейна, обнаружившего, что «атомарного факта» просто не существует и занявшегося «языком». Стоп. Случай Витгенштейна важен для нашей темы.

Он с товарищами начал с того, что предложил выкорчевать не только деревья и кустарники инерциально-онтологической мысли, но и удалить пни. Остатки корней. Все до последнего сучка. Долго трудился над этим, но мало-помалу пришел к выводу, что срубленные стволы и вырванные цветы распадаются в прах прямо перед глазами экспериментатора. «Атомарного факта» не существует. Если бы Витгенштейн заглянул в «Зохар», он мог бы сберечь много усилий. Миссия «разорителей садов» состоит в приведении вещей к ничто. Они подлежат юрисдикции злого демона кладбищ и молчания — демона Дума. Это полчища уничтожителей. Под трезвой миной научного позитивизма — лишь бурный, самокусающий нигилизм.

Миф

Сад — место смыслов и истоков, тайная почва бытия. Das Grund. Основа. Онтологический базис.

К нему, к Истоку, к обетованной земле онтологии приходят и слева, и справа, и через отрицание, и через утверждение, и через одну религию, и через другую. Мы не утверждаем, что в этом Саду все просто и мирно, что там царят гармония и единство. Проблемы есть и там. Ведь и змей и двусмысленное Древо Познания пребывают в раю не случайно. Но это уже совершенной иной разговор. Для сильных духом мужчин (иногда и женщин). В нашей же ситуации в центре иная дилемма: Сад или не-Сад.

Или (единый и неделимый) миф Истока, ностальгия возврата или полное отождествление с хаотическим процессом, потерявшим смысл, цель и ориентацию. «Открытое общество» строго тождественно «сумме атомарных фактов» неопозитивизма. Если в философии эта тема дошла до тревожного и трагического предела, заставившего резко подать назад того же Витгенштейна,

поверхностная политология Поппера, не говоря уже об «экономистах», всецело и некритически наследует давно преодоленный и разоблаченный (самими его носителями) оптимизм раннего неопозитивизма. Неужели вы сами не понимаете, насколько неубедительны и натянуты Арон, Хайек и автор «Открытого общества и его враги»?! Делая вид, что вся история «трагической» стороны философии их просто не касается, эти самодовольные посредственности с веселым видом и, опираясь на крупные государственные фонды, провозглашают лучезарную банальность, совершенно ложную хотя бы потому, что она не интерпретирует, но лишь констатирует. «Бритвой Оккама» внимательные (трагические) умы уже полоснули по своим собственным (и чужим) глазам вместе с Бунуэлем и Дали в «Андалузском псе». Либералы же как ни в чем не бывало обывательски используют ее для ежедневного бритья.

Сад неэффективен. Его коммерческое значение ничтожно. Он антирыночен и даже антииндустриален. Но он и не фрагментарная экология, не странноватая и жалкая надежда на безгласных и безмозглых. Истинная экология — движение вглубь бытия. Трагичный и часто фатальный путь к утраченной Родине. Не мартышка, не крот, но ангел. Вот альтернатива современному постмодернистическому нигилизму.

Церковная квадратура круга

Структура Сада тождественна структуре мифа. Рай — изначальная янтра, мандала. Первоикона. Устройство райского Сада столь же иероглифично, как и Нового Иерусалима, тщательно описанного пророком Иезекииелем. В центре крестообразно четыре реки. Вне — круглая ограда. Получается кельтский крест. Древнейший календарь: четыре времени года, четыре главные точки — два равноденствия и два солнцестояния. Солнце движется по окружности рая. Это — огненный меч архангела, препятствующий нелегитимному возврату «падшего человечества».

Вход в рай — через реку Юга. Это — зимнее солнцестояние, точка полуночи. Это одновременно и выход. Отсюда праотцы отправились в круговороты скитаний. Сюда же проскользнул благочестивый Сиф, и некоторые другие праведники, избежавшие смерти на круговращении периферии.

У Небесного Иерусалима тоже четыре стены (времена года) и двенадцать врат (месяцы). Снова календарный солнечный символизм. Но как указал Рене Генон, важно отметить тот факт, что райский Сад — круг, а Небесный Иерусалим — квадрат. Реализация «квадратуры круга» не досужая головоломка темных мистиков преднаучного периода, но глубочайшая эсхатологическая проблема. Решать ее необходимо и нам с вами. Она обращена ко всем. Это — математика Адама. И его потомства. Даже самого далекого. Или вы все еще числите себя правнуками Ханумана, этой (столь полезной седьмому аватару, признаем) макаки?

В тот момент, когда Сад станет Градом, круг превратится в квадрат. Но такое парадоксальное мгновение означает и обратную трансформацию — Град становится Садам, квадрат — кругом. Плоть — духом, дух — телом.

Для христиан — путь нового обретения рая пролегает через Голгофу. Это — христианское зимнее солнцестояние. Крест, на котором распят Сын Божий, одновременно четыре реки рая. Жертва Агнца пресуществляет боль в радость, смерть в бессмертие, отчаяние в торжество, конец в начало, тлен в вечность. Для христианина квадратура круга, конец времен — в евхаристии, где единый и бессмертный Бог дает себя в «пищу спасения» верным. Отсюда — растительный символизм в церковной росписи. Храм — Сад, вновь обретенный рай. Он же Голгофа. Он же Небесный Иерусалим.

Идеологические импликации

История людей — это история сражения между мифами, между сакральными структурами, между различными артикуляциями ностальгии по Саду. «Атомарные факты» — лишь внешние скорлупы этой сложной и одухотворенной драмы, *les dechets*. Когда человечество еще жило в мифе, легко ориентировалось в нем, тогда догматические и богословские нюансы были, на самом деле, сверхзначимыми, чреватými колоссальными и живо ощущаемыми людьми выводами. Отсюда религиозные войны, сложнейшие мистико-политические интриги, многоплановые идеологии.

Сегодня картина радикально иная. «Разорители садов» — топором ли, бритвой ли — срезали «ненужную» (как им казалось) духовную часть, окончательно оторвав вещи от райских корней. Только по этой причине сегодня за «религиозными войнами» стоят нефтяные компании, а за

идеологическими переворотами — рыночные монополисты. Мифы потеряли свое определяющее значение, превратившись лишь в медиакратическое средство (для толп) в руках циничных манипуляторов рыночного строя. Поэтому так очевидны лицемерие и фальшь тех, кто деланно взывает к «религиозным» факторам. Нефтеислам, криминальное «православие», спекулянтский протестантизм, банковское католичество, медиакратический буддизм. Между этими имитациями не может быть реальных противоречий — это предвыборная агитация, рекламный ролик. Как только проблемы маркетинга улажены, и одна «невидимая рука рынка» пожалала другую, засунув в бездонный карман корпорации кипу зеленых купюр, наступает «религиозное перемирие», «побеждает разум», послушно лобызаяются «духовные авторитеты».

На самом деле, демаркационная линия проходит сегодня не между религиями и народами, а между наследниками «номинализма», между зловещим племенем «разорителей садов» и теми, кто по-прежнему, несмотря ни на что продолжает принимать миф совершенно всерьез, верит в Сад, мучается черной, неодолимой тоской по «отсутствующей части». А это чревато настоящим, а не фиктивным, не инсценированным конфликтом.

С одной стороны, все формы «позитивизма» стягиваются в единую модель. К Фукуяме. Неважно, что сейчас кажется, будто он поспешил. Фукуяма всерьез и надолго. Так же, как и Поппер. Его рано сбрасывать со счетов. «Конец истории» остается главной целью одной части человечества. Той, которая сегодня у планетерной власти. Той, которая «разоряет сады», отрицает «тайну Града».

С другой стороны, все яснее очерчивается общность позиций тех, кто долгие века и тысячелетия чертил между собой зловещие иероглифы крови. Общность мифа — всех мифов, всех форм ностальгии по Саду — перед лицом зловещего лезвия потребления. Это очень трудно принять и признать. Но придется. Рано или поздно придется.

«Разорителям садов», по сакральным законам Традиции, обрубают руки.

«Невидимые руки рынка»...

Опубликовано в газете "День литературы" в 1999 г.

.Г.Дугин

"Русская Вещь", Арктогея, 2001

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ

Лидеры суицида

Существует крайне любопытная статистика относительно возраста самоубийц. Оказывается, что подавляющая, непропорционально большая часть таких случаев приходится на долю подростков или юношей и девушек в переходном возрасте. На сухом языке медицины это называется специальным термином — «пубертатный суицид», то есть «самоубийство, совершенное в пору полового созревания».

Откуда такая особенность? Почему подростки, почти не столкнувшись с жизнью и еще не успевшие в ней разочароваться, так как не имели достаточно времени, чтобы ее познать, так склонны сделать фатальный шаг, добровольно перейти таинственную и зловещую черту? Казалось бы, наоборот, взрослые пожившие люди, обнаружившее, что «все — обман, ложь, продажность и дешевка» должны были бы побить первенство в этом жутком деле... Или сумасшедшие, или наркоманы, или больные, или несчастные, социально униженные изгои... Но нет. Лидируют именно подростки, причем часто из весьма благополучных семей.

Шаг из окна высотного дома... Огромная доза нелепых родительских таблеток... Зажатая в кулаке бритва, полосующая юношеские или девичьи невинные вены... Более старомодный бросок с моста... Приставленный ствол пистолета к пульсирующему виску... Забытая сегодня, но весьма популярная в прошлом намыленная петля... Откуда такая гипнотическая притягательность этих зловещих инструментов, несущих необратимый процесс ухода и обвал горя родителям, знакомым, друзьям?

Метод Мирчи Элиаде

Известный румынский историк религии Мирча Элиаде дал удивительно интересную интерпретацию некоторых наиболее архаических мотивов в сакральных культах и мифологиях. Согласно Элиаде, на самом глубинном дне человеческой психики записан некий код, некая «формула», которая в процессе исторического развития приобретает черты той или иной религии или традиции. Эта же формула является универсальной для всех традиций и определяет базовые установки любой религии. В начале своих исследований, Элиаде рассматривал только традиционные общества — Средневековое европейское, индусское, буддистское, культы африканцев и полинезийцев и т.д. Но мало-помалу он пришел к выводу, что и наше современное общество, на самом деле, является материалистическим, профаническим лишь на поверхности. В глубине же людской психологии лежат все те же древнейшие архетипы, все та же неизменная «формула души». В этом Элиаде сближается с австрийским психологом и психоаналитиком Карлом Густавом Юнгом. Таким образом, Элиаде (почти как Юнг) предлагает рассматривать все культурные или социальные аномалии в свете архаических культов.

Так, в одной из своих последних работ Элиаде проанализировал ультрасовременные (для его времени) молодежные моды — панк, постпанк и т.д. — с точки зрения их связи с архаическими элементами. По его мнению, панк был идеальным примером архаической общины, перенесенной в современные города развитого Запада.

Раскрашенные лица, ирокезы, добровольные физические травмы, столь характерные для первой волны панков, почти инициатические ритуалы — все это было спонтанным возвратом к архаическим нормативам, имеющим особую логику и специфическую структуру. Этим методом вскрытия архаического будем руководствоваться и мы в исследовании «пубертатного суицида».

Инициация в архаических общинах

Практически во всех архаических обществах период полового созревания рассматривался как важнейший момент жизни человека. Обряды, связанные с этим периодом, являются самыми развитыми и многоплановыми. Это время, когда подросток сталкивается с важнейшим мгновением своей жизни, с моментом инициации.

Что такое инициация? В самом грубом приближении, это ритуал, в котором член архаической общины переходит от безответственного, естественного, инерциального существования (детство) к новой жизни. Он становится полноправным членом коллектива, который всегда имеет определенную сакральную нагруженность. На языке полинезийских племен, человек получает тогда «ману», особую силу, «духа», «двойника». И после инициации он входит в особое магическое или религиозное братство — племенное, конфессиональное, профессиональное или какое-то еще.

Инициация называется «рождением», и ее ритуал всегда повторяет в символической или довольно грубой форме процесс появления младенца на свет. У некоторых племен юноша проползает в момент инициации между ног жрицы, символизирующей Великую Мать или Богиню. В других случаях функции утробы выполняет специальный темный шалаш, погреб, печь, баня или иное строение. Есть и иные формы — погружение в воду, закапывание в землю (песок — у бедуинов, снег — у эскимосов), спуск в подземный лабиринт и т.д.

Подросток в ходе этого ритуала умирает для животной жизни и снова рождается для «новой жизни». Он становится «новым человеком». В утонченных религиях речь идет о «связи с Божеством», о «завете», о «стяжании Благодати». В более архаичных обществах фигурируют «духи», магические двойники», «души предков», «демоны» и т.д. Но в любом случае смысл остается типологически одинаковым. Именно в инициации заканчивается естественный рост природного существа. Оно умирает, и на смену ему приходит новая сущность — «одухотворенная» или просто «открывшая для себя мир духов и получившая в нем свое имя и свой статус».

Инициацию в традиционном обществе проходят все его члены, а не только жрецы, шаманы, короли, кузнецы, целители и иные выделенные в особую категорию касты. Инициация лежит в основе любой профессии, так как в традиционном обществе все виды занятий имеют свою сакральную структуру и продолжают линию, заложенную божеством, культурным героем или великим предком. Иными словами, взрослая жизнь в таком обществе есть активное соучастие в мифе, в легенде, существование в контексте прямо осознаваемой сакральности. Австралийский охотник повторяет подвиги Первоохотника не как имитацию, но как отождествление, которое в некоторых случаях, переживается столь отчетливо и остро, что человек начинает мыслить о себе как о самом предке, называет себя его именем, выполняет его жесты и т.д.

Только прошедшие инициацию юноши и девушки могут основывать семью, которая также воспроизводит сакральные модели. Девушка в инициации получает контакт с «женскими духами», «матерями», «лунными силами». Юноши рождаются с силами мужского начала. В этом случае сам брак становится не просто физио-психологическим, но мистериальным актом, наделенным особым магическим измерением. Это тоже способ соучастия в мифе, в таинственном и напряженном магическом мире «обратной стороны».

Более того, сама инициация обязательно несет в себе половой характер. Но пол здесь берется в сверхбиологическом аспекте. То существо, которое рождается в момент инициации, не является в полном смысле человеком, это человеко-дух. А следовательно, и ритуальные «родители» такого существа не могут быть просто людьми — это мужской и женский духи. Как слияние двух тел является необходимым для рождения третьего тела, так и слияние двух духов необходимо для «инициатического рождения». Но этот «окультиный брак» осуществляется на особом уровне, к которому посвящаемый причащается в процессе драматического ритуала.

Права только подростки

Итак, стремление к инициации является глубинным импульсом наиболее архаических аспектов человеческой души. Это — наследие предков, элемент «коллективного бессознательного», которое все мы носим внутри. Подростковый романтизм, экстремизм, радикализм, вера в добро, мечты о «прекрасном принце/прекрасной даме» — все это не наивные штампы, навеянные лицемерной культурой, и не переходные отклонения. Нет. Как раз наоборот. Именно подростки несут в себе тайную память о том, как должны обстоять дела в нормальном традиционном обществе, где взрослая жизнь не скучная рутина механических прагматиков и социальных винтиков (пропитанных истерическим нарциссизмом и нервным цинизмом), как у нас, а непрерывное соучастие в мифе, в сказочной реальности, в ткани единого непрерывного круговорота. В этом круговороте грань между нормальным и сверхнормальным, обычным и чудесным, человеческим и божественным стерта, размыта. Окна и двери, распахнутые в первой инициации, остаются открытыми до конца земного пути. В них входят и выходят сущности тонкого плана, оживляя природу, быт, секс, войну, труд, отдых, страдания и радость. В этом и есть смысл сакрального. Именно оно утеряно в нашей нормальной жизни. И именно оно говорит о себе в тяжелой и страшной статистике детских и подростковых самоубийств.

Архаические пласты души подсказывают внимательному подростку: тыходишь к черте, где природное существование прекратится. Эта грань — смерть. За ней — новая жизнь. Коварный разум может нашептывать любые доводы — неудачная любовь, проблемы в семье, неуверенность в себе и т.д. Но не разум, а дух говорит в юношах и девушках, выбравших столь страшный путь. Именно неосознанная, потаенная воля к сакральному, запечатленная в душе, знак особого духовного достоинства человека как вида, толкает на суицид. Так как сегодня нет инициатических ритуалов и сакральных обрядов, то вместо инициатической смерти и сакральной драмы, все кончается смертью тотальной, за которой, увы, не следует нового рождения. Но и в этом случае, поступающий так более прав, чем поступающий иначе. Признать мир взрослых таким, как он есть сегодня, не бросить ему вызов, не восстать против десакрализованного общества, где нет места ни мифу, ни Священному, может только существо духовно ущербное, еще более мертвое, чем трупы несчастных самоубийц.

Взрослые дети или детские взрослые

Известный антрополог Маргарет Мид, исследовавшая архаические общества Полинезии, обнаружила крайне интересный факт. Дети в этих обществах коренным образом отличаются от европейских детей тем, что вообще не знают сказок, наделены подчеркнутым рационализмом и склонностью к материалистическому объяснению всех явлений, даже самых таинственных, и совершенно не верят в сверхъестественное. Лишь в момент инициации, то есть становясь взрослыми, они открывают для себя миры мифов, сверхъестественное, сказки, фей, потусторонних существ и т.д. У европейцев все наоборот: дети живут в мифическом мире, взрослые — скучные скептики.

Это наблюдение вполне верно и для нашего общества. Оно добавляет еще один элемент к остальным духовным причинам «подростковых самоубийств». Предчувствуя, что мифологический период их бытия заканчивается, некоторые душевно тонкие дети переживают это настолько остро, что не могут переступить черту и войти в усеченную реальность взрослых. И здесь снова речь идет о глубоко обоснованном выборе, о системе ценностей и установок, которые уходят корнями к самым внутренним сферам человеческой души, хотя, естественно, сознание ребенка не способно

адекватно сформулировать эти импульсы, подобрать к ним правильные названия, выстроить логическую цепь.

Переворот

Если наш анализ верен, то ситуация представляется почти безнадежной. Пубертатный суицид оправдан на уровне души и коренится не в болезненности, а напротив, в исключительном и неожиданном здоровье, прорывающемся сквозь напластования профанической культуры, отрицающей у бытия сакральное измерение.

Есть два выхода. Первый — отменить мифологизацию детского сознания. Запретить сказки, мифы, легенды. С колыбели обучать детишек нормам взрослой жизни — расчетливость, рациональность, скепсис, цинизм и т.д. Но это в пределе. А на промежуточном этапе поместить любимых детских персонажей в демифологизированный контекст, где доминируют нормативы взрослой жизни. Кстати, именно это и осуществляется (хотя и не в полную силу) американскими мультсериалами, где наиболее позитивные персонажи рациональны и похожи на взрослых (например «дядюшка Скрудж»), а негативные берутся из традиционного фольклора. В таком случае последние следы архаической сакральности будут постепенно стираться в человечестве, и когда-нибудь выведут поколение, у которого в переходном возрасте вообще не будет возникать никаких проблем. Второй выход еще более сложен. Он заключается в том, чтобы силой или хитростью (как сложится) вернуть общество к сакральным нормам, возродить традицию, восстановить инициатические культы и ритуалы, возратить и взрослой и детской жизни полноценное мифологические, духовное, магическое измерение. Конечно, нормальному «взрослому» человеку это покажется абсурдом. Но для многих, для очень многих — для людей искусства, мистиков, революционеров, радикалов и т.д. — и в первую очередь, для самих подростков такая перспектива будет явно привлекательной.

Это значит, что в жизни снова будет место для прекрасных дам и доблестных рыцарей, для дерзких авантюристов и героических свершений, для чудес и чар, для того, чтобы фиолетовый луч потусторонней реальности полоснул бы уставшую и отвратительную (даже себе самой) цивилизацию. Крестовый поход против современного мира...

Новый Крестовый поход детей.

А.Г.Дугин

"Русская Вещь", Арктогея, 2001

СТРУКТУРА МУЖСКОЙ ДУШИ

Неравенство всего (в том числе и полов)

Мужчину и женщину отличают не только анатомия и физиология. Это два психологических вида, два типа существ с различной, подчас полярной психиатрической организацией. В отличие от других видов животных человек гипертрофирует различия. Кстати, гипертрофированным аппаратом для схватывания различий и является человеческий рассудок.

Животные в рамках одного вида мало отличаются друг от друга — особь похожа на особь, самцы на самцов, самки на самок. Половая разница, конечно, есть и у зверей, все же граница никогда не бывает окончательно прочерченной — караси и карасихи, львы и львицы, голуби и голубки всегда остаются рыбами, зверями, птицами несмотря на их пол. В отношении того, является ли женщина человеком, испокон веков ведутся научные и бытовые споры. Даже само имя «женщина», «жена» не является производным от слова «человек» или «мужчина». Это не просто «самка человеческого вида», это что-то иное...

Неравенство людей проистекает именно из-за того, что наделенность рассудком делает внутривидовые различия особей (или подвидов — этносов, рас, каст, типов и т.д.) настолько огромными, что они вполне сопоставимы с различием между целыми категориями животных. Есть люди-амебы и люди-стервятники, люди-обезьяны и люди-водоросли, люди-цапли и люди-жабы... Общая внешность и сходная анатомия в отличие от просто животных не являются последним основанием для классификации. Ментальные вселенные весят намного больше. Между людьми

лежат бездны. Но самая большая бездна лежит, по словам Ницше, «между мужчиной и женщиной». Хотя «многим обещан был брак».

Великая боль границ

Человечество дифференцировано как весь животный мир — поэтому так разнообразны человеческие особи. Но ментальный мир устроен иначе, в нем есть такие полюса, как бытие и небытие, как субъект и объект, чуждые миру животных. Значит, и границы здесь имеют особый, невиданный смысл, наполнены неизбывным драматизмом, одичалой метафизической тоской, онтологической ностальгией.

Мужчина и женщина в человечестве воплощают в себе именно такие, духовные, метафизические полюса, пределы умной вселенной, пропитанной токами высшего духовного напряжения. Оппозиция выходит далеко за рамки природы, за подвижные и гибкие, но все же строго определенные границы животного мира.

Мужчина, его душа типологизирует «бытие» и «субъекта» — понятия, не имеющие аналогов в специфической вселенной звериных самцов. Жеребец не более и не менее субъектен, нежели кобыла, не более и не менее онтологичен. Он ведет себя иначе, он экспансивен и дерзок (пока не выхолощен), но все оканчивается простейшим набором реакций, инстинктов, диктатом жеребьячей анатомии.

У людей же пол имеет совершенно иной смысл, иное содержание, иную причину быть. Субъектность — это способность растворить плотность внешнего объекта, снять его внеположное наличие через уникальную операцию познания. Именно наличие субъекта делает реальным существование объекта как его противоположности. Если бы не было субъекта, то вся реальность перетекала бы сама в себя без помех и преград. Субъект — это первый и главный принцип различения, дифференциации. Он вносит в мир пропорции и границы, структуру и упорядоченность. Мужчина есть воплощение субъекта. Точнее, он должен быть воплощением субъекта по видовому предопределению. На самом деле, увы, все обстоит далеко не так. Данность резко контрастирует с заданием.

Женщина — объект. Но объект в рамках человеческого вида. А следовательно, она наделена особым исключительным качеством. Она не просто один из объектов, она всеобъект, Великая Мать, магическая протоплазма реальности. Она не самка, потому что из нее сотканы живые и неживые миры, самцы и самки, атомы и организмы в той степени, в какой они объектны. Бескрайнее многообразие возможностей бытия сосредоточено в женщине, и все это многообразие представлено на рассмотрение, использование, снятие, игру, наслаждение, борьбу субъекту-мужчине. Мужчина и женщина. Мыслящий и его мысль, его всемысль. Слова «мужчина», «муж» (как человек) во многих языках (и в русском) однокоренные со словом «мысль». «Муж» — это «тот, кто думает». Но о чем бы он ни думал, всегда, в некотором смысле, он думает о женщине, о живом объекте, суммирующем соцветие окружающего бытия.

Венчание невидимок

Одним из фундаментальных качеств нормального мужчины является его невидимость. Это свойство субъекта. Субъект есть тот, кто смотрит, а не на кого смотрят; тот, кто понимает, а не тот, кого понимают. Мужчина, строго говоря, не имеет права смотреться в зеркало, фотографироваться, быть изображенным на портретах. В традиционной мифологии и волшебных сказках есть множество сюжетов, посвященных невидимкам. Все они тем или иным образом связаны с метафизикой субъекта и структурой мужского начала.

Человек, обретающий способность быть невидимым, становится настоящим мужчиной. Объектный, материально-женственный аспект его сводится к нулю, испаряется. Он концентрируется в агрессивную подвижную волеву стихию, в порыв ветра, в золотой дождь Зевса, в прозрачный сгусток умного напряжения, проникающего многообразные женские миры и узлы живой материи без преград, без сопротивления, без помех.

Невидимка обретает такие качества через особый предмет — чаще всего шапку или кольцо. И шапка и кольцо — атрибуты царской власти, и вместе с тем — атрибуты брака. О том, что таинство помазания на царство (или иные формы королевской инициации) и ритуалы брачных церемоний всегда очень близки между собой, много писали историки религий. Достаточно вспомнить, что

свадьба и возведение на престол называются одним и тем же словом «венчание». «Венец» — это и есть шапка, как правило круглая, как и кольцо (царское кольцо, обручальное кольцо и т.д.).

В древности существовал обычай прятать царских детей в темные погреба, чуланы, не освещенные солнцем. Это рудименты более древних культов, когда цари вообще скрывались от народов и племен, так как их могущество и невидимость считались магическими синонимами. Царь в традиционном представлении и есть высший субъект, мужчина и человек по преимуществу. В той степени, в которой мужчина (даже самый захудалый) является субъектом (то есть собственно, мужчиной), в той степени он обладает царским достоинством. Во время православного брака ему напоминают об этом короной.

Алхимическая традиция, которая постоянно обращается к царскому символизму для характеристики мужского начала, «герметического огня», знает и такое выражение: «невидимый деятель», *agent invisible*. Это и есть субъект познания, тайнодействие мужской души, непреклонный луч понукающей воли, раскрывающей замысел вещей через снятие их давящего наличия.

Невидимость и есть мужественность. Даже на бытовом уровне это имеет множество подтверждений. Что есть более невыразительного и однообразного, чем солдатская или офицерская униформа?! Всегда одинаковая, дезиндивидуализированная, приближенная к защитному цвету, к тому, чтобы носящий ее не выделялся, сливался со средой и природой, то есть был «невидимым». Но именно этот воинский тип, человек в униформе, столь fasciniрует женщин (нормальных, естественно, женщин), вызывая горячую непреодолимую дрожь, пробуждая глубинные пласты материи делания. Сами же женщины предпочитают одеваться как можно более разнообразно, изобретательно, неординарно, ярко, броско. Они хотят быть как можно более видными, видимыми, привлекательными, чтобы попасть в зону внимания тех, кто, напротив, стремится быть неузнанным и незаметным.

Даже в современном искореженном мире женское сердце не может оставаться равнодушным к человеку в скромной военной форме. — Так мать-земля покрывается весенней роскошью убранств, чтобы привлечь к себе животворное огненно-влажное внимание однообразно невозмутимого, холодного неба.

Паралитик вечности

Мужчина как субъект должен быть неподвижен. Он — полюс, из которого все вытекает, и к которому все возвращается. Он всепредок и всепотомок, всеотец и всесын. Он носит в своей глубине ось мироздания, его душа непоколебимо сцеплена с истоком вещей. Вокруг него вращается мир. Поэтому он спокоен, жесток и равнодушен. Холоден для извивов преходящей внешней стихии, изображающей драму там, где налицо просто недостаток ума. Плоские трагедии идиотов, хаос недоумков, динамика ментальных уродцев не интересуют сознание мужчины, не способны вовлечь его в перипетии поверхностной истории. Это сфера базара и женщин, причем некачественных, мало привлекательных женщин, женщин, неудержимо влекомых к темным путям обезьяны...

Так же неподвижен был Илья Муромец, русский богатырь, русский архетип. Он покидает центральное место только тогда, когда беспорядок периферии, волнение предавших свою миссию и свой тип мужчин грозит тотальным развалом всего организованного священного круга Святой Руси. Колесо бытия слетает со своей оси, и тот, кто стоит в центре этого колеса, вынужден заняться починкой всей колесницы. Илья Муромец «сиднем сидел» в золотом веке, когда культ полюса, культ мужчины соблюдался всем ансамблем двуногих. Его заставил сойти с места лишь темный век, начало русской «кали-юги».

Индуистская традиция ту же идею неподвижности мужчины описывает странной формулой — «паралитик вечности». Таков космический мужчина индусов, Пуруша. Он не может ходить, но может смотреть. Его пара, Пракрити, напротив, слепа и тупа, но имеет сильные и сочные конечности. Она берет Пурушу на покатые соблазнительные плечи, и он указывает ей путь. Так движется странная пара космических первогигантов по сложным лабиринтам пульсирующего бытия. Когда даме надоедает таскать на себе «паралитика», она сбрасывает его, и мир впадает в праисторический хаос. Неосторожный, необдуманый поступок.

Иногда неподвижность мужчины-субъекта описывается как состояние сна. Настоящий мужчина всегда спящий. Поэтому он неподвижен и невидим. Бодрствование с его неизбежным плебейским наполнением слишком унижительно для господина. Ему необязательно ощупывать и наблюдать материальные предметы, существа, события, которыми намертво засорены пространства дня. Во сне он распоряжается с тонкими душами вещей, с их «внутренними женщинами», сублильными

двойниками. Власть сна гораздо выше власти бодрствования. Настоящий мужчина постоянно спит. Как метафизический медведь в берлоге духа. Он пробуждается только при крайних обстоятельствах. В таких случаях он становится берсеркером и в ярости наказывает тех онтологических лиллипутов, что нарушили мерный сон господина вещей.

Отсюда легенды о спящем императоре; скрытом царе; о тайной пещере, где пребывает чудесным образом избежавший смерти властелин.

Сам себе свадьба

Сегодня трудно надеяться на понимание, употребляя слово «мужчина». Оно вызывает неминуемые ассоциации с «самцом человеческим», с агрессивным (или пытающимся быть таковым) бодливым и упрямым двуногим каприкорном. Такой «ближневосточный» типаж, навязчивый и однообразный, давно вытеснил более адекватное представление о мужчине-субъекте, о его роли, его стиле.

Самец активен от отчаяния, от необратимой вброшенности в закрытый со всех сторон мир материи. Так мечутся в камерах буйные пациенты, царапают стены заключенные. Рождение самца — колоссальный подвох, бритвенная ирония бытия, издевательство высших развоплощенных существ над трагизмом оживленных зоо-машин. Самец не знает, что ему делать с психологическими и анатомическими избытками, слепо стремится хоть как-то их применить, куда-то поместить, каким-то образом пристроить. Но коварные и засасывающие миры раскинувшейся вокруг плоти деловито оприходуют активиста, нарезают пластинками, ловко приспособливают к колыхательным процессам не имеющей своей собственной жизни материи. Весь «самцовый патриархат» есть не что иное как слепое обслуживание «нижней матери». И чем больше жен, наложниц, любовниц, тем слабее мужское начало наивно торжествующего простака. Вместо судьбы крылатого путешественника — жалкий удел мельничного жернова, обреченного на прокорм ненасытных матрон, повязанных тайным заговором «кукушкиных слезок», страшной «мужененавистнической» клятвой ордена амазонок.

Мужчина-субъект никогда не делает ни малейшего шага в сторону женщины-объекта. Он никогда не дарит подарков, не покупает, не уговаривает, не ухаживает, не говорит комплиментов, не клянется в любви. Того факта, что он есть, уже достаточно. Более чем достаточно. Избыточно. Он сам себе свадьба, сам себе кортеж, сам себе медовый месяц, сам себе бракоразводный процесс. Рассекающий луч его умной воли с одинаковым интересом открывает все то, что попадает в зону его внимания. Если это математическая теорема — она будет решаться; если женщина — он примет ее, лишив наивности и иллюзии автономного самобытия; если некая враждебная масса — он постарается превратить потеющее шевеление злобной орды в готический ансамбль охлажденных трупов. Все должно быть лишено темного доведка непроницаемой бессмысленности, в которую воплощается сатанизм, врожденно присущий нижнему миру. И с чем бы ни столкнулся подлинный мужчина, все будет подвергнуто одному и тому же познавательному действию. Это непрерывное таинство брака, жестокая работа световой мысли, циклическая эксплорация геометрических пространств бытия, колец существования.

Если сравнивать мужчину-субъекта с мужчиной-самцом, то первый вполне может сойти за женщину. Во всяком случае, он не самец ни в каком смысле. Чтобы составить себе представление об этом поле в его нормальном архетипе, следует представить себе отношение гомосексуалиста к женщинам. Это — половина психологического настроения. Фундаментальная разница в том, что точно такую же брезгливую неприязнь ему внушают и мужчины (в психофизиологическом смысле).

Фактически, мужчина-субъект — это андрогин, сверхполое существо, осуществившее в самом себе как совершившийся безотзывный факт таинство внутреннего брака. В этом браке могут поучаствовать и иные существа, мужчины и женщины. Так как солнечный андрогин един, единственен. Двухголовый «ребис», король невидимой республики снов, повелитель душ и растений, пастух малых и больших, многоногих и двуногих зверей.

Когда мужчина-самец чувствует вблизи холодное дыхание андрогина, его эротическая система парализуется так, что не поможет никакая виагра. А если мертвые нервы плоти будут настаивать, его рука сама — часто помимо воли — сожмет холостящую бритву. Секрет скопчества — в контакте с истинно мужским началом. Понять, что такое мужчина-субъект, и не оскопиться, невозможно.

Катастрофа мужчин

От типологии к конкретике. Как обстоит дело в современном мире? Ужасающе. Все пропорции перевернуты, полы перемешаны, идентификации эротических архетипов утрачены.

Все началось с того, что женщина была приравнена к человеку. Это стало возможным только потому, что было безвозвратно утрачено представление о мужчине как о сверхчеловеке. Это не означало, что женщина поднялась на ступеньку выше, это означало, что все спустились на несколько ступенек — причем качественных — ниже.

Место воина в униформе занял разодетый животасто-волосатый торгаш, похотливая обезьяна Леванта, где в баснословно короткие сроки воняют тела и продукты. Мосластые человеко-скоты стали вытеснять мужчин-субъектов андрогинного типа — неподвижных, королевски спокойных, патрициански дремлющих в отношении бытовых технологических переустройств. Распустились плотоядные матроны; стали дичать, расслабляясь, жадные и безмозглые девицы. Порядок — как продукт мужской северной души — был нарушен. Хоровод нижних типажей — налетчиков, отравителей, доносчиков, водомеров, соблазнительей, тщеславцев, а потом и писателей с полутора извилинами — захлестнул антропологический пейзаж. Уже в Древней Греции число вырожденцев достигает критической черты, и если бы не Христианство, цивилизация была бы заселена одними первертами.

Постепенно зеркало вошло в обиход мужчины. Он стал видимым и бодрым, позволил писать с себя портреты, еще позже фотографировать и сниматься (причем без маски!).

Структура мужской души надломилась, пошатнулась, треснула. Колоссальную подмену типа осуществили старатели подземных завалов человеческого или околочеловеческого мира. Пласт за пластом подрывные антимужские элементы выкорчевывали вектора полярной культуры, задвигали и оклеветывали золотую фигуру андрогина. Это — многовековой поход против Ума, против тонкого луча сознания, заговор против субъекта, растянутое во времени гигантское царевубийство в масштабе онтологии, отложенная месть покоренных некогда объектных стихий, отвергнувших спасительный путь интеллектуальных метаморфоз, философского брачного катарсиса.

Масштаб кризиса убедительно и наглядно описан в «Метафизике Пола» Юлиуса Эвола. За иллюстрациями и подробностями следует обращаться к этому труду, а также к его «Йоге Могущества».

Вырождение и упадок записаны в логике развертывания исторического процесса, неукоснительно уносящего нас от изначальной полноты к финальной нищете. В истории полов это проявилось в деградации мужского начала. В распаде мускулильных соляных сгустков воли на разрозненные фрагменты, комбинирующие в себе зоо-суррогаты и обрывки мысли.

Катастрофу мужчины как типа можно понять, обосновать, описать, но нельзя оправдать и признать. Нельзя принять. Глубинные токи бытия препятствуют этому. Что-то не так в этой обусловленной логикой циклов растянутой кастрации... Что-то не так в неизбежно предписанном законами проявления триумфе лунной подрывной стихии...

Каменный гость

Этика мужской души состоит в верности архетипу, в отказе от признания высшей правомочности за тем, что объективно случилось.

Юлиус Эвола в программной книге «Восстание против современного мира»* предлагает свою реконструкцию этапов борьбы солнечных мужчин против рока энтропии.

Вначале мужской тип всецело доминирует. Это золотой век. Время мужских богов. Он длится долго, так как стоит, в некотором смысле, вне времени.

Затем наступает царство матерей, серебряный век. Это период доминации белых дам, женского жречества. Первая его половина духовна. Но ближе к концу жрицы-валькирии вырождаются до мужененавистнических амазонских цивилизаций.

И тогда царственное мужское начало вынуждено облечься в форму восстания и бунта. Это — бронзовый век, время героев, время узурпации, время волевого, насильственного захвата планетарной власти в области религии и государства тайным орденом мужчин. Изначальная

олимпийская чистота здесь утрачена. Справедливость и бесстрастность заменена агрессивной, жесткой, пассионарной, порывистой натурой. Это время Геракла, полубога и получеловека.

Далее следует наш век. Век железный. Герои вырождаются в нем до торговцев, а лунный вампиризм хаотических дам сполна мстит противоположной стороне, изнутри разлагая остаточные элементы патриархата.

Сам Эвола, хладнокровно констатируя трагизм ситуации, вместе с другими драматическими дэнди нашего столетия, «черными баронами» и «закоренелыми аристократами» остается вопреки всему верен subtilной магии мужского начала. Но, увы, то что удалось ему, превратилось в кич у его последователей. Мужчиной невозможно стать. Им надо родиться, и все усилия мордатых чернорубашечных мальчиков и хилых кабинетных фаллократов в пенсне только усугубят фатальную ситуацию самозванных «эволаистов». Эвола есть, эволаистов нет.

В мифологической реконструкции Эволы интересно то, что мужское начало в его стремлении к реваншу способно на рискованные метаморфозы, ставящие на опасную грань высшую метафизическую стратегию мужской идеи. Боги спускаются к людям, чтобы передать героям эстафету борьбы с роком истории.

Но время героев также неумолимо подходит к концу. И за пределом бронзового века, в апогее кали-юги — веке железном — встает новый вопрос: какой будет последняя метаморфоза мужчины?

Он не может быть тем, кем он был в начале. Он безвозвратно изгнан из своего царства, детронирован. Если он примется изображать олимпийца, живо очутится в Шарантоне или Кашенко.

Приблизительно так же будет с тем, кто возомнит себя героем. Это будет дурачок, наемник или посмешище. К чему герои? К чему поэты? К чему пророки in du#erftige Zeit...

Но нельзя просто так сдаваться. Упругая воля древнего солнечного андрогина подчас неожиданно начинает шевелиться даже в современных мужчинах, в этих полуавтоматах-полуспаниэлях, в тщедушных (или лживо мускулистых) рабах фиктивного эгалитарного люкса. Какая же форма должна быть избрана? Какой рискованный вираж древняя сила изберет в наше время, когда кризисы входят друг с другом в головокружительный резонанс и насмешливый постмодерн с необычайной легкостью выхолащивает смысл из искусно оглушенных ансамблей, еще вчера бывших значимыми и глубокими?

Назревает новая, невиданная, неслыханная авантюра мужчины. Ее контуры едва-едва заметны.

Дон Жуан решительно оскотлен разноцветной химией глянцевого реклам, клонирован серийными резиновыми чучелами. Мужские придатки к офису, опелю и секретарше смотрят в зеркала и видят в них своих пятнистых предков по женской линии в пятидесятом колене. И лишь за стеной, за стеклянной анфиладой клеток сквозь писк машинных сигнализаций и ленивый ропот потерянного вечно озабоченного эмаскулированного большинства доносятся угрожающе гулкие звуки.

Прислушаемся. Это шаги. Тяжелая поступь. Не просто тяжелая. Невыразимо тяжелая. Тяжелее земли, плотнее плазмы.

И внезапная догадка пронзает наш мозг: это Он. Конечно же, Он, кому же быть еще.

Суровая статуя ожила. Гигантский, величиной с небоскреб Командор медленно сдвигается с места.

Каменный гость. Гранитный первопредок, вернувшийся, чтобы покарать.

Из камня его кожаный плащ. Из камня острые резцы. Из камня большие неуклюжие руки.

Ими схватит за шиворот он распутившуюся дрянь, присвоившую имя и функции мужчины, и аккуратно сожмет, потеряв и посчитав хрустящие косточки.

Вязкая жижа забьет изнутри диск-жокея, глухо ахнет толпа с фастфудом, будет экстренно прервана вечерника в гей-клубе, штаб-квартиру экстремистской партии затопят соседи сверху, сама собой отключится электронная система голосования в парламенте.

Это будет напоминать странный архаический миф с очень плохим концом.

Если нет жизни, если нет власти, если нет даже перспективы серьезной драматической битвы с заведомо предуготовленным поражением, нам остается лишь месть — всему и всем, патологическая, противоестественная, ледяная, нечеловеческая и безрассудная месть.

Рождение новой мана-персоны, из камня, небытия, безжизненных пластов невероятной сверхгравитационной тяжести — веса конца времен.

Последняя метаморфоза мужчины.

А.Г.Дугин

"Вторжение", №1, 1999 | "Русская Вещь", Арктогея, 2001

МЫ БУДЕМ ЛЕЧИТЬ ВАС ЯДОМ (Эссе о змее)

Эволюция капиталистических животных

К змее традиционно плохое отношение. Этим словом ругаются. В память о соблазнении Евы в раю. Рептилии лишены ног, ползают на пузе по влажной, сырой земле. Змей соединился с сатаной. Темный дух скачет на своем безногом колышающемся чешуйчатом коне кладбищенскими ночами, пугая упырей и спящих в кустах крольчих. Ядовитый, хладнокровный, гибкий, змей мало располагает к себе. Символом капитализма Маркс называл крота. Так же, как слепой крот, роет Капитал мрачные норы к сердцам одурманенных людей, мечущихся в лабиринтах вампирически растущей прибавочной стоимости — всегда на благо подлейшего меньшинства и ценой бесчисленных страданий глупейшего большинства. Жиль Делез верно заметил, что современный Капитал меняет символ. Классический крот исчерпал свои возможности. Его грязные норы настолько изрыли несчастную землю, что реальность превратилась в сплошное сито, откуда строят злые рожи жители той стороны «великой стены». Эра крота кончилась. Капитализм вступает в новую стадию, утверждает Жиль Делез, в стадию змеи. В современном мондиалистском мире стирается грань между властвующими и подвластными, между мужчинами и женщинами, между сытыми и голодными, между врачами и пациентами, между учителями и учениками. Открытое общество строится по принципу змеи. Все перетекает во все, сплошной социальный серфинг пронизывает страты мондиалистского социума. Капитал больше не подкупает Труд, но сам создает Труд в его игровой, зрелищной форме. Клонирование людей стало возможным только потому, что Капиталу удалось клонировать Труд.

Змеи против змей

Традиция — антитеза картезианству. Формальная логика — вот с чего начал денница подрыв нашего величественного сакрального мира. Эта логика подсказывает: надо найти альтернативу змее. Раз змея — плохо, не змея — хорошо. Но это ловушка. Категориальное мышление антионтологично, оно оперирует с рассудочными абстракциями. Никакой «незмее» со змеей не справиться. Необходимо зайти с другого конца. Против змеи может выстоять только сама же змея. Вспомните евангельское: «Будьте мудры как змеи» (От Матфея, 10, 16). Медный змей, образ которого Моисей воздвиг в пустыне, считается прообразом самого Спасителя. Змей на кресте украшает православные храмы. Змей против змея. Гибкое, бескровное, извивающееся тело против своего двойника. Змей символ и мужского и женского начала. Древнее предание гласит, что Александр Великий родился от змеи. А в китайской традиции змееобразный Желтый Дракон считается символом небесного логоса. Спиралевидность анагогической мысли — возвышающая дух мысль подобна дымку, восходящему к небесам, уточняясь и растворяясь в лазури абсолютного знания — стала знаменем гностиков-офитов, почитавших высшее божество в виде змея. Первые христиане знали удивительный символ — «Амфисбена» — двуглавый змей, состоящий из черной и белой половин, два участника последней битвы на общем туловище. И у Христа и у антихриста один аргумент — человек. Пресмыкающийся дегенерат последних времен, барахтающийся в трясине прозрачных иллюзий, напитывающихся бытием лишь от жадности и душевного тления жертв.

Наш террариум

Вспомните, как долго Заратустра у Ницше таскал за собою труп разбившегося канатного плясуна. Почему? Потому, что отвращение к человеку, его легкая готовность к духовному исчезновению, еще не аргумент для того, чтобы отказаться от сложного спора с духом, отрицающим жизнь. А раз так, то на повестке дня новая задача. Строительство нашего террариума. Выведение новой небезопасной породы, по ту сторону не действующих, не пригодных более картезианских клише. Мы будем отныне лечить вас только ядом. Кто умер, тот никогда не жил.

Опубликовано в газете "Завтра" в разделе "Вторжение" в 1998 г.

А.Г.Дугин

"Вторжение", 2000 | "Русская Вещь", Арктогея, 2001

ПУСТЬ ВЕТЕРОК ОВЕЕТ ДУШУ ТВОЮ (Меладзе-2: пляж и инициация)

La Rottura

Предельное напряжение человеческих усилий, выливающих в экстремальный опыт, приближает человека к инициации. Так рождается тема — «инициация и революция». В возможном опыте предела мерцает воронка невозможного опыта запредельного. На этом зиждется концепция «тамплиеров пролетариата».

Но здесь есть нюанс, есть нюанс... Любое стремление отсюда — туда есть только стремление, тяготение... В своей книге «Les principes du calcul des infinitesimaux» Генон называет вещи своими именами: аналитически предел недостижим. Лимит x при x , стремящемся к единице, никогда не станет тождественным единице. Всегда чего-то не будет хватать. Тот же парадокс Зенона Элейского об Ахилле и черепахе. Бесконечно малый элемент, не достижимый в стремлении, количественно незначителен, но онтологически огромен.

Иными словами, если у революционера-нонконформиста в какой-то момент что-то не лопнет (*rupture du niveau, la rottura del livello*, см. книги Эвола), инициатически его опыт окажется плевым. Иное не имеет общей меры ни с чем из Этого: и высшее и нижнее из Этого равноудалены от плоти Иного.

Из этого можно сделать много разных выводов.

Интереснее сделать все сразу.

Внимание Абсолюта капризно

Обыватель, отдыхающий на пляже, максимально удален от зоны риска, где рождаются подрывники, сговариваются революционеры и корчатся в коме объевшиеся психоделиков. Обыватель, валяющийся на топчане, снабжен защитой от революции. Это эталон «неинициации»... Тушка профана, изъятая из семиотического тира. Вне зоны высшего внимания.

Это было бы совсем так, если бы сами революционеры имели гарант обращения своей потенциальности в актуальность. Но таких гарантий Абсолют не выдает. Он вешает на крюках свободы алчущих и внимательно следит за абрисом их судорог. Возможны не те судороги, дисквалифицирующие Восставшего. Просто не те...

И чтобы проиллюстрировать жонглирующую хрупкость дистанций, внимание Абсолюта перемещается на пляж.

Schwarze Augenblick

Сартр, язвительно критикующий Батайя, заметил, что его «внутренний опыт», взятый как приглашение и «сообщение», недалеко ушел от призыва порадоваться пивку или вытянуться на общественном пляже, подставив полный бок солнцу. Сартр иронизировал, но тамплиеры шуток не понимают. Они все интерпретируют буквально и принимают императив метафоры.

На пляже людно и жарко. Там продают пиво. Там стоят chaises longues и жжет приветливо отчужденное солнце. Здесь наше место. «Внутренний опыт» (=«инициация» для Батайя) — дело отдыхающих.

Войдя в суть вопроса, выпиваем пару литров пива. Добавляем еще. Кладем туловище на лежак. Сосновый ветерок Кипра (Анталии? Крыма?) одувает плоть. Разморенное, в ощущениях матричной ласки, она расплзается задремать. Книжка Сартра (Батайя?) надежно закроет лицо от ожогов. Сознание рассеивается.

Вот здесь! Вот здесь! Стоп! Augenblick... Полупотерянное, разморенное пляжное сознание близится к развилке: часть существа овеивает ветерок, но что-то гладко и ледяно ускользает от его томных ласк. В вашем теле захоронена капсула, ледяная, оловянная капсула, гильза, серебряное яйцо, снаряд... Очертания этого чужеродного предмета проясняются между тем, что ощущает ветерок, и тем, что остается бесстрастным. Никакой этики, бесстрастие этой части не есть благо. Это объективная фиксация. Та же часть не заметит, как Вы умрете. В романе Майринка «Ангел Западного Окна» посвященный Бартлет Грин говорил о «башмачке Исаис». Башмачок (двусмысленный дар лунной богини) — серебряный носок проказы — делает нечувствительным к боли, к неге, к самым тонким и самым грубым встряскам плоти. На дыбе Бартлет Грин в качестве иллюстрации с хохотом откусывает себе палец. Проказа черной богини есть не что иное как марка души, ее гофрированный шуршащий жестью вход.

Горячий пивной пляжный сладкий ветер подталкивает к бытию новую дифференцированную жизнь, подводит к ней, подразумевает ее, выводит из-за складок блуждающего внимания. Иными словами: у полупьяного дремлющего обывателя «внутренний опыт» тот же, что и у умирающего на баррикадах революционера. Неподвижная капсула вечности привносит одно и то же волчье чувство недоумения в процесс существования обоих. Недоумения в опыте-пределе, недоумения в опыте-центре. Вы чувствуете то, что за краем, когда вам невероятно больно, невероятно бурно, невероятно счастливо... Вы чувствуете в той же степени то, что за краем, когда вам невероятно никак (условно хорошо — разве плохо выпить пиво на солнечном пляже?).

«Не ожжет тебя солнце днем, ни луна ночью» — сказано в Псалмах. Это о пляжных. Того, кто правильно расположился и подготовился, не «ожжет солнце». Это понятно. Но что такое «ожег луны»? От солнечного загара кожа белого человека темнеет. Было бы логично предположить, что от лунного загара кожа черного человека белеет. Было бы логично также предположить, что белые колдуны Африки пробираются ночами на мондиалистские пляжи, когда их покидают туристы, и от заката до рассвета нежатся в лунных ваннах.

Певчий Canzeus поправил меня: «ожег солнца — внешний», — сказал он, — «ожег луны — внутренний». «Ожог луны» есть печать, призывающая на фронт высоких прогулок лунатиков и ворочающая океаническими массажи. Глядя на него, я подумал, что он знает, о чем говорит, не по наслышке.

Когда солнечный ветер овеивает наше тело, вихри темной луны баюкают нашу душу. Двойная бухгалтерия.

Революция без инициации — баракло. Пролетариат без тамплиеров — банальные чандалы. Восставшие без эзотерических путеводителей — достойные сожаления невротики. Читатели «оккульта» без автомата — безопасные пациенты. Но все они ничто перед стройными рядами ночных загорающих...

«Спорт из Йорс,» — анкуражирующе говорят турецкие массажисты жирным русским теткам, безнадежно потно накручивающим километры в спорт-комнатах второсортных отелей. «Йорс» — мелко-турецкое божество отелей, отбросов и побережий. Российско-туристическое божество без имени легко ломает «Йорсу» шейные позвонки.

Опубликовано в газете "Завтра" в разделе "Вторжение" в 2000 г.

.Г.Дугин

ПО СЛЕДАМ ИОДАЛБАОФА

"Посещая собрания, я узнал, что эта группировка анархистов имела чисто мистический характер. Там говорилось о дуализме природы, добре и зле, о том, что добро есть первый стимул жизни, и еще добро может победить только в том случае, если оно найдет достаточно своих поборников. Очень сложная философская и мистическая подготовка требуется человеку, чтобы он мог быть его насадителем"

В.И. Сно из «Подробной автобиографии»

Простая жизнь Владимира Ивановича Сно

Просматривая архивы ОГПУ о деятельности мистических организаций в Советской России 20–30-х годов, наткнулся на дело одного молодого человека. Мне сразу стало ясно, что на этот раз мы имеем дело с чем-то экстраординарным.

Родился он в 1901 году, сразу, как только начался XX век. Образование ниже среднего. Профессия — ретушер. Уже только этого было бы достаточно. Профессия — ретушер. Он работает с черным и белым, чернит черное, светлит белое. Конечно, для этого полного среднего образования не нужно, но, тем не менее, давайте задумаемся — какими наклонностями надо обладать, чтобы выбрать себе такую профессию?

Родившись в Симферополе и прожив там определенный срок, наш герой едет в Ялту. Там при белых он выступает свидетелем по облыжному обвинению группы из 11 большевиков в подрывной деятельности. В результате его оговора 6 человек расстреляно, 5 отправлено на каторгу. Юноша великолепно решает магическую проблему тревожного числа 11. (Позже он во всем сознается.)

Но это еще не все. В 1924 году он появляется в Москве и вступает не куда-нибудь, а в «Орден Света», мистико-коммунистическую тамплиерскую организацию — оккультное общество, вывезенное анархистом Карелиным из Европы. Много было написано серьезными авторами о загадочном «Order of Light», о его тождестве (или нетождестве — это под вопросом) с таинственной могущественной ложей «Hermetic Brotherhood of Luxor», инспирировавшей все современные неоспиритуалистические течения и приложившей руку к самому «Golden Dawn». Анархистский «Орден Света» московских тамплиеров из музея Кропоткина, имеет ли он к этому отношение? По некоторым деталям можно подумать, что имеет, но опосредованно. Впрочем, это отдельная история. Важно лишь что наш герой попадает именно в эту организацию.

Из всех показаний по делу о «московских тамплиерах» явствует, что Владимир Иванович Сно, а именно так звали молодого ретушера (смысл этого имени мы поймем в дальнейшем), попал в эту среду совершенно случайно. Просто у него ничего не получалось в Москве (видимо, и в Ялте тоже), так что его и занесло к анархо-мистикам. Скорее всего, там при обсуждении оккультных тем, в перерывах между жесткой критикой демиурга, давали бутерброды и чай. Исследователь этой истории и родственник супружеской четы, активно действовавшей в «Ордене», Никитин дает такую характеристику: «... В.И. Сно был вечным неудачником, большим человеком, который искал опеки и руководства. Не складывались в Москве ни его быт, ни служба, ни личная жизнь.»

Тот же Никитин, ссылаясь на архивы, дает последнюю и самую важную деталь — «Сно хотел, чтобы его «наполнили содержанием». Стоп! Это самое главное. Ключ к тайне невероятной важности.

Малая идиотская аватара

В истории есть множество случаев, когда под видом земной личности, обычного человека, бродит и действует какая-то иная сущность, гораздо более высокого (или низкого) порядка. Это инкарнации тонких духов, пророческих душ, избранных высших существ. Они совершают подвиги, предсказывают грядущее, воюют с земными князьями, демонстрируют чудеса аскезы, колдуют и исцеляют. Иногда они создают гигантские империи, иногда всю жизнь просиживают в норе, бочке, пещере. Подчас они несут чрезмерность добра и света, неместимых обычными адамидами. В других случаях по злодеяниям и порокам превосходят нижний предел вырождения и греха, доступный людям. Всегда за ними тянется странный след, след по ту сторону, как претерогуманоидный хвост невидимой планеты. Когда они уходят из мира людей, на небе — в

северном или южном его пределе — гаснет звезда. Это — аватары. Малые или большие. Благие или зловещие. Но помимо этого классического вмешательства в нашу реальность высших сил есть и еще одна, редчайшая, практически отсутствующая, бесконечно-малая по вероятности, ситуация, когда воплощается не плохое, не хорошее, не высшее, но и не низшее, хотя при этом не имеющее никакого отношения к миру людей и банальной механической экономике адамических душ. Это неизвестная оккультно-религиозному мейнстриму форма — т.н. «идиотская аватара», о которой смутно догадывались лишь Лавкрафт и Мамлеев. Что несет она в своем трансцендентном безразличии? О чем косноязычно повествует гражданам, не имеющим даже отдаленного представления об истинной фатальной, роковой глубине того явления, которое вселяется и «ходит между ними», сопит, пьет чай с бутербродами?

У меня нет никаких сомнений, что Владимир Иванович Сно, ретушер и лжесвидетель, был именно таким «идиотским аватарой». Я убежден, что он каким-то образом ответственен за ту реальность, в которую мы с вами погружены. Он — важнейшая часть демиурга, творца материального мира, часть, не понадобившаяся в основном творении, оставшаяся нетронутой, свободной от грозного масштабного величия всего остального. Это частичка мозга креатора, проспавшая самое интересное, оставшаяся вне игры. Но поскольку в истории человечества должно реализоваться все, то под конец времен и эту сонную трансцендентную искру, этот бессмысленный элемент, этот забытый преонтологический шарик по расписанию — точнее, спохватившись — вбросили в имманентный мир, в Ялту, потом в Москву.

Какую весть принес нам малый заблудившийся демиург, Владимир Иванович Сно?

«Наполните меня содержанием». — Вот первый и последний закон Сно, странная весть очнувшейся — нет симулирующей то, что она вот-вот очнется — реальности. Голос из сфер настолько далеких, что помнить о них в тягость даже самым высоким архангелическим столпам иерархии.

«Наполните меня содержанием», that will be the whole of the law!

Нет никаких сомнений, что именно Владимир Иванович Сно является истинным архитектором нашей Вселенной, а она, в свою очередь — его прямым продолжением. Такая же неудачная, неладящаяся, бестолковая, гармоничная только тогда, когда ей удастся триумфально утвердить плоскую онтологическую тавтологию — типа «Eheî asher Eheî» (никогда не задумывались, насколько вопиюще банальна эта ветхозаветная истина?). Вселенная наша и в лучших и в худших проявлениях ее не может не происходить из кармана симферопольского молодого человека, с легкой (скорее всего, симулированной) тягой к анархо-мистическому знанию.

Представляю себе чету Солоновичей, возглавлявших после смерти Карелина «Орден Света», когда они наставляли Сно в теории Иодальбоафа. Солонович обращается к кривоплечему, невзрачному, крайне беспонтовому провинциальному юноше: «По следам Иодальбоафа ползут лярвы, и бесовская грязь пакостит души людей и их жизни...» Кому он это рассказывает? Неужели, тонкий эзотерик Солонович так и не понял, что находится в присутствии того, кого так страстно критикует? Что его идиотский собеседник повыше будет, чем сама несуществующая графиня Шпренгель или иные персоны, учредившие высшие — на грани потустороннего — градусы оперативно-магических обществ?

По следам Владимира Ивановича Сно много кто поползет, и напакостит тоже не мало...

В эпицентре гипноза

По делу No 103514 в соответствии со статьей 5810 и 5811 УК РСФСР Владимир Иванович Сно в 1930 году был осужден. Он во всем сознался. Далее его след в истории теряется.

Содержанием он так и не был наполнен. Неужели вы не понимаете, что в мире, который построил Сно, изъят какой-то важнейший элемент, «содержание», о котором так настойчиво — может быть всего один раз, но какой это был раз! — говорил сам Владимир Иванович...

Неужели вы не понимаете, что наше существование проходит в эпицентре грандиозного надувательства, что мы — в центре гипноза, в цепях душных клоунских чар, что нами филейные сущности ближних кругов потустороннего просто ковыряют в зубах...

Неужели вы...

А.Г.Дугин

"Вторжение", 2000 | "Русская Вещь", Арктогея, 2001

ОШЫМ ОШЫМ

В поезде Москва-Казань я был насторожен. Спутник в купе на четырех был один. Но я ему почему-то не доверял. Ему было за 60. На вид совершенно безобиден. Он переодевал штаны, широко распахнув дверцы купе. Крайне корректный и тихий тип. Молчаливо вежливый. У таких с собой скромный бутерброд с белым хлебом — ни водки, ни жареной куриной ноги. Но пожилым доверять нельзя. Они столько видели в жизни, что никто не поручится за их психику... Я интуитивно всегда полагаю, что пенсионеры опасны. Очень, очень опасны. Кто знает, до чего они додумались за столько лет...

Однажды я уже ехал в купе с вежливым пенсионером. Я лежал на второй полке, внизу расположилась женская половина супружеской пары, вверху наравне со мной — мужская. А наравне с женской — пенсионер. То ли был он смертельно пьян (но вида не показывал — не мудрено за столько лет научиться), то ли латентный маньяк (что не так редко, не так редко...), то ли еще что. Но он, уснув (и мы все остальные полууснув), бормотал что-то про счета... Потом завизжала девушка. Пожилой сумасшедший бухгалтер принял ее наравне с ним лежащее тело за что-то, что проникало в ткань его сумеречного размышления. «Витя, ой Витя-я-я...!!! Смотри, что он со мной делает». Я постарался сквозь неприятный тяжелый колесный сон представить, что именно. Но на ум приходила только общественная столовая. Парень свесился и лениво ткнул в простынную кучу на нижней полке: «Спи, гад». Пенсионер пробормотал какое-то сонное слово, похожее на «извините», сказанное на сухили, и временно ушел внутрь себя. Но его онейрические источения наполнили собой купе на четырех и мешали мне думать о своем собственном мраке.

«Гадкий дед», вертелось у меня в голове. «Опасный дед». Опасен был тем, что за годы в его запахнутую душу просочились множественные фрагментарные осколки разрозненных видений, запутанных душевных желаний, темножелтых умственных туш, страшных тем, что они никак друг с другом не соединятся.. Ужас гнусной души молодого свеж. Ужас пожилых закисает. Он пассивнее и невнятнее, но более ядовит. Действительно: «опасный дед».

Этот из поезда Москва-Казань был тоже опасен, хотя виду не показывал. Самым подозрительным был его храп. Храпят только больные, неприятные люди, совершенно не следящие за собой. Когда они спят, то думают, суки, только о себе. Думать надо о чем-то другом.

Я все-таки уснул, решив не погружаться в сон глубоко, и краем сознания следить за спутником, дверью, запором, костюмом на плечиках, из которого я заблаговременно вынул кошелек и ключи, спрятав под подушкой (я страдаю клептофобией), но мне все же казалось, что и костюму угрожает опасность, никогда не знаешь наверняка. Короче, я уснул. В купе сквозь прищуренные спящие веки мои был виден мрак. Он структурировал мои сны, грань была стерта. Каждый рывок колес Москвы-Казани выкидывал меня в яму. Я вздрагивал и бросал полуоткрытый взгляд на костюм. На пожилого я смотреть опасался. Однажды я ехал в вагоне СВ с толстой девицей. Она всю ночь плакала. Мне это нравилось несравнимо больше, чем храп. В принципе, если идти дальше, то стоило было коммерциализировать такое путешествие — «купе с плачущей девицей». Есть люди, которые заплатили бы за это состояние. Я убежден, что есть и те, которые заплатили бы за храп. Причем каждая его разновидность имела бы свой тариф. Храп со свистом, храп, имитирующий задыхание, храп легкий, храп, оканчивающийся невнятным бормотанием, храп, похожий на стон... Раньше я всегда прислушивался к тому, что люди бормотали во сне. Потом я устыдился этого или, что ближе к истине, понял совокупно диапазон этих телеграмм. Теперь я способен сам воспроизвести спектр высказываний. Сонный дискурс ограничен онейрическим языком. Грамматика, морфология и лексика такого языка вполне доступны планомерному изучению. Нет ничего, чтобы ускользнуло от нас. Ничего.

Поезд тряхнуло, и он остановился. Из-за окна раздалось глухие голоса. Кто-то переговаривался. Ноты были навязчивые. Храп пожилого стих. Полежав минут десять, я решил посмотреть, что происходит. На перроне кишели люди. Была глухая ночь. Они были одеты приблизительно, но все несли в руках разные большие стеклянные предметы. Первое, что я увидел более отчетливо, был мужик в болониевой куртке с огромной — метровой — хрустальной рюмкой. Он поднял ее над

головой и сувал кому-то воображаемому из близкого (не моего) купе. Я представил большой город, где-то сзади, откуда они все (и тот с огромной рюмкой) вылезли. Но напротив стоял поезд и закрывал город. Очень захотелось, чтобы дурацкий поезд тронулся, и я бы увидел огни, переходы, мост, откуда появилось. Он долго не двигался, ровно столько, чтобы у меня пропал интерес к тому, что за ним. Потом медленно уполз. Он обнажил черный лес. Ни одного огонька. Москва-Казань двигалась в правильном направлении.

Стеклянные остались позади, мы поехали на Восток.

Я уснул глубже, больше не боясь пенсионера. Я посчитал, что смогу двинуть ему в случае чего той огромной рюмкой, которую протягивал вперед и вверх гусь хрустальный.

Я стал сосредоточиваться на том, что мне следует сообщить президенту Татарстана. У меня не было окончательного плана. Только наброски. Третья Столица. Мрак мелькающих непроглядных лесополос по краю железного полотна, мешаясь с тьмой купе и поскрипыванием полок, а также серьезными шагами проводниц — их походку не спутаешь ни с чем — не то чтобы помогал, но соучаствовал в принятии решения.

Потом я увидел сон. Сон был похож на текст. Я как бы видел его, переживал все, что в нем, но вместе с тем описывал все в тексте. Отсюда ясность слов и даже букв, которые виделись отчетливо — яснее не бывает.

Текст начинался так: это произошло в городе Ошым ошым. Там не было кавычек, и это название писалось именно так — Ошым ошым. Первое слово с мажюскулы отдельно и без дефиса, второе с минускулы. Город Ошым ошым. Так было написано во сне, так надо запомнить и нам.

Однажды мне прислали письмо по Интернету. Какой-то неизвестный по-английски спрашивал меня, не знаю ли я города с названием Joffur. Причем объяснение, почему обращаются именно ко мне, было таково: «человек в фамилией Dugin вполне может знать, что такое Joffur». Он нашел мой адрес по безличной поисковой системе, не зная — обращается ли в гонконгскую фирму или в нидерландскую клинику. Я ответил тогда на письмо, высказав предположение, что это столица, где живут крылатые демоны. Где «девушка — тигру услада и отрок геенски двууд» (Н.Клюев — у меня есть подозрение, что Клюев написал это стихотворение — «Повешенный вниз головою...» — прочитав «Альрауне» Эверса и «Голем» Майринка). Получив ответ, корреспондент горячо поблагодарил меня, сказав, что это название Joffur навязчиво пришло ему во сне.

Ошым ошым... Все произошло именно в этом городе. Этот город находится (находился) в самой южной точке Австралии. Сомнения могут быть во всем. Только не в этом. Это Южная оконечность австралийского континента, как мыс Доброй Надежды или мыс Игольный является южной оконечностью Африки. Дон Мигель Серрано хотел купить кусок территории на Огненной Земле для одному ему известных целей, но заколебался лишь для того, чтобы приобрести оригиналы картин Константина Васильева, слайды которых я ему послал. Ошым ошым — это город австралийской Огненной Земли.

Потом предо мной развернулась история гибели города Ошым ошым. На Австралию обрушился черный шторм. Континент Австралия и так был темный, ни одной светящейся точки, ни маяка, ни селения. Ни призывной комариной россыпи таверн... Он был темным континентом и умер потемному. Как гусь-хрустальный лес, из которого вышли рюмочные.

Волны шторма были теплыми, но очень высокими. В полнеба. Они рухнули на оконечность Австралии плотно и фатально, раздавив все, что было, утянув все в пучину. Черный город без огней Ошым ошым был смыт. Я вместе с ним. Пытаясь за что-то ухватиться, раскинул руки тела сновидений... Тщетно. Только черная вода. Написав это, понял что в тексте присутствует явная реминисценция из Головина

Снилась мне черная вода,
а под ней города.
Люди тихо собирались группами,
обсуждали, чем беде помочь,
а потом сиреневыми трупами
друг за другом уплывали в ночь
(цитата приблизительная по памяти).

Может ли быть реминисценция опытом? Могу ли я сказать «снилась мне черная вода»? Нет. Только текстуальное совпадение, мне снился черный город Ошым ошым, затопленный океаном город, который был и до этого темнее ночи.

Я был взят волнами, и вернуться не мог и не было куда. Та, что дала мне жизнь (очень сомнительную жизнь, так похожую на что-то другое), умирала. Но очень длительно. Может, я увидел ее сон. Сон, свиньи, не частная собственность. И жизнь, свиньи, не частная собственность. Вот! Москва-Казань — это концепт. Поезжайте, сами узнаете.

...Я плывал по поверхности океана, после гибели Австралии и города Ошым ошым. Тут начинается самое главное. Вернее, самым главным это казалось во сне, в поезде. Волны, которые меня захватили, были не просто водными. Чуть ниже они были чем-то наполнены. Я осознавал, что сплю на спине, при этом ощущения были вывернуты пространственно. Во всем пространстве, под руками, хватающими пустой объем, прощупывалась какая-то масса. Водоросли? Нет, что иное. Остатки? Остатки города Ошым ошым? Нет. Пластмасса?..

...Потом, вернувшись в Москву, когда Казань была позади, я увидел другой сон. В нем навстречу мне, по дороге, которой нельзя свернуть, шла та же самая женщина, что и 20 лет назад. В прошлый раз она везла коляску, сейчас она была с огромной лохматой собакой. Как и тогда, в переломный момент, радикально изменивший рисунок моей жизни, я от ужаса издал громкий нечленораздельный звук. Тогда я пытался испугать ее, сейчас это был полуальпийский, полуолигофренический йодль, обращенный к мохнатому гигантскому псу. Женщина сделала жест, мол, успокойтесь, зачем так.

Позже я шел и узнавал местность, наблюдал узор растительности вдоль дороги и гадин, маленьких, не внушающих ужаса, вылезающих на перекосящий путь.

Я не могу понять (пока), что все это означает. Мы слишком мало знаем...

Гуляя по Казани (Татария - это наше высшее я; кто сомневается - в печь!), я увидел надпись на мемориальной доске: "Пушкин булды". Это правильно...

Третья столица... Иван Грозный. Число его жен символично. Ну а фамилия "Нагая" громом поражает тех, кто внимательно вчитывается в строки русской истории.

Когда я учился в 6-м классе, мы курили с девчонками и парнями на чердаке ничейного (так нам казалось) сарая, бросая окурки в солому. Сарай сгорел, в класс (школа №747) приходили менты и смотрели пристально на тех, кто за партами. Я до сих пор не знаю точно, кто спалил сарай. Раскольников Порфирий Корнеевич расколол по спокойно и бесстрашно опубликованной им теоретической статье... Потом лет через десять неподалеку от того бывшего — сгоревшего — сарая Головин на берегу с метафизическим портвейном в руке говорил: "С возрастом я прихожу к убеждению, что есть все". Он имел в виду подземную белую сову Гарфанг и мастера сновидений, а также шхуну во Владивостоке, которая должна была отвести нас прочь. Куприянов заметил, что у него не хватит денег на такси Москва-Владивосток, а на ином транспорте адмирала везти опасно.

Тогда не поехали. Едем сейчас.

Москва-Казань.

Тайна гибели тайного города.

Ничто не забыто. Мы помним о нем.

Опубликовано в газете "Завтра" в отделе "Вторжение" в 2000 г.

А.Г.Дугин

"Русская Вещь", Арктогея, 2001

МАТЕМАТИКА

Они вошли, когда было уже поздно. Двое, с желтыми вытянутыми лицами, на кончиках ушей весела неприятная белесая шерсть. Локти широкие, конструкция.

Водопровод не согласился с этим, и дал свою захлебывающуюся математической бесконечностью турбулентную мандельбротовскую песнь. Однажды, я уже слышал как трубы выли - упорно, гулко, из Большой Медведицы вытягивая слова и слезы, кого-то поминая... Тогда адмирал был не в себе, сидел с непроходящими людьми вокруг фаллических сосудов со сладким, набитым стальной стружкой содержимым, и посылал мне раздраженные импульсы - он всегда раньше приходил откуда-то, кряхтя в трубку "Аэллеаз, Саэшаэ, маэй даэраэгоэй", а когда появился пейджер - пищал сквозь него. А когда пейджер опять исчез, он пищать перестал.

Кто это, подумал я? Они были разными - рукав рубахи у одного оторвался, и оказалось, что под ним - в нем -- нет руки, только тонкие узкие когти, ремни и стрелы... Ясно теперь, кто...

Но мысль снова ускользнула, заменив себя каким-то иным чувством, каким-то пятном странного цвета, не имеющим определенности ни в размере, ни в интенсивности. И сквозь прошла идея - "как математика"...

Математика бесконечно расплывчатых - она живет в партийных списках - это ясно как Божий день, как законы геополитики, как шапочка равнина, как носок барышни или загривок курчавой собачки...

Все виды описания уже созданы, нет такого объекта, который не был бы расположен в множестве, стройно ползущем на фронт в сизом тяжелом как нос инее. Я просто пытаюсь описать сон, который вижу сейчас - успокаиваю себя. Как можно одновременно видеть сон и стучать пальцами по клавишам? А как нельзя видеть сон?

Дух имеет меру. Эта мера количества сновидения, помещенного в бодрствование. Очень просто вычислить это количество - перемножить одно квантовое число на другое - и вся математика. Явь, умноженная на сон, не равна сну, умноженному на явь. Никакой коммуникативности, эти двое что-то разбирают в углу, а в стене открылась щель - сквозь нее - я четко различаю край, неровный край кирпичей - сквозь нее видно другую комнату с дощатым полом, но я не могу вспомнить, где я это видел, чувство известного есть, но попытка расшифровать его дискурсивно ведет к ужасу ... я куда-то падаю, нет, наоборот, взлетаю... Я спорил однажды с французским гэй-генонистом (Домиником Дэви, почти devie с аксаном, т.е. девиантом) по сети, утверждая против его тезисов о противоположности взлета (духовность) и падения (греховность, материальность), что есть точка, где все меняется, и где верх и низ просто неразличимы, и какой же тогда верх и низ... Гэй-генонист не имел никакого реального подозрения, инициация была для него транспозицией банальных геометрических моделей.

Что эти двое все же там делают?

Я приводил в пример задевшее меня когда-то выражение из немецкой книги Шолема "in Merka ba versunken". Потонуть в колеснице это очень, очень конкретно, кто не тонул, тот пусть забьет себе в лоб медный гвоздь...

Кореец напротив с черным лицом. Это товарищ Чан, он пришел меня мучить и здесь, мало ему его темных изящных кресел с красноголовыми львами и задвижек, которых у него немеренно, и тех двух сестер, которые, которые умеют выть на луну и ставить тапочки ровно рядом с постелью... Он снимает черные очки и под ними на черном лице два белых пятна. Означает: скоро осень, надо готовиться, это всегда впервые, когда темная морщинистая подушка под тобой расседается, и из нее брызжут прозрачные ящерицы, на их хвостах маленькие капельки крови, а люди за рядами столов все читают и читают эти бумаги, каждое переворачивание страниц отзывается сосущей болью где-то в грудишке... Теперь я знаю, зачем ел мясо, оно было черным и напоминало больницу, снегопад и выпущенного в детстве в форточку цыпленка. Я думал пусть учится летать - с нами, когда рожают, поступают аналогичным образом. Думал, полетит... Полетит, да...

Мы крались к красной стене, ночь была огромным спальным мешком, из которого вывешивалась рука. Наверное, это уже были не мы. В кистях оба мы сжимали ржавую кривую трубу. "Миша!" прошептали мы, потом саданули внезапно по стеклу, но не рассчитали ни силы удара, ни

правильное окно. Звон. Крики. Куприянов не успел убежать, старший Козлов прижал его к земле и мутно тыкал в лицо, призывая стражу.

Потом, сидя за клеткой в отделении №100 Куприянов орал инвалиду с ножом (почему нож не изъяли!?) - "ты - сверхчеловек, только не знаешь об этом, ты гордая нить, стрела тоски, брошенная на тот берег, встань и иди". Инвалид на подставке весь в наколках - в нормальном состоянии он съел бы Куприянова - жалко стучался к зевотному менту: "уберите это, уберите..." Куда же его уберешь!?

Это было тогда. Смысла было также мало, как и сейчас. Смысл деления на тогда и сейчас ускользает как все остальное. Чтобы мы ни вспоминали, мы вспоминаем ничто.

Я допускаю, что кто-то видит другие сны, но синяя плоть, полая как китайский фонарик - не у всех ли одна? И разве есть ты, который не я, и я, который не спит?

Почему все давят? Это, наверное, недолечили, постарались исправить, но не вышло, наверное, что-то во всем не dokonчено, поэтому так звенит и так душно, так кажется, что раз и остановится... Я есть осень, но отчего же все-таки так душно, почти задыхаешься, хотя холодно и сквозит ветер... Я сломал у новой дешевой машинки колеса и плакал. Никого и никогда мне не было так жалко как эти несчастные колеса...

По логике надо было бы по-другому...

Я шел от Лимонова и Медведевой. Вечер был не пьяный и не умный, но такой, будто все мы что-то потеряли, и не хотим об этом говорить, будто кто-то украл что-то из нашего живота, и мы сидим пустые и бледные, говорим, чтобы был звук, и смотрим, чтобы был свет. Правильные глаза - не те, что видят, но те, что светят. Они становятся такими у ацефала - он несет свой череп впереди себя и свет из глазниц его... Медведева это ветер, сырой ветер с брызгами дождя... Она бессмысленна как и он, как подъезд или расписание детских каникул, как оставленная на вокзале вязаная шапка...

Фонари самое прекрасное, что есть в жизни - они желтые, и когда идет снег, они улаживают бедра темного ада, в который мы укутаны как в узбекский халат, прилипший к воспаленной щеке... Я шел от них - от Лимонова и Медведевой - и оставлял на тротуаре следы... передо мной были еще следы... Снег был мокрый, толстый и мокрый, как еда и животное эпохи рассвета... Фонари падали на следы, и все как-то замкнулось - не было ничего, совсем, совсем ничего - так что и сейчас есть все то же самое, и, грызя лист платана белым атласным языком, чувствуешь лишь зиму и мысль, которая о математике...

Они пришли забрать меня? Когда-нибудь да, а значит, уже да.

Я хочу записать сразу все сны. Чтобы их преподавать, скользя по линиям и узорам, останавливаясь на достигнутом, и подражая собственному произвольному движению, силясь унять дрожь, да, именно, силясь ее унять.

Я наверно все сказал, что мог, может быть, лучше было бы не говорить всего. Что-то оставить для себя, и ползти прильнув... Ошибся. Думать не об аде некорректно, неправильно и нескромно. Я посмотрел через плечо на стрелу крана, врезанную в разноцветно-черную ночь, и понял. Там плавать, там рыть, там думать... Уже не возвращаясь и уже не будучи собой... Из стены высунулась голова и засунулась обратно. Они хотят, чтобы я перестал доверять самому себе, своим чувствам - догадался я. Соображение испугало меня своей обреченной неожиданностью... Я начал читать урок, передо мной все были в сборе, но забыл слова и просто пускал странные оранжевые круги, шары, размахивая руками и тыча пальцами в разные стороны - как ни странно ученики все поняли и, быстро сверкая вставными суставами, все повторяли за мной в уме.

На платформе продавали невкусные притягательные банты и раздавали мелочь. Но ехать уже никуда не хотелось, оставаться еще меньше... Я думаю, что все мы просто ошиблись дверью.

Опыт - это слиток, это фрагмент бревна, это полученный из-за шторы шлепок, от которого виснет губа и расставляются пальцы...

Просто так есть, так меня попросили, так я болел.

По коридору шел Беленький. Одутловатый рыхлый пациент, с очень маленькой остро отточенной, невероятно, неестественно черной щетиной. Вокруг каждой черной точки был крошечный кожаный овал, но разглядеть его можно было, только пристально сосредоточившись на лице Беленького, как на земном шаре, так смотрят в море принесшего на берег непарный резиновый тапок. Глядя, как Беленький ходит по коридору, я понимал, что мне отсюда не выйти. Еще был боксер, он стал плохо понимать все. Раньше понимал хорошо, потом стал плохо. У него была жена. Он, моясь под порошковым душем, произносил слово "палка". Володя Акулинин был художник. Другой в детстве хулиганил и сполз по скользкой крыше высокого дома, доехал до решетки и повис. Она стала наклоняться. Когда его сняли, внутрь уже успели пробраться эти. Каждую ночь он орал, видя одно и то же. Скользя красная крыша - как у нас, напротив, на Войковской. Я представлял ее. А внизу был сад, и я любил смотреть, как ветер бьет по веткам, я смотрел часами, часами и часами. А дали бы, и днями бы смотрел. Нельзя сказать, что это приносило результаты. Не приносило. Только кто-то сосал сердце. Эти?

Самые далекие ямы, цветы, маленькие змейки с крыльями, мелькающие как болезненное наваждение, не желающие исчезать. Вы заметили, как навязчиво никто не желает исчезать?! Проходят ведра вечности, скрипят обрывки кожи на голове, выбрасываются нужные и ненужные вещи, но они как вторглись, так и остаются. Каждый шаг оперирует с безднами - откуда столько мужества, дерзости, упорства и крайности у них - которые не исчезают? Посмотрите, как хрупко подозрение, и его никто не защитит, и не придет свет, а бордовая лава будет только течь и течь, и на стол поставят новые приборы, и снова их унесут, а в пыли будет играть ноющая цикада, хлопая крыльями возлюбленному по маленькой изящной печени... Они зажгут папиросу и взгляд скользнет по небольшой округлой - вроде ноге или кажется - которая - величиной со стакан - один теледиктор величиной со стакан и весит всего 8 килограмм -- такой худой... Кто знает, может и по ноге...

Бессмысленный какой-то получается разговор... Вроде ни о чем ... Что же делать, если душа оказалась на несколько размеров больше?

Опубликовано в интернет-журнале :Ленин: в 2000 г.

А.Г.Дугин

"Русская Вещь", Арктогея, 2001

Смерти звонкая песнь

Через плечо врача я заглянул в его тетрадку. Там были имена умирающих и его сухие комментарии. У кого-то показания пульса, у кого-то показания кала. Напротив одной фамилии было написано "неадекватен".

"Неадекватен" был мне особенно близок. Перед тканью небытия вполне можно стать неадекватным. Труп неадекватен жизни, и кто шагнул за черту, пока еще не испутив дух, просто забежал вперед.

Я думаю, что сам я когда-то давно поспешил забежать вперед.

Чингизхана ребенком пугали собаки. Гумилев намекал, что Чингизхан был с отклонениями - для монгольского мальчика бояться вездесущих собак было скандально.

Он родился от светлого духа, пробившегося сквозь дымник юрты, и глядя на собак он вспоминал, видимо, щетинистую шкуру смуглой матери Алан-гоа, впервые замеченную отцом. Я подозреваю, что бедных "бдительных ангелов" к "дочерям человеческого" влекло нечто иное, нежели их красота...

Забегая вперед - мы забегаем назад.

Страстотерпец Аввакум в детстве увидел мертвую корову. С этого момента его судьба была предопределена. У меня есть навязчивые мысли об окраске этой замеченной им невзначай издохшей скотины. Но я о них умолчу.

Узнал, что есть целая область в медицине, которая занимается состояниями, непосредственно предшествующими уходу. Это "терминальная" медицина или "паллиативная медицина". Очень странная сфера, где мы ускользаем от одержимости других врачебных зон - починить человеко-механизм во что бы то ни стало. Или сымитировать по меньшей мере процесс. Терминальная медицина не лечит. В ней есть что-то философское. Я давно не видел таких интересных взглядов как у пациентов и сотрудников Хосписа. В центре их внимания - именно то, что должно быть в центре нашего общего внимания. Они обслуживают "уход", "переход", "терминус", "границу". Внешне - это банальный гуманизм, внутренне люди влекутся тайной смерти, как она открывает себя полнее всего - в момент раскрытия своего бутона в фатально ускользающем человеческом теле.

Агония может быть рассмотрена как самостоятельный цикл, как отдельный и самозаконченный мир. Мы знаем о циклах жизни бабочки и подозреваем, что в эти сроки она проживает полную драматическую судьбу - взлета, любви, питания, иссыхания и рассеяния. Бабочка и агония. Греки называли душу "бабочкой" -- "psyche". Мы называем душу -- "дыханием", имея в виду последний вздох.

Последний или не последний?

Терминальная медицина точно знает, что душа, а что нет. В заветный миг все останавливается, палата замирает и невидимый свет сыпется на всех присутствующих из ниоткуда. Мы призваны границей, только облегчите наши невыносимые мысли холодным лунным прикосновением бесстрастного внимания.

В Хосписе я впервые встретился с той фигурой, которая фасцинировала меня со времен мутной юности. 20 лет назад мы решили прочитать "Графа Монте-Кристо" и выяснить, кто был там главным героем. То, что не Эдмон Дантес было всем очевидно, так как ничто не может быть таким банальным, каким хочет казаться. Это - стартовая позиция неадекватности.

Было несколько версий. Первая, что главным героем является граф Шато-Рено. Он появлялся несколько раз в конце книги и произносил человеконенавистнические, ультра-аристократические ницшеанско-эволаистские речи. Мы вначале решили, что все остальное - лишь деверсионистское прикрытие - "кувертюр" -- этой "полит-некорректной" речи, которую Дюма решил внедрить в жадное до шифров и конспирологических модулей сознание французских читателей.

Вторая версия состояла в том, что главным героем является отрицательный персонаж - банкир Данглар. Намеком на его избранность мы посчитали сцену, в которой он, потеряв все под воздействием прямолинейной и поэтому малопривлекательной ригидной линии мстительного и совершенно нехристианского Дантеса, стоит на берегу ручья на четвереньках и мотает головой. Его толстая, красная и грустная голова на фоне маленьких безразличных серых волн о многом поведала. В ней был намек на главное. То, что произошло с его шевелюрой, имело герметический смысл...

Но эти варианты пришлось оставить, когда повествование дошло до новой фигуры. Это был "доктор мертвых". Его вызвали (предварительно подкупив) для лжеосвидетельствования трупа.

Дюма был расшифрован. "Граф Монте-Кристо" -- повествование о смерти и о ее диагностике. "Доктор мертвых" -- ключ. Роман посвящен проблеме перехода и квалифицированной экспертизы, где этот переход совершен, а где пока еще нет. Далее: переход откуда куда? Так ли мы уверены, что мир, где находимся, это жизнь, а где будем находиться - как павшая Аввакумовская корова - это смерть?

Только "доктор мертвых" знает точные пропорции, но и его - эту величественную, трагичную ветхую днями фигуру - можно подкупить...

"Доктор мертвых" мягок, говорит тихим голосом, никогда не лжет. Лгут все, только не он. Ему не зачем лгать. Он только констатирует факт: "граница пройдена". Он ставит странный диагноз: "вот свет" -- "вот тьма". Он -- перешеек адекватности между двумя безднами. Мы тянемся к нему, к этой оси агонии, к этому столпу бессмысленного и безнадежного утешения, содрогаясь от щемящего сердце и живот веселого ужаса.

Смерть нелокализуема по определению, так как она бесконечное, в которое обернуто конечное, это колыбель наша - смерть, холодная, жестокая, нежная и с градусами. Это ее ладони мы ощущаем,

когда среди ночи звонко воем во сне, пугая севших на подоконник духов. И все же она зацветает на определенном терминальном пространстве, когда начинают синеть пальцы и ступни, и бодря изморозь поднимается выше и выше - "синим, я люблю тебя, синим" перефразируя Лорку -- azul que te quiero azul.

В умирании вмещается бытие, прыгающее в небытие. Это искупительное действие - умирание. Сколько было грязного, ворочающегося в вегетативном сале пульса - действий, перемещений туловища, дрожи, уколов, испугов, трепета ярости, расслабленной слюнотекущей неги... Сколько глупых - ультра-глупых слов - сказано и замыслено. Казалось бы не уйти от ответа, и без милосердной косы что-то неизбежно страшное должно было бы непременно случиться. Но приходит восторженный миг, зажигают вечерние лампы - люди как правило рождаются и умирают к ночи - и личность стерта, все забыто и прощено, из отвердевшего только что дышавшего плода вырывается сноп небесных брызг. Как будто ничего не было. И лицо покойного расправляется, плавясь, в совершенно иной сосредоточенной мине. Будто в бездну бросили взгляд и увидели Того, кто воистину смотрит. Раз: и все переменялось. Поменялись ролями, рокировка.

Мир - это большое пространство умирания. Это огромная приемная в решающем кабинете, где стол, стулья и работает радио, а стены слегка потрескались и иссохли. Все, что есть на этом свете - создано на том.

Смерть - архитектор жизни. Мы видим здание, но не видим архитектора. Чертеж в надежных руках конторщиков -- докторов "паллиативной медицины".

Все к чему мы прикасаемся, пронизано тканью смерти. Паскаль, отпрыгивавший от бездн, видел в этом негативную основу. На самом деле, все тоньше. Просто смерть надо научиться любить, слышать ее голос, внимательно следить как невидимым узором проходит она по колыхающейся массе "пока живого". Бытие "терминально". Это не изъязн, не катастрофа, не скандал и уж совсем не навет. Надо научиться просто и чистосердечно признать за ним (за нами) эту вину. Интереснее всего, что наступит, когда приговор будет приведен в исполнение. Настолько интереснее, что и жить - уже сейчас, заранее, заведомо, надо учиться "после приговора".

К чему бы мы ни прикоснулись, стоит искать "доктора мертвых". Свой лекарь такой квалификации есть у каждой вещи, у каждого чувства, у каждой ситуации, у каждого народа. Везде, где всплывает пятно "неадекватности", следует приглашать такого эксперта. Он расскажет вам с точностью кукушки сколько еще осталось... И как идут процессы... И будем ли тянуть или пора съезжать...

Я слышу повсюду звон. Я вижу сквозь тела как сквозь витрины. Я чувствую сладковатый запах Хосписа через массовый какафонический слив "о де Калоней", духов и дезодорантов.

Смерть смеется, она веселее, чем вы думаете. Ее истинный цвет - желтый, у нее каштановые ногти и большая вилка в сахарном кулачке.

"Ах, гробы мои, гробы,
Мои светлые дома..."

Поют староверы, пообедав.

Впервые опубликовано в Интернет-журнале Ленин: в 2000 г.